

АЛЬБЕРТ ВАНДАЛЬ

ВОЗВЫШЕНИЕ БОНАПАРТА



Альберт Вандаль

Возвышение Бонапарта

текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=175741

*Наполеон и Александр I. Франко-русский союз во время Первой Империи. Том I. Возвышение Бонапарта: Феникс; Ростов-на-Дону; 1995
ISBN 5-85880-233-8, 5-85880-234-6*

Аннотация

Эта книга знаменитого французского историка, члена Французской Академии графа Альберта Вандаля (*Albert Vandal*) (1853–1910) является политико-историческим исследованием, задачей которого является показать, каким образом Бонапарт после революции 1792 года завладел властью во Франции и как, освобождая французов от тирании якобинцев и ещё не угнетая их всей тяжестью собственного деспотизма, он заложил первые основы примирения и восстановления нации. На эту высоту он поднялся не сразу и не внезапно: это было постепенное восхождение, этапами которого являются возвращение из Египта, дни брюмера, расширение консульских полномочий и Маренго. Бонапарт в момент высадки близ Фрежюса пока только выдающийся полководец, несущий французам надежду на возрождение республики и победоносный мир. После брюмера он лишь один из трех консулов, временно управляющих страной. Накануне Маренго он лишь первый

гражданский чин и представитель гражданской власти во Франции, весьма заботящийся о соблюдении конституционных и республиканских форм. На другой день после битвы под Маренго он – хозяин Франции, с этого момента он действительно всё может и всё умеет.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ. РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ	8
ПРИСТРОИВШИЕСЯ	
ПРАВИТЕЛЬСТВО	8
I	8
II	19
СТРАНА	30
I	31
II	45
III	68
IV	96
ГЛАВА I. 30-Е ПЕРИОДА	108
I	109
II	125
ГЛАВА II. ПОСЛЕДНИЙ НАТИСК	140
ЯКОБИНЦЕВ	
I	142
II	154
III	166
ГЛАВА III. БОРЬБА ПАРТИЙ	182
I	183
II	206
III	245
IV	252

ГЛАВА IV. КРИЗИС, ВЫЗВАННЫЙ БИТВОЙ ПРИ НОВИ И ЯКОБИНСКИЕ ЗАКОНЫ	259
I	261
II	280
III	307
ГЛАВА V. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ПОБЕДЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ БОНАПАРТА	320
I	321
II	340
ГЛАВА VI. БОНАПАРТ В ПАРИЖЕ	359
I	361
II	372
III	378
ГЛАВА VII. ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ПЕРЕВОРОТУ	398
I	400
II	406
III	424
IV	435
ГЛАВА VIII. БРЮМЕР – ПЕРВЫЙ ДЕНЬ	446
I	449
II	464
III	482
IV	491
V	504
ГЛАВА IX. БРЮМЕР – ВТОРОЙ ДЕНЬ	518

I	520
II	537
III	546
IV	557
V	582
ГЛАВА X. НА ДРУГОЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ПЕРЕВОРОТА	599
I	601
II	610
III	616
IV	639
ГЛАВА XI. ФРАНЦИЯ ПРИ ВРЕМЕННОМ КОНСУЛЬСТВЕ	662
ПАРИЖ	662
I	662
II	682
ДЕПАРТАМЕНТЫ	692
I	693
II	720
ГЛАВА XII. КОНСТИТУЦИЯ VIII ГОДА	730
I	732
II	744
III	751
IV	765
V	780
VI	794

ГЛАВА XIII. ПЕРВЫЙ КОНСУЛ	802
I	804
II	819
ПРИЛОЖЕНИЕ	853
ЧАСТЬ I. ДОКУМЕНТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ОТСТАВКИ БЕРНАДОТА	853
ЧАСТЬ II. ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ЖЮБЕ,	856
ЧАСТЬ III. БРЮМЕР. ССЫЛКИ И КРИТИКА ИСТОЧНИКОВ	859

Альберт ВАНДАЛЬ

Возвышение Бонапарта

ВВЕДЕНИЕ. РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ ПРИСТРОИВШИЕСЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Революционеры против нации. – Господство олигархий; управление при помощи периодических государственных переворотов. – Теория и практика. – Институт. – Роялисты и якобинцы. – Прострация народа. – Армия заменяет народ в смысле революционной силы и в каждом кризисе играет решающую роль. – Директория. – Баррас. – Продажность. – Низость. – Политика качелей. – 18 фрюктидора. – 22 флореаля. – Невозможность для правителей удержать власть, не прибегая к насилию.

I

От гибели Робеспьера до возвышения Бонапарта в поли-

тической истории революции на первом плане стоят упорные усилия пристроившихся революционеров, захвативших высшие места и влияние, удержать власть, упрочить ее за собой против желания нации. Во главе этих революционеров эпохи упадка никогда не стояли крупные личности; великие вожди погибли; приходилось довольствоваться второразрядными. Они не составляли дисциплинированной и сплоченной партии, но лишь изменчивую ассоциацию интересов и страстей. Центром и основным ядром этой партии были термидорцы. 9-е термидора¹ было делом группы террористов, диссидентов, врагов Робеспьера, но не меньше его жестоких и более низких душою; сравнительно умеренными их сделало лишь возмущение общественного мнения и уменьшение внешней опасности. К ним присоединились снова вошедшие в милость жирондисты, монтаньяры, спустившиеся с горы на равнину, огромное большинство членов конвента и почти вся группа вотировавших смерть короля, – словом, все те, кто создал республику и, уцелев во время террора, хотел насладиться делом своих рук.

Они-то и решили, провозгласив конституцию, что две трети конвента должны войти в состав советов. Со времени этого законодательного покушения, Париж и вся Франция трижды восставали против них, законным порядком или путем насилия объявляя им свою волю, и трижды, – в вандемьере IV-го года, фрюктидоре V-го и флореале VI-го – эти

¹ День казни Робеспьера.

возмущения были подавлены при помощи пушек или жестоких репрессий. Новое правительство жило государственными переворотами (coups d'Etat), влачило от насилия к насилию шаткое существование, неспособное управлять, упорное в самозащите, подстрекаемое мыслью, что, лишившись власти, оно лишится всего, в том числе и жизни, по всей вероятности, а “когда приходится выбирать между теми, кто хочет пробить себе дорогу, и теми, кто не хочет попасть на виселицу, всегда выгоднее держать пари за последних”.² В промежутках между серьезными кризисами уже пробившиеся революционеры препирались и поносили друг друга, перебрасываясь обвинениями. Как только возникала общая опасность, правительство группировалось заново, спланивалось в одно целое против врага, и самые умеренные, порой со вздохом, шли вслед за насильниками.

Таким образом, правительство Франции было олигархическим, а сама она – военной добычей замкнутой касты, пополняющейся собственными средствами, оторванной от народа и уже не составлявшей с ним одного целого. Во всех свидетельствах современников, представителей и правой, и левой, и умеренных, средних людей, встречается это слово – олигархия или термины равнозначные: “революционная олигархия”, “фракция олигархов”, “люди, создавшие себе привилегию из революции”, “грубая, завистливая и недовер-

² Письма М-ме де Сталь к Редереру, 1-е октября 1796 г. Roedèver, “Oeuvres”, VIII, 650.

чивая аристократия, порожденная революцией”, “сборище людей, желавших превратить республику в “аристократию угнетателей и всю свою жизнь пользоваться этим”.³ Человек, страстной преданности которого принципам французской революции никто не станет оспаривать, знаменитый либерал и, прежде всего, либерал, Лафайет, пишет: “Представьте себе это скопище индивидуумов, которые путем политических и социальных преступлений захватили все должности и места. Самые низкие из них награбили себе состояние; у других есть у каждого на душе два-три дела, за которые его мучит совесть, хотя эта совесть и не из чутких, два-три поступка, навлекших на него общее негодование. Самые безобидные из них – это люди, которые только вотировали смерть короля да заседали в конвенте рядом с Робеспьером, не осмеливаясь возражать против его декретов, а теперь не смеют взглянуть в глаза честным людям. Представьте себе затем толпу низших должностных лиц, творивших, каждый в своей коммуне, и святотатства, и насилия, его навсегда погубившие, хоть они и прикрывались республиканским флагом. Вот чем в сущности сделалась французская республика. Эта партия опирается на интересы многих и на небольшую кучку энтузиастов республиканцев”.⁴

³ Souvenirs du baron de Barant, I, 39, 47, 50; Fiévée “Correspondance et relations avec Bonaparte”, 70; Memoires et correspondance de La Fayette, V, 111. См. также тогдашние газеты и в особенности “Journal des hommes libres” и “Gazette de France”, годы VII и VIII passim.

⁴ Memoires et correspondance de La Fayette, V, 105.

В действительности, революционное ядро состояло не исключительно из бывших проконсулов-террористов, подмоченных политиков и людей, запятнавших себя преступлениями, хотя таких и было в нем весьма большое количество. В нем были также люди, оставшиеся чистыми, глубоко верившие в революцию; и наряду с ними много людей закона, бывших юристов и прокуроров, людей, которые безвестно, но с пользой работали в комитетах конвента и позже должны были войти в состав экипажа консульства.

Были также теоретики, мыслители; за собраниями стоял Институт. Это славное ученое учреждение, детище конституции, точно так же, как директория и оба совета, являвшееся почти четвертой властью в государстве, было хранилищем доктрины; оно поставляло многих членов в правительственные учреждения и само отчасти вербовало в них своих работников. Прославленный, осыпанный высокими почестями, Институт имел в своих рядах предвестников великого научного движения, которое в наши дни преобразило мир; но правили и властвовали в нем последние могикане энциклопедии, философы школы Кондильяка, будущие идеологи Бонапарта. То были по большей части люди суровой внешности, кротких нравов и надменного ума. Будучи для той эпохи весьма учеными в своей области, они считали себя призванными повелевать умами. В грубо-реалистической Франции времен директории они мечтали восстановить духовную власть, возложив заботу о выполнении ее пригово-

ров на светскую. Предоставив этой последней покусения на личную свободу, некрасивые насилия, перед которыми они всегда склонялись, они приберегли для себя иную задачу и мнили переделать французскую душу согласно своему высокому и холодному идеалу.

Не один, впрочем, материальный интерес, связывал между собой всех пристроившихся революционеров; у них были общие идеи, общие страсти. Прежде всего, глубокая ненависть к христианству. Насчет этого светила Института были совершенно одного мнения с мелкими ненавистниками попов в администрации и собраниях. Во времена террора война против религии была лишь гнусной сатурналией,⁵ не одобряемой Робеспьером. При режиме III года она организовалась в систему. Чтобы лучше искоренить религию, ей придумали замену. Академия пыталась извлечь из своей доктрины сборник правил и предписаний на всякие случаи жизни. На это-то и намекал Бонапарт, когда говорил, желая польстить своим коллегам: “Я держусь религии Института”.⁶ Правительство субсидировало теофилантропов, смешивших народ, и навязало ему культ декады (десятого дня), докучавший ему. В своих усилиях одолеть католицизм правительство наталкивалось на сопротивление, которое и раздражало его, и смущало, на неискоренимую преданность масс своим

⁵ Сатурналия – Бесшабашный кутеж, вакханалия (устар.).

⁶ Слова, приводимые М. Aulard'ом в “Etudes et leçons sur la Révolution française, II, 143.

старинным национальным верованиям; ибо революция взбодорила Францию, но изменила ее лишь отчасти.

Так же глубока была ненависть пристроившихся революционеров к бывшей знати; как они ни преследовали аристократов, разоряя их, отправляя в изгнание, рассеивая по всем концам Европы, они не могли не завидовать им. И тем больше ненавидели бывший правящий класс, что сами стремились создать такой же.

В политике они выдвигали известные принципы, которые нагло попирали на практике: верховная власть народа, система представительства, разделение власти, выборное начало и частое обновление правящих групп. Некоторые из них искренно считали себя либералами; они платонически обожали свободу, но откладывали ее до того невозможного дня, когда вся Франция будет думать, как они. В сущности, многие из них были менее всего республиканцами. У них была задняя мысль, затаенная и неотступная: упрочить свою олигархию, поставить во главе ее короля, взятого из чужой династии или из младшей линии своей, короля, который не будет настоящим властелином, но лишь их креатурой, который будет править им на пользу и через их посредство, посадив пэрами королевства цареубийц. Такое государственное устройство, которое упрочило бы их власть и сделало бы их несменяемыми, казалось им более надежным, чем республика, всегда изменчивая и шаткая.

Ненавистные большинству французов, осужденные обще-

ственным мнением, они должны были бороться с более или менее организованными партиями, – прежде всего с настоящими умеренными, с либералами; затем – со всеми разновидностями роялистов, от монархических буржуа, членов учредительного собрания в 1789 г. и поборников конституции в 1791 г., до неизменных приверженцев старого режима, заговорщиков в Париже, мятежников и убийц на юге, шуанов в Нормандии, Вандее и Бретани, и – другая крайность – с ультрареволюционерами, неправильно называвшимися тогда якобинцами. Эта партия состояла прежде всего из низких и гнусных террористов, остатков орды, которая в 1793 и 1794 г. калечила Францию; но в ней были и пылкие головы, искренно восставшие против выборного ценза, установленного в III году, требуя возвращения прав народу, отныне лишенному всякого участия в законодательстве; были приверженцы истинной демократии, те, кто хотел идти дальше, чьи стремления и надежды были незадолго перед тем формулированы Бафером и его школой; люди, видевшие в полном социальном перевороте естественный финал революции, которая, как им казалось, остановилась и пошла назад, разделив между новыми привилегированными ризы старого режима и обездолив чернь.

С этой партией правители воевали не сплошь; подчас они мирились с ней и натравливали ее на умеренных либералов с тем, чтобы после обуздать ее снова. Партия якобинцев была для них то противником, то резервом. Она стояла на рубеже

власти, одной ногой здесь, другой – там. Многие из ее членов занимали государственные должности; другие, выгнанные, мечтали снова попасть на службу. В ней было несколько главных вожаков и много второстепенных, но кадры пустовали, ибо народ Парижа и больших городов не заполнял их более.

Разочарованное и отрезвленное рабочее население Парижа не верило больше изобретателям систем, торговцам общественным благом. Для народа демагоги и даже демократы стали безразличны, если не ненавистны. Одна из газет той эпохи изображает массу пролетариата, требующей только работы, смирившейся, готовой “искать в труде исцеления своим недугам...; ее так часто обманывали пустыми обещаниями, что теперь в ней преобладающее чувство – недоверие”.⁷ Эта масса упрямо отворачивалась от арены политической борьбы и не хотела заглядывать в этот огромный балаган. Ее последним усилием был свирепый набег на конвент в жерминале и прериале III года во время жесткого голода и вызванного им кризиса; тогда домогавшимся мест удалось увлечь за собою домогавшихся хлеба. Сейчас народ жил бедно, но все же кое-как жил; к тому же у предместий отняли

⁷ *Le Publiciste*, 20 термидора VIII г. Выдержки из газет, которые мы цитируем, были, по большей части, уже приведены нами в *Revue des Deux Mondes* (апрель – май 1900, март – май 1901) и в *Correspondant* (ноябрь – декабрь 1900). После того много выдержек из газет VII и VIII г.г. до 19 брюмера были приведены Aulard'ом в его сборнике “*Paris pendant la réaction thermidorienne et sous le Directoire*”, t. V.

пушки и пики; от национальной гвардии осталась одна тень. Среди этой инертной и безоружной массы якобинцы были разбросаны отдельными группами, жужжащими ульями, “маленькими колониями”⁸ смутьянов; действительная сила их не соответствовала более внушаемому ими страху.

Пристроившиеся революционеры также не имели влияния на народ, но за ними стояла армия. В минуту опасности, грозившей всей нации, лагеря сделались очагом благородных страстей. Революция не только подняла дух, но и нравственность армии, по крайней мере, в низших рядах, обеспечив ей приток лучших сил французского народа. В ней были тогда герои-стоики, без страха и упрека, рыцари революции. С тех пор, как оборонительная война сменилась войною с целью пропаганды, а затем и завоеваний, и армии коснулось и загрязнило ее растлевающее веяние времени, в ней пробудилась неудержимая жажда материальных выгод, золота и наслаждений. И все же многие офицеры и солдаты, в особенности в рейнской и швейцарской армиях, оставались верны старому идеалу бескорыстия и простоты. Они брали себе за образец римлян, как их принято представлять, и спартанцев из трагедии, образами которых было полно их воображение, и создали тип высокой военной доблести, думая, что воспроизводят его. То были поистине великие люди, но и менее крупные оставались в общем удивительно храбрыми, закаленными в боях, выносливыми, предприимчивыми,

⁸ Речь Куртуа в совете старейшин, *Moniteur*, 25 вандемьера, VIII г.

полными жизни и сил; в них по-прежнему горел революционный огонь. Считая себя сортом выше остального человечества, на том основании, что им дано было услышать глагол освобождения, они мнили освободить народы, разбивая старые общественные формы, заменяя своею тиранией тиранию древних каст; как неистовые миссионеры, они несли и навязывали всюду закон уравниения. В общем войска оставались ярко республиканскими, с легкой якобинской окраской; они сохранили в себе этот дух, ибо Франция и республика для них слились воедино, а также и потому, что революция, внутри страны ставшая узко буржуазной, в их среде оставалась честно демократической, открывая самому маленькому человеку, будь он только храбрецом, дорогу к почестям и богатству. И как только внутри страны армиям показывали призрак реакции, попытку контрреволюции, они, не взвидев света, яростно кидались на врага. Впутываемые таким образом, в наши распри, они не раз чувствовали искушение захватить в свои руки государство и власть. Наиболее благородным из их вождей, а также наиболее крупным и честолюбивым, смутно рисовалась роль распорядителя и посредника. А пока они стояли за существующее правительство, за тех, кто, как им казалось, хранил наследие революции и фактически владел им. Гош предлагал этому правительству свои услуги каждый раз, как являлась надобность образумить реакцию и аристократов; Бонапарт подлаживался к ним, чтобы сделаться их господином.

II

Весной 1799 г., т. е. в момент, когда начинают выясняться непосредственные причины 18-го брюмера, во главе революционного правительства стояла директория из пяти человек: Рейбель, Ларевельер-Лепо, Баррас, Мерлэн и Трейльяр. Прославленная развращенность этого правительства слишком часто заставляла забывать о его жестокостях. Репутацию “неслыханной продажности”⁹ директория приобрела уже после ухода великого честного Карно и Бартеlemi, изгнанных своими коллегами. К такой репутации привели грязные сплетни, как грибы, плодившиеся вокруг нее, и открытое, наглое взяточничество одного из ее членов; другие выказывали себя скорее недобросовестными слугами, чем откровенными ворами. Некоторые из них были не лишены дарований. Мэрлэн (из Дуэ), даровитый юрисконсульт и очень ловкий прокурор, превосходно умел легализировать преступление; враги его уверяли, что он годился бы самое большее “в хранители печати при Людовике XI”.¹⁰ Трейльяр впоследствии, при другом режиме, оказался весьма полезным. У Ларевельера, безукоризненно честного, сектанта и мечтателя, ум был такой же исковерканный, как и его обиженное при-

⁹ *Correspondance diplomatique du baron de Staél – Holstein et du baron Brinkman*, письмо Бринкмана к Спарре, 369.

¹⁰ Заседание Пятисот 30 прериаля VII г.

родою тело; зато эльзасец Рейбель, жестокий, алчный, изворотливый, отличный работник, по-видимому, думал за всех.

Члены директории хоть и рядились в театральные костюмы и завели себе почетный караул, жили в общем не очень роскошно; не было толков ни про “их любовниц”, ни про “их экипажи”.¹¹ Жили они все в Люксембургском дворце, разделенном для них на пять квартир, изукрашенных коврами, тканями и золоченой мебелью, взятой из королевских дворцов. Директора вели в этих роскошных апартаментах очень буржуазный образ жизни. Карно жил совсем уж скромно, фамильярно приглашая друзей “похлевать супу; за стол садятся между 4 ½ – 5, и я всегда обедаю дома”.¹² Ларевельер с дочерью ходили по вечерам к соседям, супругам Туэн, “посидеть часок-другой в их скромной кухоньке. *Mémoires de Larévellere – Léreaux*, II, 411. Рейбель слыл большим скрягой, который не прочь обмошенничать при расчете.¹³ Жена

¹¹ “Lettre de Charles de Constant”, 63.

¹² Письмо к Ле Козу, цитируемое Roussel'ем, в “Un Evêque assermenté”, 259.

¹³ Когда он вышел из состава Директории, и с печати вновь снята была узда, в газетах писали: “Ех” директор Рейбель, выходя из директории, все увез с собой: мебель, вещи, дорогой фарфор, составлявший национальную собственность, между прочим, один сервиз, оцененный в 12000 фр.”. Затем была напечатана поправка: “Гражданин Рейбель возвратил вещи, действительно, при отъезде его, вывезенные, из Люксембурга, не принадлежавшие ему и лишь предоставленные в его пользование. Уверяют, впрочем, что это похищение было учинено не им самим и не по его приказу, а сыновьями, по приказу его жены и свояченицы”. См. *Gazette*

Мерлэна была хорошая хозяйка и страшно вульгарна: Мадам Анго – говорил про нее Бонапарт.¹⁴ Вначале директора, путем вычетов из жалованья, создавали общий капитал, который в конце года доставался выбывающему члену. Позже они стали прибегать к менее дозволенным средствам, чтобы не уходить с пустыми руками: Они присвоили себе также право по выходе оставлять у себя возок (voiline bourgeoise), полагавшийся им на время службы; отказаться от этого удобства им было бы слишком трудно.

Один Баррас окружал себя роскошью, выставляя ее напоказ; он был “султанчиком” директории, красиво носил костюм, заказанный по рисунку Давида – широкий алый плащ с кружевным воротником, кинжал римского образца и шляпу со множеством перьев. Вне исполнения служебных обязанностей, он ходил обыкновенно в длинном камзоле синего сукна и высоких сапогах.¹⁵ Грудь колесом, плечи назад – своей осанкой он напоминал, по выражению Бонапарта, молодцеватого “учителя фехтования”.¹⁶ Голос у него был сильный и звучный, гудевший, как колокол, в бурях конвента.

Он умел принимать и постиг науку представительства. Когда он открывал свои салоны в Люксембурге, разношерстная публика, толпившаяся в них, расхаживая среди “боль-

de France, 5 и 6 мессидора, г. VII.

¹⁴ Journal du general Gougaud, I, 468.

¹⁵ Mémoires de madame Chastenay, 359.

¹⁶ Journal de Gourgaud, I, 468.

ших кресел алого бархата с золотою обшивкой”,¹⁷ дивясь на анфиладу раззолоченных покоев, счастливая увидеть снова роскошь, яркие огни, туалеты, поражавшие своим воздушным изяществом, красивое женское тело, мнила себя перенесенной на Олимп, где госпожа Талльен и ее соперницы разыгрывали роли богинь в соответствующих костюмах. Баррас устраивал приемы и в своем замке в Гробуа, и на даче в Сюрэне. Когда он катил туда в своем экипаже, запряженном булаными (“*soupe aulait*”)¹⁸ лошадьми в серебряной сбруе, парижане говорили, что он, должно быть, много накрал, чтобы так пускать пыль в глаза. Обычный круг его составляли крупные финансисты и ажиотеры, всякого рода дельцы, паразиты, подозрительные личности, женщины хорошего рода, но с подмоченной репутацией, дворяне, впутавшиеся в революцию; а он среди всего этого разврата расхаживал павлином и из полусвета создавал себе иллюзию света. Сам развращенный до мозга костей, весь изъеденный пороками, необузданный и утонченный в наслаждениях, знаток вина, женщин, всего изящного, он всегда приберегал для себя раздушенные барыши (*profits parfumés*) и розы власти.

Покладистый характер, склонность сорить деньгами, известная свобода мысли и довольно тонкое политическое чутье выгодно отличали Барраса от его ограниченных сотово-

¹⁷ M-me de Chastenay, 860.

¹⁸ Edmond et Jules de Goncourt “Histoire de la société française pendant le Directoire”, 300.

рищей, но там, где были задеты его интересы или удовольствия, он становился способен на все. Обыкновенно ленивый и вялый, он, однако, время от времени вновь оберегал в себе свою врожденную энергию для крутых мер, создавших ему репутацию кулачного бойца и надежнейшей опоры партии конвента; но путанные интриги были ему больше по душе. Предатель по натуре, он лгал с упоением, продаваясь каждому и обманывая всех; это была душа публичной женщины в теле красивого мужчины. Ларевельер находил его “моветонном”;¹⁹ действительно, его речь и манеры выдавали человека, который всю свою жизнь якшался с подозрительными личностями; и, однако же, он сохранил некоторое врожденное благородство обличья и осанки; как ни опустился он, как ни изгадился, все же он не мог отрешиться от “некоторых привычек, принятых между порядочными людьми”.²⁰ Он охотно выставлял себя военным человеком, рубакой, любил, когда его называли гражданин-генерал. О другими директорами он держал себя с нарочито грубой фамильярностью, охотно говорил им ты и в глубине души презирал их мелкие слабости. Этот отщепенец, этот сбившийся с пути дворянчик с юга, смотрел свысока на выскочек, которых случайности ежегодных выборов делали его коллегами.

Отличительная черта всех этих людей – их нравственная

¹⁹ *Memoires de Larévellier-Lepeaux, I, 337.*

²⁰ *Eclaircissements Inédits de Cambacères*, драгоценный документ, с которым мы познакомились, благодаря любезности графа Камбасереса.

низость. Ни призрака возвышенного понимания своих обязанностей и прав, ни тени великодушия сердца или ума, ни одной попытки примирить и сплотить нацию, ни капли жалости к этой несчастной Франции, так много выстрадавшей. Они правили подло, грубо, жестоко. Их политика заключалась в том, чтоб наносить удары то вправо, то влево, держаться чередованием насилий: то была знаменитая система качелей, принижавшая одну партию только для того, чтоб возвысить другую.

В 1797 г., после двойных выборов, изменивших, наконец, состав советов и оставивших в меньшинстве бывших членов конвента, большинство, состоявшее из умеренных и роялистов, вотировало, несмотря на сопротивление директории, законы, клонившиеся к исправлению зла: оно старалось ввести религиозную свободу, преобразовать финансы, облегчить заключение мира с внешним врагом. Франция начала дышать. То была попытка перемены служебного персонала и системы, если не перемены режима. В этом поединке с исполнительным комитетом нравственность и разум были, несомненно, на стороне советов. Из среды большинства одни испытанные представители народного сознания хотели только одного – покончить с тиранией революционеров и вернуть стране свободу располагать своей участью. “Партия добрых намерений, говорит Барбэ-Марбуа, призвала нас на помощь; то была национальная партия: она стала нашей”.²¹

²¹ **Journal d'un déporté, p. 2.**

Правда, большинство этих умеренных надеялись, что республика, избавленная от революционеров, незаметно придет к конституционной королевской власти. Другие, – и таких было немало – принимали участие в интригах и заговорах роялистов, вступали в соглашения с людьми, которые хотели полного и насильственного обращения вспять. Угадываемые многими замыслы этих депутатов, самые их имена были пугалом для республиканцев всех оттенков, видевших, что на них грозит хлынуть поток ретроградства. Выбирать приходилось на деле не между узурпаторами-конвенционалистами, с одной стороны, и сторонниками свободы и порядка – с другой, а между революцией и контрреволюцией.

Трое бывших членов конвента, составлявших большинство в директории: Баррас, Ларевельер и Рейбель, собрали вокруг себя всех тех, кто не хотел позволить вырвать у себя из рук общественный пирог. Они собрали также много французов, видевших в революции добро и надежду добра, начало возрождения и прогресса, добытое ценою страшных страданий, и не допускавших, чтобы столько крови и слез пролилось даром.

Вышеупомянутый триумvirат был недостойным служителем дела защиты революции. Готовя удар советам, он обратился за помощью к армиям. Гош только о том и просил, чтобы ему позволили вступить; Бонапарт яростным ропотом своих армий, казалось, требовал и навязывал акт насилия. Депутаты, видя приближение опасности, в свою очередь, об-

ратились к элементам смуты – к шуанам,²² пробравшимся в Париж, к шумной дружине черных воротников (collets noirs); они кричали о необходимости мер защиты, которые можно было бы обратить в меры нападения, и на практике ничего не сделали; они не сумели ни удержаться на почве строгой законности, ни смелым шагом сойти с нее; они замыслили предупредить своих противников и в конце концов дали захватить себя врасплох.

18-го фрюктидора V-го года (4 сентября 1797 г.), с войсками Гоша под начальством одного из генералов Бонапарта, триумвиры устроили свой *coup d'Etat*, – нарушили конституцию, чтобы спасти ее, ибо торжество советов, по всей вероятности, было бы ее гибелью. Ночью здание парламента было занято отрядом Ожеро. Два других директора, Карно и Бартеlemi, пятьдесят три депутата, много агентов-роялистов, генералы Пишегрю и Гамель, были без суда приговорены к ссылке. Тех, кого удалось схватить, сажали в тяжелые фургоны без рессор, с отверстиями вместо окон, заложеными железными решетками, в клетки на колесах, и отправляли в Рошфор, а оттуда в ад Гвианы. Сто пятьдесят три народных представителя были изъяты из состава палат. Урезанный таким образом законодательный корпус предоставил директории или, вернее, триумvirату исключительные полномочия. Результатом были новые меры строгости против всех

²² От имени Ж. Шуана, предводителя контрреволюционных мятежников во время Великой французской революции.

подозрительных лиц. Чем сильнее была тревога, чем грозней надвигающаяся опасность, тем более жестокие удары нанесли триумвиры и депутаты их лагеря. При этом зловещем триумвирате, вечно дрожавшем за свою шкуру, снова начался террор – террор бескровный, убивающий исподтишка, заменивший гильотину медленной пыткой Гвианы, да и то военные комиссии, превращенные в военные суды, приговорили к смерти немало народу.

Этот тяжкий гнет придавил общественное мнение. За пределами страны победы наших армий, чудеса Бонапарта, блестящие кампании Моро и Гоша, покорение Италии, вторжение в Германию, мир в Кампо-Формио, навязанный австрийским Габсбургам, окружали лучезарным ореолом славы эту Францию, внутри представлявшую собой добычу низких тиранов. Но триумвиры, чтобы отделаться от роялистов и умеренных, принуждены были искать опоры в худших элементах смуты. Ультра-революционеры вновь подняли голову. На частичных выборах VI года восторжествовали якобинцы.

Теперь опасность грозила слева. Чтобы отразить ее, директория, включившая в число своих членов Мерлэна и позже Трейльяра, прибегла к возмутительной операции 22-го флореаля VI-го года (11 мая 1798 г.). Этой проделке нет имени. То был не *coup d'Etat* при помощи сабли, как учиненный Ожеро, но предупредительная мера – чистка законодательного корпуса путем произвольной сортировки избранных.

Советы, созданные для проверки полномочий вновь избранных членов, действуя под давлением директории, не ограничились тем, что полностью забраковали выборы многих избирательных собраний, но и приняли кандидатов отколовшихся групп. Таким манером были устранены демагоги, а с ними заодно и слишком ярые, хотя и чистые республиканцы, и даже просто члены оппозиции, и директория, “спасшая республику” в фрюктидоре, провозгласила себя теперь спасительницей общества. Это циническое покушение дало ей передышку; она совершила новое преступление, чтобы просуществовать годом больше.

Окруженная бандой своих приверженцев, она снова могла считать себя полновластной госпожой, так как ей удалось помешать парламентскому бунту возродиться в новой форме. Советы состояли из революционеров, более и менее крайних; директория опиралась поочередно то на одну, то на другую фракцию, превращая ее в большинство присоединением рабски угоднических голосов. Если директории угодно провести крутую меру, она сейчас же находит поддержку у якобинцев. Если ей нужен мудрый закон, она опирается на умеренных. Таким образом, она более хозяйка в стране, чем покойный Людовик XVI, у которого отняли все полномочия.²³ И все же положение ее с каждым днем становилось более критическим, а вместе с тем росли и насилия, ибо крутые меры, повторяемые до бесконечности, оставались для нее един-

²³ *Mémoires de Dufort de Cheverny*, II, 390.

ственным законом самосохранения. Предоставь она избирателям свободу высказаться, они, в своей ненависти к правящей группе, никогда не удержались бы на той точке, на которой этой последней желательно было их удержать; всегда был бы недостаток или перехват; они посылали бы в парламент представителей или правой, или крайней левой, одинаково опасных для установленного порядка. Нормальный ход дел в учреждениях привел бы их к гибели.

СТРАНА

Революционное положение затягивается. – Экономическая неурядица. – Агитация якобинцев и белый террор. – Разбой с политической окраской. Шуаны. – Общая неуверенность в завтрашнем дне. – Бессилие и низость администрации; безденежье. – Общественные повинности заброшены; порча дорог и памятников; Франция в развалинах. – Тирания фрюктидорцев. – Почему французы примут Бонапарта, как избавителя. – Настоящее убиение свободы. – После фрюктидора народное представительство только фикция. – Порабощение печати. – Религиозная жизнь. – Конвент термидорцев и культы. – Возрождение католицизма. – Возобновление гонений. – Все духовенство поставлено вне закона в силу предоставленного директории права без суда ссылать священников. – Новая присяга. – Республиканский календарь – орудие борьбы против христианства. – Условия религиозного замирения. – Тирания декады; ее крайности и нелепые изощрения. – Народное обучение. – Школа, улица, зрелища, праздники. – Кокарда. – Список эмигрантов. – Экономическое и социальное положение. – Застой в крупной торговле и промышленности. – Облегчение, принесенное революцией земледельческому классу. – Освобождение земли. – Налоги. – Рекрутский набор. –

Свобода торговли и промышленности; в Париже меньше пролетариев, чем при старом режиме. – Бедственное положение рантье; состояния, нажитые во время революции. – Крупные и мелкие паразиты. – Важность роли финансов и поставщиков; партия новообеспеченных богачей. – Вид Парижа; безумное мотовство и горькая нужда. – Летние вечера. – Падение всех сословных перегородок. – Женщины, балы, моды, нравы. – Разложение общества. – Последствия развода по взаимному согласию; характерные примеры. – Различные оценки общего состояния нравов. – Известная часть французов упорно хранит в душе республиканский и философский идеал. – Господствующая черта общественного настроения – желание мира. – Франция враждебно относится к старому режиму, а революционеры ей опротивели. – Правители внушают лишь из апатии и страха новых потрясений. – Состояние умов в средних и либеральных классах; их способ оппозиции. – Бонапарт в перспективе – Герой. – Бонапарт не мог завладеть властью в 1797 г., потому что не нашел поддержки и сообщников среди правительства; путь к власти был ему проложен одной из правящих групп во время Египетского похода.

I

Как же жила сама Франция при этом бесстыдном режиме?

Раны, нанесенные революцией, все еще продолжали кровоточить, и неистовства директории вновь раскрыли те, которые начинали уже заживать. Франция, уже не делающая революции, оставалась революционной, т. е. в состоянии полного переворота; отсюда проистекала масса зол. Все их можно свести к нескольким главным причинам, постоянным эндемическим, действовавшим более или менее сильно в различных местностях Франции.

Прежде всего, беспорядки. Правду сказать, в начале 1799 года, до того, как зародилась и стала глухо расти идея консульства, во Франции не заметно было крупных мятежных движений. Во всей революции не найдется эпохи, когда бы правительство было так презираемо, а страна в общем так покорна. Впрочем, это было скорее бездействие, чем покорность, и то волнуемое тысячью тревог, постоянно осаждаемое и притеснениями правителей, и насилием крайних партий. Хотя директория и выставляла себя правительством общественной защиты и золотой середины, она не могла помешать откровенным террористам во многих местах угнетать и терроризировать жителей. В 1798 г. мы еще видим в Туре зверства, напоминающие террор.²⁴ Даже в периоды временного обуздания анархистов левой, санкюлотов и красных шапок, всегда чувствуется их близость, и все дрожат при мысли, что они могут снова перейти в наступление. Во многих городах и посадах группы ненавистников конспирируют, меч-

²⁴ Dufort de Cheverny, III, 376.

тая о полном перевороте, ниспровержении всего существующего, о бабувизме в действии, и эта человеческая тина глухо волнуется. Землевладельцы в смятении говорят себе, что рано или поздно Франция придет к аграрному закону²⁵ (разделу земель).

С другой стороны, везде кишат анархисты правой, анархисты активные, люди дела. Роялисты на время отказались от вооруженных стычек, от восстаний в широких размерах, но гражданская война как бы тонкой пылью носится в воздухе. Теперь она приняла форму политического разбойничества. Злодеям и отчаянным открыты теперь два пути: один – якобинство, другой – роялизм большой дороги.

Исколесите всю Францию, пройдите ее с севера на юг и с востока на запад – всюду только и речи, что о “королевских бригадах”, об остановленных дилижансах, ограбленных почтах, убитых патриотах. Лесть, что темной массой высятся на горизонте, гора, вырисовывающаяся на небе своей зубчатой вершиной, и ближние рощи и лощины, заросшие кустарником овраги, развалины замков, заброшенные каменоломни, полузасыпанные шахты – все, кроме людных центров и открытой равнины, служит им убежищем. Почва Франции после сотрясения вся изрезана трещинами, и в каждой трещине засела человеческая накипь, поминутно пе-

²⁵ Dufort de Cheverny, II 365. Дюфор де Шеверни жил в Блезуа его мемуары ценны тем, что они написаны человеком, чуждым сильных страстей, и рассказывают почти день за днем историю революции в департаменте умеренного образа мыслей.

реливающаяся через край на дорогу.

Путешествие по Франции в эту пору дело рискованное. Почтовая карета – редкая и опасная роскошь. Ездят в дилижансе, грязном, ободранном, чуть живом, запряженном “клячами в веревочной упряжи”;²⁶ эта фура с трудом движется по ужасным дорогам, через ухабы и рытвины; иной раз приходится объехать препятствие, тогда дилижанс сворачивает прямо на поле, где грязь по колено, и, чтобы вытащить его оттуда, нужны усилия десятка быков. Если местность не открытая, вечерний привал несет с собою тревогу, и вам снятся дурные сны в гостиницах, которые все сливуют разбойничьими притонами. Вы едете дальше и чем ближе к опушке бора, чем больше по дороге холмов и откосов, тем больше опасность. Но вот на одном из поворотов блеснули наведенные ружья, и из кустов выскакивают какие-то сатанинские фигуры с черными лицами, закрытыми крепом, или выпачканные сажей. Эти страшные маски окружают карету. Лошади бьются в постромах; почтальон и кондуктор, видя направленные на них ружейные дула, под страхом смерти принуждены остановиться. Разбойники шарят в карете, выбирают из взломанных сундуков казенные деньги, бумаги, мешки с пакетами. Путешественники подвергаются строгому допросу, и горе тому, кто окажется чиновником, священником, присягавшим конституции, офицером, покупщиком национальных имуществ или просто известным патриотом.

²⁶ Chateaubriand, “Mémoires d'outre-tombe”, edit. Birè, II, 236.

Чаще всего его тут же на месте и пристрелят и уж самое меньшее, если ограбят дочиста, отберут деньги и платье и бросят на дороге, избитым и голым. Остальным пассажирам обыкновенно велят проваливать на все четыре стороны.

Таковы обычные подвиги разбойников, которые зовут себя борцами за правое дело: они даже не столько разбойники, сколько бандиты, в буквальном и этимологическом значении этого слова, бандиты, т. е. изгои (*bandits-bannis*), отверженцы нового общества, объявившие ему войну не на живот, а на смерть; нечто вроде турецких гайдуков или английских *autlaws*, которые продолжали бороться с победителями норманнами и после того, как было сломлено сопротивление саксов, и долго еще поддерживали в стране рассеянные вспышки мятежа. “Вооруженные шайки их разбойничали на больших дорогах, по которым ходили обозы норманнов; они хитростью отбирали назад у победителей то, что те взяли силой, заставляя таким образом уплачивать себе выкуп за наследье своих отцов, или же мстили убийствами за избие-ние своих соотечественников”.²⁷ Так и сторонники контрреволюции творят жестокий суд и расправу над личностями, так или иначе причастными к революции, над имуществами, запятнанными первородным грехом; они делаются анархистами из ненависти к существующей власти; они не столько хотят вернуть прежний порядок, сколько отомстить за него. Их шайки соединяют в себе все, что живет вне зако-

²⁷ Augustin Thierr, “*Conquête de l'Angleterre*”, I, 314–315.

на: прежде всего, остатки старого режима, мародеров, контрабандистов, продавцов корчемной соли (faux-sauniers); затем всякого рода ослушников революции, уклоняющихся от уплаты налога крови, беглых рекрутов и дезертиров-солдат, бунтовщиков, уцелевших от федералистских и вандейских восстаний, вернувшихся на родину эмигрантов, отчаянием или нуждой доведенных до преступления, священников, сделавшихся атаманами банд, жантильомов тонкого воспитания, в промежутках между двумя вооруженными стычками, складывающих элегию в честь своей дамы, и свирепых сынов народа, резавших в 1795 г. якобинцев в Лионе и Провансе; и тут же рядом – революционеров-перебежчиков, бывших поставщиков гильотины, оказавшихся не у дел; всевозможных бродяг, дезертиров неприятельских армий, авантюристов из чужих земель, влекомых жаждой приключений в эту страну беспорядка; и, наконец, профессиональных преступников, беглых арестантов-воров, беглых каторжников, людей, во все времена воевавших с законами, объявивших войну революции и пытающихся разрушить ее по частям, ибо революция воплощает в себе установленный законный порядок.

Смотря по местности, шайки более или менее многочисленны, пешие или конные, и приемы их различны; здесь – вся банда состоит из четырех-пяти человек, живущих среди мирного населения и как будто мирно занимаясь своим ремеслом, но время от времени сходясь для набега; там – целые

войска, вооруженные хорошими ружьями и всегда готовые к бою; одни банды переходят с места на место, другие выискивали себе какое-нибудь малодоступное убежище и основались там оседло. В Альпах мы видим целые деревни, населенные разбойниками, живущими вне всякого общения с администрацией— и законом. В окрестностях Оржера, в департаменте Эры-и-Луары, откопали целое разбойничье племя с превосходной организацией, с “атаманами, податаманами, смотрителями складов, шпионами, гонцами, цирюльником, лекарем, швеями, поварами, наставниками ребят (*gosses*) и даже священником”²⁸.

Разбойники хозяйничают не только на больших дорогах; они врываются и в дома для убийства и вымогательства денег. Они бродят вокруг селений, где обывательские распри нередко дают им сообщников. Во многих деревнях и посадах только день принадлежит революции, фразерам, чиновникам, деспотам в трехцветных шарфах и шляпах с султанами. С наступлением ночи берет реванш прошлое: какие-то тени крадутся в коммуны; дерево свободы оказывается на другой день срубленным или изуродованным, а фригийский колпак — сорванным с древка и запачканным испражнениями; из-за угла переулка, на глухой тропинке, глядишь, блеснул свет, раздался выстрел, упал человек, обливаясь кровью; неведомая рука ударом кинжала рассчиталась с местным якобин-

²⁸ Предисловие Викторьена Сарду к последнему тому *M. G. Zenôtre'a*, “*Fournebut*”, XVIII.

цем за давнюю обиду; иной раз захватят врасплох всю семью – муж изрублен саблей, женщины изнасилованы; дом горит, заливая горизонт заревом пожара.

От этого сельского террора более или менее страдает вся Франция. Но у политического разбойничества есть свои центры, свои главные очаги. На западе шуанство охватило около десяти департаментов; от этого огромного нарыва болеют и лихорадят все соседние области. Попробуем перерезать наискось Францию. На юго-восточной окраине, в устьях Роны, Воклюзе, Варе и Нижних Альпах, мы находим другой вид шуанства, провансальское шуанство, история которого еще не написана. Вся долина Роны в ее нижнем и среднем течении дышит мстью; над всем этим царством убийств носится разъяренная Немезида. В Пиренейской области брожение не прекращается. Вдоль цепи Севеннове бродят остатки роялистских партий, которые вели с конвентом и директорией войну камизаров.²⁹ В других департаментах разбойничество проявляется по большей части спорадически, отдельными нападениями; даже в окрестностях столицы нет вполне безопасных дорог; год спустя после учреждения консульства разбойники останавливают дилижанс в Шарантоне;³⁰ где только есть местечко, удобное для засады, там они,

²⁹ Протестанты Севеннских гор, восставшие после отмены папского эдикта (1685); они носили поверх платья сорочку, chemise, на местном наречии samiso; отсюда и прозвище: камизары.

³⁰ Бумаги генерала Mortier'a, командира 17-й военной дивизии, в тревизском архиве, открытом для нас любезностью герцога де Тревиз.

гляди, уж свили гнездо, и революция как будто все леса превратила в лес Бонди.³¹

Вне запада, юга и некоторых центральных областей, разбойничество почти утратило характер партизанской войны против революции и превратилось в простые набеги рекрутов, укрывающихся от воинской повинности, беспаспортных бродяг и шофферов.³² Тем не менее, эти негодяи пытаются придать себе политическую окраску, уничтожая эмблемы республики, нападая всего чаще на государственных чиновников и на покупателей национальных имуществ. В самом Париже и его окрестностях роялисты боевого закона, предвестники Кадудаля и его сподвижников, мечтают похитить или умертвить директоров.³³ Ни один человек, извлекая выгоду из революции, не чувствует себя в полной безопасности от вооруженной и бродячей реакции.

³¹ Лес (в департаменте Сены), где были убиты король Хильдерик II (673) и Обри де Мондидье, вельможа при дворе Карла V. Последний был отомщен своей собакой, которая всюду по пятам преследовала убийцу. Эта странная ненависть возбудила подозрение, по повелению короля, было устроено нечто вроде поединка между заподозренным убийцей и собакой (1371 г.). Макэру (убийце) дали огромную палку; тем не менее он был побежден, сознался в своем преступлении и умер на эшафоте, – Лео Бонди долгое время был притоном воров и разбойников и тем вошел в поговорку.

³² *Chauffeurs*, разбойники, поджаривавшие над огнем пятки своим жертвам, с целью выпытать у них, где спрятаны деньги.

³³ См. документы, цитируемые Лебон'ом в «L'Angleterre et l'émigration, 265–269.

С этой укоренившейся смутой, каковы бы ни были ее причины, власти ничего или почти ничего не могли поделать. Хотя бесчисленное множество коммун и было объявлено в осадном положении, войск часто не хватало, ибо постоянные войны удерживали большую часть армий вне пределов страны. Жандармерия была плохо организована, и притом в рядах ее нашли себе приют якобинцы. Национальная гвардия, из которой вербовались летучие отряды для преследования банд и облав на них, обнаруживала упадок духа и слабость. Гражданские власти, зависимые, часто менявшиеся, нигде не оказывали населению серьезной защиты.

Конституция создала на бумаге регулярную администрацию, искусно скомбинировала ведомства и формы, установила иерархию власти: во главе каждого департамента центральная администрация, выборное правление из пяти-семи человек; ступенью ниже окружные (*cantonales*) правления, также выборные из муниципальных агентов каждой коммуны; выборные же судебные власти. При каждом из этих учреждений агент исполнительного комитета, на обязанности которого лежало следить за точным исполнением законов, и специально прикомандированный к правлению департамента комиссар директории, префект в зародыше. Конституция III года сделала первый шаг к усилению центральной власти. Но директория постоянно меняла комиссаров, соответственно колебаниям своей политики. Все учреждения были выборные, ежегодно частью обновлявшиеся, что лишало

их устойчивости. Кроме того, в промежутках между выборами директория имела право отозвать любого администратора, заменив его своим человеком, и пользовалась этим правом произвольно, глупо. Смотря по тому, откуда дул ветер, она поощряла по очереди различные оттенки революционных убеждений, назначала, смещала и вновь назначала все тех же людей, заставляя их карабкаться вверх и вниз по служебной лестнице и перепрыгивать с места на место с головокружительной быстротой. Это было постоянное передвижение внутри страны ее служебного персонала, какое-то мелькание чиновников, которые проходили, исчезали и появлялись снова, не чувствуя и не внушая ни малейшего доверия.

Среди них было множество неспособных и недостойных. Якобинская революция отдала власть в руки отбросов населения, и директория после фрюктидора начала делать то же. По свидетельству весьма умеренного человека – речь идет об одном бельгийском департаменте – на административные должности назначали “самых неподходящих людей, или же совершенно не внушающих к себе уважения. Не способные творить добро, они творили зло с широким размахом и с упоением”...³⁴ А вскоре за тем генерал Монсей пишет из Лиона о том, в каком состоянии он нашел второй город Франции: “Теперешние власти, и в особенности центральная администрация, благодаря своему взяточничеству и лихоим-

³⁴ Доклад Herbouille, 19 брюмера, г. IX; Lanzaс de Laborie Sadomination française, I, 300.

ству, стали поистине— общественным злом. Администрация все портит своим вмешательством, все расхолаживает своими внушениями, самым своим присутствием”.³⁵

Раздача мест таким людям подрывает всякое уважение к власти; самое понятие о власти утрачено. Публика знает только, что на всех ступенях административной лестницы сверху донизу идет грабеж и хищение; каждый чиновник, не получая в срок жалованья, считает себя вправе добывать средства для жизни, чем только может. Революция создала невероятное количество новых должностей, дабы удовлетворить алчность всех, кто копошился около нее, но не в состоянии была аккуратно выплачивать им жалованье; а между тем, при самых добрых намерениях, какой службы может требовать начальник от подчиненного, когда ему нечем платить? Поэтому мы видим кучу администраторов и очень плохую администрацию. В деревнях тысячи полевых и лесных стражников, а результатов их деятельности почти не заметно. Превосходное учреждение, институт мировых судей, испорчено выборным началом, превращающим этих судей в орудия местных партий; — в городах, при массе всевозможных надзирателей, канцелярских чиновников и полицейских, очень мало полицейского надзора, терроризируемых по очереди то якобинством, то реакцией; очень мало правосудия; повсюду беспорядок в счетной части, беспоря-

³⁵ “Le maréchal Moncey”, par de duc de Conegliano, r. IX, письмо от 9-го нивоза, г. VIII. Cf. La Sicotière, “Frotté et les insurrections normandes, II, 342.

док в записи приходов и расходов, беспорядок в самих помещениях различных канцелярий и в хранении документов – беспорядок, которому не подберешь названия, невозможная путаница.

А затем, так как принцип гласит, что всем коллективным потребностям граждан должно удовлетворять само государство, без помощи посредников и частных корпораций, государство изнемогает под бременем обязанностей, им самим на себя возложенных. По уговору, республика обязана не только заботиться об удовлетворении главных нужд народа и о национальной защите, но и воспитывать в республиканском духе детей, ходить за больными, помогать неимущим, призрывать сирот, обо всех радеть, всех кормить, учить и лечить. А так как на деле она поглощена политическими распрями и заботой о самозащите, да, с другой стороны, и денег ей взять негде, то в стране оказывается во всем недостача.

По отчетам первых дней конвента, народное обучение сводится к нулю.³⁶ Больницы и убежища представляют самое печальное зрелище, хотя законом 16-го вандемьера V года в принцип постановлено возвратить им имущества, и кроме того обещаны им субсидии; в VI и VII годах, в двадцати девяти городах и департаментах они все время, кажется, вот-вот закроются, выбросив на улицу больных и увечных.³⁷ В Эк-

³⁶ Alexis Chevalier, “Les Frères des écoles chrétiennes et l’instruction primaire apres la Révolution”, 5–6.

³⁷ См. документы, цитируемые Лаллеманом в “La Révolution et les

сапострофском госпитале два лазаретных служителя душат больного, чтобы обокрасть его: “они разыгрывали республиканцев – пришлось дать им занятие”.³⁸ Призреваемые дети – дети республики – тысячами гибнут от истощения на руках деревенских женщин, которым они отданы на воспитание.³⁹ Тюрьмы – вонючие клоаки, зато стены их в таком состоянии, что бежать совсем не трудно, и порой арестанты весь день разгуливают по улицам, с разрешения тюремщика. Недостаток в деньгах, небрежность и взяточничество свели на нет и общественные работы. Дороги в ужасном состоянии.⁴⁰ Каналы засорены, плотины рушатся, порты заносит песком; природа наверстывает потерянное, напирая на отступающую цивилизацию. Вокруг плохо защищенных деревень бродят стаи волков, вновь пристраившихся к человеческому мясу; вокруг городов прежде населенные веселые местности, разукрашенные садами, превращаются в какие-то пустыри, зато крестьяне делят между собой общественные земли и рубят дрова в помещичьих и частных лесах. Во многих местах французы испытывают все неудобства и преимущества первобытного состояния.

pauvres”, 205–208, 310–376.

³⁸ **Gazette de France, 4 жерминаля года VII.**

³⁹ **Lallemand, 237–250.**

⁴⁰ **Rocquain “d'Etat de la France au 18 brumaire”, 135.**

II

К революционному беспорядку присоединялась во всех точках воздействия государства на общественную жизнь самая тягостная и трусливая тирания. Кто не оказывал вооруженного сопротивления законам или не умел обойти их хитростью, должен был выносить на своих плечах всю их жестокость. Революционеры, стоявшие у власти, отрекавшиеся от имени якобинцев и не открывавшие вновь знаменитого клуба, оставались насквозь проникнутыми духом якобинства, т. е. манией преследования. Свобода существовала только для них; другим они в ней отказывали, повелевая в то же время поклоняться ей: они боготворили ее имя и гнали ее на деле. Вот почему французы приняли Бонапарта как избавителя и так охотно променяли гнет презренных деспотов на верховную и беспристрастную тиранию.

Среди ходячих и привившихся легенд о 18-м брюмера нет более ошибочной, чем легенда об убиении свободы. В истории долго было общим местом изображать Бонапарта разбивающим ударом сабли плашмя законный порядок вещей и заглушающим грохотом своих барабанов в оранжерее Сен-Клу последние вздохи французской свободы. Перед лицом исследованных и проверенных фактов уже непозволительно повторять эту торжественную чепуху. Можно упрекать Бонапарта в том, что он не насаждал свободы, но нельзя обви-

нять его в убийстве ее по той простой причине, что он, вернувшись во Францию, нигде не нашел ее; он не мог уничтожить то, чего не было. В первые времена директории, среди бурных реакционных движений, власть несколько ослабела и допускала кое-какие поблажки, но днем убиения свободы было не 18-е брюмера, а 18-е фрюктидора, когда революционеры, чтобы сломить новый напор роялизма, основа натянули вожжи, прибегнув к грубой диктатуре. После этого *Сoup d'Etat*, направленного против нации, почти все вольности, гарантированные французам конституцией, были отняты у них коварством, или же явным насилием.

Первое право освобожденного народа свободно выбирать себе представителей и через их посредство контролировать заведование делами страны. Все индивидуумы, за которыми конституция признает гражданские права, должны принимать участие в этой передаче верховной власти избранной группе. В фрюктидоре директория рядом исключительных законов изъяла из среды избирателей целую категорию французов – родственников эмигрантов и бывших дворян, не присягнувших формально революции, лишив их таким образом прав гражданства. С другой стороны, законодательный корпус, дважды урезанный, в фрюктидоре и флореале, никоим образом не представлял собою отражения избирательного корпуса, также произвольно уменьшенного в своем составе; это было представительство по существу изуродованное, фиктивное, курам на смех.

Печать жила в крепостной зависимости, так как свободный доступ на трибуну имели только революционеры, снабженные правительственной этикеткой. После фрюктидора были отправлены в ссылку по особому указу владельцы и редакторы тридцати пяти оппозиционных газет – верное средство уничтожить эти издания. Далее законом, изданным в V году и подтвержденным в VI, все газеты и журналы отданы были под надзор полиции, облеченной дискреционной властью и закрывавшей их по произволу; у общественного мнения не было больше голоса, чтобы высказаться. Свобода союзов и сходов существовала только на бумаге, в тексте конституции. Произвольные аресты произвольной длительности ежеминутно нарушали свободу личности.

Религиозная свобода была пустым звуком. После террора и святотатственной ярости 1793 года конвент, вернувшись к основным принципам, провозгласил свободу вероисповеданий. Закон 3-го вантоза III года гласит: “Отправление какого бы то ни было культа не должно встречать препятствий; республика не оказывает денежной поддержки ни одному”. Это была замена знаменитой гражданской конституции отделением церкви от государства; схизматическая церковь теряла свои привилегии; все вероисповедания были признаны равными перед лицом государства и свободными. Эту дарованную в принципе свободу конвент на деле свел к минимуму путем ее регламентации; по отношению к христианским вероисповеданиям правительство объявило себя нейтраль-

ным и осталось враждебным.⁴¹ Были приняты всевозможные предосторожности и ограничительные меры: обязательство отправлять религиозные обряды исключительно внутри помещений, особо для того отведенных, запрещение проявлять себя какими бы то ни было наружными знаками или способами созывания верующих, запрет звонить в колокола, запрет священникам носить вне церкви священническую одежду, именоваться членами церковной иерархии, издавать приказы, инструкции, вообще какие бы то ни было письменные наставления; исповедовать ту или другую религию приходилось если, не украдкой, то под сурдинку, под надзором чиновников, всегда недоверчивых и преследующих. Закон II прериаля III года предписывал возвращение духовенству неотчужденных церквей, но был исполнен лишь отчасти. Законы об изгнании не присягнувших священников единственный раз были предметом откровенного обсуждения в представительных собраниях, накануне фрюктидора, когда обе палаты были полны роялистами.

И тем не менее в промежуток времени между 1795 и 1797 гг. всюду наблюдается возрождение католицизма, которое остается одним из крупнейших общественных явлений той эпохи. Презируя новые догматы, рухнувшие в море крови, вера поднималась из сохранивших ее глубин на-

⁴¹ Дебидур очень справедливо замечает о революционерах III года: «В общем, в недавно состоявшемся отделении церкви от государства они видели только способ уничтожить церковь». Debidour, «Histoire des rapports de l'Eglise et de d'Etat en France de puis, 1789, jusqu'à, 1870», 158.

родной души и властно пробивала себе дорогу. Церковь вышла из катакомб усеченной, но более сильной; спрятанные священники выходили из тайников, беглецы возвращались и вновь начинали отправлять церковные службы в возвращенных церквах или частных помещениях, и не только конституционалисты, но и католики добивались повсеместного восстановления своего культа.⁴² Обманчивый отдых, мимолетный проблеск лазури между бурь! После фрюкtidора, под властью бесстыдных жуиров и узких сектантов, была произведена новая и солидно обставленная жестокая попытка искоренить христианство во Франции.

Главных средств для этого употреблено было три. Во-первых, установлен для всего духовенства особый режим – убийственный. Отныне для священников нет закона; закон – это организованный произвол. Не только духовные лица, изгнанные на основании прежних законов и вернувшиеся на родину, пользуясь затишьем, приглашаются в течение пятнадцати дней выехать из пределов Франции, но, по указу, во-тированному 19 фрюкtidора, послушными советами, вообще, всякое лицо духовного звания, принесшее или не принесшее присяги, может быть выслано в силу простого мотивированного постановления, приказа с печатью директории.

Пользуясь этим правом, которым не пользовался даже комитет общественного спасения, директория, с фрюкtidора

⁴² Относительно этого движения см. исследования аббата Сикара в *Correspondant* 10 и 25 апреля 1800.

У года и до прериаля VII года, издала 9 969 постановлений о ссылке; из них 1 756 относились; к французским священникам, остальные к бельгийским, которых хватали и ссылали сотнями и до, и после восстания в их родной стране.⁴³ Революционеры лгали, провозглашая в принципе свободу культа и устраняя ее на деле путем устранения его служителей. Одних священников ссылали за проступки, доказывающие их причастность к контрреволюции; других просто по подозрению и потому, что их присутствие могло вызвать беспорядки; третьих за действия, связанные с их саном, но признанные соблазнительными и запятнанными суеверием; одного сослали в Гвиану за изгнание бесов.⁴⁴ Правду говоря, не всех постигала эта несправедливая кара; многие, даже большинство, ускользали от розысков, но зато обречены были вновь на бродячую жизнь изгнанников внутри страны.

Во-вторых, директория снова ввела для священников, желающих отправлять церковные требы, обязательную присягу – уже не гражданской конституции, в глазах государства более не существующей, но республике III года. Присягали в “ненависти к королевской власти и анархии, в верности и преданности республике и конституции III года”. Наряду с друзьями конституции присягнуло и несколько католических священников, не усмотрев никакой ереси в налагаемом на них обязательстве; но гораздо больше было отказавшихся

⁴³ Victor Pierre, “la Ferreur sous le Directoire”, 253.

⁴⁴ Barbé-Marbois, “journal d'un déporté”, 24 Cf. Vic. Pierr, 235.

связать себя торжественною клятвой с политическим строем, принципы которого были противны их совести. Они покидали храмы; одни скрывались, совсем отказавшись от исполнения обязанностей своего звания; другие прятались в ригах, в лесах, в подземельях и там героически правили тайную церковную службу. Священника теперь легче было найти в лесу, чем в городе. Были целые департаменты, где результатом введения новой присяги в связи с предоставленным администрации правом высылки священников, был вторичный перерыв в правильном отправлении культа и превращение церкви в пустыню.

Третьим средством было превращение республиканского календаря с его праздниками в орудие разрушения христианских культов. Этот календарь со звучными поэтическими названиями месяцев, вызывающими перед нами весь цикл года с его золотыми и скорбными днями, теперь внушает лишь снисходительное любопытство. Слишком часто забывают, что он ввел во Франции лишнюю тиранию и в течение многих лет причинял народу жестокие огорчения.

Декады (*le dècadi*), десятый, последний и кульминационный день декады, был избран для отправления культа, сделавшегося государственной религией и обыкновенно называемого десятичным (*dècadaire*). Не забывайте, что революция, сделавшись жестоким врагом христианства, продолжала оставаться религиозной; она сохранила страсть к литургиям, к обрядности, и часть своего времени посвящала фаб-

рикации религий. Религия декады была не чем иным, как организованным культом отечества. В назначенный день, в торжественной или пасторальной обстановке, окружные власти собирали обывателей вокруг Алтаря Отечества, читали и разъясняли законы, произносили проповеди в светском духе, задавали вопросы детям, приводили черты гражданской доблести и пр. под аккомпанемент органа и пения. Идея развить патриотические чувства при помощи зрелищ, действующих на воображение народа, сама по себе похвальна и возвышенна; она отвечала театральному вкусу эпохи. Безумием со стороны революционеров было противопоставить ее традиционным верованиям.

Алтарь отечества, жертвенник античной формы, украшенный изображениями и эмблемами, воздвигался посередине храма, нередко вытесняя дарохранительницы за клирос или в боковые приделы церкви. Во время светской службы приказано было всюду выносить или завешивать религиозные эмблемы; у католиков отняли не только храм, но и обычные часы богослужения: в Париже в десятый день служба в храмах должна была оканчиваться ровно в 8 1/2 часов утра и могла быть возобновлена лишь по окончании гражданских церемоний, и то не позднее шести часов вечера летом и восьми зимою.⁴⁵ В провинции церемонились и того меньше; в иных местах, власти под предлогом, что декады – единственный день, законом определенный для отды-

⁴⁵ Sciout, IV, 400.

ха, остальные же принадлежат труду, запретили открывать церкви во все другие дни, кроме этого, когда христианское богослужение принуждено было смиряться перед десятичным и уступать ему первое место.⁴⁶ Десятый день упразднил, таким образом, воскресенье, с которым он отнюдь не совпал, упразднил и воскресную службу, обедню, важнейшую и необходимейшую часть богослужения, – главное, чем знаменуется религиозная жизнь в глазах населения.

Эта радикальная мера привилась далеко не везде, но не было департамента, где бы администрация, поощряемая директорией, не пыталась добиться всеми мерами, кроме открытого принуждения, перенесения обедни с седьмого дня на десятый. Точно так же и меры строгости против священников не везде применялись одинаково усердно. Местами они терпели жестокие гонения – там, где произвол властей соответствовал суровости законов. Местами, наоборот, власти смотрели сквозь пальцы, смущаясь сложностью законов, нагромождавшихся один на другой, не умея разобраться в этой путанице, а отчасти и побаиваясь негодования обывателей. Везде и во всем коррективом произвола был беспорядок. В общем смещении, во мраке неизвестности, покрывавшем легальное состояние бесчисленного множества лиц, некоторым священникам удавалось скрывать нелегальность своего положения; их забывали и терпели. В итоге в каждом

⁴⁶ См. наставление консулов 7-го нивоза года VIII, об отмене этих мер, *Correspondance de Napoléon*, VI, 4471.

департаменте получались странные несообразности в условиях религиозной жизни Франции.

Здесь культ совершенно упразднен, там он влачит жалкое, шаткое существование, трепеща перед угрозой кары, постоянно висящей над головой его священнослужителей. Вот, например, два смежных департамента Эндры-Луары и Луары-Шеры. Дюфор де Шеверни, живший в окрестностях Блуа, пишет: “В целой Турени не сыскать теперь ни одного священнослужителя. В департаменте Луары и Шеры иные порядки; там священники и до сих пор живут очень спокойно. Они могут сказать про себя, как тот человек, что, упавши с башни Собора Парижской Богоматери, кричал на лету: “Пока недурно, лишь бы и дальше так!” (*Cela vabien pourvu que cela dure*).⁴⁷ В департаменте Эры и Луары комиссар директории пишет: “В большей части моего округа католического вероисповедания не существует более.⁴⁸ В деревнях Вандеи оно сперва было отменено фрюктидорским указом; затем несколькими священникам, присягнувшим конституции, разрешено было служить обедню.⁴⁹ В 1798 г. население Дромы совершенно лишено духовной помощи; в 1799 г. в Марселе священники правят богослужение в храмах, при большом стечении народа.⁵⁰ В Париже церкви возвращено

⁴⁷ Мемуары, III, 386–387.

⁴⁸ Sciout, IV, 374.

⁴⁹ Chassin “Les pacifications de l’Ouest”, III, 85.

⁵⁰ Военный архив, общая переписка, августовская папка 1779 г.

было пятнадцать храмов, из них восемь католикам, под условием, что они будут совмещать в себе богослужение с культом декады и теофилантропическими обрядами; чтобы восполнить недостаток храмов, католики с разрешения закона отвели под них несколько частных домов; но после фрюктидора все эти часовни были закрыты.⁵¹ Конституциональный культ, хотя и сделался подозрительным и нередко терпел гонения, все же в общем держался, но огромное большинство верных отрекались от него.

Странные аномалии приходилось иной раз допускать революционерам. В этой Франции, полной разрушенных и оскверненных обителей, оставили нетронутыми несколько женских монашеских общин, посвятивших себя уходу за больными и помощи бедным, – оставили, потому что иначе нельзя было, потому что не нашлось никого заменить их. В знаменитом боннском Hôtel “Dieu” (странноприимном доме) монахини, сбросив свой костюм, который они носили четыре столетия, продолжали стоять на страже католицизма. Во многих коммунах и даже в самом Париже сестры, переодетые лазаретными сиделками, продолжали украдкой исполнять свой устав и обряды своей религии.⁵²

Зато в других отношениях антирелигиозная мания перешла всякие границы, достигла верха смехотворной нелепости. Постановлением от 14 жерминаля IV года запрещено

⁵¹ Sciout, III, 176–177.

⁵² См. Lallemand, 137–146.

было в дни, прежде носившие название пятниц, вывозить рыбу на рынок; посту объявлена была война, и рыба воспрещена, как католическая пропаганда, к большому ущербу для нашей рыбной ловли. В Париже закрыта была оратория при часовне кармелиток за то, что там отслужили обедню в праздник Крещения;⁵³ в Страсбурге оштрафован купец за то, что у него в лавке в постный день было больше рыбы, чем обыкновенно, и триста пятьдесят огородников отданы под суд за то, что они в воскресный день по случаю праздника не вывезли овощей на рынок.⁵⁴ Эти запреты пережили даже брюмер благодаря местным агентам – грубым орудиям рационалистической тирании. О, разум, сколько глупостей люди творят во имя твое!..

Этим диким крайностям нет оправдания. Надо сознаться, однако, что революционеры руководствовались не исключительно нелепым желанием насиловать совесть, искоренять религиозное чувство, насильно вырывать с корнем верования и традиции. В большинстве случаев они встречали в ортодоксальном духовенстве политического врага. Силою стечения обстоятельств католицизм оставался религией борьбы против революции со времени ее первых промахов.

В самом начале низшее духовенство в огромном большинстве приветствовало революцию, как обетование материального и нравственного возрождения и евангельского

⁵³ Sciout, III, 176.

⁵⁴ См. выдержки, приводимые Sciout, III, 390.

братства людей. Гражданская конституция, поставив между революцией и церковью вопрос совести, вызвала разрыв, пробудила сопротивление с одной стороны и ярость – с другой. Даже и после того, как государство сложило с себя роль официального защитника и покровителя схимы, много возвратившихся священников продолжали повиноваться политическим указаниям эмигрировавших епископов и получать лозунги из-за границы. Они проповедовали неповиновение законам, подстрекали рекрутов к бегству, были агентами роялистской реакции, словом, оставались на военном положении. Однако в период затишья было несколько попыток сближения и примирения. Довольно многочисленная группа священников согласно учению церкви в чистом виде, да кстати, и папскому приказу, признавала принцип установленной власти, проникнутая духом высокого милосердия, прощала обиды, избегала всякого намека на ужасное прошлое, воздерживалась от критики гражданских законов, ограничиваясь чисто религиозной пропагандой, утешала народ, посвящала себя добрым делам и апостольскому уловлению душ.⁵⁵ То было усилие отделить алтарь от трона, и князья церкви встревожились. Но в этот момент возник террор фрюкtidора, поставивший преграду этому движению, создавший, или по крайней мере обостривший в католиче-

⁵⁵ См. “Manuel des missionnaires”, составленный в 1796 г., разобранный Aulard'ом в “Etudes sur la révolution française”, 11, 174–175. Léon Sêché, “les Origines du Concordat”, I passim.

ском духовенстве нечто вроде раскола по вопросу о сопротивлении или подчинении республике.

Впрочем, для католических священников и невозможно было по совести примириться со всеми совершившимися фактами. Помимо гражданской конституции, камнем преткновения оставалась секуляризация церковных имуществ, не утвержденная Римом. Когда какой-нибудь покупатель церковных имуществ являлся на исповедь, чтобы примириться с Богом, не отказываясь от своей доли добычи, священник, если он сам был из мирных, пускался в околичности, говорил иносказательно, требовал скорее покаяния, чем возвращения взятого, но совесть запрещала ему целиком отпустить грех революционеру, раскаявшемуся лишь наполовину.⁵⁶ Он требовал возвращения церковных сосудов и движимого имущества, или же возмещения его стоимости, а относительно недвижимого ссылался на будущее, на возможность соглашения. И Рим, конечно, пошел бы на такое соглашение, но для этого ему нужно было иметь кого-нибудь, с кем войти в переговоры, а парижское правительство бравировало грубым безбожием. Для прекращения религиозной распри, отравившей всю революцию, нужно было сильное правительство, которое бы обеспечило одновременно фактическую свободу культа, права гражданской власти и успокоение умов.

А пока гонение на христианство на всякие лады терза-

⁵⁶ Выдержки из Manuel des missionnaires Aulard'a, 176–178.

ло Францию; это была тирания чрезвычайно плодovitая, порождавшая массу других. В особенности разнообразные формы принимало гонение из-за десятого дня. На этот день хотели целиком перенести воскресенье со всеми его различными, с незапамятных времен установленными атрибутами. Базарные и ярмарочные дни уже и были перенесены, и это вызывало ропот в народе, нарушая его привычки. Браки решено было заключать только в десятые дни, и притом в храме главного города округа (кантона), что принуждало сельских новобрачных к дальним поездкам и делало их предметом грязных шуток всех шалопаев городка. Дошло до того, что заставляли обывателей снимать с себя праздничное платье в воскресные дни и наряжаться в десятый. 17-го термидора VI года революционное правительство подтвердило обязательность празднования десятого дня и прекращения в этот день всех работ, кроме тех, которые административной властью признаны срочными.

Народ не слушался, не хотел разрывать с традицией пятнадцати веков; народ упорствовал в сопротивлении законам, правительство упорствовало в насилии над обычаями. Чтобы заставить не работать в десятый день, прибегали к штрафам, к тюремному заключению, порою даже к грубому кровавому насилию; в Манском округе (департамент Нижних Альп) организована была целая военная экспедиция против ослушников, и “войска стреляли в нескольких пахарей, ко-

торые пытались убежать⁵⁷”.

Вопрос о том, какие именно работы должны быть запрещены и какие могут быть допущены в десятый день, служил предлогом для хитроумных споров и пробным камнем для революционной казуистики. В Сен-Жермене-ан-Лэй дело кузнеца, в десятый день подковавшего лошадь проезжего “подковами, изготовленными и выкованными в течение декады”, повело к форменной консультации у министра внутренних дел.⁵⁸ В Страсбурге, если правительственные агенты, проходя по улицам в десятый день, услышат подозрительный шум, стук верстака или жужжанье прялки, они врываются в дом и составляют протокол.⁵⁹ В Илль-и-Вилэне приговорена к денежному взысканию реакционерка, бедная старуха, которую застали за прялкой, работающей “на виду у прохожих”.⁶⁰ Эти пуритане директории желают сделать десятый день, за вычетом гражданских ассамблей, безмолвным и унылым, как шотландское воскресенье. Главное, чтобы не отпирали лавок в десятый день и не запирали их в воскресенье; а если крестьяне вздумают в упраздненный воскресный день повеселиться, как в старину, и потанцевать под зеленой листвой, жандармы уж тут, как тут и без церемонии разгоня-

⁵⁷ Донесение от 1-го прериаля, года VI; Sciout, IV, 385.

⁵⁸ Выдержки, приводимые Sciout, IV, 386–387.

⁵⁹ Дошли до того, что запретили мастерам работать даже у себя на дому, при закрытых окнах и дверях и без шума. Sciout, выдержка из донесения” IV, 390.

⁶⁰ “Memoire des S'evêque constitutionnel Le Coz, dans Roussel”, 339.

ют танцующих. В Йонне крестьяне кричат им: “Какая же это свобода, если нам нельзя и потанцевать, когда хочется?”.⁶¹ И слова эти весьма знаменательны; они показывают, как обратилась против революции идея свободы, которую, однако, она же вложила в народную душу. Революция была вначале надеждой простых людей и вызывала в них такой же энтузиазм, как и в упивавшихся ею ученых и книжниках; теперь, во имя отвлеченного и в своем роде аристократического идеала, она обрушилась на верования, нравы и обычаи бедняков, на привычки, глубоко пустившие корни в жизнь или милые сердцу, и в простом народе повсеместно росло недовольство против этой мономании, губительной для свободы.

Революционеры говорили: народ цепляется за старые предрассудки, потому что он невежествен, а коварные просветители внушают ему суеверие и фанатизм. Значит, надо придать республиканский характер образованию и в то же время распространить его на народную массу, залив страну светом просвещения. В сфере высшего образования конвент имел высокие заслуги перед наукой, основав в Париже такие учреждения, как политехническая школа, музей, нормальная школа, консерватория искусств и ремесел. В деле начального и среднего образования он начертал грандиозный план, впоследствии урезанный, и предоставил своим преемникам заботу о выполнении его. Директория взялась за дело, попробовала открыть везде начальные школы и в каждом де-

⁶¹ Выдержки из донесений у Sciout, IV, 386.

партаменте центральную, но успех был весьма неполный.

С другой стороны, конвент 16-го брюмера III-го года провозгласил свободу обучения: “Закон отнюдь не посягает на присущее каждому гражданину право открывать частные и вольные школы под надзором установленных властей”. Вследствие этого закона открылось множество школ, называвшихся тогда частными; многие из них содержали бывшие священники, принужденные сложить с себя свой сан, или бывшие монахи; в этих школах детям давали христианское воспитание, а гражданским пренебрегали. Что же вышло? Отцы семейств, оставшиеся или снова сделавшиеся католиками, или, по крайней мере, верившие в нравственную ценность католицизма, посылали своих детей в школы, где учили закону Божию и очень мало – уважению к республике. И в этом отношении, как во многих других, произошел полный разрыв между нацией и правительством.⁶²

Об этом свидетельствуют все документы; отчет VI года о народном образовании в Париже гласит: “Частные учебные заведения отняли у государственных начальных школ почти всех учеников. Принужденные обучать только бедняков, которые не могут платить за право учения, получая за свои труды лишь малое вознаграждение, которого едва хватает на квартиру, многие из них упали духом и вышли в от-

⁶² См. Albert Duruy, “l’Instruction publique et la Révolution:”, 336–351 и Victor Pierre “l’Ecole la Révolution française”, 159–219.

ставку”;⁶³ следующий отчет констатирует, что учителя, назначаемые государством, проповедуют в пустыне. К большому соблазну парижской полиции, даже известные революционеры, публично хваставшиеся своим неверием, в семейной жизни подпадали влиянию старых предрассудков и давали своим детям христианское воспитание; в “школах фанатизма” учились дети генералов и депутатов; “эти депутаты, которые в 1792 и 1793 г. больше всего ратовали против священников, не считают образование своей дочери законченным, пока она не конфирмовалась”.⁶⁴

Чтоб устоять против этой губительной конкуренции и оживить свои чахоточные школы, директория прибегала к различным приемам. Особым постановлением она обязала чиновников посылать своих детей в государственные школы. Комиссар департамента Сены предлагал более радикальное средство: “Пусть закон постановит, что, начиная с известного срока, никто не может сделаться чиновником, не пройдя всех классов начальной и центральной школы”.⁶⁵ До этого государственная власть не дошла, но все же приняла ряд мер, являвшихся посягательствами на свободу: увольнение учителей и учительниц свободных школ за недостаток гражданских чувств, приказ частным школам праздновать десятый

⁶³ Отчет, цитируемый Alexis Chevalier, в его книге “Монахи христианских школах и начальное обучение после революции”.

⁶⁴ Schmidt, “Fablea ux de la Révolution”, III, 374.

⁶⁵ Ibid, III, 377.

день и не прекращать занятий в воскресенье, приказ вывешивать в школьных помещениях крупными буквами отпечатанную Декларацию прав и обязанностей гражданина строгий надзор за преподаванием, с целью придать ему единый и республиканский характер. “Мы полагали, – говорят администраторы Сены, – что, если оставить эти заведения без строгой инспекции и надзора, в республике окажется два вида школ, два рода воспитания; в государственных начальных школах наших детей воспитывают в принципах чистой морали и республиканства; в частных школах они впитывают в себя предрассудки суеверия и нетерпимости; таким образом, разница мнений, фанатизм, взаимная вражда будут без конца переходить из поколения в поколение”.⁶⁶

Идеалом революционеров было бы заставить всю Францию учиться и воспитываться, а затем жить, мыслить, действовать и чувствовать по уставу. Им надо было, чтобы все воспитывало французов в этом направлении: материальный облик вещей, внешний вид улиц, ободранные фасады церквей, сломанные кресты, пустые ниши, заново окрещенные улицы, стертые надписи на памятниках, изменение или сокращение старинных названий, – теперь говорили просто улица Онорэ, ворота Мартина” предместье Антуана,⁶⁷ даже святых обратили в мирян, – обилие эмблем и девизов, вечное сплетение греко-римского орнамента и национальных

⁶⁶ Chevalier, 7–8.

⁶⁷ Вместо св. Антуана, св. Мартина.

цветов, доходившее до оргии трех красок, многочисленность гражданских и языческих праздников, периодически сменявших друг друга. Из этих праздников одни были красиво задуманы и производили внушительное впечатление, так как революция умела устраивать торжества; другие – смешны, так как революция сохранила пристрастие к мифологическим костюмированным шествиям, к поддельным римлянам, процессиям гипподрома, и оставалась торжественно карнавальная.

Желательно было также, чтобы литература и театр прониклись революционным духом, а между тем этот источник вдохновения совершенно иссяк. Поэзия превратилась в версификацию и, несмотря на самые добросовестные усилия, трагедия окончательно застывает от соприкосновения с ледяной холодностью публики, которой уж не оживляют великие веяния. Что касается литературы, Париж читает газеты, перелистывает кое-какие брошюры и питается романами Анны Радклифф. Париж бежит в театр на пьесы с преступлениями и мрачной сверхъестественной фабулой, отвечающей запросам его расстроенного воображения. Театральная публика выказывает нарочитую невнимательность во время обязательного исполнения патриотических и революционных арий, которые музыканты оркестра с уныло-скучающим видом играют перед началом спектакля.

Дошло до объявления гражданской властью войны словам, до запрещения произносить на сцене названия упразд-

ненных вещей, до подделки текста и заглавий старинных пьес, до запрета выходить на сцену в мундирах в тех пьесах, где действие происходит во времена монархии, до гонения на классиков, на самую древность. В прериале VII года возобновление оперы Мегюля Adrian (Hadrien) вызвало целую бурю в совете пятисот; депутат Брио кричал: “Короновать на сцене императора – это оскорбление республиканцам!” И затем прочел несколько стихов либретто, “вызвавших взрыв негодования в совете”,⁶⁸ как отмечено в протоколе заседания. Для успокоения пятисот директория заявила, что Адриан отныне будет выходить на сцену в простой генеральской форме, без императорских регалий; его триумфу постарались придать республиканский характер, самое большее, если в нем можно усмотреть намек на победы генерала Бонапарта.

Таким образом, на все наклеивался революционный этикет; был поднят вопрос о том, чтобы наложить его на самую особу гражданина, сделать его неотъемлемой частью костюма. Давид нарисовал модель костюма французского гражданина; ношение его не было обязательным, но все же французов обоего пола пытались пометить национальными цветами и заштемпелевать кокардой. Эта мера привилась не повсеместно, но во многих департаментах под конец директории не пускали в города лиц, не имевших при себе трехцветного значка; таковым воспрещен был доступ в собрания и на

⁶⁸ Отчет в *Moniteur*'е о заседании 18-го прериала.

заседания учредительных комитетов.⁶⁹ В Париже гренадеры законодательного корпуса грубо выталкивали из Тюльерийского сада гражданок, пытавшихся прогуливаться там, надев на себя установленной кокарды.⁷⁰

Итак, француза притесняют на всякие лады. Пользуется ли он, по крайней мере, элементарной свободой – ходить и ездить, куда вздумается, отлучаться из дому по делам? Если только его гражданская благонадежность не выше всяких подозрений, пусть он остерегается покидать, хотя бы не надолго, свою коммуну, ездить хотя бы в соседний департамент. Над ним вечной угрозой висит и сторожит его список эмигрантов, всегда открытый, никогда не законченный. Всякий обыватель, временно отсутствующий, рискует попасть в этот список волею администрации, на которую нет ни суда, ни управы. Всякий француз, покидающий свое местожительство, может быть превращен в эмигранта, т. е. рассматриваем по возвращении, как вернувшийся на родину эмигрант и без всяких формальностей расстрелян по капризу одного из тиранов низшего разряда, этих добровольных ищущих революции. Для попавшего в роковой список отныне единственное средство спасения – скрыться; имущество же его будет секвестровано, в ущерб всем, с кем он заключал договоры. Ввиду такой необеспеченности имуществ, все сделки

⁶⁹ “Mémoire de Le Coz” у Roussel'я, 339. Постановление, цитируемое Bonnefoy, “Administration cioile du departament du Puy-de-Dôme”, 218–219.

⁷⁰ Gazette de France; 4 жерминаля, VII года.

шатки, в делах он робости застой, и чудовищный произвол законодательства содействует глубокому расстройству в общей экономии страны.

III

Каково же было в то время экономическое и социальное положение Франции? Великие кризисы, переживаемые нациями, тем разнятся от болезней отдельной личности, что не парализуют всего организма; они губят множество индивидуумов и сильно реагируют на всех остальных; но все же эти остальные продолжают есть, одеваться, ежедневно вести счет своим расходам, заботиться о своих нуждах и даже удовольствиях; они покупают, продают, поддерживают сношения с себе подобными.

Даже террор и закон *maximum*'а не могли окончательно задуть экономической жизни Франции, хотя и внесли в нее жестокое расстройство. Теперь пытались вернуться к более нормальному порядку вещей; в стране имелась торговля, промышленность, мануфактуры, биржи в больших городах, окружные ярмарки, но все это в до странности миниатюрных размерах и какое-то ненадежное; общая неуверенность в завтрашнем дне и куча препятствий мешали поправить зло, а добытое благо лишь с большим трудом могло выбиться из общей путаницы. Чтобы дать трезвую оценку положению вещей, в хорошем и дурном, нужно сравнить его с

тем, что было накануне катастрофы.

Франция последних времен старого режима была страной контрастов. Деятельные, цветущие округа и рядом – огромные, унылые пустыри; привилегированные классы, буржуазия, с необычайно разросшимися капиталами и общественным влиянием, – и рядом – рабочий, крестьянин, по-прежнему зажатый в экономических тисках; бездна всяких неправд, упорное сопротивление прогрессу – и в то же время все яснее и яснее сказывающееся стремление к улучшению общей участи. Никогда еще мыслящие классы не интересовались так живо государственной и социальной экономией; никогда не видано было столько правителей и администраторов, принимавших к сердцу заботу о народном благе и религию прогресса. Но усилия их, наталкиваясь на всевозможные привилегии и разбиваясь о сплоченную глыбу злоупотреблений, достигали цели, содействуя прогрессу, лишь по временам и, главное, местами.

Некоторые города процветали, и каждый был как бы столицей своего района; в них замечалось необычайное развитие торговли, промышленности, колонизации. Марсель захватил по меньшей мере две трети: всей торговли Востока; Бордо представлял собой как бы монументальные ворота, в которые плыли богатства, привозимые с Антильских островов;⁷¹ Лион по части шелковых изделий не имел себе равно-

⁷¹ “То были золотые дни истории Бордо”, – говорит Марсель Марион в своих очерках о состоянии землевладельческих классов в XVIII столе-

го; Руан и его нормандские братья выделяли превосходные ткани, хотя и жаловались, что торговый договор с Англией 1786 г. нанес им серьезный ущерб. Внутри страны различные отрасли местной промышленности, локализованные в ловких и добросовестных руках, приносили благосостояние отдельным группам. А в центре удивлял свет Париж, столица идей и наслаждений. Никогда еще цивилизация не распускалась там такими нежными цветами, хотя опять-таки вокруг кварталов, где обитали роскошь и привилегированная промышленность, тянулись окопы нищеты, населения лачуг и чердаков, становища варваров, и в этом Париже, полном радостей, несчастные жестоко страдали, доходя до отвращения к жизни.⁷² Что касается сельского населения, оно жило очень бедно, под гнетом привилегий высших классов, под бременем налогов, под тяжестью барщины, под всем этим “хаосом несправедливостей”.⁷³ Недостаточно бережное отношение к его ресурсам оставляло вопрос о его пропитании всегда открытым. Положительно установлено, что в конце царствования Людовика XVI, гуманнейшего из королей, огромное большинство французов не знало, что значит есть досыта. Богатство, роскошь, довольство, оставались привилегиями известных местностей еще больше, чем известных классов населения; Большие торговые города, порты, про-

ти в бордосском округе. *Revue des etudes bristorigues*, март-апрель 1902 г.

⁷² См. Fhiebaut “Memoire”, I, 139.

⁷³ Marcel Marion loc cit, по выражению одного субделегата.

мышленные центры были блестящими точками, озарявшими вокруг огромное пространство нищеты.

Революция и война, эти два тесно связанных между собою явления, которых никогда не следует рассматривать отдельно, сбили головы пышности и довольству. Падение государственного строя, крахи больших состояний, разгул варварства, закрытие портов, блокада страны лишили Францию ее венка цветущих городов. В Лионе из пятнадцати тысяч мастерских осталось только две;⁷⁴ Марсель умирает; в Бордо перестали освещать улицы по вечерам.⁷⁵ Вывоз полотен из Бретани и Нормандии прекращен, точно так же, как и вывоз сукон из Лангедока. В Тьере ножевые фабрики наполовину сократили производство.⁷⁶ В Гавре в течение всего V-го года закрыты все магазины; в гавани Кале едва виднеются несколько мачт; навстречу редкому гостю-кораблю выходят на пристань люди в бумажных колпаках и карманьолах, шлепая деревянными башмаками.⁷⁷ Повсюду страшные рубцы недавних ран; в Арра́ одна улица совершенно обезлюдена гильотиной; здесь же разрушено столько церквей, что некому даже продавать материалы;⁷⁸ Валянсьен, раздавленный в

⁷⁴ “Lettres de Talleyrand á Napoléon, изд. Пьера Бертрана, 14.

⁷⁵ Ceradis, “Histoire de Bordeaux”, 385.

⁷⁶ “Georges Bonnefoig, “Histoire de l'administration civile dans le departement du Puy-de-Dôme”, II, 357.

⁷⁷ Chateaubraind, “Mèmoires d'outre-tombe”, II, 234.

⁷⁸ Mémoires de l'abbé Baston, III, 20–21.

1793 г. австрийскими пулями, остается трупом. В Париже характерны донесения полиции о положении ремесленников: “кто держал прежде шестьдесят-восемьдесят рабочих, теперь не держит и десяти”.⁷⁹ Напрасно директория в редкие промежутки отдыха и просветления пытается поднять экономическую деятельность страны и торжественно открывает в 1798 г. на Марсовом поле первую выставку продуктов промышленности. Все, чем держалось насиженное и прочное благосостояние городов, – крупные деловые обороты, обращение капиталов, работа на мануфактурах, – все пошло ко дну во время бури, или всплыло наверх чуть живое.

Зато вне очагов постоянных волнений, каков, например, запад, весь израненный, земледельческое население, наоборот, выиграло от революции. В деревнях крупные землевладельцы, экс-дворяне, не эмигрировавшие, стали несчастнейшими в мире людьми. Нравственные муки и унижения, материальные притеснения, ожесточенные придирки фиска, упражняющегося на них в произволе, – ничто не минует их; любопытно, что даже такой человек, как Дюфор де Шеве́рни, не пожелавший эмигрировать и в своем поместье в Блезуа благополучно переживший весь террор, в 1797 году готов покинуть родину, все бросить и переселиться в другую страну – слишком уж донимают его разные мелкие неприятности, докуки, булабочные уколы, и у него больше не хва-

⁷⁹ Schmidt, “Fableaux de la Révolution”, III, 383.

тает терпения.⁸⁰ Землевладельцев среднего достатка меньше обижают. Мелкие же собственники, которых и до революции было уже немало, люди малообразованные, однодворцы, фермеры, мызники, батраки, поденщики, т. е. большинство, приобрели кое-какой достаток.

Революция отнюдь не создала мелкой собственности, но она освободила ее из-под гнета. Теперешние налоги, как они ни обременительны, не могут сравниться с прежними тяготами; устанавливая их, учредительное собрание руководствовалось мудрыми принципами. Притом же крестьянин, при неупорядоченности сбора налогов, или вовсе не платит их,⁸¹ или платит обесцененными бумагами, никуда не годным тряпьем. Отмена феодальных прав, оброков, десятин и барщины, упразднение внутренних таможен, застав, проездных и речных пошлин освободили земледельческий труд, облегчили сбыт продуктов, развязали руки крестьянину.

Жак Простак,⁸² как Гулливер у Свифта, чувствовал себя до 89 года привязанным к земле тысячей сковывающих его уз; эти узы вдруг перерезали; гигант потянулся, расправил члены, встал; не зная, как излить свою радость, он, как истый варвар, для начала изломал все кругом. Теперь он живет

⁸⁰ *Mémoires*”, III, 365.

⁸¹ По словам министра Годена, к началу IX года накопилось от прошлых годов до 400 миллионов недоимок (Stourm “Finances du Consulat, 181). К концу VII года из 45000 приблизительно списков плательщиков налогов 35000 еще не были составлены.

⁸² *Jacques Bonhomme*, – прозвище французского крестьянина.

среди развалин; здесь деревенская церковь, ободранная, лишенная креста и аляповатых скульптурных украшений; там опустошенный замок, без мебели, открытый ветру и дождю, с зияющими дырами вместо окон, с проломанной крышей: всюду следы опустошения, на кладбище повалены кресты, в парке поломаны деревья, изгороди, сорваны решетки, в лесу идет беспорядочная рубка, мачтовый лес исчез с лица земли, дороги брошены на произвол судьбы и превратились в озера грязи. Кажется, будто Франция пережила нашествие варваров; оно так и есть, но от этого не иссякли главные источники жизни, как они, например, иссякли, и надолго, в Германии после тридцатилетней войны. Революция была губительницей капитала, почти свела на нет обращавшееся в стране количество звонкой монеты, уничтожила чудные сокровища искусства и красоты, но она же посеяла среди развалин зародыши новой и более полной жизни.

В некоторых местностях освобожденная земля уже успела подняться в цене. В Лимане “земельные участки продаются в полтора раза, а то и вдвое дороже, чем до революции...⁸³ Крестьяне разбогатели, земля лучше обрабатывается, женщины лучше одеваются.⁸⁴ Теперь, когда обширные участки, обрабатывавшиеся крепостными, пущены в обра-

⁸³ **La Fayette, V, 533.**

⁸⁴ **Ibid, 108. Bonnefoy, “Histoire de l'administration civil dans la province d'Auvergne et le departement du Puy-de-Dôme”, II, 366. Относительно севера Франции. См. “Lettres de Malmesbury”, октябрь 1796 г.**

щение, земля стала как бы гибче и производительнее. Многие крестьяне выступили в качестве покупателей национальных имуществ, прикупили кусок земли, увеличили свой надел.⁸⁵ Правда, они живут под страхом мести реакционных банд, но герои политического разбоя не трогают крестьян, ставших теперь собственниками земли, и сельских рабочих.

В деревнях мы уже не наблюдаем более приступов общей паники, жестокой дрожи, время от времени охватывающих весь народ перед началом революции и предвещавших великую горячку социального организма. Под грохот вокруг еще бушующей бури крестьянин уже взялся за работу. Если муж на войне, за него работает, и не хуже его, жена; она идет за плугом, берет заступ и лопату, пашет и полет. Крестьянин живет на своей земле, которую чувствует теперь больше прежнего своей, расширяет площадь посева, чаще прежнего ест мясо, напивается допьяна, когда вино дешево, и плодит детей. Во время революции население увеличилось.⁸⁶ Это установленный факт, который может быть объяснен подь-

⁸⁵ По вопросу о том, среди какого класса населения главным образом были распределены национальные имущества, известны труды и различные взгляды Focqueville'я, Aoenel'я и Лучицкого, а также Англада ("Secularisation des biens ecclesia stiques" par Maurice Anglade) и последнее исследование Lecarpentier в "Revue Historique", сентябрь-октябрь 1901 г. Вывод из этих, имеющих большое значение, хотя и неполных исследований тот, что крестьяне одновременно с буржуа приобретали национальные имущества, те и другие в большем или меньшем размерах, соответственно местности.

⁸⁶ Levasseur, "La population française", I, 298–299.

емом жизненных сил в начале и затем общей распущенностью; но есть и особые причины: в рекруты не берут женатых, и молодые люди женятся, начиная с шестнадцатилетнего возраста, поэтому ребят во всех коммунах оказывается вдвое и втрое против прежнего.⁸⁷ Добросовестный наблюдатель должен сознаться, что опустошенная Франция таит в недрах своих нарастающие силы, что из земли, заваленной обломками, уже пробиваются наружу семена нового и более многочисленного человечества, зародыши будущего благоденствия.

Уже теперь земледельческому классу легче дышится, тем более, что урожаи недурны, зерновых хлебов изобилие, и цены на предметы обычного потребления стоят низкие. На основании сведений, получаемых им в изгнании, Лафайет пишет Латур Мобуру: “Вы знаете сколько в ваших краях было нищих людей, умиравших с голоду; теперь их почти не видно”. Сам Дюфор де Шеверни признается, что удручающего безденежья, которое так тяготит людей его сословия и ближайших к нему, не существует в земледельческом классе. “В департаменте царит спокойствие – и нищета, по крайней мере, среди помещиков, ибо поденщикам вино обходится три су, хлеб два, а поденщина дает тридцать-сорок. Неизбежный результат – кабаки переполнены, и народ сам диктует условия своего труда”.⁸⁸

⁸⁷ Dufort de Cheverny, III, 422.

⁸⁸ “Mémoires”, IV, 386; La Fayette, V, 103.

Это еще не значит, что народ в деревнях доволен своей судьбой и живет в мире с законами. Против гонения на религию, против тирании десятого дня, которая вкрадывается даже в мелочи его жизни и в конце концов всех делает послушниками закона, он не только ропщет – он становится на дыбы и лягается. Он нередко отбивает у жандармов арестованных священников, отстаивает своих старых деревянных святых и горки с крестами,⁸⁹ которые сельские власти продолжают уничтожать. Ненавистны ему также приемы, к которым прибегает правительство при сборе податей; он негодует, когда постой, присланный ему в наказание, врывается в его дом, садится у его очага, его нужно содержать и кормить. Целая армия таких экзекуционеров наводняет страну, а цель не достигнута: кошель не развязываются. Размеры подати в принципе установлены справедливо, но распределение неравномерное; департаменты жалуются, что они обложены несоответственно их ресурсам; в коммунах распределение земельного налога муниципальными агентами ведет к возмутительным несправедливостям: “Все плательщики согласны в том, что налог был бы не высок, будь он равномерно распределен... В различные эпохи революции партийность, личный интерес, подкуп влияли на распределение. С одного участка взимают чуть не две трети чистого дохода, а другой тут же рядом платит десятую-двенадцатую часть... Муниципальные агенты совсем освободили от обложения свои зем-

⁸⁹ Голгофа. Calvaire.

ли и участки своих друзей, а врагов обложили сверх меры. Есть много совершенно забытых земель, которые вот уж десять лет не платят никаких налогов”.⁹⁰

Тем не менее все чувствуют, что налоги растут вследствие продолжительной войны и хищений и становятся непомерными.

К обложению недвижимого и движимого имущества присоединяется с 1798 года налог на двери и окна. Одновременно с этим восстановлен другой старинный вид налогов, а именно городские пошлины, и поговаривают о восстановлении ненавистной соляной пошлины. Революция, упразднившая заставы на дорогах, вначале имела на своей стороне всех возчиков; с восстановлением проездных пошлин все они становятся реакционерами, но дальше крика не идут: “Это мимолетная вспышка; баранья порода скоро смирится и станет послушной, подобно реквизионерам”.⁹¹

Недавно введенный рекрутский набор ненавистен крестьянству; он прививается с большим трудом, но все же прививается; число уклоняющихся от воинской повинности возрастает до необычайных размеров,⁹² и все же пойманные бег-

⁹⁰ Rocquain, 59.

⁹¹ Dufort de Cheverny III, 381.

⁹² Национальные архивы, А. Ф., III, 150. Рекрутский набор (conscription) фримера года VII; военный министр потребовал 200 000 рекрутов; из 18 департаментов 16 вначале отказались поставлять новобранцев. За весь брюмер и первую декаду фримера, из 150 000 ожидаемых новобранцев удалось набрать всего 23 899.

лецы в конце концов смиряются, ибо у Галльской расы покорность в крови вот уже восемнадцать веков. Она на все жалуется и всему подчиняется; за исключением местностей, где люди особенно пылки и упрямы, как на юге и на западе, да в покоренных странах, как Бельгия, недовольство не переходит предела, за которым уже начинается бунт. Притом же, по глубокому замечанию Малле дю Пана, “старый режим оставил себе такую память, что даже террор не мог окончательно изгладить ее”.⁹³

Даже и в городах не все материально пострадали от революции. Крахи крупных торговых и промышленных предприятий были бедствием для многих, но число пролетариев, зарабатывающих себе пропитание трудом рук своих, значительно уменьшилось. Свобода торговли и промышленности сделала свое дело. Иерархия ремесел уничтожена, и многие рабочие могли подняться до положения полубуржуа, завели торговлишку, открыли лавочку, кое-что заработали. И они терпят от теперешнего плачевного состояния дел, ибо, если торговцев и прибыло, торговля идет не так ходко, как прежде, но все же эти крохотные капиталисты уже успели сделаться ярыми консерваторами, очень держатся за свою кубышку и уж не станут рисковать ею, участвуя в уличных волнениях. Вот еще объяснение, почему Париж отныне предоставляет политикам решать свои споры с оружием

⁹³ Переписка, изданная M. Descostes'ом “La Révolution française vue de l'étranger”, 379.

в руках, или иным путем, не вмешиваясь сам, почему мы видим теперь столько переворотов и не видим больше мятежей. Многие в Париже составили себе маленькое состояние во время революции, что очень расширило класс мелкой буржуазии, и этот класс есть то, что я называю народом Парижа, который, повторяю, в будущем не будет вмешиваться в междоусобные распри правителей или вожаков⁹⁴”.

Для представителей средней и высшей буржуазии, до 1789 года спокойно живших своей рентой или доходами, это ужасный момент. Они пережили трудные дни: принудительные займы, произвольные вычеты в счет будущего, отсрочку недоимок, – против всего этого трудно устоять. Государственное банкротство 1797 года добивает их, ибо две трети государственного долга фактически скинуты со счетов, а консолидированная треть или вовсе не выплачивается, или выплачивается бумагами, не имеющими ценности на денежном рынке. Весной 1799 г. курс консолидированной трети, главного государственного фонда, колеблется между десятью и одиннадцатью франками. Люди, некогда богатые или зажиточные, теперь просят милостыни; скоро мы увидим дочерей рантье, распеваящими на набережной ради нескольких су, которые им может бросить сострадательный прохожий.⁹⁵

⁹⁴ Le Couteuloc de Canteleu, y Lescure'a “Mémoires sur les journées révolutes, onnaires et les coups d'Etat de 1789–1799”, II. 215–216.

⁹⁵ Répertoire anecdotique, 1797.

Между тем другие буржуа, более предусмотрительные, сумевшие припрятать свои сбережения или накопить ассигнаций, накинулись на национальные имущества, на земли, идущие в продажу за бесценок. Правда, эти земли дают мало, а то и вовсе не дают дохода, вследствие обременительности налогов и невзноса аренды. Капитал этот остается непроизводительным; тем не менее, он существует и со временем ценность его увеличится. Приобретатели находятся в очень стесненных обстоятельствах, и все же они богаче прежнего; у них меньше денег и больше земли; идет не бьющая в глаза закладка фундамента будущего благоденствия буржуазии, основанного на недвижимой собственности, хотя сейчас она и не дает еще возможности наслаждаться жизнью.

Наконец, сколько народу живет революцией! В общем расстройстве дел и деловых оборотов одно дело стоит, однако же, твердо – огромное, колоссальное, необычайное: это сама революция. Неслыханный рост государственных нужд и надобностей, потребности армий вызвали к жизни толпу, народ, целую расу поставщиков, провиантмейстеров, кригс-комиссаров, заведующих продовольственной частью, откупщиков и подрядчиков, крупных и мелких торговцев, тощих и жирных, кичливых и смиренных; они кишмя кишат на разлагающемся государственном теле и кормятся этой гнилью. Затем, так как ликвидация старого режима еще не закончена, земли, замки и обстановка все еще ждут покупателей, и одна половина Франции продает с молотка другую, так как

расстройство дел и крахи вызывают бесконечное множество тяжб. Нужны оценщики, эксперты, пристава, адвокаты, судебские и адвокатские писцы, – и весь этот люд кормится около революции.

Тем не менее деньги становятся что дальше, то реже, кредита вовсе нет, и “так называемые честные люди не дают в долг иначе, как за два с половиной, а то и все три процента в месяц”,⁹⁶ поэтому развелось множество всякого рода маклаков, ростовщиков, дающих займы под залог вещей или под огромные проценты, содержателей ссудных касс, евреев. Против этих всесветных барышников в народе уже прорывается глухое раздражение; в двух газетах, подрывая провозглашенный революцией принцип гражданского равенства и свободной конкуренции, формулируются теории ненавистничества; в последнем номере “*Régulateur*” читаем: “Если начать исследовать все причины оскудения касс во Франции и недоедания армий, в конце концов придешь к одной: слепому равнодушию политических законов относительно крупной ошибки правительства, приравнявшего жидка к французскому гражданину. Французская конституция, если правильно толковать ее, формальным образом исключает евреев из числа лиц, имеющих права гражданства (*droit de cité*), ибо таковые предоставлены ею лишь отдельным личностям. Еврей же отнюдь не может быть рассматриваем, как

⁹⁶ Архив Шантильи, письмо одного из агентов Кондэ, от 1-го дополнительного дня VII года.

отдельная личность; напротив, он, подобно banianu,⁹⁷ является нераздельной частью собирательной личности individu collectif. Со времени революции француз ежедневно принужден вступать в сношения с евреем по своим торговым или хозяйственным делам, и ничто не предостерегает его, не напоминает, что он имеет дело не с человеком, а с врагом, честность которого ограничена кругом понятий его едио-верцев.

Все эти кишасщие внизу насекомые-паразиты; а вот и крупные хищники: поставщики, нажившие миллионы, снабжая наших солдат вышедшими из употребления ружьями и попорченным провиантом – спекулянты, умевшие вовремя реализовать свое имущество в пору острых кризисов ажиотажа, – победителя в битве ассигнаций. Крупный подрядчик, забывший всякий стыд капиталист – вот господствующий тип, характеризующий эпоху. Он могуществен и смешон, над его владычеством издеваются, про него слагают песни, как про королей, его выводят на сцену в комедиях и водевилях и все же подчиняются его власти. Из этих “новых Тюркарэ”⁹⁸ некоторые в своем роде гениальны, как, напри-

⁹⁷ Член индусской секты, которая представляла собой, главным образом, торговую корпорацию.

⁹⁸ Железные уста, или крик истины, современный памфлет. – Тюркарэ – персонаж одной из комедий Лесажа, который без ума, без образования, без честности ухитрился нажиться. Синоним ловкого разбогатевшего дельца, ни по уму, ни по образованию не стоящего на высоте своего общественного положения.

мер, Уварар. Другие, подобно Сегэну, который собирает царские коллекции и окружает себя сокровищами искусства, сохраняя в то же время внешность “полотера”,⁹⁹ действительно сослужили службу национальной защите своей изобретательностью и смелым практическим умом. Директория, у которой по части денег и кредита не густо, принуждена беспрестанно обращаться к их помощи, чтобы заплатить жалованье чиновникам, одеть, прокормить, экипировать войска, чтобы поддерживать ход машины. Это правительство, тиранившее Францию и угнетающее Европу, не может обойтись без денежных тузов и крепко сидит у них в лапах.

Крупный подрядчик имеет право входа в Люксембург, возвышает голос в министерствах, командует в канцеляриях, подкупает депутатов, принимая их в организуемые им акционерные общества, и не требуя иного вклада, кроме их парламентского влияния;¹⁰⁰ у него везде свои агенты, свои ходы. Он располагает волшебной властью, ибо владеет редчайшей вещью, исчезнувшей, всеми разыскиваемой и призываемой, как неведомый бог – деньгами. Только у него, в его конторах и кассах и услышишь волшебный звон металла. Деньги попадают в его карман, едва лишь выйдя из карманов плательщиков налогов, в силу полномочий *delegations*, предоставленных ему правительством; деньги он захватыва-

⁹⁹ *Mémorial de Norvins*, II, 301.

¹⁰⁰ См. в газетах за плювиоз и вантоз VIII года отчет о процессе между депутатом Куртуа и банковской фирмой Фюльширон и К°.

ет на монетном дворе, предъявляя свои векселя и уж, заграбастав, держится крепко. Зайдем к нему, проходя по улице Анжу: — “...я вступаю в обширный двор и поднимаюсь на величественное крыльцо... Я в огромной зале, служащей кассой; какое зрелище! Груды золота и серебра представляются глазам моим, жадным до этой новизны, во множестве разнообразных форм, но без всяких знаков, которые помогли бы мне определить их ценность. Быть может, я так и остался бы в неведении, если б сострадательная душа не выручила меня, сообщив, что эти деньги привезены с монетного двора, где алчность подрядчиков не дождалась даже чеканки.”¹⁰¹

Люди, разжившиеся на поставке и спекуляциях, уже слышат особой партией в республике. О них говорят: “партия новых богачей”.¹⁰² Предвидят, что они будут пытаться установить “такую форму правления, которая бы гарантировала их личность и имущество от опасностей, уж много лет висящих над собственниками”.¹⁰³ Кто поосмотрительней, дробит риск, держит деньги в английских банках или устраивается так, чтобы в случае чего можно было моментально переправить туда капиталы. Сегэн пишет: “Я могу одним почерком пера послать в Лондон два-три миллиона”.¹⁰⁴ Этим объ-

¹⁰¹ “Живем не худо, лучше бы у черта побывать в гостях”. (*Ça ne va pas si mal, visite pire que celle du diable*), пасквиль той эпохи.

¹⁰² Отчет Мальмсебери от 13 ноября, цитируемый Альбертом Сорелем в “*Journal des savants*”, март 1902.

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Mémorial de Norvins II*, 302. Albert Sorel, “*Lectures historiques; une*

ясняются подозрительные сближения, пристрастия, доходящие до сообщничества, объясняется, почему, идя в разрез с воинственным и завоевательным духом революции, некоторые денежные дельцы изменнически потворствуют Англии: они не могут допустить, чтобы войска Гоша или Бонапарта разграбили эту огромную кассу вкладов.

Большинство разжившихся дельцов спешат насладиться жизнью, удивляют Париж своей новоиспеченной роскошью, швыряньем денег и пирами. В Париже царят крайности роскоши и нищеты. Хотя после III-го года цена на съестные припасы значительно понизилась, хотя и прошло время голода, когда голытьба из предместий ходила к воротам боен лизать кровь убитых животных, стекавшую в желоба, мы все же видим позорные контрасты, наряду с наглой, сумасбродной роскошью – отвратительную нищету. Ажиотеры, поставщики не столько заботятся о том, чтобы упрочить свое богатство, сколько о том, чтобы блеснуть им. Иные покупают земли, роскошные усадьбы, задают пикники на зеленых лужайках Рэнси, в дворянских замках и столетних парках; но главный их капитал – движимое имущество, деньги, бумаги; этот капитал катится, переходит из рук в руки, кружится в вихре, и от шумных трат тех, кто владеет им, кормится часть населения. Их крупными заказами держится мебельное производство, индустрия домашней обстановки; они дают эпохе ее искусство и стиль.

Отрасли промышленности, выделяющие предметы роскоши и фантазии, также процветают, ибо после термидора, когда каждый изумлялся и радовался, что он еще жив, все набросились на удовольствия, дурачества, танцы, на опьянение чувств, все пребывают в сплошном одуряющем возбуждении. Под оживленные звуки смычков и гобоев Париж вертится, пляшет, кружится в вальсе в приливе неистовой чувственности.

Характерная черта Парижа времен директории — терпеть недостаток в необходимом и гоняться за излишеством. В театр ходят, а за квартиру нечем платить. Огонь на очагах погас, но рестораны блещут огнями. “Иной не знает, будет ли он завтра обедать, а сегодня тратит десять франков на мороженое”.¹⁰⁵ В городе движения мало, экипажи редкость; один прохожий забавы ради сосчитал, сколько экипажей попались ему навстречу по пути между Одеоном и Лувром: восемь извозчичьих карет и одна собственная. Зато по улице Онорэ катается и сама правит кокотка “в легком фаэтоне” изукрашенном живописью самого вольного содержания, блистающем золотом и жемчугами в оправе из драгоценных металлов”.¹⁰⁶ Для катанья в Тиволи, Идалии, в Булонском лесу у эlegantов или дульциней имеются boghei, wiskey, фаэтоны. Мода требует для каждой из этих прогулок особого экипажа особой отделки и цвета, так что изменчивый состав ка-

¹⁰⁵ Mallet du Pau, “La Révolution française vue de Jétranqer” 434.

¹⁰⁶ Répertoire anecdotique, 1797.

тающихся каждый день кажется новым.¹⁰⁷ В городе, местами заваленном щебнем и загрязненным нечистотами, словно расположилась на развалинах постоянная ярмарка со всевозможными зрелищами, балаганами, оглушительной музыкой, выставками и шарлатанскими афишами. В летние вечера от Итальянского бульвара и до Елисейских полей тянется аллея наслаждений: боскеты, иллюминированные разноцветными стаканчиками, роскошные кафе, террасы с толпой гуляющих, которые присаживаются к столикам освежиться прохладительными напитками, народные балы, феерии под открытым небом, картонные апофеозы, а вдали залитые огнями парки Марбефа и Елисейских полей. По всему городу гремят оркестры; разноцветные ракеты взвиваются к небу, рассыпая букеты алмазов, рубинов и изумрудов.¹⁰⁸

В этой фантастической обстановке мечется толпа в каком-то радостном неистовстве, не помышляя о завтрашнем дне, не предполагая, чтоб это завтра могло наступить. Не надо, конечно, слишком обобщать и судить о Париже в целом по тому, что выделяется и бьет в глаза с первого взгляда. Как и всегда, парижане группировались в различные общества, в кружки, развившиеся между собою и по внешности, и по манере держать себя, но самые блестящие и шумные, ослеплявшие и увлекавшие за собой толпу своим примером, тол-

¹⁰⁷ “Свет наизнанку” или “Все идет вкривь в вкось”, современный памфлет.

¹⁰⁸ Эдмонд и Жюль де Гонкур. *La société française sous le Directoire*, 31.

кали ее к лихорадочному наслаждению данным моментом.

Этот переливающийся всеми цветами радуги поток, берущий свое начало в революции, уносит и обломки старого режима. В общем падении сословных перегородок никто уже не знает, кто он таков и куда идет. Сыновья знатных семейств, не видя перед собой никакого будущего, чуждые в родной стране, тоже приняли участие в общем революционном разгуле. Они живут в Париже, как в кабаке, или еще худшем притоне. Все, что они успели спасти от кораблекрушения, уходит на мелкие расходы. То же самое и со многими возвратившимися эмигрантами, живущими день за день под чужим именем, каждый вечер спрашивая себя, не расстреляют ли их завтра на Гренелльской площади. Новое общество, со своей стороны, отрекаясь от своего происхождения, забавляется контрреволюционной болтовней, обезьянничает, копируя тон, манеры, смешные стороны и разврат бывших вельмож, что не мешает ему сохранять все уличные замашки, оно соединяет в себе “пороки двора и придворной челяди – чудовищное смешение”.¹⁰⁹

Все в этом обществе поддельно, все отдает контрабандой. В довершение лживости этой эпохи, когда столько людей говорят, мыслят и живут подложно, установившиеся моды придают толпе совершенно маскарадный вид. Молодежь *les jeunes gens* ходит в цветных фраках, квадратных, умышленно плохо скроенных и лезущих кверху на спине, со слиш-

¹⁰⁹ **Lettres de Charles de Constant 31.**

ком коротким жилетом, шалью зеленого цвета и высоких штанах; лицо зажато между шляпой с опущенными книзу углами и необычайно пышным галстуком; плечи стянуты, бюст укорочен; поглядеть на эти шутовские фигуры на тощих ножках – сущие полишинели, изломавшиеся на подмостках. Женщины, под предлогом перехода к греческому костюму, показываются раздетыми и становятся общественным достоянием.

Престарелый *si-devant*,¹¹⁰ прибывший в Париж из провинции, дивится этой метаморфозе и, по-видимому, недоволен ею. – Июньский вечер; все женщины в белом, одетые так легко, что кажутся совсем раздетыми. “Шел дождь, и они одной рукой подбирали свои платья, так натягивая их, что легко было рассмотреть все их формы. Современная грация и мода не позволяют иметь в кармане ничего, кроме тоненького платочка; таким образом, ничто не скрывало приятных очертаний”.¹¹¹ На женщинах, о которых все говорят и восхищаются ими, можно проследить все превращения и крайности пластической моды;¹¹² талия под грудью, платье, превращенное в воздушный футляр из газа или крепа, без рукавов, спадающее с плеч, раскрывающейся сбоку на трико телесного цвета; под ним сорочка, легкая, как пар, а то и вовсе никакой; на ногах котурны с алыми шнурками, на большом

¹¹⁰ Урожденный, бывший аристократ.

¹¹¹ Dupont de Cheverny, II, 340.

¹¹² Lettres de Charles de Constant, 34.

пальце золотой обруч.

У этих женщин времен директории, вышедших из различных сословий, во всем противоречия; в одежде и в позах аффектированное пристрастие к античным линиям, и вместе с тем стремление к чисто парижскому беспокойному щегольству. Цветущее плебейское здоровье, аппетит маркитантки, любовь к утомительным физическим упражнениям, страсть, катаясь, непременно править самой, мальчишеские ухватки и наряду с этим жеманство, подражание тону старого режима. Говорят, пришептывая, каким-то расслабленным языком, точно не имея силы расчленять слова, и вдруг среди этого воркованья прорвется какой-нибудь тривиальный и вульгарнейший оборот, акцент предместья, крепкое словцо.¹¹³ Тем не менее обязательно в свои приемные часы напускать на себя сентиментальный, томный, меланхолический вид, и женщины млеют, когда Эллевиу воркует ариетту под аккомпанемент нежных надтреснутых звуков клавесина. Наравне с гривуазными куплетами и грубыми двусмысленностями в большой моде романсы и пасторали – нелепые цветы, выросшие на почве, от которой еще идет кровавый пар. Обожают поля, зелень, лесную прохладу, журчанье ручья; любовь к природе доходит до возвращения к первобытной животности, под покровом жеманства, и все это блестящее общество недалеко от позолоченного варварства.

Распушенность нравов дошла до крайних пределов; все

¹¹³ *Lettres de Charles de Constant*, 34.

дозволено. Законы и обстоятельства соединились для того, чтоб упразднить нравы. Несчастье разрознило семьи, бросило в одну сторону мужа, в другую жену, в третью детей. Революционное законодательство ослабило отцовский авторитет, и семья также стала республикой. Правда, в собраниях как бы намечается поворот назад, но они не смеют высказаться открыто.¹¹⁴ Нововведение – развод по причине простого несходства характеров – делает семейный очаг непрочным и превращает семью в какое-то перекаати-поле. Брак – договор, который всегда может быть расторгнут по желанию одной из сторон, договор на срок. Женятся на год, на месяц; женятся ради удовлетворения прихоти, разводятся и снова сходятся из деловых соображений. Некто женился сначала на племяннице тетки с большими капиталами, затем развелся и женился на тетке, восьмидесятидвухлетней старухе, а после смерти второй жены, отказавшей ему по дарственной записи свое состояние, снова берет первую, молодую.¹¹⁵ Другой, женатый подряд на двух сестрах и схоронивший обеих, просит разрешения вступить в брак с их мамашей.

Наряду с законным сожителем и гласными связями процветает случайная любовь. Сословные перегородки и приличия упразднены; оба пола пользуются полной свобо-

¹¹⁴ См. Signal “La Législation civile de la Révolution Française”, 289–290.

¹¹⁵ Sciout, II, 252. В книге графа Флери “Знатные дамы в эпоху революции и во времена Империи, глава, озаглавленная: “Последствия развода в эпоху директории “Comte Fleury”, Les Grandes Dames pendant la Révolution et sous l’Empire”, 180–195.

дой сближения. Но эти порывы веселья, страсти или безумия лишь на время заглушают растущую скуку и общую тошноту. “Можно сумасбродствовать, не веселясь”,—говорит один из тогдашних авторов, и Париж болен сплином.¹¹⁶ Когда все изведано, и переутомленные чувства отказываются давать ощущения, впадают в постыдное распутство. — “Испорченность нравов дошла до предела, — пишет парижская полиция, — и беспорядочная жизнь нового поколения грозит неисчислимыми гибельными последствиями будущему поколению. Содомский грех и софическая любовь стали так же наглы, как и проституция, и делают прискорбные успехи”.¹¹⁷

Во все ли классы населения проникла эта зараза, отравила ли она народную душу? Под влиянием общества, придавшего эпохе ее внешний вид и создавшего ей репутацию, действительно ли заметно понизился общий уровень нравственности? — В деревнях упразднение религиозной узды причинило немало зла. Друг конституции, епископ Ле-Коз, христианин и вместе убежденный революционер, пишет из Ренна: “Увы! как развратилось наше общество! Блуд, прелюбодейание, кровосмешительство, яд, убийство — вот ужасные плоды философских учений, даже в наших селениях. Миро-

¹¹⁶ Gallais употребляет именно это выражение, в своей книге о *Le dix-huit Fructidor*”, II, 142, едкой сатире, которая, разумеется, могла быть напечатана только тайно.

¹¹⁷ Полицейские донесения, изданные Schmidt'ом, III, 389.

вые судьи уверяют, что если не положат преграды этому потоку безнравственности, во многих коммунах скоро нельзя будет жить”. Не видно, однако ж, чтобы принципы и факты, действовавшие растлевающим образом, везде оказали свое влияние; к тому же воздействие их было слишком грубо для того, чтобы против него не возмутилось народное сознание, воспитанное в известных традициях. Была внезапная ампутация всякого нравственного чувства у великого множества лиц, не было медленного и постепенного отравления масс. Мы уже видели, что миллионы поселян и горожан сами желали возвращения дисциплины, налагаемой католицизмом. Во всех классах населения есть еще семьи, которые живут по-хорошему, оставаясь верными старинному семейному началу, храня залог прирожденной честности расы. Один швейцарец, посетивший Париж, нашел парижских буржуа малоразвитыми, но “добрыми, сострадательными, услужливыми”,¹¹⁸ они кажутся только менее сообщительными, более сдержанными, чем прежде, как оно и естественно после сильных потрясений и страхов. Иностранный дипломат пишет: “Мы были бы несправедливы к французской нации, если бы сочли ее безнадежно развращенной революцией. То лишь подонки народа, подброшенные кверху сильным брожением и всплывающие повсюду накипью безнравственности, вводят в обман неопытный взор. Я отнюдь не думаю, чтобы различные классы населения были более развращены

¹¹⁸ *Lettres de Constant*, 5.

во Франции, чем в других странах, но смею надеяться, что никогда ни один народ не будет управляем волею более глупых и жестоких злодеев, чем те, которые правят Францией с самого начала ее новообретенной свободы”.¹¹⁹

Этот убийственный приговор правящему классу, очевидно, нуждается в оговорках и уж, конечно, не может быть распространен на всех участников революции. И у них, как у тех, кто борется против движения, исступление кризиса все довело до крайности; слабых развратило, дурных людей сделало преступниками, хороших подняло до подвигов; если революция разверзла бездны безнравственности, зато она открыла и высокие вершины добродетели и бескорыстия. И в эпоху, директории, когда число искренних республиканцев сильно сократилось, революция сохраняет верующих и благоговейно преданных ей приверженцев; администраторы одного округа говорят о ней: “наша святая Революция”.¹²⁰ Даже вне армий, этой школы суровой и прекрасной энергии, мы видим много примеров гражданского героизма, принесения себя в жертву высшему принципу; а в некоторых группах удивительную стойкость философского идеала, усилие выработать себе нравственный закон вне всяких религиозных концепций, сердца, истинно любящая добродетель рим-

¹¹⁹ **Correspondance diplomatique du baron Brinkman à Sparre, 11 juillet 1799, 297–298.**

¹²⁰ **Военный архив, общая переписка, 23 термидора VII года Кантон Вильльфранш.**

ского образца, и души стоиков.

IV

В этой Франции, столь разнообразной, еще кипящей на поверхности, недвижимой и приниженной в глубине, существует ли какое-нибудь общее стремление? Есть ли такой вопрос, относительно которого все бы сошлись? Да, ибо среди управляемых, за исключением агитаторов крайней левой и крайней правой, все желают внешнего мира, мира вообще, прекращения войн, с 1792 года порождающих одна другую. Это кажется первым средством от всяких зол, продолжающих угнетать народ. Во имя внешней опасности, революция потребовала и продолжает требовать от страны неслыханных жертв деньгами и людьми; война больше, чем все другое, сделала ее свирепой и кровожадной; благодаря войне и посредством ее партии усиливаются поддерживать волнение внутри страны.¹²¹ Надеются, что с заключением мира все может понемногу смягчиться, вновь наладиться, принять устойчивую форму. От мира, впрочем, ждут и непосредственных ощутительных выгод: с миром исчезнет потребность в исключительных законах или предлог вводить их, облегчатся общественные повинности, тысячи рук снова возьмутся за плуг, границы откроются для обмена товаров,

¹²¹ Военный архив, общая переписка, 23 термидора, года VII, округ Вильльфранш.

порты будут свободны, промышленность вновь начнет работать на границу – и Франция жаждет всех этих воскресений, жалобно призывает их. Мир – надежда хижин, надежда мастерских, надежда салонов, надежда рабочего люда и тех, кто, задыхаясь от усталости, все еще волнуется и мечется в погоне за наслаждением, надежда чувствительных сердец и друзей человечества, надежда благоразумных политиков, чувствующих, что государственная пружина готова сломаться от чрезмерного напряжения. Мир – это слово принимает в воображении народа необычайно широкий смысл, бесконечно много охватывающий, и в то же время соответствующий своему естественному значению; для всех вообще оно означает возможность жить спокойно: отдых нервам и сон.

Этот мир, о котором так молит страна, может ли он быть посредственным или невыгодным, перед лицом коалиции врагов, всегда побеждаемой и, все-таки, живучей? Примет ли она его таким? Согласится ли на мир без сохранения и обеспечения добытого победами? Вынесет ли такое разочарование патриотизм, как понимала его революция?

Революция не создала патриотизма; она только выделила его из монархической идеи и вместе с тем популяризировала, распространила в массах. Более общечеловеческая, чем французская, по своему первоначальному замыслу она очень скоро под давлением обстоятельств, перешла в острый подъем национального чувства. Французская национальность и до того существовала века; в 1789 г., в мо-

мент сильнейшего брожения, она почувствовала себя, признала свою силу; смутное согласие отдельных частей сменилось страстной потребностью сплотиться в одно целое, федерацией воль. В 1792 и 1793 гг. революция отождествилась с делом национальной независимости, затем отождествилась с вторжением французов в другие страны, расширением границ, завоеванием естественных пределов. Провозгласив нацию, она своими победами сделала ее великой нацией, и Франция вначале упивалась этим словом; она гордилась своими армиями и рядилась в свои триумфы, словно хотела прикрыть; этим плащом славы свои зияющие раны, лохмотья и нищету.

В данный момент в тех, кто телом и душой предался революции, кто мнит руководить ею или служить ей, упорно живет мысль о естественном призвании нашей расы к первенству, к наследованию величия римлян, к повелеванию народами; французский империализм, которого император является лишь высшим выражением. В остальной же нации, по мере того, как гаснет революционная пыль, колеблется и патриотизм. В Париже, в театрах, в кафе, на светских сборищах, на прогулках, патриотизм уже не в моде, как и революционная добродетель: “Наши злоключения не вызывают ни радости, ни тревоги; читая отчеты о наших сражениях, словно читаешь историю другого народа”.¹²²

Попробуем спуститься ниже и заглянуть в самую глубь на-

¹²² Schmidt, III, 388. Отчет комиссара, прикомандированного исполнительной властью к администрации департамента.

родной души; неужели от бывшего патриотического жара не осталось и следа? Внезапные вспышки этого великого огня покажут нам, что он лишь притаился под пеплом апатии. Народ смутно чувствует, что Франция после стольких мук и трудов должна выйти из своих испытаний с честью и мощью, выйти более сильной и радостной, материально и нравственно выросшей. Ряд внешних неудач, приблизивших неприятеля к нашим границам и вновь поставивших все на карту, окончательно поверг бы в уныние общество; чтоб ободрить его, нужна, наоборот, решительная победа, носящая в себе залог мира и упрочения уже достигнутых результатов; в особенности обрадовались бы такой победе, которая была бы ударом для ненавистной Англии, ибо тогда сразу иссяк бы самый источник войн.

То, что творится внутри страны, всем внушает глубокое отвращение, но в общественном мнении все же не заметно движения в пользу иного строя. В своих неизданных мемуарах Камбасерэс говорит, что революция “всем опротивела”,¹²³ кроме тех, кто ею живет; сюда надо прибавить еще тех, кто живет для нее. Революция всем опротивела, а между тем, кроме эмигрантов и их приверженцев внутри страны, никто не требует полного ее упразднения. Каждый хотел бы что-нибудь сохранить от нее. Почти все без исключения французы с ужасом отнеслись бы к восстановлению кастовых привилегий, материальных и денежных, почетных отличий. Фран-

¹²³ La Fayette, V, 108.

ция проникнута страстью к равенству. “Нет такого мелкого лавочника, над которым мог бы безнаказанно превозноситься де-Монморанси”.¹²⁴ В среде буржуазии Парижа и других городов, класса, который первый поднял знамя революции и теперь ненавидит ее в ее результатах, т. е. тирании директории, еще жив дух 1789 г., но износившийся, одряхлевший, какой-то униженный либерализм. Идеалом этого класса была бы ограниченная королевская власть с народным представительством, признающая права человека и до известной степени гарантирующая их, но он отлично примирился бы и со “свободной республикой”.¹²⁵

Сельское население реакционно в том смысле, что оно желает восстановления религии и отмены законов против нее; оно революционно в смысле желания сохранить раздел национальных имуществ и освобождение земли. Оно реакционно, ибо требует, чтобы ему отдали назад его священников; оно революционно, ибо отталкивает эмигрантов, бывших владельцев земли, предъявляющих права на нее, виновников аграрной контрреволюции. Форма учреждений мало его интересует; чисто политические распри для него не имеют значения, на выборы оно смотрит с великолепным равнодушием”.¹²⁶ Нельзя сказать, чтобы оно совсем отреклось от республики, ибо народ во Франции редко относится враж-

¹²⁴ **Ibid, V, 107.**

¹²⁵ **Ibid, V, 107.**

¹²⁶ **Duport de Cheverny, II, 404.**

дебно к принципу существующей власти, но оно чувствует, что республикой прекрасно управляют. В совете пятисот Булэй де ла Мерт благоразумно установил такое различие: “Контрреволюционеры, их не так много, как нас, хотят уверить; недовольных действительно много, но откуда проистекает это недовольство? Сам ли по себе республиканский образ правления вызывает его? Нет. Значит, источник зла – республиканский режим такой, каким мы его видим”.¹²⁷

В итоге Франция, взятая в целом, менее враждебна революционному принципу, чем системе, менее враждебна форме правления, чем правителям. Этим последним она ненавидит и презирает за то, что их сплошь и рядом ловят на политической недобросовестности, за то, что они сулили всем блаженство и ничего не дали, кроме возможных напастей, за то, что многие из них причастны к великим жестокостям, за то, что на совести у большинства других есть старинный грешок, какая-нибудь некрасивая история, известная, или подозреваемая, кровавое или грязное пятно. Их ненавидят, но общество так ослабло духом, так обескуражено рядом неудач, что не осмеливается ничего предпринять против них; к тому же пришлось бы вступить в союз с воинствующими противниками правительства, провинциальными шуанами, парижскими “петиметрами” и салонными заговорщиками, а все эти бешеные реакционеры, эти революционеры на-

¹²⁷ Печатный отчет в *Gazette de France*, 27 прериаля, года VII.

изнанку внушают страх.¹²⁸ Умеренная буржуазия, побежденная в Париже 13 вандемьера в ее попытке взять приступом конвент, сброшенная после фрюктидора с высоты своих воскреснувших надежд, покорила участи быть ничем в стране, где текст конституции законным образом предоставляет ей первое место. Фрондирующая и униженная, она мстит притеснителям эпиграммами, шепотком повторяет рассказы о люксембургских скандалах и кражах, пускает по рукам оппозиционные игрушки и карикатуры;¹²⁹ другого она ничего не умеет; ей и в голову не приходит сплотиться, ни одной попытки сблизиться, составить союз, ни тени предприимчивости; себялюбивый индивидуализм, стремление жить каждому только для себя и по возможности не худо, дух “изоляции”.¹³⁰

А так как во Франции ко всему привыкают, так как люди, стоящие у власти, лишь наполовину террористы, так как они ссылают своих противников, но уже больше не гильотинируют их, так как они не позволяют себе прямого посягательства на собственность, не запрещают парижанам наслаждаться любовью и ходить в оперу, их проклинаят и терпят.

От них по возможности сторонятся, чураются их; нация

¹²⁸ Brinkman, 296.

¹²⁹ Так, например, в Париже были тогда в моде картонажи, изображающие ланцет, латук (салат) и крысу (lancette, laitue, rat). Это был ребус, который следовало читать таким образом: lan sept tu ora (год VII убьет их). *Mémorial de Norvins*, II, 214.

¹³⁰ Mallet du Pan “La Revolution française vue de l'étranger”, 529.

живет своей жизнью, еще более чуждая своему правительству, чем враждебная. Никто не встал бы на защиту этого партийного и беспорядочного режима, но как мало в массе людей, готовых восстать ради свержения его! Как партия, директория страшно непопулярна; как правительство, она внушает почтение искателям мест, трусам, слабым, тем, у кого первое правило уважать государственную власть, кто бы ни захватил ее в свои руки.¹³¹ Другие желают перемены и в то же время боятся ее – так велик страх новых волнений. Чувствуется, главным образом, настоятельная потребность в отдыхе, в безопасности, потребность иметь над собою правительство, вместо того, чтобы быть добычей враждующих партий, которую тянут в разные стороны. Хотелось бы, чтобы в хаосе, наконец, разобрались, чтобы правительство выполнило свою нормальную охранительную функцию, чтоб оно скрепило и упрочило, взяло бы под свою защиту и новые интересы, порожденные революцией, и прежние, постоянные нужды обывателей, которым она позволила уцелеть. Такова была бы народная воля, или, по крайней мере, “хотение” (*velleite*),¹³² но Франция не чувствует в себе силы возвести свою волю в закон: “Апатия умеряет недовольство”, пишет один ярый республиканец, и изнеможение умов достой-

¹³¹ Это разграничение прекрасно установлено в письме князя де ля Тремойль, от 2 сентября 1797. *La Sicotiere*, “*Frottéet les insurrections normandes*”, II, 346.

¹³² *La Fayette*, V, 134.

но общественной разрозненности.

А так как нация не может без конца оставаться в неорганическом состоянии, очевидно, Франция должна прийти или к полному разложению, или к случайности, которая вызовет внезапную реакцию, если только сама революция не выдвинет власти. Достаточно могущественной и просвещенной, чтобы заставить прошлое и настоящее заключить между собою великую и необходимую сделку, построить прочный мост между ними и тем заложить фундамент общественного спокойствия, добиться необходимого примирения и в то же время воскресить угасшую энергию правительства, которое снова водворило бы порядок и наладило жизнь.¹³³

Назревшей потребности в таком строе еще недостаточно для того, чтобы создать его, заставить его брызнуть из земли, как ключ из камня. Был человек, который носил его в своем уме. Уже знаменитый своими военными подвигами, он только что проехал всю Францию во всем блеске и шуме своей неожиданной славы, и вдруг вся нация принялась твердить это имя, еще не зная наверняка, как оно выговаривается, – имя славное и загадочное, имеющее в себе что-то волшебное, таинственное, – Буонапарте, иные говорили уже Бонапарт. Человек, носивший это имя, был злобой дня, его страстью, любимцем, безумием. На нем сосредоточились

¹³³ Роберт Линде (Lindet, правильнее, Лендэ), письмо от 4-го мессидора года VII, помещенное M. Montier в его книге “Robert Lindet”, 362.

“все взоры, все опасения и надежды”.¹³⁴ Иные республиканцы боялись его; другие гордились им и считали его слишком высоким, слишком суровым, слишком близким к типу героев античного мира, чтобы унизиться до честолюбивых узурпаторских вожделений, и эти республиканцы, мнившие пройти в восемь лет весь цикл римских завоеваний, не замечали, что Цезарь приближался, предшествуемый своими легионами и орлами. Буонапарте – звук этого имени был ненавистен слуху многих роялистов, ибо он напоминал о вандемьере и фрюктидоре, и все же каждый спрашивал себя, какой еще сюрприз готовит в будущем этот неведомо откуда взявшийся герой, что такое представляет собой этот “необъяснимый феномен”, этот человек, “дивящийся своими делами и непроницаемый в своих замыслах”.¹³⁵

Все были уверены, что он что-нибудь предпримет и приберет к рукам правительство, но, не найдя себе подходящей добычи, он скрылся, и через шесть месяцев для легкомысленного парижского света и политических спекулянтов уже вышел из моды. Этот свет сердился на него за то, что он обманул общие ожидания и любопытство. После стольких побед по ту сторону гор, после того, как он был почти королем в Италии, дивились, “находя его застенчивым, недеятельным, нелюдимым, каждый день посещавшим институт и занятым, по-видимому, единственно своей женой, географическими

¹³⁴ Gallais, “Dix-huit Fructidor”, II, 157.

¹³⁵ Крик дьявола, брошюрка того времени.

картами и поэмами Оссиана”.¹³⁶ Теперь, когда он возвратился из дальних странствий, парижские кружки, в былое время державшие пари относительно его будущей карьеры, отзывались о нем “легко”,¹³⁷ как они говорили обо всем. Зато он властвовал над воображением маленьких людей; среди безвестных масс у него были горячие поклонники; одна бедная женщина дала обет раздать шесть франков нищим, если он вернется из Египта.¹³⁸ В самых глухих уголках провинции народ распевал “бонапартку” (la Bonaparte),¹³⁹ песенку сложенную в честь героя.

Герой, – вот как все его теперь называли; таким являлся он и народам, – сверхъестественным и покровительствующим. Таким он наполовину скрылся из глаз народов в золотистых туманах Востока, в поисках новых подвигов и опасностей: “слава его кумир, а битвы для него отдых.”¹⁴⁰

Завоевав Египет, Бонапарт уже перешагнул его пределы, он был уже в Сирии, но гибель нашей эскадры под Абукиром, лишив его возможности более или менее обеспеченного отступления, как бы еще больше отдалила и отстранила его от Франции. Задумчиво взглядываясь в необъятную даль

¹³⁶ Gallais, “Dix-huit Fructidor”, I, 147.

¹³⁷ Ibid. I, 199.

¹³⁸ Journal l'Ande Gabriel, 26 frimaire an, VIII.

¹³⁹ Bonnefoy, Histoire de l'administration civile dans le département du Puy-de-Dôme, II, 233.

¹⁴⁰ Gallais, “Dix-huit Fructidor”, II, 150.

пустыни и азиатский мираж, он искал своей судьбы, пока призыв обстоятельств, способность метко определять положение и почти суеверная вера в свою звезду не подсказали ему смелого решения – неожиданно кинуться во Францию, чтобы захватить ее врасплох и овладеть ею. И все же, несмотря на его удачливость, на его престиж и гений, Бонапарту, быть может, не удалось бы завладеть властью, если бы часть правителей, сами того не зная, не сгладили ему пути, если бы внутренний разлад, начавшийся еще до возвращения его из Египта и подтачивавший государственную власть, не подготовил случайно почвы для удара и не отдал ему в руки в решительный момент всех элементов успеха. Диктатура выдающейся личности могла быть рассматриваема как необходимый финал революции, какой она себя выказала: и все же установление ее, наряду с отдаленными и глубокими косвенными причинами, имело непосредственные решающие причины, действовавшие в течение нескольких месяцев. Возможно, что это сделалось бы само собой и во всяком случае, но не безразлично исследовать, как оно сделалось.

ГЛАВА I. 30-Е ПРЕРИАЛЯ

Вторая коалиция. – Дефицит. – Гангрена распространяется. – Поток гнусности. – Поражения в Германии и Италии. – Финансовые скандалы. – Начало краха фрюкtidорской директории. – Унижение советов; вид заседаний. – Каким образом у некоторых умудренных опытом революционеров зародилась мысль изменить учреждения и пересоздать правительство. – Обострившийся инстинкт самосохранения. – Первая мысль о перевороте с целью государственного переустройства. – Сийэс. – Его вступление в директорию. – В нем видят спасителя. – Якобинские выборы VII года. – Война против воров становится войной против всех разбогатевших людей и владельцев крупных движимых имуществ. – Якобинцы и умеренные нового типа объединяются в советах против фрюкtidорской директории. – Парламентский бунт. – Роль Сийэса. – Измена Барраса. – Прериальские дни. – Избрание Трейльяра кассировано. – Сопроотивление Ларевельера-Лепо и Мерлэна. – Необходимость вмешательства войск; Жубер и Бернадот. – Ларевельер и Мерлэн сходят со сцены. – Замена вышедших директоров; позорный выбор. – Париж перестает интересоваться кризисом. – Сад Тиволи вечером 30-го прериаля. – Карикатуры, игра слов. – Равнодушие и бездействие населения.

I

Директория, победившая в фрюктидоре, держалась войной и победами; она должна была пасть с наступлением кризиса— ряда поражений, осложненных рядом скандалов внутри страны. После смерти Гоша и отъезда Бонапарта в Египет, директория продолжала держаться политики завоеваний или, вернее, захватов, занимая чужие владения ради денежных выгод, взимая выкуп с правительств, грабя население, делая Францию предметом общего отвращения. Так был захвачен Рим и буквально ограблена Швейцария. После завоевания Неаполя Шампюонне, Австрия, смотревшая на мир лишь как на передышку, возобновила враждебные действия; раштадтский конгресс завершился кровавым эпилогом; вся Германия, за исключением Пруссии, по-видимому, готова была снова взяться за оружие; Англия давала корабли и помогала деньгами; наконец с севера пришла русская армия. Образовалась вторая коалиция, угрожавшая завоеванным нами странам и вскоре нашим границам, при помощи повсюду вспыхивающих мятежей; то была вторая война против нас государей и первая — народов.

Директория страшно нуждалась в деньгах. То было следствие беспримерного монетного кризиса и полного финансового банкротства, и она не умела помочь горю. Наличие дефицита никто не отрицал, спорили только о цифре; пра-

вительство определяло ее в шестьдесят семь миллионов, советы склонны были понизить эту оценку, из боязни, как бы им не пришлось вотировать новые налоги.¹⁴¹ На взгляд министров и начальников канцелярий, бездне не было дна. Перепробовали одну за другой все уловки. За пределами страны завоеванные земли не платили больше дани; внутри их податные сословия все еще не платили налогов, и правительство не в состоянии было принудить их, так как не сумело ввести правильной системы сборов. Его чем дальше, тем крепче захватывала в свои лапы огромнейшая шайка эксплуататоров, которых он был не столько сообщником, сколько жертвой.

Стая поставщиков и откупщиков, как саранча, наслала на республику. Призванные удовлетворять потребности различных департаментов и в особенности министерства, они сделали это предметом цинической спекуляции. Имея дело с правительством, неаккуратно производившим платежи, и чиновниками, которые сами норовили награть побольше, они только и заботились о том, чтобы обеспечить себе ростовщические гарантии и недозволенные барыши. Они заставляли государство расплачиваться за куртажи, получаемые их агентами, навязывали ему драконовские сделки, выжимали последние остатки звонкой монеты, еще уцелевшей

¹⁴¹ По расчету Stourm'a, в его недавно вышедшем и весьма дельном труде о Финансах Консульства ("Les Finances du Consulat", p. 270–271), дефицит достигал, по меньшей мере, трехсот миллионов.

в сундуках казначейства, и поставляли никуда негодный материал.¹⁴²

То была эпоха колоссального грабительства и гнусных плутней, оптовой торговли влиянием и наживы на комиссионных мелких чиновниках; эпоха подлостей всякого рода, после кровавого века – век грязи. Почти повсеместный грабеж, проникший во все отрасли государственной деятельности затопил их грязной волной; и когда понадобилось направить все усилия против иноземца, все оказалось подгнившим, разлагающимся.

Нашим солдатам, без провианта, без сапог, без котлов,

¹⁴² Мемуары, составленные после брюмера генералом Берновиллем, бывшим министром, дает ясное понятие о том, как делались дела в военном министерстве. “Я думаю, можно математически доказать, что правительство на всех своих поставках переплачивает около 50 % на 100... Стоит только представить себе, через сколько рук проходит поставщик. Министр и не ведает, каким огромным куртажем оплачивается его подпись на контракте. Нередко посредники, выговаривают себе, кроме магарыча, еще 5—10 % с чистой прибыли. Выполнение полученного заказа поставщик поручает своим людям, которые, согнав прежних приставов, садятся на их места и, понимая непрочность своего положения, только и думают о том, как бы набить себе карманы. Чиновники, приставленные надзирать за ними, становятся их соучастниками, получая за это свою долю из награбленного. Все эти аппетиты копошатся около поставки, увеличивая счет фиктивными расходами, пока цифра стоимости затраченного труда и материалов не окажется вдвое и втрое больше действительной. Таким образом, государство остается в долгу за то, чего оно не получало, и только таким путем подрядчик может возместить и свои расходы по заключению контракта, и свои потери на проволочках и неаккуратности платежей, и, наконец, нехватки по прежним счетам. Архив военного министерства, общая переписка, 1799.

манерок и баков, без белья для раненых, без лекарств¹⁴³ для больных приходилось сражаться с противниками много опаснее тех, кого они били в 92 и 93 годах: в Германии с эрцгерцогом Карлом, в Италии – с чудаком Суворовым, соединявшим в себе странности маньяка с талантами великого полководца и душой крестоносца. У нас выбор генералов нередко подсказывали политические соображения. Кроме того, наша операционная линия, тянувшаяся от Текселя¹⁴⁴ до Неаполя, уже своей непомерной растянутостью представляла большие удобства для нападения. Все эти вместе взятые причины вызвали в жерминале, прериале и флореале VII года (март, апрель, май 1799 г.) ряд поражений: Журдан разбит в Стокаче и отброшен на Рейн, Шерер и Моро разбиты в Италии. Ломбардия потеряна, Цизальпинская республика очищена от французов, в Пьемонт вторгся Суворов, Неаполь эвакуирован; все правительства, поставленные Францией в Италии, бегут в смятении. Внутри страны волнения на западе приняли более серьезный характер, на юге продолжалась кампания разбоя и убийств. При свете всех этих невзгод вполне обнаружилась непригодность директории к управлению страной, выступили рельефно и отчетливо постыдные промахи и ошибки этой диктатуры неправоиспособности. В армиях уже подымался ропот негодования. В Париже печать, на которую надели намордник, поневоле

¹⁴³ “Le Publicist, 6 thermidor an, VIII.

¹⁴⁴ Остров, лежащий к северу от Зюдерзее.

молчала, и агитация партии по-прежнему всюду наталкивалась на равнодушные общества. Директория не видела перед собой явной организованной оппозиции, но она уже готова была рухнуть сама собой, под тяжестью своих злодеяний.

Она чувствовала себя при последнем издыхании. Мерлэн писал: “Все понемножку распадается, все разлагается”, и не видел иного спасения, кроме как в пародировании приемов конвента.¹⁴⁵ Вокруг Барраса кишели слепые интриги. Вожди эмигрантов не раз считали его уже своим, полагая, что они ведут переговоры с его секретарем Ботто через посредство ловкого авантюриста, практиковавшего весьма распространенный тогда вид мошенничества – *à la Restauration*. Знал ли Баррас об этой интриге, видел ли он в ней средство приберечь себе на всякий случай последний ресурс?¹⁴⁶ Вернее, что он задумал устроить себе нечто вроде диктатуры под видом президентства;¹⁴⁷ он жалел, что у него под рукой нет Бонапарта, и написал ему. Его угодники разжигали в нем эту честолюбивую мечту; будь их воля, великое движение 1789 года завершилось бы венцом всех унижений, диктатурой Барраса. Парижские же роялисты, аристократы и поря-

¹⁴⁵ Schmidt, “Tableaux de la Revolution”, III.

¹⁴⁶ Эрнест Додэ, специально исследовавший эту интригу, склоняется в пользу обратного предположения. “Les Emigres et la seconde coalition, гл. I, III, VII, VIII, IX, XIV.

¹⁴⁷ В своих “Eclaircissements inedits” Камбасерэс, подтверждая свидетельства других лиц, говорит, что в то время Баррас “хотел захватить власть в свои руки”.

дочные люди (*honnêtes gens*), в простоте души считавшие себя очень сильными, также возлагали на него некоторые надежды, зная, что он человек без всяких убеждений, в то же время остающийся человеком их круга.¹⁴⁸

Советы были не в состоянии помочь горю. Общество видело в них лишь эксплуататоров, стоивших ему тридцать шесть тысяч франков в год с души. А между тем они заседали круглый год без перерывов и вакаций; то была машина для декретов, останавливавшаяся только в десятые дни. С тех пор, как вошла в силу последняя конституция, они вотировали три тысячи четыреста законов,¹⁴⁹ и слишком часто это были исключительные и временные меры; законодательство об эмигрантах и священниках они превратили в невообразимый хаос, в путанице которого никто не мог разобраться, в какой-то лес, полный засад, и не сумели даже набросать проекта гражданского уложения. Большинство все еще повиновалось указаниям директоров и с низкой напыщенностью утверждало их постановления. Старейшины еще сохраняли некоторый престиж, благодаря торжественности, которой они обставляли свои Совещания. Совет пятисот не отличался выдержкой, и эта часть была поставлена скверно, хотя, пожалуй, и не хуже, чем в английской палате общин, с добавкой чего-то театрального.¹⁵⁰ У каждого собрания был свой

¹⁴⁸ Рукописные заметки *Grouvelle*, хранящиеся в музее Карнавале.

¹⁴⁹ “*Journal des hommes libres*”, от 17 брюмера года VIII.

¹⁵⁰ *Lettres de Constant*, 61–62.

оркестр музыкантов, в торжественных случаях аккомпанировавший речам, чувствованиям и пр. патетическим тремоло. Залы заседаний были красивы, хорошо обставлены, изукрашены аллегорическими эмблемами, статуями, бронзой и поддельным мрамором. В зале старейшин решено было воздвигнуть постоянный алтарь античной формы и держать на нем книгу конституции: что это алтарь или позорный столб? Представители вели прения в античных костюмах, прикрывая красной тогой свои толстые кожаные плащи и придорожную грязь¹⁵¹; костюм довершали алый ток и пестрый пояс. Вырядившись по античному, они считали долгом и в речах держаться римских образцов; классические воспоминания, риторические фигуры, заимствованные из греческого и латинского красноречия, громкие напыщенные периоды, прозопопеи¹⁵² имели дар всегда возбуждать и волновать умы, вызывая искренний или инстинктивный подъем настроения. Но миг спустя совет пятисот вновь спускался до взаимного ненавистничества, гнусных пререканий, площадной брани, ибо революция отличалась в равной степени и страстью к эмфазе, и страстью к ругани.

Случалось, кто-нибудь из членов посмелее протестовал против жестокостей и произвола, увещевая революцию вернуться к своим основным принципам; его прерывали неистовым шумом. – “Опять этот олух Рушон заговорил!” – так вы-

¹⁵¹ Газета “Le Propagateur”, 15 нивоза года VII.

¹⁵² прозопопея – олицетворение

ражались наиболее умеренные из его коллег.¹⁵³ Многие из них были люди с заведомо подмоченной репутацией, скомпрометированные в грязных денежных сделках в поставках провианта, пайщики разных акционерных обществ и т. п. Были и такие, которые прямо находились на жаловании у дирекции, с обязательством восхвалять ее, ораторствовать и вотировать за нее. В общем, в совете пятисот ощущался недостаток не столько в талантах, сколько в характерах; были люди неглупые, но мало полезных людей, способности, нашедшие себе плохое применение; в целом получался мир постоянных интриг, истощающий свои силы в бесплодном соперничестве, признающий, что все идет скверно, но не старающийся ничего исправить, мир звонких фраз и пустоты, красивых жестов и грубости, лишенный даже той внешней благопристойности, которая во времена монархии прикрывала собой уродства политической жизни.

В кругу правительства и законодателей были, однако, люди более положительные и осторожные, которым надоело жить таким образом изо дня в день, не зная, что будет завтра. Им больно было видеть, что революция пошла дурной дорогой и упала так низко; это тем более огорчало их, что с ней связаны были их личное благо и карьера. Из партии термидорцев и фрюкtidорцев выделилась группа политиков, мечтавших заменить трусливую тиранию дирекции властью также строго революционной, но более устойчивой,

¹⁵³ Note de Fabre de l'Aude, publice dans les "Mémoires de Barras"), III, 285.

более прочной, более концентрированной, способной водворить, наконец, порядок в стране, поправить финансы, заключить мир, – словом, заставить большинство французов признать себя сносным правительством. Главными представителями этой группы были в советах и в институте Булэй-де-ла-Мерт, Шазаль, Лемерсье, Корнэ, Корюде, Ренье, Фарг, Фрежевилль, Вильстар, Бодэн Арденнский; в министерстве – Талейран, своим острым умом прозревавший будущее, в печати – Редерер, служивший им своим пером. Большинство из них в фрюктидоре принимали участие в составлении или ратификации указа об изгнании их коллег, обвиняемых в ролялизме или излишней умеренности (модерантизме). Теперь среди вчерашних гонителей, наученных опытом и опасностью, возникла новая и довольно сильная группа умеренных, Это “неомодеранты” чувствовали, главным образом, необходимость наладить государственный строй, дать ему устойчивое, прочное основание. Многие из них, зная себе цену, понимали, что при правильно поставленной форме правления, они могли бы лучше показать себя и развить свои способности с большей пользой для общества. Проницательности у всех было достаточно для того, чтобы заметить, что здание, где они приютились, трещит по всем швам и грозит раздавить их в своем падении; а потому они задумали перестроить его тут же на месте, начиная с фундамента, и заменить его зданием более прочным и лучше огражденным.

Еще смутный и неоформленный план их включал и пе-

ресмотр конституции. В этом отношении задача их упрощалась тем, что идея пересмотра носилась в воздухе. От недостатков конституции страдали все, и многие неглупые люди воображали, что изменением нескольких статей конституции они могут исцелить Францию. Писатели и мыслители наперерыв спешили формулировать свои планы, предлагали свои рецепты: президентство на американский манер, требования гарантий способности быть законодателем, учреждение особого корпуса специально для того, чтобы сдерживать другие, – все эти идеи смутно роились в умах.

Правда, легальным путем произвести такую операцию было невозможно, ибо всякое требование пересмотра было обставлено по смыслу самой конституции процедурой, способной привести к цели не раньше, как через девять лет. Но это мало смущало нарождающуюся новую партию, ибо обращение к помощи насилия было общепринятым в политических нравах эпохи. Нужно было только выискать случай придумать наилучший способ действий, а главное, иметь под рукой выдающегося генерала, который бы предоставил свою шпагу в распоряжение той группы правителей, которая должна была восстать против другой.

В этом-то состоянии умов и зародилась первая мысль о брюмерском перевороте; возвращение Бонапарта только помогло его осуществить и изменило его результаты. Гражданскими руководителями этого переворота управляло то же чувство, как и участниками 18-го фрюктидора и 22 флореа-

ля, – обостренный инстинкт самосохранения. Разница между этим и другими насильственными переворотами была та, что там люди все могли выиграть, а терять им было нечего; здесь же, наоборот, устроители страшно боялись все потерять. К этому руководящему мотиву у некоторых присоединялось искреннее желание оздоровить, возродить республику, открыть ей, наконец, путь к нормальному существованию; они хотели установить настоящий конституционный режим вместо упраздненного на практике фрюктидором и флореалем и последним беззаконием упрочить владычество законов.

Эта партия избрала своим вождем, или, вернее, оракулом, революционера чистой воды, но не военного – аббата Сийэса. В самом начале революции Сийэс играл видную роль; в грозную эпоху террора, вероотступник и цареубийца, он предпочел ступешаться, затем появился снова, уклоняясь от власти и добиваясь влияния. Говорили, что это Именно он, не выходя из-за кулис, играл в последние дни жизни конвента и 18-го фрюктидора роль тайного советчика и вдохновителя; ловко разбираясь в скрытых побуждениях, управляющих событиями и людьми, он всегда умел в нужную минуту незаметно нажать пружинку, в этом отношении он остался священником.¹⁵⁴ Он никогда не компрометировал себя откры-

¹⁵⁴ Один иностранец, присутствовавший на заседании совета пятисот, попросил своего соседа показать ему Сийэса; тот, не видя его, ответил: “Будь здесь в зале портьера, я был бы уверен, что найду Сийэса за нею”. *Lettres de Constant*, 62.

то; в эпоху, когда столько людей истощили свои силы, можно сказать, сгорели на работе, он пользовался всеми огромными выгодами положения того, кто успел ждать и сберечь свою силу; все, чего он не сделал, пошло на пользу его репутации. Ему приписывали необычайную силу ума, гений строительства. Он изучал законы, исследовал свойства народов, сравнивал между собою правительства. Все знали, что запасная конституция целиком сидит у него в голосе, и она казалась тем совершеннее, что заглядывать в нее дозволялось лишь изредка и урывками. Загадочный, умышленно непонятный, он, казалось, носил в себе великую тайну общего спасения. Держась в стороне, он укрылся в берлинском посольстве; ходили слухи, что там он близко ознакомился с европейскими делами и сдружился с высшими представителями дипломатии; кто сумел бы лучше его примирить революционную Францию со старой Европой? В силу всех этих причин час его, казалось, настал; в законодательных кругах замечалось движение в его пользу.

Ежегодный выход одного из пяти членов директории и выборы нового директора взамен выбывающего происходили в флореале. Обыкновенно пять директоров бросали между собою жребий, кому уйти; но, по-видимому, по крайней мере в этот раз, желание руководило судьбой, и директория каким-то фокусом сумела избавиться от Рейбелля, на которого особенно нападала.¹⁵⁵ Рейбелль сам устал бороться со сво-

¹⁵⁵ См. Brinkman, 283—84.

ею непопулярностью, и весьма возможно, что он добровольно пошел на эту комедию; но, уходя, он (характерная черта взяточника) с согласия своих коллег, заставил выдать себе сто тысяч франков.¹⁵⁶ Жертвуя этим человеком, не внушавшим уважения, но энергичным, директория думала спасти себя, а вышло наоборот. Она надеялась дать в преемники Рейбеллю бесцветного подставного актера, но совет пятисот выставил кандидатуру Сийэса, и 27 флореаля (16 мая) последний был избран советом старейшин. Этому избранию способствовал Талейран своей агитацией в кулуарах.¹⁵⁷ Чем ближе приглядываться к изнанке этой эпопеи, тем более значительной представляется роль Талейрана.

Сийэс во всякую эпоху привлекал бы внимание, отталкивая симпатии. С немым лицом, холодный в обхождении, с медлительной вялой походкой, с какой-то неопределенной осанкой,¹⁵⁸ с неустановившимися, словно колеблющимися линиями тела, весь он производил впечатление чего-то сомнительного, ненадежного. Напротив, речь его была резка и внушительна, ибо он отличался редким умением формулировать мысль. По тону и манере держать себя он был много выше своих коллег-революционеров, обладал остроумием, и очень тонким, но проявлялось оно лишь изредка, вспышками. Вещь серьезная для человека, который мечтал руково-

¹⁵⁶ Это подтверждает и Larevelliere, *Mémoires*, II, 434.

¹⁵⁷ Рукописные заметки Grouvelle.

¹⁵⁸ *Mémoires de Talleyrand*, I, 512.

дить себе подобными, — он был совершенно лишен добродушия. Сторонясь от общества, он любил проводить время в кругу немногих посвященных, или старух, которые благоговейно курили ему фимиам; им разрешалось наслаждаться его интересной беседой, и в этом кругу он не всегда запрещал себе быть любезным, но снисходил до этого крайне редко. Как только разговор переходил на его философские или конституционные теории, тон его становился догматическим, авторитетным; он утверждал, не удостоивая обсуждать; постоянно крича о своей непогрешимости, он мало-помалу заставил и других уверовать в нее.

Однако его напрасно изображают типом чистого мыслителя, никогда не спускающимся с высот теории; в нем были и совсем иные черты, была жестокая практичность. Если он и наслаждается, мысленно разбирая и составляя заново политическую машину, прибавляя винтов и колес, искусно располагая и комбинируя отдельные части, весь этот механизм в уме его предназначался для одной главной работы и цели: удержать власть за Сийэсом и его партией, упрочить их положение, сделать его непоколебимым. Слова: консервативная система, консервативные идеи беспрестанно срывались с его языка. Он много способствовал тому, что они так прижились в нашем политическом жаргоне, но сам он относил их только к одному классу интересов и лиц.

Никто не был более его человеком партии, или вернее касты, человеком третьего сословия во всей ограничительной

силе этого термина. Он питал отвращение к дворянам и презирал народ. Это он однажды, – по крайней мере, говорят, что это он, – отказался служить обедню “для черни” (“pour la canaille”).¹⁵⁹ С другой стороны, после фрюктидора он изобрел против дворян план колоссального остракизма, предлагал изгнать из Франции последние остатки аристократии, совершенно ампутировать этот член. В то же время он не был истинным республиканцем; в его прославленной конституции оставалась открытой дверь для короля, который был бы лишь подставным лицом, ставленником революционной олигархии и ответчиком за нее перед иностранными державами. В мечтах Сийэс представлял себе Францию не сияющей над миром и потрясающей Европу мечом или идеей, но Францию, успокоенную, благоразумную, Францию, где он сможет устроить себе удобную и привольную жизнь, ибо он, как сибарит,¹⁶⁰ выше всего на свете ценил покой, уютно обставленный и надежно обеспеченный.

Он надеялся обрести этот покой при буржуазном режиме, философском и рационалистическом, враждебном аристократам и священникам, враждебном и якобинцам, умеренно либеральном, еще того меньше демократическом, признающем народ несовершеннолетним и отдающим его под опеку. Олигархическая республика или ограниченная монархия, – это было все равно для Сийэса, лишь бы только не

¹⁵⁹ *Mémoires de Barras*, III, 484.

¹⁶⁰ *Souvenirs du baron de Barante*, I, 380.

явилось иной аристократии, кроме той, к которой принадлежал сам он, – аристократии цареубийц. Но все же он чувствовал необходимость не слишком суживать привилегированный круг, приоткрыть доступ в него людям, которых революция вначале признала своими, а затем изгнала, отрекшись от них. Он основательно все обсудил и свои крутые реформы рассчитывал ввести с помощью некоторых патриотов 1789 г., добрых граждан, в то время находившихся в ссылке, привлечь к делу преобразования под условием, что в будущем режиме доля участия этих помилованных будет строго ограничена. Впрочем, ум его, привыкший к отвлеченностям, был способен только задумывать, но не осуществлять.

Создание правительства, действительно способного поправить зло, терпимого, для всех доступного, стоящего выше партий, широко национального, никогда не входило в планы этого лжеспасителя.

II

Между тем, как Сийэс покидал Берлин, чтобы занять свое место среди директоров, законодательный корпус еще раз обновился на одну треть своего состава. Выборы происходили в жерминале. Директория первая ввела во Франции официальную кандидатуру и в данном случае цинически воспользовалась этим средством, но правительство было уже настолько дискредитировано и презираемо, что его кандидаты могли заранее рассчитывать на провал.

С 18-го фрюктидора роялисты всех оттенков и либералы не осмеливались выставлять свою кандидатуру на выборах, зато выступили якобинцы; в некоторых местностях они агитировали, проповедуя нечто вроде бабувизма, и это пошло им на пользу; в других они выставляли себя не столько якобинцами, сколько представителями оппозиции, мстителями за свободу против деспотизма директории, и агитация увенчалась успехом. В особенности много их кандидатов прошло на юге. Директория чувствовала себя слишком слабой для того, чтобы повторить 22-е флореаля и принудить советы признать массовые выборы недействительными. 1-го прериала вновь избранные депутаты были приняты в состав советов без особенно строгой проверки правильности выборов, и этот приток новых людей, в особенности в совет пятисот, окончательно разбил большинство. Уже несколько лет в

совете имела́сь партия крайних демократов, но бесцветная и приниженная, немногим отличавшаяся от порабощенной массы; выборы VII года усилили ее, а главное, оживили, гальванизировали.

Тотчас же против директории образовалась оппозиция левой, очень сильная. Именуемая партией якобинцев, она, в действительности, состояла из разнообразнейших элементов: откровенных демагогов, опирающихся вне палат на анархические группы, людей, от которых пахло кровью; политиков, жаждущих известности и нетерпеливо ждущих момента, когда можно будет взять приступом власть, – Брио, Тало, Гранмэзон, Ламарк, Бертран Кальвадосский, Маркези, Киро, Сулье, Арена, Дестрем, – запоздалых якобинцев, лишенных дикой энергии своих предшественников, но направивших силы и голос, чтобы походить на них; недовольных генералов, как Ожеро, считавший себя недостаточно вознагражденным за то, что он 18 фрюктидора воровски отпер замки в Тюльери и схватил за шиворот депутатов, – или Журдан, разбитый в Германии и сваливавший вину на правительство; наконец, из экзальтированных республиканцев, доходивших до фанатизма при мысли об опасности, грозившей нации, убежденных в необходимости разогреть народную энергию на огне революционных страстей и заменить директорию со всеми ее гнусностями крутым, но честным правительством.

Паролем и лозунгом всей партии было: война с ворами,

т. е. война с поставщиками, заставлявшими бедствовать нашу армию, с ажиотерами, спекулянтами и всякого рода аферистами, наживающимися от общего разорения; с чиновниками, позволявшими подкупать себя, с недобросовестным правительством, терпевшим подобные беспорядки, извлекая из них выгоду; со всеми этими преступниками против нации, торговавшими общественным достоянием. В приливе неистового ригоризма число виновных даже преувеличивали, преувеличивая и их злодеяния. Воров было много множество – их видели повсюду: свирепствовала какая-то эпидемия подозрительности, горячка обвинений, и чем дальше, тем сильнее, катясь по наклонной плоскости человеческих страстей. Наконец, стали притягивать к ответу уже всех дельцов и капиталистов; круг обратных требований судом незаконно захваченного имущества разросся непомерно. Война с крупными грабителями перешла в войну против крупных капиталов вообще, заключавшихся в движимости, или хотя бы даже в государственных бумагах, как предполагалось, нечестным путем доставшихся их обладателю.

А такие состояния все почти были нажиты, или восстановлены в эпоху революции, после террора, при режиме III года. Поставщики за это время порядком набили себе карманы, капиталисты и банкирские фирмы, достаточно солидные, для того, чтобы вынести на своих плечах кризис ассигнаций, владычествовавших в то время на рынках и при дворах, усиливались наладить до некоторой степени течение де-

ла. Презируя установленный режим, обладатели крупных капиталов тем не менее хорошо уживались с ним, держа в ежовых рукавицах правительство; настоящими владыками и королями дня были они. И вот эти новоиспеченные богачи оказываются в подозрении, наравне с прирожденными богачами, вдесятеро против прочих обложенными налогами и терпящими всевозможные притеснения. Этот особый вид революционной плутократии в свою очередь отмечен беспощадным знаком и, ввиду грозящих ему гонений, круто переходит на сторону оппозиции. Истребив прежнюю земельную аристократию и разорив рантье, тоже *si-devants*, получивших свои титулы при старом режиме, революция ополчается теперь на капиталы, которым она сама дала возможность сложиться, или вырасти, на целую кучу материальных интересов, участь которых до сих пор отождествлялась с ее собственной, и восстанавливает против себя эту силу – новый факт, и весьма важный, оказавший заметное влияние на судьбы революционного режима.

С первых же дней прериала с трибуны пятисот загремели филиппики якобинцев против продажных министров и агентов правительства. Это была борьба свирепых с растленными. Предавали всенародно проклятию “коршунов”, “вампиров”, “пиявок, сосущих народную кровь”, “современных Веррэсов”,¹⁶¹ ибо громкие слова были по-прежнему обяза-

¹⁶¹ Веррэс – римский проконсул, известный своей продажностью, обвиненный во взяточничестве Цицероном.

тельно, даже когда говорилось о грязных делах; громили продажность администрации на всех ступенях служебной лестницы, а так как между исполнительным и законодательным комитетами не стояло ответственного министра, удары попадали прямо в правительство. Открыто признанный последним дефицит рассматривался как результат системы хищений. Даже старейшины находили, что директория, злостный банкрот, промотав вверенные ей ресурсы, как бы объявила себя несостоятельной.

17-го прериаля советы вотировали адрес французам, объявляя отечество в опасности, клеймя злоупотребления и возвещая режим строгого сыска. Депутаты требовали также освобождения печати, под флагом возвращения к основным принципам. Отменили закон 19 фрюктидора, отдавший газеты под надзор полиции, но совет никак не мог сговориться относительно замены его законом о преступлениях печати; таким образом, тиски полицейской цензуры сменились полной распушенностью.¹⁶²

Тем временем прибыл из Берлина Сийэс; его приезд был

¹⁶² Парижане распевали в то время следующий куплет: *Il est vrai qu'on pourrait écrire Sur les modes, et même dire Son sentiment sur les chiffons En ne parlant pas des fripons. Za vérité de son asile Sortant, nous changerons de style. A pleine tête nous crierons: A bas le regne des fripons! (Bis)* (Правда, можно было писать о модах и даже высказывать свое мнение о тряпках, не касаясь воров. Но мы, извлекиши истину из ее убежища, переменим стиль и будем кричать во все горло: “Долой царство воров!”).

возвещен народу двенадцатью пушечными выстрелами. Он поселился в Люксембурге, но почти не имел общения со своими коллегами; он присутствовал при их переговорах, не принимая в них участия. Он сторонился от этих людей, хотя был их сообщником в фрюктидоре, ибо по крайней мере трое из них – Ларевельер, Мерлэн и Трейльяр – представлялись ему безвозвратно погибшими. “Неуважение к трем директорам равнялось их неспособности и тому ужасному состоянию, в какое они привели наши дела. С ними невозможно было ужиться; все говорили это Сийэсу, и скоро Сийэс стал говорить, как все”.¹⁶³

Ненавидя якобинцев, внушающих ему жестокий страх, он в то же время уверовал в необходимость воспользоваться ими, чтобы устранить директоров, избавиться от этой мертвой ноши, очистить место от этих изъеденных червями трупов. С этой непосредственной целью неомодеранты в обоих советах, мечтавшие о крутых мерах, направленных к обеспечению их власти и влияния, соединились с проповедниками политики необузданного насилия; между этими исходными элементами временно установилось согласие и союз с целью разрушения.

К нападению на директорию готовились путем различных тайных маневров и подступов. Сийэс, введенный в крепость, протягивал руку осаждающим, но как поведет себя Баррас, всегда разыгрывавший забияку на службе у пар-

¹⁶³ Рукописные заметки Grouvelle, друга в поверенного Сийэса.

тии атаки или яростного сопротивления?

Реаль советовал ему избавиться одновременно и от своих коллег, и от собраний, расчистить вокруг себя место и стать господином положения.¹⁶⁴ Баррас не посмел этого сделать; он предпочел вступить в переговоры с парламентской коалицией и обеспечить свое спасение, предав товарищей. Его измена сделала возможным 30-е прериаля – произведенное советами расчленение директории. В собраниях все дело было сделано несколькими вожаками двух соединившихся партий; двойное стадо имеющих право голоса покорно шло по их стопам.¹⁶⁵ Народ не принял в движении никакого участия; улица оставалась спокойной; на бульварах и в увеселительных заведениях не было посетителей; разве что замечалось несколько большее против обычного оживление вокруг Тюльери и дворца Бурбонов, где заседали старейшины и совет пятисот. Париж, спокойный, презрительный, оставался безучастным зрителем парламентского мятежа.¹⁶⁶

28 прериаля – 16 июня, советы объявили, что они не разойдутся, пока не постановят окончательного решения. Началась атака в открытую на исполнительный комитет. Сразу была пробита брешь. Заметили, что выборы одного

¹⁶⁴ “Le Couteulx de Canteleu”, dans Lescure, II, 224.

¹⁶⁵ Brinkman, 291–292, со слов одного депутата.

¹⁶⁶ Publiciste от 2-го мессидора, см. переписку прусского посланника в “Preussen und Frankreich”, I, 308, изд. Bailieu. “Среди этого брожения народ остается совершенно безучастным и ни капельки не интересуется исходом событий”.

из директоров, Трейльяра, были произведены вопреки соответствующей статье конституции, менее чем через год по истечении срока депутатских полномочий Трейльяра. С тех пор минул уже год, по-видимому, законная давность, тем не менее совет пятисот признал выборы недействительными, а старейшины во втором часу ночи утвердили постановление.

Директора, со своей стороны, объявили непрерывное заседание. Когда пришла весть о постановлении обоих собраний, они заседали в красивой зале Люксембургского дворца, блистающей позолотой, с эстрадой, убранной неприятельскими знаменами. В соседней комнате бодрствовала гвардия и сновали курьеры в костюме “Криспена”,¹⁶⁷ Трейльяр известен своей грубостью и надменностью – покорится ли он добровольно? Ларевельер и Мерлэн советовали ему не поддаваться, отстаивать правильность своего избрания; поговаривали о том, что не худо бы прибегнуть к помощи войск, но поведение Барраса, его позы и реплики уже показывали, что он готов передаться врагу, Трейльяр рухнул с первого удара; со слезами на глазах, как уверяет Баррас, – с напускным равнодушием, как говорят другие, – он вышел из залы и покинул люксембургский дворец, не сказав ни слова, без малейшей попытки сопротивления он проглотил обиду”.¹⁶⁸

¹⁶⁷ “Mémoires de Madame de Chastenay”, 304. Криспен известное комическое лицо из итальянских пьес, услужливый лакей – пройдоха.

¹⁶⁸ “Гражданин Трейльяр взял свой зонтик и в тот же вечер – так как было уже поздно – отправился ночевать к себе домой, в улицу каменщиков. На другой день к нему присоединились его жена и семья”. Мет.

Старая директория распадалась по кускам; после Рейбелля – Трейльяр. Баррас уже передался врагу; значит, осталось только согнать с мест Ларевельера и Мерлэна, вырвать этот двойной осколок. Ларевельер и Мерлэн сами по себе были не такие люди, чтобы повторить 18-е фрюктидора, направив его против нового большинства, да и симпатии войск под влиянием ненависти к Люксембургским “дуралеям” (“butors”)¹⁶⁹ за неимением лучшего склонялись в пользу парламента. Это настроение войск лучше гарантировало безопасность советов, чем только что изданный ими указ, объявлявший, что всякий посягающий на их независимость, тем самым ставит себя вне закона. Баррас взял на себя терроризировать своих коллег и ручался за то, что обратит их в бегство. 29-го он явился в совет с огромной саблей, держался каким-то пугалом, смотрел мрачно, говорил мало, сидел, “опершись подбородком на руки, сжимавшие рукоятку сабли”,¹⁷⁰ а Сийэс тем временем в “вычурных”¹⁷¹ речах доказывал двум другим, что им необходимо подать в отставку; он пытался выжить их уговорами.

Но Ларевельер и Мерлэн упорствовали, цепляясь за

de M-me de Chastenay, 406. Borron, III, 359, Протокол ночного заседания подтверждает, что Трейльяр удалился немедленно, “Archives nationales”, A. F., III, 15.

¹⁶⁹ Так еще в 1811 году Даву называл директоров в одном из своих неизданных писем к императору, “Archives nationales A. F.”, 1654–1656.

¹⁷⁰ Lareveillere, II, 392.

¹⁷¹ Ibid.

власть, и выжить их оказывалось не так-то легко.

На упрямцев наседали все больше, валя на них все грехи директории. 30-го эти обвинения им грубо бросили в лицо с трибуны пятисот. Люксембург наводняли депутаты всех от-тенков, убеждавшие их уйти добровольно; ими были полны все салоны и коридоры. Умеренные прислали депутацию, с Булэ де ла Мерт во главе: якобинцы другую. Между дирек-торами произошло очень резкое объяснение, с повышени-ем голоса и грубыми словами, Баррас, понемногу раскрывая карты, старался вырвать у Ларевельера и Мерлэна согласие на отставку. В промежутках к ним направляли кротких по-сланцев, которые пытались смягчить их умилительными ре-чами; люди, называвшие себя их друзьями, чуть не на коле-нях молили их устраниваться, избавив себя и своих последних приверженцев от страшного мщения; их пугали перспекти-вой отдачи под суд, прибавляя, что, если они добровольно выпустят добычу, им не грозят в будущем никакие пресе-дования, и никто не посмеет обидеть их.

Но они все продолжали упорствовать; казалось неизбеж-ным прибегнуть, к силе. Чтобы довершить беззаконие, оста-валось поставить во главе парижского гарнизона человека, который не задумался бы отдать войскам приказ действо-вать. На этот пост метили многие генералы; саблям не лежа-лось в ножнах; мундиры в густыми эполетами мелькали по-очередно то в кабинете Барраса, то у выходов дворца Бур-бонов, то в шумных кулуарах палат. Жубер говорил: “Дайте

мне двадцать гренадеров, и я в любой данный момент все покончу”. Бернадот и того не просил. – “Двадцать гренадеров – это слишком много: четверо солдат и капрал – этого совершенно достаточно, чтобы выставить адвокатов”.¹⁷² И он расхаживал среди оживленных групп в зале соседней в той, где заседал совет пятисот, словно ожидая от собрания только сигнала. Баррас утверждает, впрочем, что Бернадот, пойманный на слове, уклонился от исполнения посула, под предлогом деликатности по отношению к Жуберу, по-видимому, находившему, что первенство должно принадлежать ему.¹⁷³

Впрочем, к такому крайнему доводу и не понадобилось прибегать. Видя, что все их покинули и восстали против них, Ларевельер и Мерлэн покорились, наконец, своей участи; в пять часов вечера оба совета получили их прошения об отставке. Государственного переворота, в буквальном смысле слова, не было; была чистка директории под давлением парламента, подкреплявшего свои доводы угрозами. Мерлэн на время исчез. Ларевельер переселился на свою дачу в Андильи, близ Парижа; впоследствии, когда он пешком ходил в город на заседания института, жители лежащих по пути деревень грубо оскорбляли его.¹⁷⁴ Перед выходом в отставку он намекал на черные замыслы некоторых из членов собрания,

¹⁷² Barras, III, 361.

¹⁷³ Ibid, 361–362.

¹⁷⁴ “Mémoires de Larevelliere-Lepeaux”, III, 450.

на убийственные заговоры. “Ножи уже вынуты”,¹⁷⁵ говорил он; но теперь эти ножи и кинжалы существовали только в воображении тех, кому выгодно было напоминать о них. Четыре месяца спустя Наполеон и Люсьен Бонапарт вновь обрели их в арсенале революционных метафор.

Оставалось заместить вакантные места новыми директорами. По установленному обычаю это нужно было сделать безотлагательно. По уходе Трейльера советы поспешили заткнуть дыру; благодаря парламентским интригам, душою которых был Гара (Garat),¹⁷⁶ на освободившееся место назначен был Гойе (Gochier), бывший министр юстиции при конвенте, президент кассационного суда, революционер, честный и недалекий. Преемником Мерлэна сделался Рожэ Дюко, бывший член конвента, сейчас член законодательного собрания, а: в промежутке мировой судья в Даксе (Dax). На место Ларевельера решили посадить военного. Под рукой было немало славных генералов, которыми республика могла гордиться, но выискали совсем неизвестного, угрюмое ничтожество, Мулэна (Moulin), в то время командовавшего Западной армией; таким образом, директория оказалась в полном составе. “Могут ли эти люди претендовать на то, чтобы мы служили им? – восклицал Бернадот на первом же заседании.¹⁷⁷ Сийэс предпочел бы иной подбор товарищей, но дру-

¹⁷⁵ *Ibid*, II, 349.

¹⁷⁶ Рукописные заметки Grouvelle.

¹⁷⁷ *La Fayette*, V, 67.

зья его напрасно нашептывали избирателям несколько более известные имена; тем не менее он рассчитывал, что ничтожность его новых коллег позволит ему руководить ими и направлять их по-своему; в его глазах обновление директории было лишь шагом на пути к более радикальной реформе, направленной против самой конституции.

Таковы были дни прериала, когда фрюктидорская директория потонула в грязи; выплыл один лишь Баррас. В этом перевороте иные видят противовес и реванш 18-го фрюктидора. Такая оценка основывается лишь на внешности.

В фрюктидоре исполнительный комитет ниспроверг законодательный. Теперь произошло обратно, но это вовсе не было реваншем пострадавших в фрюктидоре и правых. На этот раз распря была локализована между революционерами чистой воды; четверо конвенционалистов последовательно были удалены из директории, трое таких же бывших членов конвента остались, или вошли туда; к ним присоединены были юрист и генерал, люди той же партии. Вожаки в обоих советах все были старые фрюктидорцы – одни, обращенные на путь сравнительной умеренности, другие – оставшиеся верными, или перешедшие к крайней левой; обе эти группы сплотились, чтобы избавиться от чересчур скомпрометированных вождей.

Париж мало интересовался этим переворотом в правительственной сфере. Он и не разбирался в нем как следует; в замене трех глубоко дискредитированных директоров

никому не известными лицами не было ничего, способного разбудить и взволновать общественное мнение. Париж имел обычный свой весенний вид; прекрасная погода привлекала толпы людей в сады и на бульвары. “В увеселительных заведениях, – говорится в отчете военной полиции, – собралась вчера огромная толпа мирных граждан, чуждых забот, думающих только о том, как бы повеселиться и нисколько – об общественных делах”.¹⁷⁸ Вечером весь Париж стремился в Тиволи посмотреть иллюминацию и послушать музыку.¹⁷⁹ Здесь, играя словами, вышучивали несчастья страны: вместо *patrie* (отечество) говорили *patraque* испорченная, негодная вещь, дряхлый старик). На изгнанных директоров сыпался град памфлетов, эпиграмм и карикатур. “Карикатурам нет конца; вот уже несколько дней на набережных во всех витринах выставлена одна, изображающая Трельяра впереди и Мерлэна позади, несущих носилки, на которых восседает Ларевельер. Внизу подписано: “*Nous aemportons le magot*”¹⁸⁰ (Мы уносим сокровище). Сочиняли каламбуры и про новых директоров; в особенности давала пищу тому фамилия Мул-

¹⁷⁸ Военный архив, общая переписка, генеральный штаб, доклад 20–21 мессидора.

¹⁷⁹ Программа зрелищ на 30-е прериаля: “Тиволи: сегодня ровно в 5 часов открытие сада, духовой оркестр, танцы под большой оркестр, иллюминация, концерт на духовых инструментах (исполнит оркестр законодательного корпуса), прекрасный фейерверк, в конце которого будет в первый раз представлен Храм Нептуна, украшенный каскадами”.

¹⁸⁰ *Magot* значит также образину, уroda; Ларевельер был безобразен.

эн, и гвардию директории народ звал теперь не иначе, как мельничной стражей (*gardes-moulins*; *moulin* – мельница).¹⁸¹

В провинции власти сочиняли адреса победителям, напыщенные поздравления с заказными восторгами, провозглашая торжество общественной морали и возрождение государства. Армии, всегда легко поддающиеся надежде, в своей неослабевающей преданности родине, ждали лучшего будущего. Один офицер, лечившийся в Пломьере,¹⁸² писал своей жене: “Все примет новый вид; принесенные нами жертвы не пропадут даром, торжествующая свобода будет стоять незыблемо. О, моя возлюбленная Каликста, я почти выздоровел от этой весте”.¹⁸³ Но гражданское население осталось безучастным; привыкшее презирать свое правительство, каково бы оно ни было, оно с беспечностью скептика ждало результатов кризиса. При старом режиме, когда частые перевороты притупили политическую чувствительность, простая перемена министерства производила больше впечатления. Роберт Линде писал из Кайенны; “Эта революция не производит такой сенсации, какую произвело увольнение аббата Террэй и канцлера Мопу”.

¹⁸¹ “*Gazette de France*”, 15-го мессидора.

¹⁸² *Correspondance intime du général Jean Hardy*, 133–134.

¹⁸³ Письмо от 14 мессидора VII года *Amand Montier, Robert Lindet*, 262.

ГЛАВА II. ПОСЛЕДНИЙ НАТИСК ЯКОБИНЦЕВ

Узурпаторская ярость советов. – Закон о заложниках. – Призыв на действительную службу рекрутов всех разрядов. – Прогрессивный налог в сто миллионов, вотированный в принципе. – Новые министры. – Бернадот. – Прериальские победители разделились; национальное топтанье в луже. – Умеренные и якобинцы. – Новая директория. – Газетный шум. – Париж наводнен памфлетами. – Заседания законодателей. – Требования отдачи под суд прежних директоров отклонены. – Люсьен Бонапарт. – Клубы снова открыты. – Заседания в манеже, – Уличные беспорядки; вновь появились черные воротники. – Вечер 23-го мессидора в Тюльери. – Бульвар. – Паника. – Совет старейший запрещает членам клубов собираться в Манеже. – Общественное мнение возмущается против якобинцев. – Ввиду грозящего напора анархистов, Сийэс готовит новый coup d'Etat для спасения отечества. – Роль, предназначенная Жуберу. Стратегическая и политическая комбинация. – Воззвание к умеренным всех эпох, сближение с изгнанным Лафайетом. На другой и на третий день. – Настроение высокопоставленных революционеров. – Протестантские

*тенденции. – Посмертное влияние Фридриха Великого. –
Сношения с агентами Орлеанского. – Чем кончилась бы
эта затея, не будь Бонапарта.*

I

В законодательных сферах по-прежнему все волновалось, бурлило, кипело. После 30-го прериаля советы не расходились еще несколько дней; в жару торопливых, взволнованных прений, в лихорадке ночных заседаний, экзальтация умов дошла до предела; так длилось около месяца. В течение этого времени законодательное собрание стремилось сделаться центром власти и деятельности, словно оно вышло из долгого рабства лишь для того, чтобы в свою очередь стать узурпатором.

Толчок давал всегда совет пятисот; старейшины следовали ему. В совете пятисот преобладали якобинцы; они брали не численностью, но отвагой, дисциплиной, порывом; под давлением их дворец Бурбонов превратился в горнило революционного фанатизма, откуда исходили пламенные законы, едкие, жгучие. Таков был так называемый закон о заложниках – новый закон о подозрительных личностях, пустивший в ход новый механизм преследования, который мы со временем будем иметь случай наблюдать в действии. Таков закон о призыве рекрутов всех разрядов, с целью формирования в каждом департаменте вспомогательных батальонов. Для покрытия расходов на этот колоссальный набор был вотирован в принципе прогрессивный налог в сто миллионов на обеспеченный класс населения; применение на практике этого

принципа предлагалось регулировать последующими законами; он отдавал буквально все имущество в жертву произвольным поборам фиска. Свершив столько великих дел, советы несколько поостыли, но зато затрепетал Париж, перед которым снова встал призрак конвента.

Новая директория в окончательном своем составе: Баррас, Сийэс, Гойе, Рожэ-Дюко и Мулэн – перемерила состав министерства и главнейших администраций, выбирая по возможности людей с чистыми руками и незапятнанной репутацией, но в то же время сильно выдвигая передовые элементы. Появились и уцелевшие монтаньяры; Роберт Линде, террорист неподкупной честности, занял пост министра финансов, Кинет – министра внутренних дел. Бургиньону дали департамент общей полиции. Мера очень серьезная – портфель военного министра предоставили Бернадоту, который очертя голову кинулся в поток якобинства. Генерал Марбо,¹⁸⁴ известный своими крайними взглядами, был назначен парижским комендантом. Зато в морское министерство Сийэс посадил своего человека, Бурдона, а в министерство юстиции Камбасерэса. В последнем Сийэс оценил зрелый, сложившийся ум, словно самой судьбою предназначенный к трудам по переустройству государства, и, отчасти, открыв ему свои планы, сделал себе из него полезного союзника.

В такое время, когда в программе на первом плане стоя-

¹⁸⁴ Отец знаменитого летописца.

ли строгие нравственные требования, трудно было оставить министерство иностранных дел за Талейраном, слишком известным своим “деловым умом”¹⁸⁵ и подвергавшимся жестоким нападкам. Сдержанно и очень ловко защищаясь путем печатного слова, Талейран все же чувствовал необходимость на время ступежаться и сойти со сцены. Он подал в отставку; сначала получил отказ, затем отставка была принята, и министром иностранных дел назначен гражданин Рейнар, умный и образованный дипломат жирондистского закала. Талейран полагал, что этот второстепенный персонаж только сбережет ему место, дав возможность подготовить свое возвращение; к тому же за Рейнаром была крупная в его глазах заслуга; будучи послом республики в Тоскане, он отсутствовал; заведование министерством он мог принять не раньше, как через несколько недель, а пока Талейран оставался исполняющим должность.

На стороне Сийэса было всего три министра из шести; но он надеялся мало-помалу привлечь кого-нибудь из остальных. Он даже пытался завоевать симпатии некоторых влиятельных депутатов якобинской партии, наименее скомпрометированных своим прошлым, таких, с которыми можно было разговаривать. Он стал приглашать на собеседования Журдана и других: все признают, что конституция не удовлетворяет более потребностям Франции – почему же не сговориться и не изменить ее? Беда только, что пересмотра хотели

¹⁸⁵ Brinkman, 321.

все, но каждый хотел его на свой лад. А так как Сийэс уклонялся от объяснений относительно того, чем должен быть в конце концов заменен теперешний режим, Журдан и другие были недовольны его непроницаемостью; да и помимо того они изрядно не доверяли Сийэсу, подозревая в нем задние мысли; словом, его авансы не встречали сочувствия.¹⁸⁶ Отношения в правящих сферах сильно испортились; Сийэс был зуб за зуб с Журданом и прочими; его друзья в обоих советах все больше и больше сплачивались в партию оппозиции умеренных, отстаивавших конституцию от нападков революционеров, в ожидании, пока они, в свою очередь, будут иметь возможность нарушить ее и переделать по-своему. Необходимо помнить, что эта партия была умеренной лишь в сравнении с якобинцами, т. е. умеренности весьма относительной и недавнего происхождения.

Таким образом, победители 30-го прериаля разделились на два лагеря. В совместной игре каждый рассчитывал обыграть другого; теперь оба это заметили, и неудачная попытка одурачить товарища привела только к резким столкновениям. В результате, правительство утратило всякое единство импульса и действия. Началось невообразимое смятение, страшная кутерьма. Это-то Лафайет, удалившийся после Ольмютца в Голландию, следя с границы за ходом событий, называл “национальным топтанием в поганой лу-

¹⁸⁶ “Notice de Jourdan sur le 18 brumaire”. “Carnet historique”, février 1901.

же” (margoullis national).¹⁸⁷

В директории царил раздор. Сийэсу не удалось взять верх над своими коллегами; он оскорблял их своим превосходством и слишком показывал им, что он их презирает. Что это за люди!”, – говорил он, выходя из собрания.¹⁸⁸ Баррас с первых же дней начал влиять. В то время, как агент, уверявший, что он уполномочен Баррасом, пытался снова завязать сношения с эмиссарами претендента, сам Баррас втихомолку путался с наиболее подозрительными и опасными из террористов.¹⁸⁹ Полагая, что сила в данный момент на их стороне и, быть может, опасаясь, как бы партийная печать не разоблачила его козней, он щадил якобинцев, готовый, однако, восстать против них, если бы они стали слишком опасными; с этого момента он каждый месяц меняет направление. Гойэ и Мулэн сразу перевалили на сторону якобинцев и там остались. Умеренные депутаты, подававшие за них голоса на веру, не зная их, со своей стороны испытывали разочарование.¹⁹⁰ Зато словно в этой странной кампании всем так и подобало быть непоследовательными, Рожэ Дюко, которого якобинцы считали своим человеком,¹⁹¹ сблизился с Сийэсом и благоговейно следовал во всем его указаниям.

¹⁸⁷ **La Fayette, V, 112.**

¹⁸⁸ **Mémoires de Gaudin, duc de Gaète”. 43.**

¹⁸⁹ **Eclaircissements inédits de Cambacères”.**

¹⁹⁰ **“Notes manuscrites de Crouvelle”.**

¹⁹¹ **“Eclaircissements inédits de Cambacères”.**

Таким образом, из пяти директоров, двое тянули до известной степени вправо, двое влево, а пятый поочередно то вправо, то влево. Сийэс будировал, Баррас интриговал, Гойэ всюду видел заговорщиков и упивался чтением полицейских донесений;¹⁹² Мулэн чувствовал, что он на своем посту только временно и покорно катился по наклонной плоскости. Министру Камбасерэсу, который явился засвидетельствовать ему свое почтение и просить его благосклонности, он ответил: “Это я прошу вашей дружбы сейчас и вашего покровительства на будущее время; я не обманываюсь относительно вашего настоящего положения и того, которое вас ждет впереди”.¹⁹³ В этом необычайном правительстве, которое само себя парализовало, казалось, не было человека, способного хотеть и действовать.

“Директория ничего не хотела, ничего не слушала, все откладывала. Директора читали только газеты, обсуждали только газетные статьи, огорчавшие их. Они начинали заседания в одиннадцать утра и сидели до пяти с половиной, даже до шести. Каждый час являлись министры; их выслушивали всегда поодиночке, хотя следовало бы выслушивать их всех вместе. Речь шла все время о газетах, о жалобах, о доносах на частных лиц; из пяти директоров разве один слушал доклад министра и то урывками, в промежутках разговора.

¹⁹² См. Записки Деклозо, настоящий автор которых Real. *Mémoires de Musnier – Descloseaux*, p. 3.

¹⁹³ “Eclaircissements inédits, de Cambaceres”.

После заседания директора отправлялись обедать, всегда в многолюдном обществе и сидели за столом весь вечер, пока не наступало время ложиться спать. А по утрам они читали газеты и письма, чтобы иметь возможность толковать о них с другими во время своих томительных заседаний”.¹⁹⁴

Министры редко виделись между собой и пребывали все время в состоянии взаимного недоверия, да им и недосуг было видеться, дел было по горло. Линде с головой ушел в финансовый омут, что не мешало ему собираться с мыслями и готовить общие меры; но он не надеялся провести в советах последовательную программу действий. Камбасерэс застал в своем департаменте настоящий хаос; ему приходилось все начинать сначала. Бернадот говорил и писал без передышки; его речи, прокламации, циркуляры, воззвания являются любопытным памятником революционно-гасконского красноречия; мы снова находим в них смесь воинственного пыла и бессвязного пафоса. В своих работах он обнаруживал блестящие качества: ум, увлечение, поразительную работоспособность. Вставал он всегда чуть свет, в три часа, и, покинув свой “домишко”¹⁹⁵ на Цизальпинской улице, первым являлся в министерство. Он во все вникал, за всем следил сам, прилагал все старания, чтобы подтянуть канцелярии, подогнать обучение новобранцев, снова наладить материальную часть, преобразовать армию, подбодрить, поднять

¹⁹⁴ *Lettre de Robert Lindet*, изд. М, Montier, 376 – 77.

¹⁹⁵ *Barras*, III, 417.

упавший дух солдат и офицеров. Против хаоса затруднений и всяческих преград, стоявших, на его пути, он ополчился всею силой своей неутомимой и кипучей деятельности. Но гражданские власти, бездействующие или выбитые из колеи, плохо помогали ему; в провинции начинали ходить тревожные слухи о положении дел в Париже и распаде республиканского правительства.¹⁹⁶

Парижская печать, освободившись от намордника, сейчас же бросилась в крайности. Какая радость – безнаказанно призывать к ответу тиранов фрюктидора, большинство которых сохранили за собой свои места, уцелев во время последнего кризиса! “30-го прериаля были смещены правители коварные, дурные, изменники; оставлены: дурные, изменники, коварные”. Какое наслаждение нападать на эту вечную факцию термидорцев и фрюктидорцев! – “Это она посадила в исполнительную директорию самого низкого злодея, какого когда-либо видела в своих рядах контрреволюция... Олицетворение этой факции Баррас; нет преступления против человечества, которого бы он уже не совершил”.¹⁹⁷

Газеты, больше пятидесяти сразу, подняли страшный шум. Воскресшие органы правой всячески поносили правительство, не останавливаясь ни перед чем, находя воз-

¹⁹⁶ Военное министерство, общая переписка, письмо комиссара директории в департамент Дилы (Dyle), сообщенное министерству.

¹⁹⁷ Выдержки из газет, в отчете за термидор, опубликованном Schmidt, III, с. 420 и след.

возможность даже клеветать на “его. Газета свободных людей (Journal des hommes libres) сделалась официальным вестником якобинства, ее прозвали Газетой тигров; своих противников она обзывала “газетными подлецами” (feuilistes d’infâmie).¹⁹⁸ Эта газетка и некоторые другие в том же духе напоминали худшие органы печати 1793 года; то же упорство в травле, та же мания доносов, смесь грубой ругани с ядовитыми инсинуациями. Всех принимавших какое бы то ни было участие в делах, обливали грязью; оскорбляли женщин – и тех, которые, по слухам, были причастны поставкам, и тех, которые сочиняли книги и занимались политикой; беззастенчиво вторгались в частную жизнь; самая чистая репутация не спасала от такого вторжения. Люди, наиболее преданные принципам свободы, в том числе добродетельный Кабанис, приходили в ужас перед этим “потоклом клеветы, грозившим все поглотить”.¹⁹⁹

Наряду с газетами выходило неисчислимое множество брошюр, предвещавших общее разложение и конец режима. Их предавали открыто, по всему городу публиковали объявления о них; разносчики во все горло выкрикивали на улицах: “Завещание республики, или Дело плохо. – Старая директория продавала нас; новая будет вешать. – Четверо повешенных и пятый, готовящий себе петлю. – Полиция арестовала Завещание республики; суд отказался преследовать из-

¹⁹⁸ Номер от 17 фрюктидора VII года.

¹⁹⁹ “Publicliste” от 16 термидора.

дателя”. По углам улиц всюду были расклеены афиши, требовавшие общего вооружения граждан, разжигавшие ненависть и дурные страсти.²⁰⁰ Вокруг дворца Бурбонов продавали книжонку сочинения депутата-памфлетиста Пульсье, озаглавленную “Перемена местожительства”. Автор предполагал переселить старейшин на Монмартр (где прежде вешали), пятьсот в сточную трубу; военного министра в улицу Боев, рекрутов в Покойницкую улицу (rue de la Mortellerie), роялистов на мыс Доброй Надежды, а прогрессивный налог в улицу Чистки-Карманов (Vide-Cousset).²⁰¹

Советы то подчинялись влиянию крайних элементов, то восставали; против него. Старейшины первые опомнились и теперь пытались, еще нерешительно, преградить путь якобинскому движению. Совет пятисот продолжал разыгрывать из себя верховное собрание – не распускал комиссий Одиннадцати (нечто вроде комитета инициативы и действия), но не осмеливался довести; до конца свою дерзость. Его засыпали петициями об отдаче под суд и о привлечении к ответу советом старейшин: экс-директоров Рейбелля, Трейльера, Мерлэна, Ларевельера. Против этих четырех лежачих; накалилось множества обвинений: в продажности, подкупе, посягательствах на свободу личности, угнетении союзных на-

²⁰⁰ Brinkman á Sparre, 19 juillet, p. 301.

²⁰¹ См. у Maurice Fournet “Bibliographie de l'histoire de Paris pendant la Révolution”, список памфлетов той эпохи, хранящихся в национальной библиотеке; немало их хранится и в Парижской городской библиотеке.

родов, и даже весьма несправедливое обвинение – в том, что они отправили Бонапарта против его воли в Египет; услали в “аравийские пустыни”²⁰² нашего лучшего, генерала и цвет наших армий в то время, когда республика, стонущая под гнетом всяких напастей, так страшно нуждалась и в том, и в другом. К счастью, процедура отдачи под суд была медленная и сложная. Рейбелль, перешедший в совет старейшин, энергично защищался и в своих речах, и в печатных своих мемуарах; притом же многие депутаты, убеждая Мерлэна и Ларевельера выйти в отставку, приняли его брата Жозефа, любезного, приветливого, превосходного хозяина. Оба эксплуатируют память своего великого брата и считают себя: вполне способными, с ним или без него, хоть завтра же стать во главе нового правительства. Жозеф еще, по-видимому, искренно желает возвращения героя и не прочь вызвать его. Люсьен ведет себя не столько как совладелец, сколько как наследник великого имени; полагая, что Наполеон надолго, может быть, навсегда, сошел с политической сцены, он трудится для самого себя, и постепенно этот двадцатичетырехлетний юноша, благодаря таланту и апломбу, становится заметной силой. У Жозефа есть связи, у Люсьена – клиенты. Партия обоих братьев соприкасается с группой Сийэса, но не смешивается с нею.

Впрочем, здесь каждая маленькая группа мнит себя пар-

²⁰² Адрес от граждан г. Тулузы, читанный в заседании совета пятисот 6-го термидора.

тией, каждая партия становится факцией. В зале совета пятисот минутами кажется, что парламентские правая и левая вот-вот дойдут до рукопашной, оспаривая друг у друга эту арену. Большинства голосов добиваются интригами, или захватом врасплох депутатов. Часто обсуждение текущих дел прерывается предложениями политического характера, вызывающими бурные прения, которые под конец доходят до драки. Иные заявления директории вызывают грозу. “Депутаты вскакивают, перебегают с места на место, бранятся между собой. Напрасно председатель неистово звонит, призывая к порядку, напрасно пристава надрыдают себе глотку, унимая крикунов; вся зала гудит и волнуется; докладчика не слышно; не слышно даже собственного голоса”.²⁰³ Публике опротивели такие сцены, и парламентский режим становится ей чем дальше, тем антипатичнее.

²⁰³ Отчет в “Gazette de France”, от 18 фрюктидора, VII года, о заседании 17 фрюктидора.

II

И двух палат казалось для Парижа слишком много, – каков же был его ужас, когда возникла еще третья, сама себя учредившая и уполномочившая. Для того, чтобы воскресить в народе энтузиазм, поднять его упавший дух, вдохнуть в него энергию для борьбы с чужестранцами, казалось полезным вернуть былую власть политических союзов, этих кузниц патриотизма. Самый большой и знаменитый из всех клуб якобинцев, закрытый в брюмере IV года, счел момент весьма удобным для возрождения под новым именем Общества друзей Равенства и Свободы. Его воскресение было целым событием.

Якобинцы искали помещения для собраний, но найти его оказывалось не так просто: огромное большинство обывателей было против них и отнюдь не желало их соседства.²⁰⁴ Но слабость властей открыла им доступ в залу Манежа, одно из священных мест революции, где заседало учредительное собрание, потом законодательное, и в первое время конвент, где, среди обнаженных стен, казалось, витали трагические

²⁰⁴ “Gazette de France”, 19 мессидора: “Одно общество, занимающееся обсуждением политических вопросов, намеревалось вчера окончательно водвориться в окрестностях улицы Онорэ; гражданки Рынка, неблагоприятно относившиеся к этим собраниям, весьма невежливо разогнали членов общества, сломали звонок и опрокинули стол, говоря, что эти шутки уже надоели, и все слишком хорошо помнят, к чему они ведут”.

видения. Здание Манежа, лежащее за продолговатым и узким двором, было как бы вдавлено между террасой фельянтинцев,²⁰⁵ нависшей над той частью здания, где была расположена зала, и прежними монастырскими зданиями, пробурованными сквозными ходами. Манеж входил в состав построек, отведенных в распоряжение совета старейшин, заседавшего в Тюльерийском дворце.²⁰⁶

Около половины мессидора потихоньку, без шума, начались собрания в Манеже, и в один прекрасный вечер возродился знаменитый клуб. В члены записалось несколько сот человек, в том числе около полутора ста депутатов. Для того, чтобы обойти некоторые запретительные параграфы конституции, вместо президента выбрали распорядителя, вместо секретарей отметчиков (*annotateurs*). В числе организаторов называли Друэ, некогда участвовавшего в заговоре Бабефа. Поставили председательский стол, повесили над ним красную шапку, устроили трибуну для ораторов; в новом клубе имелись и подача голосов, и программы заседаний, и следственная комиссия, и публика, стоявшая вокруг скамей, на которых теснились члены, и регулярные газетные отчеты о заседаниях; словом, это была пародия на парламент.

Во избежание недоразумений, неоякобинцы открыто за-

²⁰⁵ **Feuillants**, монашеский орден.

²⁰⁶ Известно, что зала эта помещалась почти в точке пересечения теперешних улиц Риволи и Кастильоне. М. Е. Drumont восстановил физиономию этого квартала в своей книге “*Mon vieux Paris*”, 14–22.

являли о своем родстве со своими предшественниками: “Наше имя – якобинцы, наше общество – якобинское; мы якобинцы и хотим быть ими”.²⁰⁷ Правда, они заявляли также о своем глубоком уважении к конституции, но, отрицая желание восстановить режим 1793 года, они в то же время усваивали себе тон и жесты той эпохи. А так как с театра военных действий по-прежнему приходили дурные вести – наши войска в Италии и Неаполе понесли жестокие поражения на берегах Требии, крепость Турин сдалась на капитуляцию, в Швейцарии Массена принужден был отступить за Цюрих, – все это было поводом громить продажные души изменников, требовать казней, декретов против богачей и пик для народа. В особенности настойчиво требовали чистки различных учреждений; министров заклинали очистить свои канцелярии, наводненные аристократами и “зараженные гангреной барства”;²⁰⁸ старались воздвигнуть гонение на “господчиков”, чтобы пристроиться самим на их места; многие из членов нового клуба жаждали не столько крови, сколько тепленького местечка.

И все же сквозь бред парламентских предложений и криков пробивалось возмущение отдельных народных групп против буржуа, загребших в свои лапы всю революцию, отращивание к затхлому режиму, демократическому только по имени, страсть ко всеобщей нивелировке – детище Бэбефа

²⁰⁷ Речь Дестрема, “Publiciste”, 30 мессидора.

²⁰⁸ Отчет в “Gazette de France” от 4 термидора.

и его коммунизма; в наше время это назвали бы ростом социализма. Правда, эти требования яростно повторяла лишь небольшая группа людей, но зато ей свирепо вторили ораторы Манежа. Для них Робеспьер был уже только предком. Непосредственными предтечами, мучениками идеи, чьи “тени жалобно требовали отмщения”, были в их глазах депутаты, погибшие в 1795 году за то, что они в термидоре предводительствовали бунтом голодных против конвента, – были люди, в 1796 году противопоставившие олигархическому деспотизму директории теории общего счастья и полного равенства. – “О. Ромм, Гужон, Субрани, Бабёф, вы будете отомщены, – да, отомщены, и скоро, но только путем суда, а не убийства”.²⁰⁹ И такие речи в зале были ничто в сравнении с тем, что говорилось по соседству. В кафе Годо, вблизи Тюльери, анархистские горланы устроили нечто вроде клуба под открытым небом, где, не стесняясь, говорили о принесении тысяч людей в жертву теньям. Робеспьера и Бабефа.²¹⁰

Казалось, снова появлялся отвратительный кровавый призрак революции, с обнаженными руками, в деревянных сабо, в карманьоле – той революции, которая рубила головы и работала в тюрьмах. Эти ужасы были еще слишком близки, слишком свежи в памяти всех, чтобы призраки недавнего прошлого не повергали Париж в смятение и не заставля-

²⁰⁹ Заседание 30 мессидора; отчет в “Gazette de France” от 6 термидора.

²¹⁰ Отчеты военной полиции за время с 20-го по 25-е мессидора. Военный архив, общая переписка.

ли его трепетать от страха. К тому же, якобинцы в совете пятисот вторили якобинцам Манежа; на одном обеде генерал Журдан пил за воскрешение пик; разнесся слух, будто совет намерен преобразоваться в конвент и восстановить комитет общественного спасения; а из провинции неслись вести, что по всей стране воскресают клубы, выходят из-под земли группы оборванных и мрачных якобинцев. Кошмар террора снова тревожил тяжелый сон, сковавший Францию; долго еще потом помнили эту общую панику при виде красного фантома и великий страх VII года.

Возрождение клубов привело к тому, чего Париж не видел уже около двух лет, – к уличным беспорядкам: яростные речи ораторов Манежа вызвали контрреволюционную агитацию; появились опять остатки золотой молодежи, мюскадены, или, вернее, их младшие братья, приятные и любезные (*les agréables, les aimables du jour*). Между молодыми парижанами самых различных классов установилось какое-то сообщество с целью палками выколотить революцию из якобинцев и кулаками удержать общество от возвращения к злодейскому режиму. Когда прошли золотые времена термидорской реакции, мюскадены переменили имя и отчасти костюм; многие из них поступили на службу в армию; опустевшие места заняли другие, помоложе. Под суровым гнетом фрюктидорского режима они притаились и замерли; брожение умов, наступившее после 30 прериаля, как бы воскресило их.

Общественное мнение и мода были за них; в эту эпоху, когда физическая сила была особенно в чести, “дуть якобинцем” было одним из способов выказать силу своих мускулов и солидность своих принципов, занятием похвальным и почетным, – спортом, как сказали бы нынче. Молодежь снова вернулась к атрибутам своей прежней профессии: “черным и фиолетовым воротникам” на “старых фраках”,²¹¹ широкополым фетровым шляпам со стальными пряжками, широчайшему батистовому галстуку, образующему зоб под подбородком, дубинке или “трости-шпаге” под мышкой, пистолетам в кармане, – и в этом наряде, придиричивая и задорная, снова повела кампанию против якобинцев. Ряды ее пополнялись смутьянами иного рода. В закоулках Парижа ютилось целое население шуанов не у дел, тайком прокравшихся в столицу, авантюристов роялистского закала и празднотающих контрреволюционеров. Эта белая накипь теперь всплыла на поверхность одновременно с красной. Различные элементы смуты уже начинали сталкиваться между собою.

По точным и подробным рассказам очевидцев легко себе представить Париж в этот период мелких войн, причинивших больше страха, чем зла. Главная квартира агитаторов правой находилась в бывшем Пале-Рояле, а теперь дворце Равенства. Бродя по шумным галереям, кипящим лихорадочной жизнью, изобилующим проститутками и всеми видами контрабандного торга, они группируются, воодушев-

²¹¹ Schmidt, “Tableaux de la Revolution”, III, 400.

ляются, точат языки, готовя своим противникам ядовитые стрелы сарказма. Затем, через улицу Онорэ и лабиринт переулков, сомкнутыми рядами направляются туда, где собираются якобинцы для метания громов против правительства и выполнения обрядов своей религии. Осаждающие, внезапно вынырнув из сквозных коридоров из сада, окружают Манеж и устраивают блокаду.

22 мессидора якобинцы торжественно посадили во дворе Манежа дерево свободы; из-за этого пошла перебранка, а затем и драки. На другой день вечером враждебная толпа заняла ближайшие к зале позиции: террасу фельянтинцев наверху и внизу – аллею Апельсиновых деревьев. Как только окончилось заседание, и члены клуба вышли, распевая патриотические песни, с террасы их приветствовали гиканьем и свистками; камни полетели в окна залы. На крик: “Долой тиранов!” эти последние отвечали: “Долой гильотину, долой якобинцев!” Внезапно раздались крики: “Да здравствует король!”

У всех выходов завязалась свалка. В аллее манифестанты, вскарабкавшись на кадки с апельсиновыми деревьями, бросали оттуда камни; другие ломали стулья и обломками колотили якобинцев, проходивших вблизи. Стон стоял по всему саду; буржуа, пришедшие подышать свежим воздухом, их дамы в длинных газовых платьях-футлярах и шляпах из цветов, кидались врассыпную; в аллеях была страшная давка;

мужчины, женщины и дети опрокидывали друг друга.²¹² Появилась стража законодательного корпуса и обрушилась на манифестантов. Некоторые были жестоко избиты, двадцать восемь человек арестовано по обвинению в явном подстрекательстве к бунту и требованиях возвращения короля; среди последних было меньше экс-дворян, чем молодых буржуа, и даже мелких торговцев и лавочников. Следствие выяснило, что аресты производились наскоро и без разбора.²¹³

Стычка повторилась и на второй, и на третий день, к великому огорчению гуляющих, “которые уходили весьма недовольные”.²¹⁴ Власти сочли нужным принять некоторые меры предосторожности: в каждой казарме ждал начеку пикет в сто человек, которым воспрещено было отлучаться из казармы; на продолговатой террасе перед Тюльерийским дворцом поставлены были две небольших пушки. Однако дело не шло дальше тукманок, палочных ударов, порой мальчишества. На палатке, разбитой перед Манежем, якобинцы вывесили великолепный фригийский колпак, на него надели

²¹² Отчет военной полиции за 23–24 мессидора. – Военный архив, общая переписка.

²¹³ Парижские газеты за мессидор и фрюктидор. “Подробности о великой драке, приключившейся вчера в десять часов вечера в Тюльери между роялистами и республиканцами etc”. Оригинал в Парижской городской библиотеке. Выдержки в отчете центрального бюро за мессидор, у Schmidt'a и у Aulard'a в его сборнике “Paris pendant la reaction thermidorienne et sous le Dirataire”, М, 634.

²¹⁴ Отчет военной полиции за 24–25 мессидора.

королевскую корону. Иногда в самый разгар перебранки и тумачков начинал идти дождь и заливал ссору.

В городе обе партии устраивали манифестации: там и сям уже появлялись зловещие фигуры – фигуры 93-года; по улицам с криками и песнями бродили враждующие отряды. В особенности бурно прошли день и вечер 24-го. У ворот Мартина собралось такое скопище якобинцев, что понадобилась кавалерия, чтобы рассеять их. На Итальянском бульваре, в так называемом “Кобленце”, элегантно и контрреволюционном кафе, где остатки прежнего общества заседали каждый вечер на шести рядах стульев, в час выхода из театров собралась толпа и затянула Пробуждение народа (*Le gweil du peuple*), марсельезу реакции. Тотчас же подоспела банда, иначе настроенная. Вот-вот произойдет столкновение. По улицам Фейдо, Колонн и Закона стремительно проносятся какие-то индивидуумы крича: “На помощь! против террористов!” Этого достаточно, чтобы оледенить ужасом весь квартал. Лавки запираются. “Паника растет”, – говорится в полицейских отчетах, “и многие граждане намерены переселиться в деревню.”²¹⁵ Не менее других были недовольны настоящие рабочие, труженики, составлявшие массу пролетариата. Якобинцы не меньше рыцарей реакции сумели внушить отвращение к себе этому несчастному народу, требовавшему первым делом безопасности и покоя.

²¹⁵ См. отчет военной полиции за мессидор, у Schmidt'a, III, 400. – Отчет военной полиции за 20–21 мессидора. Военный архив, общая переписка.

В конце концов совет старейший счел невозможным терпеть, чтобы какая-то секта устраивала у самых его дверей, у него под носом и против него очаг волнений. Манеж, как и все здания, причисленные к Тюльери, находился в ведении инспекторов залы – нечто вроде квесторов, депутатов, облеченных волею своих коллег широкими полномочиями по части суда и полицейского надзора. По поручению собрания, комиссия инспекторов объявила якобинцам, чтоб они искали себе другое место для разговоров. А так как внушение не подействовало, совет формальной резолюцией воспретил им доступ в Манеж. Тогда они покорились своей участи и переехали на другой берег Сены, на улицу Бак, где и продолжали свои шумные заседания в старинной якобинской церкви св. Фомы Аквинского.

Общественное мнение все упорнее травило их, выпуская на них целую тучу книжечек и брошюр, где их ругали и вышучивали беспощадно: “Вешайте якобинцев – это жулики. – Вот убийцы народа! – Посмотрим, кто посмеется последний; закрывайте ваши лавочки; якобинцы открыли свои. – Список главнейших якобинских животных, живых, редких и любопытных экземпляров, переведенных из клеток диких зверей в Ботаническом саду в конюшню Манежа. И перед глазами читателей проходил весь зверинец, вся коллекция якобинских типов – медведи, тигры, обезьяны. В театре, если пьеса заключала в себе хотя бы мимолетный намек на эту, всеми ненавидимую секту, этого было достаточно, чтобы за-

ла гремела рукоплесканиями.²¹⁶

Прочно стоящие газеты, с большим количеством подписчиков, – *Moniteur universel*, *Gazette nationale*, *Publiciste*, *Gazette de France*, *le Surveillant*, – храбро вели кампанию против клубистов и тирании, которой те хотели подчинить существующую власть. А серьезные публицисты нападали на самый принцип свободы союзов и сходов, изображая его источником величайших опасностей и говоря, что ему нельзя дать оправиться от удара, нанесенного ему последним взрывом демагогии. “Якобинцы, – пишет мадам де Сталь в частном письме, – словно подрядились быть пугалом всех принципов свободы, чтобы помешать нации объединиться под знаменем их”.²¹⁷

Именно по поводу беспорядков 1799 года формулировано было, в виде проекта, в одной брошюре знаменитое постановление, впоследствии сведшее на нет право ассоциаций и раздробившее на мельчайшие частицы политическую деятельность французов. Это сделал Редерер, выпустивший брошюру с таким выводом: “отныне законом могут быть дозволяемы лишь такие политические общества, в которых число членов не превышает пятидесяти”.²¹⁸ Поставьте двадцать вместо пятидесяти, распространите запрет на все общества, не только политического, но и иного характера, и вы полу-

²¹⁶ **Brinkman á Sparre, 16 июля, 301.**

²¹⁷ **Архив Коппе, любезно открытый для нас графом д’Оссонвиллем.**

²¹⁸ **Roederer, “Oewres”, VII, 94.**

чите статью 391 Уголовного уложения, заранее проредактированную будущим советником империи.

III

Волнуя таким образом Париж, якобинцы не поднимали народа; “девяносто девять сотых Франции с ужасом отгаликивали их”,²¹⁹ и все же вся страна трепетала от страха перед ними. Посторонний наблюдатель признает их ничтожным меньшинством, но, прибавляет он, “их партия, несомненно, самая сильная, благодаря полному соответствию цели и средств у всех тех, кто без стыда становится под красное знамя. Наоборот, их противники, т. е. почти вся нация, разделились между собой; это большинство включает и республиканцев, и роялистов всех оттенков, и равнодушных, так что между ними нет ни единства интересов, ни единомыслия”.²²⁰ Другая опасность проистекала от того, что демагоги, благодаря революционному фаворитизму, сохранили многих приверженцев и в полиции, и в штабах, и в администрациях. После 30-го прериаля якобинцы воспользовались “генеральной чисткой”²²¹ страны для того, чтобы вкрасься во многие учреждения, заменив насытившихся алчущими. Это был в их руках лишний козырь, не говоря уже о том, что в совете пятисот большинство нередко, хоть и не постоянно, оказывалось на их стороне, а у двоих из директоров

²¹⁹ “Publiciste”, 30 вандемьера.

²²⁰ Brinkman á Sparre, 299, 300.

²²¹ Ibid., 301.

они всегда находили снисхождение, если не положительную поддержку. Каждую минуту можно было ожидать, что они обманом или насилием захватят власть.

Если при таких условиях могла все-таки организовать-ся борьба с возрождающимся терроризмом, то лишь потому, что этот натиск снизу сильно тревожил революционеров, превратившихся в консерваторов, стремившихся упрочить за собой свои места и водворить порядок в стране; Сийэса он раздражал еще больше, чем пугал его. Экс-аббат начал действовать исподволь, за кулисами, подготавливая свой *coup d'etat* с целью изменения конституции и насаждения власти, по-прежнему революционного склада и происхождения, по-прежнему враждебной всякому, кто не представил достаточных гарантий своей преданности новому порядку, но более твердой, чем непоследовательная директория, более прочной, устойчивой, – надежного оплота против анархии. Тут-то и сказывается разница между затяжной интригой в интересах претендента, приписываемой Баррасу, и всесторонне обдуманном плане Сийэса. В общем крушении Баррас думал бы только о себе; он приберег бы для себя выход, потайную дверь, чтоб ускользнуть от республики. Сийэс хотел спасти целую партию, воссоздав, хотя бы на время, республику для обеспеченных революционеров, которым теперь угрожают и которых теснят революционеры необеспеченные: республику правящих якобинцев против республики якобинцев

домогающихся.²²² Впрочем, и Баррас, хотя и продолжавший лавировать между двумя противоположными партиями, по-видимому, не прочь был, пока что поддержать попытку ревизионистов.²²³

Общественное мнение, несомненно, было за нее. В массе люди порядка не любили и презирали пристроившихся революционеров, но предпочитали все якобинцам. Сийэса упрекали в том, что он ничего еще не сделал и находили, что он ниже своей столь искусно выращенной репутации. В полутьме кулис он казался крупнее, чем был на самом деле; теперь, при свете рамп, он как будто уменьшился в объеме. Упрекали его также в неприветливости, в надменности и в том, что он установил в Люксембурге нечто вроде этикета. Тем не менее, если бы он, наконец, собрался с духом и предпринял что-нибудь решительное, к нему прикнули бы все консервативные элементы, народившиеся в самых недрах революции. Талейран, со своей стороны, усиленно работал, стараясь рассеять упорное и вполне основательное предубеждение людей старого режима против этого врага их сословия.²²⁴ И все же, для того чтобы затея имела реальный успех, необходимо было поручить ее осуществление генералу, и притом генералу известному, популярному, обладающему престижем победителя. В этот период пораже-

²²² **La Fayette, V, 29.**

²²³ **Ibid., 128, 134.**

²²⁴ **“Notes manuscrites de Grouvelle”.**

ний победители были редки; попытались нарочно изготовить такого.

Среди молодого поколения военачальников Жубер блистал яркой звездой. Он учился побеждать у хорошего учителя; за ним числилось уже немало блестящих и славных воинских подвигов; повторяли слова Бонапарта при отъезде из Египта: “Я вам оставляю Жубера”.²²⁵ Этот отважный, пылкий, рыцарски благородный молодой человек был зарей, надеждой для многих; иные находили в нем сходство с Гошем, героем, похищенным Францией завистливою судьбой. Глас народа сулил ему будущее: *Tu Marcellus eris*. То, чего он был свидетелем и очевидцем в последние годы; внушало ему глубокое отвращение. За него взялся Сийэс, сначала наставлял его, затем вверил ему командование итальянской армией, вновь собранной и тщательно организованной за Апеннинскими горами, не доходя Генуи. Перед нею стоял Суворов, но у него было меньше людей, так как часть своей австро-русской армии ему пришлось оставить позади, для осады Мантуи и ломбардских крепостей. Вся политическая и военная комбинация Сийэса основывалась на этом временном превосходстве ваших сил над силами противника.²²⁶

²²⁵ “Notes manuscrites de Grouvelle”.

²²⁶ Следующая записка, адресованная Сийэсом военному министру, показывает, что этот директор был уверен в успехе наших войск в Италии: “Итальянская и альпийская армии вместе представляют силу, по меньшей мере равную силам неприятельского генерала Суворова. Ему нужно еще обложить несколько крепостей, поддержать осаду других.

План был таков: Жубер тотчас же едет в главную квартиру, сильным толчком поднимает армию и переходит в наступление. Конечно, благоразумнее было бы подождать, пока к итальянской армии присоединится альпийская, сформировавшаяся под предводительством Шампионнэ, и, быть может, оставаться на позиции угрожающей обороны, но гражданские реформаторы могли ждать спасения лишь от блестящей битвы, от победы, отголосок которой прошел бы по всей стране, и ставили рискованную ставку: “на квит или вдвойне” (“guitte ou double”).²²⁷ Итак, решено было, что Жубер пойдет на Суворова и, как рассчитывал Сийэс, даст ему сражение; успех сделает Жубера почти спасителем отечества и на время властителем дум. Тогда можно будет воспользоваться им – каким способом, это уж определится впоследствии, чтобы раздавить якобинскую факцию, распустить совет пятисот и потребовать пересмотра конституций.

Это был бы произвольный переворот, учиненный войсками, не бунт преторианцев, – такая вещь в то время никому не приходила в голову, и армия, по всей вероятности, воспротивилась бы ей. Нет, инициатива должна была исходить

Весьма вероятно, что мы в скором времени возьмем перевес над войсками, разделенными таким образом на несколько корпусов...” Военный архив, общая переписка.

²²⁷ La Fayette, письмо к Latour-Maubourg, от 17 октября, 123. Все мемуары лиц, более или менее причастных к этим событиям, согласуются между собой относительно роли, предназначенной Жуберу, но длинное письмо Лафайета к Латур-Мобуру, написанное на основании положительных данных, имеет ценность свидетельства современника.

от гражданских властей, должностных лиц, пользующихся репутацией талантливых и знающих людей; а они послали бы армию на приступ и без того уже готового рухнуть законодательного учреждения; на языке того времени это называлось “призвать силу на помощь мудрости”..²²⁸ А там Сийэс разоблачит свой план, укажет на опасность, грозящую со стороны анархистов, провозгласит необходимость “дать Франции новые учреждения и больше власти правительству”; затем, объединив большинство старейшин и часть правительственных сил, призовет войска, наэлектризованные Жубером, я предложит им принять решительные меры против диссидентов. А в результате, под эгидой военачальника с блестящей репутацией, будет учреждено правительство, во главе которого фактически станет Сийэс.

Это был план брюмерского переворота, составленный за четыре месяца до самого события. Общие очертания уже выяснились, понемногу собирались и действующие лица; недоставало только главного актера и настоящего бенефицианта. Сийэс думал расчистить путь Жуберу и, главное, себе самому; он расчищал его для третьего. Бонапарт, в плену у своих побед, отделенный враждебными морями от Франции, поставленный в невозможность дать о себе хотя бы весточку, казался, стоял совсем в стороне; его нечего было и принимать в расчет. Но так как он все-таки мог возвратиться, и то-

²²⁸ Так “Moniteur” охарактеризовал брюмер. После 18-го фрюктидора говорила буквально то же: “Мудрость вела силу”

гда перед его славой померкнет всякая другая, и сделать что-нибудь можно будет только при его участии и посредстве, – Сийэс пытался окольным путем завязать с ним сношения и щадил факцию братьев, о которой ходила молва, что у нее есть какие-то пути сообщения с Египтом. Говорили, что Талейран, самый ловкий сотрудник Сийэса, давно уже старался посадить в александрийское правление собственных эмиссаров.²²⁹ Тем не менее, как орудие, Жубер казался много пригоднее; Бонапарт выказал себя слишком крупной личностью, слишком честолюбивым, выходящим из рамок роли.

Вербовать помощников было не трудно и среди других начальников войск. Анархия в директории и парламентская сутеня становились отвратительны генералам. Этот режим бессилия и болтовни претил их мужественной натуре; их воротило с души от всех этих революционных неурядиц и смрада. Одни переходили к якобинцам из честолюбия или по грубости натуры, в надежде найти в них что-то пылкое и сильное; многие другие выслушивали предложения роялистов, допускали к себе агентов, обещали оказывать услуги, подготавливали почву для частных своих переговоров с Людовиком XVIII. Были и такие, что громили правительство вместе с якобинцами, а сами под шумок вступали в заговоры с роялистами; все чувствовали, что существующий порядок трещит и норовили отойти подальше, чтоб не погибнуть под разва-

²²⁹ “Souvenirs de Le Couteux de Cantelieu”, у Lescure'a, “Mémoires sur les journées révolutionnaires, II, 213–314.

линами. Наиболее благоразумные предпочли бы укрепиться на сносной позиции между якобинством и контрреволюцией”.²³⁰

Таково было, например, мнение Моро, который был знаком с планом Сийэса и одобрял его. Моро, с его почетной и громкой известностью, был бы весьма полезным сотрудником, но человек этот, столь хладнокровный и мужественный перед лицом врага, боялся политики и считал себя неспособным к ней. Как только затевалось что-нибудь в области внутренней жизни страны, он добровольно отступал на второй план. Он соглашался только сделаться главным ассистентом Жубера, если последний встанет во главе предприятия; совершенно отказываясь от инициативы, он готов был идти вслед за другими. Заручились также содействием Макдональда, после Требии, вернувшегося в Париж, чтобы вылечить свою рану, и бывшего военного министра Бернонвилля; их можно было противопоставить генералам, игравшим в руку якобинцам – Журдану, Ожеро, Бернадоту.

Что касается не военных сотрудников, Сийэс чувствовал необходимость искать их не только среди бывших конвенционалистов и революционеров, занимающих государственные должности; он домогался привлечь на свою сторону остатки прежних либеральных и умеренных партий. В тайну были посвящены такие люди, как Петизэ, бывший военный министр, и хороший министр; как Эмери, друг Лафайета; и они

²³⁰ La Fayette, V, 117.

старались для Сийэса. Но настоящие вожди либералов томилась в изгнании, вдали от Франции; то были, с одной стороны, некоторые члены учредительного собрания 1782 года, Лафайет, братья Ламет, Латур-Мобур; с другой стороны, те из пострадавших в фрюктидоре, кто никогда не примыкал к чистой реакции, в том числе Карно. Обе категории были разбросаны по Германии и Голландии, но сохранили связь с Парижем, сохранили там сочувствующих, родных, друзей, через которых могли воздействовать на других, и Сийэс находил, что с этими элементами, как они ни неприятны, следует считаться. Теперь в его план входило объединение против якобинства умеренных всех оттенков и всех эпох.

По словам достоверного свидетеля, он виделся с Карно в Голландии, проездом из Берлина в Париж для вступления в директорию.²³¹ Карно сам был рад помочь решительному шагу, который вновь открыл бы доступ во Францию патриотам, изгнанным за политическую порядочность. Но, верный своему республиканскому идеалу, он допускал вмешательство войск лишь с целью очистить советы, дать мат якобинцам, отменить исключительные законы и обеспечить правильное функционирование существующих учреждений. Он взял на себя подготовить Лафайета, поселившегося в окрестностях Утрехта; несмотря на горькие воспоминания, общность несчастья, желание вновь составить себе партию и за-

²³¹ La Fayette, письмо к Latour-Maubourg, V, 118.

бота об общественном благе вели их к сближению.²³² Одновременно с этим Лафайета подготовляла его жена, приезжавшая в Париж, где она виделась с Сийэсом и Эмери; установились также косвенные сношения между ними и Жубером с Моро; через различных посредников он получал “важные признания” (*de grandes confidentces*)²³³ и предложения.

Лафайет в изгнании смотрел на себя, как на претендента. Он считал, что олицетворяет собою целый режим, воплощает принцип, представляет свободу, которая когда-нибудь придет спасти и поднять Францию. Но если порой он и говорил о том, как он неожиданно вернется во Францию и въедет в Париж на своем белом коне, он очень быстро отрешался от этих химер; хорошо осведомленный относительно настроения народа, он чувствовал, что утратил свою власть над массами и грустно носил траур по своей популярности, не смиряясь, однако, вполне и не веря, чтобы парижане совсем позабыли “белую лошадь”.²³⁴ Оставаясь всей своей пылкой душой французом, он ненавидел контрреволюцию и партию заграницы, но, с другой стороны, ненавидел и тех, кто ныне держал в своих руках власть, конвенционалистов и их приспешников, этих тиранов, столь гнусно монополи-

²³² Сын Карно не верит в это свидание и переговоры, (“*Mémoires sur Larnot par son fils*”, II, 199–209), но нам трудно усомниться в правдивости Лафайета в его конфиденциальном письме к Латур-Мобуру.

²³³ Письмо к *Latour-Maubourg*, *La Fayette*, V, 120.

²³⁴ Письмо к *M. Masclet*, 8 мая 1799, *Ibid*, V, 27.

зировавших общественное благо, и чувствовал, что они питают неискоренимое недоверие к либералам. – “Эти люди, – писал он, и весьма справедливо, – готовы скорей восстановить – без нас – королевскую власть и, быть может, аристократию, чем упрочить с нашей помощью наилучшее республиканское правительство”.²³⁵ Раз уж эти люди начали делать ему авансы, значит, за ними гонится по пятам неминуемая гибель; при таких условиях Лафайет склонен был воспользоваться их содействием.

Он убедился, что при полном почти упадке духа в народе переменить правительство можно только с помощью одной из правящих групп. Он полагал, что, “если добрые граждане не умеют ни конспирировать, ни бунтовать, лучше быть обязанным спасением Франции обратившимся грешникам, чем не спасать ее вовсе. Раз порешив извлечь выгоду из корыстолюбия конвенционалистов, мы должны были желать, чтобы между ними произошел раскол, чтобы у преступления явились свои козлы отпущения, но странно было надеяться, что люди, захватившие власть, откажутся от нее в пользу тех, кто ничего не может и не смеет, если только эти последние не предоставят им значительной доли этой власти вместе с гарантией, что их не будут стараться окончательно опозорить и погубить, как перед 18 фрюктидора”.²³⁶ Между рассуждающим таким образом Лафайетом и партией переворота, с це-

²³⁵ *Lettre á Latour-Maubourg, 18 octobre, V, 134.*

²³⁶ *Ibid., 18 octobre, 100.*

лью преобразований, установилось нечто вроде возобновляющихся время от времени переговоров на расстоянии.

Лафайет требовал гарантий в том, что правительство будущего действительно поставит себе задачей исправить зло и будет терпимым; почему бы не вернуть всех эмигрантов, не зачисленных в списки неприятельских армий? В Париже скупилась, торговались; соглашались вернуть только изгнанников, которые представят надежный залог; в особенности, не надо священников; желать их возвращения, это значит “желать контрреволюции”.²³⁷ Впрочем, о формальном соглашении с Лафайетом и его друзьями, о требовании от них непосредственного и безотлагательного содействия не было и речи. Их хотели только” предупредить, посоветовать им не удаляться, особенно от границы, для того, чтобы, когда удар будет нанесен и водворится новое правительство, можно было вернуть их, показать, пустить в ход, похвастать их порядочностью, их талантами.

Так работали Сийэс и его друзья, подготавливая свое завтра; они загадывали даже и вперед, на послезавтра. Для многих из них в будущем, как они его себе представляли, Жубер был лишь переходной ступенью, Бонапарт орудием про запас; настоящий исход был в ином – в королевской власти революционного изделия, которая окончательно упрочила бы занятое положение и приобретенные выгоды.

Человеку, возводившему в принцип необходимость по-

²³⁷ La Fayette, V, 120.

рвать со всеми нашими традициями, не могла не улыбаться мысль об иностранном государе-немце и протестанте. Сий-эс говорил: “Так называемые исторические истины не более реальны, чем так называемые истины религиозные”.²³⁸ Он не один так думал; обаяние, которое имели протестантизм и Пруссия, и воспоминание о короле-философе для целой группы революционных вождей, вводили их иногда в странные заблуждения. Они склонны были воображать, что предаться в руки ученика великого Фридриха, государя-философа, хотя бы и исповедующего официально лютеранство, было бы для революции наилучшим исходом, который удовлетворил бы всех; правящей группе обеспечил безнаказанность и спокойное наслаждение приобретенным; народу, который до сих пор еще не удалось заставить отрешиться от всяких религиозных идей, – христианство. Этот обманчивый способ разрешения религиозной проблемы соблазнял и очень благородные умы; госпожа де Сталь в одном своем труде, который она готовила к печати, но который напечатан не был, предлагала сделать протестантство государственной религией.²³⁹ Один из близких друзей Талейрана, Сент-Фуа, более практичный, говорил русскому посланнику: “Власти и здраворассуждающая часть нации не решились бы подать го-

²³⁸ Фраза, цитированная Albert Sovel'em в его “La Révolution et l'Europe”, IV, 295.

²³⁹ “Madame de Staël et la République en 1798”, par M. Paul Dauterive “Revue des Mondes” 1 ноября 1899.

лос за Бурбона. Они скорее высказались бы за немецкого государя-протестанта” – и он называл принца Людвига-Фердинанда Прусского.²⁴⁰ Некоторые, возвращаясь к старой идее, подумывали о протекторе и шепотком твердили имя герцога Брауншвейгского, полагая, что Франции можно навязать короля, прикрывая его вначале республиканским титулом. Всех этих разрушителей мучила теперь потребность воссоздавать и восстанавливать, но так как большинство из них были ренегатами или цареубийцами, так как для них невысказано было возвращение к основным традициям, так как они не хотели ни короля, ни католицизма, они изощрались в поисках какой-нибудь подходящей религии и псевдомонархии.

В якобинских кружках с резко патриотической окраской на Сийэса сыпалось много нареканий за то, что он в бытность свою в Берлине подготавливал именно такого рода комбинацию с прусским, или, по крайней мере, немецким государем. По некоторым данным, можно предполагать, что он действительно об этом думал, что об этом думали окружающие его.²⁴¹ На пути в директорию он также искал вне пределов Франции желаемого объекта, короля революционеров, которого можно было бы, в конце концов, противопоставить

²⁴⁰ Baillue, 1, 330.

²⁴¹ См. разговор, приведенный в мемуарах Фуше (“*Mémoires de Fouche*”), I, 70, 71. Madelin установил, что эти мемуары, вначале слышавшие апокрифическими, были, несомненно, инспирированы Фуше, и что их свидетельством не следует пренебрегать. “*La Revolution française*”, 14 septembre, 1900.

королю эмигрантов. Человек, уже по своему положению хорошо осведомленный, Камбассерэс формально заявляет, что был момент, когда “Сийэс прислушивался к предложениям, исходившим от герцога Орлеанского; в то время другом и поверенным Сийэса был Талейран, и переговоры с агентами герцога велись через его посредничество”.²⁴² Во всех интригах того времени видна рука Талейрана; она служит между ними связующим звеном, примеряет и мешают вместе все комбинации.

С другой стороны, на основании подробных сведений, доставлявшихся Лафайету, чтобы держать его в курсе дела, этот последний писал Латур-Мобуру, что Сийэс соглашается “на восстановление королевской власти”.²⁴³ Надвигающаяся опасность объединила всю партию “в убеждении, что окончить войну и спасти свободу можно только поставив во главе правительства конституционного государя, но коалиция, с одной стороны, и якобинцы, с другой, напирала так сильно, что предварительно нужно было выиграть битву против держав и дать другую якобинцам в совете пятисот”.²⁴⁴ Существовало ли формальное соглашение, договор с младшей линией? Нет, была просто тайная склонность и тенденция в пользу такой королевской власти, которая была бы из всех реакций наименее реакционной. В этом смысле операция,

²⁴² “Eclaircissements inedits de Cambaceres”.

²⁴³ “Lettre du 17 octobre”, 123.

²⁴⁴ Lettre du 17 octobre, 122.

неожиданно принявшая, благодаря возвращению Бонапарта из Египта, выгодный для него оборот, была задумана, как предприятие с республиканской исходной точкой и орлеанистским заключением.

ГЛАВА III. БОРЬБА ПАРТИЙ

Отъезд Жубера в Италию; его женитьба. – Сийэс начинает борьбу против якобинцев. – Его речи на Марсовом Поле. – Парижский комендант и военный министр. – Камбасерэс. – Старейшины. – Перемены в парижском гарнизоне. – Якобинцы улицы Бак. – Обращение к Фуше; его назначение министром полиции. – Как он сразу поставил себя в глазах общества. – Ловкая осада. – Пули 10-го августа. – Марбо устранен. – Закрытие клуба; отношение к этому населения; страхи совета пятисот. – Якобинская агитация в провинции; роялистская контр-агитация. – Месяц жизни в провинции. – Юг; эпидемия разбоев и убийств. – Долина Роны. – Лион – Центр. – Юго-западу грозит восстание. – Тулуза и Бордо. – Упадок духа в Вандее. – Шуаны. – Волнения в северных городах. – Бельгия и рейнские департаменты. – Четыре Вандеи в перспективе. – Сила и слабость роялистской партии; принцы – Восстание в Верхней Гаронне и соседних департаментах. – Запад отстал; решено взяться за оружие. – Три заговора. – Что предпринимает правительство. – Воззвание мадам де Сталь к справедливости. – Тирания и распущенность.

I

Жубер выехал из Парижа 28 мессидора – 16 июля, с тем, чтобы разбить Суворова и снять траур с наших знамен, унося с собой надежды политиков, ожидавших от генерала-победителя создания нового правительства и преобразования Франции. В заботах о его успехе, как вне, так и внутри страны, посвященные не останавливались ни перед чем. Решено было дать ему в товарищи и менторы Моро, поставив рядом и пылкостью мудрость. Чтобы Привязать Жубера к тому, что было тогда наиболее привлекательного в политическом мире и обществе, ему сосватали невесту, девицу де Монтолон, племянницу Семонвилля, человека, все предвидящего и всегда обращавшего взор в сторону восходящего светила.

Приключения Жубера начинались как сентиментальный роман; это нравилось парижанам. Свадьбу сыграли в Гран-прэ, В Шампани; затем генерал отвез молодую жену к своим родителям в Пон-де-Во, в его родной департамент Эн (Ain). После нескольких дней, проведенных в объятиях жены, он вырвался из сладостных оков и помчался в бой, унося с собою талисман – ее портрет. Он выказывал лихорадочное нетерпение победить, прославить себя новой славой и затем бросить на чашку политических весов всю тяжесть своего меча.

Он несомненно готов был произвести переворот; гораз-

до менее несомненно, чтобы он захотел всецело подчиниться Сийэсу и работать исключительно для буржуазной фракции. С Гойе он не стеснялся дурно говорить о Сийэсе;²⁴⁵ он выставлял на вид свою восторженную преданность республике, что не мешало ему допускать к себе эмиссаров претендента.²⁴⁶ Замечательно, что правительство реставрации, столь враждебное памяти и славе революции, оказало памяти Жубера почти официальный почет.²⁴⁷ Следует ли из этого, что Жубер, готовясь нанести решительный удар, стремясь прежде всего спасти Францию от опасности, грозившей ей извне, и от анархистов, в то же время не отгонял от себя мысли впоследствии завести переговоры о реставрации? Как бы то ни было, вообще, генералы, вошедшие в это дело, менее непримиримые, чем реформаторы-конвенционалисты, менее стесненные обременительным прошлым, отнюдь не намерены были предоставить штафиркам организовать будущее правительство, орудуя по своему произволу и соблюдая исключительно свою выгоду.²⁴⁸ Можно думать, что и Жубер, если он и рассчитывал достигнуть власти с помощью Сийэса и его группы, мечтал впоследствии разыграть

²⁴⁵ “*Mémoires de Gohier*”, 1, 53.

²⁴⁶ Впоследствии Сен-При (Saint-Priest) писал барону d'André: “Что до Жубера, он умер, и, значит, его сношениям с вами конец”. – Архив министерства иностранных дел, 23 сентября 1799 г.

²⁴⁷ Когда ему воздвигали памятник в его родном городе, правительство реставрации доставило на свой счет все необходимые материал.

²⁴⁸ *La Fayette*, V, 123.

роль посредника между партиями, быть может, примирителя Франции и Бурбонов.

Для Сийэса самое важное было удержать за собой власть до победоносного возвращения Жубера, чтобы не пропустить момента, чтобы помочь победителю ворваться в крепость и облегчить ему вторжение. Он начал бороться с якобинцами легальными средствами и с большей настойчивостью, чем от него ожидали. От природы не мужественный, он стал отважным под давлением необходимости и страха. Явная опасность и засевший в его мозгу великий план, казалось, изменили его характер; друзья не узнавали его.²⁴⁹ В этот период он был поистине главным деятелем общественной защиты.

Обычная перетасовка директоров сделала его на четыре месяца президентом. Как таковой, он был первым лицом в области представительства и председательствовал на национальных торжествах. Все народные праздники, все великие годовщины революции приходились на лето и следовали одна за другой: 14 июля, 9 и 10 термидора, 10 августа, 18 фрюктидора, 22 вандемьера. В эти числа в память великих событий устраивались торжественные церемонии на Марсовом Поле с военными парадами, дефилированием войск, пушечными залпами, музыкой, пением приличествующих случаю гимнов, с благовониями, курившимися в урнах вокруг алтаря Отечества, с аллегориями и псевдоримской декорацией,

²⁴⁹ Cambaceres, “Eclaircissements inédits”.

разукрашенной снопами цветов и гирляндами.²⁵⁰ Директора в парадном уборе восседали впереди всех прочих властей на массивных раззолоченных креслах; президент в своей речи обращался ко всей Франции. 14 июля и, в особенности, 10 термидора, дали случай высказаться Сийэсу.

Он публично объявил войну якобинцам, напомнил о кровавой и грязной тирании, которой они в свое время угнетали Францию; “Какой урок! Люди без талантов, но не без удали, в одном имени свободы, которую они профанировали, черпали непостижимую силу, чудовищную власть, какой не было примера в истории и – клянусь республикой! – никогда не будет возврата.²⁵¹ Это было первое предостережение смутьянам; Сийэс поднял знамя порядка.

Сийэс весьма практично старался обеспечить за собою позиции, необходимые для того, кто хочет произвести во Франции государственный переворот при помощи войск: посты парижского коменданта и военного министра. Люди, в данный момент занимавшие оба эти поста, Марбо и Бернадот, по-видимому, всецело были на стороне якобинцев. Сийэс искал только предлог отставить Марбо и заменить его своим человеком. Самым крупным препятствием казался ему Бернадот, и он, как крот, подкапывался под него, стараясь убедить Барраса, что первое качество, требующееся от воен-

²⁵⁰ “Lettres de Constant”, 30.

²⁵¹ Текст официальных речей этого периода находим *in extenso* в “Moniteur'e”, хотя эта газета в то время еще не была официальной.

ного министра, это отсутствие характера и яркой индивидуальности, угодливая покладистость.²⁵² Впрочем, и его коллеги начинали находить, что Бернадот слишком шумит и занимает чересчур много места; за этим громоздким и бьющим в глаза персонажем стусевывались официальные главы государства.

Сийэсу действительно помогал Камбасерэс. Он, со своей стороны, старался отобрать у якобинцев часть захваченного ими. После 30 прериала, когда эта факция брала себе все, что хотела, в руки ее отдана была, между прочим, и центральная администрация Сены, так называемый тогда департамент Сены, коллективная власть, поставленная над окружающими муниципалитетами и правившая Парижем. Под председательством бывшего дантониста Лашевардьера эта администрация могла в критическую минуту организовать возмущение черни; свое направление она уже обнаружила, составив список присяжных из ультра-революционеров. В качестве министра юстиции, Камбасерэс обратил на это внимание директории; директора, по малодушию, не посмели воспользоваться своим правом и признать список недействительным. Камбасерэс по собственному почину устроил так, что суды не утвердили списка.²⁵³ В то же время он всячески старался низвергнуть лиц, составивших его, а это значило за-благовременно уничтожить центральный комитет инсурген-

²⁵² Barras, III, 388–389.

²⁵³ Cambácerés “Eclaircissements inédits”.

тов.

В политических собраниях интрига ревизионистов, подготавливавших реформу конституции с оружием в руках, глухо развивалась и неслышно шагала вперед. Совет старейшин положительно превратился в сборище умудренных опытом революционеров; один из членов его, Куртуа, известный термидорец, недавно произнес ядовитую речь против странствующего клуба, изгнанного из Манежа и теперь отыскивающего себе другое пристанище; старейшины, казалось, готовы были на все, лишь бы вырвать Францию из лап якобинцев. Сийэс льстил себя надеждой привлечь на свою сторону большую часть членов этого совета, сделать из этой группы главный рычаг, и в случае надобности, пустить его в ход против другого совета. В среде пятисот партия умеренных принимала все более и более желательную Сийэсу окраску, но большинство все еще ускользало от него. То якобинское, то просто конституционное, это большинство ревниво оберегало прерогативы и неприкосновенность собрания.

В один законопроект “О гарантиях гражданской свободы” совет пятисот включил параграф, лишавший директорию права вводить в конституционный район, т. е. в Париж и его окрестности, такое количество войск, какое она найдет нужным. Это право, противное конституции, директория присвоила себе 18 фрюктидора для того, чтобы иметь возможность произвести насильственный переворот, а на другой день после переворота утвердила его за собой законода-

тельным порядком. Параграф, отнимавший у нее это право, не прошел в совете старейшин, отказавшихся его санкционировать. Два стоявших в Париже полка, посланные за границу, могли быть заменены 79-й полубригадой, 8-м и 9-м драгунскими полками; 79-я полубригада была взята в плен русскими, в Корфу, и отпущена лишь под условием не сражаться более с иностранцами; драгуны большею частью возвратились домой также пленниками на честное слово. Эти войска и обращены были в столичный гарнизон. Сийэс, быть может, предназначал им низвергнуть конституцию по знаку Жубера, но, как Оказалось, они были прежде всего и фанатически преданы Бонапарту, под начальством которого участвовали в итальянской кампании.

В директории постепенно подвигалось вперед сближение Барраса с Сийэсом; формировалось большинство сопротивления. Сами Гойе и Мулэн порой пугались анархистского движения; их не мог не встревожить яростный протест клуба, изгнанного из Манежа, против насильственного переселения его в улицу Бак; клубисты подняли страшный шум, расклеили повсюду негодующие воззвания; какой-то субъект крикнул с трибуны: “к Оружию!”.²⁵⁴ А число членов собрания все росло; по слухам, их было теперь уже больше трех тысяч; клуб привлекал к себе всех беспокойных людей, всех смутьянов, и служил для них центром.

Правда, в совете пятисот не раз поднимался вопрос о

²⁵⁴ Отчет о заседании 8-го фрюктидора, “Gazette de France”.

выработке закона, который, признавая существование политических обществ, в то же время регламентировал бы их. Это был бы способ запереть клубистов в кругу строжайших запрещений, поставить им законные пределы, но результат всех этих парламентских переговоров оставался проблематичным и заставлял себя, долго ждать. Совет пятисот вообще нелегко приходил к определенному решению; напрасно директория торопила его, ссылаясь на неотложные дела. “Дела продолжали лежать под спудом в бюро комиссий”,²⁵⁵ а факция, заседавшая в манеже, продолжала ругать весь мир, изрыгая зажигательные воззвания. Ввиду такого упорства, директория уже предвидела необходимость вмешаться самой и закрыть клуб административным порядком.

Для того, чтобы нанести этот удар, нужен был министр полиции, не отступающий перед крутыми мерами. По общему признанию, Бургиньон был не на высоте такой задачи. Он был всего только порядочный человек и охотник до грубых шуток; должность же его требовала совсем иного; он не умел импонировать; для этого у него не хватало надлежащего вида и надлежащей осанки. На его место прочили человека с мрачным прошлым, но всем известного за человека энергичного, – к тому же все знали, что у него есть основательные причины не желать, чтобы факция манежа захватила власть в свои руки, – бывшего священника Фушэ, прославившегося своими подвигами в Нанте и еще больше в Лионе, видно-

²⁵⁵ “Lettre de Robert Ljndet”. Montier, 377.

го участника пальбы и резни во втором по значению городе Франции.

После термидора Фушэ нырнул в глубину и жил там хуже, чем жалким и презренным, – забытым, занимаясь черной работой в полиции, пробуя счастья и в делах, и в спекуляциях, то пытаюсь нажиться на откармливании свиней, то вымаливая себе место, самое маленькое местечко, “местишко”,²⁵⁶ лишь бы только не умереть с голоду и прокормить семью, ибо в своей конуре он оставался превосходным мужем очень некрасивой жены и отличным семьянином. Мало-помалу он вылез из своей ямы на свет божий, цепляясь за что только мог, и даже вошел в милость к Баррасу. В фрюктидоре и прериале он бродил около власти, служил Баррасу, видался с Сийэсом, вообще, играл какую-то темную роль. В награду его отправили послом сначала в Милан, затем в Гаагу. Оттуда, чувствуя, что счастье начинает снова ему улыбаться, Фушэ всячески старался проложить себе путь к министерскому портфелю при помощи друзей, имевших доступ в Люксембург и восхвалявших его полицейские таланты.²⁵⁷

Наконец, Баррас предложил его на место Бургиньона; Сийэс, допускаящий его лишь как временное орудие, поддержал предложение. Казалось, против напора анархистов последним ресурсом был этот якобинец без предрассудков и с все еще надежным кулаком, приютившийся в одном из

²⁵⁶ Barras, III, 272.

²⁵⁷ См. Madelin, “Fouché”, I, 181–241.

посольств. 2 термидора постановлением директории гражданин Фушэ из Нанта был назначен министром общей полиции; плохо осведомленная публика вначале затрепетала от ужаса.

Фушэ не был буржуазным, солидным революционером, подобно Сийэсу и его друзьям. Желая спасти деятелей революции, он отнюдь не исключал стоявших в самом низу. Его былые злодеяния, его темперамент, нрав, привычка к грубому сквернословию, – хотя он был скорей циничен, чем вульгарен, – даже известные демократические инстинкты приближали его к крайним якобинцам. Но в то же время он чувствовал, что якобинцы, стремясь вернуть республику к частой анархии, идут по ложному пути, вразрез с требованиями эпохи, с волей народа, накликая катастрофу, которая неизбежно должна привести к контрреволюции. Эта факция запоздалых якобинцев представлялась ему не чем иным, как анахронизмом. Он мечтал вылепить сильное правительство из демагогического теста, вымешанного и выкатанного его твердой рукой. Впрочем, он был в сношениях и с Жубером и знал, какие надежды возлагали на юного генерала “республиканцы-организаторы”.²⁵⁸ Не чувствуя себя в силах играть в деле изменения конституции первую роль, он согласен был облегчить эту задачу другому, удовольствовавшись второй, и со своей стороны, трудился над сглаживанием пути. Вви-

²⁵⁸ Так называл их Mallet du Pan: “la Revolution française vue 'de l'etranger”.

ду всего этого, он не поколебался бы разогнать клубистов с тем, чтобы после снова собрать их вокруг себя, образумить и сформировать из них свою министерскую гвардию.

Когда ему предложили вернуться из Гааги и принять в свои руки бразды правления, он не заставил себя просить и через десять дней был уже в Париже. 11 термидора он принял присягу в директории и комфортабельно расположился в отеле на набережной Вольтера, где полицейский служебный персонал немедленно почувствовал над собою твердую руку.

С первых же столкновений и с правительством, и с Парижем этот человек с необычайно бледным лицом, кровавыми веками и ничего не выражающими глазами, более неподвижными, чем стеклянные, показал свою силу. Он проявил невозмутимый цинизм и спокойную дерзость, обнаружив, кроме того, холодную иронию и склонность к мистификациям. Его призвали укротить якобинское чудовище; он начал с того, что раздавил реакцию. По отношению к публике он занял такого рода позицию; напечатал на видном месте в газетах, рядом с прокламацией, где он смело заявляет, что он бдит и ручается за порядок, постановление о применении к тридцати двум лицам, с перечислением имен, закона фрюктидорского террора. Речь шла о законе 19-го брюмера VI года, приравнивавшем оптом к эмигрантам всех депутатов, попавших в фрюктидорские списки наказания, но ускользнувших от ссылки путем бегства буде они не явятся в указан-

ный срок. Этот закон, следовательно, позволял административным порядком приговаривать их к смерти.

Эти несчастные – в том числе Камилл Жордан, Порталис, Пасторэ, Катрмэр де Кэнси, Карно – выехали за границу или же скрывались внутри страны; по отношению к каждому из них в отдельности мера эта имела значение лишь заочного приговора, но Фушэ прежде всего хотел соблюсти формы в отношении чистых республиканцев и засвидетельствовать непоколебимость своих принципов. Водрузив и освежив революционный флаг, Фушэ мог теперь, под прикрытием его, обратиться и против факции Манежа, не навлекая на себя обвинения в том, что он играет на руку реакции. Он изготoвил объемистый доклад о якобинских собраниях, форменный донос, походивший на мотивировку постановления о закрытии. Он обнаружил особый талант – идти к цели без торопливости и промедления. Прежде чем атаковать неприятельскую позицию, он решил ознакомиться с ней, изучить местность, устранить препятствия, укрепиться и обезопасить свой тыл.

Директория пребывала в нерешительности и недоумении. Сийэс не прочь был двинуть дело, но дебюты полного неожиданностей Фушэ немного смущали его и ставили в тупик; Гойе и Мулэн задерживали ход. Не имея надежной опоры в самой директории, Фушэ должен был в то же время остерегаться по крайней мере половины военных и гражданских чинов столицы, так как совет департамента, парижский ко-

мендант и военный министр были заподозрены в пристрастии к клубистам.

Больше всего вооружены против них были, по-видимому, старейшины; они словно вызывали директорию на решительный шаг, оповещая ее о различных беззакониях, творимых якобинцами. Ответом директорам послужил доклад Фушэ: веский, но сдержанный по форме, он отдавал должное клубам в прошлом, еще резче подчеркивая этим их теперешние бесчинства, и заканчивался простым выводом о необходимости вотировать безотлагательно закон о политических обществах, чтобы гарантировать их права и в то же время иметь возможность обуздывать их, когда они переступят границы. Фушэ пока не шел дальше предложения строго парламентских мер, быть может, для того, чтобы наглядно доказать их бессилие.

Доклад был отправлен старейшинам; те, в свою очередь, передали его в совет пятисот, как приглашение вотировать вышеупомянутый закон, приучая себя таким способом к инициативе, несколько выходящей за пределы их конституционных полномочий и, как мы увидим дальше, сильно развившейся в брюмере.

В совете пятисот чтение министерской прозы вызвало среди якобинских депутатов яростные опровержения. Слышались крики: “Неправда! Ложь!”. Народная трибуна ревела неистово, ибо анархисты снова усвоили себе привычку сажать на нее своих вожаков и маркитанток (*vivandières*). Под-

нялся спор, путаный и резкий, возобновившийся на следующий день. Доклад был передан в комиссию, но вопрос о напечатании его так и остался нерешенным, хотя и было несколько слабых попыток поставить его на баллотировку. Понятие о шуме могут дать выдержки из газетного отчета. “Оратора положительно не слышно; ему не под силу перекричать толпу... Около четверти часа ропот, протесты, крики; “На голоса, – печатать, – попробуйте еще, – поименную перекличку, – да, – нет, – достаточно!.. заглушают его голос... Снова шум; вся зала в волнении... Шум продолжается... Шум достиг апогея”.²⁵⁹ В итоге совет еще раз раскололся надвое, распался на две почти равные половины и, тем самым, был обессилен. Чтобы отвлечь внимание, депутат Брио начал громогласно обличать агитацию контрреволюционеров, роялистские заговоры и убийства республиканцев, действительно, все учащавшиеся в различных местностях Франции.

Якобинский клуб, чувствуя нависшую над ним опасность, бесился все больше. В последние дни он метал громы специально в Сийэса. Братья и друзья, несмотря на свои чудачества, обнаруживали некоторую проницательность: они догадывались, если не о вооруженном перевороте, выполнение которого взял на себя Жубер, то о крившемся за ним заговоре со смутно орлеанской окраской. В глазах их органов печати Сийэс был той невидимой рукой, которая вела республику к подделке королевской власти, столь же ненавистой

²⁵⁹ Отчет в “Gazette de France” о заседании 18 термидора.

доброму революционеру, как и законная монархия. Что касается Фушэ, его отлучили от церкви и предали анафеме, как вероломного брата и изменника делу, осыпали его же жестокими оскорблениями. Наряду с этим ревушим и топочущим якобинством, действовали иные ферменты и продолжалось брожение в обратном смысле. По вечерам, в расслабляющей атмосфере лета, на душных улицах, нагретых за день, и даже на Гревской площади, в бродячих группах раздавались крики: “Да здравствует король!”.²⁶⁰ И хотя это кипение с двух сторон было чисто поверхностное, огромный город, жаждавший покоя, продолжал волноваться; его лихорадочное возбуждение не проходило. Первые дни августа тянулись, медленно, томя всех тягостными предчувствиями, угнетая все возвращавшимися страхами. Говорили, что якобинцы организовали пропаганду в армии, в новоприбывших полках;²⁶¹ говорили об уличных беспорядках, о замышляемых покушениях на власть предержавших.

Среди всех этих волнений подоспела годовщина 10-го августа. На Марсовом поле, в присутствии всех избирателей,

²⁶⁰ “Gazette de France”, 13 термидора.

²⁶¹ “Publiciste”, 24-го: “Ожеро занимал место распорядителя в клубе улицы Бак в тот день, когда было принято в члены несколько солдат из гарнизона Корфу... Клуб заранее старался расположить в свою пользу военных. Тридцать два члена клуба, по большей части военные, были еще накануне отправлены в Корбейль, навстречу этому гарнизону, чтобы побрататься с солдатами и предложить им собранные в складчину 600 фр.

среди обычных декораций и реющих над головами трехцветных значков, перед бюстами обоих Брутов, красовавшимися на алтаре Отечества, Сийэс Произнес речь, еще более смелую, чем предшествующая. Обращаясь к чересчур усердным республиканцам, он старался умиротворить их “настоятельными и братскими советами”, но при этом без обиняков рекомендовал: им отделиться от своих коварных вождей; последних он громил, предъявляя к ним ряд суровых обвинений. “Цель их, конечно, не торжество справедливости; они хотят иного; опьянить народ подозрениями, внести в умы французов смятение и уныние и, в общем смятении, самим стать господами, – словом, властвовать во что бы то ни стало и править страной. – Французы, вы знаете, как они правят!”²⁶²

Затем была разыграна маленькая война, примерное взятие замка с развевавшимся на нем белым флагом, изображавшего собой Тюльери; статисты с видом бунтовщиков, с ружьями в руках, изображали народ, победителей 10 августа, и звали к себе на помощь республиканских солдат, чтобы взять приступом убежище тиранов; примерный штурм сопровождался пальбой холостыми зарядами. Среди этих безобидных залпов директора, сидя на своих почетных местах, явственно расслышали свист нескольких пуль, пролетевших мимо их ушей и вонзившихся в декорацию позади. Очевидно, некоторые из стрелявших забыли вынуть из своих ружей

²⁶² “Moniteur”.

пули – случайно или намеренно? по небрежности или с преступным умыслом? Большинство думало, что в число статистов вкрались якобинцы, они-то и стреляли настоящими пулями в Сийэса и Барраса; замечено было, что одновременно с залпом в некоторых группах раздались дикие крики.²⁶³ Другие полагали, что виновных следует искать в рядах войска, что было бы еще хуже. Как бы то ни было, военные власти навлекли на себя суровую ответственность за недостаточно бдительный надзор.

На другой день после праздника директора, еще взволнованные событиями вчерашнего дня, принялись за обсуждение текущих дел. Фушэ рассказывает, что во время заседания он написал несколько строк карандашом и передал Сийэсу; тот прочел, одобрил и последовал совету: заставить своих коллег, еще не оправившихся от испытанных волнений, подписать двойное постановление – об увольнении от должности парижского коменданта, Марбо и замене его генералом Лефевром. Таким образом, Сийэс добился, наконец, давно желанного удовлетворения и успокоения. В одиннадцать вечера постановление совета было сообщено военному министру, которого даже не спросили раньше, и ему же поручено было озаботиться немедленным его выполнением.²⁶⁴

²⁶³ См. парижские газеты за 25–28 термидора.

²⁶⁴ Рассказ Фушэ (“*Mémoires de Fouché*”, I, 87) подтверждается официальным письмом Бернадота к Марбо, письмом, немного смахивающим

Избавившись от Марбо и утвердившись в доверии Сийэса, Фушэ почувствовал, что у него развязаны руки; план его отныне был ясен. Другьям, с тревогой спрашивавшим его, что он намерен предпринять относительно грозного клуба, он отвечал: “Очень простую вещь: он будет закрыт”.²⁶⁵ От собраний Фушэ не ждал поддержки, и ворчание пятисот мало его тревожило. С другой стороны, он не верил в успех уличных беспорядков, заметив, что настоящий народ уже не идет вслед за якобинцами. К тому же, новый парижский комендант, хоть и ярый республиканец и друг Журдана, вел себя прекрасно, принимал военные меры предосторожности, держался настороже против всяких сюрпризов и стягивал силы; в Париж был вызван отряд драгун, прибывший в Сен-Жермен-ан-Лэй для ремонта;²⁶⁶ 25-го в пять часов вечера, на всех постах неожиданно переменили пароль.²⁶⁷

на протест: “Уже одиннадцать часов вечера, и я спешу передать Вам только что полученное мною постановление исполнительной дирекции о переводе Вашем в том же чине в действующую армию. Заместителем Вашим в командовании 17-й дивизией назначен генерал Лефевр. О дальнейшем Вашем назначении я Вас извещу. Каково бы оно ни было, я убежден заранее, что Вы и на новом посту сохраните за собой уважение республиканцев, ибо и там будете служить республике. Привет и братство”. Publiciste, 26 термидора. Директория приложила все старания к тому, чтобы передача поста совершилась без проволочек. К Лефевру ночью был послан гонец и, не застав его дома, поскакал к нему на дачу. См, письмо военного министра.

²⁶⁵ Madelin, I, 251.

²⁶⁶ Военный архив, общая переписка.

²⁶⁷ “Moniteur” 26 термидора.

Каким образом удалось Фушэ укротить военного министра, этого беспокойного и волновавшего других Бернадота? Десять лет спустя Фушэ, герцог Отрантский, министр общей полиции при императоре и короле, прогуливаясь в лесу Фонтенбло с Филиппом де Сегюром, охваченный потребностью излиться, рассказывал своему спутнику, как он в термидоре VII года взялся за Бернадота: он напрямик выяснил ему положение, говоря: “Глупый ты человек, куда же ты идешь? Что хочешь делать? В 1793 году – иное дело; там можно было только выиграть, разрушая и строя заново. Но ведь то, чего мы добивались тогда, теперь наше. А раз мы добились своего и можем теперь только проиграть, к чему продолжать прежнее?” Фушэ считал этот довод неотразимым. “На это нечего было возразить”. Однако Бернадот не сдавался и все еще ухитрялся спорить, упрямо цепляясь за химеры. Тогда, с твердостью холодного политика, умеющего в минуту гражданского кризиса влиять на растерявшихся военных, Фушэ прикончил его одной фразой: “Как хочешь, но помни, что может быть завтра же, как только я примусь за твой клуб, если я найду тебя во главе его, твоя упадет с твоих плеч. Даю тебе в том мое слово и сдержу его”. – “Этот аргумент, – добавляет Фушэ, – убедил его”.²⁶⁸

26-го Фушэ представил директорам для подписи постановление ни более ни менее как о закрытии клуба. На этот раз он хотел покончить с якобинцами, но не просто, а с фо-

²⁶⁸ “Mémoires de Segur”, edit de 1894 I, 441.

кусом, как это у него было в обычае; он придумал курьезную шутку; нанести им удар, как роялистам, как разновидности шуанов, в своей разнузданности дошедших до реакции. Этот чудовищный подвох, впрочем, имел немало precedентов.

Камбасерэс, призванный на совет, весьма одобрил постановление и настаивал на его принятии, но восстал против намерения Фушэ установить несуществующую связь между интригами двух крайних партий.²⁶⁹ Тем не менее в отношении, оповещавшее совет пятисот о принятой мере, включены были следующие фразы: “Да, граждане представители, роялизм конспирирует с большой дерзостью; его агенты рядятся во всякое платье, принимают на себя все личины, говорят всякими языками; они добиваются гибели республики всеми путями – и усилиями нескрываемой ненависти, и коварством притворного рвения, и открытыми нападениями в объявленной войне, и лицемерием преувеличенного патриотизма”. В то же время, чтобы лучше прикрыть себя с левого фланга, Фушэ требовал от совета пятисот закона, который дал бы ему право производить домовые обыски с целью разыскания возвратившихся эмигрантов, королевских вербовщиков и всех конспираторов правой. Это он делал в угоду парламентским якобинцам, чтобы расположить их к себе, ввиду удара, который он готовился нанести их друзьям. Говорят, Сийэс сказал: “Позолотите им пилюлю, но проглотить

²⁶⁹ “Eclaircissements inédits”, Cambaceres.

ее они все-таки должны”.²⁷⁰

Добившись постановления о закрытии клуба, Фушэ не терял ни минуты. В тот же день, в пять часов вечера, помещение клуба в улице Бак было закрыто, документы арестованы, на двери наложены печати. Как рассказывал впоследствии сам Фушэ,²⁷¹ он лично присутствовал при наложении печатей, спрятал ключи к себе в карман и преспокойно положил их потом на стол директории.

Вокруг здания клуба, охраняемого военным караулом, вокруг кавалерийских отрядов, размещенных на соседних улицах, собирался народ в многочисленные и оживленные группы, но в общем публика была очень довольна происшедшим. Депутат Брио, вмешавшись в толпу, слышал весьма резкие суждения о якобинцах и даже “об этих мошенниках депутатах”, но приписал эти отзывы “полицейским шпионам”.²⁷² Несколько упрямцев-членов пытались проникнуть в помещение клуба; три-четыре человека были арестованы, для примера. Большинство решило собраться в другом месте, в отеле де Сальм – теперь дворец Почетного легиона. Отдельные группы проникли во двор; полиция усмирила их с

²⁷⁰ “Barras, III, 442.

²⁷¹ Письмо Фушэ к Гайльяру, у Madeirn, I. 253.

²⁷² Брио рассказал обо всем этом с трибуны совета пятисот. Между прочим, он сообщил, что кто-то сказал об Ожеро: “Мне не страшны его большая сабля и султан; уж с ним-то я не промахнусь; его сейчас узнаешь по большому носу” (Смех). – Ожеро: “Смею вас уверить, все это меня ничуть не пугает!” (Снова смех).

твердостью, но без излишней запальчивости; народ смотрел, не препятствуя, и почти весь Париж вздохнул свободнее.

Партийные газеты ругались. “Директория осмелилась обвинить собрание в нарушении конституции. Директория лжет; это гнусная клевета!”.²⁷³ Совет пятисот отнесся к закрытию весьма благодушно; на заседании 26-го предложено было только сейчас же поставить на очередь закон об организации обществ – знаменитый закон, который должен был гарантировать все права и которому не суждено было увидеть свет.

В глубине души депутаты не были спокойны и за собственную шкуру. Они начинали бояться, что Сийэс и Фушэ, набив себе руку на Манеже, в один прекрасный день и с ними обойдутся, как с шумливым клубом. Слухи о готовящемся перевороте, казалось, носились в воздухе; при первом же подозрительном признаке их охватывал страх. Случайно проведав, что инспектора совета старейшин, предвидя беспорядки на 26-е, предоставили в распоряжение Лефевра часть парламентской стражи, отвлекая ее таким образом от ее естественного назначения, они три дня не могли опомниться от изумления и негодования.²⁷⁴ В народе дивились, что закрыть клуб оказалось так легко и просто, и что Фушэ достаточно было смело шагнуть к этому призраку, чтобы он исчез. Фушэ, со своей стороны, отнесся очень мягко к тем,

²⁷³ “Journal des hommes libres”, 30 термидора.

²⁷⁴ См. отчет о прениях в “Moniteur”е.

кому он нанес удар; он, казалось, желал, чтобы эти enfants terribles республиканской семьи вернулись в лоно ее, отрешившись от минутного заблуждения; он не позволял оскорблять их и пролил несколько капель бальзама на рану. Тем не менее в настроении парижан произошел поворот в его пользу. Ему были признательны за обнаруженные им ловкость и решительность; мирные буржуа, помещики, бомонд, порядочные люди – все находили, что Фушэ лучше своей репутации, и решили, что он способен править страной. Эта первая победа над анархией была занесена ему в актив.

II

Тем не менее положение оставалось страшно критическим. Оно несколько улучшилось в столице, зато все ухудшалось в провинции, ибо якобинцы всюду стремились вернуть былую власть и влияние, и главное общество в Париже уже успело создать бесчисленное множество разветвлений в провинции. Во всех больших городах и во многих других уже были учреждены или учреждались клубы, причем организаторы, наталкивались, однако, на отчаянное противодействие значительной части населения; страх и отвращение к якобинцам были в то время единственными чувствами, способными волновать сердца. В двадцати местах сразу вспыхивали кровавые стычки между якобинцами и молодежью, порешившей снова упрятать их под спуд.

С одной стороны, напирали якобинцы, с другой – роялисты; последним к тому же благоприятствовали неудачи, которые терпели наши войска. У всех получалось такое впечатление, как будто они присутствуют при агонии правительства, и роялисты активного типа воображали, будто вместе с директорией погибнет и революция. После десяти лет обманчивых надежд, разочарований и неудачных попыток, казалось, будущее, наконец, улыбалось им; никогда еще они не чувствовали себя такими близкими к цели и, следовательно, не были так склонны к предприимчивости. Еще одно усилие,

говорили они себе, последнее дружное усилие, и Франция будет возвращена своему королю.

Они решили повсеместно взяться за оружие и тем более укреплялись в этом намерении, что республика для усиления наших итальянской и немецкой армий принуждена была отозвать почти все войска из глубины страны. 16-го мессидора, по официальному подсчету, во Франции было пехотных войск всего 46.235 человек, да 10.681 артиллерии с инженерными командами; из них один Париж поглощал 7.935 человек, да охрана Запада по меньшей мере 30.000; было, кроме того, еще 10.681 человек береговой стражи, несшей службу исключительно на берегу, да при складах столько же, плохо или совсем невооруженных;²⁷⁵ этого было недостаточно, чтобы восполнить малочисленность состава жандармерии и летучих отрядов. К тому же роялисты старались подорвать верность и преданность войск, распространяли листки, призывавшие к неповиновению, к дезертирству. В городах они пытались направить на желательный для них путь движение среди антиякобинской молодежи; в деревнях разбойничество все чаще и чаще принимало на себя политическую личину, а политика прибегала к разбойническим приемам. Правда” масса городского и сельского населения в общем оставалась инертной; ей не столько опротивела сама революция, сколько революционеры, но одолевшая ее смертельная усталость, делала ее неспособной противиться уси-

²⁷⁵ Военный архив, общая переписка.

лиям факций. Эти факции еще не сложились в организованную милицию, не нападали друг на друга большими вооруженными бандами; они набивали себе руку на мелких нападениях на отдельных лиц, на грабеже, убийствах, беспорядках, и по всей Франции из конца в конец уже потрескивало разгоравшееся пламя гражданской войны.

Ряд фактов местного характера, назидательных и живописных, в рассказах путешественников, в ежедневных рапортах гражданских и военных властей, лучше всяких общих взглядов дает нам возможность проследить день за днем нарастание смуты. Сквозь эти моментальные снимки, свидетельства и признания видна Франция со всем разнообразием ее мнений и страстей, со всею пестротой оттенков, с красными и белыми пятнами, со всеми нестройными элементами, снова вступающими между собою в борьбу на фоне общего бессилия и маразма. С 15-го мессидора до 20 термидора все это нарастает в непрерывной прогрессии, и обзор одного месяца жизни в провинции покажет нам, до чего дошла Франция.

Департаменты, расположенные вокруг Парижа, – Иль-де-Франс, равнины Шампани, Эн и Арденны, Лотарингия и Вогезы, Бургундия, Нивернское, Бурбонское и Орлеанское плоскогорья, даже до известной степени Турэнн, сравнительно спокойны. Там наблюдаются только обычные беспорядки: неповиновение рекрутов, сопротивление сбору налогов, сопротивление религиозным преследованиям. В Ла-

оне, Реймсе, Метце, Нанси функционируют клубы. “Анархистской клике”²⁷⁶ пытается противодействовать меньшинство беспокойных реакционеров, и население склоняется на их сторону из отвращения к другой. За этими исключениями население мирится с существующими учреждениями или, по крайней мере, терпит их. Новый пожар во Франции начинается с окраин; огонь уже занялся на океанском побережье в Фламандии, в прирейнских провинциях, в юго-восточном районе, на берегу Средиземного моря, вдоль Пиренеев; во всех этих местностях, прямо или косвенно испытывающих на себе влияние извне, хронический беспорядок начинает переходить в острую анархию.

Как раз в это время новый министр иностранных дел, Рейнар, прибывший морем из Фосканы, пытается высадиться в Тулоне. Там, оказывается, вся администрация якобинская. Эти местные тираны без конца держат Рейнара в карантине, делают ему кучу неприятностей, в результате которых у него умирает ребенок. Дело в том, что *Journal des hommes libres* страшно накинулся на него за принадлежность к группе умеренных; надеются, что его назначение еще удастся заставить отменить. Интрига не удалась, и тулонские братья и друзья устраивают новому министру торжественную встречу со знаменами и музыкой; палачи становятся раболепно-заискивающими.²⁷⁷ Умеренные бежали из Тулона; в городе ца-

²⁷⁶ Военный архив, общая переписка.

²⁷⁷ “*Lettres de madame Rheinard*”, 71–78.

рит террор. Вар остается, в общем, республиканским, но там и сям уже идет брожение враждебных революции элементов. Сиота пришлось объявить на осадном положении; в Опсе (Aups) только что вспыхнул крестьянский бунт; жандармский начальник доносит, что крестьяне отбили и прогнали его с его людьми, “обзывая нас разбойниками, злодеями, патриотами, террористами, мошенниками, ворами, словом, всякими бранными словами, наиболее обидными для республиканцев.”²⁷⁸

Рядом Приморские Альпы представляют собой очаг контрреволюционной агитации. Здесь, как и во всех департаментах, завоеванных нашими храбрыми войсками и испытывавших на себе революционный режим, население в массе жалеет о тиране и проклинает своих избавителей. В департаменте Приморских Альп существует особая разновидность разбойников, или, вернее, партизан (guoullas) – пуделя (borbets). Они укрываются в глубине долин, в селениях, гнездящихся на высоких утесах, в расселинах скал, во всех извилинах гор, спускаясь для нападения на почту и небольшие отряды; недавно только они обезоружили целую роту республиканских солдат; число их с каждым днем возрастает. Военные власти, очевидно, бессильны или подкуплены. А военный суд, заседающий в Ницце, за деньги, говорят, оправдывает всех обвиняемых. Войскам скоро нечего будет есть. “Самое скверное в нашем положении, заявляет адми-

²⁷⁸ Общая переписка, 28 мессидора.

нистрация, то, что у нас во всем недостаток, и через три дня нам придется прекратить раздачу хлеба”.²⁷⁹ На всех береговых тропинках можно встретить дезертиров из итальянской армии; они идут бандами в пятнадцать, двадцать, тридцать, пятьдесят, шестьдесят человек; некоторые в мундирах, при сабле и пистолетах; они жалуются, что там им по двадцати дней кряду не выдавали пайков, причем они лишены были всякой возможности добыть себе пропитание иначе, как военным способом; эти жалкие отбросы наших армий повсюду присоединяются к поборникам анархии.

Почтовая дорога, обслуживающая побережье, дорога, по которой идет сообщение между Ниццей, Тулоном, Марселем и, дальше, Нимом, кишит разбойниками, словно дороги на Востоке. Особенно опасны некоторые проходы между теснинами гор с острыми зубцами, меж известковых утесов; туда въезжают положительно с трепетом. Дошли до того, что заранее вступают в соглашения с разбойниками, абонируются на проезды, как в Турции.

Вот Марсель, когда-то царица Средиземного моря, – низверженная царица. Где кипучая деятельность ее пакгаузов, где живописная, ярко-красочная жизнь ее улиц? Где лес мачт, жавшихся к ее набережным в те дни, когда торговля с Востоком давала городу восемьдесят тысяч ливров ежегодно? Революция, война и, в частности, разрыв с Турцией, уничтожили наши конторы на Леванте, старинные поставщицы

²⁷⁹ Общая переписка, 28 мессидора.

Марселя. Теперь в смрадном порту гниют несколько остовов кораблей. В города есть, впрочем, лавки, торгующие обычными предметами житейского обихода, есть удовольствия и зрелища, но мостовые до того плохи, что по ним нельзя ездить в экипаже.²⁸⁰ Памятники разрушаются, больницы и приюты дошли до последней степени оскудения; из “пятисот пятидесяти незаконнорожденных детей, подкинутых в приют Человеколюбия в VII году, умерло “пятьсот сорок три””.²⁸¹ В Марселе, кажется, живуча только ненависть. Ненавидят друг друга обыватели, живущие на одной и той же улице, из дома в дом,” из двери в дверь, а городские власти ограничиваются надеждой, что потасовки между соседями мало-помалу выйдут из обычая. Из опасения побоищ пришлось запретить даже традиционные забавы; однако, в праздничные дни пытаются воскресить народные гулянья и танцы на площадях, на дворах (cours) под зеленым навесом платанов.

Время от времени в городе поднимают шум якобинские крикуны. “Вечером с 4-го на 5-е (термидора) по некоторым кварталам расхаживали скопища буянов, распевавших патриотические мотивы, которые они загрязнили циничными словами и омерзительными припевами”.²⁸² Тем не менее

²⁸⁰ “Lettres de madame Rheinard”, 79.

²⁸¹ Документ, на который ссылается Lallemand в “Révolution et les pauvres”, 235.

²⁸² Доклад Фушэ, врученный директории 12-го вандемьера, об общем положении в республике. Aulard, “Etat de la France en l’an VIII et en l’an IX”, p. 10.

партия реакции составляет в городе большинство и с помощью своих гнусных сподвижников опустошает всю округу. “Фанатизм – читай: религиозность – снова вернул всю свою прежнюю власть; священники собирают народ в церквах и с успехом громят республиканские учреждения; последние частью соврем забыты и попираются ногами. Спектакли и зрелища являются аренами антипатриотических чувств и раздора. Титул гражданина изъят из употребления. Организация национальной гвардии плоха до смешного; обыватели несут службу без оружия, на всех постах наберется лишь несколько ружей, и то ветхих, еле живых. Вандея со всех сторон напоминает о себе; в горах укрывается множество дезертиров, рекрутов, “рубак” и “головорезов”, которые большими шайками человек в сто выходят на проезжие дороги, грабят путешественников, почту, гонцов, осаждают маленькие коммуны, убивают должностных лиц, пугают обывателей ружейной пальбой у самых городских ворот. Они находят кров и приют у фанатизированных ими крестьян и даже в домах известных лиц”.²⁸³ В той же записке обличается комендант города, который совсем не водит знакомства с чистыми республиканцами и мироволит во всем роялистам.

В других городах департамента Устьев Роны верховодят, по большей части, республиканцы и весьма шумно проявляют свое усердие. Нигде праздники, установленные новым календарем, не празднуются так аккуратно, с таким трес-

²⁸³ Общая переписка, 7-го термидора.

ком и помпой.²⁸⁴ Эти южные города, жаркие, пыльные, зловонные, иссеченные мистралем и обожженные солнцем, вечно рядятся в красные или трехцветные тряпки, поминутно видят шум народных кортежей, треск шутих, звон тамбурина. Для них революция остается трескучим зрелищем, предлогом для парадов, речей, музыки, патриотических жестов и кривлянья, огромной непрерывной фарандолой, веселой или неистойвой. Противная сторона проявляет не меньше пылкости и неистовства; страна раскололась, надвое. В других местах факции борются между собою на фоне бесцветной массы; на юге почти все население разделилось на два ярко окрашенных лагеря, на ожесточенные факции, готовые перегрызть горло одна другой.

В сельских общинах, еще полных ужаса перед насилем революции и реакций, на этой земле, впитавшей в себя столько крови, нравы стали необычайно жестокими. Убивают по привычке, охваченные какой-то манией убийства. Однажды ночью в термидоре, в коммуне Пейриэ, близ Экс'а, какой-то негодяй хватает ребенка, спавшего возле своего отца, и бросает его в колодец. Возмущенное население хватается за оружие и убивает кого придется, кто первый попался под руку. Между прочим “убивают двух субъектов, восстановивших против себя общественное мнение своими крайними взглядами”,²⁸⁵ но непричастных к злодейству; накиды-

²⁸⁴ **Ibid.**

²⁸⁵ **Общая переписка, 4-го термидора.**

ваются на террористов. В окрестностях Арля грабят и убивают разбойники особого типа, перерезывающие поджилки, *coure-jarrets*: они работают специально между Марселем и Мон-Кассэном; во всем департаменте Устьеv Роны дороги в их власти.

Не менее тревожно живется в Воклюзе; в период революции нигде, кажется, не было столько трагических происшествий. Авиньон, город ледника, город с гнилой дырой, на дне которой хранится груда человеческих костей, остается безучастным, словно оцепеневшим от всех этих ужасов. В Кавальоне нашли убежище террористы, изгнанные из других городов; они тиранят население и на днях совершили два убийства. Карпантра, наоборот, центр белого террора; разбойники буквально блокируют город и, держат в порабощении запуганные ими власти; не сыскать ни присяжных, которые бы решились осудить их, ни свидетелей, которые бы стали показывать против них. Из тюрьмы, сквозь трещины стен, бегут арестанты; обыватели среди бела дня два раза подряд отбили у жандармов арестованных. В Тарасконе бегству узников на тюрьму помогают стрелки местного гарнизона.

При таком беспорядке как вернуться к нормальной жизни, к мирным занятиям? Бывало, ярмарка в Бокере периодически оживляла течение дел, рассыпаясь над страной благодатным дождем барышей. В этом году, для того чтобы ярмарка могла состояться, пришлось мобилизовать и пехоту, и кавалерию для защиты купцов и обозов, телег и кибиток с

товарами. По деревням бродят шайки “королевских головорезов” (egorgeurs royaux²⁸⁶), нападают на людей, грабят имущество. Правда, администрация разрешает носить оружие лишь “гражданам безукоризненной честности и испытанного республиканского образа мыслей”,²⁸⁷ но это мало помогает; со всех сторон сверкают ружья и ножи. Власти жалуются с напыщенным отчаянием, так и отдающим югом: “За четыре года партизаны трона и алтаря превратили департамент Воклюз в вулкан разбоев и убийств”.²⁸⁸ Им кажется, что в стране ожили все сразу и кипят все элементы междоусобной войны: “11 термидора: департамент Воклюз накануне жестокого кризиса; гражданская война готова вспыхнуть в нем повсеместно”.²⁸⁹

Повыше Авиньона временно отдыхает город Оранж, не так давно изувеченный знаменитой комиссией, пролившей в нем реки крови. Наблюдаются попытки возрождения местной промышленности. Путешественница, проходя по улице, слышит жужжанье прялок, пение, звонкие голоса, и приблизившись, видит около двадцати молодых девушек, ткущих шелк; они снова взялись за ремесло своих бабушек, но песни новые, уже не те, что в старину.

La victoire, en chantant, nous ouvre la barrière,

²⁸⁶ Общая переписка, 8 термидора.

²⁸⁷ Ibid.

²⁸⁸ Ibid.

²⁸⁹ Ibid., 11 термидора.

*(Победа с песней нам заставы открывает,
Свобода нас ведет.)*

Валянс, Монтелимар тоже не прочь бы забыться мирным сном маленьких провинциальных городков, но вокруг бродят разбойники. “Сборщики податей при перевозке денежных сумм подвергаются величайшей опасности: на днях ограблены двое, ехавшие с транспортами из Вигана и Сюзы; назначенные на постой солдаты не смеют явиться в дом к плательщикам налогов, по причине открытого сопротивления этих последних”.²⁹¹ Сообщение между югом и Лионом стало чрезвычайно опасным; где только сдвинулись скалы, где только сузилась дорога, образуя ущелье или темный проход, там, гляди, уж засели в засаду удальцы из бывших рот Жегю,²⁹² притаившись в кустах, повязав голову цветным платком, с карабином на перевязи, они издали зорко следят за белой лентой дороги, подстерегая дилижансы, мальпосты, гонцов, везущих депеши и деньги.

Чем дальше от реки, чем выше в горы, в департаментах Низких Альп, Высоких Альп и Изеры, в суровой местности, где дуют резкие ветры, население, в общем, проникнуто бо-

²⁹⁰ Madame Rheinard, 80.

²⁹¹ **Общая переписка, 2 термидора.**

²⁹² **Compagnie de Jegu – банды королевских убийц, жестоко резавших республиканцев после 9-го термидора.**

лее патриотическим духом. В этих департаментах пока довольно спокойно, за исключением южной зоны Низких Альп, куда налетами заглядывают разбойники. В Гренобле возродился якобинский клуб и весьма дает знать о себе. На севере Изеры патриотическая зона тянется через Эн (Ain), выделившийся во время революции своей “непоколебимой и обратившей на себя внимание преданностью республике”.²⁹³ Но как ослабело теперь его рвение! Население страшно упало духом; полицейские законы в общем выполняются далеко не с той энергией и точностью, каких требуют обстоятельства”.²⁹⁴ В деревнях тоже не безопасно; их тревожат набеги огромной шайки беглых каторжников; дилижансы, поддерживающие через Бург сообщение между Лионом и Страсбургом, решаются пускаться в путь не иначе, как под конвоем тридцати стрелков местного гарнизона. К тому же, через теснины Брессы, через снежные ущелья Савойи, по обледеневшим тропинкам Юры, через Франш-контэ, наводненное интригами роялистов и контрреволюционными брошюрами, во Францию то и дело прокрадываются эмиссары из-за границы, эмигранты, таинственные корреспонденты. И все они сходятся в одной точке, в одном центре поглощения, который притягивает и как бы втягивает их в себя, – в обширной Лионской коммуне, дающей им свободный доступ и приют. В Лионе революция прошла, словно землетрясение; мало то-

²⁹³ Общая переписка, 4 термидора.

²⁹⁴ Ibid.

го, что она рубила головы, избивала, нагромодила под взрытым черноземом груды костей, раздробленные картечью: она разрушила, выпотрошила целые кварталы. После страшной резни 1793 года, этой казни целого города, все так и осталось в развалинах; ремонт не производится; площадь Беллькур, когда-то такая красивая, с обрамлявшими ее фасадами грандиозных отелей, теперь представляет собой ужасное зрелище.

Среди груд мусора и обломков продолжает, однако, существовать большой город, людный, унылый и мрачный. В некоторых кварталах возобновились работы; стучат станки, обыватели делают, что могут, ходят по делам, в мастерские, на фабрики, в конторы, хотя беспорядок и небезопасность уличного движения повсюду служат препятствием. Полиции некогда этим заняться; она слишком поглощена преследованием смутьянов-реакционеров и ослушников всякого рода – труд страшно неблагоприятный в городе, где столько народу против нее. Лион противится беззакониям революционеров, не столько из духа роялизма, сколько ради сохранения своей духовной автономии: такая уже у него либеральная натура. – “Упорство многих обывателей Лионской коммуны страшно парализует деятельность полиции. Они оказывают помощь, укрывают, или, по крайней мере, жалеют всех преследуемых за проступки против республики, всех эмигрантов, непокорных священников, ослушников-рекрутов, беглых новобранцев и дезертиров”. Во многих округах муниципальные вла-

сти потворствуют этому укрывательству; в Гильотберге, Вэзе и Круа-Русс муниципалитеты открыто исповедуют антиреспубликанские принципы; выборная магистратура до такой степени на стороне реакции, что уголовный суд заслужил прозвище Королевского суда, оправдав типографщиков, напечатавших афишу, призывавшую к восстанию, с “виньеткой, на которой изображены шестнадцать крестов, восемнадцать цветков лилии и вверху колокола”.

При таком настроении населения можно²⁹⁵ себе представить, какой эффект произвело пробуждение местных якобинцев, шум, поднятый клубами; это было сотрясение, грозящее взорвать мину. Довольно эти якобинцы резали головы и кошельки; их не станут дольше терпеть, – решено, – чего бы это ни стоило! Два дня по улицам ходили толпы, швыряя камнями в якобинцев и вызывая их на борьбу. “Скоро полетится кровь”,²⁹⁶ – пишет генерал-адъютант Бессьер.

Хуже всего было то, что весь гарнизон Лиона состоял из восьмисот солдат, пленников, на честное слово отпущенных неприятелем без мундиров и без оружия. Ждали подкреплений, но они прибывали лишь в минимальных количествах. После усиленных розысков, Бессьеру удалось раздобыть около шестисот ружей, которые солдаты передавали друг другу при разводе на посты. Чтобы предотвратить опасный взрыв, понадобился кулак генерал-адъютанта Доверня, человека с

²⁹⁵ Общая переписка, 2 термидора

²⁹⁶ *Ibid.*, 3 термидора.

террористическими замашками; назначенный лионским комендантом, он сразу принял крутые меры. Часть реакционных элементов, выброшенная из города, присоединилась к вооруженным бандам, разбойничавшим в окрестностях. Ввиду фэйской коммуны республиканский отряд принужден был отступить под их жестоким огнем и градом оскорблений инсургентов, кричавших ему вслед: “Бумажные солдатики, плавильщики колоколов, убийцы короля!”.²⁹⁷ Смута охватила весь соседний район. Только в Мулэне картина становилась менее мрачной; здесь вы впервые попадали в чистенький, опрятный, приветливый городок, продолжавший свою торговлю ножевым товаром; здесь и воздух был как будто другой, легче дышалось, вы испытывали такое чувство, словно наконец освободились от кошмара.²⁹⁸

Если мы проведем восходящую линию от Лиона до Эндры-и-Луары, от лионской Роны до турэнской Луары, под этой демаркационной линией, в центральных департаментах, мы будем иметь возможность наблюдать лишь беспорядки частного характера: местные волнения, крестьянские бунты, различные виды грабежа, столкновения с лесными бродягами. Аллье, Шер, Эндра не заставляют много говорить о себе. В Грезе комиссар директории пишет из Герэ: “Мне сообщают из различных кантонов департамента о виденных там вооруженных разбойниках, конных и пеших; полагаю, что числен-

²⁹⁷ Общая переписка, 15 и 30 мессидора.

²⁹⁸ “Lettres de madame Rheinard, 83.

ность этих злодеев, как водится, преувеличена под влиянием страха”.²⁹⁹ Однако, в пяти кантонах, особенно в Обюссоне, он считает необходимым ввести особый надзор. “Кроме того, я обещал денежную награду наличными каждому жандарму, который задержит ослушного священника, разбойника или эмигранта”. Ввиду все учащающихся случаев вооруженного грабежа общественных сумм, администрация решила, что эти суммы можно перевозить только днем, от восхода солнца до заката, не назначая вперед определенного дня и не иначе, как под конвоем целой жандармской бригады. В двух вьеннских коммунах бунтуют женщины, оскорбляют республику, кричат: “Да здравствует король!” В этих же коммунах устраивают крестный ход после молебствия о дожде и звонят в колокола, хотя то и другое строго воспрещено законом. Без сомнения, гражданин министр, эту процессию устроил какой-нибудь ослушный священник, но он не ускользнет от бдительности общественного обвинителя.³⁰⁰ В лесу Шателлеро дилижанс из Пуатье остановлен разбойниками на отличных лошадях, хорошо вооруженными, с лицами, скрытыми под крепом и масками. В Пуатье рисуют виселицы на дверях патриотов и покупателей национальных имуществ. В Коррэзе разбойники нападают на жандармский отряд, конвоирующий новобранцев из Тюлля в Аржантак.

²⁹⁹ Общая переписка, 14 мессидора.

³⁰⁰ *Accusateur public* – чиновник, в эпоху революции исполнявший в уголовном суде обязанности государственного прокурора.

Тяжелая на подъем Оверн, плодородная Лимань тоже начинают волноваться: в Пюи-де-Дом комиссар в страшной тревоге: “Я не могу взять на себя ответственности, – пишет он – за мрачные события, назревающие во мраке; быть может, достаточно еще одной победы неприятеля над нашими войсками вне пределов страны, – и они разразятся”.³⁰¹

Как только мы возвращаемся в низкий бассейн Роны, кишущая разбойниками Ардешь снова приводит нас на порог ада ненависти и преступлений, олицетворяемого собой провансальским югом. Во всем департаменте Ардеши, точно так же, как в департаментах Тара и Дромы, не сыскать ни одного пехотинца; к счастью, драгунский полк, стоящий в казармах в Привасе, успел обратить на себя внимание своей неизменной дисциплиной среди столкновений факций³⁰² Поднять вопрос – совместно с администрацией департамента Верхней Луары организовать большую облаву на всякого рода ослушников и бандитов, но как ловить их в стране гористой, покрытой утесами с изрытыми боками, пересеченной глубокими оврагами? И наконец, перевалив за передние отроги Севеннов, спустившись по каменистым склонам, мимо тощих пашен, в Лангедок, мы снова видим пожар южных страстей, со всеми его бурными порывами и подвижностью.

В Гаре и Эро (Hérault) все восстало: гора на равнину, деревня на город. Католики и протестанты, белые и красные

³⁰¹ Ibid., 14 термидора.

³⁰² Ibid., 8-го термидора.

коммуны угрожают друг другу. Католики представляют собой партию контрреволюции; даже и протестантам, по словам роялистского бюллетеня, по-видимому, опротивела республика; они “желают короля, но только не законного, который покарал бы их за их злодеяния лишением прав, предоставленных им эдиктом 1788 года... Они скорее склонны были бы признать иностранного принца, который, будучи им обязан своим возвышением, более покровительствовал бы им”.³⁰³ Третья партия, составленная из накипи двух других, только и мечтает, что об опустошении; в окрестностях Монпелье разбойники ограбили дилижанс. Среди общего смятения и ожесточенности все распадается, рушится; гибнут последние остатки торговли и промышленности, гаснут древние очаги науки. В петиции, поданной в совет пятисот, говорится, что профессора медицинской школы в Монпелье вынуждены прекратить лекции, ибо им уже восемь месяцев не выдают жалованья”.³⁰⁴

Двинемся теперь на юго-запад, вдоль пиренейской цепи; здесь вот-вот откроется кратер. Руссильонцы, каталанцы, беарнцы, рьяные католики давно ожесточились против правительства, которое опрокидывает распятия, переплавляет колокола, оскверняет церкви, травит священников; все эти области созрели для религиозной войны, которую близость

³⁰³ Архивы Шантильи, переписка агентов Кондэ, “Bulletin de l'Interieur”, 30-го октября 1799.

³⁰⁴ В заседании пятисот 16-го фрюктидора VII года.

границы легко может превратить в войну политическую.

Весь этот край кишит эмигрантами, агентами из Испании, перебравшимися через Пиренеи. Генерал-депутат Ожеро шлет военным властям целый ряд записок, где жалуется, что департамент Восточных Пиренеев представляет собой плачевное для свободы зрелище; фанатизм делает такие успехи, что скоро его невозможно будет подавлять... Несколько тысяч вооруженных эмигрантов разгуливают и вдоль границы, и в глубине страны... Население Восточных Пиренеев податливо, но легко впадает в застой и уныние, ибо любит прочный порядок, который постоянно нарушают то злонамеренные люди, то местные интриганы и честолюбцы”.³⁰⁵ В Арьеже циркулируют кресты со словами “Это даст вам король” (*Le roi vous la donne*). Вновь назначенный комиссар директории пишет, что, по прибытии на место службы, ему пришлось оплакивать не только “упадок духа в обществе, но и замечающуюся, в особенности в деревнях, тенденцию к роялизму. Ослушные священники и злонамеренные люди всякого рода везде посеяли яд своих учений; они открыто радуются опасностям, угрожающим свободе, которую они зовут насмешливым именем Марианны”.³⁰⁶ В долинах Верхней Гаронны устраивают склады оружия и боевых запасов. В Ландах отряд вооруженных и замаскированных людей уже пытается силой рассеять летучий отряд респуб-

³⁰⁵ Общая переписка, 13-го мессидора.

³⁰⁶ *Ibid.*, 23-го термидора.

ликанцев. В Жере, Верхних и Нижних Пиренеях во всех таких инцидентах ясно сквозит роялистическая подкладка; едва касаясь земли, она ширится и растет во всех направлениях, вся страна в заговоре”.³⁰⁷

Правда, у здешних республиканцев есть солидная точка опоры – Тулуза. Этот многолюдный город остается очагом горячей преданности революции. Население отчасти под влиянием клубов; администрация состоит из энергичных республиканцев, которые решили постоять за себя и не отступят перед крутыми мерами.

Но Тулузе угрожают с юга, а с востока и севера она окружена народными массами, инертными, или ожесточенными. В Альби жалуются на “невероятный упадок духа в народе”. В Кагоре то же самое: “патриоты³⁰⁸ этого департамента погружены в глубокое оцепенение”.³⁰⁹ В Монтобане боятся, как бы народ в день ярмарки не взбунтовался и не сделал попытки овладеть домом коммуны. В Ло (Lot) для обуздания смутьянов приходится держать постоянно начеку триста национальных гвардейцев. Особенно усилилась смута в департаменте Ло-и-Гаронны; в Овильярском кантоне население бунтовало уже не раз; в четырех коммунах срублены деревья свободы; в трех сожжены дома обывателей, известных своими гражданскими чувствами; появились и прокламации

³⁰⁷ **Ibid.**, 7-го термидора.

³⁰⁸ **Ibid.**

³⁰⁹ **Ibid.**

с угрозами чиновникам. Опасаются поголовного восстания. Далее, близ того места, где Гаронна, слившись с Дордонью, вырастает в Жиронду, стоит достойный противовес Тулузы – Бордо, где большая часть жителей – роялисты.

Как все города, обращающие свои взоры на океан, на острова и живущие торговлей с дальними странами, Бордо жестоко пострадал от революции и войны. Буржуазия, крупная коммерция, около которой кормились другие, оплакивает режим, при котором их родной город имел вид столицы. Молодые люди – завсегдатаи кафе и концертов, законодатели моды и тона, проявляют свое недовольство почти такими же шумными манифестациями, как и парижские мюскадены; в толпе этих буянов, во всех группах огорченных и праздных людей готовятся заговоры; предупреждают, что через месяц “спасительное восстание опрокинет республику”.³¹⁰ Администрация департамента и центральная полицейская власть знают, что население презирает и ненавидит их; они каждую минуту боятся быть захваченными врасплох и лишиться власти, а средств к сопротивлению нет; линейные войска отсутствуют, национальная гвардия сидит без ружей; всех ресурсов один батальон баскских стрелков, да и тот под сильным влиянием роялистов.

19-го термидора, казалось, настал момент взрыва. Прокламация, вывешенная местными якобинцами, взволновала весь город; на улицах, на площадях толпился народ; аген-

³¹⁰ Общая переписка, 7-го термидора.

ты и сторонники государственной власти без дальних разговоров стали стрелять; было несколько убитых и раненых, в том числе некий Люрь-Салюс; но масса населения, хотя и сочувствовавшая реакционерам, не нашла в себе достаточной энергии, чтобы вступить из них, и дело ограничилось жестокой свалкой.³¹¹ Тем не менее, в своих письмах в Париж местные власти не перестают плакаться на свою горькую участь. Вокруг города, в различных пунктах, кишат элементы, враждебные государственной власти, и это удваивает ее тревогу. Кутра все время приходится держать на осадном положении. По борделезским ландам, на бесконечном просторе дюн, среди пыльных кустарников, бродят шайки, вооруженные косами и охотничьими ружьями; они стреляют в жандармов, прерывают сообщения, живут в самодельных бараках, или лагерем, как кочевники.

По ту сторону реки Бордо собирается войти в соприкосновение с волнениями на Западе. Через оба департамента Шаранты тянется невидимая цепь роялистских комитетов; вскоре мы увидим и результаты – примеры сопротивления властям. Поднимемся выше. В департаменте Двух-Сэвр у республиканских солдат была стычка с бандой, поднявшей белое знамя. Но худший враг правительства – это гнилость всех отраслей администрации. Жалованье войскам остается в карманах недобросовестных передатчиков; наличный состав войск на бумаге не отвечает действительному составу.

³¹¹ См. Gradis, “Histoire de Bordeaux”, 388.

“Пора положить конец хищениям всякого рода, опустошающим государственное казначейство”, пишет Бернадот генерал-коменданту крепости Ла-Рошель.

Вот неизменный Пуату, весь³¹² в изгородях, с сетью узких речек и ручьев, извиляющихся меж склонившимися над ними ивами, страна сырости, зелени, густых трав и листвы, Вандейская роща (*Vosage vendéen*), недавний приют роялистов, откуда они грозным потоком хлынули в глубь страны. Теперь, после стольких тяжелых испытаний, население страшно упало духом. Сплотить разгромленных некому; великих вандейцев уже нет; сила реакции износилась в деревнях, как сила революции в городах. Но это не значит, чтобы в стране было спокойно; на окраинах ее бродят шуаны, вторгающиеся из соседних районов. 13-го мессидора, в Бюффьерском пригороде пятьдесят два разбойника напали на республиканский отряд врасплох, во время обеда, убили пять человек и захватили довольно большое количество ружей. Генерал Траво преследует их; он человек энергичный; вместо того, чтобы сидеть на Песках (*Sables*), на своей главной квартире, он рыщет по всей Роще, разбив свой отряд на несколько колонн, в которых то и дело стреляют из-за изгородей, результатом чего обыкновенно являются стычки.

Через приморскую Вандею, у берегов которой стоят английские корабли, через узенькие бухты и заливчики берега, в страну непрерывно проникают эмигранты и вожди ро-

³¹² Общая переписка, 29-го мессидора.

ялистов и совместно со священниками оказывают давление на народ, который желал бы только мира и спокойствия, но, по слабости и доверчивости, позволяет увлекать себя к бездне”.³¹³ Сюзаннэ шлет эмиссаров, принимает залогов, старается пробудить былую энергию; многие из прежних и новых вождей, дворян и плебеев, идут на призыв – скрепя сердце, но все же идут, повинувшись лозунгу из-за границы, рекомендуя везде общенародное движение, в котором отведена роль и Вандее. Личное их влияние, привычка повиноваться импульсам, исходящим от правой, страх религиозного преследования увлекут еще много народу, и все же этому восстанию, занесенному извне, не суждено пустить глубокие корни в стране. Вандея умерла и не воскреснет больше; перед нами встает лишь бледная тень ее.

По обоим берегам нижней Луары идет область шуанства, охватывая большую часть полуострова Арморики, Анжу, Мэн и нижнюю Нормандию. Под шуанами мы подразумеваем рассеянных в этой стране в несметном количестве партизан, суровых, независимых и верных, жестоких и набожных; они неукротимы; они устояли против всех войск революционеров; они никогда не поддадутся вполне Бонапарту, консулу и императору; не раз они будут грозить ему серьезной опасностью и, в пяти милях от Парижа, создадут ему почти вторую Испанию. Область шуанства, состоит, главным обра-

³¹³ Переписка генерала Траво, 11-го термидора у Chassin'a, “Les Pacifications de l'Ouest”, III, 319.

зом, из девяти департаментов: Нижней Луары, Мэна и Луары, Сарты, Майенны, Илль-и-Вилены, Орны, Манша, Морбигана и Кот-дю-Нор. Исключение составляет Финистерре, довольно покорный. Официально, законным порядком эти департаменты считаются замиренными со времени заключения мабилезского договора, но замирение останется пустым звуком, пока не будет решен основной вопрос, склоняющий в сторону шуанов симпатии населения, преданного католицизму еще больше, чем королю, пока не будет гарантирована свобода исповедания веры и урегулирована участь священников.

В данный момент разбойничество распространено повсеместно, но мятеж пока в скрытом состоянии. Действительно, верны республике только города с домами, опустошенными бомбами великой войны. – Нант, из страшных ран которого еще сочится кровь, Мане, Лаваль, Ванн, Брест, Ренн, главные города департаментов и кантонов, обнесенные стенами, охраняемыми как в феодальные времена, да их пригороды (bourgs), где расквартированы национальные войска. Вне этих оплотов республики, шуанство стелется по земле в глубине излучин Анжу и Мэна, по поросшим мелким кустарником ландам Бретани, в лесистых лощинах, между диким терном и вереском, меж громоздящихся одна на другую гранитных глыб; оно разбросано по деревушкам, приплюснутым к земле; по хуторам; оно притаилось за береговыми утесами, за каждой выемкой этого берега, искрошенного на

мельчайшие острова, в которых не разберешь, где земля, где вода; оно иной раз прячется в чуланах вместе с порохом и свинцом, или в подпольях и тайниках. И из всех этих убежищ оно ежеминутно выходит, чтобы нанести неожиданный удар, чтобы грабить, убивать и мелкими нападениями врасплох тревожить врагов.

Эти шуаны, внезапно появляющиеся при свете ружейной пальбы и тотчас исчезающие, оставляя позади себя трупы, кажутся каким-то кошмаром. Их знают не столько по именам, сколько по кличкам. Среди них есть герои, есть и бандиты, и нередко трудно бывает отличить одних от других; есть люди, поражающие своей беззаветной удалью; но большинство норовит подстеречь, напасть из засады, захватить врасплох; таков уж их военный обычай. Ночные птицы, они кружат во мраке около жилья и нежданно бросаются на добычу. Когда же чувствуют, что сила на их стороне, показываются среди бела дня, нападают на жандармские бригады, даже, расхрабрившись, на отдельные деташементы.³¹⁴ Они объявили войну деревенским патриотам, муниципальным чиновникам, покупщикам национальных имуществ, священникам, присягнувшим конституции; они служат делу мести – политической, частной, религиозной. Кроме того, их задача – не дать населению успокоиться, примириться и взяться за работу; они угоняют скот, врываются на площадь в базарные

³¹⁴ Деташемент – войсковое подразделение, откомандированное для выполнения особых задач.

дни, разгоняют торговцев, съехавшихся на ярмарку. Иногда они произносят приговор над известной группой обывателей, над целым селением, и нередко столб дыма на горизонте, красный у основания, говорит о пожаре деревни. Республиканцы, со своей стороны, не отстают. Их притеснения, разбой, расстреливание пленных, отсутствие дисциплины в некоторых корпусах достойны подвигов шуанов. Те и другие ведут войну, как дикари, с уловками, достойными апачей, с изощренной жестокостью и гнуснейшими военными хитростями. Синие мундиры организуют роты поддельных шуанов, с целью сделать настоящих ненавистными населению, доведя их жестокость до крайних пределов; настоящие шуаны, чтобы облегчить себе задачу, нередко переодеваются в мундиры республиканских солдат. Наряду с синими и белыми, страну наводняют шайки простых злодеев, “изгоев” обеих партий, бесчинствующих повсюду.

Задача роялизма – преобразовать шуанство в общее восстание, разбой в настоящую войну, поднять все сельское население, все крестьянство. В деревнях наряду с республиканской администрацией, сформированной на скорую руку, вялой, инертной, часто мало надежной, существует нечто вроде роялистической организации, сокровенной власти которой повинуются по привычке, из соучастия или из страха: дивизии, подразделяющиеся на роты; вожди, известные только своим людям, угадываемые другими. Таковы: Бурмон, Соль де Гризолль, Мерсие, прозванный Вандеей, Сен-

Режан, по прозванию Пьерро; в Морбигане – Жорж Кадудаль, у которого, по слухам, было под начальством целых восемь дивизий. Этот толстый приземистый бретонец – удивительный человек; он везде и нигде; его видят то здесь, то там, он рыщет по всему Морбигану, выведывает, вынюхивает, а за ним бегают повсюду “белая левретка, очень некрасивая, но в своем ошейнике, или под ним, разносящая в разные места письма”.³¹⁵ У Жоржа повсюду есть свои люди, назначенные им офицеры, которые бродят по всей стране.

Главная забота этого странствующего генерального штаба; подготовить в недалеком будущем общее восстание, держать начеку шуанов, еще не отказавшихся от жизни искателей приключений, соединяющихся для нападения с тем, чтобы потом разбрестись в разные стороны; поддерживать сношения с крестьянами, вернувшимися к оседлой жизни, вербовать молодежь. Они пишут друг другу: “Надо набрать солдат королю”.³¹⁶

Эти завтрашние солдаты пока остаются у своих очагов, но они уже внесены в списки, сосчитаны, распределены по бригадам и состоят под надзором; “только свистни”,³¹⁷ и все они поднимутся как один человек. В некоторых местностях Кадудаль запрещает священникам венчать и молодым людям жениться, чтобы мужество не изменило им, когда на-

³¹⁵ Выдержки из официальных донесений у Chassin III, 287.

³¹⁶ Ibid.

³¹⁷ Ibid.

станет час идти воевать за святое дело. У каждой дивизии свои гонцы, передающие пароли, свои вербовщики и казначеи, своя касса.

Денег много, все английские гинеи; их привозят на берег английские фрегаты и лодки эмигрантов, в туманные ночи колышущиеся на волнах в маленьких зубчатых бухтах, почти у самого берега. Немало денег находят также и в кассах сборщиков податей, и в сундуках ограбленных дилижансов и мальпостов; впрочем, у шуанов тоже есть совесть, и они считают, что делают это для короля, возвращают ему его добро, отнятое у мятежного правительства.

Так понемногу слагаются в одно целое на западе все элементы новой гражданской войны. Начиная с мессидора и термидора, всюду замечается усиление шуанства. На обоих берегах Луары банды растут на глазах; муниципальные власти кантонов, лишенных войск, начинают искать убежища в городах; одного богача-патриота похитили у самых ворот Манса. В департаментах Майенны, Сарты, Илль-и-Вилены банды то и дело переходят из одного департамента в другой, затрудняя преследование. Теперь для защиты дилижанса уже недостаточно небольшого отряда; близ Витрэ остановлен и ограблен мальпост, несмотря на то, что его конвоировало сто двадцать пять человек. В Аржантрэ шуаны засели в домах, укрепившись, заставили отступить отряд 42-й легкой бригады и убили трех офицеров. Показались они и перед Домфроном; местный гарнизон погнался было за ними,

но, благодаря недобросовестности местных властей, погоня не удалась. Этих мелких неудач накопилось так много, что Бернадот рекомендует генералу Мишо, командующему западной армией, все еще сохранившей свое название английской, стянуть войска на главные посты, не расставляя их по квартирам вдали друг от друга, не подвергать опасности, выпуская их маленькими отрядами, но посылать лишь сильные летучие отряды для обшаривания лесов и всякого рода убежищ. При виде таких отрядов банды рассеиваются, но лишь затем, чтобы снова сойтись и сплотиться у них в тылу. Уже теперь, еще не дойдя до массового усилия, шуанство переполнило очаг своего первоначального образования и, переливаясь через край, все глубже захватывает соседние области. В Эндре-и-Луаре набеге шуанов не редкость. В Блуа власти получают письма с угрозами смертью. В Эре-и-Луаре, в коммуне Кудро, разбойники похитили президента местного муниципалитета, президента, достойного уважения, как по своему преклонному возрасту – семьдесят семь лет – так и по своим гражданским добродетелям; они принудили его надеть на себя трехцветный шарф, отвели на приобретенный им участок национальной земли и там расстреляли.³¹⁸ Кальвадос также серьезно затронут; генерал-комендант Кайенны чувствует опасность своего положения между роялистами и анархистами; вокруг Фалэза собираются толпы шуанов, чтобы не дать состояться ярмарке в Гибрэ, куда съезжается мас-

³¹⁸ Общая переписка, 3 термидора.

са народу и где заключаются крупные торговые сделки. Показались шайки и в департаменте Эр, где тревога властей со дня на день растет; особенно боятся они, как бы шуаны не вздумали основать свою главную квартиру в здешних лесах, обширных и многочисленных, в данный момент укрывающих немало рекрутов и новобранцев. Они пытаются даже организовать охоту³¹⁹ на человека на лесистых окраинах Эры и Нижней Сены.

Руан, подобно Лиону, Марселю и Бордо, также внушает опасения. Крупная торговля здесь в полном упадке; в порту, некогда изобиловавшем иностранными судами, теперь нет ни единого”.³²⁰ Молодежь, дворянская и буржуазная, воюет с воскресшими якобинцами, возмущаясь против этих гнусных выходцев с того света. На улицах кричат: “Долой якобинцев!” Бьют тех, кто кричит: “Долой шуанов!” Факт, достойный внимания, – к молодежи присоединились рабочие.³²¹ Гарнизон все время начеку и переутомляется от постоянных тревог. Сбор акциза возможен только при участии вооруженной силы. В глубь департамента Нижней Сены, помимо нескольких лесных кантонов, шуанство однако же совсем не проникло, и агитация на Западе отзывается здесь лишь отраженными, едва заметными толчками.

Пикардия, Артуа и Фландрия были бы почти спокойны,

³¹⁹ **Ibid, 15 мессидора.**

³²⁰ **Publiciste, 5 фрюктидора.**

³²¹ **Общая переписка, 14 термидора.**

если бы якобинцы не вздумали открывать везде свои клубы и не волновали городов, где особенно ярко проявляется возмущение жителей против этих разрушителей всякого общественного строя, против содома их шумных претензий и брани. В Лилле клубу так и не дали открыться. В Амьене клубистам пришлось воевать с женщинами и детьми, с безбородыми юношами, с рабочими, и кровь пролилась в этом городе, долгое время служившем для других образцом спокойствия. В Сент-Омере парижские газеты подзадоривали обе стороны. 30 мессидора, когда якобинцы, собравшись в своем клубе, упивались чтением вслух “Газеты свободных людей” (“Journal des hommes libres”), в залу ворвалась толпа приверженцев газеты противоположного направления “Друзья законов ...” (“L'Amides lois u le Nécessaire”) с целью разделаться с террористами, вышвырнув их из окон. Всего яростнее нападали подростки 12–18 лет. Клуб не пережил этой стычки, которая чуть было не вызвала волнений в городе.³²² Против якобинцев обращали их же слова, когда-то служившие лозунгом сентябрьской резни; рекруты говорили: “Мы не хотим, отправляясь на войну, оставлять наших родителей под ярмом революционеров.”³²³

И группы роялистов распевали на улицах гимны свободе, протестуя против тирании республиканцев.

³²² См. военный архив, общая переписка, подробный отчет об этой стычке.

³²³ Ibid.

В Дюнкирхене комендант обличает политические взгляды “так называемого зажиточного и торгового класса... Эти люди открыто радуются неудачам, которые должны бы огорчать всякого, кто еще не забыл, что у него есть отечество”.³²⁴ Утром на стенах находят наклеенные ночью плакаты такого содержания: Директорию повесить, советы распустить. Да здравствует прусский король! Да здравствует генерал Суворов!³²⁵ Нападают на часовых; опасаются, как бы дюнкирхенские контрреволюционеры не открыли неприятелю этих ворот Франции.

Перешагнув за прежнюю границу и очутившись в Бельгии, которую конвент включил в состав Франции и разделил на департаменты, мы снова попадаем в область противодействия и возмущения сельского населения. Республиканская Франция покорила Бельгию, но не сумела ассимилировать ее. Жестоко оскорбляя религиозные убеждения бельгийцев, рьяных католиков, подчиняя их режиму принудительной воинской повинности, она только привязала себе к телу жаровню с вечно пылающей ненавистью. Этой стране верований и традиций ненавистна революция, нечестивая, святотатственная, насильно вводящая всякие новшества, воображая, что в один день можно стереть то, что создавалось веками. В 1798 г. здесь уже вспыхнул бунт в широких размерах, и его с трудом удалось подавить, а возмущение в сердцах не

³²⁴ Общая переписка, 11 термидора.

³²⁵ Ibid.

заглохло и поныне. Как некогда у протестантской Голландии, так и у католической Бельгии имелись свои гезы (нищие). Здесь это были по преимуществу беглые рекруты, превратившиеся в разбойников, завербованные на службу политическим и религиозным страстям.

В Дильском департаменте они бесчинствуют на всякие манеры, вербуют себе помощников среди населения, теснят жандармерию. В одной коммуне Жеммаппского кантона они ворвались к товарищу президента и обобрали его до нитки, оставили “даже без рубашки”.³²⁶ Они рыщут по всей стране в своих синих балахонах и соломенных шляпах, вооруженные саблями, ружьями в карабинами; что ни день, то слышишь – отняли оружие у полевого стражника или лесника; в Урте рубят деревья свободы; в Самбре и Мезе процветают разбои. Леса Жеммаппского департамента кишат беглыми рекрутами и новобранцами. Тысячи их укрываются и в лесах Лимбурга, Люксембурга, Льежуа, в Арденнских чашах: “все они рыщут по лесам, как дикие звери”.³²⁷ Вокруг Намюра беспорядки дошли до крайнего предела: “травят солдат, поставленных на постой, бьют приставов, объезжающих департамент вместе со сборщиками, грабят кассы на заставах, что ни день, то обирают путников, грабят дома патриотов, живущих на окраинах города; словом, нет таких бесчинств,

³²⁶ Общая переписка, 3 термидора.

³²⁷ *Ibid.*, извлечение для доклада министру полиции 13 мессидора.

которые бы не творились в этом департаменте”³²⁸

Налогов упорно не платят; один отказывается из духа противоречия, другой по нужде, предусмотрительности или расчету. “Многие коммуны и даже целые кантоны смотрят на контрибуции, как на собственность австрийцев, на возвращение которых им подают надежду”.³²⁹ Напрасно агенты фиска вывешивают объявления о продаже мебели упорствующих; “принудительные меры не достигают цели, так как на арестованное имущество не находится покупателей”.³³⁰

Враждебное отношение к республиканским законам и учреждениям проявляется в самых разнообразных формах. Гражданские праздники празднуются как в пустыне; 14-го июля, в Куртрэ, комендант был на празднике один со своим гарнизоном.³³¹ Народ признает лишь издревле установленные торжества и обряды. Из деревень департамента смежного с Голландией, множество крестьян ходят по воскресеньям к обедне на батавскую территорию, в протестантскую страну, где католикам позволяют, по крайней мере, исполнять обряды их религии. Священников, монахов гонят, сажают в тюрьмы, но влияние их неискоренимо, оно живет. В Люксембурге буржуа и ремесленники скопом являются просить о разрешении посетить своих священников в доме за-

³²⁸ **Ibid.**, 3 термидора.

³²⁹ **Ibid.**, 20 мессидора.

³³⁰ **Ibid.**, 24 мессидора.

³³¹ **Ibid.**, 28 мессидора.

ключения, где они содержатся под стражей, приносят им дары, лакомства; тюремное начальство утверждает, что в камерах арестантов устраиваются оргии и, чтобы положить конец этим скандалам, просит поторопить с отправкой священников на место ссылки. Власти повсюду чувствуют себя в атмосфере враждебности. В Бельгии француз-революционер ненавистен всем – вдвойне ненавистен, как чужак и язычник, враг фландрского народа и враг Господень. Ничтожная часть присоединившихся к нам добровольно, вначале под влиянием взрыва энтузиазма, потом из корысти или слабости, ждут только случая, чтобы отколоться. “Восстание у всех на уме”.³³²

Восстание зреет и на левом берегу Рейна, в четырех департаментах, населенных немцами, образованных из прежних курфюршеств Трэвского, Майнцкого и Кельнского. Здесь многие жители некогда приветствовали французов, как избавителей, а теперь проклинают их, как тиранов, и будут ненавидеть, пока наполеоновский порядок и кодекс не примирят их надолго с Францией.

А пока, в довершение несчастий страны, раздавленной прохождением по ней войск и военными реквизициями, на ней осела и ест ее поедом целая стая хищников-агентов. В Кобленце, в Майнце “творятся возмутительные злоупотребления, столь же убыточные для казны, как и утеснительные

³³² Ibid.

для граждан”.³³³ В отместку, глядишь, то там, то сям напали на одинокого француза, на какого-нибудь злополучного солдатика и убили его. “Столь частые убийства, в основном французов, ясно говорят о систематической подготовке к мятежу, готовому вспыхнуть в этих департаментах. Сначала нас пытались было ввести в обман, сваливая все эти убийства на разбойников и дезертиров, но теперь уже имеются доказательства обратного, и все убеждает нас в том, что эти бесчинства творят сами обыватели”.³³⁴ Несколько позже, в Нейвиде мы увидим, как толпы людей, мужчин, женщин, ребят и с ними капуцинов в рясах, взволнованных ложным слухом о переходе австрийцев через Рейн, бегут на берег встречать их и, воздевая руки к небу, поздравляют друг друга с приходом своих избавителей.³³⁵ Стоит действительно явиться иностранцам, стоит врагу ступить на землю присоединенных департаментов, и эта великолепная добыча мгновенно ускользнет от Франции. А пока все власти, военные и гражданские, в Бретани и на Юге, твердят одно: положение с каждым днем ухудшается, опасность растет. Революция чувствует, что вместо одной Вандеи, ей скоро придется бороться с тремя или четырьмя; северной Вандеей, бельгийской и рейнской; великой западной Вандеей и южной Вандеей – пи-

³³³ **Общая переписка, 11 термидора.**

³³⁴ **Ibid., 29 мессидора.**

³³⁵ **Бюллетень общей полиции за вандемьер. Изд. M. Oulard, “Etat de la France” en l’an VIII et en l’an IX, 66.**

ренейской, лангедокской, провансальской.

III

Политическая география Франции сама диктовала роялистам план действий; мы только что видели этот план в общих чертах. Проектировалось охватить центральные области, т. е. наиболее спокойные и наименее отторгнутые от республики огромной сетью мятежей, которая бы опиралась одним концом на запад, вблизи английских флотов, другим на Франш-Контэ, или Лион, недалеко от союзных армий, а третьим, углубляясь кривою в центр, на Прованс, Лангедок и Гвиенну. В Париже функционировало агентство, которое, в случае надобности, могло рискнуть и открытым нападением или по крайней мере поддерживать беспорядки. На севере представлялось невозможным соединить нормандских шуанов с бельгийскими партизанами, тоже шуанами в своем роде, и совместно предпринять что-нибудь крупное. Директория этого не знала, но эмигрантам отлично было известно, что генерал Тилли, назначенный командиром 25-ой военной дивизии, квартирующей в Бельгии, вошел в соглашение с роялистами и обещал им свою поддержку. Вождь нормандских инсургентов, Фроттэ, придумал безумный по своей рискованности, план соединения с ним. Он переправится со своими людьми через Сену, затем лесами и потайными тропинками проникнет в глубь Пикардии, мимоходом освободит в Аме (Ham) кучку эмигрантов, содержащихся в заключении

в замке, и соединится с Тилли, который тогда поднимет белое знамя восстания вместе со своими войсками. Таким образом, осада республики извне довершится обложением изнутри. Тем временем английские эскадры найдут на наших берегах удобное место для высадки; русские же и австрийцы завоюют снова Италию и Швейцарию и придвинутся к нашим границам.

Вот какие надежды питали роялисты в тот момент, когда страх якобинцев сблизил их с Францией. Правду сказать, внутренняя сила и единение партии не были на высоте ее замыслов. Роялизм заграничный, имевший претензию руководить роялизмом внутри страны и направлять его по желанию, носил в себе великое зло – междоусобия, интриги подначальных, предрассудки, иллюзии, непонимание истинного состояния умов во Франции, все виды слепоты изгнания, все убожество эмиграции.

В кругу принцев и их приближенных раздоров было, пожалуй, не меньше, чем в директории и советах. Вожди эмигрантов, претендент и брат его, король Monsieur, разделили между собою Францию. Monsieur, граф д'Артуа, всегда интересовавшийся западом и зоной океанского побережья, получил, кроме того, в заведование парижское агентство. Людовик XVIII, король митавский, взял себе юг и восток, уступив брату непосредственную власть над другими районами. Но граф д'Артуа, не довольствуясь своей колоссальной долей, хотел еще сосредоточить в своих руках все пружины

действия.³³⁶ Братья терпеть не могли друг друга; их агенты, в свою очередь, исподтишка поносили один другого, подставляя ножку и всячески стараясь повредить противоположной стороне; коалиция же, содержащая на жаловании роялистов, стремилась не столько помочь им, сколько воспользоваться ими в своих собственных интересах. Эта партия, всегда зависимая и многоглавая, никогда не умела внести порядок и точность в свои начинания: вместо массового натиска мы видим лишь ряд разрозненных усилий и местных восстаний.

Пиренейский юг начал слишком рано; гром гражданской войны грянул в нем совершенно неожиданно; в средних числах термидора в долинах Верхней Гаронны вспыхнуло хорошо организованное восстание, охватило Мюрэ, сделав его своей главной квартирой, и разлилось дальше, к северу. Тулуза внезапно увидела себя окруженной на две трети мятежной ратью в 15–20 тысяч человек, с ружьями и пушками, с белыми знаменами; бандами предводительствовал перебежчик, генерал Руже; они наступали с диким ревом, угрожая смертью патриотам, и прославляя Людовика XVIII.³³⁷

“В Жерсе, Арьеже, Оде, Тарне-и-Гаронне, Ло мятеж вспыхнул в тридцати кантонах сразу”. Генерал Обюжуа, комендант Ока (Auch) запечатывал свои депеши директории

³³⁶ Lebon, “l'Angleterre et l'emigration”, 285–288.

³³⁷ Донесение, цитируемое Lavigne в “Histoire de l'insurrection de l'an VII”, 92–93. Оттуда же взята большая часть дальнейших сообщений.

под гром раздававшихся со всех сторон пушечных выстрелов. Верные коммуны напрасно молили о подкреплении. “Без линейных войск, – пишет один чиновник, – весь юг потерян для республики”.³³⁸ В Париже власти были очень встревожены одновременно пришедшими вестями о волнениях в Жиронде и в Ло-и-Гаронне; на юго-западе весь горизонт, от Средиземного моря до Гасконского залива охватило кровавое зарево.

Линия нападения была прорвана в центре неожиданным местным усилием. В Тулузе всего гарнизона было тридцать четыре конных стрелка, но администрация департамента обнаружила энергию и находчивость, сумев объединить патриотов и организовать сопротивление. Не дожидаясь прибытия нескольких армейских полков, высланных Бернадотом, она тут же на месте сформировала одиннадцать батальонов. Генерал Обюжуа, прибыв из Ока, нашел уже почти готовую колонну, с которой он освободил Тулузу и прогнал мятежников, отбив у них их передовую позицию, Пуэк-Давид; при этом был убит их полковой священник, тоже “паривший из доброй двустволки”.³³⁹ На помощь подоспели другие генералы и генерал-адъютант, сообща организовали преследование и, так как главные силы мятежников продолжали отступать компактной массой, республиканцы раздавили их одним ударом 20 термидора под Монрежо, у подножия Пире-

³³⁸ Общая переписка, 23 термидора.

³³⁹ Lavigne, p. 190.

неев.

Так кончилась эта недолгая, но жаркая война, где инсургенты вначале не сумели воспользоваться выгодами своего положения, а затем имели неосторожность развернуть свой фронт перед врагом в решительной битве. К тому же, инициаторы восстания в Верхней Гаронне полагали, что оно вызовет движение в других районах и в более широких размерах,³⁴⁰ но этого не случилось. В долине Роны только усилились убийства и разбои.³⁴¹ Лион молчал, придавленный железной лапой Доверня; однажды, получив уведомление, что на другой день должно вспыхнуть восстание, подготовленное роялистами-заговорщиками, этот последний велел арестовать сорок человек сразу. “На улицах царила мертвая тишина”.³⁴² На другом конце обширного полукруга проектируемых мятежей волновался Бордо, грозный, бурливый, но все же не дошел до открытого возмущения.

Запад отстал. В Вандее, Анжу, Бретани и Нормандии крестьяне не хотели бунтовать, не покончив с жатвой и уборкой хлеба. Из Англии и более дальних мест приходили инструкции сбивчивые, нередко противоречивые. Претендент колебался, не решаясь подать сигнал к восстанию, пока союзные армии не вступят во Францию; принц-политик, не во-

³⁴⁰ “Eclaircissements inédits de Cambacères”.

³⁴¹ “Le Département des Bouches, du-Rhône de 1800 à 1810, par Saint Yves et Fournier, 12–14.

³⁴² “Lettres de madame Reinhard”, 83.

инственный по натуре, он все надеялся на реставрацию, не столько навязанную, сколько достигнутую путем переговоров; он больше рассчитывал на продажность некоторых правителей, чем на своих западных дьяволов-слуг. Графа Артуа ждали повсюду, но он только обещал и не появлялся. Англия снова исправно платила жалованье, но ей желательно было, чтобы реставрация явилась делом рук, главным образом, союзных армий, которые и продиктовали бы свои условия униженной Франции.³⁴³ Лондонский кабинет рекомендовал графу д'Артуа стать в тылу австро-русских войск, оперирующих против Массены в Швейцарии, и идти за ними вместе с армией Конде.

Между тем, в августе, к особе графа д'Артуа были допущены в Эдинбурге вожди шуанов и совместно выработаны были основы плана действий. Вооруженное восстание на западе было в принципе делом решенным но, по инструкциям графа, начало его следовало оттянуть, возможно для того, чтобы лучше подготовить удар и вернее попасть в цель; срок не был в точности определен, и в этом отношении вождям предоставлялась известная свобода.³⁴⁴

К концу лета главный штаб западных королевских и католических армий находился почти в полном составе на месте предполагаемых действий. Близ Луары, в замке Жоншер, в чаще Жюиньесских лесов состоялся совет вождей, под

³⁴³ Lebon, 272–273.

³⁴⁴ “La Sicotiere”, Jouisde Frotte, 233–236.

охраной 1200 крестьян. По-видимому, Отишан (Autichamps) единственный высказался против того, чтобы взяться за оружие, прочитав письмо короля, запрещавшего возобновлять враждебные действия без личного его на то приказа. Жажда битвы увлекла всех других; припевом собрания был вопль Кадудалья, яростно повторенный всеми: “Война! война!”.³⁴⁵ Решено было, однако, начать восстание не раньше 22 вандемьера – 14 октября, т. е. в период между окончанием уборки хлеба и новым посевом. Главнейшие вожди разделили между собой будущую арену действий: Кадудаль взял Морбиган, Сюзаннэ – Вандею; Отишон, Шатильон, Бурмон, Ла-Превалэ, – оба берега Луары; Фроттэ, еще не вернувшемуся из Англии, предоставлена была Нижняя Нормандия. Инсургенты приняли одно только имя – недовольных, чтобы привлечь на свою сторону массу желающих хоть какой-нибудь перемены. От низовьев Луары до устьев Орны методически, почти открыто подготавливалось восстание; даже в Вандее стирают ржавчину с оружия и сушат порох, спрятанный в тайниках.³⁴⁶ Комиссары директории, гражданские агенты, военные – все видели надвигающуюся грозу. В каждом донесении говорилось о близости новой войны на западе и почти день в день Предсказывалось ее начало.

³⁴⁵ Chassin, III, 368; cf. Cadoudal, “Georges Cadoudal et la chouannerie 200.

³⁴⁶ Донесение, цитируемое chassin, III, 323.

IV

Пока заговорщики роялисты и заговорщики якобинцы, одинаково рассеянные и разбросанные, оспаривали друг у друга Францию, растерзанную и в то же время инертную, республика искала себе правительство. Директория, сама подтачиваемая внутри заговором ревизионистов, не была таковым, несмотря на находившие на нее приступы энергии. Она и не помышляла о том, чтобы мерами успокоения и удовлетворения обиженных попытаться привлечь к себе симпатии массы граждан, не принадлежавших ни к какой партии. Ей и в голову не приходило быть справедливой, смело умеренной, отменить законы о культах и эмиграции, разбить эти орудия пытки, отозваться на национальные упования, войти в соприкосновение с душою Франции. Замкнувшись в своей односторонности, она защищалась плохо рассчитанными ударами против разнообразных врагов; нанеся удар вправо, она спешила нанести такой же и влево, ибо опасность грозила и с этой стороны, и притом нужно было искупить удар, нанесенный влево. Она оставалась нетерпимой и немощной, трусливой и злой, уже по своей прирожденной немощности обреченной на произвол, гонимой и гонительницей.

Единственным директором не без дарований и проницательности был президент Сийэс, но он-то и не хотел, чтобы директория продолжала существовать. В ожидании, пока

шпага Жубера освободит его от большинства его коллег, он ограничивался тем, что намечал свою программу; в одной речи он говорил: “Во Франции не должно быть больше ни террора, ни реакции; справедливость и свобода для всех”, но на деле о свободе не было и помину;³⁴⁷ Франция мучительно билась между террором и реакцией. Некоторые министры порознь мечтали об ослаблении строгостей, иной раз брали на себя смелость смягчить несправедливости фрюктидорского законодательства. Фушэ, этому хитрому бандиту, в котором иногда прорывался государственный ум, случилось иногда высказывать пожелания, чтобы государственная власть прониклась новым духом; в одном докладе он пишет, что было бы весьма желательно, чтобы республиканские чиновники перестали быть “угнетателями”³⁴⁸ в глазах людей, вверенных их попечению. У некоторых правителей уже наблюдаются симптомы того настроения, которое станетобладающим после брюмера, но укоренившиеся навыки, прошлое, темперамент этих людей, трудность их теперешнего положения, – все препятствовало осуществлению их добрых намерений и снова возвращало их в революционную колею.

Кроме того, главы государства были бессильны сделать что-либо доброе уже потому, что их было несколько, что они не доверяли друг другу, и боялись запятнать себя в глазах

³⁴⁷ Речь 18 фрюктидора.

³⁴⁸ Доклад об общем положении республики. Aulard, “Etat de la France en l’an VII et en l’an, VIII”, p. 16.

своих коллег пороком умеренности, и еще потому, что во Франции собирательные единицы совершенно лишены политического чутья. Баррас весьма справедливо заметил по поводу одного требования, признанного законным каждым из директоров в отдельности и отвергнутого директорией в полном составе: “Только люди, не наблюдавшие политических собраний, или хотя бы простых товариществ, еще менее многолюдных, могут удивляться, видя, насколько не похожи между собою люди, взятые индивидуально и коллективно. То, что порознь они признают справедливым и согласны исполнить, в том самом они, собравшись вместе, нередко отказывают”.³⁴⁹

Таким образом, коллективное правительство VII года не могло придумать ничего, кроме инквизиционных строгостей и исключительных мер, чтобы защитить себя от роялистского заговора, действие которого оно уже испытывало на себе и нити которого сквозили повсюду. Советы, по настоянию Фушэ, вотировали закон, предоставлявший полиции на два месяца право производить домашние обыски; результатом была масса притеснений. За четыре недели в одном Париже было арестовано пятьсот сорок человек.³⁵⁰ Даже вне районов беспорядков продолжали функционировать военные су-

³⁴⁹ “Mémoires”, III, 455. Баррас здесь неточен, относя рассказываемый им случай, касающийся ссыльного Симеона, на после 30 прериаля; приводимое им письмо самого Симеона доказывает, что факт случился раньше.

³⁵⁰ Сообщение директории советам 26 фрюктидора.

ды; время от времени народ угощали казнями, расстреливали кого-либо из вернувшихся эмигрантов. В недалеком будущем должны были войти в силу закон о прогрессивном налоге и страшный закон о заложниках. Напрасно благородные голоса говорили о справедливости и гуманности; трогательные воззвания оставались втуне. Рамель выпустил в свет книгу, в которой была описана долгая агония фрюктидорских ссыльных в Гвиане, и отдана на суд публики летопись их страданий. По поводу двух из них – Барбе Марбуа и Лафон-Ладеба, госпожа де Сталь писала из Коппэ законодателю Гара (Garat):

“О непоправимом прошлом можно только жалеть, но возможно ли вынести мысль, что в Гвиане остается двое несчастных... (Их оставалось гораздо больше). От директоров зависит разрешить Марбуа и Ладеба вернуться в Олерон; заставьте их сделать это; это будет только справедливо. В эту жару неужели вам не горька мысль о том, как должны страдать эти несчастные, изъеденные всевозможными насекомыми, и притом под экватором? Заслуживали ли бы мы сами хоть какого-нибудь сострадания, если бы эта мысль не преследовала нас? В конце вашего прекрасного труда вы просите перенести вас под яркий свод небес, где вы могли бы думать и чувствовать. Дайте же этим несчастным воздух, которым можно дышать, воздух, который не несет с собой смерти. Беспокоятся за Бильо де Варенна, хотят вернуть его сюда, а эти двое, которым можно поставить в вину только припи-

сываемые им взгляды – за них некому вступитьяся. Какими же глазами будут смотреть на нашу республику за пределами Франции, после прочтения книги Рамеля, где каждый рассказанный факт дышит правдивостью очевидца? Надо быть французом, надо не иметь возможности отречься от своей доли родства со своею страной, чтобы искать оправданий и объяснений замалчиванию советами подобных жестокостей. Прошу вас, дорогой мой Тара, сделайте доброе дело, заставьте вернуть этих двух несчастных. Вашу жизнь воспоминание об этом будет вам отрадным и верным спутником”.³⁵¹

Кончилось тем, что директория разрешила перевезти в Олерон Марбуа и Ладеба,³⁵² но без огласки и лишь в виде исключительной меры, не распространяя ее благодетельного действия на остальных ссыльных; открыто проявить сострадание ко всем было бы слишком рискованно, и умолять об этом директорию значило требовать слишком многого. Баррасу госпожа де Сталь пишет: “Теперь время действовать, а не рассуждать, но помните же, воспользуйтесь первым же успехом, чтобы смягчиться”.³⁵³ Это свободное слово не вызвало никакого отклика в политическом мире.

Гонение на священников отнюдь не прекратилось. По дорогам Блезуа и Турэни по-прежнему тянутся возы с “попа-

³⁵¹ Архив города Коппэ.

³⁵² Barbe Marbois, *Journal d'un deporté*, 216.

³⁵³ Архив города Коппэ.

ми”, которых везут в Рэ или Олерон.³⁵⁴ Сто священников, долгое время просидевших в тюрьме в Рошфоре, просили суда, как единственной милости, наивно ссылаясь при этом на права человека; их ходатайство было отклонено директорией.³⁵⁵ Культ в тех местах, где он еще уцелел, оставался предметом нелепых притеснений. Церковь мучили в лице ее видимого главы – папы Пия VI, увезенного из Рима во Францию; по строжайшему предписанию министра внутренних дел, с ним обращались, как с “заложником”.³⁵⁶ Больного, умирающего папу таскали из Бриансона в Гап, Гренобль, Валанс; и всюду, где только показывался этот печальный поезд, мука слабого старика, облеченного высоким и священным саном, будила негодование в сердцах и возмущала совесть; в душе народа постепенно нарастала ненависть к его мучителям. В Париже городская полиция проявляла свое усердие тем, что всячески теснила верующих, воевала с приверженцами воскресенья, настаивая на точном соблюдении предписаний республиканского календаря, да “доносила на публику”, вышучивавшую церемонии десятого дня и попытки обставить известной помпой гражданские браки.³⁵⁷ Светские

³⁵⁴ Dufort de Cheverny, приводя этот факт, прибавляет: “Общество с отчаянием убеждается, что революционные формы остаются в прежней силе, хотя все предвещает близкое их распадение”, II, 414.

³⁵⁵ Barras III, 456–463.

³⁵⁶ Sciout, “Histoire du Directoire”, IV – 457.

³⁵⁷ “Доношу Вам на публику, – писал министру внутренних дел один из его чиновников, – которая вела себя вчера в Храме Мира, X-й округ,

службы и вершители их стали посмешищем, но тем не менее христианам были воспрещены всякие внешние проявления религиозного культа: если кто позволял себе положить распятие на гроб, выставленный у ворот дома, об этом тотчас же составлялся протокол.³⁵⁸ В то же время шестьдесят разносчиков, арестованных в Париже за распространение брошюр, полных брани и оскорблений правительства, были выпущены за отсутствием закона, под который можно было бы подвести их вину,³⁵⁹ – довершение характеристики режима, соединявшего крайности тирании и распущенности.

в высшей степени неприлично при заключении браков. В храме стоял смешанный гул голосов, делавший бесполезным всякое поучение или речь, обращенную к народу. В особенности усиливал беспорядок оркестр, выбором смехотворных мелодий. Негр женился на белой; музыка заиграла песню Аземии: “L'ivoire avec l'ebene fait de lolis bijoux” (Из слоновой кости с черным деревом делают красивые украшения). Тотчас же загремели крики bis и bravo. Пожилая женщина вышла замуж за человека моложе себя; музыка заиграла: *Vielle femme, jeune mari, feront toujours mauvais ménage*”, (молодому мужу со старою женою не ужиться вовек). Смех и рукоплескания удвоились, равно как и смущение, новобрачных”. Schmidt, III 411.

³⁵⁸ Донесения, опубликованные Schmidt III, 427.

³⁵⁹ См. отчет о заседании совета пятисот 4 фрюктидора”.

ГЛАВА IV. КРИЗИС, ВЫЗВАННЫЙ БИТВОЙ ПРИ НОВИ И ЯКОБИНСКИЕ ЗАКОНЫ

Битва при Нови; смерть Жубера. – Слухи об убийстве. – Общество поражено. – Волнение в политическом мире. – Англо-русские войска в Голландии. – Удар, нанесенный печати. – Якобинцы предлагают Бернадоту низвергнуть правительство. – Ответ Бернадота. – Предложение объявить отечество в опасности. – Ужасное заседание совета пятисот; кулачный бой в парламенте; Париж вечером. Ночной совет в Люксембурге. – Украденный у Бернадота портфель. – Заседание 28-го фрюктидора; coup d'etat в перспективе. – Предложение Журдана отклонено; якобинская; орда вокруг дворца Бурбонов, – Равнодушие настоящего народа. – Применение якобинских законов. – Париж ввиду прогрессивного налога. – Сопротивление, капитуляция старейшин. – Организация налога. – Оценочное жюри. – Капиталу объявлена война. – Как она отразилась на сословиях. – Характерные инциденты в Лионе. – Финансисты призывают спасителя. – Слово, приписываемое поставщику Колло. – Финансовые результаты. – Механизм закона о заложниках. – Частные его применения. – Лиги притеснений. –

Неизбежность восстания на Западе. – Призыв рекрутов всех разрядов страшно увеличивает число ослушников. – Увеличение разбойничества. – Смятение властей. – Общая зараза и разложение.

I

Сийэс тревожно следит за первым шагом Жубера по ту сторону Альп. Он не сводит глаз с этого сверкавшего на горизонте клинка, от которого могло прийти спасение. Жубер прибыл в итальянскую армию 17-го термидора (4 августа). Он тотчас же двинул ее вперед, и в силу врожденной своей стремительности и сообразуясь с установленным планом. К тому же наши солдаты, наголодавшиеся в суровых апеннинских ущельях, надеялись вновь найти изобилие во всем на равнинах Ломбардии. Жубер знал, что Суворов близко, но надеялся, что осада Мантуи удержит вдали от него часть австрийских войск, действовавших заодно с русскими. Но Мантуя сдалась уже пять дней тому назад, и австрийцы, предводительствуемые Меласом, форсированным маршем спешили на помощь Суворову; нашей армии предстояло столкнуться с грозным врагом, сосредоточившим свои силы.

Первое столкновение произошло 26-го термидора; а 28-го термидора (15-го августа), на рассвете, перед французами открылась вся русская армия, развернувшаяся перед Нови, Жубер немедленно устремился в атаку на линию аванпостов. С обеих сторон уже началась перестрелка. С плантациями и дачных усадеб, которыми была изрезана местность, раздавалась ружейная пальба, еще слабая и редкая, Жубер несся

вперед, увлекая за собой слабеющую колонну; вдруг он упал о лошади, истекая кровью, раненный пулей в грудь навывлет. Его отнесли назад на носилках, прикрытых холстом, чтобы вид умирающего вождя не деморализировал войск, и еще до полудня он скончался. Командование войсками принял Моро; пальба разгоралась; битва завязалась серьезная и жаркая. 12 часов республиканцы стойко держались под пушечным и ружейным огнем, защищая свою позицию, отбивая постоянно повторявшиеся приступы русских; но в конце концов, когда подоспевшие в полдень австрийцы обошли нас и насели на наш левый фланг, армия отступила в беспорядке, потеряв свою артиллерию, несколько генералов и много пленных. Моро снова увел ее за Апеннины и мог прикрыть только Геную, оставив во власти неприятеля весь полуостров, кроме узкой окраины его, Лигурии.

Первая весть об этой катастрофе была получена 9-го фрюктидора. Парижу сообщили, что в Италии произошло кровопролитное сражение, что потери неприятеля огромны, значительно больше наших, но что Жубер погиб. Как ни равнодушно стало большинство французов к славе родины, предчувствие несчастья и смерть Жубера повергли в уныние общество.

Впечатление катастрофы еще усиливалось тем, что полученные сведения были облечены какой-то таинственностью; так называемые осведомленные люди отвечали на вопросы сдержанно, с недомолвками, иные как будто не смели ска-

зять всего что знали.³⁶⁰ Глухо циркулировал слух, будто Жубер, сраженный в самом начале боя, был ранен вовсе не вражеской пулей, но кем-то из предателей якобинцев, прокравшихся в ряды армии или в обоз; что это гнусная факция, искавшая в каждом народном бедствии удовлетворения своим зверским аппетитам и мести за свои обиды, недавно только пытавшаяся среди Марсова Поля умертвить двух директоров, подло преследовала по пятам молодого генерала с целью убить в лице его надежду всех честных людей во Франции.³⁶¹ Можно ли было этому верить? Правительство афишировало мелодраматический траур, оказывая памяти Жубера необычайные почести; по приглашению директории оба совета справили ему, каждый в своем помещении, похоронную тризну; совет пятисот посвятил ему чрезвычайное заседание 25-го фрюктидора. “Вся трибуна задрапирована черным, впереди статуя Свободы, опирающаяся на пучок копий, символ силы и единения; сбоку погребальная урна, у подножия светильник с двумя погребальными лампадами. Позади пьедестала статуи – две нарисованные на полотне погребаль-

³⁶⁰ “Lettres de madame Reinhard”, 82.

³⁶¹ Многие думали, что это было убийство. Перед отъездом Жубер получил крайне безграмотное письмо, где земляк “настоятельно” просил у него свидания; Жубер, по-видимому, не соглашался. Быть может, его хотели предупредить об опасности и посоветовать ему быть настороже. Письмо это любезно передано нам одним из внуков Жубера. Как нам кажется, письмо это само по себе не такого свойства, чтобы на нем одном можно было строить сколько-нибудь основательные предположения.

ные урны. В половине второго входят члены совета с ветками кипариса в руках. Музыка при этом играет траурный марш, прерываемый еще более печальными звуками похоронного звона. Президент произносит речь в честь героя, память которого празднует собрание”.³⁶²

Планы Сийэса рушились. Тем не менее экс-аббат упорствовал, приискивая заместителя Жуберу, на роль организатора государственных переворотов в пользу революционеров, пристроившихся к власти, и надеявшихся окончательно укрепить ее за собой. Моро, посланный командовать войсками на Рейн, должен был по пути проехать через Париж; это был удобный случай позондировать его настроение и разогнать сомнения. Если он уклонится, его, по-видимому, можно будет заменить Макдональдом (впоследствии женившимся на вдове Жубера), или Бернонвиллем. За отсутствием перворазрядного и заново отточенного меча, готовы были взять любой, лишь бы только он не согнулся в деле. Генералов был большой выбор, все народ шумливый, беспокойный. Но в этой толпе генералов, среди всех этих людей в касках с султанами, круживших около власти с театральными жестами и энергической речью, пересыпанной крепкими словцами, как найти человека дела? Все они обладали блестящими военными доблестями, но в политике тотчас терялись, начинали колебаться, робеть, не решались взять на себя инициативу. Сийэс минутами просто в отчаяние приходил; уста-

³⁶² “Gazette de France”, 26-го фркюктидора.

лость, горькое уныние овладевали его душой. “Что пользы в том, что мы искали и нашли, что нужно было бы сделать? Где сила, которая бы привела это в исполнение? Нет ее нигде; мы погибли!”,³⁶³ – говорил он.

Внешняя опасность надвигалась все грозней, чреватая всеми другими. Правительство знало, что как только неприятель, перейдя через Альпы, вступит во Францию, сто гражданских войн вспыхнут разом; и правящий класс погибнет, раздавленный между анархистами и роялистами, если только Суворов не подоспеет вовремя, чтобы примирить всех революционеров, повесив их рядышком. Среди этой жестокой неурядицы умы инстинктивно обращались к отсутствующему герою, к великому покровителю, и вглядывались вдаль, ища его на горизонте. Призывали меч, уже поднятый однажды в защиту революции и Франции. “Нам недостает Бонапарта”,³⁶⁴ – говорила одна газета. Порой распространялись слухи о его возвращении; газетчики выкрикивали эту новость на улицах, и весь город приходил в волнение.³⁶⁵ Но разочарование не заставляло себя ждать, и снова росло раздражение против правительства, будто бы отправившего Бонапарта в Египет, в победоносное изгнание. Где он теперь?

³⁶³ “Notes manuscrites de Grouvelle”.

³⁶⁴ “Le Surveillant”. 12-го фрюктидора.

³⁶⁵ “Правдивое или ложное известие о высадке генерала Бонапарта в Генуе, разнесенное по городу продавцами газет, вызвало величайшую сенсацию в обществе”. Донесение генерального штаба 5–6 термидора. “Archives nationales”, AF. III, 168.

Вязнет в песках Сирии или стоит под Сен-Жан д'Акром, прижатый к стене каким-то несчастным пашой? Иные уверяли, что он ранен, что пришлось сделать ампутацию. За четыре месяца ему не удалось переслать во Францию ни одного бюллетеня – хотя бы восточку, письмо, два-три слова! Сведения о нем получались только из корреспонденции и английских газет, и то редкие и тревожные.

Директора VI года не были огорчены удалением Бонапарта, но сказать, что они сами удалили его, подстрекнули его к египетскому походу, было бы неточно. Поход этот был выдуман на три четверти им самим, Бонапарт хотел его, чтобы осуществить на пользу себе заветное желание французов, принудив к миру Англию. Он хотел его и потому, что инстинктивно стремился выше и выше, что его тянул к себе Восток, манили широкие яркие горизонты, беспредельные пространства, где завоеватели орудуют *en grand*, ударами меча выкраивая себе огромные империи, где нет конца и края их вольному бегу. Наконец, этот поход был нужен ему для того, чтобы не окунуться слишком рано в политику и дать время директории окончательно уронить себя в глазах народа, чтобы сделаться единственной надеждой, единственным прибежищем Франции. Таким образом, ему представится возможность, смотря по обстоятельствам, повторить Александра на востоке или Цезаря на Западе. Египетский поход Бонапарта – один из тех, которые наиболее принадлежат ему по замыслу и выполнению и выказывают его в двойном виде – чело-

веком тонкого расчета и в то же время великим фантазером.

С тех пор, как в Европе возобновилась война, принявшая плохой для нас оборот, правители и желали, и боялись возвращения Бонапарта. После первых наших неудач старая директория затеяла обширную морскую комбинацию, с целью извлечь его из Египта и вернуть во Францию; проект включал соединение испанского и французского флотов на Средиземном море; он провалился в самом начале, вследствие малодушия Испании.³⁶⁶ Новая директория не решалась подать в Египет сигнал бедствия, пока верила в успех Жубера. Но после Нови, надвигавшаяся неминуемая гибель не позволяла более колебаться: лучше уж Бонапарт, чем Суворов.

По свидетельству Камбасерэса, Сийэс склонился на убеждения Иосифа Бонапарта, предлагавшего испытать все средства передачи в Египет частных писем и вызова обратно.³⁶⁷ По всей вероятности, результатом этого оставшегося неизвестным инцидента и была отправка Иосифом в Египет грека Константина Бурбаки; поручения этот последний, впрочем, не исполнил, да и обстоятельства сделали его миссию бесполезной.³⁶⁸

Талейран, все еще исполнявший обязанности министра иностранных дел, предложил серьезный шаг; при посредстве

³⁶⁶ См Boulay de la Meurthe, “Le Directoire et l'expédition d'Égypte”, 96 – 160.

³⁶⁷ “Eclaircissements inédits de Cambacérès”.

³⁶⁸ Boulay de la Meurthe, “Le Directoire et l'expédition d'Égypte”. 240–242.

испанской дипломатии начать переговоры с Портой о возвращении генерала Бонапарта и экспедиционного корпуса, в случае надобности на английских судах, взамен возвращения ей Египта. Таким путем надеялись, принимая в расчет неизбежные проволочки, вернуть Бонапарта к весне будущего года. Подобное возвращение было бы настоящей капитуляцией и, конечно, генералу пришлось бы подписать обязательство не поднимать более оружия против наших врагов в продолжавшейся войне; но все же он, по крайней мере, был бы здесь налицо, чтобы обуздать факции, воскресить национальную энергию и заставить победу вновь улыбнуться нам.³⁶⁹

Желательность переговоров с Турцией в принципе была признана 17-го фрюктидора (3-го сентября). Тем временем Рейнар наконец прибыл в Париж и принял портфель из рук Талейрана. Новый министр усвоил себе взгляды своего предшественника; 24-го фрюктидора представленный им проект переговоров был одобрен и подписан пятью директорами. Послан был гонец к Послу республики в Мадриде; ему поручалось уведомить испанский двор о том, каких от него ждут услуг. Неделю спустя пошли дальше: на 2-й дополнительный день VII года – 18-го сентября – по внушению и почти под диктовку директоров, Рейнар написал письмо Бонапарту, с тем, чтобы попытаться доставить его тремя различными путями, через добровольцев эmissаров. В этом письме ми-

³⁶⁹ **Ibid.** 180–194.

нистр, от имени правительства, приглашал Бонапарта вернуться вместе с его армией, предоставляя ему полную свободу в выборе средств. – “Исполнительная директория ждет Вас, генерал, – Вас и Ваших храбрецов... Она уполномочивает Вас, для обеспечения скорейшего Вашего возвращения, принимать все военные и политические меры, какие только подскажут Вам Ваш гений и события”.³⁷⁰ Как видите, призыв был настойчивый и убедительный. Директория представляла Бонапарту *carte blanche* вступать в переговоры, капитулировать и т. д., не позволяя ему лишь одного – отделить свою участь от судьбы своей армии. В том же письме, посланном из Парижа, но не дошедшем даже и до Средиземного моря, Рейнар в ярких красках изображал бедствия, с удвоенной силой обрушившиеся на Францию.

Вначале Париж имел лишь неполные и смягченные сведения о битве при Нови. “*Journal des hommes libres*” неожиданно разорвал завесу, скрывавшую размеры катастрофы. Вскоре стало известно, что англо-русская армия, под начальством герцога Йоркского, высадилась в Голландии, в Текселе; батавский флот сдался, или, вернее, отдался врагу без выстрела. Намерения голландского правительства и народа были весьма неясны; Бельгия оставалась враждебной; против герцога Йоркского наскоро выслан был Брюн со своими войсками; достаточно было бы одного их поражения, чтобы в соединенных департаментах из конца в конец вспыхнул мятеж,

³⁷⁰ Boulay de la Meurthe, 319.

обнажив нашу былую границу; опасность росла с часу на час.

А в Париже ревели и бушевали демагоги, грозя жестоким взрывом; эта партия усвоила себе привычку отягчать каждое национальное бедствие возмущением страны. “Злонамеренность и глупость не дремлют, – пишет один из старейшин; – нетерпение и страх помогают им”. С 30-го прериала кризис становится хроническим; в конце фрюктидора – отраженное действие внешних неудач – он чуть было не завершился полным ниспровержением существующего порядка.

Политический мир был в смятении. В продолжение нескольких дней партии обнаруживали колебание и нерешительность; каждый искал своего пути и подготовлял средства. Депутаты чуть не каждый час собирались на совещания. Заводились переговоры о подкупе, скрещивались интриги. Вожаки, военные и гражданские действовали не совместно, но следуя каждый влечению своей натуры и минутной прихоти. Бернадот производил смотры, парадировал перед войсками, осматривал в Курбвуа новобранцев перед отправлением³⁷¹ их к своим частям и говорил им трогательные речи, западавшие в сердца молодежи. “Дети мои, среди вас есть великие вожди. Вы должны дать мир Европе”.³⁷² Честный Лефевр, в своей простодушной лояльности не понимая, как это республиканцы не могут объединиться ради спасе-

³⁷¹ Gaudin (des Sables) á Chapelin, 22 fructidor – 8 septembre, eite par Chassin, “Les Pacifications de l’Ouest, III, 364.

³⁷² “Moniteur”, 18 фрюктидора.

ния республики, пытался сблизить непримиримые факции. Баррас согласился видеться с Журданом, но толку от этого было мало; генерал этот, совращенный в политику, являлся в Люксембург крадучись, в шесть часов утра, из страха скомпрометировать себя перед своей собственной партией, но ему не удавалось рассорить Барраса с Сийэсом, а сам он отказывался порвать с анархистами.³⁷³ Сийэс, в ожидании, пока отыщется необходимая ему шпага, насторожился и не доверял никому; все окружающие представлялись ему опасными якобинцами – министры, гражданские и военные агенты, пристава директории, даже курьеры.³⁷⁴ Семонвилль эксплуатировал посмертную славу мужа своей падчерицы, бегал по министерствам, всюду веля докладывать о себе, как об “отце генерала Жубера”,³⁷⁵ и во имя несчастья, после которого он, по его словам, не мог утешиться, требовал мести для всей своей родни.

Между тем якобинские газеты неистовствовали вдвое против прежнего; газета тигров (*Journal des tigres*) прямо рычала на правительство. Директория в конце концов рассудила, что с такой печатью править страной совсем невозмож-

³⁷³ “*Mémoires de Barras*”, III, 489–492, с приведенным в них письмом Лefевра. Когда Журдана упрекали в том, что он вотирует заодно с “мужами раздора и крови”, он отвечал: “Позвольте вам заметить, что мы не подаем голос заодно с ними, а они заодно с нами, и этому мы помешать не можем”. “*Notices sur le 18 Brumaire*”.

³⁷⁴ Barras III, 485.

³⁷⁵ *Ibid.*, 481.

но. Для обуздания ее в законодательстве не оказывалось карательных мер. Однако в конституции имелась статья 145-я, предоставлявшая правительству право “привлекать к суду и арестовывать предполагаемых зачинщиков или сообщников заговора против внутренней и внешней безопасности государства”. Как ни ловко иные умели толковать эту статью, все же казалось трудным подвести шумливые разглагольствования печати под понятие о заговоре, деле, по существу своему, тайном и темном; тем не менее план был принят, и насилие лицемерно прикрылось маской законности.

По совету Фушэ, следуя классическому приему, директория ополчилась сперва на несчастных жертв фрюктидора, у которых перья давно уже были сломаны. В фрюктидоре редакторы оппозиционных листков, осужденные гуртом на ссылку, без обозначения лиц, простым перечислением названий газет, по большей части не понесли наложенной на них кары, так как никто не арестовывал их, а сами они не являлись отдать себя в руки властей; в своих убежищах они считали себя забытыми и уже начинали свободно дышать. Но в это время вышел указ с перечислением имен приговоренных к ссылке, принудивший их скрываться, искать более надежных убежищ; в числе поименованных – были Фонтан, Лагарп, Бергэн д'Андильты, Бергэн де Во, Стюар, Фьевэ. После этого низко-жестокоего шага, этого осуждения задним числом, лишенного, впрочем, всякого практического значения, директория направила свои громы на современную пе-

чать, пытаясь пристегнуть нападки якобинцев к заговору, замышляемому против республики.

В одном из отношений, адресованных советам, директория говорит: “Невозможно скрыть от себя существование обширного и жестокого заговора против республики... Чего доброго, у заговорщиков еще, пожалуй, хватит наглости требовать свидетелей, доказательств, утверждать, что мы не сможем представить улик...

Свидетели – трупы республиканцев, умерщвленных на юге, избиваемых на западе, окруженных опасностями повсюду. Доказательство – мятежи, которые, едва их удалось погасить в одном департаменте, моментально вспыхивают в другом. Улики – лживые брошюрки, зажигательные листки, гнусные книжонки, которыми наводнена республика. Дерзкие писаки по-прежнему делятся на шайки, внушения и наущения которых дают одинаковые результаты; они идут врозь, но с тем, чтобы соединиться в известном пункте; их пути расходятся, но место их условленной встречи – могила конституции”. Выводом из этого бесстыдного пафоса явилось сообщение советам об указе, которым директория предписывала министру полиции, в силу статьи 145-й, наложить арест на 11 газет, в том числе на “Газету свободных людей”, взяв под стражу издателей и редакторов.

На деле полиция ограничилась тем, что опечатала станки и заперла конторы редакций; ни один журналист не был арестован и привлечен к суду; для этого директория не чувство-

вала под собой достаточно твердой правовой почвы. “Газета свободных людей” немедленно же возродилась под другим именем “Враг угнетателей всех эпох”. Тем не менее весть о гекатомбе вызвала в совете пятисот взрыв ярости якобинцев, поднявших невообразимый шум.

В этом своего рода *coup d'état*, направленном против печати, якобинцы видели первый шаг на пути беззаконий, уже нескрываемое покушение на их партию и народные учреждения. Они всегда боялись Сийэса; теперь этот страх и недоверие к нему усилились; республика изнемогает под тяжестью всевозможных напастей; Сийэс того и гляди сбросит маску, насильно изменит конституции при помощи какого-нибудь эполетчика, а затем, через посредство Пруссии, состыкуется с иностранцами и заключит мир, который принудит Францию, в угоду коалиции, пойти на какую-нибудь сомнительную монархическую комбинацию, подчиниться Орлеанскому или Брауншвейгскому. Депутат Брио при всем совете пятисот крикнул: “Да, я утверждаю, что готовится государственный переворот, республику хотят предать ее врагам, вновь свести ее к прежним границам; кто знает, быть может, у заправил всех наших бедствий уже теперь мирный договор в одном кармане и конституция в другом”.³⁷⁶

Раздраженные этими предсказаниями, снедаемые алчностью, якобинцы в парламенте решили взять наглостью. Чтобы предупредить вооруженный переворот, в воздухе уже

³⁷⁶ “Moniteur”, 24 фрюктидора.

чувствовалось приближение грозы – они начали с того, что попытались устроить то же самое в свою пользу. Хотя они и хвастались, что вполне уверены в народе и могут руководить им по желанию, они сильно сомневались, чтобы их личным друзьям удалось создать что-нибудь более серьезное, чем поверхностная агитация, ввиду “приводящей в отчаяние апатии народа” – слова Журдана. Им пришла мысль призвать на помощь единственную силу, которая в то время способна была создавать и низвергать правительства, – военную власть. На руках у них был ценный козырь – военный министр Бернадот. Журдан с друзьями тайно посетили его и напрямик предлагали арестовать Сийэса, Барраса и учредить якобинское правительство, став во главе его; они соблазняли министра приманкой могущества; им самим нужна была сильная власть, чтобы прогнать иностранцев и спасти республику, но спасти ее на якобинский лад и затем предать в руки якобинцев.³⁷⁷

Ярый патриот, Бернадот держался крайних взглядов и весьма резко высказывал их. Его образная, живописная речь, мужественная осанка, упрямый нос с раздувающимися ноздрями, огненный взгляд, – все, казалось, обличало типичного удальца-авантюриста. Наружность его, при встрече на улице, поражала даже совершенно незнакомых людей, внушая им мысль, что перед ними ловец человеков. В сущности, это была сама нерешительность. Мучимый желанием играть

³⁷⁷ “Notice de Jourdan sur le 18 Brumaire”.

первую роль, он в то же время страдал каким-то бессилием захватить ее, сделать прыжок, перешагнуть Рубикон; беспокойный и робкий честолюбец, он вначале, казалось, готов был всем рискнуть, разрушить все преграды, а затем его бурная энергия расплывалась в фразах.

В данном случае, не решаясь окончательно скомпрометировать себя союзом с якобинцами и не желая, восстановить их против себя, он выпроводил их послов, отделавшись уклончивой и блестящей тирадой. Рядясь в благородство чувств, он говорил, что, пока он министр, к нему нельзя предъявлять никаких требований, ибо совесть запрещает ему употребить против конституционного правительства этим же правительством данную власть. Но, лишь только он выйдет из министерства, он вернется к своим политическим друзьям как простой гражданин, примкнет к самым опасным их начинаниям и займет место рядового бойца в рядах партии.³⁷⁸

За невозможностью произвести вооруженный переворот якобинцы затеяли парламентский *coup d'état*. Наши последние поражения довели недовольство в обществе до крайних пределов, и в совете пятисот большинство как будто обратилось против директории. Якобинские вожаки решили воспользоваться этим благоприятным настроением, но

³⁷⁸ *Ibid.* Версия Журдана гораздо правдоподобнее того, что впоследствии рассказывал сам Бернадот, – будто бы он потребовал от якобинских депутатов честного слова в том, что они откажутся от своей затеи.

несколько дней вынашивали свой план, прежде чем произвести взрыв. Они заставили учредить чрезвычайную комиссию для изыскания мер общественного спасения, и надеялись воспользоваться ею, как приманкой. К счастью, эта комиссия, в которую удалось проникнуть несколькими умеренным, оказалась бессильной, что бы то ни было сделать. Тогда вожаки решили перенести свой проект в самый совет, положив, в случае надобности, прибегнуть к силе и хоть кулаком, а добиться своего.

27 фрюктидора, во время заседания совета, Журдан неожиданно поднимается на трибуну, внося предложение о порядке прений, и требует, чтобы совет пятисот объявил отечество в опасности. Страшные слова, вызывающие в памяти ужасное прошлое! Прецедент 1792 года наглядно показывал, что, если бы такой декрет прошел, он вызвал бы фактическую приостановку конституционного режима, узаконил крайние меры и жестокости, вызвал бы брожение всех элементов смуты и окончательно взбудоражил бы страну; это была бы машина для ломки правительства. Семь лет тому назад тот же способ был использован республиканцами в законодательном собрании, столько же в видах ниспровержения трона, сколько для того, чтобы прогнать врага с наших границ; два депутата совета пятисот признали это в споре; один даже хвастался этим; теперь это оружие предполагалось обратить против директориальной республики и, главным образом, против орлеаниста Сийэса.

Журдан развивает свою идею с бешеным красноречием. Как только он закончил, друзья его поднимают крик: “Голосовать! голосовать!” – прилагая все усилия, чтобы захватить и увлечь собрание. Умеренные ораторы хотят возражать, направляются к трибуне. Пятьдесят якобинцев кидаются с поднятыми кулаками навстречу, чтобы загородить им дорогу. Дошло до ударов; вокруг трибуны форменная потасовка. – “Лесаж-Сено хватает за шиворот вскарабкавшегося туда Вильстара и тащит его вниз. Маркези, Блэн, Лесаж-Сено, Сулье, Дестрем, Шальмель, Киро, Бигонне, Ожеро, таким же манером стаскивают с трибуны Беранже и не дают взойти на нее Шенье;³⁷⁹ законодатели в тогах дерутся между собой, как носильщики. Видя, до какой грубости и неистовства доходили якобинские депутаты, яростно орудуя кулаками направо и налево, лучше понимаешь сцену, которая разыгралась полтора месяца спустя в оранжерее Сен-Клу при появлении Бонапарта.

Собрание, не помня себя, орет во все горло; якобинские вожакИ обмениваются знаками с публикой на трибунах, где восседают их приверженцы, и там, в свою очередь, поднимается оглушительный шум. Несколько голосов ревут, угрожая смертью президенту Булэ де ла Мерт, который не поддается натиску; с одной из трибун несется вопль: “Не выпустим его отсюда живым!”.³⁸⁰ Ни один общественный деятель, даже из

³⁷⁹ “Gazette de France”, 28-го фрюктидора.

³⁸⁰ Ibid.

членов конвента, не запомнит ничего подобного этим сценам, самым бурным, по словам газет, какие только виданы с тех пор, как у нас существуют совещательные собрания.

Президент дважды надевал шляпу в знак того, что закрывает заседание, – напрасно; наконец, ему о большом труде удастся восстановить относительную тишину. На трибуну всходит Мари Жозеф Шенье, бледный, в изорванном платье, и бормочет нечто вроде речи, извиняясь за ее бессвязность, – дескать, его захватили врасплох. На каждой фразе его прерывает лай якобинской своры. Ламарк и Киро поддерживают предложение Журдана; Дону протестует; Люсьен разбивает его, с большой находчивостью, в пылкой импровизации. На всех скамьях безумное возбуждение сменилось изнеможением; тогда поднимается президент, чтобы лично принять участие в прениях, и властно, увлекая нерешительных и трусов, говорит об “ужасном состоянии”,³⁸¹ в котором он застал собрание, и требует, чтобы продолжение прений было отложено на завтра. Это значило дать умеренным время осмотреться, овладеть собой и подготовить отпор.

³⁸¹ **Ibid.**

II

С первыми же слухами о стычке в парламенте в городе распространились страх и уныние. Многие укладывались, хотели бежать в окрестности. Вечером Париж был мрачен, улицы – почти пусты; даже в кварталах, обыкновенно самых людных, вокруг Пале-Рояля, сиявшего огнями во мраке, редкие прохожие пробирались вдоль стен, и искателей удовольствий было очень немного.³⁸²

В Люксембурге царило смятение. Баррас принимал воинственные позы и говорил, что он готов умереть, но дорого продаст свою жизнь;³⁸³ зато Сийэс волновался безмерно. Его тревогу еще удваивала мысль, что нельзя быть вполне уверенным в войске, пока военным министром остается Бернадот. В последнее время, по мере того, как опасность надвигалась грозой, мысль эта все больше и больше мучила Сийэса, лишала его сна и покоя. Зная, что якобинцы кружат около генерала, всячески стараясь привлечь на свою сторону, он боялся со стороны министра какой-нибудь неожиданной выходки. Теперь же, когда разыгрался кризис и анархистские

³⁸² “Gazette de France” напечатала диалог между двумя проститутками, бродившими на улице Онорэ. – Одна: “Ах ты... никого не видеть; я нынче даже без почина”. Другая: “Еще бы; хотят объявить отечество в опасности; ничего нам с тобой сегодня не заработать”. 28-го фрюктидора.

³⁸³ Brinkman, 828.

страсти обнаружилась во всей своей отвратительной наготы, он не мог допустить, чтобы армия хотя бы минутой долее оставалась во власти этого демагога в шитом камзоле и шляпе с перьями, этого “Катилины”,³⁸⁴ этого, друга смутьянов. Во что бы то ни стало и не теряя ни минуты, нужно было сбросить с утлой правительственной ладьи беспокойное бремя, грозившее потопить ее.

В одиннадцать часов вечера Сийэс взял на себя собрать директоров;³⁸⁵ его коллеги более или менее ясно сознавали необходимость не перечить ему. Вопрос о замене военного министра другим лицом был поставлен на неотложное обсуждение; оставалось найти способ. Дать огласку делу было бы опасно; к тому же Гойе и его неразлучный Мулэн воспротивились бы этому. Нужно было потихоньку устранить Бернадота, хитростью выманить у него портфель, не отнимая его силой. Камбасерэсу, к которому вообще охотно прибегали, как к человеку находчивому и умному, советчику, без всяких прелиминарий предложили взять на себя временное управление военным министерством и самому добиться отставки Бернадота; оба поручения он отклонил.³⁸⁶

Но Бернадот был из тех людей, у которых всегда найдешь, к чему придаться, благодаря их невоздержанности в речах. Не раз уже в своих частых и многоречивых беседах с дирек-

³⁸⁴ **Barras, IV, 10.**

³⁸⁵ **Cambaceres “Eclaircissements inédits”.**

³⁸⁶ **Ibid.**

торами он, казалось, сам давал им оружие в руки, жалуясь на недостаточность имеющихся в его распоряжении средств проявить свое рвение и заводя речь об отставке; к тому же, добавлял он в заключение, и его военная доблесть страдает от того, что он сидит, сложа руки, в то время, как братья его бьются на границе. Баррас утверждает, что он наскоро, т. е., по всей вероятности, на другой же день утром, устроил более решительную сцену, – пригласил Бернадота к себе в кабинет и там сказал ему, что в директории могут выйти раздоры из-за военного министерства, и такому великому патриоту, как он, подобает предупредить их актом самоотречения. Бернадот тотчас же стал в позу, и, рисуясь, патетическим тоном, со слезами в голосе начал уверять, что он не дорожит властью. “Я не жажду быть министром; пусть, кто хочет, упивается этим блаженством”.³⁸⁷ Он предлагает выйти в отставку, делает движение к конторке, как будто ищет перо, чтобы написать прошение, но жест остается втуне, пера не оказывается и, видя, что Баррас, “из деликатности”,³⁸⁸ не настаивает, министр весьма благоразумно не пишет ничего, полагая, как добрый гасконец, что болтать можно все, что вздумается, – от слова не станется. Очень возможно, что комедия была доведена и до этого; во всяком случае несомненно, что Бернадот на этот раз поплатился за риторику. Сийэс поймал его на слове. Большинством трех голосов – его, Барраса и

³⁸⁷ Barras, IV, 13.

³⁸⁸ Ibid.

Дюко – было постановлено отставку принять, а Бернадоту послано красноречивое письмо, в котором говорилось, что “директория уступает выраженному им желанию вернуться на действительную службу”.

На место Бернадота Сийэс, конечно, предпочел бы посадить своего человека, генерала Мареско, но Гойе и Мулен заупрямились. Сошлись на строгом конвенционалисте, Дюбуа-Крансе; его не было в городе, и ему послана была депеша. В то же время директория поручила временное заведование военным министерством генералу Миле-Мюро, предписав ему немедленно же вступить в исполнение своих обязанностей.³⁸⁹

Все это произошло 28-го, в момент возобновления заседания совета пятисот, и получило огласку лишь несколько позже. Вернувшись в военное министерство, Бернадот принялся за текущие дела, ничего не сообщив своим начальникам отделений об утреннем разговоре. Когда он узнал, что очутился в отставке,³⁹⁰ помимо своей воли, первым побуждением его было, по словам его секретаря Сант-Альбена,³⁹¹ написать директорам довольно бесцветное письмо с изъявлением полной покорности; в результате ему, без сомнения,

³⁸⁹ В Приложении к I тому мы поместили протокол заседания директории 28-го, вместе с письмами, тут же на заседании написанными Бернадоту, Дюбуа-Крансе и Миле-Мюро. Национальный архив, А. Ф. III, 16.

³⁹⁰ *Mémoires de madame de Chastenay*, 408.

³⁹¹ “*Mémoires de Barras*” IV, 16–17. Известно, какое участие принимал Сент-Альбен в составлении мемуаров Барраса.

рисовался какой-нибудь видный пост в армии, взамен министерского портфеля.³⁹² Тот же Сент-Альбен, подстрекнув его самолюбие, убедит его разыграть оскорбленное достоинство, с гордостью отказаться от всяких компенсаций, и уходя, пустить в директорию парфьянскую стрелу, язвительное письмо, которое будет предано гласности и потомству.

Письмо директорам гласило: “Вы принимаете отставку, которой я не просил. Не раз я обращал Ваше внимание на тяжкое положение моих собратьев по оружию. Недостаточность средств, предоставленных в распоряжение военного департамента, глубоко огорчала меня; мне хотелось уйти от этого бессилия и, под влиянием этого мучительного, тягостного чувства, я, может быть, и высказывал Вам желание вернуться в армию. В то время, как я готовился представить Вам нравственный и административный отчет о моем управлении до 1-го вандемьера, Вы извещаете меня, что для меня имеется в виду командование отдельной частью, прибавляя, что, до вступления в должность моего преемника, министерством временно будет заведовать гражданин Миле-Мюро. Я должен восстановить факты в интересах истины, которая не в нашей власти, граждане директора; она принадлежит нашим современникам, принадлежит истории”. Письмо заканчивалось прошением об увольнении в отставку с пенсией.

³⁹² Генерал Сарразен, товарищ военного министра, в своих “Мемуарах” рассказывает, что Сийэс поручил ему предложить Бернадоту командование рейнской армией. Sarrazin, “Mémoires”, p. 122–123.

Напрасно Бернадот взывал к грядущим поколениям; он тем не менее очутился за штатом, ибо генерал Миле-Мюро безотлагательно отправился в военное министерство принимать дела. Правда, Гойе и Мулен нанесли Бернадоту торжественный визит с целью выразить свое соболезнование, в полной парадной форме и в сопровождении почетного конвоя; но для того это было плохим утешением. Избавившись от такого неудобного товарища, директорам теперь уже нечего было опасаться предательского нападения с тыла, между тем как их друзья в совете пятисот встречали грудью предвиденные жестокие удары.

Якобинцы, со своей стороны, не теряли времени даром; чтобы оказать давление на совет и принудить его вынести желательное постановление, они сочли долгом организовать большую народную манифестацию вокруг дворца Бурбонов. Подсланные ими эмиссары бегали по предместьям, произнося зажигательные речи, но народ оставался глух к их призыву. Никогда еще он так ясно не показывал своей инертной оппозицией, своим пассивным сопротивлением всяким попыткам увлечь его, до какой степени он стал неспособен к уличной борьбе. Вместо целой армии якобинцам удалось собрать только человек 800–900, но эта банда шумела и горланила так, что было бы впору и тысячам. Рассыпавшись по Площади Согласия, по мосту, по набережным, кучки оборванцев перекрикивались между собой, грозили изрубить в куски упорствующих депутатов, ревели, требуя крови; ужас-

ные мегеры, сопровождавшие их, требовали, чтобы им подали вилы. К счастью, Фушэ и Лефевр, министр полиции и парижский комендант, приняли солидные меры предосторожности; все входы во дворец охранялись военным караулом.

Тем временем в совете пятисот возобновились прения, в атмосфере, насыщенной страстями и ненавистью. После многих речей, произнесенных голосами, в которых, “слышалась еще вчерашняя хрипота”,³⁹³ после бесчисленных инцидентов и перерывов, предложено было отвергнуть предложения Журдана, предварительно опросив собрание. Два раза был произведен опрос путем вставания, и собрание, по видимому, уже готово было принять этот выход, когда недовольные депутаты стали кричать, что результаты опроса сомнительны, и настойчиво требовать поименной переклички.

Как раз в это время распространился слух о перемене в военном министерстве; впечатление было очень сильное. Не прелюдия ли это к знаменитому вооруженному перевороту, который готовила директория с помощью старейшин, ополчившихся на другую палату, скомпрометированную своими членами-якобинцами? Когда факт обманом вызванной отставки Бернадота подтвердился, словно ветер безумия пронесся над собранием; все были уверены, что переворот не заставит себя ждать. Журдан вскакивает на трибуну и начинает обличать пагубные замыслы правительства. Депутаты вторят ему, сообщая подробности, ссылаясь на передвижения

³⁹³ “Gazette de France”, 29 фрюктидора.

войск, рассказывают, будто генерал-комендант Курбвуа объявил, что, в случае надобности, он готов лететь на помощь собранию, и его за это попросили выехать из города в двадцать четыре часа. Все законодатели, якобинцы и умеренные, в том числе и Люсьен, клянутся умереть на своих местах, грозя народной мстью святотатцам, которые осмелятся поднять руку на национальное представительство. “Они не имеют права!” – восклицает Ожеро, и этот протест в устах человека, который сделал 18-е фрюктидора, до того забавен, что, несмотря на серьезное положение, вызывает взрыв хохота.

Наконец, приступили к поименному голосованию предложения объявить отечество в опасности. Оно было отклонено большинством двухсот сорока пяти голосов против ста семидесяти двух. Быть может, такому результату не чужда была тревога, поднятая вестью об увольнении Бернадота.

Когда заседание было объявлено закрытым и депутаты стали выходить, толпа, собравшаяся вокруг дворца, яростно хлынула к дверям с криком: “Долой воров!” Пришлось пустить в ход войска, чтобы оттеснить неистовствовавшую толпу и очистить дорогу. Подоспевший генерал Лефевр пытался уладить дело и бранью, и призывами к примирению, но все напрасно. Депутатов провожали свистками, угрозами, проклятьями, на них лезли с кулаками, и, как бы в довершение скандала, депутаты меньшинства братались с этой сворой. Им достаточно было дать узнать себя, чтобы их, верных, доб-

рых, приветствовали радостными кликами. Они шли среди бушевавшей грозы, высоко неся голову, улыбаясь насилию, одобряя его взглядом и жестом, не препятствуя осыпанию своих товарищей оскорблениями, обливанию их помоями, и смаковали эту низкую месть.³⁹⁴

Из двухсот сорока пяти иные, не выдержав, отвечали ударом на удар; на площади Согласия Шазаль, из партии умеренных, завязал ссору с якобинцем-агитатором Феликсом Лепеллетье; обменивались всякими любезностями вроде: негодяй, злодей, чудовище.

Между тем, манифестанты рассеялись по городу и старались поднять простонародье, но им не удалось “передать ему тот электрический толчок, который вызывает восстания”.³⁹⁵ На площадях, правда, собирались кучками рабочие, выставя напоказ свою нищету, но они не трогались с места, утомленные, недоверчивые, по очень меткому замечанию одной газеты, они жаловались на всех,³⁹⁶ смешивая в равном презрении умеренных и террористов, власть и оппозицию, правительство и советы.

В этот день, в общем, все, сами того не подозревая, сыграли в руку Бонапарту. Дирекция устранила Бернадота, единственного генерала, который мог бы, по своему положению

³⁹⁴ См. газеты за 29-е и 30-е. Об этих сценах напомнил Люсьен Бонапарт в своей речи в ночном заседании 19-го брюмера.

³⁹⁵ “Le Publiciste”, 29 фрюктидора. У Brinkman, 328.

³⁹⁶ “Le Surveillant”, 12 фрюктидора.

министра и своему влиянию на войска, не без шансов на успех, воспротивиться попытке диктатуры. А якобинцы своим бесстыдством дали повод к этому устранению, точно так же, как в термидоре их друзья своим беснованием в Манеже дали предлог удалить Марбо. В борьбе, длившейся уже три месяца между подготовителями государственных переворотов в различных направлениях, в борьбе за две главных позиции – парижское комендантство и военное министерство – верх взяли в конце концов их противники.

Кроме того, якобинцы своими дикими выходками опозорили парламент, который вышел из этого кризиса еще более “презираемым и ненавидимым”,³⁹⁷ и вызвали удвоение предосторожностей против всех республиканцев яркой окраски. Директория воспользовалась случаем отрешить от должности нескольких членов департамента; остальные ушли сами. Эта администрация, уцелевший в Париже пережиток центральной муниципальной власти, ускользнула от крайней партии, – еще одно препятствие, убранное с дороги будущего консула. Во главе новой администрации поставили Ле-Куте де Кантеле, человека аккуратного и делового. Это он впоследствии поручился Бонапарту за покорность Парижа, прежде чем тот сел на лошадь. Многие чиновники, державшиеся известных определенных взглядов, нашли, что честь запрещает им сохранить за собою свои места, когда товарищи их уволены, и с треском вышли в отставку, закле-

³⁹⁷ Cambacérés. “Eclaircissements inédits”.

мив меры, принятые правительством, именем “прелюдии к государственному перевороту”;³⁹⁸ они думали восстановить общественное мнение против интриг и происков Сийэса, а добились только того, что сами себя устранили от власти, ослабили противодействие и уступили поле битвы врагу.

Тем не менее, Директория еще долго держалась настороже. В Люксембурге все входы и выходы охранялись военным караулом, как в крепости; рассказывают, будто гренадеры, стоявшие там на бессменной страже, три дня и три ночи не снимали сапог. Газеты уверяли, будто директора поделили между собой главный штаб, и каждый заставляет свою часть ночевать у себя в квартире; в официальном “Rédacteur” было напечатано опровержение.

Совет пятисот, со своей стороны, все время опасался, что его разгонят силой, и никак не мог прийти в равновесие. Обсуждались меры защиты, говорилось о необходимости назначить начальником стражи какого-нибудь генерала, но тем дело и ограничилось: ни к какому решению прийти не могли и жили в постоянных тревогах. Совету казалось, что над ним постоянно висит Дамоклов меч военной экзекуции, – такое сильное впечатление произвело на него заседание 28 фрюктидора, бывшее как бы предвкушением брюмера.

В действительности, ни законодательной, ни исполнительной власти не грозила неотложная гибель. Якобинцы не могли рассчитывать, что им удастся силой завладеть Люксем-

³⁹⁸ “Le Publiciste”, 2-й и 3-й дополнительные дни VII года.

бургом, так как народ был против них, или, по крайней мере, уже не за них. Большинство директоров точно так же неспособны были учинить переворот, так как у них не было под рукой подходящего человека, чтобы увлечь народ и взять приступом дворец Бурбонов. И тем не менее обе эти группы были пугалом друг для друга; обеих мучил страх, жестокий страх, всегдашний страх, вследствие сознания собственной слабости – сознания, что у них нет твердой почвы под ногами, и что они окончательно уронили себя в общественном мнении. А пока в парламенте шла эта борьба двух бессилий, этот поединок двух теней, народные тяготы разрастались до ужасающих размеров. Наступление якобинцев, казалось, временно было приостановлено, но материальные и экономические результаты его сказывались повсюду. Законы, изданные по настоянию крайних элементов тотчас после 30-го прериаля и впоследствии, в промежутки их господства, – законы касательно имущества и личности подозрительных людей, закон о прогрессивном налоге, закон о заложниках – приносили плоды и, прибавляя лишний гнет к суровым требованиям национальной защиты, терзали страну. Дела повсеместно пришли в расстройство, и Франция была доведена до крайней нищеты.

Прогрессивный стомиллионный налог на богатых прикрыли парадоксальным именем вынужденного или принудительного займа; это был способ обойти конституцию, в принципе стоявшую за пропорциональное обложение. Занятые

или вытребованные сто миллионов предполагалось возвратить натурой национальными имуществами; но дело в том, что эти имущества и закладные на них были страшно обесценены, и займодавцам, помимо воли, приходилось довольствоваться почти прозрачными гарантиями. А потому уже одно оповещение о налоге, хотя еще никто не знал, как он будет распределен, вызвало панику среди всех, кто еще владел во Франции какими-нибудь капиталами. Вместо того, чтобы пускать в ход свои деньги и получать их обратно с прибылью, обладатели их теперь только и думали о том, как бы изъять их из обращения и поскорее припрятать в надежном месте; впечатление было потрясающее; все дела разом стали.

Закон, в принципе решивший вопрос о прогрессивном налоге, был вотирован 10 мессидора, а 12-го в газетах читаем: “Во всех банковских и коммерческих делах полный застой. Звонкая монета стала большой редкостью и что ни день, то становится реже; покупают много луидоров; каждый бережет и копит свои”. 1-го термидора: “На парижской бирже почти никаких дел. Деньги, ничто день, то реже. Золотые в 24 франка покупают с надбавкой в 16–18 су за штуку сверх действительной стоимости; половину векселей протестуют, и векселедатели ничего не предпринимают, чтоб избежать этого”.³⁹⁹ Кредит давно уже подорван; государственные фонды все падают, ибо на них совсем нет спроса; в мессидоре и термидоре стоимость консолидированной трети колеблется

³⁹⁹ См. “Publiciste” в “Surveillant”.

между 8 ф. 65 с. и 7 ф. 65 с.

Легко было предвидеть, что распределение налога будет основываться на внешних признаках богатства поэтому каждый спешил сжаться, сократить свои расходы; в обществе только и было речи, что о необходимости продать свой кабриолет, карету, отпустить часть мужской прислуги и т. д.⁴⁰⁰ Богатые люди заранее учились надувать казну с помощью разных обходов и уловок; не один перевел свою карету на имя своего кучера путем фиктивной продажи. По мере того, как из прений в совете пятисот выяснялся способ раскладки и сбора налога, причем слагалась целая система преследований, все более и более клонившаяся в сторону насилия, росло и смятение в публике; многие негоцианты и иностранцы запасались паспортами в Гамбург, Испанию и Швейцарию, почти единственные страны, с которыми Франция не вела войну. Из оставшихся все наперерыв кричали о своей бедности и старались представить тому наглядные доказательства, “В наши дни люди состоятельные так же аффектированно прячут свое богатство, как в былое время старались выказывать его и даже преувеличивать... Иные нарочно банкротятся, чтобы вернее доказать свою бедность”;⁴⁰¹ и эти фиктивные разорения влекли за собою бесконечное множество настоящих. Роскошь, поддерживавшая торговлю и промышленность, кормившая тысячи семейств, была развенчанной

⁴⁰⁰ “Le Surveillant”, 19 мессидора.

⁴⁰¹ “Le Publiciste”, 14 мессидора.

царицей; заказы прекратились, и в перспективе предвиделось “к началу зимы несметное количество рабочих без работы”.⁴⁰² Владельцы недвижимости, со своей стороны, впали в полное уныние; они чувствовали, что обложения им не миновать, а между тем рыночная цена их имений сильно понизилась, так как на усадьбы и землю трудно было найти покупателя; на всем пространстве республики земля сильно упала в цене. Уже высчитано было, что за сто миллионов, собранных с богачей, Франция в целом поплатится пятьюстами.

Факты говорили красноречиво, но законодатели оставались глухи к предостережениям; их безумию не было удержу. Они с самого начала постановили, что налог будет прогрессивным и добавочным к обложению земли, движимостей и предметов роскоши; при низкой оценке имущество освобождается от налога. Было бы неприлично при сем удобном случае не проявить особенного ожесточения по отношению к экс-дворянам, превратившимся теперь в податное сословие, подлежащее всевозможным обложениям и повинностям (*taillable et corvéable à merci*); им предстояло платить вдвойне и втройне, смотря по обстоятельствам. Пятьсот, чувствовали, однако, что это податное сословие, которое столько уже давили и выжимали, из которого высосали все соки, многого дать не может, и решили приналечь главным образом на людей, обогатившихся, благодаря революции, на тех, чья роскошь, нажитая хищениями и биржевой

⁴⁰² “Le Surveillant”, 9 термидора.

игрой, нагло кидалась в глаза на фоне голодающего народа, кто при прежней директории предводительствовал вакханалией луидоров. Эта грубая и наглая денежная аристократия вызывала не меньше возмущения и гнева против себя, чем древняя каста дворян; она стала фокусом всеобщей ненависти, мишенью всех нападений.

Но как наложить на них руку? Имущества, подлежащие обложению, заключались не столько в поместьях и землях, сколько в звонкой монете и процентных; бумагах, хранившихся в портфелях, не проявляя своего существования никакими внешними признаками. Прибавьте к этому, что многие, обвиняемые в том, что они награбили огромные богатства, никогда не жили на широкую ногу; эти спекулянты были в то же время и скопидомами. Под влиянием все возраставшей хищнической алчности, в силу беспощадной логики ложных концепций, очень скоро пришли к идее чисто произвольной таксации, с оценкой наугад, по приблизительным данным, и комиссии расследований, – нечто вроде революционного трибунала для экзекуции крупных капиталистов.

Выработанный на этих основаниях законопроект был представлен советом пятисот старейшинам; негодование в обществе против “визи-готов”, соорудивших этот “шедевр нелепости”,⁴⁰³ было так велико, что старейшины вначале, 11 термидора, отвергли его. Но пятьсот с тупым упорством стояли за свою комиссию. Напрасно ходившие в публике лист-

⁴⁰³ “Gazette de France”, 6 термидора.

ки и брошюры, принадлежавшие перу компетентных авторов, напоминали им прежние опыты⁴⁰⁴ и уже достигнутые результаты – бегство капиталов за границу, исчезновение роскоши – якобинцы возражали на это, что деньги скрывают злонамеренно, из преданности контрреволюции, что их сумеют разыскать, извлечь из тайников. К тому же для них это была скорее политическая, чем финансовая мера, способ угодить своим клиентам из простонародья и бабувистам, сбить головы богачам, слишком выделявшимся над общим уровнем, в ожидании, пока можно будет приняться за всех без различия. Умеренные видели опасность, пытались возражать, но склонились перед указанными им требованиями необходимости, перед неотложной потребностью удовлетворить нужды государства и армий; к сожалению, они предложили якобинцам руководить этим экономическим разрушением. Законопроект, в несколько смягченном виде, был возвращен старейшинам; те, в конце концов, смирились и вотировали его.

По окончательному тексту закона, утвержденному 19-го термидора, прогрессивный налог вначале являлся добавочным к земельной подати, причем котировки ниже трехсот ливров добавочному обложению не подлежали; от трех же сот и до четырех тысяч франков налог возрастал в страшно

⁴⁰⁴ В 1793 и IV гг. уже были попытки ввести прогрессивный налог, вызвавшие общее возмущение; в уплату представлялись лишь бумаги, не имеющие ценности.

быстрой прогрессии, так что очень скоро обложение удваивалось. Что касается имуществ, котируемых выше 4000 фр., комиссия имела право взимать с них до трех четвертей ежегодного дохода. Экс-дворян разрешалось по произволу отнести в более высокий разряд, чем обусловленный размерами их состояния. Основой для распределения мог служить также налог на движимость. Наконец, комиссия должна была по душе и по совести производить оценку имуществу тех, кто своими предприятиями, поставками или спекуляциями нажил состояние, недостаточно поддающееся обложению на основании податей (contributions).

Последний пункт был особенно ядовитый. На основании его с вышеуказанных разбогатевших дельцов можно было драть, сколько угодно, вплоть до их годового дохода полностью, а отнять у человека весь его годовой доход значило все равно, что тронуть капитал. Докладчик, Пуллэн Гранпрэ, не скрыл от старейшин, что этот закон направлен против скупщиков движимостей и всяких спекулянтов капиталами, что он подорвет их дела и заставит их возратить несправедливо нажитое богатство.⁴⁰⁵

Оценочные комиссии должны были состоять из представителей местной администрации, с добавлением известного количества граждан, не подлежащих принудительному зай-

⁴⁰⁵ Он говорил: “Здесь подлежит обложению не доход, который часто мог бы оказаться недостаточным, но капитал”. Заседание 28-го “Publiciste”, 29-го.

му; вопреки всем принципам, неплательщикам предстояло называть тех, кто должен платить. Правда, на несправедливую оценку можно было жаловаться в ревизионную комиссию, но апелляция не приостанавливала действия закона; одну шестую часть налога необходимо было внести в течение десяти дней, другую шестую в течение месяца, остальное самое позднее в восьмимесячный срок. Ст. 13-я нового закона приглашала граждан доставлять необходимые сведения о капиталах, оставшихся неизвестными и не подвергнутых податному обложению. Это значило вызывать доносы, поощрять их и организовывать. Оценочные комиссии превращались, таким образом, в настоящие комитеты частичной конфискации, уполномоченные преследовать законным порядком людей, виновных в том, что они обогатились недозволенными средствами, или просто в том, что они слишком богаты, так как иметь крупное состояние, само по себе, считалось неприличным и соблазнительным.

Наспех сформированные комиссии вели дело кое-как, лишь бы с плеч долой. В наскоро составленные списки попали неизвестные личности и другие, давно объявленные несостоятельными; патриотической данью облагали иной раз даже покойников. Различные департаменты облагались весьма неравномерно, смотря по тому, насколько там была развита мелкая собственность, не подлежащая обложению; так, например, Вогезам предстояло приплачивать тринадцатую

часть земельной подати, а Ландам – две трети.⁴⁰⁶

Крупные поставщики, бесстыдные спекулянты, недостойные особенного сочувствия, были не такого сорта люди, чтобы позволить ощипать себя без сопротивления. Они заводили пререкания с комиссиями, сутяжничали, придирались к пустякам; они умели раздробить и скрыть свои капиталы, или же обратить их в процентные бумаги; к тому же, уже в силу того, что они были очень богаты, они располагали тысячей средств повлиять на комиссию, войти с ней в сделку путем подкупа и взяток. Несколько крупных воров попало; большинство прорвало петли закинутой на них сети и ускользнуло. Это не помешало им вспылать ненавистью к правительству, которое третировало деньги, как что-то подозрительное, как *si-devant*, как врага общества. Они клялись при первом же удобном случае перейти в наступление против этого правительства защиты и низвергнуть его. Из тех, кому не удалось войти в сделку с комиссией, иные уже теперь артачились и отказывались платить, бросая вызов фиску: попробуй-ка, дескать, нас изловить. Рассказывали следующий анекдот о спекулянте Колло, по слухам нажившем огромное состояние на поставке мяса в итальянскую армию. С него потребовали непомерно высокую сумму. Он предложил пятьдесят тысяч франков. Департамент не принял. Тогда поставщик объявил: “Не хотите? Ну так ничего не по-

⁴⁰⁶ Sciout, IV, 536.

лучите. Честь имею кланяться!”⁴⁰⁷ Два месяца спустя, этот самый Колло является главным союзником бонапартистов, оплачивающим устроенный ими *coup d'état*.

Но, кроме поставщиков, имелись еще банкирские фирмы; среди них были солидные и серьезные; имена их глав уже пользовались известным весом и значением в коммерческом мире, как, например, Перрего, Малэ, Севенн, Сабатье, Давилье и др. Еще недавно эти люди наглядно доказали свой патриотизм, назначенный министром финансов Роберт Линдэ не нашел ни копейки в государственной кассе, и деньги ему доводилось видеть только во сне;⁴⁰⁸ он обратился за помощью к парижским банкирам. С похвальным усердием, ободренные уверенностью в том, что новый министр – честный человек, эти капиталисты согласились выпустить изрядное количество облигаций, гарантированных их коллективной подписью, облегчив таким образом операции государственного казначейства, обеспечившие на время содержание половины государственных учреждений.⁴⁰⁹ При введении прогрессивного налога комиссия обошлась с ними весьма сурово, тем более, что оказанной министерству финансов помощью они как бы сами выдали себя, обнаружив размеры своего состояния. Такой способ расплачивать-

⁴⁰⁷ “Gazette de France”, 9 фрюктидора.

⁴⁰⁸ “Письма Роберта Линдэ” от 25 фрюктидора. Montier, 372.

⁴⁰⁹ “Mémoires de Gohier”, I, 79–80; Stourm, Les Finances du Consulat, 137–139.

ся за услуги естественно привел их в негодование. Положим, что кредит и запасные капиталы этих фирм позволяли им без краха выдержать рискованный финансовый эксперимент якобинцев; наиболее известный из них Перрего, первый подал пример добросовестной уплаты налога; но речи банкиров после брюмера доказывают, что рана и к тому времени еще не зажила. На одном собрании у консула Бонапарта банкир Жермэн, от имени целой группы капиталистов, заклеил “этот несчастный режим, убивший всякое доверие, режим, при котором именно те, кто выдвинулся вперед своей щедростью, подверглись наиболее строгим взысканиям, причем посредством комбинации, столь же неполитичной, сколько и предательской, размеры их предполагаемого состояния исчислялись пропорционально усилиям, приложенным ими ради пользы отечества”.⁴¹⁰

В итоге, поддержка капиталистов была отныне обеспечена первому, кто возьмется низвергнуть хищнический режим. Когда Бонапарт вернулся из Египта, капиталисты встретили его, как избавителя, поставщики сразу бросились к нему еще накануне брюмера; а на другой день пришли и более робкие банкиры: вслед за шальными деньгами, деньги осторожные, благоразумные. Банкиры торговались, давали и придерживали, но все же доставили кое-какие фонды и устроили син-

⁴¹⁰ **Протокол заседания негоциантов и банкиров, созданных на совещание к консулу Бонапарту 3-го фримера VIII года. Национальная библиотека, 43388.**

дикат, с целью помочь Бонапарту стать во главе правления.

Принудительный заем больше терроризировал и ожесточил крупных капиталистов, чем действительно урезал их капиталы. Настоящими жертвами нового закона были люди среднего и малого достатка.⁴¹¹

На них обрушился всей своей тяжестью; вдобавок им пришлось испытать на себе его отраженное и весьма жестокое действие и в другом отношении. Крупная промышленность ограничила производство, и купцы могли приобретать товары лишь по чудовищно высокой цене; а так как, с другой стороны, сократилось и потребление, товары эти не находили сбыта; результатом были банкротства; разорявшиеся разоряли своих кредиторов. После 18-го брюмера “Moniteur” констатирует особенное ликование купечества; это понятно, ибо купечество жестоко страдало при умирающей директории.

В тот же период и мелкие фабриканты, изготовлявшие предметы роскоши, или просто удобства, свела на нет свое производство, так как заказы почти прекратились; один мебельщик из предместья Антуан говорил: “Меня освободили

⁴¹¹ “Le Surveillant” пишет 15-го вандемьера: “Небольшое количество денег, поступивших в казну от принудительного займа, есть результат, умеренного обложения небольших состояний. Крайне высокая таксировка, так называемых колоссальных состояний, ничего не дала. Искусство обложения заключается не в том, чтобы много брать с небольшого количества крупных капиталистов, но в умеренном обложении всех людей с известным достатком”.

от 6 фр. принудительного взноса и заставили потерять 60 франков, распугав моих клиентов”.⁴¹² Приказчики, рассчитанные своими хозяевами, очутились на мостовой, вместе с толпами фабричных рабочих, также уволенных с заводов и фабрик, за отсутствием заказов. Бедствие становилось общим; закон думал посадить богачей на диету, а вместо того лишил заработка бедняков.

Все города, где еще уцелели остатки промышленности, все центры производства, казалось, вымерли. В Лилле оставшиеся без куска хлеба рабочие требовали, чтоб их взяли в солдаты и отправили за границу.⁴¹³ В Труа (Troyes) расклеена была на заборах афиша с протестом против принудительного займа.⁴¹⁴ В Лионе, городе большой инициативы и практического чутья, наблюдается в высшей степени замечательное явление: рабочий приходит на помощь капиталу для того, чтобы этот последний мог по-прежнему пользоваться его рабочей силой и давать ему заработок.

“Все наши сограждане, – пишут из Лиона от 2-го вандемьера,⁴¹⁵ – интересы которых затронуты принудительным займом в сто миллионов, объединились, выделив из себя нечто вроде распределительной комиссии. Они устроились так, чтобы без ущерба интересам республики ни одна котип-

⁴¹² “L'Espiegle” 14-го вандемьера.

⁴¹³ “Publiciste” 15-го термидора.

⁴¹⁴ Военный архив, общая переписка, 19-го термидора.

⁴¹⁵ Корреспонденции во всех парижских газетах.

ровка не превышала суммы в 2000 фр., и деньги по этой образцовой раскладке были внесены немедленно. Значительное количество граждан, не вошедших в список государственных кредиторов, добровольно решили своими скромными средствами помочь общему делу; в числе этих достойных граждан – масса рабочих, по большей части оставшихся без работы. Нельзя было смотреть без слез на этих бедняков, отцов семейства, приносивших свои деньги в общую кассу со словами: “Мы готовы лучше поголодать несколько дней, чем видеть, как из-за этого займа закроют наши фабрики и мастерские”. Этот героизм уже дал самые благодетельные результаты. В Лионе снова открылось несколько фабрик. Уверяют, что многие торговые города усвоили себе ту же спасительную систему, в том числе Бордо. Если бы все департаменты последовали этому прекрасному примеру, нечего было бы опасаться несправедливостей произвола, как бы освященного учреждением раскладочной комиссии, да и сама раскладка вышла бы менее накладной для населения, и деньги были бы скорее уплачены”.

Таким образом, закон, направленный специально против известного класса лиц, лишь отчасти затронул его и в то же время косвенно задел все другие. И в своих расчетах на безотлагательный приток денег в государственное казначейство власти ошиблись. Администрация пустила в ход весь свой запас понудительных мер – судебное преследование, описи и отсуждение имуществ, личные аресты за долги, – но все на-

прасно она не могла, по выражению одной газеты,⁴¹⁶ мобилизовать целую армию солдат для постоя, построить огромные склады для секвестрованного имущества, раздвинуть стены тюрем, чтобы упрятать туда всех уклоняющихся от уплаты налога. И деньги не являлись, оставались невидимыми, скрытыми, зарытыми; они вливались в государственное казначейство не широким потоком, но мелкими струйками, и то с великим трудом. За два месяца комиссия успела довести раскладку всего до шестидесяти одного миллиона, которые, по всей вероятности, будут урезаны ревизионной комиссией до пятидесяти; на деле же, из всей суммы к этому времени было внесено не более 6–7 миллионов, и то, большею частью, обесцененными бумагами.

Но это был еще не конец; неспособных законодателей ждали новые огорчения. Нужда в народе сразу обострилась, и потому ранее установленные налоги, нормальные контрибуции давали еще меньше прежнего; новый налог платили неохотно, других не платили вовсе. По официальному подсчету, за три последних месяца VII года поступления в казначейство уменьшились на треть против соответствующего периода минувшего года.⁴¹⁷ Казна мало выиграла на этой операции, а потеряла много; в итоге, введение прогрессивного налога дало чистый убыток. И ради такого-то резуль-

⁴¹⁶ “Le Surveillant” 9-го термидора.

⁴¹⁷ Доклад Крезе-Латуша в совете пятисот, 3-го брюмера. Sciout IV, 529; Stourm. “Finances de l’ancien régime et de la Révolution”, II, 385.

тата финансисты, заседавшие в советах, совершенно подорвали последние остатки экономической жизни во Франции, восстановили против себя все интересы, обострили общую ненависть и нанесли огромный ущерб режиму.

III

Закон о прогрессивном налоге обрекал регулярной стрижке имущество частных лиц, бил их по карману, – бил и по бирже; закон о заложниках грозил личной безопасности граждан вообще и во многих отношениях уничтожил относительные гарантии этой безопасности.

Закон этот не вдруг народился в мозгу революционеров; он был логическим и жестоким последствием укоренившейся вражды между сторонниками революции, извлекавшими из нее выгоду, и ее противниками, – вражды, делившей весь французский народ на два неприятельских лагеря и постоянно их сталкивавшей. Первые победили вторых, но не подчинили их; во многих местностях им приходилось жить на своих позициях, как на биваках, как в завоеванной стране, среди беспрестанно тревоживших их врагов, среди шуанов, ежеминутно готовых подстрелить из-за угла, среди населения, нередко сочувствовавшего бандам. Они роковым образом должны были прийти к худшему, что может позволить себе иностранная армия на захваченной территории, к высшему беззаконию – системе косвенной и коллективной ответственности, похищению ни в чем не повинных именитых граждан, которые должны отвечать за всех. Закон 10-го вандемьера VI года о денежной ответственности коммун в случае беспорядков был первым шагом на этом пути. В некото-

рых департаментах власти давно уже усвоили себе обычай брать заложников с целью заинтересовать все население в подавлении волнений и хвастались этим способом, находя его превосходным. Законодательный корпус законом 24-го мессидора VII года только обобщил этот метод, внося в него рафинированную жестокость, что было уже излишней роскошью.

Советским указом были объявлены департаменты, в которых вводилось положение усиленной охраны вследствие начавшихся беспорядков. Закон разрешил местным властям во всех этих департаментах в случаях угрожающих волнений выбирать заложников – из родственников эмигрантов, их друзей и присных, из бывших (*ci-devant*) аристократов, за некоторыми исключениями, из родственников по восходящей линии лиц, заведомо участвовавших в сходках или принадлежащих к составу банд. Выбранные заложники обязаны были в течение десяти дней явиться для взятия их под стражу под страхом, что в противном случае с ними поступят, как с эмигрантами, иными словами, под страхом смертной казни. За каждое убийство или похищение чиновника, покупателя национальных имуществ, защитника отечества, или же отца, матери, жены или детей вышеуказанных лиц, четверо заложников должны были поплатиться ссылкой, не считая крупной денежной пени. Кроме того, заложники отвечали своим имуществом за грабежи и потравы, учиненные бандами. Куча добавочных постановлений довершала жесто-

кость этого закона, который как бы имел целью дать половине Франции изведать, и притом в преувеличенном виде, все прелести военной оккупации. В продолжение термидора постановлено было применить этот закон к двенадцати департаментам запада, на всем их протяжении, или в отдельных пунктах, и затем распространить его на некоторые местности юга. Многие департаменты уже испытали на себе его прелесть, все ждали того же, и в результате получилось вместо устрашения ожесточение. Растяжимость закона позволяла властям утолять свою личную ненависть, изобретая новые вины и безмерно расширяя круг нравственного соучастия с инсургентами, создавая повсюду ^категории, группы подозрительных личностей, готовые охапки кандидатов на эшафот, в случае, если бы террористам удалось снова воздвигнуть его. Умудренные опытом люди предпочитали погибнуть в борьбе, отомстить, чем дать тащить себя на бойню; никто не хотел подражать аристократам 93 года, которые стремились скорее красиво умереть, чем избегнуть смерти.; Возникли союзы защиты, лиги мести.

В департаменте Жиронды образовалось общество под именем **Союза друзей порядка и мира**. В своем манифесте учредители общества не признавали себя роялистами, хотя в сущности были ими. Они уверяли, что не примыкают ни к какому политическому знамени”, что они желают лишь оберечь себя от последствий “жесточкого безумия” (atrose frénésie). “Или перестаньте учить правам человека едва на-

чавших лепетать детей, или сознайтесь, что никогда еще не было более справедливо и уместно вспомнить об этих правах”.⁴¹⁸ Устав общества предписывал мстить каждому чиновнику, который попыбует применить закон о заложниках, насилием над его личностью, семьей, имуществом; словом, поступать по закону возмездия. Общество быстро разрасталось; члены его считались тысячами; приезжали друзья из соседних департаментов, главным образом из Шаранты.

На западе здравомыслящие люди сразу поняли, что закон дает результаты, как раз обратные желаемым, и увеличит ряд активных представителей оппозиции. Республиканские солдаты, сами это чувствовали и, не стесняясь, говорили на улицах Анжера: “Нация создала новых десять тысяч шуанов”.⁴¹⁹ Сам Фушэ признавал, что этот закон – опасное обоюдоострое орудие, способное ранить и того, кто пустит его в ход, выражал желание, чтоб его применяли осторожно, и боялся последствий.⁴²⁰ Действительно, города и местечки вмиг избавились от изрядного количества жителей, миролюбивых по натуре, или уставших бороться; чувствуя, что им не миновать участи заложников, они предпочли заблаговременно скрыться, присоединились к бандам, разбойничавшим на большой дороге, или же помогали им советом и делом. Шуаны, с своей стороны, начали хватать заложников,

⁴¹⁸ “Gazette de France”, 16-го термидора.

⁴¹⁹ Ibid., 3-го фрюктидора.

⁴²⁰ Общий отчет за вандемьер.

учиняя над ними кровавую расправу. Общее восстание на западе все еще не началось; ждали срока, назначенного вождями; закон о заложниках мог только обострить его, превращая простых недовольных в мятежников, придавая им смелость отчаяния.

Вокруг очага шуанства смута уже растет, зараза распространяется. В департаменте Эндры и Луары огромная шайка держит в страхе селения. В Шартре власти уже подумывают о том, не пора ли перекочевать в более безопасное место. Через Сентонж, где все уже кипит и бурлит, через Гасконь шуанство пытается соединиться с уцелевшими партизанами южного восстания и подбодрить их. Правда, в пиренейской области, после победы тулузцев, перевес снова на стороне патриотов; они снова появились в большом количестве, не боятся показываться; иные удивляются, откуда их столько взялось. “Смею вас уверить, республиканцев больше, чем думают”, — довольно наивно пишет один администратор.⁴²¹ Тем не менее спокойствие, водворившееся в Арьеже, Оде, Эро, — очень непрочное. Дальше, на всем протяжении Устьев Роны, Воклюза, Приморских Альп, эпидемия разбоев усилилась вдвое, и почти во всех департаментах участились отдельные случаи разбоя, ибо закон о призыве рекрутов всех разрядов, умножая до бесконечности число ослушников, значительно усиливал состав банд.

Закон этот был третьим по счету из новых орудий пыт-

⁴²¹ Военный архив, общая переписка, 23-го фрюктидора.

ки, терзавших Францию. Применение его на практике наталкивалось на неслыханные затруднения. В тысячах коммун новобранцы отказывались явиться на призыв, сидели дома или прятались. А когда на дом к их родителям являлись жандармы для водворения постоя, их встречали камнями, выпроваживали кулаками. А послушных рекрутов, без сопротивления дававших себя отвести в главный город департамента, помещали в полуразвалившихся сараях, заменявших казармы, нездоровых, лишенных самых необходимых предметов обихода, и это обостряло недовольство новобранцев. Как только их отправляли в путь, начиналось дезертирство; колонны быстро таяли. Многие беглецы шли на вольную жизнь, присоединялись к разбойникам, рыцарям большой дороги, грабителям дилижансов, шофферам, беглым каторжникам, беглым рекрутам от прежних наборов, преступникам и просто отпаянным удальцам; где уже имелись вооруженные банды, там они разрастались; где их не было – появлялись.

На севере вся Бельгия восстала против увеличения налога крови. И по прежним наборам за нею числилась недоимка по крайней мере в 60 000 человек; так, например, департамент Мезы, из 1,125 призванных новобранцев, дал только 100; Урта представила 300 человек из 674; Самбра-и-Меза 296 из 813; Жеммап 429 из 2 310.⁴²² Больше половины молодежи сбежало, а от новой меры сбегут и остальные, с тем,

⁴²² Военный архив; общая переписка, 24 термидора.

чтобы впоследствии хлынуть в страну ожесточенными разбойничьими бандами.

Для всех представителей власти было очевидно, что в Бельгии этот закон неприменим, что он может только сделать партизанскую войну повсеместной, обострить сепаратистское движение в народе и ускорить предвиденный и грозный момент общего восстания, тем более теперь, когда наступление англо-русских войск на Голландию возвратило надежду всем недовольным. Уже в мессидоре генерал, командующий 25-й дивизией, жалуется, что заграничные эмиссары и священники “ловят беглых рекрутов, составляют шайки из наиболее отважных, превращают их в разбойников, в шофферов и натравливают их на отдельные селения; рубят там деревья свободы, отнимают оружие, обижают или даже убивают полевых стражников, жандармов, военных, правительственных комиссаров и покупателей национальных имуществ. Власти они держат в страхе.... Вызванные на место беспорядков войска, по прибытии, никого уже не находят... Применение закона о призыве новобранцев всех пяти разрядов непременно вызовет восстание. Подставные рекруты больше не принимаются; богатым и влиятельным обывателям придется самим отбывать воинскую повинность, а они ни за что не пойдут против Австрии, в которой видят уже владычицу страны; они скорее будут подбивать других на бунт и дадут убить себя дома, или эмигрируют, чем станут в ряды республиканских батальонов... Весьма значительная

часть жителей страны терпеть не может республиканского правительства, отнявшего у нее священников, и примет, как друга, любую державу, которая избавит ее от французов”.⁴²³

Области, офранцузенные еще монархией, старые границы французских Арденн, Мец и весь прилежащий край, Лоррен, Эльзас продолжают поставлять солдат, служа неисчерпаемым источником новых сил; и там, как везде, наблюдаются случаи уклонения от отбывания воинской повинности, но реже, чем в других местах. Однако же, и в департаменты, до сих пор бывшие на хорошем счету и ставившиеся в пример другим, начинает проникать смута. В Арденнах часть контингента рекрутов отказывается явиться на призыв.

Описав большой круг около Парижа, на пространстве этого района, состоящего из департаментов Обы, Эны, Уазы, Сены-и-Уазы, Соммы и Па-де-Калэ, мы видим случаи неповиновения властям и опустошений. Национальная гвардия в департаменте Соммы проявляет такой вредный дух, что ее приходится обезоружить. Нормандия не входит в число департаментов, избавленных от конскрипции указами, вышедшими еще до замирения, и там пытаются применить новый закон; но это оказывается более, чем невозможным – крайне опасным; пытаясь на вербовать бойцов для республики, вербуют их для шуанов. В Орне “дух в народе такой, что рекруты не только отказываются идти на зов отечества, но и посту-

⁴²³ *Ibid.*, 28 мессидора.

пают в королевские банды”.⁴²⁴ Администрация Орны убеждена, что “момент объявления набора с целью формирования вспомогательных батальонов будет для многих рекрутов юга (этого департамента) сигналом к переходу на сторону шуанов... Непокорные священники и контрреволюционеры успели убедить их, что на границе их все равно ждет только смерть. И все повторяют в один голос: “Коли уж умирать, так лучше пусть меня здесь убьют, чем тащиться за смерть” в такую даль!”.⁴²⁵ В Эре-и-Луаре рекруты идут охотнее. В Луарэ, Шере, Йонне наблюдаются тревожные симптомы, хотя тамошние жители в общем верны республике, или, по крайней мере, послушны. В Дижоне злонамеренные люди подбивают вспомогательный батальон кричать: “Да здравствует король, к черту республику!” Большинство молодых солдат, однако, не слушаются и кричат: “Да здравствует республика!”.⁴²⁶ В окрестностях Бона за упорствующими охотится жандармерия. В Сене-и-Луаре за ними отправляют в погоню летучий отряд, но солдаты отказываются идти.⁴²⁷

По мере того, как мы проходим долину Луары и спускаемся в долину Роны, симптомы принимают все более угрожающий характер. “Число дезертиров в Верхней Луаре так ве-

⁴²⁴ Отчет общей полиции за вандемьер VIII года у Aulard, “Etat de la France en l’an VIII et en l’an IX” p. 51.

⁴²⁵ Выдержки из отчета у Chassin, III, 332–333.

⁴²⁶ Общая переписка, 22 термидора.

⁴²⁷ Отчет общей полиции за вандемьер Aulard “Etat de la France”, 22.

лико, что их нужно считать тысячами. Центральная администрация не видит возможности с помощью находящихся в ее распоряжении войск задержать хотя бы пятую часть их; пойманные беглецы через несколько дней дезертируют снова”. Горные кряжи Пюи-де-Дом и Кантале⁴²⁸ кишат беглецами. В Коррезе, “в день, назначенный для выступления вспомогательных батальонов, пятьдесят человек дезертируют, унося свое оружие; другие совершают убийство”.⁴²⁹ Лозера в полном брожении. “В главном городе целое скопище новобранцев; они не хотят расходиться и угрожают комиссару, который советует им отправиться на свой пост”.⁴³⁰

В Арденне и Провансе все свидетельства подтверждают, что беглыми рекрутами и новобранцами безостановочно пополняются банды, останавливающие почту и гонцов. В Эро (Herault) мы видим организованное дезертирство; по всем дорогам шныряют эмиссары, подстрекающие к бегству только что внесенных в списки молодых солдат. Администрация департамента извещает, что ей удалось собрать и отправить около девятисот рекрутов и 100 новобранцев из 1403, но вопрос, сколько их дойдет до места назначения: “на пути от Сен-Понса до Нима множество королевских эмиссаров, которые их подговаривают бежать; если законодательный корпус не изыщет мер к подавлению дезертирства, состав армий

⁴²⁸ **Ibid., 26.**

⁴²⁹ **Ibid., 21–22.**

⁴³⁰ **Ibid., 30.**

не только не пополнится от постановлений закона 14-го мес-сидора, но, наоборот, настолько уменьшится вследствие дезертирства, что они не в состоянии будут отразить неприятеля”. В заключение власти советуют закон отменить.⁴³¹ В Тарне некоторые кантоны отказались поставлять рекрутов, в Кастре, наоборот, было несколько случаев добровольного поступления на военную службу. Из Верхней Гаронны рекруты бегут в Испанию; один путешественник встречает их на границе целыми бандами человек в пятьсот.⁴³² В Дордони “уклоняющиеся от отбывания воинской повинности беглые рекруты и дезертиры имеют свою организацию, делятся на батальоны; у них есть вожди, оружие и достаточное количество пороху, поставляемое заводами в Бержерাকে.⁴³³ Комиссар департамента Ло-и-Гаронны пишет: “О разбоях у нас больше не слышно, зато нас извещают, что в стране появилось несколько банд дезертиров, вооруженных боевыми или охотничьими ружьями и совсем безоружных; банды невелики – человек десять, пятнадцать, двадцать; они идут, по-видимому, в направлении Ланд, идут больше ночью”.⁴³⁴ По гасконским ландам бродит немало таких же ослушников закона; есть они и в долинах Арьежа и в коссах Тарна, и на изви-

⁴³¹ Общая переписка, 6 термидора.

⁴³² *Ibid.*, 6 термидора, письмо министра иностранных дел к послу республики в Испании.

⁴³³ Отчет общей полиции за вандемьер, Aulard, 32.

⁴³⁴ Отчет министра общей полиции за брюмер, Aulard, тот же том, стр. 70.

листых лесных тропинках Лимузена, и в суровом Руэрге, и на островах Роны, в Альпах, и их отрогах (Alpilles); тысячи их поглощает Лион, который является обширным приемником для всевозможных элементов смут.

Власти повсюду менее, чем когда-либо, чувствуют себя в безопасности; во многих коммунах они сами сознаются, что существование их висит на волоске, в зависимости от каждого движения мятежников, каждого народного волнения, которого можно ждать ежеминутно, каждой дурной вести из-за границы; они надоедают правительству своими жалобами, требуют денег, требуют войск, ничего не получают и сумасшествуют. Даже там, где машина еще как будто действует, в администрации царит полная неурядица; к службе относятся спустя рукава; чиновники, переутомленные, не получающие жалованья, чтобы не голодать, воруют; все винты и колеса расшатаны; все ползет врозь. Фушэ, стоя в центре, откуда ему видна картина, замечает симптомы “общественной дезорганизации”.

Без сомнения, бедствия, приведшие к подобному результату, начались не со вчерашнего дня; десять лет они тяготели над Францией, периодически то обостряясь, то сравнительно затихая; теперь, под влиянием двух имеющих связь между собой причин – вновь грозящей опасности извне и накопления гнетущих законов – их разрушительная сила возросла, тем более, что сила сопротивления и жизнеспособность страны, наоборот, ослабели, что она упала духом, что все

уже, кажется, было испробовано, все средства пущены в ход – и напрасно: цель не достигнута. Революция пережила более ужасные, более кровавые эпохи, но никогда еще ей не доводилось видеть такого глубокого упадка общественного дела и мнения. Чтобы найти что-либо подобное тогдашнему состоянию целых областей Франции, пришлось бы идти далеко или окунуться в далекое прошлое. Несколько позже мамелюк из Джедды, привыкший к восточной анархии, высадившись в Провансе, чувствует, что он как будто снова попал на родину; он видит во Франции “бедуинов”,⁴³⁵ т. е. кочевников, которые бродят шайками и грабят проезжих, видит чиновников, которые отправляются собирать налоги во главе вооруженного отряда и взимают дань мечом, подобно турецким пашам или мароккским султанам. Революция довела Францию до того, что она уподобилась восточным империям. Порожденная безмерной надеждой обновления, овеянная вначале великим дыханием идеала, в данный момент революция, постоянно попирая на практике свои основные принципы, являет пример возвращения к варварству и грубейшего регресса; новое начало в ней едва проглядывает сквозь уродство противоречий, бесчинств и преступлений.

⁴³⁵ “Mémoires de Roustam” (“Revue retrospective”, t. VIII, 1888).

ГЛАВА V. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ПОБЕДЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ БОНАПАРТА

Состояние умов; призывает ли Франция Цезаря? – Прострация народа. – Безучастность других классов общества. – Успехи роялизма. – Крестьяне и Бонапарт. – Внешняя опасность надвигается. – Якобинцы снова переходят в наступление. – Сийэс и его друзья вырабатывают план переворота – Роль Люсьена. – Париж в конце лета. – Первый бюллетень победы. – Берген. – Цюрих. – Полезное волнение. – Суворов в Швейцарии. – Париж трепещет. – Бонапарт напоминает о себе бюллетенем о битве под Абукиром. – Три победы сразу. – Ряд толчков оживляет настроение общества; решительный удар. – Первый слух о высадке Бонапарта. – От Фрежюса до Лиона. – Сийэс, Моро и Боден Арденнский. – Париж днем 22 вандемьера. – Овация черни. – Правительство, советы, партия, армии, народная масса. – Как должно толковать прием, оказанный Бонапарту. – Революция я мир.

I

Среди этого убожества, неурядицы и общего смятения что же думает, куда идет Франция? Правители, дискредитированные в мнении народа, депутаты, чиновники, члены якобинских комитетов, возвращенные из ссылки эмигранты, вандейские и нормандские шуаны, бретонские удалыцы, шофферы юга, бунтующие рекруты и новобранцы, сколько бы их ни было, ведь это еще не вся Франция; в конце концов это лишь ничтожная часть ее. Огромное большинство населения состоит из тех, кто хотел бы только жить и работать, кто страдает от этой неурядицы, не способствуя ей. Среди этих миллионов замечается ли какое-нибудь сложившееся настроение, определенное стремление к принципу порядка и власти? Имеется ли состояние умов, благоприятное появлению Цезаря? Можно ли сказать, что Франция обдуманно ищет человека, спасителя, повелителя, Бога, дело которого деспотически усмирить ее и все привести в порядок? Бесспорно, не было еще страны, более созревшей для диктатуры, чем Франция в то время; но все же она шла к этому бессознательно, увлекаемая скорее силою обстоятельств, чем обдуманным соглашением умов, способных хотеть. Зоркие наблюдатели, свидетели, не захваченные вихрем бури, смотревшие на нее сверху и потому видевшие дальше других, давно уже предвещали появление диктатора и, еще не видя

его, видели его тень, поднимающуюся на горизонте. Екатерина II с гениальной прозорливостью предсказала это перед смертью. Еще в 1792 году памфлетист Сюло, поступивший на службу в армию Кондэ, призывал “блистательный и гордый кромвелизм”: “я хладнокровно повторяю, что Бог, покровительства которого я молю для своей партии – это деспот, при условии, что он будет, кроме того и гениальным человеком”.⁴³⁶ В политическом мире каждый вождь партии искал поддержки какого-нибудь генерала, помощи его меча, но намереваясь при этом остаться той рукой, которая будет направлять этот меч, подчиняя военную силу гражданской. В этих резонирующих полуобразованных группах, не чуждых историческим воспоминаниям, все знали, что обезумевшие революции выдвигают, в конце концов, Цезаря или Кромвеля, но с ужасом отталкивают от себя эти ненавистные призраки. Идея о единичном деспоте, вышедшем из массы и на нее опирающемся, по-прежнему была всем омерзительна.

Даже те, кто охотно принял бы деспота, кто, может быть, призывал его, покраснели бы, если бы им пришлось в этом сознаться. 27 фрюктидора Люсьен с трибуны пятисот заговорил о необходимости сплочения и концентрации власти. “Диктатура!” – иронически воскликнул кто-то. И вызванный призрак диктатуры привел совет в такое негодование, что Люсьену пришлось объясняться, кричать гром-

⁴³⁶ Дневник Сюло, выдержки Goncourt в его книге “La Société française sous le Directoire, 431–432.

че других, возмущаясь против всякого намека на диктатуру, чтобы покрыть этот единодушный протест.⁴³⁷ Пустые слова, трескучие фразы – скажут нам; пусть так, но революции не понять, если не принимать в расчет необычайной власти, которую имели в то время над людьми слова и формулы. В глубине народных масс, не читавших истории, большинство не знало, кто такие были Цезарь и Кромвель. Однако мысль возложить на одного человека заботу о благе всех была присуща нашему латинскому уму; восемь веков монархии на римский образец привили ее нам, но при этом приспособив ее в интересах известного класса; идея возможности найти вне этого класса деспота-преобразователя жила в народе, но в очень смутном виде; то был инстинкт, не выработавшийся в доктрину, но превращенный в страсть. Обратитесь к бесчисленным свидетельствам, к отчетам чиновников, полиции, гражданских и военных агентов, описывавших тогдашнее состояние умов. Ни в одном мы не находим отголоска, крика, так часто раздававшегося впоследствии: “Человека! нам нужен человек!” т. е. вождь, не обязательно окруженный престижем наследственной власти, но гражданин, вышедший из массы, достаточно сильный, чтобы возвыситься над нею, сплотить ее и стать ее господином.

Причина проста. Дух цезаризма был привит Франции уже впоследствии Бонапартом – консулом и императором, трагическим великолепием его царствования, его владычеством

⁴³⁷ См отчет о заседании Publiciste'a.

над духом века. Цезаризм – это прибежите дней великого смятения, это страшное лекарство, которое спасает и убивает в одно и то же время – это наследство Бонапарта. Он так глубоко впрыснул нам это лекарство, что нация пропиталась им до мозга костей, и действие его сказывается время от времени еще и теперь, век спустя, к выгоде его наследников или подражателей. Ряд поколений жил и живет под обаянием воспоминания о нем; из глубины своей могилы он продолжает воздвигать цезарей. До его восшествия на престол в 1799 г. многим французам трудно было представить себе возвращение к порядку, какой-либо иной форме, кроме восстановления монархии. В этом согласны все свидетели. Бунтовщики и смутьяны, и те, кто не хочет идти на войну, и женщины, которые хотят, наперекор жандармам, устроить процессию, – все они кричат: “*Да здравствует король!*”, кричат ради оппозиции, если не по убеждению. Из отвращения к настоящему призывают прошлое. Дайте Франции республику, приспособленную к ее потребностям, уважающую ее уцелевшие, старые традиции и отвечающую ее новым стремлениям, глубоко проникнутым теперь идеей равенства, Франция восторженно примет ее; “но имя республики дали учреждению, мероприятиям, людям; которые ей ненавистны. Противоположность республике – королевская власть; директорию может прогнать только король – так дайте же нам короля...”⁴³⁸

⁴³⁸ La Fayette, V, 107–108.

Притом же в народе многие путем естественного суждения связывают идею королевской власти с идеей мира, прекращения войны, с монархической Европой. Республика все завоевала, кроме мира; теперь она понемножку все теряла, и с нею уже не видно было конца этому тягостному и изнурительному усилию, от которого умирала Франция. Король – это все же выход; мало-помалу общество примирялось с этой идеей.

В некоторых местностях говорили: “Скоро всему конец – у нас будет король; так стоит ли отправлять рекрутов”.⁴³⁹ В Йонне, Аллье рекруты отказываются выступать, крича: “Да здравствует король!”.⁴⁴⁰ Тот же крик слышится в Шалоне, когда бунтуют вспомогательные батальоны.⁴⁴¹ На юге солдаты говорят: “Мы не можем больше обойтись без короля”.⁴⁴² Из Тараскона сообщают, что “среди охотников 13 полка накануне дня, соответствующего празднику св. Людовика, слышались подстрекательства к мятежу”.⁴⁴³ В самом Париже контрреволюция понемногу делает успехи в предместьях; еще в мессидоре в предместье Монсо циркулировал адрес французов принцу Кондэ. “Некоторые рабочие в кабачках на Бен-

⁴³⁹ Военный архив, общая переписка.

⁴⁴⁰ Отчет общей полиции за вандемьер VIII года Aulard.

⁴⁴¹ Ibid., 24.

⁴⁴² Военный архив и общая переписка, 13 термидора.

⁴⁴³ Publiciste 16 фрюктидора. Этот факт подтверждается в административными отчетами.

вильской дороге ждут упразднения всех республиканских учреждений; да и в других местах торговцы шепотом сообщают друг другу, что в день св. Людовика король опять взойдет на трон, и вот тогда-то они заторгуют”. Даже среди военных, в группах драгунов и стрелков, напивающихся в загородных кабаках в десятые дни, слышны контрреволюционные речи, а на парижских улицах продавщицы цветов кричат: “Кто хочет пять букетов за один луи”.⁴⁴⁴

Директория заметила опасность; 17 фрюктидора она выпускает прокламацию, направленную исключительно против опасности, грозящей справа. Обращаясь к низменным чувствам, эксплуатируя страх, она твердит, что все французы, в какой бы то ни было степени причастные революции, солидарны между собой, что всем им, в случае наступления реакции, грозят те же притеснения, то же мщение; для характеристики этих грядущих бедствий она находит страшные слова, резкие, яркие краски, и настойчивость ее речей показывает, как велик ее страх.

Следует ли заключить из этого, что во Франции большинство было в то время роялистским? Продлись анархия, царившая при директории, и победы иностранцев над нашими войсками, – возможно, что большая половина французов сделалась бы роялистами, хотя, конечно, снова превратились

⁴⁴⁴ Т. е. заменить пятерых членов директории одним королем Людовиком. (Донесения генерального штаба, 9 и 10 фрюктидора. Национальный архив А-Ф, III, 168.)

бы в ярых революционеров, опять изведав крайности королевской власти. В конце VII года Франция, по всей вероятности, примирилась бы с королевской властью, но, конечно, не поднялась бы всенародно ради ее восстановления.

За исключением меньшинства, немногих, особенно ярых групп, даже у роялистов по призванию и по тенденции преобладает личный эгоизм; дух же предприимчивости и самопожертвования отсутствует; по словам республиканского генерала, командовавшего гарнизоном Гавра, “партия оппозиции не даст и трех франков за реакцию”.⁴⁴⁵ В Париже, если бы кто вздумал прибегнуть к мерам насилия, “на сто тысяч доброжелателей” он не нашел бы и “шести сотрудников”⁴⁴⁶ (Народ безучастен и находится в полной прострации. Застой умов, все возрастающее безволие, исчезновение гражданских чувств, охлаждение к общественному делу, равнодушие к участи республиканских учреждений, беззаботность, апатия – вот слова, беспрестанно повторяющиеся как неизменная и монотонная жалоба в отчетах агентов. Масса идет вслед за событиями, не пытаясь больше принимать в них деятельного участия; не способная хотеть и даже надеяться, впавшая в какое-то тупоумие, она ни с какой стороны и ни от кого больше не ждет спасения. Было, однако, необыкновенное существо, сверкающим метеором пронесшееся в пространстве, поражая и приковывая воображение, на миг

⁴⁴⁵ Военный архив, общая переписка 16-го мессидора.

⁴⁴⁶ La Fayette, V, 101.

наполнившее огромную пустыню, в которую превратилась французская мысль. То был человек; он исчез, но память о нем осталась. Во всей стране непоколебима одна только репутация, действительно из ряда вон выходящая, колоссальная, несравненная – репутация Бонапарта. Отчеты о его победах еще висят на стенах всех коммун. Его имя повторяют в самых скромных хижинах самых глухих деревень. Его знают, главным образом, как великого полководца, но смутно чувствуют, что все пошло бы лучше, если бы вернулся этот человек. Почему его нет? Писатель Фьевэ, уединенно живший в окрестностях Реймса, нередко беседовал с крестьянами. “Все спрашивали его, что слышно нового о генерале Бонапарте и почему он не возвращается во Францию; о директории никто никогда не спрашивал”.⁴⁴⁷

Внешний враг все приближался. В Голландии англо-русская армия наступала, отодвигая наши войска к границе; часть ее, отклонившись от операционной линии, шла на север, через узенькую провинцию, лежащую между Зюйдерзее и морем, приближалась к Амстердаму. У Рейна французы перешли было в наступление, но потерпели неудачу. Армия эрц-герцога Карла поднималась по реке правым берегом; взяла Мангейм, французское укрепление, прикрывавшее мост по ту сторону Рейна, и угрожала Майнцу.

В Италии австрийцы Меласа, сражаясь с нашей лигурийской армией, в то же время начинали оказывать давление на

⁴⁴⁷ “Correspondance de Fiévée”. Введение CLXI.

департамент Морских Альп, наводненный мятежниками и барбетами.⁴⁴⁸ Несколько выше они производили разведки и рекогносцировки в альпийских проходах.

И все же наше положение было бы непоправимо скомпрометировано только в том случае, если бы республиканцы потеряли Швейцарию, этот массив вершин и ледников, втиснутый между Германией и Италией, этот выдавшийся вперед бастион, этот огромный плац-парад, откуда наши солдаты всегда могли бы парализовать грозящее им с двух сторон нападение, беспокоя неприятеля с флангов. Союзники, в конце концов, почувствовали это. После многих спорных пререканий, они решили предпринять в Швейцарии что-нибудь крупное. Тридцать тысяч русских Корсакова, двадцать пять тысяч австрийцев Гоца и Елачича должны были прижать Массену между Цюрихом и Люцерном; Суворов же, поднимавшийся от Милана к северу с двадцатью тысячами человек – обойти нашу армию через Альпы и напасть на нее с тыла. Если б ему удалось поставить Массену между двух огней, раздавить его и соединиться с Корсаковым и Гоцем, ничто уже не остановило бы его победоносного шествия; вступив в Люцерн, он на другой день был бы в Базеле, на третий – на пороге Эльзаса и через Бельфортскую пробоину, эту щель в наших границах, проник бы в Франкшконтэ, где роялистская партия была многочисленна, хорошо организована и нетерпеливо ждала его.

⁴⁴⁸ Барбетами называли протестантов, живших в этой местности.

Наши пограничные департаменты чувствовали опасность. Эльзас, Дофинэ, Прованс начинали бояться. Суворов и русские страшно действовали на народное воображение; их представляли себе гигантами-варварами, непобедимыми, неотразимыми, великим резервом юга, обрушившимся на Францию. Наши крестьяне понимали, что вторжение иноземцев было бы для них страшным бедствием; но где взять необходимых доверия и пылкости, чтобы отразить его? Местами проявлялись остатки энергии;⁴⁴⁹ но нигде не замечалось общего движения, ни следа того душевного подъема, который в 1792 и 1793 годах сделал Францию, восставшую на иноземца, великой и страшной. А, между тем, в душе французского народа таился глубокий запас жизненных сил, сокровища скрытой энергии; но эти силы дремали, не направляемые, не управляемые, под гнетом унижающего, опозоренного режима. Классы, некогда богатые или зажиточные, страдая под этим ненавистным гнетом, ждали иноземца, быть может, призывали его; в Марселе женщины ввели в моду уборы а la Суворов, ленты и шляпки а la Шарлотт, в честь эрцгерцога Карла;⁴⁵⁰ в совете пятисот один оратор, с трибуны обличал марсельцев, которые обучались русскому

⁴⁴⁹ В своем отчете об общем положении республики, от 12 вандемьера, Фушэ говорит о крестьянах Верхних Альп "При первом известии о приближении врага они вооружились по собственному почину, с твердой решимостью побороть его".

⁴⁵⁰ Военный архив, общая переписка, письмо марсельского комиссара, от 14 термидора.

языку, чтобы удобнее беседовать с своими избавителями.

В Париже, вдали от врага, больше всего боялись, как бы вторжение его в наши пределы не вызвало усиления внутренней опасности, возврата страшных дней. Побежденные 27-го и 28-го фрюктидора, т. е. якобинцы, были отнюдь не уничтожены и не мирились со своим поражением. Изгнанные из Манежа анархисты предместья по-прежнему разъярились при мысли о вооруженной попытке. Носились слухи, что они обратились с воззванием к своим союзникам в департаментах и намеревались поставить на ноги всю партию.

Хотя городскую заставу запрещено было переходить без паспорта, в город ухитрялись проникать какие-то подозрительные личности с зловещими лицами. Их встречали под вечер; они бродили по улицам, как уверяли, сходясь для тайных совещаний, узнавая друг друга по условным знакам и паролям; у них имелись свои таинственные обряды. “Это было нечто вроде масонских лож”.⁴⁵¹ Париж каждый вечер, засыпая, дрожал при мысли, что утром его, быть может, ждет ошеломляющий сюрприз – избиение заключенных в тюрьмах или нашествие варваров.⁴⁵²

“Директора в своем люксембургском дворце пребывали в состоянии взаимного недоверия; они видели, что машина

⁴⁵¹ “Le Surveillant”, 21 вандемьера.

⁴⁵² Какие ужасные проекты зрели в некоторых умах, видно из признаков, сделанных Норвэну, в то время содержавшемуся в тюрьме Силы (Force), неким Метжем (Metge), с которым мы еще свидимся при Консульстве.

вся испортилась, и не смели сознаться в этом”.⁴⁵³ Политический и парламентский мир по-прежнему кишел интригами; ежеминутно в нем завязывались тайные ковы, подпольные заговоры, сталкивались, перепутывались, рвались и распадались. Вчерашний план сегодня признавался никуда не годным; “Влиятельные люди меняют свои решения по два, по три раза в течение одной декады”.⁴⁵⁴ Иной раз, кажется, вот-вот наступит развязка; в путанице сверкнет блестящий клинок, обрисуетя энергический профиль генерала; затем видение расплывается, и снова все покрыто мраком. Слабодушие, соперничество низших, измены – вот что мешало каждому плану быть доведенным до конца и привести к чему-нибудь; люди и партии тратили время на бессильные попытки.

В совете пятисот по временам брали верх якобинские депутаты; они до известной степени отплатили Сийэсу и умеренным за свою неудачу в фрюктидоре. А так как ярые республиканцы не могли отрешиться от мысли, что Сийэс исподтишка ведет с иноземцем переговоры о мире, который принудит Францию вернуться к своим прежним границам и принять короля, контрабандой ввезенного из-за границы, якобинцы заставили совет пятисот вотировать следующую резолюцию: “объявляются изменниками отечества и будут казнены смертью всякие посредники, генералы, министры,

⁴⁵³ Cambacères, “Eclaircissements inédits”.

⁴⁵⁴ La Fayette, 124.

директора, народные представители или какие бы то ни было французские граждане, которые осмелятся принять или же предложить и поддерживать условия мира, клонящиеся к изменению или к отмене в целом или отчасти Французской Республики”.⁴⁵⁵ Угроза была направлена главным образом против Сийэса. Старейшины, когда пришел их черед утвердить постановление, стали возражать, указывая на невозможность для правительства вести переговоры, если ему будет воспрещена уступка даже небольшого клочка территории; они затягивали прения и, в конце концов, вероятно, отклонили бы предложение. Якобинские депутаты, чувствуя свое бессилие добиться полного господства на парламентской арене, снова вошли в соглашение с своими союзниками из низших классов и мечтали о насильственном перевороте.

С своей стороны, Сийэс и его друзья по-прежнему обдумывали свой план переворота, откладывая на неопределенное время его осуществление, совещались, напрасно искали средства, искали человека. Они, наконец, выработали план, предполагавший соучастие и даже инициативу старейшин.⁴⁵⁶ Этот самый план был осуществлен в брюмере. Все в нем было предусмотрено, кроме имени генерала, которому следовало поручить его выполнение. Позондировали Макдональд-

⁴⁵⁵ Заседание 6-го дополнительного дня VII-го года, “Moniteur”.

⁴⁵⁶ Lucien Bonaparte “Révolution de Brumaire”, 14–19.

да, но он отказался.⁴⁵⁷ Ждали Моро, но особенно на него не рассчитывали. Произошло нечто важное:⁴⁵⁸ Люсьен Бонапарт близко сошелся с Сийэсом и присоединился к заговору. Он принимал участие в совещаниях и усердно работал на пользу своего патрона, не оставляя, однако, своих личных тайных замыслов и не желая быть только картой в игре Сийэса. Он готов был стать союзником, но его недисциплинированная натура никогда не позволяла ему подчиниться. О Баррасе, напротив, говорили, что он опять якшается с темными личностями и потворствует проискам якобинцев.⁴⁵⁹

Фуше ополчился на печать, карая поочередно и те газеты, которые отстаивали якобинцев, и те, которые их ругали; не было декады, когда бы полиция не закрыла незаконно какой-либо газеты и не опечатала станков; тогда газета перекочевывала в другую типографию и появлялась под другим названием, повторяя те же нападки; порой название лишь слегка изменялось; так, например: *Друг Законов Пульсье* преобразился в *Газету Пульсье, друг законов*. Журнал: *Газета Свободных людей* переживала уже третье превращение и называлась теперь просто *Газета Людей*; редакция и содержание остались те же, только в заглавии одним словом меньше. Правительство, таким образом, вызывало ненависть к себе своим произволом, но не достигало цели: ему не уда-

⁴⁵⁷ “Souvenirs du maréchal Macdonald”, 114, La Fayette, V, 124.

⁴⁵⁸ “Mémoires de Lucien” I, 388 – 89.

⁴⁵⁹ “La Fayette, V, 124.

валось убедить Париж в своем могуществе; успокоить его, оживить хоть немного.

Париж без настоящей роскоши, без собственных экипажей, без деловых оборотов умирал от истощения и тревоги. В средних, более или менее мыслящих классах наблюдалась какая-то истома, перемежающаяся конвульсивными встрясками, время от времени нарушаемая оцепенением, что так продолжаться не может, и бессилием что-либо предпринять. Уличных беспорядков не было, но группы рабочих не у дел, тоскливых и угрюмых, по целым дням толкались у ворот Мартина. Разносчики газет надрывались, выкрикивая сенсационные новости, хотя закон разрешал выкрикивать только названия газет, не упоминая о содержании. Полиция напрасно охотилась за ними: “почти невозможно установить нарушение закона свидетельскими показаниями, так как свидетели разбегаются или отказываются подписать протокол.”⁴⁶⁰

В театрах, в больших кафе тон задают роялисты. В Тюльерийском саду всегда толпа гуляющих, которые не знают, куда деваться от скуки и для развлечения переливают из пустого в порожнее; сплетники перебегают от одной группы к другой и, сами ничего не зная, предсказывают в ближайшем будущем контрреволюцию или террор; за отсутствием точных данных, воображение разыгрывается вовсю. Порой на перекрестке столкнешься с индивидуумом, который открыто

⁴⁶⁰ Отчет центрального бюро за вандемьер VI 1-го года. Национальный архив AF IV. Aulard “Paris pendant la réaction termidorienne, etc., V, 767.

пророчес­т­вует вос­ста­но­в­ле­ние ко­ро­лев­ской вла­сти; его арес­туют и от­пра­вят в ссы­лку; во­об­ще са­мо­убий­ства, пре­ступ­ле­ния, арес­ты ви­дишь в боль­шом ко­личес­т­ве; во­круг дво­рца Э­га­литэ и дру­гих пуб­лич­ных мест по­ми­нут­но ры­щут по­ли­ция и жан­дар­мы, под­сте­ре­гая ослуш­ни­ков за­ко­на, а в двух ша­гах от­туда, едва стем­неет, ули­цей за­вла­де­ва­ют гра­би­те­ли и мо­шен­ни­ки. Од­на­ко мес­та­ми эти ули­цы, пло­хо ос­ве­щен­ные и небезо­пас­ные для про­хо­жих, ожив­ля­ют зву­ки му­зы­ки, ве­селе ритур­нели, при­зы­ва­ю­щие к тан­цам; яр­ко ос­ве­щен­ные пор­ти­ки, ил­лю­ми­ни­ро­ван­ные раз­но­цвет­ны­ми ста­кан­чи­ка­ми. Вре­мя от вре­мени раз­да­ю­тся тя­желые ша­ги па­т­ру­лей, они пе­рек­ли­ка­ю­тся ме­жду со­бой; в воз­ду­хе звучит: *слу­шай, бе-ре-гись!* от­ря­ды ли­ней­ных сол­дат на­ци­о­наль­ной гвар­дии встре­ча­ю­тся, оста­нав­ли­ва­ют безобид­ных про­хо­жих, за­став­ля­ют их предъ­яв­лять свои ох­ра­ни­тель­ные гра­моты, но не тро­га­ют воров и ули­чных жен­щин, оста­вля­ют без над­зора при­то­ны ве­селя и раз­гу­ла; Париж ночью – это не­что сред­нее ме­жду го­ро­дом на осад­ном по­ло­же­нии и за­ло­й пуб­лич­ного ба­ла.⁴⁶¹

Париж про­дол­жал ве­сти ту же жизнь, ко­торой он жил с тер­ми­дора, пол­ную шум­ных об­щедос­туп­ных раз­вле­че­ний. Те­атр оста­вал­ся по­треб­но­стью для па­ри­жан; чтобы уй­ти от дей­стви­тель­ности, они ис­кали при­бе­жи­ща в фик­ции. Обанк-

⁴⁶¹ Смотри парижские газеты, отчеты центрального бюро, изданные Schmidt т. III и полицейские донесения, хранящиеся в Национальном архиве AF IV.

ротившаяся опера закрылась, но уже готовилась комбинация, благодаря которой она должна была с блеском возродиться из пепла. Другие театры привлекали больше зрителей, чем могли вместить, кишели плохо одетой и шумливой публикой. К услугам парижан было множество развлечений, новые пьесы, с успехом шедшие водевили, Франкони с его цирком, модные гулянья, выставки картин, открытие салона живописи в Лувре, обыкновенно приходящееся на фрюктидор;⁴⁶² иногда даже парадные обеды в министерствах, церемониальные визиты, прием послов у Барраса в его замке Гробуа. Не прекращались и революционные праздники, хотя каждый раз возникало опасение, как бы праздник не послужил поводом к беспорядкам. 18 фрюктидора не решились даже устроить примерной маленькой войны, войска маневрировали на Марсовом поле с заряженными ружьями и пушками.⁴⁶³ Собирались праздновать 1-ое вандемьера, день республиканского нового года, но официальная часть этих торжеств “теперь уже никого не привлекает на Марсово поле, кроме лиц, участвующих в программе”.⁴⁶⁴

В летних развлечениях парижане также не терпели недостатка: никогда они еще не были так многочисленны, разно-

⁴⁶² **Весь Париж ходил на эту выставку, проверять эпизод ст. le Ланж, которую Жиродэ изобразил в виде Данаи, осыпанной золотым дождем; это была месть за то, что она не позволила ему написать свой портрет.**

⁴⁶³ **Brinkman 324–325.**

⁴⁶⁴ **Schmidt, “Tableaux de la Révolution”, III, 426.**

образны и блестящи, как при директории. Тиволи иллюминировал свои боскеты, придумывал все новые и новые развлечения; “пиротехнические пантомимы”, спуски аэростатов, прогулки на воздушном шаре, полеты “воздушного флота”; Марбеф и Бирон усердно конкурировали с ним. Марбеф на миг привлек внимание всего Парижа шарлатанством одного изобретателя, который уверял, что он может летать по воздуху при помощи особых приборов. Публика шла смотреть на эти зрелища по привычке и от нечего делать, но увлечения не выказывала. “Все здесь имеет печальный вид; зрелища и собрания, как прежде, многочисленны, и публики, как прежде, много, но веселье и беспечность, отличавшиеся прежде парижан, исчезли без следа”, – пишет госпожа Рейнар, которую муж по приезде из-за границы, несмотря на свое звание министра, повел для развлечения в Тиволи и к Фраскати.⁴⁶⁵ Вечером в Елисейских Полях, блистающих тысячью огней, под гром оркестров гуляет толпа народа; женщины, разодетые, расфранченные, полунагие, под легкой дымкой светлой кисеи, усевшись тесными рядами вдоль большой аллеи, наблюдают за движением экипажей. Женщины из буржуазии ходят в Тиволи с обнаженными руками и шеей, не думая о вечерней сырости, простужаются и умирают через несколько дней.⁴⁶⁶ При этой распушенности мод

⁴⁶⁵ “Lettres de madame Reinhard” 86; Triébault, “Mémoires”, III, 27–28.

⁴⁶⁶ См. Publicists за 20 фрюктидора, случай, рассказанный врачом Ангран, чтобы отучить женщин от нелепой страсти появляться чуть не го-

и нравов и душевной неуравновешенности все усилия развлечься и забыться оказывались недостаточными, – веселье не заглушало чувства омерзения в обществе, которому все надоело и опротивело, до него самого включительно. К тому же ежеминутно шел дождь, портя все приготовления к празднику, смывая краски декораций, (прибавляя еще больше уныния в общее настроение, и без того не веселое. В это дождливое лето 1799 года, перемежающееся градами и жестокими ливнями, когда стихали уличные волнения и якобинская агитация, весь город погружался в какое-то мрачное оцепенение.

II

Париж отвык от вестей о победах. Однако 1-го вандемьера, в годовщину республики, он был обрадован блестящим военным подвигом: в Голландии Брюн, атакованный англо-русскими войсками близ Бергена, дал им яростный отпор и заставил отступить с большим уроном. Успех этот однако не был решителен: армия герцогства Йоркского, хоть и сильно пострадавшая, держалась стойко, прикрытая своими окопами и плотинами, и даже победоносному Брюну предстояло через несколько дней отступить, очистив Алькмаер, и увести свои войска на другую позицию поближе к Амстердаму.

Все чувствовали, что решительный бой должен разыгаться в Швейцарии. Что же делал Массена, с полученными им подкреплениями, с многочисленной армией? Почему он не решил оттеснить Корсакова и Гоца, прежде чем Суворов обойдет его через Готард и прижмет с тылу? Напрасно Бернадот подбодрял и подстрекал его. Директора, в конце концов, решили уволить его в отставку, не оглашая этого сразу. Как вдруг 7-го вандемьера с театра войны прибыл гонец с известием о вторичном взятии Цюриха и выигранном сражении, — на этот раз настоящем большом сражении, крупной победе, одной из самых славных и плодотворных в истории наших войн. Французские войска, переправившись через Лиммат, отбросили русских и заперли их в городе, так

что тем с большим трудом удалось спасти свою пехоту, кавалерия же, артиллерия и обоз были потеряны.

12000 врагов были убиты и взяты в плен; кроме того, были захвачены все знамена, 150 орудий, весь боевой материал; для армии Корсакова это был настоящий погром. В тот же день был убит Гоц, и войска его в беспорядке отступили, теснимые Сультом (Sault).

Впечатление было довольно сильное. Давно уже Париж не испытывал такого благотворного волнения. Когда в совете пятисот официально объявили это известие, залы и трибуны огласились радостными кликами, а музыка заиграла “знаменитый мотив Карманьолы”.⁴⁶⁷ Искренним друзьям революции будущее казалось теперь несколько менее мрачным, к ним отчасти вернулась надежда: так, значит, это правда, республика еще может быть спасена своими военными доблестями, неустрашимостью своих солдат и талантами своих полководцев.

Победа Массены как бы разрушила злые чары и порвала цепь неудач; в следующие дни приходили все приятные известия, одно за другим; со всех сторон горизонт прояснялся. В Швейцарии Суворов вышел из Сен-Готарда, но тут встретил наши войска, которым теперь уже нечего было бояться со стороны Цюриха. С трудом оттеснив Лекурба, он столкнулся с Молитором; то были битвы великанов. Суворов должен был соединиться с Елачичем в Швице, но на пути ту-

⁴⁶⁷ Monteur, заседание 7-го вандемьера.

да стоит Массена; точно так же закрыт путь в Глариц, а на Люцернском озере нет австрийских судов, чтобы переправить на другой берег его войска. Обманутый в своих ожиданиях, со всех сторон задерживаемый и гонимый, он блуждает теперь в хаосе гор, в трудном бою с грозной природой. Париж издали с замиранием сердца следит за всеми подробностями этой агонии. По телеграфу передаются неполные, неточные сведения, вызывающие, однако, тревожные надежды; нередко сообщение прерывается под влиянием атмосферических измерений. В газетах напечатан обрывок депеши, приписываемый Массене: “он защищается, как дог, но я держу его крепко”. Сегодня сообщают о гибели Суворова, завтра опровергают это известие. Факт тот, что Суворов ведет отчаянную борьбу и, в конце концов, пробивается; он находит убежище в Куаре, но приводит туда лишь 6000 человек из 24000, лишь остатки армии, и Гельвеция все же является могилой его славы.

Победа под Бергеном оказывается немаловажной по своим нравственным результатам; стремительность республиканцев в этой стычке смутила русских; особенно пострадали они от наших атак и жалуются, что англичане плохо помогали им. В союзной армии, по-видимому, начался раздор; движение ее замедляется, заметны нерешительность, колебание. А вот и наглядные доказательства, трофеи победы; пять неприятельских знамен, присланных Брюном с одним бригадным Командиром; их торжественно проносят по ули-

цам в Люксембург. На Рейне имперские войска выказывают меньше предприимчивости, не так часто атакуют наши посты; армия эрцгерцога Карла имобилизирована вдоль правого берега. Неприятель везде отступает или останавливается; армия еще раз спасла революцию, спасла ей жизнь, спасла честь; освобождение границ является тем большим облегчением для Парижа, что после него требования крайних партий утратили значительную долю своей силы; нанося с размаху удары русским, австрийцам и англичанам, Массена и Брюн рикошетом разбивали якобинцев.

А победы продолжались. 13-го в совет пятисот вводят гонца от директории. “Победа!”—кричат при виде его, как будто теперь и речи не может быть о чем-либо ином. Принесенная им весть, действительно, способна удивить и увлечь народное воображение.

Секретарь вскрывает пакет и громко читает: “Исполнительная директория препровождает вам копию депеши, только что полученной, от генерала Бонапарта...” Гром рукоплесканий прерывает чтеца, он продолжает; собрание не ошиблось: это на самом деле Бонапарт снова выступает на сцену, напоминая о себе, как всегда своеобразным бюллетенем. Вернувшись в Египет, со своими войсками, он опрокинул восемнадцатитысячную турецкую армию, высадившуюся на Абукирском полуострове, куда она была доставлена на английских судах, и произвел страшное избиение. Злополучное имя Абукир, роковое для французского флота, благода-

ря ему, теперь звучит победой; в письме, написанном уже два месяца тому назад и привезенном судном “Озирис”, проскользнувшим мимо неприятельских флотов, он, в свою очередь, сулит богатую жатву отвоеванных знамен. “Да здравствует республика!” – кричат депутаты, вскакивая с мест и размахивая своими тогами; музыка играет “Caira”; на трибунах рукоплещут, и все дивятся неожиданной улыбке фортуны. Суворов прижат к стене где-то в Альпийских ущельях, и Бонапарт словно воскрес из мертвых.⁴⁶⁸

18-го – новый театральный эффект; около двух часов в Париже раздаются пушечные выстрелы, в нескольких местах одновременно, и эти залпы повергают в трепет волнения парижан.⁴⁶⁹ Что еще случилось? Это возвещают новые три победы зараз.

Вслед за первой депешей Бонапарт шлет вторую, извещая, что форт Абукир снова взят французами, и на Египетском берегу не осталось ни одного вооруженного турка. С другой стороны, официально подтверждается отступление Суворова в область Гризон. И, наконец, Брюн, снова атакованный англо-русскими войсками, разбил их наголову под Гастрикумом, захватив одиннадцать орудий и тысячу пятьсот пленных.

Победа на севере, на юге, на востоке; всюду и везде только

⁴⁶⁸ Отчет в *Moniteur*.

⁴⁶⁹ См. парижские газеты. Письмо г-жи Делессер к Рейбазу, от 11-го октября 1799 г., сообщенное Жоржем Бертен.

победы.

Советы в энтузиазме особым декретом благодарят гельветическую, восточную и батавскую армии за их заслуги перед отечеством. Ораторы совета пятисот не находят достаточно патетических слов для прославления наших храбрцев. “Какая счастливая перемена! – восклицают газеты, – какой блестящий конец кампании!”⁴⁷⁰ Они полны отчетов, обстоятельных реляций, подробностей битв, примеров героизма, напоминающих золотые времена освободительных войн: после битвы под Бергеном командир русского экспедиционного корпуса, генерал Гессе, взятый в плен одним из наших гренадеров, предлагал этому последнему крупную сумму за свое освобождение. “Я сражаюсь не ради денег, ответил француз, но ради славы”, и ни за что не хотел, чтобы его произвели в офицеры. “Сняв с себя саблю, я снова возьмусь за плуг”.⁴⁷¹ В Швейцарии число трофеев победы все растет и растет; размеры австро-русской катастрофы оказываются крупнее, чем думали вначале; теперь, говорят, уже тридцать тысяч солдат выведены из строя; через Базель проводили целые колонны русских пленных, “и они вовсе не смотрят людоедами”.⁴⁷² Проводили и пленных гренадеров, в шапках “с изогнутыми металлическими бляхами спереди”, и красавцев белых гусар, и казаков с длинными бородами до пояса. В Га-

⁴⁷⁰ **Le Surveillant**, 22 вандемьера; **Le Publiciste**, от того же числа.

⁴⁷¹ **Moniteur**, 15 вандемьера.

⁴⁷² **Le Publiciste**, 15 вандемьера.

стрикуме наша атака решила победу; армия Йоркского, увязшая в болотах и зыбучих песках, обессиленная лихорадками, капитулирует с условием, чтоб ей позволили сесть на суда и вернуться домой. На Рейне генерал Нэй рядом жарких стычек освободил майнские апроши.⁴⁷³ И с каждым из этих бюллетеней Париж понемногу просыпался от своей спячки, страхивал с себя равнодушие. Париж волнуется, ликует, возрождается для высоких чувств. И, наконец, – словно судьба рассчитано приберегала самый лучший эффект, – ряд чудесных вестей завершается самой необычайной, самой неожиданной вестью, не менее тяжким ударом для коалиции, чем потеря еще трех сражений:⁴⁷⁴ Бонапарт во Франции.

17 вандемьера – 9 октября, он высадился в Сан-Рафаэле, близ Фрежюса; не дождавшись призыва директории, он уже сорок семь дней тому назад покинул Египет на фрегате “Мюирон”, в Аяччио столкнулся с английским флотом, крейсировавшим вдоль берегов Прованса, и чудесным образом ускользнул от него. С ним были двое ученых и пять генералов: Монж, Бертолле, Бертье, Ланн, Мюрат, Мармон, Андреосси, отряд мамелюков и проводники. Прибрежные жители, чтобы скорее увидеть его, кинулись ему навстречу и как бы взяли, на abordаж его судно, дав ему таким образом предлог избавиться от карантина. И вот он на пути в Париж, он идет, приближается, подымая повсюду бурю восторгов и

⁴⁷³ **граншеи**

⁴⁷⁴ **Moniteur, 23.**

рукоплесканий. Об этом уже говорят в Париже вечером 21-го вандемьера; весть о близости Бонапарта циркулирует, как слух, в общественных местах, вызывает сенсацию в театрах; иные верят ей, другие нет, но все в несказанном волнении.

Странная сцена разыгралась в это время в Люксембурге. Сийэс у себя в кабинете ждал Моро, только утром прибывшего из Италии. Захватив Моро тотчас по приезде, пока он не успел еще осмотреться, Сийэс рассчитывал победить его колебания и уговорить его стать во главе переворота. В это время ему принесли извещение о высадке в Фрежюсе победителя Египта; он ждал Моро – дождался Бонапарта.

Он послал за Бодэном Арденнским, членом совета старейшин, одним из его интимных друзей и поверенных. Ярый патриот и убежденный республиканец, Бодэн верил в необходимость героических средств для спасения республики и преобразования государства; он был посвящен в планы Сийэса и ревностно содействовал их осуществлению. В кабинет директора он вошел одновременно с Моро. Сийэс сообщил обоим великую новость. Лицо Бодэна выразило растерянность, удивление, безумную радость; он был, видимо, глубоко потрясен; в его глазах это был нежданно возвратившийся преобразователь республики, человек, с которым дело спасения отечества не может не увенчаться успехом. Он слышал, как Моро сказал Сийэсу: “Вот тот, кто вам нужен; он вам устроит переворот гораздо лучше меня!”.⁴⁷⁵ Бодэн вы-

⁴⁷⁵ **Moniteur**, 23.

шел, опьянев, почти одурев от радости, и помчался к своим поделиться счастливой вестью. На другой день утром, поднявшись с постели,⁴⁷⁶ он вдруг свалился на пол и умер; разнесся слух, что он умер от радости. Мгновенно весть о чудесном возвращении из слуха стала фактом и разнеслась по всему городу, теперь уже все верили, и энтузиазм был колоссальный.

Теперь, когда границы вне опасности, директория уже недовольна, что Бонапарт опередил ее приказ, и извещает совет о его приезде в *post-scriptum*'е отношения, где говорится главным образом о Гастрикуме и о наших успехах в Голландии. Вслед за курьерами, привезшими это извещение во Дворец Бурбонов, в залу Совета врывается толпа граждан и военных.⁴⁷⁷ Отношение, довольно длинное, выслушано молча. Наконец, докладчик переходит к путаному заключению: “Директория имеет удовольствие сообщить вам, граждане представители, что получены также известия о египетской армии. Генерал Бертъе, высадившийся 17-го сего месяца во Фрежюсе вместе с главнокомандующим Генералом Бонапартом (его прерывают крики: “Да Здравствует республика!” все собрание, как один человек, встает), и генералы Ланн, Мармон, Мюрат и Андреосси, граждане Монж и Бертолле, сообщают, что они оставили французскую армию в состоянии вполне удовлетворительном”. И тут публика при-

⁴⁷⁶ По частным сведениям, сохранившимся в семейных преданиях.

⁴⁷⁷ Цитируем текст отчета в *Moniteur* от 23 вандемьера.

ходит в неистовый восторг, которому вторят приветственными кликами депутаты.

Собрание не в состоянии больше обсуждать текущие дела: оно задыхается от волнения. Несколько ораторов и, главным образом, Брио, никогда не упускающий случая поговорить, начинают патриотические дифирамбы; но когда депутат Труазеф, в свою очередь, пытается угостить публику речью, его уже не слушают; голос его теряется в общем шуме; Гарро требует, чтобы отложили заседание; требование его исполняется при криках “Да здравствует республика!” и под звуки “любимых песен свободы”.⁴⁷⁸

Весь Париж на ногах и в движении. Генерал Тьебо, рассказывая впечатления этого дня, говорит, что в садах Пале-Рояля толпилось множество народа; поминутно образовывались группы вокруг какого-нибудь знающего человека, которого слушали, затаив дыхание; а затем слушавшие кидались врассыпную распространять новость дальше. Кто-то крикнул ему на бегу: “Генерал Бонапарт высадился в Фрежюсе!”⁴⁷⁹ И всюду, куда ни шел Тьебо, он видел те же приливы и отливы толпы, читал на лицах встречных ту же новость. По улицам расхаживали оркестры гарнизонных полков, в знак общей радости угощая публику трескучим музыкальным кавардаком. Их провожала все выраставшая толпа народу, маршировавшая вслед за солдатами, стараясь ид-

⁴⁷⁸ *Moniteur*, 23 вандемьера.

⁴⁷⁹ “Мемуары Тьебо”, III.

ти в ногу, по-военному; впереди выступали маленькие республиканские барабанщики, совсем еще дети. На бульваре опять другое зрелище: Между двух шпалер солдат идет колонна русских пленных. Париж видит их впервые. Их ведут в Рюэльские казармы кружным путем, по бульвару и через Елисейские поля.⁴⁸⁰ Народ добродушно толпится возле них, угощает их лакомствами, с удовольствием разглядывает эти живые трофеи; сегодня все как будто соединилось для того, чтобы бодрить и веселить, наполняя душу радостным восторгом. Вечером во всех театрах о возвращении Бонапарта возвещают со сцены; в ответ раздаются крики, “браво!”, аплодисменты, бешеный топот; “даже в харчевнях пьют за его возвращение; в честь его поют песни на улицах”.⁴⁸¹ Все волнуются, радуются; никто не может ни говорить, ни ни о чем другом; у многих влажные глаза; рука невольно тянется навстречу другой руке; это наплыв чувств, напоминающий первые дни революции, общий сердечный порыв, расцвет душ. Утром в тот день Беранже, тогда еще очень юный, ничего не зная о происходящем, зашел в читальню; там сидело человек тридцать; разнеслась новость, и все читавшие невольно вскочили с места с криком радости.⁴⁸²

Эта радость, это волнение передаются во все концы Франции. Опьяненному Югу, встрепенувшемуся Парижу вторят

⁴⁸⁰ Газеты за 23-е вандемьера “Письма г-жи Рейнар”.

⁴⁸¹ Publiciste, за 25-е.

⁴⁸² “Моя биография” Беранже.

главные города провинции импровизированными празднествами в честь и вчерашних побед, и великого события, сулящего новые победы. За исключением Запада, поглощенного своими распрями, вся Франция на миг как бы слилась в одно целое; одно имя, одна надежда снова объединила нацию.

В чем же истинный смысл этого необычайного движения? Наплыв ли цезаризма, пробившийся наружу, неотразимый и грозный все увлечь за собою? Приглядевшись ближе, окунувшись в атмосферу эпохи, разобравшись в ее страстях и нуждах, начинаешь думать, что этот национальный порыв метил и дальше, и выше. Грозившая опасность рассеялась, но ведь война продолжалась. Враг был лишь отодвинут, но не покорен. Возвратившийся был великим полководцем; уже много веков мир не видал такого завоевателя. Конечно, в наших армиях не было недостатка в предприимчивых и умелых вождах. Массена недавно только одержал блестящую победу. Сульт выиграл сражение, Брюн целых два, но Бонапарт выиграл их двадцать, сто! А главное, он имел успех там, где никто до него не пытал даже счастья; он одержал столько побед, что мог окончить войну, навязав нашему главному врагу на континенте мирный договор, продиктованный почти в виду Вены, мир, являвшийся как бы прелюдией к общему замирению. Леобен и Кампо-Формио возвеличили его не меньше, чем Аркола и Риволи. Если он вернулся теперь, то лишь для того, чтобы закончить свое дело, недостойно

испорченное другими, чтобы исправить ошибки и упрочить успехи; он один, кажется, способен довести до конца свою победоносную миссию и завершить ее естественным финалом: миром.

А народ прекрасно понимал, что главный источник гнетущих его зол – затянувшаяся война. Она вызвала закон о заложниках и прогрессивный налог; она послужила поводом якобинцам снова поднять свое ненавистное знамя; она поощряет к заговорам и восстаниям роялистов; она, проклятая, умножает наборы, отбирает у крестьянина лошадь и сына, бросает в леса и горы тысячи беглых рекрутов, присоединяющихся к разбойничьим бандам, чтобы сообща мучить Францию. Вот уже девять лет революция осложняется внешним кризисом, увеличивающим ее бедствия и отягчающим злодеяния. По мнению народа, покончить с революцией можно, только прекратив войну;⁴⁸³ Бонапарт кажется ему человеком, пригодным для выполнения такой задачи; французы ждут от него, и в ближайшем будущем, именно того благодеяния, которого он не в силах им дать; он воитель по натуре, – его приветствуют, по выражению одной газеты, как

⁴⁸³ Письма г-жи Рейнар после поездки из Тулона в Париж. – “Как бы я желала, чтобы все министры слышали крик, несшийся из всех уст на протяжении всего нашего пути от Марселя до Парижа! Мастеровые, крестьяне, узнав, на какой высокий пост назначен Шарль (Рейнар), все восклицали: “Дайте нам мир, гражданин министр! Скажите, что нам нужен мир!” Это слово было у всех на устах, и оно до сих пор звучит в моем сердце”.

“предтечу мира”.⁴⁸⁴

Без сомнения, партии всполошились, видя, что теперь над ними есть старшой и судья; для них Бонапарт – это нежданно появившийся властелин; благодаря появлению на сцене этого нового фактора, полного неожиданностей, приходится переделывать заново все комбинации; политики в тревоге; их муравейник разметан одним ударом. Но для народной массы внутренний вопрос остается на втором плане, ибо решение его зависит от того, как разрешится внешний, а этому Бонапарт Италийский, Бонапарт Египетский несомненно даст великое и славное разрешение. Журдан справедливо пишет: “Проницательные люди предвидели, что он не замедлит завладеть властью”, но тут же добавляет: “Народ видел в нем лишь неизменно победоносного генерала, предназначенного восстановить честь оружия республики”⁴⁸⁵ и затем дать ей возможность насладиться победоносным отдыхом. Вот почему народ больше радуется его возвращению в вандемьере, чем будет радоваться в брюмере захвату им власти. Нация уверяет ему не столько управление, сколько начальство, готова примириться даже с тем, что гражданская власть станет только атрибутом военной. Нужен прежде всего меч, обращенный против иноземца, покровитель и защит-

⁴⁸⁴ Publiciste от 23-го. В донесениях генерального штаба, повествующих о впечатлении, произведенном нашими победами и возвращением Бонапарта, говорится: “Все предполагали, что это будет иметь самые благодетельные для республики результаты, предвестники всеобщего мира”.

⁴⁸⁵ Отчет от 18 брюмера.

ник, непогрешимый и несокрушимый, под охраной которого можно будет наконец отбросить страх и ожить; вот каков смысл грандиозной народной овации, устроенной Бонапарту.

Если крестьяне Нижних Альп толпами бегут по ночам, провожать его с факелами, оберегая его от разбойников; если города, через которые лежит его путь, устраивают в честь его иллюминации; если весь Лион радостно поднимается ему навстречу; если народ танцует на улицах, кружась в вихре пляски, и кричит “виват” под окнами гостиницы, где он остановился;⁴⁸⁶ если в честь его оказывается необходимым наскоро сочинить и поставить у Целестинцев пьесу, где актеры невнятно бормочут или читают по книжке свои роли, которых они не успели выучить; если народный поток подхватывает его карету и как будто несет ее; если достаточно слуха о его приближении, чтобы на протяжении десяти миль все города, деревни, отдельные усадьбы, почтовые станции расцвелились флагами, а городские обыватели и поселяне нарядились в национальные кокарды и выстроились на пути трехцветными шпалерами;⁴⁸⁷ если все население юга и юго-востока растерянно теснится и жметя к нему – это оттого, что в нем видят спасение и защиту от иноземца, который стоит невдалеке, за горами, и вот-вот, перейдя через Альпы, хлынет потоком из ущелий и горных проходов, неся с собой про-

⁴⁸⁶ Мемуары Марбо, I.

⁴⁸⁷ Mémoires de Marbot, I, 45.

скрипции и репрессалии. В Фрежюсе, когда жители брали на бордаж корабль Бонапарта и лезли на борт, на все санитарные запреты и угрозы возможностью заразы они отвечали: “Для нас лучше чума, чем австрийцы!”.⁴⁸⁸ Народу, без сомнения, известно, что для того, чтоб окончательно прогнать врага и добиться мира, нужно будет напрячь все силы, но он готов на всякое усилие, раз им будет предводительствовать Бонапарт. К нации как будто сразу вернулись бодрость и энергия; в Невере батальон новобранцев отказывается отправиться по назначению, так как он зачислен в кавалерию, а лошадей нет; тогда новобранцам говорят, что Бонапарт во Франции, и они начинают просить, чтобы их отправили сейчас же, как есть, без лошадей. В Фонтенбло офицеры словно ожили; прежней вялости, уныния нет и следа; все поглощены одной мыслью – поднять дух и выправку солдат, привести свою часть в блестящий вид, чтобы показать ему. “Наши офицеры прямо помешались на этом, потому что батальонный командир был лично с ним знаком”.⁴⁸⁹ Таково было возбуждающее влияние этого человека; таковы были скрытые пружины, управлявшие народом. Желание, готовность налицо; от него ждут, чтобы он собрал всех готовых к бою и во главе их ринулся в Италию, Германию или куда угодно, чтоб нанести решительный удар, а затем пусть делает, что хочет, с Францией. На юге один клубный оратор обратился к нему с

⁴⁸⁸ *Mémoires de Bourienne*, III, 19.

⁴⁸⁹ *Les Cahiers du capitaine Goigne T*, p. 74.

такими словами: “Идите, генерал, разбейте и прогоните врага, а затем мы вас сделаем королем!”⁴⁹⁰

Впрочем, эта речь, против которой Бонапарт протестовал с целомудренным негодованием, не нашла себе отклика. Общее мнение – что он победит в интересах республики и вдохнет в нее новую жизнь. Больше того: его возвращение вернуло симпатии многих французов республиканскому режиму, убедив их, что республика, восторжествовав, благодаря великому человеку, над внешними врагами, может упрочиться и упорядочить свой внутренний строй, облегчить, наконец, народные тяготы и сдержать свои обещания. Этим людям, когда-то верившим в революцию, обманутым ею, жестоко страдающим из-за нее и клянушим ее в лице ее теперешних представителей, показалось на миг, что прежний идеал, потускневший, загрязненный, встал перед ними в новом блеске, воплотившись в одном человеке. Из контрреволюционеров иные, неисправимые фантазеры, тешат себя иллюзией, будто Бонапарт работает на пользу их возлюбленных принцев; более проникательные понимают, что на пути их встало крупное препятствие; они говорят: “Теперь нам долго не развязаться с республикой”,⁴⁹¹ предчувствуют, что этот человек примирит Францию с революцией. Наиболее довольны искренние, убежденные республиканцы, еще не отделяющие

⁴⁹⁰ *Mémoires de dus de Raguse*, II, 51.

⁴⁹¹ Albert Sorel “La Révolution de Brumaire” (*Revue des Deux Mondes* du 1-er janvier 1898).

Бонапарта от республики, какой они ее понимают – неиспорченной, мужественной, гордой. Порыв радости, убивший Бодэна, испытывали и многие другие. Даже в совете пятисот депутаты обеих партий, умеренные и якобинцы, но все революционеры, вначале поддались общему опьянению; 30 вандемьера президентом избран Люсьен. Все отчеты констатируют подъем общественного духа, иными словами, выражаясь официальным языком эпохи, возрождение веры в революцию и судьбы ее. В театре теперь аплодируют патриотическим песням и требуют повторения.⁴⁹²

Армии толкуют возвращение Бонапарта в том же смысле, как и простые граждане – республиканцы; потому-то они и ликуют. Итальянская армия громким продолжительным ура! возвещает радостную новость врагам. В гельветической армии, у истока Рейна, происходит многозначительный диалог между двумя часовыми, французским и австрийским, перекликающимися через реку, с одного берега на другой. – Австриец: “Ну что, француз, приехал-таки ваш король?” – Француз: “У нас нет короля, и мы не хотим его”. Австриец: “Разве Бонапарт не король ваш?” – Француз: “Нет, он наш генерал”. – Австриец: “Ну так будет королем вот увидите. А все-таки он будет молодчина, если даст нам мир”.⁴⁹³ Неотра-

⁴⁹² Полицейские донесения за вандемьер. Национальный архив, А IV, 1329.

⁴⁹³ Письмо бригадного генерала Брюне Сульту, от 10 брюмера. Военный архив дунайской армии, папка за ноябрь 1799 г.

зимый вождь и в то же время судья и примиритель наций – вот каким он является всюду народам, воскрешая в них надежду”.

Казалось бы, победы Масены и Брюна, сделав его возвращение менее необходимым для отечества, должны были ослабить впечатление; наоборот, они его усилили, всколыхнув общество, заставив его выйти из своего оцепенения; они постепенно подняли настроение; они оживили французскую душу, сделали ее вновь чуткой, отзывчивой, готовой воспринять решительный толчок. Эти победы, предвестницы блестящего конца, вовремя рассеяли туман, тяжело нависший над Францией; после них блеснул на небе первый проблеск зари, а теперь встает из волн и самое светило, разливая вокруг себя жизнь, зажигая сердца прежним пылом. Беспрецедентный прием, оказанный Бонапарту, не есть заявление покорности нации, которая сознательно простирается у ног властелина, чтобы потонуть и уничтожиться в нем. Его должно рассматривать скорее, как пробуждение революционного пыла и патриотизма, ибо эти две страсти уже десять лет сливаются в народной душе, вместе угасая и оживая. Франция патриотов и революционеров не звала господина; она знала лишь низких тиранов – перед нею явился вождь. Для народа с этим человеком возвращались дух и счастье революции; больше того – он был залогом и символом воскресения нации.

ГЛАВА VI. БОНАПАРТ В ПАРИЖЕ

Бонапарт идет прямо в Париж через Бурбоннэ; неожиданное и негласное прибытие. – Дом на улице Победы. – Визит правительству. – Возвращение Жозефины; семейный раздор; прощение. – Наплыв посетителей. – Первая забота Бонапарта. – Он изучает настроение общественного мнения и партий. – Упорная борьба крайних партий; восстание на Западе. – Напряжение ослабевает; желание успокоения в публике и у многих людей, частных к политике. – Общественное мнение не требует насильственного переворота. – Каким образом Бонапарт думает осуществить желание нации. – Где он найдет точку опоры. – Бонапартизм правой и бонапартизм левой. – Сийэс, или Баррас. – Причины, побуждавшие Бонапарта вначале сторониться Сийэса; последний отказывается сделать первый шаг. – Инцидент; посредничество Талейрана; обмен визитов. – Завязываются переговоры. – Обед у Барраса. – Соглашение с Сийэсом. – Тактика, принятая по отношению к Баррасу. – Характер договора, заключенного между Бонапартом и главарями пристроившихся революционеров – Острота одного из них – Бонапарт и Институт. – Генерал идеологов, – Вашинг-

тон, или Цезарь.

I

Бонапарт вернулся в твердом намерении покончить с директорией и присвоить себе власть. Увидев, с каким восторгом встречает его народ и услышав призыв масс, он счел бесполезным длить опыт и устремился прямо к центру. Выехав из Лиона, он выбрал кратчайший путь, через Бурбоннэ, и стрелою помчался в Париж. Навстречу ему стремилась Жозефина. Зная все свои прегрешения и дрожа при мысли о свидании с мужем, она все же предпочитала пойти навстречу грозе, чем ждать ее дома; но напрасно она искала генерала на дижонской дороге, напрасно доехала до самого Лиона. Жозеф и Люсьен, более сообразительные, или лучше осведомленные, нагнали его в пути, но не смогли задержать. 24 вандемьера – 16 октября утром, три дня спустя после извещения о высадке в Фрежюсе Бонапарт без шума, без свиты, неслышно проскользнул в Париж и в свой дом на улице Шантерен, два года тому назад переименованной в честь его в улицу Победы. Он вернулся безо всего, гол, как сокол; его вещи, его багаж, следовавший за ним на некотором расстоянии от самого Фрежюса, был захвачен разбойниками под Эксом (Aix).⁴⁹⁴

⁴⁹⁴ Письмо комиссара департамента Устьев Роны от 27 вандемьера: “Все вещи генерала Бонапарта стали добычей королевских бригадентов, уверяющих, будто они имеют патент от принца Карла”. – Национальный

Он вернулся в дом, приютивший после итальянской кампании его странствующую по свету славу; то был небольшой отель во дворе и с садом позади, в только что отстроившемся квартале, веселом от обилия зелени. Он снова увидел полукруглую приемную, расписной салон, в помпейском вкусе, кабинет, выходящий окнами в сад, и самый сад, довольно красивый, уже осыпавшийся, где бледный мрамор античных ваз выделялся на ржавом фоне осенней листвы. Увидел и брачный покой с его экстравагантной и героической обстановкой: барабаны, превращенные в табуреты, альков в виде палатки, кресла с выгнутыми луком спинками сидений и колчанами по бокам, повсюду изысканную, причудливую роскошь, несколько отдающую фальсификацией, смесь художественных произведений и всяких безделок, напоминающих Жозефину, отмеченных ее печатью.

Но была ли у него еще жена? Она искала его на большой дороге, чтобы попытаться оправдать себя в его глазах. Его собственная семья разбрелась в разные стороны, спеша навстречу его удаче; Люсьен и Жозеф, не успев завладеть им на пути, не торопясь, возвращались теперь домой; Луи, его любимый брат, присоединившийся к двум другим, по дороге захворал и остался лежать больной в Отэне. Полина с Леклером были уже на пути из деревни в Париж. Жером был в пансионе, Каролина с Гортензией у м-ме Кампань, Элиза в Марселе. В этом огромном Париже, занятом им одним, где

найти тепло семейного очага? Из всей своей семьи он застал только суровую женщину, которая научила его не доверять судьбе и все время оставалась бесстрастной свидетельницей эпической авантюры, – только свою мать.

Париж узнал о его прибытии на другой день из газет. “Он остановился у себя, на улице Победы, где нашел свою мать, еще не старую женщину лет сорока семи. С ним прибыли Бертъе, Монж и Бертолле; он страшно утомлен”.⁴⁹⁵ Весь день он отдыхал и только на минутку заглянул в Люксембург, к президенту директории, Гойе. А на другой день, как подобает корректному человеку, нанес официальный визит директории в полном составе.

Директория рекомендовала ему вернуться вместе со всей своей армией, это извещение он получил уже в Провансе, – она отнюдь не разрешала ему вернуться одному, без армии, неожиданно ускользнув от врагов, что было настоящим бегством. А он, притом же, ухитрился избежать карантина, что еще усугубляло незаконность его образа действий. Если бы правительство арестовало его и отдало под суд, оно было бы только в своем праве. Недоверчивые республиканцы, нюхом чужавшие узурпатора, завистливые товарищи по оружию, личные враги Бонапарта, советовали поступить именно так, – но кто посмел бы это сделать? Обществу эта вполне законная мера показалась бы святотатством; народ не позволил бы коснуться меча республики; он уже теперь ставил Бо-

⁴⁹⁵ Парижские письма за 25 и 26 вандемьера.

напарта выше законов. Директория покорилась своей участи и добровольно подписалась под отпущением вины, произнесенным нацией.

Она даже устроила открытое заседание для приема возвратившегося любимца народа. Толпа обывателей и солдат, знавших о его приезде, наполнила дворы и залы. Он явился в очень странном костюме, полугражданском, полувоенном и несколько восточного типа: круглой шляпе и зеленоватом сюртуке (редингот) с турецким палашиом, висевшим у пояса на шелковых шнурках. Гвардия отдавала ему честь; старые солдаты плакали; многих он узнавал и жал им руку. Президент Гойе облобызал его от имени всех своих коллег и, немного путаясь в словах, в напыщенной речи поздравил с приездом. Бонапарт объявил, что он никогда не вынет меча из ножен иначе, как на защиту республики и ее правительства. Когда он вышел, за ним ринулась огромная толпа народу; все теснились, чтобы хоть одним глазком взглянуть на него. А между тем этот любимец славы, этот человек, окруженный ореолом славных имен и, казалось, всюду сопровождаемый крылатым роем побед, был несчастлив; жгучая боль терзала его сердце.

Он любил Жозефину пылкой и страстной любовью, затрунувшей в нем все чувствительные струны, пробудившей все силы его духа. Он уезжал в Египет еще влюбленный и ревнуя; в его отсутствие слухи о разгульной жизни Жозефины, о новых скандалах, дополнявших не особенно чистое про-

шлое, доходили и до Египта, жестоко уязвляя Бонапарта среди его триумфов и трудных испытаний. Англичане перехватили его письма с излияниями и часть их напечатали; его несчастье получило огласку. Когда Бонапарт вышел на провансальский берег, ему было уже все известно. Жозеф и Люсьен при первой встрече с братом не щадили его, стремясь устранить враждебное им влияние: они подчеркивали и без того вопиющие факты, приводили доказательства, твердили о необходимости развода. И брат их приехал в Париж с гневом и болью в сердце, почти решившись не слушать оправданий Жозефины, когда она вернется, прогнать ее и развестись с ней.

Она вернулась; затем разыгрывается известная сцена: дверь в спальню генерала упорно заперта; Жозефина рыдает и плачет, и молит, время от времени падая в кресло в позе кающейся, разбитой сознанием своей вины; Евгений и Гортензия пытаются вступить за мать; но дверь остается закрытой; это длится несколько часов; затем дверь внезапно распахивается, – примирение и прощение. Бонапарт еще любил свою жену; он не в силах был отогнать от себя преследовавших его воспоминаний об уже изведенном и оплакиваемом блаженстве, о самой Жозефине, с ее изящной грацией креолки, с ее плутовской улыбкой, гармонией движений и плавностью жестов, со всем, что в этой женщине дарило ему чувственное и художественное наслаждение. “Она удивительно грациозна, – говорил он, – когда укладывается в

постель, когда одевается. Я желал бы, чтобы какой-нибудь художник, вроде Альбана, мог видеть ее в это время и написать”.⁴⁹⁶

Кроме того, он успел все обдумать и взвесить и испугался скандала накануне того дня, когда ему предстояло выступить в качестве главного актера на политической сцене. Наконец, Жозефина могла быть ему полезной; по рождению и родственным связям она имела доступ в такие дома, куда сам он не был вхож; она могла создать вокруг него атмосферу обаяния и симпатии, помочь великому делу сближения и примирения, уже входившему в его планы. Поддавшись этому сложному влиянию расчета и страсти, после жестокой борьбы с самим собой, он и в этом выказал себя, как умел это делать, большим человеком, непоколебимым в своих решениях; он объявил, что прошлое не существует более для него и что оно забыто.⁴⁹⁷ Они как бы снова вступили в брак; Жозефина снова стала подругой его плоти, утехой его очага, его привычкой и глубокой привязанностью; кроме того, он сделал ее и своею союзницей.

С этих пор он весь отдался политике и честолюбию. Помощи искать не приходилось: к нему стремились самые разнообразные упования; все честолюбивые мечты сливались и то-

⁴⁹⁶ Gourgaud, *Journal de Sainte-Hélène*, II, 278. – Альбане – итальянский художник XVII века, прозванный “Анакреоном в живописи”.

⁴⁹⁷ См. всю эту сцену у Массона, *Masson, Napoléon et les femmes*, collection Guillaume, 89 – 100.

нули в его собственных замыслах. Дом его осаждали посетители – штатские и военные, депутаты, чиновники, ученые, журналисты, поставщики высокого полета, интриганы и низкие орудия их, ловцы человек и плуты-спекулянты, люди, видевшие в нем зарю спасения Франции, и другие, чужавшие крупное и выгодное дело, все тут побывали. Из первых были приняты Талейран, Редерер, Реньо де Сен Жан д'Анжели. Мало-помалу Марэ, бывший член учредительного собрания, адмирал Брюи, Булэ, де ла Мерт и Реаль сплотились в одну группу. Они появились как советчики и искусители. “Так вы считаете это возможным?” – спрашивал Бонапарт. – “Дело на три четверти уже сделано”, – отвечали ему.⁴⁹⁸ Таким образом, у него составил свой интимный совет, но выбора между партиями он не делал; сила его была именно в том, что он не имел партии; он хотел быть избранником всей Франции, а не одной какой-нибудь фракции.

Возвратившиеся Люсьен и Жозеф старались втянуть его в уже готовую комбинацию. Появился и Фуше; министру полиции была знакома дорога в этот дом; самого начала египетской кампании он стал добиваться права запросто бывать у Жозефины в надежде получать от нее сведения; он держал ее в руках, по всей вероятности, при помощи денег, не стесняясь пользоваться полицейскими фондами для удовлетворения потребностей этой безудержной мотовки. Он видел, наблюдал Бонапарта, изучил его и признал самым под-

⁴⁹⁸ Roederer, *Deuvres*, III, 226.

ходящим человеком для того, чтобы создать будущее революционерам. И он содействовал назреванию будущего консульства, хотя ему и не суждено было – мы увидим, почему – присутствовать при его расцвете. Трое директоров из пяти, Баррас, Гойе и Мулен, сразу вошли в постоянные сношения с Бонапартом и, казалось, перенесли к нему в дом центр тяжести правительственной власти.

Представляться Бонапарту являлись офицеры парижского гарнизона, адъютанты национальной гвардии, начальники отдельных частей, многие им же и назначенные в то время, когда он командовал войсками внутри страны. Париж вообще кишел офицерами всех армий, благодаря всеобщей неурядице увольнявшимся в отпуск без разрешения. Без дела, вечно без денег, мечтающие о выгодной аванюре, они ждали ее от Бонапарта и инстинктивно стекались к нему, под его начальство. Этот генерал без войск и без определенных полномочий, в глазах закона поставленный в некорректное и ложное положение, тем не менее был всеми признанным вождем и фактически генералиссимусом; для своей семьи, для друзей, для публики он был “генералом” – одним, единственным; другие перестали существовать.

Однако он остерегался превратить свой дом в военный или политический центр, отклонял коллективные посещения, всенародные почести. Офицеры парижского гарнизона, явившиеся к нему в полном составе, с план-комендантом во главе, не были приняты. Посетители, проникавшие к нему,

находили его очень простым; он охотно показывался в почти буржуазном неглиже, сером сюртуке и фуражке”,⁴⁹⁹ разыгрывал из себя воина на покое, домоседа и семьянина. Когда с ним заводили речь об общественных делах, он вначале не поддерживал разговора, заставлял вызывать себя на ответы, выжидал предложений, выслушивал жалобы, чтобы потом, поднимая меч, иметь право сказать, что на него оказывали давление со всех сторон, и он уступил лишь общему желанию.

Он жалел военных, что им приходится служить правительству, ничего не смыслящему в их ремесле и плохо вознаграждающему заслуги перед отечеством. Говоря с политиками, он играл, как мячиком, их низким соперничеством между собою, их вероломством и мелочностью, эксплуатируя все, что только можно было эксплуатировать; плут высшего полета, он умел превзойти их в лукавстве. У каждого своего собеседника он умел докопаться до преобладающей страсти, благородной или низменной, хорошей или дурной, до чувствительной струнки и, играя на ней, завладевал всем человеком. Одним, будто случайно оброненным словом он связывал гостя каким-нибудь обязательством относительно будущего, а затем вежливо выпроваживал его. Перед его домом постоянно толпился разный народ, подстерегая его выход, в надежде увидеть его; порою к кучкам любопытных примешивалось несколько угрюмых якобинцев, возмущав-

⁴⁹⁹ Mémoires du général Sarrazin, p. 126.

шихся этим идолопоклонством перед человеком; другие грубо пытались вразумить их, и нередко дело доходило до драки. “Генерал” редко выходил из дому, ограничиваясь немногими визитами, которых требовало приличие, или сострадание. Известно было, что он записался в члены крепостного клуба, считавшегося как бы общим домом всех офицеров гарнизона, и посетил Дом Инвалидов, чтобы повидаться с изувеченными старыми солдатами, скромными участниками его славы. Он избегал показываться в общественных местах и в театрах. 1-го брюмера в театре Фавар давали пьесу Ариодан: разнесся слух, что в ложе с решеткой сидит генерал: публика с радостными восклицаниями устремила в ту сторону, где ожидала увидеть его, но он уже скрылся. Он старался не столько удовлетворить, сколь разжечь народное любопытство, возбудить Париж, вызвать в нем лихорадку нетерпеливого ожидания.

Тех, кому удалось видеть его, засыпали вопросами; Париж интересовался мельчайшими переменами в его внешности. “Он теперь коротко стрижет волосы и не пудрит их”, – твердили все газеты. Его спутники были нарасхват, – Ланн, раненый, на костылях, Мюрат с раздробленной пистолетной пулей челюстью, все высохшие, загорелые, с бронзовыми лицами, походившие на африканцев. Его кожа, казалось, еще больше потемнела, цвет лица был по-прежнему нечистый, зеленоватый; глаза ввалились, щеки впали, грудь также; общий вид был болезненный. И действительно, он чувствовал

себя неважно, резкая перемена климата, первые холода, сырость парижской осени скверно отразились на его здоровье. Но его пламенная душа его поддерживала и, пробиваясь наружу сквозь хрупкую оболочку, окружала его каким-то сиянием. Огонь, горевший в его глазах, был так ярок, что иные не могли выносить его блеска. Но порою взор его становился задумчивым, глубоким, грустным; то был взор человека, отмеченного роком, предназначенного к необычайному. Все в нем привлекало внимание, выделяло его из ряда других. Он был знаменит и странен; его кожа, опаленная солнцем и выдубленная – морским ветром, корсиканский акцент, причудливый костюм, этот палаш, висящий у пояса – все, вплоть до еще не установившейся орфографии его имени, которое одни писали Буонапарте или Буона-Партé, а другие – Бонапарт, придавало ему что-то экзотическое, и за его тощим силуэтом мерещились залитые солнцем покоренные страны, опрокинутые красные эскадроны, бегущие враги и взятые приступом города, победы, одержанные далеко-далеко, под знойными небесами.

II

Между тем как партии кружили около него, пытаясь обойти и провести его, он, со своей стороны, старался ориентироваться в политическом кругу, куда он попал внезапно и где чувствовал себя до некоторой степени чужим. Большая часть событий, происшедших после его отъезда в Египет, были ему известны, лишь в общих чертах; ему предстояло изучить историю Франции за полтора года. Он подписался на все парижские газеты; одна из них смеялась, говоря, что он “обрек себя на тяжкий труд, если намерен читать их все”.⁵⁰⁰

В печати и на трибуне по-прежнему шла борьба между якобинцами и неомодерантами (новым типом умеренных). Орган первых, “Газета людей”, по-прежнему травил Сийэса, представителя “революционной олигархии”, оспаривала правильность его избрания в число директоров, обвиняя его в том, что он подготавливает путь буржуазной монархии, клеймя его систему олигархо-роялистическую, – выражение варварское, но мысль не лишена справедливости.⁵⁰¹ В совете пятисот ораторы партии умеренных говорили превосходные вещи, укоряя якобинцев в том, что они не знают удержу своей власти к агитации и беспорядку. Несколько газет начали кампанию в пользу мира, казалось, облегченного на-

⁵⁰⁰ **Le Publiciste, 11 брюмера.**

⁵⁰¹ **Номер от 14 брюмера.**

шими победами. Якобинцы не допускали и мысли о мире, если он не вернет республике полностью ее завоеваний, и громили всякое предложение пойти на уступки. Эта полемика прикрывала с обеих сторон заднюю мысль о материальном насилии. Противники Сийэса и его друзей, выработавших собственный план переворота, якобинские депутаты, в свою очередь упорно строили ковы против установленного порядка, или, вернее, беспорядка; вожаки и, в особенности, генералы партии, поборники твердой власти, вроде Журдана, Ожеро и Бернадота, мечтали заменить директорию более сильным правительством, более концентрированным, шумливо патриотичным, ультра-демократическим и в то же время военным.

А за этими противоречивыми кознями на горизонте по-прежнему стоял роялизм. Общее восстание на западе, давно уже предвиденное и предвещаемое, стало совершившимся фактом, но мере того, как наши континентальные границы принимали более утешительный вид с запада, одна за другой, неслись дурные вести; говорили о больших городах, захваченных врасплох, о том, что король уже выставил от тридцати до сорока тысяч войска; белый прилив надвигался и залил уже всю Бретань, Вандею, Анжу и Мэн и низины Нормандии. Однако этому запоздалому восстанию, при всей его серьезности, по-видимому, не суждено было перейти пределов запада, так как вблизи уж не было армий Йоркского и Суворова, чтоб оказать ему поддержку, и вряд ли оно могло

грозить серьезной опасностью республике.

В остальной Франции и в особенности в Париже, после Цюриха и Бергена, возбуждение умов в значительной степени улеглось. Обостренность чувств ослабела; повеяло чем-то более мягким. После десятилетней бури, после усиленных волнений последних месяцев, сказывалась потребность в отдыхе; многие французы, казалось, устали ненавидеть. Это примирительное настроение проявлялось даже в кругах, причастных или близких к политике; некоторые газеты говорили: “Уверяют, будто наши победы уже дали благотворный результат, сблизив многих представителей народа, разошедшихся во взглядах относительно выбора средств спасения отечества. Нейтральная масса все росла, за счет резко окрашенных партий и конспирирующих кружков. Люди, которых надвигавшаяся гибель толкнула в сторону якобинцев и крайних мер, снова склонялись теперь в пользу умеренности; с другой стороны, не все умеренные сочувствовали идеям Сийэса и придуманному им оперативному приему. Многие – из них, признавая, что республика попала в плохие и нечестные руки, не теряли, однако, надежды мирным путем улучшить режим. В общем ветер дул не в сторону крутых мер и, несмотря на общее ожидание, возбужденное Бонапартом, несмотря на общее убеждение, что теперь, когда он вернулся, должна произойти какая-то перемена, общественное мнение не требовало насильственного переворота.

Слишком уж много видел французский народ таких пере-

воротов, слишком много таких вмешательств грубой силы, будто бы спасавших Францию, а на деле навлекавших на нее еще худшие бедствия, чтобы не бояться еще раз быть спасенным таким же способом. Походы Массены и Брюна избавили Францию от вторжения неприятеля; возвращение Бонапарта из Египта подтвердило ее внешнюю непобедимость и, казалось, давало ей случай упорядочить свою внутреннюю жизнь, умерить свой пыл и взять себя в руки. Но было ли необходимо для достижения этого результата пройти через новое потрясение? Разве нынешнее правительство, правившее под эгидой Бонапарта и, быть может, по его указаниям, не могло бы избавиться от личностей, слишком уж ненавистных народу, отречься от произвола и исключительных мер, что снова упрочило бы его положение и увеличило популярность? Конституция была менее дискредитирована в глазах общества, чем уверяли. Немало было людей, полагавших, что при лучшем ее применении и с отменой исключительных законов, затемнивших и исказивших ее, она в конце концов обеспечит французам мир, порядок, все благодетельные революции. Но более осведомленные люди, имевшие возможность ближе присмотреться к закулисной жизни правительства, констатировали обветшалость и развинченность государственной машины, по-прежнему верили в необходимость органической реформы и пересмотра конституции.⁵⁰²

⁵⁰² См. статью 10 брюмера в *Философской Декаде la Décade philosophique*, орган Института, о реформах, которые необходимо ввести в конститу-

Но и эти отнюдь не призывали к власти кулака, именно потому, что они слишком насмотрелись на ее прелести. Революция с самого начала противоречила своими поступками своим принципам. Поставленные ею власти, одна за другой, навязывали Франции свое господство, беспорядочное или преступное, всегда непрочное и шаткое; они тиранили не управляя. Народ желал правительства, т. е. власти, достаточно сильной для того, чтобы быть умеренной, режима освободительного и вместе созидającego, способного обеспечить французам личную и имущественную безопасность, а также и пресловутые гарантии, провозглашенные и постоянно откладываемые на деле.

Бонапарт своим гениальным чутьем угадал это настроение разумных мыслящих людей, отвечавшее смутным стремлениям масс. Он поймал носившуюся в воздухе плодотворную идею обновления и поставил себе задачей облечь ее плотью; оттого-то первый и лучший период его консульской деятельности был периодом нововведений и созидания; в политике великий творец не тот, кто задумал, но тот, кто выполняет.

Бонапарт понимал необходимость прибегнуть к помощи какой-либо партии для того, чтобы достигнуть власти, но в уме он лелеял план воздвигнуть затем правительство, стоящее вне и выше партий, беспристрастное и терпимое, правительство, которое обратится к сочувствию и помощи всех

доброжелательных людей, без различия происхождения, которое сплотит и нравственно объединит нацию, которое воссоздаст Францию, богатую всеми своими сокровищами и сильную всеми своими детьми, словом, Францию единую и цельную. Этот результат, казалось ему, не мог быть достигнут без еще одной, последней революции; но, выступив на сцену по окончании, а не в разгар кризиса, он понимал, что обстоятельства сами по себе не требуют от него решительных мер. Выяснив себе, до какой степени публике опротивели насилия, он мечтал о мирной революции, которая произошла бы почти сама собой, путем торжества общественного мнения, подчинившего себе партии, о перевороте, где призванные на помощь войска были бы пущены в дело лишь в крайнем случае и по требованию гражданских властей, где беззаконие было бы по возможности прикрито, где переход от подлежащего разрушению режима к режиму, который надлежит создать, был бы вначале едва заметен и лишь впоследствии выдвинулся бы своими благодетельными результатами.

III

Первой его мыслью было войти членом в директорию, чтобы затем захватить власть в свои руки и распустить это слабое учреждение; легче было бы вынести удар уже утвердившись в центре правительства, чем оперировать извне. Из пяти директоров наверное нашелся бы один, который уступил бы свое место избраннику народа. И незаконность в том случае была бы невелика; конституция требовала от директора сорокалетнего возраста; Бонапарту было тридцать лет.

Желание сразу поставить себя так, чтобы менее делиться властью, быть может, и слишком совестливое отношение к конституции Гойе и Мулена заставили его отказаться от этого плана. Бонапарт решил войти в состав правительства, но так, чтобы насилие было сведено к возможному минимуму. Казалось бы, какая решимость должна была побудить его тотчас же вступить в переговоры с теми из директоров и депутатов, которые уже пять лет вынашивали в своем уме план переворота с преобразовательной целью и подготовляли его элементы. Эти люди, достигнув, власти, сделали уже многое – устранили препятствия, удалили опасных конкурентов, подготовили почву в верховном собрании, помешали другому совету принять меры защиты, уничтожили в Париже всякий центр сопротивления; самый состав правительства, по крайней мере на первое время, был у них в запасе

и наготове. До сих пор им недоставало человека, способного привести дело к развязке; теперь этот человек явился, и, конечно, они согласятся предоставить ему всю свою подготовку и средства под условием остаться в деле и получить свою долю участия в барышах. Некоторые из них сами пришли к Бонапарту, но большинство ждало, что станет делать Сийэс, и во всем следовали его указаниям: очевидно, необходимо было сговориться с их патроном. Люсьен не желал ничего лучшего, как принять на себя роль посредника. Органы партии всячески рекомендовали соглашение; с самого дня высадки в Провансе они печатали тенденциозные статьи: “Фрежюс, где высадился Буонапарте, есть в то же время родной город Сийэса – счастливое предзнаменование тех воззрений, с которыми он выступит в Париже”.⁵⁰³ Эти статьи позволяли угадывать, в перспективе двуликого спасителя – дуумвират, который будет управлять судьбами возрожденной республики.

Бонапарт однако колебался. Надо ли полагать, что препятствие к такому соглашению крылось исключительно в нем, в его личной антипатии к Сийэсу? Ум ясный и светлый, он не мог любить человека, окружавшего себя каким-то туманом. Он встречался с Сийэсом и до, и после итальянской кампании, и догматизм этого папы-конституанта, его тон Сивиллы, его авторитетный педантизм, казались Бонапарту признаками ума чисто спекулятивного и негибкого; но мог ли он

⁵⁰³ **Publiciste, 24 вандемьера.**

остановиться на этих первых впечатлениях, когда его интерес и честолюбие повелевали ему оставить их без внимания?

Без сомнения, его удерживали иные причины. Чтобы овладеть республикой, ему нужно было слиться с ней в одно целое, отождествиться с величием и гордостью нации – следовательно, не оставить никаких сомнений относительно своей искренности как республиканца и своего жгучего патриотизма. А между тем ему случалось слышать о Сийэсе, что он исподтишка орлеанист, сомнительный патриот и замешан в каких-то подозрительных переговорах с иностранцами. И так говорили многие. Среди первых же советчиков, появившихся на улице Шантерен, нашлись люди, объявившие, что сблизиться с Сийэсом зазорно, что им гнушаются не только якобинцы, но и все ярые республиканцы, чистые, с которыми необходимо считаться. В совете Бонапарта сразу определились две партии, продолжавшие свою междоусобную борьбу и при консульстве, – правая и левая; мнения разошлись в вопросе: на кого должен был опереться генерал – на республиканскую левую, или правую? Ненавидевший якобинцев и признававший невозможность управлять с их помощью, Бонапарт не забывал, однако, что по части крутых мер они мастера, и никто лучше их не сумеет “кувырнуть” правительство.

⁵⁰⁴ Вместо того, чтобы первому сделать авансы, он ждал

⁵⁰⁴ **Commentaires de Napoléon, IV, 54.** В силу всех этих причин он не спешил навстречу Сийэсу и первое время держался очень настороже. Тот, с своей стороны, слишком высоко ценил себя, чтобы сразу предложить свои услуги. Он отнюдь не стремился на улицу Шантерен вслед за своими тремя коллегами, напротив,

их, и Роже Дюко, из подражания ему, не трогался с места. Три дня, три долгих дня 27, 28 и 29 вандемьера, все заинтересованные в сближении пребывали в тревоге, видя с обеих сторон одинаковое упорство в нежелании сделать первый шаг. Слух об этой распре из-за этикета в самый расцвет республиканского режима дошел и до публики.

А пока Бонапарт виделся с Баррасом. Ему нужна была точка опоры в правительстве, – не воспользоваться ли этой? Если Редерер отговаривал его, зато Фуше усиленно советовал ему это сделать, и Жозефина несомненно тянула в ту же сторону и по тайному уговору с Фуше, и из ненависти к союзникам Сийэса. Если бы генерал остановился на Баррасе, ему труднее было бы привлечь к своей комбинации всех республиканцев-организаторов; репутация этого господина, его непостоянство, привычки вероломства, наконец, его гнуснейший антураж оттолкнули бы многих солидных и корректных людей. У Сийэса была партия; у Барраса только двор, и какой двор! Зато он имел другое преимущество перед Сийэсом: был менее ненавистен якобинцам и крайним республиканцам, с которыми следовало считаться. Притом же у него с Бонапартом было слишком много общего в про-

находил это пошлым и ждал, что Бонапарт сделает ему первый визит, но Бонапарт не являлся. Сийэс, очень обидчивый, весьма дороживший внешними знаками почтения, был оскорблен такой непочтительностью по отношению к главе государства: Камбасерэсу, у которого генерал был с визитом, он сказал кислым тоном: “Бонапарт обошелся с вами лучше, чем со мной; я видел его только в кабинете директории”. [**Eclaircissements de Cambacérés.**

шлом, чтобы от этого не осталось следа в их отношениях; за недостатком дружбы уцелела фамильярность, облегчавшая излияния и сокращавшая прелиминарии.⁵⁰⁵ Они говорили друг другу ты; Бонапарт снова взял привычку запросто бывать по вечерам в Люксембурге у хлебосола-директора; этот последний в своих мемуарах утверждает даже, будто генерал посвящал его в свои семейные горести, говорил о Жозефине и советовался, как ему поступить; Баррас будто бы отговорил его от развода, напомнив ему, что это не в обычаях света и не принято “в лучшем обществе”.⁵⁰⁶ Как бы то ни было, прежняя интимность несомненно благоприятствовала политическому сближению между ними.

Баррас, с своей стороны, по-прежнему предпочитал всем заманчивым посулам претендента видный пост в упроченной и мирной республике. Он рад был содействовать ломке и отливке заново республиканских учреждений, допускал республику на американский образец, с президентом, но тщеславие не позволяло ему отстать от Бонапарта и уступить ему первое место. Он не мог привыкнуть к мысли, что этот маленький человек, которого он знал еще безвестным и податливым, которому он сам вложил ногу в стремя, теперь на правах гения хочет стать выше его и править Францией. Его желание было – после переворота назначить Бонапарта главнокомандующим и открыть перед ним один лишь путь – к

⁵⁰⁵ предварительные переговоры

⁵⁰⁶ *Memories de Barras*, IV, 33.

славе, оставив для себя удобства и выгоды высшего президентского положения.

Бонапарт скоро разглядел его намерения, отнюдь не совпадавшие с его собственными. Чем больше выяснялось для него настроение умов, тем лучше он понимал, насколько Баррас уронил себя, обесславил, насколько он погиб в мнении общества;⁵⁰⁷ оставалось только порвать с человеком, олицетворившим собою всю испорченность режима, и освободиться от этой гнили. Наоборот, вокруг Сийэса он видел наименее дискредитированных представителей правящей группы, людей, по большей части не способных проявить энергию в критическую минуту, но способных сослужить хорошую службу на другой день, желающих перестроить государство, чтобы надежнее поместить в нем свои капиталы и шире развернуть свои таланты, и чувствовать, что в сущности восстанавливающей и созидательной силы надо искать именно здесь.

Он уже совсем собрался нанести визит Сийэсу, когда случайная неловкость чуть было не испортила всего, но, в конце концов, двинула дело. Один из адъютантов Бонапарта по приказу или по ошибке, явился к Сийэсу предупредить, что его начальник будет завтра в такой-то час. Сийэса не было дома, когда он вернулся, и ему передали поручение, он, не желая высказывать особой угодливости по отношению к то-

⁵⁰⁷ Собственные слова Бонапарта, приводимые Ле Кутэ де Кантелэ у Лекюра. – *Lescure, Journées révolutionnaires*, II, 216.

му, кто оказал ему так мало внимания, послал своего брата сказать Бонапарту, что выбранный им час – час заседания совета. Оскорбленный Бонапарт, взбешенный этой манерой откладывать визит, сделал выговор адъютанту, уверяя, что тот действовал без его ведома, не получив никаких приказаний: “он никому не делает визитов... к нему все должны приходить первые... он – гордость и слава нации!..” – Все это в присутствии многочисленной публики, военной и гражданской.⁵⁰⁸ Но Талейран, извещенный об этой нежелательной выходке, помчался к генералу и имел с ним весьма серьезный разговор, укоряя его за несдержанность и умоляя тотчас же исправить свою оплошность.⁵⁰⁹ Он так чудесно сыграл свою роль, что его посредничество завершилось примирением двух властелинов.

Бонапарт уступил, предоставив Талейрану, как дипломату, выработать, как бы сказали теперь, церемониал встречи. Почти тотчас же вслед за тем в газетах появились следующие заметки: “2 брюмера; вчера Бонапарт был с частным визитом у директора Сийэса и Роже Дюко; 3 брюмера; директора Сийэс и Роже Дюко возвратили Бонапарту частный визит”.

Первый дебют был, по-видимому, не слишком удачным, по крайней мере вначале.⁵¹⁰ Рассказывают, впрочем, что Бо-

⁵⁰⁸ Рукописные заметки Грувелля.

⁵⁰⁹ Грувелль.

⁵¹⁰ По словам Грувелля, генерал был втройне обижен: при его вступлении в Люксембург гвардейским барабанщикам следовало ударить по-

напарт вскоре изменил тон, сам подтрунивал над происшедшей пикировкой и с милой игривостью сравнивал ее с ссорой двух герцогинь из-за табурина.⁵¹¹ Как бы то ни было, лед был сломан, и началась беседа. Гость и хозяин соглашались, что во Франции нет ни хорошего правительства, ни хорошей администрации, и что положение республики требует изменения конституции. Бонапарт хвастался своим могуществом и в то же время пустил в ход все свои обаятельные качества. Сийэс повел речь начистоту, предлагая свою помощь под условием одной общей цели – спасти отечество и насаждать свободу. Он прибавил даже, что у него в запасе есть уже готовый план действий, который он может сообщить. На этом пока остановились, продолжая при посторонних выказывать друг другу заметную холодность и передавая все неотложное через общих друзей; при этом Редерер брал на себя самую суть, а Талейран заботился о форме, постоянно указывая на необходимость принимать предосторожности и соблюдать приличия.

Таким образом, Бонапарт вел переговоры через послов, сам не высказываясь до конца, ибо в первых числах брюмера его решение еще не было принято окончательно; сговариваясь с Сийэсом, он в то же время придерживал Барраса, спрашивая себя, не взять ли его по крайней мере в союзники, или

ход, они этого не сделали, затем его заставили ждать и дверь отворили настежь.

⁵¹¹ Намек на старинное право знати сидеть в присутствии короля.

же просто оставить в дураках. Из близких ему людей, не говоря уже о Фуше, и Реаль очень настаивал, чтобы он не рвал с Баррасом. Доводы этого экс-террориста были таковы: Баррас один из тех людей, которых всегда можно держать при себе. Заручившись его содействием, одновременно с содействием Сийэса и Дюко, и подчинив себе всех троих, Бонапарт будет иметь в своем распоряжении обеспеченное большинство в директории и все ресурсы исполнительного комитета, вместо того, чтобы прибегать к вмешательству известной части советов, он может тогда избавиться одновременно от обоих собраний, выбросив их за борт. А иначе он ничего путного не сделает, ибо на другой день после успешного хода очутился, как в прериале, лицом к лицу с той парламентской группой, помощью которой воспользовался, и пойдет опять кавардак.⁵¹²

В это время произошел инцидент, окончательно просветивший Бонапарта относительно Барраса и заставивший отвернуться от него. Вечером 7-го или 8-го генерал обедал в Люксембурге; кроме него гостей было только двое – нечто вроде мажордома и бывший герцог де Лорагэ, шут короля, своими выходками забавлявший Барраса. После обеда зашла речь о политике и о будущем Франции. Баррас развернул перед глазами Бонапарта перспективу новых побед и неиссякаемой жатвы лавров, сам, притворяясь разочарованным и бескорыстным, разыгрывая комедию самоотречения. Ко-

⁵¹² Le Couteulx, 221.

гда дело дошло до выбора будущего президента республики, он, желая отстранить Бонапарта, выдвинув себя, и не смея предложить себя прямо, прибегнул к жалкой уловке и назвал совершенно невозможное имя генерала Эдувилля. Бонапарт промолчал, но остановил на говорившем полный такого презрения взгляд, что тот растерялся и забормотал что-то невнятное. Через минуту генерал ушел и, отправившись прямо к своим друзьям без комментариев передал им слова Барраса. Они были уничтожены. Глупость этого грубого проныры перешла всякие границы. “Ведь это такое животное!” – воскликнул его друг Реаль.⁵¹³

Решение Бонапарта было принято; он пойдет заодно с Сийэсом и благонамеренной частью советов. Как он рассказывает сам – выйдя от Барраса, он, прежде чем отправиться к своим друзьям, зашел к Сийэсу, жившему в другой части дворца – кстати, это был его приемный день – и сказал ему, что вступает с ним в союз, или, по крайней мере, велел передать ему это. Сийэс чувствовал, что настало время показать себя, и метафизик вооружился решимостью. Чтобы ни в чем не отставать от генерала, он не задумался бы сесть на коня, хотя и был когда-то священником. На всякий случай он в последнее время даже готовился к этому: устроил в Люксембурге манеж и брал уроки верховой езды.

Не то, чтобы он заблуждался относительно намерений Бонапарта и его темперамента самодержца. Минутами он уга-

⁵¹³ Journal de Sainte-Hélène, I, 469.

дывал в нем человека, который, добившись успеха, с размаху далеко отшвырнет от себя своих теперешних помощников. Всепокоряющая энергия генерала, смелость и оригинальность его взглядов, дерзкое честолюбие, порой сквозившее в его речах, несколько сбивали с толку холодного Сийэса. И в то же время этот тонкий мыслитель, весьма ценивший блестящий ум в других, не мог не восхищаться тонкостью расчета, как он видел, соединявшейся в Бонапарте с волею высшего закала. Это резко отличало его от других генералов; у этих можно было найти самое большое упорную волю, стремящуюся прямо перед собой, как пушечное ядро, не разбирая, попадет ли она в цель, или же пролетит мимо, или разобьется о препятствие. Армия изобиловала героизмом и воинскими добродетелями для политики и крупных комбинаций. О Бонапарте он говорил, что это единственный, у кого рассудок уравнивает волю”.⁵¹⁴ Два довода перевешивали все другие: раз Бонапарт здесь, с его огромной популярностью, что можно сделать без него? Не будь его, было бы очень трудно найти кого-нибудь, способного понять и принять на себя эту роль. “Воспользоваться можно было только им”.⁵¹⁵

Окончательно остановившись на Сийэсе, Бонапарт решил сократить Барраса – поддерживать с ним отношения лишь постольку, поскольку это необходимо, чтобы ввести его в об-

⁵¹⁴ Le Couteulx, 219.

⁵¹⁵ Рукописные заметки Грувелля.

ман и не вооружить против себя. И обесславленный Баррас играл роль в политике, не последнюю роль; три года уже он держался на месте среди постоянной смены людей и событий; в этом вихре он был единственной неподвижной точкой; в глазах чиновников, некоторых гражданских и военных агентов эта относительная устойчивость окружала его своего рода престижем; для них он более, чем кто бы то ни было, представлял собою правительство. А так как этих господ не худо было привлечь к сотрудничеству, их убеждали, что в деле участвует и Баррас. Любопытнее всего, что при помощи той же тактики, в этом убедили и его самого.

Не трудно было, впрочем, сохранить отношения с этим человеком, который пробовал все пути и обязательно впутывался во все интриги. На другой день после памятного разговора в Люксембурге, по двукратному свидетельству Бонапарта, Баррас, мучимый сознанием своей бестактности, явился на улицу Шантерен и, растерянный, униженно предлагал свои услуги.⁵¹⁶ Баррас, наоборот, утверждает, будто Бонапарт приходил к нему возобновить уверения в дружбе и преданности.⁵¹⁷ Во всяком случае, сношения, несомненно, поддерживались через третьих лиц; Мюрат, Евгений, Талейран продолжали бывать в Люксембурге. Двое первых сами напрашивались завтракать запросто к адъютантам Барраса, пили за его здоровье и уверяли, что интересы и дела их на-

⁵¹⁶ “Commentaires”, IV, 15; Journal de Gourgaud, I, 469.

⁵¹⁷ Мемуары, IV.

чальников нераздельны, Талейран изящно рассуждал о том, какие новые учреждения необходимы стране и какой тип республики наилучший. Редерер и Реаль притворялись, будто назначают себе свидания как соумышленники, в салоне Барраса, – мог ли он подозревать людей, которые конспирировали у него на дому! Словом, маневрировали так, чтобы убедить этого директора, что его предупредят в случае, если Бонапарт уступит настоятельным просьбам, которыми его преследуют”,⁵¹⁸ и решится рискнуть.

Игра удалась тем лучше, что Баррас не допускал, чтобы в насильственном перевороте можно было обойтись без его опытности. Кто же лучше его знал это дело? Кто участвовал во всех *coups d'etat* в термидоре и в вандемьере, и в фрюктидоре? Какой же может быть *coups d'etat* без него? И потому ему суждено было оставаться “в полной благонадежности до самой развязки”.⁵¹⁹ Он убедил себя, что, что бы там ни затевали, в последнюю минуту все же придут к нему просить его содействия и предоставят ему его часть. А пока он не мешал прелиминариям, не пытаясь прибегнуть к энергическим мерам для защиты государственных учреждений. Впрочем, он уже и не способен был к энергическим мерам, настолько он опустил и ослабел волей; он сказывался больным и на самом деле был болен, утомленный властью и излишествами, раньше времени состарившийся, этот ослабевший разврат-

⁵¹⁸ Cambaceres.

⁵¹⁹ Ibid.

ник доверчиво бездействовал, пассивно ожидая событий.

Под апартаментами, где он продолжал принимать своих приспешников и парадировать перед ними, внизу перед ними, внизу, в квартире Сийэса, тем временем шли серьезные разговоры. По вечерам подъезжали в карете к воротам Малого Люксембурга Талейран и Редерер. Талейран выходил первый и оставив Редерера в карете, отправлялся на разведку – посмотреть, нет ли у Сийэса каких-нибудь докучных гостей; запереть свою дверь для посетителей последний не решался из боязни возбудить подозрения. Убедившись, что путь свободен, Талейран посылал за Редерером; беседа принимала более серьезный характер, и переговоры подвигались вперед.⁵²⁰

Братья Бонапарта были также полезными посредниками сближения. Пока генерал верил в возможность сговориться с Баррасом, он таился от Люсьена, союзника Сийэса, по меньшей мере столько же, сколько и его собственного. В последнее время, наоборот, Люсьен играл активную и видную роль; у него на дому, в его маленьком отеле на Зеленой улице, и в его присутствии в ночь 10 брюмера произошла, наконец, тайная встреча Сийэса и Бонапарта, давшая им возможность поговорить на досуге; они беседовали около часу и расстались признанными союзниками.⁵²¹

⁵²⁰ Roederer, III; Le Couteulx.

⁵²¹ Люсьен в своей “*Révolution de brumaire*” вовсе не упоминает о переговорах с Баррасом и затруднениях с Сийэсом.

Сийэс предупредил своих друзей. Он привлек к союзу своего приятеля Рожэ Дюко, правящую группу совета старейшин, одну из фракций совета пятисот – словом, все парламентские силы, находившиеся в его распоряжении. По правде сказать, его партия была лишь влиятельным кружком, но Сийэс был уверен, что за ним пойдет все верховное собрание, за вычетом ничтожного меньшинства, и рассчитывал заполучить большинство в другом собрании, тем более, что президент Люсьен и инспектора были уже на его стороне; во время последнего обновления состава канцелярий, умеренным удалось провести всех своих кандидатов. Партия чувствовала, что за ней стоит весь имущий, зажиточный класс, зорко оберегающий нажитое революционным путем добро и от голодных левой, и от ограбленных правой – от всех, кто покушался присвоить его или отобрать назад.

Так заключен был договор между Бонапартом и “пристроившимися” революционерами, с обоюдными недомолвками. Стороны согласились относительно ближайшей цели: конечная была у каждого своя. Сийэс трудился на пользу односторонней олигархии, которую он надеялся направить на путь орлеанизма или чего-нибудь в этом роде. Многие брюмерцы думали с ним заодно и воображали, что Бонапарт передаст захваченную власть в руки избранного ими короля. Некоторые из них согласились бы даже на восстановление одного из Бурбонов, “лишь бы только новый монарх происходил не из царствующей ветви, но ни один не решался высказать того,

что еще не вошло в программу дня.⁵²² Часть заговорщиков оставалась искренними республиканцами; они чистосердечно верили в то, что они спасут республику, изменив ее внешний вид.

Бонапарт хотел Франции, страстно хотел завладеть ею и удержать за собой, но он чувствовал, что лучший способ привязать ее к себе – это быть щедрым и благородным властелином. Слишком долго все правительственные мероприятия были направлены против кого-нибудь; будущее принадлежало тому, кто, правя, будет заботиться обо всех. Бонапарт понимал это; вот почему он не хотел бесповоротно связать себя даже с лучшими из буржуа-революционеров; более аристократ, чем они, и в то же время более сын народа, он был чужд их предрассудков, их эксклюзивизма; он знал что, стоит ему захотеть, и хрупкие преграды, которыми думали удержать его, разлетятся в куски. Его думали запереть в тесном здании, – он намеревался расширить, проветрить, сделать это здание настолько высоким и просторным, чтобы вся Франция могла найти в нем приют. Что касается народной массы, она и теперь уже чуть не молилась на него, а с возвышением своего героя она почувствовала бы себя восстановленной в своих правах.

Тем не менее, брюмерский переворот оставался по замыслу политическим и парламентским; даже войска решено было держать только про запас, на всякий случай, что-

⁵²² Cambacères.

бы, если понадобится, дать решительный толчок. Первоначальная идея такой комбинации исходила от пристроившихся революционеров, присоединившихся к Бонапарту, разочарованных политиков, жаждавших покоя, утомленных бурями, мечтавших о тихой пристани, или, по крайней мере, о передышке; один из них метко охарактеризовал положение, говоря: “Мы дошли до того, что уже не думаем о спасении принципов революции; впору спасти людей, сделавших ее”.⁵²³

К этим реалистам-политикам присоединились доктринеры революции, члены института, именовавшие себя представителями французской мысли и интеллигенции. Бонапарт тонко обошел их. Этот обход он предпринял тотчас же по возвращении. Первое письмо, написанное им в Париж, было письмо Лапласу, знаменитому геометру, одному из светил института, с благодарностью за присылку его трактата о Небесной Механике. Вот оно: “С благодарностью принимаю, гражданин, присланный Вами экземпляр Вашего прекрасного труда. Первые же шесть месяцев, которыми я буду иметь возможность располагать, пойдут на то, чтобы прочесть его. Если у Вас нет ничего лучшего в виду, сделайте мне удовольствие прийти пообедать с нами завтра. Мое почтение госпоже Лаплас”.⁵²⁴ 1-го брюмера он отправился в институт на обыкновенное заседание, очень просто вошел и занял свое

⁵²³ M-me de Staël, *Dix ans d'exil*, 359.

⁵²⁴ *Correspondance VI*, 4384.

обычное место. А 5-го снова был там. Он попросил слова и сообщил подробности о теперешнем состоянии Египта и его памятников древности. Он утверждал, что Суэцкий канал, соединивший два моря, существовал, что его даже весьма возможно восстановить по остаткам и что он, Бонапарт, позаботился произвести съемки и нивелировки, необходимые для этого великого труда”.⁵²⁵ Его ученые собратья были в восторге снова найти в нем человека, ум которого занят научными изысканиями, завоевателя-цивилизатора.

После Бонапарта просил слова Монж; он дополнил разъяснения своего генерала и подчеркнул их научную ценность. В институте его товарищи по Египту, Монж и Бертолле, а также Вольней и Кабанис организовали постоянную пропаганду. Вольней генерал поймал, затронув его слабую струнку, литературное тщеславие, восхваляя его описания востока, правдивость которых он, Бонапарт, имел возможность проверить. С Кабанисом он был необычайно почтителен и, казалось, благоговел перед его высокой добродетелью и святостью его жизни. Этих последних энциклопедистов он осыпал учтивостями, ластился к ним по-кошачьи, перенял их язык, казалось, усваивал себе их идеи, делил их симпатии и молился их богам. Он ходил на поклонение к госпоже Гельвециус, в маленький домик в Отэйле, это гнездышко идеологов.⁵²⁶ В тихом саду, таком удобном для философских бе-

⁵²⁵ **Le Publiciste**, 8 брюмепа.

⁵²⁶ **Antoine Guillois, le Salon de madame Helvétius**, 126.

сед и нежных признаний, в этой обители, посвященной культуре дружбы и воспоминаний, он восхвалял счастье уединенной мирной жизни на лоне природы, ее покой и гармонию, разыгрывал Цинцината, начитавшегося Руссо.

Ученые, метафизики считали его своим. Он щадил их щепетильность философов, не поступавшихся ни на йоту своими взглядами, льстил предрассудкам их секты; это внушало доверие. Считай они его способным восстановить католицизм и вступить в переговоры с Римом, они перепугались бы насмерть; но он относился с таким презрением к древнему национальному суеверию, его знаменитые воззвания к египетской армии, его восхваления мусульманства рассеяли все тревоги.⁵²⁷ Институт предпочел бы видеть его турком, чем христианином. Нравилось в нем и то, что он не щеголял своим мундиром, не подчеркивал своего военного звания. Известна знаменитая фраза: “Из всех военных это еще самый штатский”.⁵²⁸ Он был генералом идеологов; в противоположность этому воину, чтившему прерогативы и властолюбие мысли, Журдан, Ожеро, Бернадот, казалось, были представителями грубого милитаризма, партии солдатчины. Идеологи воображали, что Бонапарт создаст в угоду им правительство, стоящее вдали от народа, прогрессивное и ученое, дружественное философии и образованию. Невероятно, однако же, чтобы ни один из них не почувствовал, что предава-

⁵²⁷ *La Fayette*, V, 160.

⁵²⁸ *Mémoires de Joseph*, I, 77.

ясь человеку, опоясанному пылавшим мечом, они рискуют поставить над собой господина. Но для партии, которой они считали себя нравственными руководителями, необходимо было пройти через это, или погибнуть. Спасаясь от непопулярности, угрожавшей их принципам, влиянию и местам, они укрывались под сенью популярности великого и хитрого солдата. Бонапарт был последней картой революции; правящая группа революционеров поставила на него, рассчитывая, не выйдет ли Вашингтон. Но вышел Цезарь.

ГЛАВА VII. ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ПЕРЕВОРОТУ

Бонапарту сообщают план переворота – Он одобряет его с мысленными оговорками. – Выработанная программа действий. – Будущий режим и даже состав временного правительства с точностью не выяснены. – Задняя мысль Люсьена. – Сношения Бонапарта с якобинцами. – На него возлагают надежды все партии; общее недоразумение. – Народ остается безучастным зрителем. – Генерал Вандемьер. – Народ по-прежнему главным образом озабочен вопросом, будет война или мир. – Гарнизонные войска. – Брюмерские гренадеры; оказывается, что эти мнимые преторианцы совсем не знали Бонапарта, и среди них было много подложных солдат. – Моро – Бернадот. – Подготовка и подстрекательство. – Откуда брались деньги. – Финансовые компании. – Отдельные совещания. – Салон на улице Победы. – Бонапарт в свете. – Малое количество посвященных целиком в тайну. – Паника у Талейрана. – Фуше не допущен в число посвященных; самое важное ему не открыто. – День назначен: 18-брюмера. – Торжественная трапеза в храме Победы. – Знаменательное ликование народа. – Драгуны Себастиани должны быть центром тяжести всей

операции. – Комбинация неожиданного нападения этих войск с парламентским coup d'Etat Жозефина и Гойе. – Директора опутаны сетью хитростей и лжи. – Печальный обед у Камбасерэса. – Последние минуты.

I

Как только Бонапарт с Сийэсом пришли к соглашению, дело закипело; еще до конца первой брюмерской декады, меньше, чем в десять дней, заговор почти поспел. Программа действий была сообщена Бонапарту в том виде, как ее выработали Сийэс с друзьями, т. е. почти такой, как ее задумал покойный Бодэн Арденнский.⁵²⁹ В этом отношении Бонапарту ничего не пришлось изобретать; ему даны были уже обследованные и созревшие идеи.

В основу всего плана положена была мысль заставить существующие власти самим уготовить себе гибель и произвести заклание конституции почти конституционным порядком. Три статьи органического закона, ст. 102-я, 103-я и 104-я предоставляли старейшинам право, в случае надобности, переменить резиденцию законодательного корпуса, т. е. перенести ее из Парижа в более спокойную атмосферу. Почему не воспользоваться этой прерогативой, благо в совете старейшин можно распоряжаться, и не перевести советов в какую-нибудь сельскую коммуну, где легко иметь за ними надзор, но где при этом есть и подходящее помещение как, например, в Сен-Клу; там легче будет вынудить у заблокированных и отрезанных от мира собраний вотум о пересмотре конституции и создании новых полномочий. Этот план был хо-

⁵²⁹ «Notice de Cornet sur le 18 brumaire, p. 7.

рош тем, что лишал якобинцев совета пятисот поддержки их союзницы – черни; но в нем была и невыгодная сторона: приходилось разделить программу на две части и употребить на переворот целых два дня, тогда как в подобных делах первое правило не затягивать и ловить момент, пока противники не успели осмотреться и объединиться. Тем не менее желание вывести советы из-под влияния городской демагогии взяло верх над всеми прочими соображениями: вожди заговора еще не знали, как далеко парижский рабочий отошел от политики, и не могли поверить, чтобы предместья остались совершенно безучастными.

Бонапарт все одобрял, всем восхищался, уверял, что готов рискнуть своей славой ради успеха такого чудесного плана,⁵³⁰ мысленно обещая себе приспособить его на свой лад и, при выполнении, внести в него кое-какие поправки. Таким образом, перевод собраний в Сен-Клу был одобрен в принципе; но нужно было еще изобрести мотив или предлог. Впрочем, за предлогом недалеко было ходить: якобинцы сами конспирировали уже в продолжение нескольких месяцев, сами искали только подходящего случая и человека. Правду говоря, доказательств против них не было; не на чем было обосновать обвинение, построить устойчивое здание заговора, – но что за беда? В словаре революции всегда найдется достаточное количество страшных слов в помощь неопределенным указаниям, и они не преминут произвести впечатле-

⁵³⁰ Рукописные заметки Грувелля.

ние.

Итак, решено было, что в первый день, старейшины, собравшись на чрезвычайное заседание, под предлогом обширного заговора демагогов, постановят перевести собрания в Сен-Клу; в то же время, форсируя свои конституционные права, якобы для того, чтобы обеспечить выполнение этой меры, они назначат Бонапарта главнокомандующим войсками, сделав его таким образом совершенно независимым от всякой другой исполнительной власти и предав в его руки армию путем прямого полномочия от законодательного корпуса. Сийэс и Дюко присоединятся к движению; захваченного врасплох Барраса заставят подать в отставку, доказав ему бесполезность сопротивления; в случае надобности можно будет и припугнуть его. “Надо, – говорил Бонапарт, – чтобы он заставил забыть о своих хищениях, выйдя в отставку”.⁵³¹ Это значило с первого же удара свихнуть шею директории; затем останутся только Гойе, которого, по-видимому, можно будет перетянуть на свою сторону, и Мулэн, полное ничтожество. Исполнительный комитет не придется даже ниспровергать; он распадется сам собою.

На другой день оба совета, собравшись в Сен-Клу, под охраной и давлением войск вотируют перемену режима. Заговорщики надеялись, что против совета пятисот не придет-

⁵³¹ **Неизданный Отчет Журдана от 18 брюмера “Notice inédite de Jourdan”** – См. разговор между Бонапартом и Реалем, подслушанный Ле Кутэ у Лекюра. – Lescure, II, 220–221.

ся прибегать к крутым мерам, что перед неотразимым натиском общественного мнения и национального сознания всякая оппозиция должна будет смолкнуть, Если иные предвидели в перспективе необходимость прибегнуть к силе, они не смели возвести ее в правило.

Еще более неопределенной оставалась концепция будущего режима. Сийэс позволял угадывать в общих чертах свою конституцию и восхвалял ее непогрешимые добродетели. Но этот ожесточенный теоретик, этот мощный строитель абстракций был ленив излагать свои мысли на бумаге; он только говорил о своей конституции, а написать ее не написал. Когда он рассуждал с Бонапартом о будущих государственных организмах, о консулах, о конституционном жюри, совещательных собраниях, создаваемых путем умелого подбора, генерал все выслушивал, не сморгнув, и с таким лицом, как будто был уверен, что припасенный Сийэсом режим составит счастье Франции. Однако он избегал связать себя хотя бы словом, дать опутать себя заранее сложными обязательствами, которые подрезали бы крылья его честолюбию и спеленали его гений. Сийэс не настаивал; оба вождя чувствовали необходимость не разрывать союза, а так как при излишних объяснениях они рисковали разойтись во взглядах, то они и не остановились относительно будущего, по выражению Камбасерэса, “ни на одном определенном пункте”.⁵³²

Эта неопределенность делала необходимым временное

⁵³² Cambacères.

правительство, переходный режим. Решено было поставить во главе правления двух-трех консулов и дать им в помощь миниатюрный парламент, одну-две законодательных комиссии, которые, по соглашению с ними, выработают новую конституцию и передадут ее на утверждение плебисцита. Временными консулами, конечно, будут Бонапарт и Сийэс – эти имена подвертывались сами собой. Между ними можно будет посадить в качестве затычки Дюко, чтобы ослабить толчки и подбить ватой острые углы. Впрочем, и относительно состава будущего консульства как относительно окончательного распределения полномочий, между заговорщиками пока не было формального уговора; предполагалось, что события и обстоятельства укажут решение. Честолюбец Люсьен еще не сказал своего последнего слова; он еще воображал, что справедливая природа, наделив его брата военным гением, в виде компенсации одарила его самого всеми способностями, необходимыми для гражданского правителя. Что до Сийэса, он не терял надежды в переходный период забрать в свои руки учредительные комитеты и верховодить над всеми, даже над самим генералом, при помощи своего высокого умственного превосходства. Барраса дурачило его тщеславие; Сийэса подчас вводила в заблуждение его гордость.

Некоторые из его приближенных и любимцев тревожились, видя в Бонапарте гения, не знающего узды. Все колебания; однако, разгонял и всех сближал один неотразимый аргумент; какие бы опасения ни внушал Бонапарт, в нем еще

больше нуждались, чем боялись его. Лучше было рискнуть вместе с ним, чем без него наверное скатиться в пропасть. – “Где же гарантия во всем этом?” – спрашивал у Сийэса один недоверчивый человек. – “Нигде, – резко ответил тот, – но в крупном деле всегда приходится предоставлять кое-что на долю случая”.⁵³³

⁵³³ Grouvelle. “Notes manuscrites”.

II

Трудясь заодно с фактическими и духовными вождями революционной олигархии, Бонапарт не пренебрегал и противными партиями. Он надеялся подчинить своему обаянию и увлечь за собой вожаков всех фракций. Он положил себе быть в наилучших отношениях – с иными, и в дурных – ни с кем. Заискивать у партий ему не пришлось; они сами “постучались в его дверь”.⁵³⁴

Около 10 брюмера, т. е. в тот период, когда он ежедневно подолгу совещался с Сийэсом, он однажды, вернувшись домой, нашел у себя визитную карточку Журдана. Генерал приходил просить его произвести переворот вместе с якобинцами и в их пользу. Перед тем якобинские депутаты собрались в полном составе у Бернадота, чтобы выработать программу поведения. Журдан предложил следующее: “Пойти к Бонапарту и сказать, что мы готовы поставить его во главе исполнительной власти под условием, что представительное правительство и свобода будут гарантированы хорошими учреждениями”.⁵³⁵ Несколько человек резко возражали ему; Ожеро обрушился на беглеца из Египта, осыпая его грубой солдатской бранью, Журдан, однако, стоял на своем; и вот почему он от имени целой группы явился на улицу По-

⁵³⁴ Слова Бонапарта в совете старейшин 19 брюмера.

⁵³⁵ Notice Журдана.

беды. Бонапарт передал через Дюрока привет и приглашение пожаловать 6-го к обеду, которое Журдан принял. Это давало возможность *in extremis* побеседовать с генералом и, быть может, провести всю якобинскую партию.

Из других депутатов этой фракции, даже таких, которые кичились своей непреклонностью, несомненно, многие вошли в сношения с Бонапартом. Перед этими Бонапарт выставлял напоказ свои гражданские чувства, пытаясь рассеять их сомнения; этим господам, мнившим монополизировать патриотизм и, как прежде, представлявшим собою воплощение завоевательного духа революции, он сулил вернуть Италию и поднять республики-сестры.⁵³⁶ Впрочем, все они в общем и без того меньше опасались Бонапарта, чем Сийэса, полагая, что для республики опасен, главным образом, этот последний; не зная о союзе между генералом и вождем нового типа умеренных, они мысленно включали его в свои планы. Имея кучку приверженцев среди парижской черни, они воображали, что у них еще хватит влияния поднять предместья и вызвать народное движение. А там, когда “патриоты восстанут” и начнется бой, к ним примкнет и Бонапарт хотя бы для того, чтобы не дать опередить себя; тогда успех обеспечен.⁵³⁷ Таков был их расчет. Иные льстили себя надеждой, что уже заманили его в свои сети,⁵³⁸ признаваясь в то же вре-

⁵³⁶ **Полицейские донесения в Мемуарах Барраса, IV, 80.**

⁵³⁷ **Там же, IV, 59.**

⁵³⁸ **Там же.**

мя, что трудненько было перехитрить такого хитреца. В итоге ему удалось оставить их в неуверенности насчет себя и разномыслии, что помешало им заблаговременно сплотиться в решительную оппозицию.

Кроме якобинцев и нового типа умеренных, ни одна партия не имела представителей ни в правительстве, ни в собраниях; следовательно, все они могли оказать лишь отдаленное и косвенное содействие. Эти партии также надеялись на Бонапарта, ибо он олицетворял собой перемену, а несчастный рад всякой перемене. Либералы, люди 1789 года и пострадавшие в фрюктидоре, рады были уверить себя, что генерал сочтет за честь уничтожить тиранию революционеров и вернуться к принципам.⁵³⁹ Лафайет писал ему, поздравляя с возвращением от имени “свободы и отечества”.⁵⁴⁰ Жена Лафайета, жившая в Париже, была у Бонапарта, и он принял ее очень любезно. С другой стороны, сам он признавался: “Я принимал агентов Бурбонов”.⁵⁴¹ Перед каждым он открывал желанное будущее: своим союзникам-олигархам гарантиро-

⁵³⁹ См. письмо Порталиса в *Publiciste* от 22 брюмера. С другой стороны в неизданных “Мемуарах” Бартеlemi (Barthelemy “*Mémoires inédits*”) читаем: “Так как в последнее время предвиделась в недалеком будущем крупная перемена, и мои родные и друзья не сомневались более, что меня скоро вызовут обратно во Францию, мой брат Анисэ рано утром 1 ноября снаряжился в путь – за мною”. Бартеlemi был тогда в Гамбурге.

⁵⁴⁰ *La Fayette*, V, 146.

⁵⁴¹ Слова Бонапарта, сказанные г-же Ремюза, у Gung'a “*Bonaparte et son Temps*”, III. 320.

вал устойчивость правительства и высокие посты; роялистам рисовал в перспективе умиротворение страны и, быть может, нечто большее; якобинцам сулил неприкосновенность республики и либералам свободу. Самые различные партии возлагали на него надежды, ибо в себя они уже утратили веру; а он всеми ими пользовался и всех обманывал ради пользы Франции и собственного честолюбия; и это колоссальное недоразумение, с добавкой действовавшего на всех престижа, как волна, несло его к власти.

Ослепленная его славой, но снова бездействовавшая народная масса не препятствовала. В Париже опять все затихло; население в общем оставалось безучастным; царил застой. Победы в Швейцарии и возвращение из Египта лишь на миг вывели народ из этого оцепенения; времена были слишком тяжелые, гнет слишком чувствовался всеми для того, чтобы этот подъем мог продержаться долго. Легкомысленное общество тешилось развлечениями, бегало по театрам и увеселительным садам. Для этого общества, дошедшего до последней степени скептицизма, все обращавшего в шутку, надо всем острившего, жившего день за день, сидевшего без гроша и все же много тратившего, готового все снести, лишь бы не видеть опять гильотины, Бонапарт был скорее предметом любопытства, чем упований, а главное — темой для разговора. О нем говорили, как говорили о модах сезона, о женщинах, заменивших прическу La Titus греческой, с локонами: “Все, обрезавшие себе волосы в отчая-

нии”.⁵⁴² Тем не менее Бонапарту рукоплескали бы, если бы он отменил прогрессивный налог и обуздал придирки фиска. Торговые люди и мелкая буржуазия вздыхали о более мягком режиме и до смерти боялись анархистских заговоров, но это были слишком мягкотелые люди для того, чтобы действовать; они могли только плакаться на свою участь и ждать. Народ, измученный десятью годами кризисов, был не способен ни к какой революционной или гражданской деятельности.

Несколько запоздалых агитаторов, оставшихся верными карманьоле, все еще пытались поднять его. Они втирались в группы рабочих без работы, бегали в Пале-Рояль, ходили в кафе, где позволялось разглагольствовать, ругали на чем свет стоит Бонапарта и его замыслы, убийственные для свободы, но большинство не слушало их, как не слушало и роялистов, с своей стороны честивших “африканского героя”.⁵⁴³ Эти политики перекрестка и болтуны кофеен были не чем иным, как налетом пены над огромной неподвижной поверхностью. Да и уличные якобинцы не все подозрительно относились к Бонапарту; иные помнили, что он бросал к ногам республики императоров и королей и окружил их кумир ореолом неувядающей славы. Не он ли 13 вандемьера палил из пушек буржуа роялистов, дав революции кровавое

⁵⁴² **Letress de madame Récamier 28 вандемьера, стр. 91.**

⁵⁴³ **Донесение генерального штаба, 25–26 вандемьера. Национальный архив А – F, III, 168.**

доказательство своего рвения. За эту пальбу его и прозвали “генералом вандемьером”; это прозвище сохранилось в памяти черни и сослужило ему службу. Утром 18 брюмера, несколько террористов, еще летом посаженных в тюрьму по приказу директории, при первом же известии подняли крик: “Это генерал вандемьер—он вернулся, чтобы спасти республику!”⁵⁴⁴

Настоящий народ не заглядывал так далеко вперед, глубоко равнодушный к судьбе учреждений, получивший отвращение ко всякого рода политикам, безучастный и к подстрекательствам якобинцев, и к замыслам Сийэса с его парламентскими приверженцами, всякого чиновника почитавший вором и продажной душой, он верил в Бонапарта, но ждал от него только одного, все того же – мира с чужеземцем. И слухи о его новом назначении ходили соответственные; одни уверяли, что он снова примет начальство над всеми армиями; другие отправляли его в Германию с дипломатическим поручением; для всех он был человеком, перед которым союзники должны будут капитулировать. Он прекрасно понимал и эксплуатировал это мнение о нем масс. “Мы хотим завоевать мир”, говорил он вечером 18-го своим писателям, – “это надо объявлять во всех театрах, публиковать во всех газетах, повторять в прозе, в стихах, даже в песнях”.⁵⁴⁵ С это-

⁵⁴⁴ *Mémorial de Norvins*, II, 217.

⁵⁴⁵ “*Souvenirs d'un sexagénaire*” par Arnaut, у Lescure'a, II, 258. Песня на самом деле была сочинена Арно и Каде-Гассикуром; это знаменитая

го дня в предместьях начинают циркулировать слухи о мире; это и было самой важной для народа новостью накануне брюмера; полиция в своих донесениях определяет настроение народа следующим образом: “Париж спокоен, рабочие, в особенности. В предместье Антуана люди жалуются, что сидят без работы, но повсеместно распространившиеся слухи о мире, по-видимому, оказывают на народ благотворное влияние”.⁵⁴⁶

Стоявшие в Париже войска, в общем, готовы были поддержать предприятие. Гарнизон состоял из семи с небольшим тысяч человек, не считая гренадеров директории и советов три пехотных полубригады – 6-я, 7-я и 96-я, 8-й и 9-й драгунский полки и 21-й стрелковый с несколькими взводами артиллерии 9-й бригады.⁵⁴⁷ Большая часть этих войск видели Бонапарта в деле, но уже самый звук его имени бил по струнам их сердец; к тому же они терпели материальные лишения. В термидоре прошлого года вернулась из плена 79-я полубригада в самом плачевном виде. Солдаты, загоревшие, исхудалые, в лохмотьях, рассказывали о своих на-

Fanfare de Saint-Cloud.

⁵⁴⁶ Военный архив, общая переписка, бюллетень 12 брюмера. См. донесения генерального штаба 1 – 16 брюмера Национальный архив А – F, III, 168.

⁵⁴⁷ Военный архив, бюджет войск, входящих в состав парижского гарнизона от 16–30 брюмера VII года. Сюда надо прибавить еще 28 рот национальных ветеранов, два Сенских батальона и 168 жандармов. В 17-й дивизии было всего 15725 человек.

прасных подвигах и необычайных трудах на Корфу, а Париж смотрел и слушал.⁵⁴⁸ Директория, при своем постоянном безденежье, не в состоянии была, удовлетворить потребностей войск. Среди них росло ожесточение против этого правительства, неисправно платившего жалованье, болтливое, бессильное, подкупное, морившего голодом солдат и в трудную минуту не выручавшего армий. Бонапарт, наоборот, был для них богом войны, притом же этот человек умел творить чудеса: он находил ресурсы там, где другому бы и не догадаться поискать. Он щедрой рукой оделял своих солдат идеалом и в то же время умел доставить им удобства жизни, дать им и славу, и хлеб. В особенности уверены были в его торжестве кавалерийские полки. 9-м драгунским, составленным сплошь из храбрецов, командовал полковник Себастиани, корсиканец, проникнутый духом клана и фанатически преданный Бонапарту.

Директория и советы имели собственную гвардию, приблизительно в полторы тысячи человек: директория – двести конных или пеших гренадеров с многочисленным главным штабом, советы – тысячу двести восемьдесят пеших гренадеров. То были молодцы по меньшей мере пяти футов пяти дюймов роста; жалованье им платили аккуратнее и кормили их лучше, чем остальные войска; они гордились своим красивым синим мундиром с белыми кожаными отворотами, своей медвежьей шапкой с красными шнурками и алым

⁵⁴⁸ Publiciste, 20 термидора.

султаном; грубые и задорные, они позволяли себе большие вольности по отношению к дисциплине, курили трубки даже при исполнении обязанностей службы, сопровождая кого-нибудь в качестве свиты, поддразнивали и толкали буржуа, которые их терпеть не могли. Состав этой стражи был самый разношерстный: остатки прежней гвардии Коннетаблей, в 1879 г. переданной в распоряжение учредительного собрания; французские гвардейцы из вероломного корпуса, 14 июля примкнувшего к бунтовщикам, сохранившие нравы своей части; люди с подозрительным прошлым, отъявленные негодяи и сутенеры⁵⁴⁹ и тут же ярые патриоты и хвастуны из предместий, в разное время поступившие на службу; все это, слитое воедино ради образования корпуса жандармов национального конвента, видевших неприятеля только в Вандее во время коротенькой кампании; и рядом с ними воины по профессии, бывшие солдаты, главным образом, из немецкой армии.⁵⁵⁰

Эти брюмерские гренадеры были, в сущности, прямой противоположностью преторианцам, с которыми их так ча-

⁵⁴⁹ Характерные отзывы о некоторых из них, впоследствии уволенных Бонапартом, находим в полицейских донесениях: “Уволенные в отставку офицеры бывшей гвардии законодательного корпуса, равно как и гренадеры той же части, выгнанные за непослушание и распутство, остались в Париже. За ними следят тем тщательнее, что большинство из них, по-видимому, не имеют средств, живут за счет гулящих женщин и постоянно шатаются в окрестностях дворца Трибунала (Пале-Рояль)”, – 4 мессидора VIII г. Национальный архив, AF, IV, 1329.

⁵⁵⁰ *Mémoires de Mathieu Dumas*, II, 102.

сто сравнивали. Римские преторианцы знали только своего вождя и ставили его выше всех законов; для них отечеством был лагерь, а не город. Советы и директорию охраняли люди, большинство которых не знало Бонапарта и было весьма доступно гражданским страстям. Ярые демократы, суровые полицейские, любители задать трепку мюскаденам и вообще щеголям-аристократам, они считали себя охранителями учреждений. Хотя многие из них по своей распутной жизни и были доступны подкупу, громкие слова, так часто слышанные ими: “верховные права народа, святость законов, неприкосновенность народного представительства” еще не совсем утратили над ними власть. Теперь могло случиться, что им представится необходимость восстать против одного из советов. Как они поступят? Заранее ответить на этот вопрос было трудно; в этом направлении рисовалось что-то темное и подозрительное; приходилось принимать предосторожности и носить известную личину.

Впрочем, не следует думать, чтобы солдаты и офицеры других частей, к какой бы категории они ни принадлежали, были только пассивными орудиями в руках своих начальников. Очень воинственные и в то же время ярые революционеры, они презирали в существующем режиме не столько учреждения, сколько людей; они желали бы видеть у кормила правления испытанных патриотов, знаменитых республиканцев, воинственных, насколько это возможно, но правящих с соблюдением форм и с атрибутами гражданской вла-

сти. Их опьяненное классическими воспоминаниями воображение рисовало им консулов с увенчанным лаврами чело-
лом, окруженных ликторами,⁵⁵¹ воплощающих в себе вели-
чие народа. Никогда бы они не стали помогать введению чи-
сто военного режима, созданию явной и патентованной дик-
татуры. Пошли ли бы они до конца за Бонапартом, не оста-
навливаясь и перед физическим насилием над директорами
и враждебными ему депутатами? Да, но при условии, чтоб
они верили, что это делается для возрождения, а не для нис-
провержения гражданской власти, при условии также, что
не нашлось бы несогласного генерала, уважаемого, или про-
славленного победами, который бы обличил диктатора, вы-
звал бы переворот в настроении войск, смутил их буйный
дух и с оружием в руках спас учреждения.

Из генералов, способных на такую попытку, более всего
старались ограничить действия Журдана. Ожеро по-прежне-
му был не способен действовать по собственному побужде-
нию. Люсьен ручался за него, уверяя, что, несмотря на свои
свирепые речи, этот хвостун не посмеет послушаться прика-
за. “Я его позову с пистолетом в руке, а он придет”.⁵⁵² Иное
дело Моро и Бернадот – сними необходимо было серьезно
считаться. Моро слыл вторым после Бонапарта военачальни-
ком республики, но он совершенно лишен был личного оба-

⁵⁵¹ (Lictores), служители высших римских должностных лиц, несшие
перед ними fasces (пучки розог с топорами в середине).

⁵⁵² Grouvelle.

нения, дара пленять и вызывать энтузиазм; у него была репутация, но не было популярности. Да он и сам, как мы уже видели, сразу стушевался перед Бонапартом, признавая необходимым действовать энергично и не желая взяться за это дело. Но так как вне поля битвы он был человек боязливый и неустойчивый, а имя у него было крупное, его все же следовало покрепче привязать к себе и даже заручиться его сотрудничеством.

До возвращения из Египта, Бонапарт и Моро не были знакомы лично и даже никогда не видали друг друга. Их в простоте души свел у себя на обеде президент Гойе 30 вандемьера. Бонапарт был любезен и держал себя с большим тактом. Он очень ловко преподнес косвенный комплимент Моро, похвалив его офицеров: “Генерал, несколько ваших лейтенантов были со мною в Египте, – прекрасные офицеры”.⁵⁵³ Затем установились правильные сношения, и вскоре договор был скреплен подарком Бонапарта Моро – дамасским кинжалом, осыпанным брильянтами и оцененным в десять тысяч франков. Держась в стороне от подготовительных интриг, Моро заявил, однако, что явится по первому сигналу на переворот, как на службу; таким образом, избегая всякой инициативы, он добровольно шел под начало. Это не значит, чтобы он не завидовал Бонапарту, но он завидовал ему по-своему, не посягая на его гражданское первенство. Втайне он надеялся, что Бонапарт, бросившись в политику, где он

⁵⁵³ Publiciste, 2 брюмера.

легко мог, как столько других, запутаться и погибнуть, избавит его от опасного соперника в начальствовании армиями.

Не таков был Бернадот, этот генерал-политик, который недавно блеснул таким ослепительным метеором в военном министерстве, на миг, казалось, воплотив в себе национальную защиту. Он действительно был популярен; его выгодная внешность, умение говорить, приветливое обращение, его жизнь на широкую ногу, пышные приемы, – все это привлекало к нему людей и покоряло сердца. Хотя его и причисляли, как прежде, к якобинцам, с виду он, казалось, больше, чем кто бы то ни было, должен был быть предан Бонапартам, так как был женат на *belle-soeur* Дезире Клари, Жозефа. Но, в сущности, на этого *guasi* родственника можно было положиться меньше, чем на кого бы то ни было. Он не мог простить себе, что, имея возможность захватить в свои руки власть, в бытность свою министром, по недостатку характера пропустил случай; согласится ли он облегчить другому такой захват?

Бонапарт тянул его к себе, старался играть на его чувствительных струнках или же дразнил его и подтрунивал над ним, называя его то шуаном, то якобинцем. Он старался также скомпрометировать его, афишируя свою близость, напрашиваясь к нему на завтрак или же являясь без приглашения “на чашку кофе”.⁵⁵⁴

⁵⁵⁴ Все сообщаемое о Бернадоте в Мемуарах Барраса и в книге Тусшар-Лафосса, по-видимому, исходит из одного и того же источника, от

Бернадот не уклонялся; бывал на всех семейных собраниях и пикниках, отплачивал вдвойне и втройне за любезность, устраивал у себя, на Цизальпинской улице, обеды для Бонапартов, был любезным хозяином и болтал без умолку; но на всякое откровенное приглашение уклонялся от ответа, прячась, как за щитом, за громкими словами и принципами. Жозеф и Наполеон устроили за ним домашний надзор, приставили к нему альковную полицию в лице его жены, которую он очень любил. Жена, душою преданная Бонапартам, старалась взять его лаской, но Бернадот, хотя и любил жену, не доверял ей и постоянно ускользал из сети, которой его пытались опутать. Никто не знал наверное, как он поступит, и сам он с его упорным честолюбием, мучительной завистью и неопределенностью желаний, хорошенько не знал этого. Пока он оставался в стороне, тревожно следя за всем происходившим, слишком нерешительный, чтобы пойти наперекор, слишком честолюбивый, чтобы подчиниться.

Другие генералы, командовавшие или нет отдельными частями, не внушали опасений. Макдональд, Бернонвиль, Серюрье сами предложили свою помощь. За парижского коменданта, Лефевра, можно было поручиться, что он подчинится Бонапарту, как только тот указом совета старейшин будет поставлен выше его в служебной иерархии, и счастлив будет повиноваться такому начальнику. Это он сказал 18 брюмера: “Нам нужна не конституция, а запрет

(consigne)”.⁵⁵⁵

Генералы, вернувшиеся с Бонапартом из Египта, его адъютанты, были превосходными посредниками в переговорах с теми офицерами, которые не пришли сами без зова. Эту заботу взяли на себя Леклер, муж Полины, и Мюрат, который должен был жениться на Каролине. Мюрат раньше служил в 21-м стрелковом полку; он умел подогреть усердие своих бывших товарищей. Леклер, всеми уважаемый, даровитый, имел много связей в военном служебном мире и утилизировал их. Таким образом, пропаганда захватила мало-помалу и те круги, куда Бонапарту особенно интересно было проникнуть. Убедившись, что командир директориальной гвардии, генерал-адъютант Жюбе, более политик, чем солдат, и протеже Барраса, первый порвет с своим покровителем и прикнет к Бонапарту. Бланшар, начальник гвардии советов, уже однажды изменил своему долгу 18 фрюктидора, и с ним не трудно было сговориться. За его полезные услуги в фрюктидоре директория ласкала его и повысила в чине; но именно потому, что он, будучи военным, занимался политикой, он в брюмере и пошел против директории; к подначальным лицам посылали и посредников поплоше; их просто сманивали на службу к Бонапарту.

Несомненно, тратились и деньги; откуда они брались? Бонапарт привез из Италии несколько миллионов; во время

⁵⁵⁵ Полицейское донесение от 28 сентября 1808 г. Национальный архив. А. Ф, IV, 1503.

египетского похода Жозеф, которому поручено было заведовать деньгами, обратил их в общий семейный фонд; он с Люсьеном израсходовали миллионов несколько на покупку земель и замков, на роскошную жизнь и на свои честолюбивые планы. Вернувшись, Бонапарт, по словам Редерера, не нашел в кассе и ста луи, зато у жены была куча долгов.⁵⁵⁶ Слов Редерера, конечно, нельзя принимать буквально, но в наличных деньгах, несомненно, ощущался недостаток; зато фискальные притеснения в последние месяцы и прогрессивный налог подготовили ему ресурсы, заставив всех дельцов и финансистов призывать спасителя.

Еще на днях новая угроза повергла в смятение поставщиков. По инициативе депутата Дельбреля совет пятисот вынес постановление, переданное теперь в совет старейшин, о лишении поставщиков предоставленных им полномочий (*délégations*) ведать поступлением некоторых налогов; таким образом, они лишились права самим получать обратно ссуженные ими правительству суммы. Надо было во чтобы то ни стало отвести удар. Они кинулись к Бонапарту. По всей вероятности, они обещали поддержку основанных ими крупных компаний под условием, что они не будут лишены своих привилегий.⁵⁵⁷

⁵⁵⁶ *Oeuvres*, III, 295.

⁵⁵⁷ Дельбрель впоследствии писал: “Я имею полное основание думать, что эти компании были весьма полезными помощниками при осуществлении задуманной революции. Разумеется, они обещали свое содействие лишь под условием, чтобы принятая по моему предложению со-

Один из них опередил всех; то был банкир и подрядчик Колло, на редкость интеллигентный и одаренный блестящим умом, делец и поэт, человек разумный и способный к энтузиазму. Он всесторонне изучил характер Бонапарта и все же не мог устоять против обаяния этого великого ловца людей. В свое время, сопровождая его на Мальту, он по дороге говорил Жюно: “Ты видишь, что это за человек: если бы ему понадобилось, он бы любого из нас не задумался выкинуть за борт, но в угоду ему мы и сами все кинулись бы в воду, не дожидаясь его приказа”.⁵⁵⁸ По возвращении Бонапарта из Египта, он, по-своему, был очень полезен ему и много помогал ему деньгами. Обращались частным образом и к другим банкирам, получая согласие, иногда отказ, Бонапарт не брезговал и сам порою лично вступать в переговоры. Однажды вечером он посетил банкира Нодлера в его поместье, в Севре, и вернулся очень довольный; едва ли причиной этого хорошего настроения было исключительно удовольствие прокатиться за город осенью. Не видно однако же, чтобы крупные банкиры, уже теперь оказывали ему денежное содействие, или, по крайней мере, чтобы имена их фигурировали в деле; но они, несомненно, желали ему успеха и готовы были сгладить предстоящие затруднения. Поддержка крупных капиталистов была обеспечена тому, на кого еще не

ветом пятисот резолюция была отвергнута старейшинами”. Рукопись, помещенная в *Republique française*.

⁵⁵⁸ *Mémoires de Thiébault*, II, 61.

переставали возлагать надежды якобинские агитаторы.

III

Так велось дело. Совещания посвященных происходили повсюду, то у того, то у другого; все делалось торопливо и крадучись. Бонапарт принимал теперь с утра до вечера. Однажды генерал-адъютант Тьебо, явившись к нему в десять часов утра, застал его уже в гостиной, в беседе с визитером; окончив разговор, хозяин подошел к Тьебо и пригласил его остаться запросто позавтракать. Жозефина уже вышла; они садились за стол.

За завтраком Бонапарт великолепно говорил, клеймя учреждения и правителей. “Эти люди принижают Францию до уровня собственной своей бездарности; они позорят ее, она отменяет их”.⁵⁵⁹

Пришлось поспешить с окончанием завтрака, так как доложили, что в гостиной ждет генерал Серюрье. Бонапарт был очень ласков с Тьебо, намекая ему, чтобы он держался наготове – в случае чего, он возьмет его себе в адъютанты – и направил его к Бертье, который вел счет приверженцам и составлял списки.

Наплыв посетителей не уменьшался до сумерек, когда домик “генерала”, скрытый в глубине узенькой аллеи, озарялся огнями. Жозеф приводил Моро; тот входил, крадучись, чтобы в двух словах подтвердить свою готовность быть союзни-

⁵⁵⁹ *Mémoires de Thiébault*, II, 61.

ком и сейчас же скрыться. “Салон в маленьком домике на улице Победы был уже битком набит собравшимися гостями”.⁵⁶⁰ За обедом всегда присутствовали один-два ученых и военные. И вечером дом “генерала” был открыт для привилегированных из всяких сфер – и тех, кого важно было за-получить, и тех, кого следовало обмануть.

Рамки были элегантны, насколько это допускала миниатюрность размеров; обстановка самая парижская, согласно требованиям тогдашней моде т. е. греческая, коринфская, римская, египетская, с остатками старого французского вкуса и старомодного изящества; маленький зал с колоннами, с тонкой золоченой резьбой, с мозаичным полом, с расписными стенами, на которых порхали крылатые фигурки. В этом салоне, заставленном бронзой и мебелью красного дерева, среди треножников и урн, принимала гостей Жозефина, еще красивая при свечах, со своим разрисованным лицом и ухищрениями туалета, превосходно умевшая переводить разговор на другое, когда тема становилась скабресной, и мило болтать о пустяках, занимая директора Гойе, которого она усаживала на диванчик возле себя. Порою в этом салоне появлялась и тоненькая стройная пансионерка Гортензия; женщин было мало; иные являлись в пеплумах, сидели в небрежных смелых позах, болтали игриво, не стесняясь в выражениях. Возле них, наклоняясь к ним, чтобы слышать слова, восседали политические деятели с осанкой

⁵⁶⁰ *Mémoires de Joseph, I, 76.*

прокуроров, “и подбородком, лежащим на галстукѣ”,⁵⁶¹ с шей, совершенно потонувшей в волнах кисеи и мешковатом воротнике просторного черного фрака, несколько *ci-devant*, по-стариковски элегантных и надутых генералов, адъютантов Бонапарта, в доломанах, обшитых галунами. В этом расслабленном обществе эпохи конца революции женскую наготу, едва прикрытую прозрачными материями, всегда оттенял грубый блеск мундиров; в раззолоченных салонах всегда слышалосьбряцанье сабель и звяканье шпор.

Центром оставался Бонапарт. Прислонившись к камину или переходя от одной группы к другой, он оживленно беседовал с гостями фамильярным и в то же время авторитетным тоном, одним взглядом заставляя склоняться перед собой всех этих людей, которые были головой выше его; затем, отведя кого-нибудь в сторонку, заводил речь о самом главном, спорил, горячился, предупреждал возражения и опровергал их. – Обвинять его в том, будто он хочет чего-то иного, кроме республики, в основу которой положены известные принципы, – какая нелепость! – “Только сумасшедший мог бы с легким сердцем подстроить так, чтобы республика проиграла свой заклад королевской власти в Европе, после того, как она так долго отстаивала его не без славы и подвергаясь стольким опасностям!.. Было бы святотатством посягнуть на представительное правительство в век просвещения и сво-

⁵⁶¹ Архив в Шантильи, письмо от 1-го дополнительного дня VIII года.

боды”.⁵⁶² Он сводил вместе недовольных режимом, разжигал их ненависть; пытался поссорить своих противников, передавая им все дурное, сказанное о них, унижаясь до сплетен, спускался в самую грязь политики, лепя из нее нужные ему фигуры, – и вдруг одним взмахом поднимался над всей этой грязью и парил на высоте, в двух словах высказывал высокую мысль, находя удивительные обороты речи, фразы, простые и прекрасные, как античная древность.

Теперь он иногда выходил из дому, по вечерам, показывался в салонах. Его неожиданное появление в министерстве иностранных дел, на одном из периодических вечерних приемов г-жи Рейнар, было целым событием. Там собирались представители служебного и дипломатического мира. Неожиданный гость держал себя скромно и в то же время властно, был “прост, как тот, кто вправе требовать всего”;⁵⁶³ он как будто хотел затеряться в толпе, вполне уверенный, что и там он останется мишенью всех взглядов. Он не старался блистать; но беседовать с ним было так интересно, его ум был так жив, так непринужденно свободен, что это очаровывало больше банальных любезностей. От него ждали великой помощи, и никому не приходило в голову просить его о маленьких услугах. Один молодой человек, имевший неосторожность попросить Бонапарта замолвить за него словечко перед директорией, нарвался на такой ответ; “Там где я бы-

⁵⁶² Roederer, “Oeuvres”, III, 300 и Cambacérés, “Eclaircissements inédits”.

⁵⁶³ Lettres de madame Reinhard, 93.

ваю, я приказываю или молчу”.⁵⁶⁴ Вокруг него его друзья, близкие приятели, братья, маневрировали каждый на свой лад и согласно своим способностям. Редерер и Реньо, сметливые и практичные, скромно делали свое дело. Талейран, небрежно раскинувшись на канаве с бронзовой инкрустацией, полулежа, с бесстрастным лицом, с пудрой в волосах, говорил мало, время от времени вставляя меткое язвительное словцо, как молния, освещавшее разговор, и снова принимая равнодушный, изящно томный вид.⁵⁶⁵ Литератор Арно и другие писатели ловили каждое слово генерала, чтобы воспользоваться им для статьи. Булэ обнаруживал большую решительность в суждениях; Реаль, террорист, вернувшийся издалека, умница, весельчак и циник, при каждом удобном случае отпускал грубые шуточки, от которых еще забавнее казалась его “физиономия тибетской кошки”. (*Chat tigre*).⁵⁶⁶

Жозеф обладал гибкостью ума и обаятельным обращением. Его дом, красивый отель на улице Эрранси, в квартале Роше, также был центром. Работали и у Талейрана, на улице Тэбу, в то время, как у г-жи Гран и де Камбис играли в вист с хозяином дома, “герцогиня д’Оссуна, присев на столик, болтала с Редерером”, а латинист Лемэр угощал собеседников “гимназическим остроумием”.⁵⁶⁷ Работали и в за-

⁵⁶⁴ *Lettres de madame Reinhard*, 93.

⁵⁶⁵ *Lettres de Charles de Constant*, 87.

⁵⁶⁶ Allonville, “*Mémoires*”, III, 66.

⁵⁶⁷ Слова Бонапарта, приводимые Joung'ом в “*Bonaparte et son Temps*”,

седаниях комиссий, и в квартирах депутатов, даже в отдельных кабинетах ресторанов и кулуарах театров; Париж уже и тогда был городом, где самые важные дела обделываются “в Опере, во время антракта”.⁵⁶⁸ У брюмерцев был свой придворный ресторатор, Роз, которому пришла гениальная мысль переложить свою карточку в стихи. Каждый раз за столом появлялось новое лицо, какой-нибудь неожиданный союзник, чиновник или депутат, а раньше завербованные дивились и радовались: Ага! и этот явился! да что же это! – все правительство, значит, в заговоре против самого себя!..

Из министров оказывал содействие Камбасерэс своим обширным влиянием. Роберта Линде, министра финансов, Сийэс зондировал напрасно.⁵⁶⁹ Военный министр Дюбуа-Крансэ, по-прежнему держался оборонительной тактики, но уже решено было указом старейшин лишить его всякой фактической власти над войсками. Остальные, за исключением Фуше, не шли в счет. Жозеф привел Ле Кутэ де Кантеле, президента центральной администрации департамента Сены; это обещало весьма ценную поддержку высшей власти в городе. Реаль, комиссар при департаменте, мог воздействовать на комиссаров, прикомандированных к округам, и держал их в руках. Из старейшин наиболее связали себя обещаниями Корнюде, Ренье, Корнэ, Фарг, Шазаль, Булэ, Год-

III.

⁵⁶⁸ Arnault, у Lescure'a, II, 245.

⁵⁶⁹ Armand, Montier, “Robert Lindet”, 379.

эн, Фрежевилль, Вильтар, старались повлиять на своих друзей в совете пятисот. Семонвилль, заранее чувявший успех, сразу примкнул к новой партии; Бенжамен Констан, прославившийся своими сочинениями, но крайне огорченный тем, что ему до сих пор не удалось попасть ни в одно из собраний, ждал от предстоящей революции блестящего парламентского положения и ревностно содействовал ей, равно как и “многие другие, впоследствии ядовито порицавшие правление Бонапарта”.⁵⁷⁰ Каждый действовал в своей сфере, привлекая обращенных и полуобращенных, не щадя сил, чтобы помочь ходу дел. Все они только шли вослед движению, не сознавая его, увлекаемые стремлением целого народа к необычайному и обаятельному существу, избраннику народного инстинкта.

Число посвященных в тайну целиком, т. е. в порядок и процедуру выполнения, тем не менее, оставалось очень ограниченным. За исключением друзей, примкнувших к ним с первой минуты, Бонапарт и Сийэс были вполне откровенны с очень немногими. Остальным объясняли только каждому предназначенную ему роль в ансамбле и какой услуги от него ожидали. Робким говорили, что учреждений коснутся лишь слегка и сулили, что в будущем они сохранят свои места или найдут себе новые. Относительно этого будущего вожаки заговора были тем скромнее, что сами хорошенько не выяснили его себе и руководились скорее убеждением в необходи-

⁵⁷⁰ Cambacérés.

мости реформ, чем готовым планом переустройства государства. Это составляло и сильную и слабую сторону дела, позволяло сплотиться разнородным сообщникам, в то же время внося в их деятельность какую-то разбросанность и нерешительность. Несмотря на всеобщее, хотя и неопределенное содействие и соучастие, вожди движения не были спокойны; нескромность, измена могли погубить их. Однажды вечером Бонапарт и несколько верных собрались у Талейрана, как вдруг топот копыт кавалерийского отряда, как будто подъехавшего и остановившегося у дверей, поверг их в смятение; на поверку оказалось, что это был просто отряд конных жандармов, конвоировавший от Пале-Рояля пошлину, собираемую государством с азартных игр, чтобы уберечь деньги от воров и грабителей, карауливших в засаде на каждом углу.⁵⁷¹ Полиция смотрела сквозь пальцы на подготовительные операции заговорщиков, была умышленно слепа и глуха. Фуше решил, что никакого заговора нет и громогласно утверждал это, требуя, чтоб ему верили, так как, если бы заговор существовал, он бы знал это и грозою налетел бы на заговорщиков. Однажды на вечере у Бонапарта он говорил по этому поводу такие страшные слова, что у дам пробежала дрожь по спине: «Если бы заговор существовал все время, что о нем идут слухи, разве мы не имели бы доказательства тому на площади Революции или на Гренельской пло-

⁵⁷¹ *Mémoires de Talleyrand, I, 272.*

щади?”⁵⁷²

В последнее время и Фуше был исключен из числа вполне посвященных. С тех пор, как партия тесно сблизилась с Сий-эсом, выкинув за борт Барраса, другом которого оставался Фуше, и министр полиции казался недостаточно надежным для того, чтобы заблаговременно предупреждать его. Да о нем и нечего было особо тревожиться: заговорщики знали, что когда начнется кризис, если только они сразу возьмут перевес, он перейдет на их сторону.

Сам Фуше, по-видимому, не добивался признаний, которые бы слишком скомпрометировали его. Он помог пустить дело в ход, и слегка отстранился, предоставив ему развиваться самостоятельно; он не препятствовал, но и не хотел стоять слишком близко, ибо ему казалось, что руководители уклоняются от намеченного пути и некоторые шансы на успех потеряны. Кем окружал себя теперь Бонапарт? Ораторы, говоруны, теоретики, члены института, – все люди по существу неспособные действовать энергично. Несколько якобинцев, хорошо вышколенных и выдрессированных, были бы, по его мнению, гораздо полезнее. И был ли он так уж не прав? Ведь друзья Бонапарта в парламенте 19-го днем действительно чуть было не погубили дела, бросив его в критическую минуту. Итак, Фуше держался поодаль; не веря в сопротивление директории, но и не вполне уверенный в успехе Бонапарта, он оберегал собственные шансы и вел свою

⁵⁷² Arnault, у Lescure'a, II, 244.

особую линию. Пока он не пускал в ход своей полиции, но крепко держал ее в руках, быть может, надеясь между низвергнутой директорией и неудавшейся затеей один уцелеть и остаться господином положения. Вместо того, чтобы приставать к Бонапарту с расспросами, он задал ему роскошный обед, после которого Лэ (La's) и Шерок пели поэму Оссиана.⁵⁷³ Готовый ко всему, он мог обойтись без праздного любопытства. Несмотря на разноречивость свидетельств, не подлежит сомнению, что Бонапарт утаил от него окончательный план и не сообщил срока его осуществления.⁵⁷⁴

Между тем, все говорило за то, что пора назначить день и кончать. Часть общества уже успела проведать о том, что что-то такое творится, и забила тревогу. Дела и торговля окончательно стали. “Никто ничего не смеет предпринять, говорится в одном полицейском донесении, – толкуют, что готовится новый переворот”.⁵⁷⁵ После временного затишья атмосфера опять стала тяжелая, как перед грозой; длить это тягостное состояние было бы опасно. Офицеры, храбрые воины, выказывали нетерпение. Факт большой важности – в совете пятисот большинство, уступая общим желаниям, склонялось в пользу отмены им же вотированных законов. Незадолго до 15 оно весьма серьезно обсуждало вопрос,

⁵⁷³ *Journal des hommes Libres*, 14 брюмера.

⁵⁷⁴ Камбасерэс категорически утверждает это, что бы там ни говорили и ни толковали”.

⁵⁷⁵ “Мемуары” Барраса, IV.

нельзя ли заменить принудительный заем и прогрессивный налог менее обременительной контрибуцией. Если дать теперешнему режиму время обуздать себя, он, чего доброго, опять войдет в милость у публики, жаждавшей покоя; надо было во что бы то ни стало лишить его возможности исправить свои ошибки и ускорить его падение..

В последнюю минуту некоторые из парламентариев, припкнувших к заговору, смутились духом, увидев преграду вблизи, они трусили и потребовали отсрочки. Бонапарт нашел, что “эти дураки” слишком жеманятся. По словам Арно, он, однако, дал им сроку восемь часов для того, чтобы отделаться от своих угрызений и страхов: “Я даю им время убедиться, что я смогу сделать и без них то, что соглашаюсь сделать вместе с ними.”⁵⁷⁶ Он не пошел более ни на какие уступки и окончательно назначил день, – 18 брюмера, соответствовавшее девятому ноября.

⁵⁷⁶ Mémoires d'un sexagénaire 215. Sébastiani dans Vatout, “Le Palais de Saint Cloud, 238. Верить ли слуху, будто Бонапарт, вынужденный отказаться от первого назначенного срока, 16-го, сам предпочитал ничего не предпринимать 17, так как это была пятница? Заглянув в оба календаря, убедимся, что 17-е, действительно, приходилось на пятницу.

IV

На 15-е назначен был большой обед, который советы намеревались дать двум генералам, сведенным в Париже счастливым случаем, – Бонапарту и Моро. Но возникли затруднения; советы не могли сговориться даже насчет обеда; некоторые якобинские депутаты запротестовали; впрочем, они возражали не против Бонапарта, но против Моро, заподозренного в излишней умеренности. Чтобы выйти из затруднения, организаторы праздника решили устроить его по подписке: всякий член советов мог участвовать, внося тридцать франков. Только таким манером банкет мог состояться в назначенный день в церкви св. Сюльпиция, превращенной после революции в храм Победы.

Внутри церковь была богато украшена драпировками и трофеями победы, а также отобранными у неприятеля знаменами. Над прежним алтарем красовалась патриотическая надпись. Обыватели не без тревоги смотрели на эти приготовления, опасаясь, как бы якобинцы, искавшие только удобного случая, не взорвали церкви. Корзины с крышками, которые проносили в погреб, на самом деле наполненные бутылками вина, могли содержать в себе порох. 15-го назначено было собраться к шести часам. Вокруг храма топталось в тумане довольно много народу; в толпе слышался ропот на такой бесполезный расход в годину общей нужды; порица-

ли законодательный корпус, говоря: “Если бы депутаты захотели, они могли бы зажать рты, пожертвовав на благотворительные учреждения такую же сумму, в какую им обошелся этот обед”.⁵⁷⁷ Но преобладающее настроение в толпе было любопытство – желание посмотреть на Бонапарта. “Большинство любопытных пришли сюда только для того, чтобы увидеть генерала Буонапарте”.⁵⁷⁸ “Когда они подъехали в карете со своими товарищами по Египту, со своими африканцами, народ стал кричать: “Да здравствует Бонапарт! Мира! Мира”.⁵⁷⁹ В огромной оскверненной церкви, где было холодно, как в леднике, и где ноябрьская сырость паром оседала на стенах, пировали, или, вернее, пытались пировать семьсот человек: пятьсот депутатов и двести гостей, в числе которых фигурировали испанский адмирал Мазарредо и Костюшко. “На верхнем конце стола восседал президент совета старейшин, посредине направо – президент директории, налево – генерал Моро, возле него – президент совета пятисот и рядом – генерал Бонапарт:⁵⁸⁰ “Эта братская вечеря происходила под звон прекрасно подобранных колоколов св. Сюльпиция; звонил профессор консерватории. В честь обоих героев, “французских Сципиона и Фабия”, распевали на редкость

⁵⁷⁷ Донесение генерального штаба от 13–14 брюмера. Национальный архив, АФ, III.

⁵⁷⁸ Там же.

⁵⁷⁹ Газета “Propagateur”.

⁵⁸⁰ Publiciste, 17-го.

пошлые куплеты, произведение депутата Феликса Фокона. На другой день газеты восхваляли блестящий и задумчивый праздник; то были заказные похвалы, ибо на этом празднике все испытывали на себе гнет обычной накануне битвы тревоги. Партии, братаясь между собою для виду, на самом деле подозревали друг дружку и искоса подглядывали одна за другой. Отсутствие Журдана, Ожеро, Бернадота бросалось в глаза; правда Журдан на другой день должен был обедать у Бонапарта, в небольшой компании. Бонапарт ел мало, едва дотрагивался до кушаний, быть может, боясь отравы. Когда начался длинный ряд тостов, он поднялся и предложил выпить за единение всех французов: этот тост был уже правительственной программой.

Он встал из-за стола одним из первых и пошел на другой конец огромного стола, там и сям перемигиваясь с друзьями, безмолвно ободряя их, но избегая вызвать какие бы то ни было манифестации. Собравшиеся думали, что он еще среди них, тогда как он уже скрылся через боковую дверь, уводя с собой своих адъютантов и увлекая Моро.

В ту же ночь он виделся с Сийэсом, что не помешало ему на следующий день очень любезно принимать у себя за столом Журдана, корифея противной партии. После обеда, по словам самого Журдана, завязался следующий разговор наедине:

Бонапарт: – Так как же, генерал, что вы думаете о положении республики?

Журдан: – Я думаю, генерал, что, если люди, которые так скверно правят страной, не будут удалены и не будет налажен лучший порядок вещей, нельзя надеяться на спасение отечества.

Бонапарт: – Очень рад видеть в вас такие чувства. Я боялся, не принадлежите ли вы, к тем, кто без ума от нашей скверной конституции.

Журдан: – Нет, генерал, я убежден, что наши учреждения необходимо видоизменить, но только без ущерба для основных принципов представительного правительства и великих принципов свободы и равенства.

Бонапарт: – Разумеется, нужно, чтобы все делалось в интересах народа, но все-таки необходима более твердая власть.

Журдан: – Я согласен с вами, генерал; и я, и друзья мои готовы присоединиться к вам, если вы сообщите нам ваши планы.

Бонапарт: – Я ничего не могу сделать с вами и вашими друзьями: у вас нет большинства. Вы напугали совет предложением объявить отечество в опасности и вотируете заодно с людьми, которые позорят вашу партию. Что касается лично вас и ваших друзей, я верю в ваши добрые намерения, но в данном случае не могу идти с вами. Впрочем, вы не беспокойтесь, – все будет сделано в интересах республики”.⁵⁸¹

Он продолжал в том же тоне, избегая показывать, насколько-

⁵⁸¹ Notice inédite Журдана.

ко он связан с Сийэсом, и “о каждом из директоров высказывался более или менее презрительно”.⁵⁸² Приход Булэ преврал разговор. В итоге Бонапарт добился своего: Журдан при нем формально отрекся от республиканских учреждений; это было важное признание, которое следовало запомнить и которое могло пригодиться. Якобинский генерал умалчивает об этом в своем рассказе, но, по всей вероятности, Бонапарт предложил ему личные гарантии и удовлетворение: это достаточно доказывается двусмысленным поведением Журдана 18-го и утром 19-го. Остальные якобинцы, смутно догадываясь, в чем дело, все старались опередить противников, но тратили силы на бесплодные споры и безуспешно зондировали почву в предместьях.

16-е и 17-е ушли на окончательную подготовку. Президенты обеих палат, инспектора залы, парламентские говоруны, увлекшие равнодушных, распределили между собою роли. Черновик указа о переводе собраний был отредактирован заранее, так что старейшинам пришлось вотировать уже готовый акт. Решено было, что Бонапарт у себя дома будет ждать зова, затем сядет на лошадь, приедет в совет старейший и, получив от них инвеституру, займет войсками Париж. Его верховые лошади еще не успели прибыть, и один моряк, адмирал Брюи, одолжил ему своего “вороного испанского коня, замечательной красоты, но горячего и с норовом”. Чтобы иметь возле себя в момент своего появления на

⁵⁸² Notice inédite Журдана.

сцене многочисленный штаб, как бы олицетворяющим собой армию, Бонапарт дал знать всем офицерам, просившим разрешения представиться ему – тем, кого он уже видел и на кого мог рассчитывать – что он примет их 18-го в 6 часов утра; ранний час был назначен под предлогом отъезда. Приглашительные записки были составлены в таких выражениях, чтобы каждый из офицеров мог предположить, что только он получил приглашение; таким образом можно было сгруппировать их без их ведома и не опасаясь ничьей нескромности.

Так как Бонапарту важно было заранее иметь, под рукой достаточное количество войск, он 17 открылся Себастиани, человеку преданному и смелому, на которого можно было вполне положиться. Условлено было, что Себастиани, не дожидаясь декрета старейшин и формального приказа, явится к Бонапарту со своими драгунами, пешими и конными. 18-го чуть свет он подымет на ноги свою часть, под предлогом смотра, будто бы по приказанию директории, в честь Бонапарта, где ей придется дефилировать перед великим вождем. Все офицеры страшно желали этого и давно об этом мечтали. Далее решено было, что Себастиани поставит свою пехоту и два эскадрона конницы на площади Согласия, а сам с остальными драгунами явится к Бонапарту, отдать себя в его распоряжение. Таким образом у того будет солидная свита. Кроме того, под рукой будет 21-й стрелковый полк; Мюрат взял на себя уговорить офицеров; 8-й драгунский полк также должен был присоединиться к движению. Таким об-

разом, драгуны и стрелки с самого начала будут на ногах и никакая случайность не застанет их врасплох.⁵⁸³

Вопрос, как поведут себя предместья, по-прежнему заботит вождей Ле-Кутэ Де Кантеле старался, успокоить Бонапарта: “Париж останется спокойным; теперь агитировать могут только правители”.⁵⁸⁴

Тем не менее необходимо было объяснить парижанам уже свершившийся факт – после того, как он свершился, успокоить их, убедить, что это было необходимо, с этой целью приготовили афиши, прокламации”, брошюры, все орудия быстрой пропаганды. Тон и общий дух этих произведений были инспирированы Бонапартом. Бурьенн писал под его диктовку, Ревьо Де Сен Жан Д'Анжели и Редерер взяли на себя заботу о форме и тайном напечатании составленных брошюр. Сын Редерера, под видом ученика, проник в типографию Демонвилля и в маленькой отдельной комнатке собственноручно набрал все листки, с тем, чтобы отнести их, когда они будут отпечатаны, в департамент, который сам уже расклеит или распространит их обычным порядком. Черновые прокламаций и афиш по большей части не показывались Сийэсу: вряд ли бы он одобрил их стиль.⁵⁸⁵ Газеты

⁵⁸³ Реляция Себастиани, у Vator 237. Таким образом, парламентскому *суп дэиат* должно было соответствовать нечто вроде кавалерийского *prononcimento*.

⁵⁸⁴ Lescure; II. 215. Brinkman говорит то же и почти в тех же выражениях: “Народ не интересуется более, распрями своих правителей”, стр. 323.

⁵⁸⁵ Grouvelle, rotes manuscrites.

ничего не знали или были скромны. Одной только из них, *Le Surveillant*, по-видимому, имевшей какое-то отношение к братьям Бонапарт, разрешено было поместить 18-го на видном месте несколько строк, предвещавших реформы. “Говорят, что этим занялись влиятельные люди, не боящиеся горькой правды, что они хотят провозгласить эту правду с высоты национальной трибуны и показать наконец французам, какие опасности окружают их и какие у них есть ресурсы.”⁵⁸⁶ Другие газеты только 19-го должны были заговорить о случившемся накануне.

Несмотря на эти предосторожности, невозможно, чтобы слухи, ходившие в городе, не дошли до непосвященных директоров, чтобы эти последние остались в полном неведении, когда все были более или менее предупреждены. Они получали предупреждающие письма. Но Баррас умышленно их игнорировал, а Гойе и Мулен не способны были рассмотреть что происходит у них перед глазами. Чтоб обойти Гойе и убаюкать его подозрения, Бонапарт воспользовался Жозефиной. “Не знаю, был ли он моим приверженцем, говорил он о Гойе, – он ухаживал за моей женой”.⁵⁸⁷ Факт тот, что этот буржуазный якобинец, большой охотник поволочиться, несомненно находился под обаянием Жозефины, представлявшей ему существом высшей породы и настоящей светской дамой. Для него было восхитительным наслаждением

⁵⁸⁶ *Le surveillant*, 18 брюмера.

⁵⁸⁷ *Journal de Sainte-Hélène*, I, 470.

сидеть в ее гостиной, в утонченно изящной обстановке, касаться этого существа, сотканного из грации и любви. Он бывал у нее каждый день в четыре часа и нередко приезжал второй раз вечером.⁵⁸⁸ Жозефина поощряла его легким кокетством, ни к чему не обязывающим, и была в прекрасных отношениях с обоими супругами Гойе, позволяя ухаживать за собой мужу притворяясь большой подругой жены.

Притом же Гойе слишком ценил выгоды своего официального положения – хорошую квартиру, хороший стол и все остальное, – чтобы не поддаться блаженному оптимизму; убежденный, что победы Массены и Брюна разогнали нависшие тучи, а победы Бонапарта в будущем обеспечат спокойствие страны, он даже не замечал, в какой упадок пришли учреждения: ему казалось, что все должно идти превосходно при таком режиме, где он, Гойе, представляет собой пятую часть короля.

17-го Бонапарт обедал у Камбасерэса, в министерстве юстиции. По поводу этого обеда сложилась легенда по милости самого Бонапарта; рассказывали, будто он встретился там с Трейльяром, Мерленом, Тарге и другими знаменитыми юрисконсультантами, и они все вместе обсуждали будущий гражданский кодекс, создавая основы этого великого уложения, причем “генерал” поражал своих собеседников необы-

⁵⁸⁸ Гойе дожил до глубокой старости. Это был человек плотного сложения, ростом немного ниже среднего, с большим носом. Он вел точный список своим любовным похождениям, любил пикантное чтение и сочинял песенки.

чайной свободой ума и неожиданностью интуиции. На самом деле Камбасерэс не пригласил ни одного юрисконсульта, а лишь нескольких генералов и администраторов, посвященных в тайну. Беседа отнюдь не поднималась до ясных высот разума, – напротив, шла очень вяло, и обед был совсем не веселый: каждый думал о завтрашнем дне и о том, что он в сущности рискует своей головой.⁵⁸⁹

В два часа ночи Бонапарт послал Моро и Макдональду приказ явиться к нему утром чуть свет и верхом; офицеры уже будут ждать их. Пригласили зайти и Лефевра. К Сийэсу послан был адъютант сообщить ему о последних распоряжениях относительно войск, но передал ему все вкривь и вкось; был ли то “случай, смущение или коварство?”⁵⁹⁰ Мы увидим далее, что и Сийэс, с своей стороны, готовил на завтра несколько сюрпризов.

Жозефина, отправив в Сен-Жермэн, к г-же Кампан, Каролину и Гортензию, также не теряла времени. В полночь она нацарапала и послала в Люксембург с Евгением коротенькую записочку, facsimile которой сохранилось; в этой записке она приглашала Гойе на другой день утром завтракать к 8-

⁵⁸⁹ Cambacerés. – Порою в эти критические дни Бонапарт проявлял, наоборот, преувеличенную веселость, даже напевал. Одна газета говорит: “Бонапарт уже несколько дней необычайно весел. Близкие к нему люди замечают, что он все время напевает свою любимую песенку (poutnens): “Ecoutez, honorable assistauce”, которую он поет только когда он доволен и на душе у него спокойно. Le Diplomate, 19 брюмера.

⁵⁹⁰ Gronvell, rotes manuscrites.

ми часам.⁵⁹¹ Это была ловушка, прикрытая цветами. Директора намеревались отчасти лаской, отчасти насильно задержать на улице Шантерен, затем посадить на лошадь и отправить вместе с Бонапартом во главе похоронной процессии, устроенной его собственному правительству, что могло бы подействовать на колеблющиеся умы. До последней минуты все хитрости пускались в ход, чтоб обмануть Гойе и Барраса, уверив одного, что вообще ничего не предпримут, а другого, что ничего не предпримут без него. Днем Бонапарт послал предупредить Барраса, что будет у него, выражая желание поговорить серьезно и окончательно, но не пришел, извинившись через Бурьенна, под предлогом сильной головной боли. Образчик величайшего коварства – он напросился на обед к президенту директории... – на 18-е брюмера. “В конспирации, говорил он впоследствии, все дозволено”.⁵⁹²

⁵⁹¹ “Приходите, дорогой мой Гойе, с женой позавтракать со мною завтра 8 ч. утра. Непременно приходите, мне нужно поговорить с Вами об очень интересных вещах. Прощайте, милый мой Гойе. Можете всегда рассчитывать на мою искреннюю дружбу, – Ляпажери-Бонапарт”. (Venez, mon cher Gohiez, et votre femme, déjeuner avec moi demain à 8 heures du matin. N'y manquez pas; j'ai à causer avec vous sur des choses très intéressantes. Adieu, mon cher Gohier. Comptez toujours sur ma sincère amitié, – Lapagerie-Bonaparte). Mémoires de Gohier dans Lescure, II, 55.

⁵⁹² Journal de Sainte Hélène, I, 470.

ГЛАВА VIII. БРЮМЕР – ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

*Ночная работа.*⁵⁹³ – *Заседание на рассвете.* – *Декрет*

593

Ссылки и критика источников О Брюмерских днях существует несчетное множество рассказов, включенных в Мемуары различных лиц или же вышедших в свет отдельным изданием. Приводим ниже, с указанием строк и страниц по нашей номенклатуре, указания текстов, которые мы комбинировали и сравнивали, чтобы восстановить ход событий. Из сочинений, могущих бросить свет на факты, оставшиеся темными или сомнительными, мы пользовались главным образом: 1) Неизданными “Разъяснениями” Камбасерэса (Eclaircissements inédits de Cambacerés) – холодный, спокойный и серьезный рассказ о событиях. 2) “Записками” Грувелля (Notes manuscrites de Grouvelle). Эти краткие, часто совсем не отделанные по форме заметки, по-видимому, написанные со слов Сийэса под свежим впечатлением переживаемых событий, во многом исправляют и дополняют установленную версию. 3) “Запиской” Журдана от 18 брюмера (Jourdan, “Notice sur le 18 Brumaire”), тем более ценной, что в ней есть характерные признания. 4) Подслушанными разговорами, записанными Ле Кутэ де Кантеле и включенными в отрывок из его Мемуаров, помещенный Lescure'ом в “Journées révolutionnaires” II, 205–229. 5) “Письмами” г-жи Ренар, “Lettres de M-me Reinhard” (письма за брюмер, фример и нивоз VIII года), вышедшими в свет уже после того, как наш рассказ появился почти целиком в *Revue des Deux Mondes* (апрель – май 1900 г., 15 марта 1901 г.) и в *Correspondant* (10 и 25 ноября – 10 декабря 1900 г.). Эти письма, как мы с удовольствием убедились, подтверждают нашу оценку событий. С другой стороны, веским свидетельством остается двойной рассказ Редерера (Journal de Paris 19 брюмера), приведенный и в полном собрании сочинений, Oeuvres, III, прим. стр. 296–301, и в “Записке о моей жизни для моих детей” (“Notice

старейшин. – Улица Победы. – Наплыв офицеров. – Прибытие генералов. – Мышеловка. – Лефевр. – Бернадот. –

de ma vie pour mes enfants”, Oeuvres, III, 296–302). Малоизвестный рассказ Себастиани у Vatont, 234–242 дает ясное представление о первых движениях войск. “Воспоминания шестидесятилетнего старика Арно (Arnaut “Souvenirs d'un sexagenaire”), впоследствии постоянного секретаря французской Академии, более литературного, чем исторического характера, ценны только некоторыми живописными черточками и подробностями общественной жизни. К тогдашним газетам, хотя и очень интересным, следует, однако, относиться с осторожностью: зато они чудесно рисуют физиономию тогдашнего Парижа и состояние умов. Полноте внешней картины много способствуют подробности, приводимые в “Исторических Мемуарах от 18 брюмера”, вышедших в свет несколько недель спустя после события, и писанных со слов очевидцев. Наоборот, фактический материал в рассказах главных участников событий, т. е. Бонапарта, Барраса, Гойе и др., остается под сомнением; их писания, естественно, носят характер апологии, или самозащиты задним числом. К ним также надо относиться с осторожностью и, если возможно, читать между строк, в особенности, записки Люсьена, которому слишком много верили на слово. Люсьен написал свою “Брюмерскую Революцию” (“Révolution de Brumaire”) прежде всего, чтоб возвеличить собственную роль в прошлом, а затем, в защиту политической тезы, которую он проводил в начале июльской монархии. Реляции второстепенных участников или свидетелей событий также составлялись много времени спустя; они изобилуют сомнительными, нередко противоречивыми подробностями, и носят отпечаток страстей той эпохи, когда они были написаны, по крайней мере настолько же, насколько эпохи, о которой в них идет речь. Вообще мы приняли за правило считать доказанными лишь факты, установленные многими совпадающими свидетельствами, составленными независимо одни от других. Свидетельства современников, печатные или неизданные статьи, брошюры, частные письма, полицейские отчеты, заслуживающие более веры, но и их мы принуждены подвергать такой же проверке. Прим. Автора.

Торжественный отъезд. – Вокруг города. Финансист Уврар. – Близ Тюльери. – Уврар 18-го в Люксембурге. – Баррас не трогается с места. – Первое разочарование Сийэса. – Фуше. – Бонапарт в совете старейшин. – Знаменитая речь. – Плагиат. – Вид войск и толпы. – Революция или смотр? – Афиши и брошюры. – Переворот во имя свободы!. – Неожиданный перерыв заседания совета пятисот. – Выход в отставку и исчезновение Барраса; инцидент у заставы. – Министр в Тюльери. – Формализм Камбасерэса. – Печать республики и голосование нового указа. – Гойе подписывает указ. – Гойе и Мулена убеждают подать в отставку; их арест; роль Моро. – Физиономия Парижа; биржа. – Стратегические распоряжения. – Заседание в Тюльери; бесплодные дебаты. – Бонапарт старается сохранить отношения с якобинцами. – Бурное совещание. – Якобинцы военные и штатские. – Бернадот пытается войти в дело и присвоить себе все выгоды. – Ни у кого нет определенного плана на завтра. – Промахи Бонапарта. – Первые тревожные симптомы; часть старейшин уже готова перейти в отступление. – Париж вечером 18-го брюмера.

I

18-го брюмера, чуть свет, план начали приводить в исполнение. Толчок должен был исходить из Тюльери, резиденции старейшин. Пустить в ход парламентскую машину предстояло инспекторам зала, так как им было предоставлено право созывать собрание и располагать его стражей. Среди ночи эту стражу подняли на ноги и поставили под ружье, как бы для защиты дворца. Сквозь спущенные занавеси и тщательно запертые ставни пробивался свет; там шла потайная работа. Инспектора не ложились всю ночь; они писали приглашения на чрезвычайное заседание, назначенное на 8 часов утра, умышленно избегая звать членов, явно враждебных, – удобный способ устранить оппозицию и; обманом выманить постановление. Между пятью и шестью часами гвардейские унтер-офицеры разнесли приглашения по домам адресатов, строго согласуясь с сделанным выбором. В одном доме жило двое старейшин, один надежный, другой нет – приглашение получил только первый.⁵⁹⁴

Разбуженные неожиданным призывом, старейшины повиновались: торопливо, крадучись пробирались они по темным улицам к Тюльери. Всё вокруг дворца имело свой обычный вид, “на улице не было ни одного лишнего солдата”.

⁵⁹⁴ Факт этот был констатирован в заседании старейшин в Сен-Клу. *Moniteur*, 21.

Только на бульваре в предрассветной тьме слышался мерный стук копыт; то были конные и пешие драгуны Себастиани, шедшие из отеля Субиз, где они квартировали. В пять часов Себастиани приказал ударить тревогу; в момент отправления ему принесли записку от военного министра: “Приказываю гражданину Себастиани не выпускать полк, которым он командует, из казармы и держать его под ружьем, наготове”.⁵⁹⁵ Себастиани расписался в получении, положил приказ в карман и бульварами двинулся со своим отрядом в западную часть города. За исключением двух офицеров, вполне надежных, никто не знал, что их ожидает нечто более важное, чем утренний смотр. Драгуны 8-го и Стрелки 21-го полка, размещенные в казармах на Марсовом поле и на набережной Орсе, должны были несколько позже явиться на указанный им стратегический пункт, участок между Шоссе-д'Антен и Тюльери.⁵⁹⁶

В департаменте, примыкающем к Вандомской площади, все были уже на ногах; сдерживаемое волнение теснило грудь, проявляясь тревожным перешептыванием, “все говорили друг другу на ухо”. В шесть часов Редерер с своим сыном пришли к Талейрану; тот еще одевался: “У нас еще целый час впереди, – сказал Талейран, – надо бы составить

⁵⁹⁵ В документах военного архива находим доказательства тому, что 9-й драгунский полк действительно был заперт в казармах.

⁵⁹⁶ О действиях 8-го полка см. адрес, присланный Бонапарту этим полком после брюмерских событий. Парижские газеты, в особенности, Propagateur, за 24-е.

для Барраса черновик почетной отставки в таких выражениях, которые бы облегчили переговоры с ним; это следовало бы сделать вам”. Молодой Редерер стал писать под диктовку отца; черновик несколько раз переписывали, вымарывали, вставляли фразы; не сразу удалось найти хорошую редакцию, удачную смесь смирения и достоинства, с похвалами по адресу Бонапарта, с оттенком волнения и чувствительности. Бумага вышла вся измаранная; ее едва можно было прочесть, но Талейран все же положил ее в карман, чтобы воспользоваться ею, когда придет время.

Зала совета пятисот мало-помалу наполнялась; между семью и восемью открылось заседание под председательством Люсьена. Это заседание на скорую руку, на заре, в тусклом свете осеннего утра, – совет законодателей, подготовленных заранее или захваченных врасплох, не трудно было привести к вожделенному концу. Корне, от имени инспекторской комиссии, прочел доклад о мнимом заговоре – страшном заговоре террористов против отечества и свободы; он не утруждал своей фантазии, чтобы хоть несколько освежить эту устарелую тему, он просто прикрыл громкими фразами бедность содержания. До слушателей доносились страшные слова: “тревожные симптомы, зловещие донесения. Если не примут мер, пламя мятежа охватит все кругом... ужасные последствия... отечество погибнет... республика покончит свое существование, и скелет ее достанется коршунам, которые будут вырывать друг у друга обглоданные члены...” Да-

лее следовали несколько более определенные указания: заговорщики из департаментов толпами идут в Париж, присоединяются к тем, у кого давно уже припасены меч и кинжал на главную власть в государстве; это соответствовало и предостережениям газет, уже несколько недель кричавших, что якобинцы из провинции понемногу проникают в Париж. Доклад заканчивался призывом к мужеству и патриотической энергии старейшин. Вожди оппозиции отсутствовали, никто не посмел требовать разъяснений. Как результат доклада, предложено было издать декрет о переводе в Сен-Клу помещения собрания; Ренье поддержал предложение; старейшины вынесли желаемое постановление. Это была точка опоры всей операции.

Декрет состоял из пяти постановлений; законодательный корпус переводится в коммуну Сен-Клу; оба совета будут заседать там в двух разных флигелях дворца; они отправятся туда завтра, 19-го брюмера, в полдень; до того времени функции советов прекращаются, и всякие совещания где-либо в ином месте воспрещены. Статья 3-я поручила генералу Бонапарту озаботиться выполнением декрета, с каковой целью под его начальство отдавались все войска, состоящие в Париже и в конституциональном районе, а также вся 17-я дивизия; граждане приглашались оказывать ему помощь по первому требованию; сам генерал должен был явиться в совет и принять присягу. Затем был вотирован адрес французам; в нем говорилось, что вышеуказанные меры принима-

ются для обуздания фракций, для восстановления внутреннего мира и подготовки мира с иноземцами; он заканчивался словами: “Да здравствует народ! Республика в нем! Она его создание!” Инспектора Корне и Беральон отправились за Бонапартом, а собрание осталось ждать, не совещаясь больше, но и не прерывая заседания.

Рано утром в этот день обыватели кварталов, расположенных к северу от Шоссе д'Антен, могли любоваться необычным зрелищем: офицеры в полной парадной форме, в высоких сапогах, белых лосинах, с широкими золотыми или шелковыми поясами, в двурогих шляпах с трехцветным плюмажем, с торчащим из-под складок широкого форменного сюртука кончиком сабли, шествовали один за другим по улицам, направляясь к одному и тому же месту – маленькому отелю на улице Шантерен. Их было много, но каждый думал, что только он один приглашен и что Бонапарт примет его в особой аудиенции. По прибытии на место, каждый дивился, что встретил такое большое количество своих товарищей. Все сразу поняли, что предстоит нечто серьезное, и именно сегодня; и все эти люди, возмущенные низостью существующего режима, жадные и в то же время энтузиасты, прониклись великой надеждой. Каковы бы ни были личные чувства их к Бонапарту, они не могли не броситься стремительно вслед за тем, кто поведет их на штурм подъяческого режима, за тем, от кого они ждали республики, созданной по их образцу и для их употребления, – республики народной, героической,

покрытой славой и выгодной для военных.

Они шумно разговаривали между собой, воодушевляли друг друга. Дом был слишком мал, чтобы всех вместить, и впускали только главных; остальные ждали на улице, на дворе, на крыльце, бродили по саду. Слышалось бряцанье сабель, звяканье шпор о плиты, скрип песка в аллеях.

Иные офицеры, постарше чином, приезжавшие в каретах, приходили в смущение от такого соблазнительного зрелища, но, раз войдя, им уже трудно было выйти. Подъездная аллея, сжатая между постройками, вела к самому фасаду отеля, и экипаж не мог повернуть во двор, не проехав перед крыльцом. Рассказывают, будто Бонапарт, быстро сбежав по ступенькам, поймал на бегу одного из нерешительных за руку, вытащит его из кареты и, не дав ему опомниться, увлек его в дом; отсюда и пошла речь о мышеловке.⁵⁹⁷ Бонапарт все время сидел в своем узеньком кабинетике, дверь которого открывалась порою перед почетным гостем, и снова запиралась; позади кабинета была еще комнатка для ультрасекретных разговоров. Гостей принимали Бертье и его адъютанты, Жозефина не выходила; она оставалась в своих апартамен-

⁵⁹⁷ Легенда о мышеловке долго сохранялась в этом квартале. Она подтверждается тем фактом, что Себастиани поручено было поставить стражу у дверей и никого не выпускать, (Vatout, 240), а также и угрозой секвестра имущества Бернадота (Barras, IV, 71; Touchard-Lofosse, 233–237 и Sarrazin, 131–133). Относительно расположения дома и сада см. Lenotre, “Vieilles maisons, vieux papiers”. 188–189; относительно длины аллеи – Sarrazin, 126.

тах, где был накрыт стол к завтраку.

Ждали президента Гойе, приглашенного на завтрак. Несмотря на все чары Жозефины, Гойе был удивлен таким ранним часом и, заподозрив неладное, встревожился. Вместо того, чтобы поехать, он счел за более благоразумное остаться в Люксембурге и послал вместо себя свою жену. Обманутый в своих ожиданиях Бонапарт стал просить гражданку Гойе написать мужу записочку с просьбой непременно приехать; записку мол снесут сейчас же.⁵⁹⁸ Но гражданка, при виде этого дома, полного сумасшедших офицеров, сообразив, в чем дело, воспользовалась случаем написать мужу, Чтобы он был настороже, и предупредить его о засаде. Таким образом, попытка овладеть Гойе и опутать его розовыми цепями не удалась.

Офицеры все прибывали; то были по большей части офицеры без солдат, состоящих под их начальством, гарнизонные, не дежурившие в этот день, адъютанты национальной гвардии. Являлись и большие чины – начальники бригад, генералы; среди более и менее потертых мундиров мелькали сюртуки с густыми эполетами, с высоким воротником, расшитым золотыми листьями. Моро, Макдональд, Бернонвилль приехали верхом.⁵⁹⁹

Лефевр явился одним из первых. В первую минуту комен-

⁵⁹⁸ Гойе приводит дословно записку полученную им от жены, I, 324–325.

⁵⁹⁹ О Лефевре см. рассказ Себастиани у Vatout, 241–242, “Commentaires”, IV, 20–21.

дант Парижа смутился, но Бонапарт заговорил с ним и тотчас же покорил его. Лефевр был родом эльзасец, чувствительная натура под грубой оболочкой, француз больше по душе, чем по речи. Он был скор на великий гнев, так же быстро переходивший в неожиданное умиление, и не мог устоять, когда перед ним раскрывали душу. Когда Бонапарт изобразил ему республику добычей адвокатов, которые ее эксплуатируют и губят, он пришел в негодование; когда же Бонапарт вручил ему саблю, которую сам “герой” носил в Египте, он не мог больше выдержать: слезы выступили у него на глазах. Плача и бранясь одновременно, он объявил, что готов “швырнуть в реку этих м... адвокатов”. Он был, побежден, но для большей безопасности Бонапарт удержал его возле себя, в своем кабинете, как бы для того, чтобы сделать его своим поверенным и своей правой рукой.⁶⁰⁰

Бернадот позволил Жозефу привести себя, но явился в штатском платье, чтобы не иметь вида, будто он явился по обязанности службы. Он пришел обсуждать, а не предлагать свои услуги. По словам самого Бернадота, Бонапарт все пустил в ход, чтобы завербовать его или, по крайней

⁶⁰⁰ По некоторым свидетельствам, Бернадот, при виде множества офицеров, отказался войти в дом, но Баррас подробно рассказывает, как он вошел, и приводит свой разговор с Бернадотом, и Тушар-Лафосс также. Barras, IV, 70–72; Touchard-Lofosse, 233–237. На самом деле оба заимствовали этот рассказ у Русселена де Сент-Альбэн, друга Бернадота; с другой стороны, Сарразен первый, кому Бернадот рассказал свои впечатления, подтверждает факт встречи. – Sarrazin, “Mémoires”, 131–133.

мере, ограничить его деятельность: строгость, угрозы арестом, внезапное смягчение тона, ласковые просьбы, мольбы не противиться и дать честное слово, что он не пойдет против Бонапарта. Бернадот жестикулировал, размахивал палкой, в которой была скрыта шпага, отделялся громкими и уклончивыми словами, обещая не брать на себя инициативы сопротивления, но в то же время заявляя, что он остается в распоряжении законных властей. От него не удалось вырвать ни одного обещания; он до конца продолжал хитрить, лавировать и врать как истый гасконец. Однако, чтобы быть вблизи на случай успеха, он отправился завтракать к своему шурину Жозефу, у которого собралось в этот день довольно много политических деятелей: это был способ продержать их взаперти пока будет нужно.

Улица Шентерен и прилегающие к ней были все заняты вооруженными отрядами: конвойные, ординарцы ждали приказаний; лошади, которых держали под уздцы, били копытами по мостовой. Драгуны Себастиани выстроились посреди улицы.⁶⁰¹ Перед домом, у ворот и у входной двери поставили стражу, с приказом никого не выпускать: выехать должны были все вместе. Другие эскадроны поднялись по бульвару до шоссе, д'Антен – тогдашней Монблан – и остались там, прикрывая издали импровизированную главную квартиру. Прохожие видели издали на бульваре, посередине

⁶⁰¹ О Себастиани у Vatout, 240. “Commentaires”, IV, 21. Газеты за 21–23 брюмера.

широкой аллеи, неподвижную колонну войск и блеск оружия. Время от времени проскачет офицер в галопе. Многие предложили свои услуги нести эстафетную службу и развозить приказания. Виднелись посты, часовые; весь квартал принял воинственный вид.

Вокруг маленького отеля по-прежнему топтались офицеры. Нетерпение и экзальтация возрастали – это было какое-то опьянение. И все, казалось, благоприятствовало опасному начинанию: утро вставало ясное, довольно теплое; можно было ждать хорошей погоды; бледное осеннее солнышко проглядывало сквозь туман.⁶⁰²

Но вот у подъезда останавливается казенная карета: из нее выходят инспектора Корне и Баральон; они приехали передать Бонапарту декрет и призыв старейшин. Их сопровождает государственный курьер в парадной форме, в плаще с широким отложным воротником и шляпе с пышным пучком перьев – это официальный посол. Новоприбывших хозяин встречает внизу, в овальной гостиной, читает декрет и замечает пробел. В тексте перечислены отдаваемые под его начальство армейские войска, национальная гвардия, гренадеры советов, но не упоминается о той гвардии, которая составляет стражу директории, а между тем ее очень важно получить, а главное изъять из ведения люксембургских правителей: Бонапарт решает пополнить этот пробел в прика-

⁶⁰² О погоде 18-го утром см. Cornet, 18 и Fouche, “Mémoires”, I, 132.

зе по армии, изменив подлинный текст декрета.⁶⁰³ Он сразу объявляет себя генералиссимусом, призывает всех к дисциплине и набирается сил. Он предупреждает Лefевра, что теперь парижский комендант подчинен только ему, рассылает адъютантов, велит собрать, все войска вокруг Тюльери, приступить к расклейке прокламаций и распространению брошюр; адъютантов национальной гвардии он отправляет в те кварталы, где стоят их части, предписывая им приструнить муниципалитеты и обеспечить порядок на улицах. Теперь, когда все эти меры наскоро приняты, можно и ехать.

В нижнем этаже распахивается настежь дверь и в толпе мундиров, кидающихся ему навстречу, показывается Бонапарт. На этот раз он в генеральской форме, простой в своем мундире, длинные полы которого скрадывают его и без того небольшой рост, простой в своей уже легендарной маленькой шляпе, очень простой и обаятельный. В руке его декрет старейшин, возле него Лefевр, “сильно взволнованный”, он бросает на ходу несколько отрывистых фраз и просит, чтобы ему помогли спасти республику.⁶⁰⁴ При виде его

⁶⁰³ В тексте декрета, в том виде, как он был вотирован, не упоминается о гвардии директории. В приказе Бонапарта войскам, расклеенном в Париже (экземпляр этого приказа лежит у нас перед глазами), упоминается. Это вполне согласуется с тем фактом, что гвардия была как бы изъята из власти директоров, даже тех, которые были заодно с Бонапартом.

⁶⁰⁴ “Commentaires”, IV, 20. В музее Карнавалэ есть экземпляр эстампа той эпохи, изображающего эту сцену.

офицерами овладевает приступ энтузиазма; с хриплым криком “ура” они выхватывают шпаги из ножен и бешено размахивают ими высоко над головой; в ясном свете утра сверкает холодная сталь. Бонапарт садится на лошадь и, увлекая всех за собой, направляется в Тюльери. По пути к ним присоединяются кавалерийские эскадроны, которыми командует Мюрат. Блестящий кортеж спускается с бульвара, впереди Бонапарт, выделяющийся, на виду; позади него фырканье лошадей, сверканье стали и золота, бряцанье оружия и развевающиеся султаны.

На бульваре Маделен к ним присоединяется еще группа офицеров. Мармон, живущий на улице Сен-Лазар, пригласил к себе на завтрак несколько товарищей и привел их с собою; впрочем двое сбежало. А так как у остальных восьми не было лошадей, Мармону пришлось похозяничать в соседнем манеже. На пути уже начинают собираться любопытные. Финансист Уврар, живущий на углу Шоссе д'Антен и улицы Прованс, увидав это шествие из окон своей квартиры, садится к письменному столу и пишет письмо адмиралу Брюи, с которым он имел деловые отношения, как поставщик флота; он отдает себя в распоряжение назревающего успеха и предлагает денежную поддержку.⁶⁰⁵

Кортеж подвигался дальше, к площади Согласия и Тю-

⁶⁰⁵ Письмо Уврара помещено в *Nouvelle Revue retrospective*, 2-я серия 1900, первое полугодие. Ouvrard в своих “*Mémoires*” (I, 49) сообщает, что он жил на улице Прованс и на улице Монблан. В Торговом Календаре (*Almanach de commerce*) за IX год он показан живущим на улице Прованс.

льери. Величавая аристократическая площадь была обведена балюстрадой и обнесена канавами; посреди площади гипсовая статуя Свободы, видевшая столько преступлений, уже осыпалась на своем только что отремонтированном пьедестале. Позицию занимали пешие драгуны, разделившиеся на колонны, по дивизиям, вдали блестели каски эскадронов, загораживавших и мост, и въезд в аллею. В Тюльерийском саду, на террасе, идущей параллельно дворцу, выстроилась гренадеры совета старейшин; в конце аллеи, уходящей в густую чащу деревьев, явственно вырисовывалась линия красных плюмажей.⁶⁰⁶

Все кварталы, прилегающие к дворцу и саду, кишели народом. В городе, узнав о происходящем, прежде всего удивились. На порогах домов, на улицах люди изумленно переглядывались, спрашивая друг друга, что это значит; затем любопытство погнало всех на место действия. В отдаленные кварталы, в предместья, новость проникла довольно поздно и не вызвала у рабочих никакого движения в том или в другом смысле. Приток любопытных шел главным образом из центральных кварталов, буржуазных, купеческих, торговых.

В толпе, собравшейся вокруг Тюльери, не происходило никаких беспорядков; в ней царило радостное оживление. Физиономия Парижа была скорее праздничная, чем такая, как в дни революции. Каждый, однако, понимал, что дело

⁶⁰⁶ Рассказ Себастиани у Vatout, 242–244, Marmont в своих “Mémoires” говорит, что площадь была занята 9-м полком, II, 94.

идет о низвержении существующей власти. Говорили: “Директория рухнула” и радовались при этой мысли. Оно пало, наконец, это прогнившее насквозь правительство, которое давно уже едва держалось, а между тем все продолжало давить французов гнетом своей безобразной тирании; почти все были довольны его падением. Преобладало чувство облегчения, но без энергических проявлений, ибо политика опротивела народу и он уже не дивился превратностям внутренней жизни страны. Париж присутствовал при революции и рукоплескал ей, но не трудился ей помогать. Агенты правительственной администрации, по-видимому, сами готовы были восстать против правительства. Привратник тюрьмы Форс, авторитет в своем квартале, говорил узникам: “Кто знает, не придется ли мне выпустить вас, чтобы дать место им. Приходи кто хочешь – я на своем посту”. Однако он отправился вслед за другими в Тюльери посмотреть, как падет правительство, и поглядеть на человека, к которому естественным путем, как бы по наследству, переходила власть.

Одно имя было у всех на устах, повторялось в каждом разговоре, преследовало воображение, наполняло Париж: Бонапарт.⁶⁰⁷ С радостным любопытством толпа разглядывала генерала, показавшегося на краю площади со своими офицерами, смотрела, как торжественный кортеж проехал между шпалерами пехотных войск, взял наискось к Тюльери и

⁶⁰⁷ Musnier-Descloureaux (Real) сообщает, что Бонапарт был принят “как избавитель”, I, 346.

углубился в сад: среди приветственных возгласов слышался многозначительный крик: “Да здравствует избавитель!” Люди, прибывшие с другого берега, рассказывали, что им только что пришлось видеть другое, весьма странное зрелище – Сийэса верхом, с двумя адъютантами проехавшего через Пон-Рояль по пути из Люксембурга и въехавшего во двор Тюльери через Луврскую калитку, чтобы присоединиться к Бонапарту.

II

В Люксембурге Баррас, как он сам рассказывает, брил себе бороду, когда к нему вошел адъютант предупредить, что происходит нечто необычное; только тогда он встревожился. Через минуту явился с докладом министр иностранных дел. Баррас вышел к нему полуодетый, с озабоченным видом; заметив, что и министру ничего не известно, он несколько успокоился и выпроводил посетителя, под предлогом, что он завален делами.

Сийэс в это утро никого не принимал. План этого директора был таков: как только его уведомят о выходе декрета, взять тех из своих коллег, которые захотят идти с ним, и торжественной кавалькадой отправиться в Тюльери, по-военному во главе конных гренадеров и всей гвардии директории, чтобы торжественностью и воинственным видом кортежа уравновесить впечатление, производимое свитой Бонапарта. В ожидании он отправился в сад, в последний раз поупражняться в верховой езде, усовершенствовать свои таланты и произвести как бы репетицию конной сцены, которую он намеревался разыграть.

Получив известие о выходе декрета, Сийэс вернулся во дворец, чтобы составить свой кортеж. Каково же было его удивление, когда он не нашел гвардии и увидел опустевшие

посты.⁶⁰⁸ Командовавший ею Жюбер поднял ее чуть свет и увел из дворца под предлогом маневров; при первом же известии о происходящем он, по внезапному побуждению или по предварительному уговору с Бонапартом, двинул голову своей колонны, к Тюльери; за ней последовали остальные, и весь отряд, под звуки труб и барабанов, весело двинулся к Бонапарту, покинув дворец, который он должен был охранять. Сийэс был несколько шокирован таким неожиданным исчезновением, не входившим в программу и испортившим ему весь эффект. Делать нечего, пришлось удовольствоваться, вместо кавалькады, двумя офицерами, приставленными к его особе, и с этой скромной свитой двинуться в Тюльери.

Го́е, встревоженный, вышел из своих апартаментов: он созвал директоров в совещательную комнату, но Сийэса не могли найти. Мулен явился в залу заседаний; пришел и Дюко, но через минуту, под предлогом узнать в чем дело, скрылся и вслед за другими помчался в Тюльери. Баррас все не выходил: Го́е и Мулен пошли за ним, но он еще не был готов; теперь “он принимал ванну”. Он посоветовал, однако,

⁶⁰⁸ О плане Сийэса явиться вооруженным и в сопровождении гвардии в Тюльери Грувелль в своих “Записках” говорит: “Он все устроил и подготовил, но другие, с виду как будто одобряя его действия, со своей стороны, принимали иные меры. Сийэс рассчитывал вступить в Тюльери вместе с преданными ему директорами во главе гвардии, а гвардии не оказалось”. Бонапарт сознается, что он предупредил гвардию, чтобы она слушалась только его приказа. (Commentaires, IV, 23). Говорят, однако, что Жюбэ своим цинизмом произвел на него неблагоприятное впечатление. – Brinkmann, 394.

назначить совещание, но просил дать ему час отсрочки – конечно, для того, чтобы окончить свой туалет. На самом деле он хотел выиграть время в надежде, что Бонапарт подаст ему знак, втянет его в свою, затею.

Двое других, оставшись наедине, совсем растерялись: да что же это, собственно, такое происходит? Они не в состоянии были понять. И не мудрено; все предосторожности были приняты, чтобы сбить их с толку. Инспектора совета старейшин известили каждого из директоров в отдельности коротенькой записочкой о декрете по поводу перевода собраний в Сен-Клу, прося его прибыть в Тюльери, где он найдет своих коллег, Сийэса и Дюко.⁶⁰⁹ Но текст декрета приведен не был; следовало как можно дольше оставить в неведении не участвовавших в заговоре директоров относительно экстралегальности этого постановления, предоставлявшего Бонапарту высшую военную власть, отнимая ее у исполнительного комитета. Не зная, в чем дело, директора не могли разобрать, что это – чисто ли конституционная мера, которую их просят утвердить, или же начало переворота? Продлить их сомнения – значило помешать им сговориться между собой и, быть может, с советом пятисот и организовать легальное сопротивление.

Тем временем в Люксембург приехал Фушэ, показав в этом и без того мрачном месте свое лицо призрака. Он не

⁶⁰⁹ См. подлинный текст инспекторских записок у Barras, IV, 77 и у Gohier, I, 237–238.

знал срока, и события застали его врасплох, но он не смутился; получив рано утром от Бонапарта извещение и просьбу о содействии, он и не подумал отказаться, но взял на себя поручение побывать в Люксембурге и разведать, каково настроение и намерения директоров. Быть может, он главным образом хотел проверить на чьей стороне шансы успеха. Его встретили очень неласково. Гойе стал упрекать его за бездействие полиции. Среди директоров он нашел только раздор и смятение, решил, что они погибшие люди, и поспешил присоединиться к успеху.

Гойе и Мулен начинали соображать. Мулен выказывал довольно много энергии: несмотря на потерянное время, на исчезновение гвардии, на измену Лефевра, он не сдавался и находил, что отчаиваться еще нет причин.⁶¹⁰ По-видимому, в этот момент армия еще не принадлежала целиком Бонапарту; один батальонный командир, командовавший полком за отсутствием начальника бригады, брался со своими людьми разместить очаг восстания и все уничтожить; он только не хотел взять на себя ответственность и ждал приказа. Мулен готов был отдать этот приказ, но, если бы даже уда-

⁶¹⁰ Многие газеты уверяют, будто Мулен хотел послать батальон оцепить дом Бонапарта; с другой стороны, Баррас рассказывает (IV, 92), что Мулен говорил ему об одном батальонном командире, вызывавшемся стать со своими людьми на пути Бонапарта, когда он будет возвращаться из Тюльери, и напасть на него. Здесь свидетельства различных лиц согласуются между собою. Баррас уверяет, будто он великодушно предупредил Бонапарта о готовящемся покушении на его жизнь.

лось уговорить совсем растерявшегося Гойе, для образования большинства и для того, чтобы постановление имело силу, необходимо было содействие Барраса. Только сплотившись, Баррас и его коллеги могли удержать на месте законное правительство и создать центр сопротивления. А Баррас все не являлся, теперь уже под предлогом нездоровья. Он продолжал оставаться неподвижным и изолированным, окончательно порешив предать Гойе и Мулена, как он предал 30-го прериаля Мерлена и Ларевельера, и примкнуть к движению, только бы ему хорошо заплатили.

Однако, и он начинал тревожиться, не получая от Бонапарта никакого приглашения вступить в переговоры, или хотя бы извещения. Лаконической записки инспекторов, этого сухого приглашения, оказалось недостаточно, чтобы привлечь его в Тюльери; по всей вероятности, он нашел форму не вполне приличной: так ли должно обращаться к такой особе, как он? Удерживаемый своим тщеславием, сознанием собственной важности, и тем не менее мучимый любопытством, он, наконец, послал на разведку Ботто, своего секретаря и фактотума. Ботто предписано было произвести рекогносцировку возле Тюльери, постараться увидеть самого генерала и расспросить его лично.

Бонапарт въехал во дворец около десяти часов через ворота, выходящие в цветник. Эскадроны Себастиани последовали за ним и развернулись в саду напротив гренадеров,

выстроившихся перед дворцом.⁶¹¹ Цель этого движения была замаскировать и, в случае надобности, сдержать это войско. Бонапарта с почетом провели в залу старейшин, там уже начинали наполняться трибуны; депутаты разбились на группы и разговаривали между собой. Когда доложили о приходе генерала, они уселись по местам; эти законодатели в красных тогах вновь облеклись сенаторской важностью; водворилась торжественная тишина. Дверь решетки растворилась, и в заповедную ограду вошел Бонапарт со своим штабом из генералов; зала сразу наполнилась мундирами.

Впервые ему предстояло говорить перед парламентским собранием – испытание, всегда страшное для солдата. Окруженный своими товарищами по оружию, подкрепляемый их бодростью, созданной ими атмосферой горячей симпатии, и к тому же окрыленный успехом, он довольно хорошо выдержал это испытание. Так как ему предстояло принести присягу, главное затруднение было в том, чтобы избежать обрядной формулы, заключающей в себе обет верности конституции. Он вышел из затруднения, отделавшись, если так можно выразиться, клятвой на воздух, вставленной им в коротенькую речь, приготовленную заранее и произнесенную несколько неуверенно.

“Республика гибнет; вы сами признали это, сами издали декрет, который должен спасти ее... С помощью всех друзей свободы – и тех, кто основал республику, и тех, кто ее защи-

⁶¹¹ Себастиани, у Vatout, 244. inédits.

шал, я отстою ее. Генерал Бортье, генерал Лефевр и храбрыцы, состоящие под моим начальством, разделяют мои чувства. Вы издали закон, обещающий спасти страну; наши руки сумеют его исполнить. Мы хотим республики, основанной на свободе, на равенстве, на священных принципах народного представительства. Клянусь, мы будем иметь ее!” – “Клянемся!” – повторили в один голос воины, а на трибунах загремели аплодисменты.

Это проявление военной энергии смутило некоторых депутатов: они испугались, как бы их не завлекли дальше, чем это им было желательно. Гара осведомился, почему в речи генерала не было упомянуто о конституций, об основном законе, но президент Лемерсье зажал ему рот во имя той же конституции, не позволявшей обсуждать государственные дела где бы то ни было, кроме Сен-Клу. Заседание тотчас же было прервано: депутаты вышли из залы, крича: “Да здравствует республика!”, – и перешли в соседние комнаты, в салон Свободы,⁶¹² где развешанные по стенам неприятельские знамена говорили о славе французской армии.

Комитет, руководивший переворотом, не расходился, он остался в инспекторской зале. Бонапарта со всех сторон ободряли, поздравляли; теперь когда ему уже не нужно было говорить с трибуны, к нему вернулось его царственное самообладание; взор его казался вдохновенным, речи были величавы и строги. Его приверженцы ликовали: до сих пор

⁶¹² О салоне Свободы см. Constant “Lettres”, 75.

все шло как нельзя лучше. Генерал великолепно играл свою роль. Сийэс и Роже Дюко примкнули к движению; говорили, что и Баррас готов примкнуть; в Люксембурге оставался только обрубок правительства. Старейшины храбро дали толчок, воспользовавшись своей конституционной прерогативой; пятистам не оставалось ничего иного, как последовать приказу и, не возражая, перебраться в Сен-Клу. Все верные и друзья, прибежавшие в Тюльери, аплодировали такому прекрасному началу.

Наскоро дополнив отданные им в первый момент приказания, Бонапарт снова спустился в сад, чтобы предстать перед войсками, теперь уже в качестве их главнокомандующего. Гренадеры стояли теперь лицом к дворцу; у входа толпились офицеры и горожане, вытесняя часть новоприбывающих в сад. Выходя, генерал заметил в одной группе, недалеко от себя, посла Барраса – Ботто, пытавшегося пробраться к нему. Бонапарт искал случая бросить в лицо обреченному на гибель режиму выражение общего презрения, шадя каждого из директоров в отдельности и не обвиняя ни одного. Тщедушный Ботто показался ему подходящей жертвой для того, чтобы отвести на нем душу. Через голову этого почти анонимного персонажа, простого орудия, он направил свой удар в коллективное существо, в целый режим, а также в фракцию смутьянов и лжепатриотов.⁶¹³

⁶¹³ Приводим слова Ботто по Moniteur'у. Смысл их одинаков во всех рассказах. Подробности описываемой сцены в различных газетах при-

Выслушав несколько фраз Ботто, он схватил его за руку и отстранил, затем властно отодвинул его назад и, удерживая рукой, обратился ко всей своей огромной военной и гражданской аудитории: “Армия присоединилась ко мне; я присоединился к законодательному совету...” Оглушительные приветственные клики покрыли эти слова. Тогда, повернувшись к Ботто и обращаясь к нему настолько громко, чтобы его могли слышать все, с пылающим негодованием взором, он гневным голосом произнес свою знаменитую речь.

“Что вы сделали с Францией, которую я оставил вам в таком блестящем состоянии? Я вам оставил мир – а нашел войну. Я вам оставил победы – а нашел поражения. Я вам оставил итальянские миллионы – а нашел повсюду хищнические законы и нищету. Что вы сделали с сотней тысяч французов, с товарищами моей славы? Они мертвы.

Такое положение вещей не может продолжаться; не пройдет и трех лет, как оно приведет нас к деспотизму. Мы же хотим республики на основах равенства, нравственности, гражданской свободы и политической терпимости. Дай-

ведены различные. Несколько дней спустя в газеты было послано более точное изложение фактов, озаглавленное: “Разоблаченное поведение экс-директора Барраса”. Этим изложением мы и руководствовались. Довольно прочесть его, чтобы убедиться, что оно исходит от самого Ботто или, по крайней мере, от кого-нибудь из близких к Баррасу людей. На другой день после решительных событий Баррас еще хвастал, что он в прекрасных отношениях с Бонапартом и одобряет все предприятие, таким образом, заблаговременно опровергая то, что он утверждал впоследствии в своих “Мемуарах”.

те нам хорошую администрацию, и каждый забудет фракцию, членом которой его принудили сделаться. Всем позволено будет быть французами. Пора, наконец, вернуть защитникам отечества доверие, на которое они имеют столько прав. Послушать иных крамольников, так мы скоро станем врагами республики – мы, укрепившие ее нашими трудами и нашим мужеством; мы не хотим лучших патриотов, чем храбрецы, изувеченные на службе республике”.

Все свидетели соглашались, что впечатление, было глубокое. Эта речь, где лживость некоторых слов потонула в подавляющей правде целого, прогремела на целое столетие и навсегда наложила печать презрения на директорию. Зачем только и в самых великих исторических сценах есть свои слабые стороны и прозаическая подкладка! То не была речь, импровизированная в порыве вдохновения; даже свои резкие критические нападки Бонапарт не все придумывал сам.⁶¹⁴ Общие основания речи и даже некоторые выражения он почерпнул в адресе, присланном ему за несколько дней перед тем якобинским клубом Гренобля, маленьким рассадником якобинства, выведенным из себя притеснениями и подкупностью директории.⁶¹⁵ В этом адресе находим именно те слова, которые таким подавляющим заключением периода про-

⁶¹⁴ Донесения роялистских агентов принцу Кондэ, от 6 июня 1800 г., Архив Шантильи. О неуменье Бонапарта говорить см. Roederer, III, 302.

⁶¹⁵ Адрес был напечатан в “*Ennemidés oppresseurs*” (Враг угнетателей), бывшей Газете свободных людей (*Journal des Hommes Lipres*”), № от 14 брюмера.

звучали в устах Бонапарта: “Они мертвы”. Они показались ему эффектными, и он не постеснялся присвоить их себе. Никто, конечно, не заметил плагиата; все головы склонились перед глаголом осуждения. Ботто был совсем ошеломлен. А Бонапарт тем временем подошел к нему и вполголоса уверил его, что личные его чувства к Баррасу отнюдь не изменились. Он не хотел, чтобы в Люксембурге, где ему предстояло еще хитрить и вести переговоры, его резкая тирада была принята слишком трагически – ведь он метал громы главным образом ради галереи.

Он снова сел на лошадь и начался смотр войскам. Различные части: кавалерия, артиллерия, пехота давно уже собрались вокруг сада, не впуская публики; теперь они проникали туда, и одна за другой представлялись главнокомандующему. Увлечение солдат и офицеров, реющие в воздухе шпаги, громовые клики: “Виват” – все это придавало сцене вид колоссального военного бунта.

Бонапарт на своем вороном горячем коне, с которым ему подчас трудно было справляться, объезжал ряды, бросая солдатам пламенные, воодушевляющие слова, требуя от них клятвы в верности, обещая вернуть униженной республике ее блеск и величие. Оратор он был неважный, порой он останавливался, не находя слова, но Бертье, все время державшийся возле него, моментально ловил нить и доканчивал фразу с громовыми раскатами голоса, и солдаты, наэлектризованные видом непобедимого вождя, все-таки приходили в

восторг. Генеральный штаб его все рос; теперь за ним следовало уже сто пятьдесят офицеров; с этой свитой он проезжал аллеи, перекрестки и порой выезжал на улицу, где народ приветствовал его рукоплесканиями и знаменательными возгласами.⁶¹⁶

Толпа любопытных, собравшаяся у решеток, видела, как въезжали и выезжали гордые полки, впивалась взором в этот сад, полный войск, блиставший штыками и касками; слышала крики, бой барабанов, звавших в поход, трубные сигналы, мерный топот шагов. Сверканье оружия, яркие и разнообразные цвета мундиров, эволюции генерального штаба, золотые и алые чепраки на лошадях, перевязи, блестящие на солнце, плюмажи на двурогих шляпах, – вся эта воинская роскошь, полная блеска и силы, нравилась парижской толпе, заставляла ее трепетать от удовольствия. Девятнадцатилетний юноша, потомок древнего рода, Филипп де Сегюр, при виде девятого драгунского полка, выехавшего из-за решетки Пон-Турнан, при виде этих эпических всадников в блестящих касках, с обнаженными саблями, почувствовал пробуждение инстинкта расы и дал себе клятву сделаться солдатом; французская армия завладела этим молодым французом и завоевала его для революции; наследственное при-

⁶¹⁶ Газеты приводят следующий анекдот: на днях с Бонапартом был такой инцидент: лошадь у него норовистая, и он никак не мог сесть на нее. Один гражданин подходит помочь ему. Генерал благодарит его и замечает: “А ведь, казалось бы, для меня ездить верхом не представляет труда: я не много вешу”. – Извините, вы противовес враждебным силам.

звание проснулось и бросило его в ряды армии.⁶¹⁷ Вся толпа упивалась этой сменой зрелищ и музыкой; она приветствовала эту революцию, столь не похожую на все предыдущие – революцию, сопровождавшуюся не жестокостью, не безобразным насилием, но парадами, фанфарами, дефилированием войск, красивой военной декорацией – революцию, походившую на смотр.

Вокруг Тюльери и в прилегающих кварталах на подножиях памятников и стенах домов уже белели афиши, только что вышедшие из мастерской Ренье и Редерера; о расклеивании их позаботился сам департамент.⁶¹⁸ Одна из них особенно привлекала взор: на ней было написано большими буквами: “Они сделали то” – и пониже: “что конституции больше не существует”. Далее следовал составленный в резких выражениях исторический очерк последовательных нарушений органического статута этой несчастной конституции, трижды изуродованной мечом или подлогом: сперва фрюктидор и флореаль, убившие независимость законодательного корпуса, затем реакция в обратном смысле. “Наступило 30-е прериала; угнетенная партия восстала; даже развращенная партия – о справедливость! – восстала на своих вождей... и низвергнутая исполнительная власть всей своей тяжестью шлеп-

⁶¹⁷ Ségur “Mémoires d'un aide de camp de Napoleon”, 1894 г. стр. 2. Немного времени спустя Сегюр действительно поступил в гусары Бонапарта.

⁶¹⁸ Одна из этих прокламаций у нас перед глазами. Следующий текст взят у Roederer'a, III, 298–299; он перепечатан всеми газетами.

нулась в грязь. Судебная власть дважды подверглась подобным же изменениям, и граждан по очереди судили судьи и присяжные господствующей фракции. Эта власть, которая должна быть охранительницей гражданской свободы, сделалась, наравне с другими, орудием угнетения и лишней напастью. От этого-то гнета и плохого состава исполнительной власти и проистекают все беды, гнетущие нас. Не пора ли уже положить конец этому бедствию?”

Тут вкрадывалось предупреждение о пересмотре конституции. – “Не смогут ли Сийэс и Бонапарт восстановить эту униженную конституцию. Не сумеют ли они предохранить ее на будущее время от искажений, прибавив то, чего в ней не хватает. Если правда, что уже два года приходится нарушать ее ради защиты свободы, значит правда и то, что конституция не гарантирует ее – в таком случае она, конечно, требует изменений. Ибо что же это за конституция, раз она не может защищать свободы”. Уничтожение всех гарантий, общий гнет, ложно именовавший себя республикой, царство подкупа и произвола – вот на что ссылались апологеты нового переворота, и то, что они могли произвести революцию во имя свободы, придавало; им много силы.

“О вы, – восклицал дальше автор патетическим тоном, зывая к Сийэсу, Бонапарту и старейшинам, – вы, соединившие в себе силу, мудрость и гений, смотрите, перед вами, под обломками погибшей конституции, широкие и прочные основы другой, свободной, истинно республиканской консти-

туции, двойного принципа верховного владычества народа и представительного правительства.⁶¹⁹ Уберите мусор, засыпавший великий принцип, и постройте на этом месте достойное его здание. Народ просит убежища после стольких бедствий – ваше дело открыть его”.

Среди прочих прокламаций замешалась одна поскромнее. То был ловкий ответ на возможные возражения со стороны народа, на его главную заботу. Народ считал, что дело Бонапарта одерживать победы – победы, ведущие к миру. Не изменит ли он своей роли, не умалится ли, кинувшись в политику, которая оторвет его от его прирожденной роли? Цель прокламации была доказать, что Бонапарт может обеспечить народу высшее благо, только утвердив государство. “Не следует человеку, столь выдвинувшемуся своими заслугами, оставаться долее чуждым делам государства. Не требуйте, чтобы его снова послали к врагам – отечество запрещает ему покидать Париж. Зачем ему подвергать вдали от родины опасностям славу, которую правительство при своем бессилии может только скомпрометировать? Его слава, его жизнь принадлежат нации; они необходимы нам внутри страны. Храбрые воины республики, Бонапарту надо быть именно в Париже, – оттуда его мудрые расчеты всего вернее приведут нас к победе, если нужно еще побеждать. Гражданин, именно в Париже должен быть Бонапарт, чтобы дать вам мир”.

⁶¹⁹ Подлинный текст в “*Mémoires historiques sur le 18 brumaire*”, 16–17.

В дополнение к этой литературе переворота в народе циркулировали брошюры, переходя из рук в руки. Разносчики газет с Вандомской площади раздавали брошюру, озаглавленную: “Разговор между членом совета старейшин и членом совета пятисот”. Разговор этот происходил будто бы на террасе Тюльерийского дворца, после постановления старейшин.

Депутат совета пятисот вначале упирался, протестовал против принятых мер, тревожился за последствия. “Что они хотят делать?” Старейшина: “Друг мой, тебя беспокоит, что люди что-то хотят делать. Отчего же ты не тревожился, видя, что ничего не делается? Что может быть хуже ничегонеделания? Разве ты не видишь, что мы пришли к моменту, когда уже ничего нельзя было сделать, – ни мира, ни войны?.. Разве ты не знаешь, что хищнический закон о принудительном займе совершенно подорвал наши финансы, что закон о заложниках вызвал у нас гражданскую войну, что часть доходов VIII года поглощена реквизициями, что всякий кредит подорван, что все расходы частных лиц, которыми кормится рабочий, сокращены, что мастерские закрыты, что наступающая зима грозит оставить бедняка без работы, а богача без всяких гарантий... что только мир может положить конец стольким бедствиям, что только восстановление нашей конституции, нарушаемой по всем статьям, может предупредить возвращение этих зол, рассеять сомнения иностранных держав относительно того, можно ли вступать в переговоры

с Францией, и страхи граждан, все время стоящих между тиранией и анархией?”

Воображаемый член совета пятисот не сдавался сразу, спорил, затрагивал щекотливые пункты.⁶²⁰ “Однако, между нами, друг мой, меня пугает вмешательство в это дело Бонапарта; слава, уважение, которым он пользуется, справедливое доверие солдат к его талантам, и главное, эти таланты могут дать ему очень опасное влияние на судьбы республики, участь свободы будет в его руках. Что если он окажется Цезарем, Кромвелем?”

Старейшина: “Цезарь! Кромвель! Старая скверная песня, скверные роли, недостойные человека с умом, равно как и хорошего человека. Вот что сам Бонапарт не раз высказывал по этому поводу: “Если бы он стремился к диктатуре, он ни в каком случае не принял бы почетной конституционной роли, предложенной ему старейшинами, он уклонился бы. Да, если бы он отказался от этой роли, оставшись при командовании одной из армий, вот тогда можно бы было предполагать в нем преступные намерения, желание остаться в стороне до того дня, когда нация, устав от беспорядка, истощенная страданиями, сама бросится к его ногам под его “железную руку”. “Вот, друг мой, что означал бы для меня отказ Бонапарта; если бы он отказался, тогда я сам призывал бы Брута. Но свобода, республика, отечество, улыбаются, видя, что патриоты, составляющие совет старейшин, вручили власть

⁶²⁰ Этот диалог целиком приводит Roederer, III, 299–302.

воину без армии, не принадлежащему ни к какой фракции, только что вернувшемуся из Африки, человеку, имеющему поддержку выраженной народной воли. И этот человек просто и открыто принял ее”.

Здесь снова проявилось постоянное старание Бонапарта предупреждать исторические сближения; он часто говорил и повторял: “Я не Цезарь, не Кромвель, я не тиран, я тот, кто заграждает дорогу тирану, создавая благоустроенную и цветущую республику. И народ кричал: “Да здравствует республика! Да здравствует Бонапарт!”

III

На том берегу Сены, во дворце Бурбонов, настоящие, не выдуманные члены совета пятисот собрались в обычное время, между одиннадцатью и двенадцатью. Собрание было очень многочисленно и сильно волновалось; лишь немногие знали цель заседания и были предупреждены заранее. Большинство было смущено и встревожено; якобинцы считали себя обиженными; они сознавали, что дело принимает весьма неблагоприятный для них оборот, но изумление парализовало их негодование. Люсьен занял председательское место; во время чтения протокола было принесено спешное извещение; секретарь прочел декрет о переводе собрания во дворец Сен-Клу. Президент тотчас прервал заседание, отложив его на завтра, в полдень. До тех пор воспрещались всякие совещания; соответственные статьи конституции и декрет не оставляли на этот счет никаких сомнений. Оппозиция, задавленная законным порядком, не могла возвысить голоса. Притом же перед дворцом уже стоял кавалерийский эскадрон, и драгуны на своих высоких седлах, в мохнатых касках, с огромными обнаженными саблями, смотрелись весьма внушительно. Депутаты разошлись; одни отправились в Тюльери за приказами, другие разбились на группы для дебатов.⁶²¹

⁶²¹ В газетах сказано: «Сильный эскадрон кавалерии стоял перед со-

Все движения заговорщиков были замечательно согласованы между собой. В то самое время, когда Люсьен так ловко справился с советом пятисот, Талейран и Брюи направляли удар, рассчитанный на то, чтобы окончательно расстроить директориальное большинство, так разбить его, чтобы его невозможно было и склеить: оба сопротивления, которые могли бы быть опасны, если бы действовали в согласии между собой, распались одновременно: прямой удар направлен был в Барраса, но еще раньше удалось им ограничить действия Гойе и обойти его.

Жена его приехала домой довольно поздно; по всей вероятности, нелегко было пробраться в Люксембург с улицы Шантерен, когда весь город был на ногах, когда на улицах была толпа и войска. Да и Жозефина всячески старалась задержать ее; наученная мужем, она с милой ласковостью льстила, убеждала и уговаривала гостью. Она говорила, что генерал все-таки очень ценит содействие Гойе, что если этот последний хорошо поведет себя, влияние Сийэса будет сильно парализовано; это задевало слабую струнку Гойе – он ненавидел Барраса. Но Жозефина присоединила к уговорам и более важное признание: а именно, что Талейран и Брюи отправились к Баррасу требовать его отставки. Это признание имело целью убедить Гойе, что насилие ограничится из-

ветом пятисот”. С другой стороны, Себастиани рассказывает, что Бонапарт просил его занять своими драгунами мост Согласия. *Vatout*, 237–238.

гнанием Барраса, устранением этого бесчестного человека, без вреда для других. Гойе в простоте души вообразил, что заговорщики хотят не погубить, но очистить правительство, и не видел препятствий к тому, чтобы директория позволила отсечь у себя поврежденный член. Таким образом, наиболее влиятельные директора проводили время в том, что предавали друг друга. Теперь и Гойе, менее честный, чем думали, стал наполовину соучастником переворота; он не оказывал активного содействия, ко и не препятствовал, убежденный, что Баррас поплатится за всех, и вовсе не стремился защитить этого презираемого сотоварища.⁶²²

Тем временем Баррас, сидя у себя в квартире, считал часы и минуты; но утро проходило, а из Тюльери не приносили никаких извещений, никто не вступал с ним в переговоры, и этот человек, обыкновенно большой оптимист, предавался горьким и грустным размышлениям, становился смертельно печальным. Эффектная сцена, разыгранная с Ботто, сильно напугала его; интимное добавление к ней было недостаточно успокоительно, и Баррас совсем растерялся. Он не трогался с места, словно потеряв всякую способность двигаться и рас-

⁶²² О том, что у Гойе была задняя мысль, мы имеем два свидетельства: Le Couteulx, у Lescure, II, 223 и г-жи Ренар ("Lettres", 94). Они согласуются и с признаниями г-жи Гойе, которые муж ее наивно повторяет в своих "Мемуарах", I, 235–236. Этим объясняется тот факт, что Гойе отправился в Тюльери, как только ему вручили вместе с текстом декрета копию отставки Барраса ("Mémoires de Gohier", I, 255). Он думал, что устранят только Барраса и на этом остановятся.

суждать.⁶²³

Если у него минутами и являлась мысль о сопротивлении, он не находил средств, и одно за другим отвергал все приходившие ему в голову. У него сманили стражу, гренадеров, чиновников, даже секретарь директории, Лагард, и тот бежал; словно на сцене, в феерии, все орудия власти были разом похищены у него и перешли в другие руки. В Люксембурге на постах не осталось ни души, кроме одного ветерана, бессильного или пребывавшего верным до конца; в приемных никого, кроме нескольких адъютантов, и то один из них – все напасти сразу – умер от апоплексии. Баррас смотрел в окна, выходившие на улицу Турнон, видел толпы народа на улице, видел войска, шедшие к Бонапарту, приветствуемые, одобряемые жителями, и все вокруг казалось еще более пустым и заброшенным.

Несколько друзей пришли, однако, навестить его. Генерал Дебелль⁶²⁴ уверял, что он громом и молнией поразит врагов, но у него не было ни лошадей, ни мундира. Он уехал под предлогом купить на рынке генеральский мундир и больше его не видели. Прискакала г-жа Талльен: “с очаровательной живостью” она пыталась подбодрить Барраса, поднять этот

⁶²³ О том, что все оставили Барраса, см. его собственные признания “*Mémoires*”, IV, 76–82.

⁶²⁴ Имя Дебелля находим впоследствии в списке офицеров, принявших активное участие в движении.

“султанчик”, плачевно повисший.⁶²⁵ Позже приехал Марлен де Тионвилль, вооруженный с ног до головы; он предлагал казнить Бонапарта, чтобы “голова его скатилась к ногам Свободы”. Баррас нашел его смешным. У экс-виконта не было недостатка в личном мужестве – он неоднократно доказывал это – но сегодня он чувствовал, что всякая попытка противодействия по его инициативе, во имя принципов, может вызывать только насмешки, а он боялся быть смешным. И потом он не мог поверить, чтобы Бонапарт так обманул и одурачил его, пожертвовал им, не припасши для него никакого вознаграждения.

Уже около полудня явились послы: Талейран и Брюи. Баррас не приходил, и они пришли к нему, но только для того, чтобы убрать этот обломок. Талейран вынул черновик прошения об отставке, с утра лежавший в его кармане, до такой степени перемаранный, что его трудно было прочесть без записок; он была адресована в совет старейшин и составлен в следующих выражениях:

“Граждане-представители! Вовлеченный в общественные дела единственно моей страстью к свободе, я согласился войти в состав высшей власти в государстве лишь для того, чтобы поддерживать его в минуты опасности своей преданностью, охранять патриотов, делающих государственное дело, от нападений врагов его и обеспечить защитникам отечества те особые заботы о них и попечения, которые мог им дать

⁶²⁵ Barras, IV, 81. О визите г-жи Тальен см “*Mémoires de Fouche*”, I, 127.

только гражданин, свидетель с давних пор их героических добродетелей, всегда принимавший к сердцу их нужды.⁶²⁶

Слава, сопутствующая возвращению знаменитого воина, которому я имел честь открыть дорогу к славе, блестящие доказательства доверия, данные ему законодательным корпусом, и декрет представителей нации убедили меня, что на какой бы пост ни призвал его отныне общественный интерес, опасности, грозившие свободе, устранены, и интересы армий гарантированы. Я с радостью возвращаюсь в ряды простых граждан и счастлив тем, что могу, после стольких бурь, передать в достойные руки неприкосновенную и более, чем когда-либо чтимую судьбу республики, хранителем которой я был. Привет и почтение”.

Только это и просили подписать Барраса два ловких дипломата. Дав уже столько доказательств своего самоотвержения и преданности общественному делу, неужели он откажет в этом последнем? Можно предположить, что Талейран был мягко настойчив, мил и прям, учтив до отчаяния. Впрочем, все летописцы единодушно убеждены, что письмо сопровождалось аргументом, к которому Баррас не мог остаться нечувствительным – предложением круглой суммы – и что ему постарались позолотить пилюлю. В своих “Мемуарах”⁶²⁷ Баррас сам намекает на ходившие по этому поводу слухи и с наивностью, проглядывающей иногда сквозь

⁶²⁶ Приводим текст по Roederer'у, автору письма, III, 80.

⁶²⁷ Barras, “Mémoires”, IV, 263, выноска.

его грубое лукавство, не признает невероятным факт, что его хотели купить. Он только утверждает, что ему не пришлось даже отказываться от денег, вооружившись добродетельным негодованием, так как денег ему не принесли – они заблудились по дороге в карманах Талейрана. Гораздо более вероятно, что деньги дошли по назначению и произвели должное действие – предполагая, что они действительно были даны. Не будет ли правильнее предположить, что Талейран и Брюи прибегли к способу давления, который на теперешнем нашем языке носит специальное название – что они приберегли против Барраса документы, обнародование которых окончательно раздавило бы его. В таких делах трудно что-нибудь с уверенностью утверждать: в эти тайны закулисной политики редко удается проникнуть.

Как бы то ни было, Баррас понял, что Бонапарт и Сий-эс, порешив отделаться от него, имели полную возможность его уничтожить, но предпочитали вежливо выпроводить его. Когда вопрос предстал перед ним в таком свете, он еще раз выказал себя человеком решительным, по крайней мере, так говорит он сам, приписывая свою быструю решимость менее низким побуждениям. “Я тотчас сообразил, что мне надо делать. С решительностью, которая нередко являлась у меня в трудные минуты, я понял, что моя отставка, в сущности, уже принята, и роль моя окончена”. Были серьезные основания предполагать, что рассудив таким образом, он одной рукой подписал бумагу, а другой взял деньги. С не меньшей реши-

тельностью он тотчас же попросил разрешения уехать, исчезнуть, выразив желание удалиться в свое поместье в Гробуа и жить там в счастливой безызвестности, освободившись от бремени величия. А главное, там он мог на свободе изливать свою злобу, свою горькую обиду: он бесился, может быть, не столько от того, что проиграл, сколько от того, что его одурачили, в то время, как он думал, что помогает дурачить других.

Его просьба о разрешении уехать была слишком справедлива и уместна, чтобы разрешение не было дано тотчас же. Как только его прошение об отставке получили в Тюльери, Бонапарт, не дожидаясь, пока президент Лемерсье внесет его в список “входящих”, отобрал сотню драгун для охраны и конвоирования невольного беглеца. Через минуту под окнами Барраса уже раздавался конский топот и бряцанье оружия. Подали карету, и запряженный почтовыми лошадьми экипаж помчался под звон бубенчиков, шелканье кнута и мерный стук копыт. Но у заставы неожиданно возникло затруднение: Фуше, верный традициям, прежде всего, поспешил разослать повсюду приказ запереть заставы, никого не впускать и не выпускать. Солдаты на посту остановили экипаж и видя, что ямщик не намерен останавливаться, пригрозили распороть брюхо лошадям. После долгих и тщетных переговоров пришлось послать к Бонапарту, просить у него пропуска. Тот немедленно послал адъютанта снять запрет, слишком счастливый возможностью покончить с Баррасом

и дать ему с позором сойти со страниц истории.

IV

Из министров и высших чиновников большинство уже успело явиться в Тюльери.⁶²⁸ В инспекторскую залу, где теперь находился Бонапарт вместе с Сийэсом, Роже Дюко и главными жожаками, и куда, казалось, было перенесено местопребывание правительства, один за другим прибывали министры, вызванные под предлогом обеспечить выполнение декрета; сперва Фуше и Камбасерэс, полиция и юстиция; затем Кинетт, министр внутренних дел, и Рейнар – иностранных. Роберт Линде, министр финансов, не откликнулся на первый зов, но приехал по второму. Дюбуа-Крансе заперся у себя в кабинете, в военном министерстве, и не выходил весь день, фактически обреченный на бездействие декретом, законодательным порядком предоставлявшим Бонапарту верховную власть над войсками.⁶²⁹

Фуше рассыпался в изъявлениях преданности и не скупился на доказательства; его усердие казалось порой даже неуместным. Приказ запереть заставы не понравился Бонапарту. Эта отдача под арест Парижа имела характер насилия

⁶²⁸ Газеты за 19-е.

⁶²⁹ См. письмо Камбасерэса к Линде, у Moutier, 373, с приложением facsimile. “Lettres de madame Reinhard”, 94. Камбасерэс в своем письме, перечисляя присутствовавших министров, не называет имени Дюбуа-Крансэ. Frederic Masson, “Napoleon et sa famille”, I, 283.

и чего-то революционного, слишком напоминавшего прежние времена, претившего ему, который понимал этот день совсем иначе, шедшего вразрез с его желанием как можно меньше нарушать привычки граждан и сделать для них потрясение едва заметным. Его ответ дышал благородством. “Бог мой, к чему все эти предосторожности? Мы идем с нацией, движимые только ее силою. Ни один гражданин не должен быть обеспокоен; торжество общественного мнения не должно иметь ничего общего с переворотами, учиненными мятежным меньшинством”. Фуше пришлось разослать повсюду новый приказ, отменяющий первый, восстановить свободное движение и поубавить усердия.

Камбасерэс серьезнее доказывал свое сочувствие: он дважды писал Роберту Линде; но, что касается его лично, он решил свято соблюдать формы.⁶³⁰

Первое его слово Бонапарту было: “Позвольте спросить вас, сохраняет ли конституция силу государственного закона?” – “Почему вы мне задали этот вопрос?” Камбасерэс пояснил. Ему, как министру юстиции, надлежало ввести в силу декрет старейшин, напечатав его в “Вестнике законов”, обнародовав обычным порядком и разослав по всем администрациям. В силу конституции, ни один закон не мог быть опубликован иначе, как по официальному приказу директории, подписанному ее президентом, который, кроме того, должен

⁶³⁰ “Commentaires”, IV, 25. Относительно приказа и отмены приказа сходятся все газеты.

был скрепить его приложением хранившейся у него печати республики.⁶³¹ А между тем, за отсутствием Гойе, остававшегося в Люксембурге, эта “чисто административная” санкция не могла быть выполнена. Правда, печать имелась налицо; секретарь Лагард стащил ее из Люксембурга и привез с собою; но Камбасерэс не считал себя вправе самолично наложить официальный штампель. Низвергнуть правительство, перевернуть вверх дном все учреждения – против этого он ничего не имел; но, пока конституция существует, он считал долгом подчиняться ее постановлениям, и сам не мог позволить себе ни малейшей неправильности в процедуре.

Бонапарта раздражала эта придирка, являвшаяся зацепкой для всего предприятия, тем более, что она могла вызвать неповиновение легальное. “Законники, – говорил он, – всегда тормозят ход дела”. Впоследствии он в шутку упрекал Камбасерэса, что тот чуть было не провалил 18-го брюмера. К счастью, если Камбасерэс был большим формалистом, зато он был и казуистом. “Сейчас, – сказал он Бонапарту, – я говорю с вами как министр, теперь я буду говорить как человек, желающий вам помочь”. И он предложил способ

⁶³¹ Относительно опубликования и приложения печати, мы следовали неизданному рассказу Камбасерэса и цитаты заимствовали у него. Существовал прецедент, в силу которого Сийэс мог взять на себя обязанности президента. 30 прериаля, после отставки тогдашнего президента Мерлена, его предшественник, Баррас, снова временно исполнял обязанности президента. – “Протоколы Директории”. Национальный Архив. А. Ф. III, 15.

устранить им же созданное затруднение. “Так как Гойе упорно не приходит, нельзя ли рассматривать его как удерживаемого *force majeure* и не состоящего более на действительной службе?” В таком случае, на основании имеющихся прецедентов, Сийэсу, председательствовавшему в директории в предыдущем триместре, надлежало заменить теперешнего президента и действовать вместо него. “Пусть Сийэс подпишет и приложит печать, – говорил Камбасерэс, – остальное я беру на себя”. Но к этому маневру не понадобилось прибегать; Сийэс только что хотел подписать, как явились Гойе и Мулен; видя, что все бегут в Тюльери, и они, в конце концов, последовали за другими; и их притянул к себе этот всепоглощающий центр.

Гойе не отказывался сговориться с Сийэсом, составить и подписать новый акт промульгации по всей форме.⁶³² Да он и не мог поступить иначе, под угрозой нарушения конституции, так как старейшины только воспользовались своим верховным правом инициативы. По правде говоря, он мог и даже должен был восстать против параграфа о главнокомандующем войсками, так как в конституции это не было предвидено. Но он промолчал, по всей вероятности, в убеждении, что отделаться хотели только от Барраса, и что директория, сбросив с себя это компрометирующее бремя, снова всплывет на поверхность.

⁶³² Рассказ Камбасерэса. Акт промульгации, подписанный Гойе и скрепленный печатью, фигурирует и в *Bulletin des lois*.

Пора было разбить его иллюзии. В нем больше не нуждались и начали сейчас же “выставлять” его, но не грубо, а с некоторой подготовкой. Бонапарт, Сийэс, Дюко, инспектора Булэ, Шазаль – все вместе старались склонить его к смирению, к самоотречению, дать ему понять, что о директории и конституции можно говорить только в прошедшем времени. Но это было не так-то легко. Найдя в Тюльери двоих из своих коллег, он тотчас предложил им устроить совещание – он с самого утра мечтал об этом. Напрасно Сийэс и Дюко говорили, что они уже в отставке, и твердили о необходимости радикальной перемены; Гойе упрямо продолжал надеяться, что перемена ограничится пустяками, что большинство директоров и президент останутся на своих местах и что день завершится сердечным, единением и объятиями. Ведь у него же все обедают нынче вечером, Бонапарт формально обещал. Бонапарт, рассердясь, в конце концов, объявил ему: “Я сегодня не буду обедать”.

Наконец, Булэ и Шазаль заговорили начистоту: от гражданина президента хотят, чтобы он подал в отставку; понял ли он наконец? Тут бедняга рассердился, разразился упреками; думали, что он сейчас начнет упрячиться, но он чувствовал свое бессилие, и гнев его скоро улегся. Тем не менее, он продолжал ссылаться на свои принципы, на свои обязанности, на конституцию и держаться на позиции почетной обороны.

Мулен, “с вытянутой физиономией”, выказывал не меньшее упорства, хотя у него не было уже никакого желания

что-либо предпринимать. Этот весьма посредственный генерал, неожиданно очутившийся у власти именно благодаря своей успокоительной безвестности, все же сохранил кой-какие военные привычки и утром выказывал некоторую решимость. В сущности, он никогда не заблуждался относительно прочности правительства, к которому принадлежал; с первого же дня, как он вошел в его состав, он как будто носил по нем траур. Он внушал некоторые опасения только вследствие приписываемого ему родства с Сантерром, экс-королем предместий, зачинщиком прежних рабочих восстаний. Один момент в Тюльери разнесся слух, что Сантерр бегает по предместьям и бунтует народ. Бонапарт, нахмурясь, пристально взглянул на Мулена и сказал: “Если Сантерр вздумает показаться, я отдам приказ следить за ним и убить его”. Мулен поспешил успокоить его: “Сантерру не собрать около себя и четырех человек”. Невозможно представить себе более разочарованного якобинца.

Тем не менее он и Гойе отказывались подать в отставку, хотя их порядком прижали к стене. Булэ, мечтавший разыграть относительно Гойе ту самую комбинацию, которую Талейран так успешно разыграл по отношению к Баррасу, приставал к президенту: “Соглашайтесь, гражданин Гойе, или вы хотите, чтобы к просьбе присоединилось нечто большее?”⁶³³ Но Бонапарт еще не соглашался на насилие. Гойе и

⁶³³ Разговор в том виде, как его приводит Gohier, I, 256–260, несомненно им исправлен и приспособлен для того, чтобы выставить себя в более

Мулен, почувствовав наконец, что им не место в Тюльери, так как они хотят остаться верными законности, пожелали уехать; их не задерживали. Уехать – но куда? Им и в голову не пришло показаться народу и сплотить разбросанные элементы оппозиции; они просто сели в карету и вернулись в Люксембург, замкнувшись в своем пассивном сопротивлении.

Однако, следовало оберечь их от враждебных советов и предупредить пробуждение в них энергии; поэтому сочли благоразумным изолировать их и арестовать домашним арестом; это называлось в то время “отдать под надзор”. Бонапарт решил послать несколько взводов пехоты для военной оккупации Люксембурга, с тем, чтобы они заняли покинутые гвардией посты и не выпускали обоих директоров. Посланы были три сотни людей 96-й полубригады, и во главе их, в знак особенного доверия, Моро. Его вкусам вполне отвечали этот высокий пост и в то же время чисто пассивная роль.

Триста пехотинцев уже готовы были двинуться в Тюльери, когда, по рассказу Бонапарта, произошло нечто странное. В рядах раздался ропот; солдаты готовы были взбунтоваться – не потому, чтобы совесть запрещала им держать под замком вчерашних правителей – нет, в этот день, долженствовавший навсегда упрочить республику, им противно было повиноваться Моро; ни рыба ни мясо, известный своей умеренностью, он, как им казалось, не заслуживал доверия истинных

патриотов. Бонапарту пришлось уговаривать их, гарантировать республиканизм Моро, взять на себя ответственность за него перед войском.⁶³⁴

Отряд двинулся. По прибытии в Люксембург, Моро представился Мулену, и, не скрывая причины своего появления, пытался завязать разговор; но тот вместо ответа указал ему на дверь, сделав знак пройти в переднюю. Там отныне было его место, ибо славный генерал унизился до роли тюремщика. Солдаты бесцеремонно наводнили дворец, ходили по всем комнатам, заколачивали входы, запирали двери на задвижки. Гойе и Мулен написали и послали советам протест, само собой перехваченный по дороге. После этого их еще больше стеснили: лишили их всякого сообщения между собой, запретили разговаривать; часовой, приставленный к Гойе, не отставал от него ни на шаг. “Вечером. – пишет бедный негодующий президент, – он хотел остаться возле моей кровати и сторожить даже мой сон”. Внизу заперли на засов большую входную дверь, открывавшуюся наружу, что довершило тюремный вид директорского дворца, преобразованного в арестный дом

Солдаты строжайшим образом выполняли приказ никого не впускать и не выпускать, не делая исключения даже для лиц, желавших говорить с их генералом. Приходили депута-

⁶³⁴ Факт бунта солдат против Моро приводится только в “Commentaires”, IV, 22, с неточным указанием номера полубригады (вместо 96-й – 86-й).

ты, офицеры; ответ всем был один и тот же: “Вход воспрещается”. – Но ведь мы депутаты. – “Вход воспрещается”. – Дайте, по крайней мере, расписаться у привратника. – “Вход воспрещается”. – Могу я видеть генерала Моро? – “Вход воспрещается”. Моро не смел сойти с места и был несколько сконфужен навязанной ему ролью; сторожа своих пленных, он сам был пленником своих людей.

Бонапарт распределил остальные войска, до тех пор сконцентрированные в Тюльери, по стратегическим пунктам Парижа, обеспечивавшим оборону главных позиций: дворца и его окрестностей, Елисейских полей и дорог, ведущих в Сен-Клу.⁶³⁵ Дислокация войск заняла не больше часа. Во главе различных военных групп Бонапарт поставил над дежурными командирами, своих людей, по большей части генералов с славными именами, волновавшими народное воображение. Лефевра он оставил при себе, как “старшего своего заместителя”. Андреосси исполнял обязанности начальника генерального штаба, имея помощниками Каффарелли и Дусе. Панну поручено было заведовать Тюльерийским дворцом. Беррюе – дворцом инвалидов. Мюрат со своей кавалерией был послан охранять дворец Бурбонов, Мармон поставлен во главе артиллерии, Моран остался плац-командиром. Макдональд был послан в Версаль для надзора за находившимися там якобинцами. Серюрье с большим отрядом пехоты занял пост на Пуэн-дю-Жур, откуда наутро ему велено было

⁶³⁵ Дневной приказ, III, 67, расклеенный в Париже.

отправиться в Сен-Клу и отдаться в распоряжение тамошнего начальника войск, в качестве его помощника; таким образом, его отряд, соединившись с другими войсками, в железных тисках зажмет советы, в то время, как Париж останется под охраной избранной группы знаменитых вождей, “совмещающих в себе одних больше славы, чем нужно для того, чтобы воодушевить несколько армий и заставить дрожать Европу”.

Обо всем этом парижане были извещены расклеенным по городу приказом, вышедшим из-под станков национальной типографии, так как все общественные учреждения, признав новую власть, функционировали правильно.⁶³⁶ Адрес старейшин, двойная прокламация Бонапарта к народу и армии, прокламация министра полиции и другая – центральной администрации – были вывешены на стенах как официальные документы. Главное почтовое управление разослало по провинции экстренных гонцов с узаконенными должным порядком указами, не переставая в то же время удовлетворять общественные потребности – мальпосты выехали из города в семь часов, почти без опоздания. Над Лувром и на других высоких объектах был пущен в ход воздушный телеграф, “длинные руки его беспрестанно реяли в воздухе”, возвещая новость всем четырем странам света. Во всех округах муниципалитеты были упразднены, правительственные комисса-

⁶³⁶ **Перед глазами у нас летучий экземпляр с пометкой: Национальная Типография.**

ры, надежные агенты, захватили бразды правления в свои руки и присвоили себе муниципальные функции.⁶³⁷ Они каждый час переговаривались телеграммами с центральным комиссаром Реалем. Адьютанты велели бить тревогу, созвали национальную гвардию, усилили посты, словом, развернули картину буржуазного милитаризма; но эти предосторожности оставались чисто предупредительными мерами, так как нигде не проявлялось и тени активного сопротивления.

В Тюльери все ворота заперли, приставив сильную стражу; смотреть было больше не на что, и любопытные удалились. Прилегающие ко дворцу аллеи и сад понемногу пустели; толпа отхлынула, рассеявшись внутри города. Париж, казалось, принял свой обычный вид; многие граждане возвращались к своей работе, к своим делам. На бирже, открытой с утра, переворот отразился благоприятно; необычайная вещь – государственные фонды повысились в момент кризиса, даже раньше, чем стал известен результат; консолидированная треть поднялась с 11 фр. 37 до 12 фр. 88. Состоятельные люди продолжали оказывать поддержку. “Не прошло и трех часов, как в государственное казначейство внесено было два миллиона и два других обещаны на завтра”. Эти цифры, приведенные в газетах, несомненно, преувеличены, но министр Годен, которому предстояло на другой день принять порт-

⁶³⁷ Изданным впоследствии законом были признаны действительные гражданские акты вообще и, в частности, браки, заключенные в течение этих дней окружными комиссарами. Запись совещаний временного консульства, Aulard, p. 42.

фель министра финансов, подтверждает в своих мемуарах самый факт аванса. Впрочем, надо принять в расчет, что совет старейшин, прежде чем разойтись, включил в программу завтрашнего заседания обсуждение вопроса о “делегациях”, крайне важного для капиталистов, как бы намереваясь одновременно провести государственную реформу и удовлетворить финансистов.

Масса населения казалась не столько взволнованной, сколько примиренной и “покорной”. Газеты на другой день говорили: “У нас еще не бывало такой спокойной революции”. В предместьях ни тени волнения; мнимое появление Сантерра было фальшивой тревогой. Профессиональные смутьяны вдруг все куда-то попрятались. У открытых снова застав военные посты удвоенной силы следили за всеми входящими и выходящими, позволяя себе подчас недоверчивое отношение, сарказм и шуточки над представителями павшего правительства. Если женщина выезжала из города в карете, она могла быть только “любовницей Барраса”, спешившей убраться подобру-поздорову. Ее пропускали, только удостоверив ее личность.⁶³⁸

Через одну из застав въехала в почтовой карете прибывшая из Коппе г-жа де Сталь, дивясь, что она попала в Париж в день революции. Во всех слышанных ею разговорах между почтальонами и прохожими повторялось одно и то же

⁶³⁸ Корнэ говорит: “Я утверждаю, что все это делалось как-то весело”. “Notice”, 18.

имя: Бонапарт. И она поддалась коллективному увлечению, чувствуя как растет ее энтузиазм к тому, кто выписывал ее произведения в Египте и перенес ее славу на берега Нила, к тому, кого она звала своим “героем”, и кто, без сомнения, даст место и литературному гению в среде будущего правительства.

V

Бонапарт весь день пробыл в Тюльери, превращенном в главную квартиру, военную и гражданскую, и лишь поздно вечером, вернулся ночевать домой на улицу Шантерен. В Тюльери продолжали дефилировать союзники, всякий народ: депутаты, члены Института, убежденные и полуубежденные, и те, кто уже не боялся окончательно связать себя, и те, кто явился засвидетельствовать преданность, откладывая, однако, дальнейшие доказательства до исхода следующего дня. Явились люди заведомо враждебные или, по крайней мере, очень сомнительные. Во время смотра явился Журдан; ему посоветовали сидеть смирно. Ожеро, забыв свои недавние грязные и грубые нападки на Бонапарта, хотел во что бы то ни стало увидеть своего прежнего начальника и, кинувшись ему на шею, расцеловать в обе щеки. С грубыми ужимками, стараясь быть ласковым и милым, он упрекал генерала за то, что тот не доверился ему. “Как, генерал, разве Вы не надеетесь больше на Вашего маленького Ожеро”. Он неуклюже ластился к нарождающейся власти, еще не оторвавшись от якобинства.

Чем больше унижались эти люди, тем больше успокаивались вожди движения, тем больше прояснялись их лица; это была передышка после первых острых волнений. Оптимисты припоминали забавные инциденты дня, острили, калам-

бурили по поводу наивности Гойе. Им не приходило в голову, чтобы успех мог остановиться на полдороги, чтобы дело, так превосходно начатое, могло споткнуться о какое-нибудь жалкое препятствие. Они как будто не знали, что судьба таких насильственных переворотов, как бы они ни отвечали общественным стремлениям и настроению умов, всегда висит на волоске.

Нужно было, однако, распределить следующий день и выработать программу действий, пока весьма неопределенную. Для всякого, кто умел предвидеть и соображать, было очевидно, что настоящая опасность ждет в Сен-Клу, и что там придется пережить самый трудный момент кризиса.

Пока все совершалось под эгидой конституции, под прикрытием законности, допускавшей бессознательные и сознательные заблуждения, и заговорщикам, выставлявшим себя лишь исполнителями декрета, изданного полномочной частью законодательного корпуса, не приходилось прибегать к чересчур рискованным, компрометирующим мерам. Завтра предстоит день уже не конституционный, придется задеть за живое, сбросить маску, обнажить цель, показать, что дело идет не только о повторении 30-го прериаля и об изгнании нескольких директоров, но и о нарушении и ломке основного договора, чего многие еще не предвидели. Против этого конечно, восстанут многие, может быть даже большинство в совете пятисот, которому в первый момент зажали рот, равно как и меньшинство старейшин, не присутствовавших

на первых дебатах. Придется, без сомнения, бороться с отвагой и яростью якобинцев, преодолевать сомнения других партий, оказывать давление на колеблющихся и, быть может, ввиду несомненного конфликта с законом, подвергнуть опасному испытанию преданность войск. Все эти положения необходимо было предвидеть и знать, как выйти из них.

В течение дня, в инспекторской зале, Бонапарт и его главные помощники не раз беседовали об этом, но совещания то и дело прерывались приходами и уходами, отдачей приказаний, общим смятением. Вечером они в последний раз собрались на совет, и с тем, чтобы договориться до конца. Бонапарт, Сийэс, Дюко, разумеется, присутствовали; пригласили они и влиятельнейших своих друзей из обоих собраний; Лемерсье, Ренье, Корнюде, Фарга, Люсьена, Булэ, Эмиля Годен, Шазалья, Кабаниса и некоторых других.

Этот многолюдный комитет, составленный из политиков чистой воды или мыслителей, теряющихся, когда приходилось действовать, представлял собой, в уменьшенном виде, образчик парламентского бессилия.⁶³⁹ Твердо установлен был лишь один пункт – необходимость устранения директории, и, более неопределенно, другой – замена ее временным консульством, которое, по соглашению с несколькими избранными и отборными законодателями, займется перелив-

⁶³⁹ Выдержки о соре, происшедшей вечером в Тюльери: заимствуем из ненапечатанного рассказа Камбасерэса. Cornet: “В этом собрании много говорили, но не сговорились и не пришли ни к каким заключениям”, “Notice”, 12.

кой в новую форму государственных учреждений. Но следовало обставить дело так, чтобы казалось, будто консульство получило свои полномочия от национальных представителей, чтобы оно было создано постановлением собраний, которые затем должны были стусеваться, отложив свои заседания на неопределенное время; в этом-то и было затруднение. В какую форму облечь все это? Как воспользоваться собраниями и в то же время отделаться от них, как ввести в программу дебатов вопрос о пересмотре конституции и заставить вотировать его в принципе? Кто возьмется внести такое предложение? Кто его поддержит? Какую роль дать старейшинам и какую оставить для совета пятисот? Как убедить оба собрания, после того, как они произведут на свет новую власть, принести в жертву самих себя и вернуться в ничтожество? Присутствие войск, конечно, облегчит достижение желаемого результата, но достаточно ли будет для этого простой военной демонстрации и нравственного авторитета штыков? Не придется ли прибегать к вооруженной силе, к грубому насилию, средству рискованному, и, во всяком случае, нежелательному?

Бонапарт присутствовал при совещаниях, не принимая в них большого участия; более политичный и хитрый, чем все его товарищи, он чувствовал, однако, что не его дело придумывать средства, как обойти законодательные собрания, измышлять махинации для решительного завтрашнего дня. Это дело людей бывалых, практиков политического ремесла,

старых парламентских пройдох, в распоряжение, которых он временно предоставил свою шпагу и свою популярность; им надлежит изобресть фокус превращения директории во временное консульство. И он с досадой констатировал у этих людей неспособность прийти к определенному заключению.

Действительно, Сийэс, погруженный в свои размышления, высказывал лишь отвлеченные идеи. Дюко обошелся без речей; депутаты никак не могли сойтись во мнениях, им мешало честолюбие, личные вожеления; каждому хотелось выкроить себе роль поважнее в завтрашнем дне, чтобы обеспечить за собою львиную долю власти в будущем. Люсьен уверял, что он подчинит себе совет пятисот и заставит его вотировать все, что угодно – пусть только ему предоставят полную свободу действий. Он больше, чем кто бы то ни было, стоял за парламентский способ решения вопроса; для него важно было, чтобы Бонапарт-воин не слишком доминировал над Бонапартом-гражданином. И здесь опять-таки “Люсьен действовал в интересах брата, думая, что трудится для самого себя”. Один Шазаль ясно и точно сформулировал свой план, но ему не удалось убедить остальных принять этот план как окончательную программу дня.⁶⁴⁰ Камбасерэс, присутствовавший при некоторых моментах совещания, дивился, видя в вождях так мало согласия и такую неопределенность желаний. Спор затянулся далеко за полночь, но из

⁶⁴⁰ Commentaires, IV, 25. “Факт подтверждается и записками Грувелля. См. Люсьен, у Lescure, II, 129.

всей этой болтовни не вышло никакого толку; в конце концов судьба второго дня была предоставлена на волю случая, личных вдохновений, обстоятельств, благодатного рока, данного импульса, а главное – потока народной воли, который, казалось, должен был все унести с собой.

Это была крупная неосторожность, ибо в политике нельзя рассчитывать, что факт свершится, потому только, что он кажется неизбежным. Между тем, как Бонапарт напрасно полагался на политиков, в надежде, что они добьются успеха парламентскими приемами, те, со своей стороны, делали такую же ошибку, доверяясь единственно престижу военного вождя, его личному обаянию, его влиянию на войска, достаточно для того, чтобы сдержать и усмирить несогласных, этот двойной промах едва не погубил обоих.

Сийэс, выйдя на минуту из отвлеченностей, предлагал, однако, средство упростить и сократить второй день, арестовав немедленно главных якобинских вожаков, и тем обезглавить оппозицию. Это была все та же вечная система: произвести чистку собраний, чтобы лучше поработить их. Бонапарт отказался наотрез.

Было бы ребячеством объяснять этот отказ щепетильностью по отношению к конституции или чрезмерным уважением к личной свободе. Истинная причина разногласия крылась здесь в том, что Сийэс держался революционных традиций. Бонапарт же все хотел сделать по-новому, находя, что в интересах его славы, честолюбия, величавой оригинально-

сти и прочности его будущего правительства необходимо, чтобы его день отличался от всех предыдущих и не повторял прежних гонений. Сийэс не допускал, чтобы революцию можно было довести до конца, не прибегая к революционным приемам. Бонапарт был слишком уверен в себе, в своем могуществе, в своей неотразимости, чтобы позволить себе обойтись без гнусных мер, чтобы присоединить к своей силе красивую декорацию – роскошь великодушия. Все слишком крутые меры, казалось ему, должны были исказить картину им организованного переворота и шли вразрез с его собственным взглядом на свое возвышение; главной его задачей было всегда добиться власти не только без кровопролития, но и без борьбы, без насилия, чтобы авторитеты и партии всюду сами сошли со сцены, чтобы фракции добровольно стушевались или были искусно приведены к необходимости подчиниться единодушному желанию масс. Вот почему он старался до конца оставаться в соприкосновении с этими фракциями и не разрывать окончательно ни с одной, якобинцы несколько тревожили его, но он хранил надежду, если не покорить их, то, по крайней мере, нейтрализовать, и продолжал исподтишка вести с ними переговоры.

Якобинцы совета пятисот, более двухсот депутатов, провели весь день и часть ночи, разыскивая друг друга, собираясь для лихорадочных совещаний. Собирались у своей же братии или в ресторанах, за обедом. Горячились, проклинали, давали торжественные клятвы, разыгрывая из себя Бру-

тов, которым несносна всякая тирания. Тем не менее у них замечались различные оттенки мнений, и они делились на несколько категорий. Военная группа якобинцев – Журдан и Ожеро с товарищами, примкнувшие к партии из недовольства и обманутого честолюбия, заключили с Бонапартом нечто вроде перемирия. Они оставляли за собой право нарушить это перемирие или превратить его в окончательный мир, смотря по тому, какой оборот примет дело. Это не мешало им участвовать в общих собраниях, где они сталкивались с более яркими, более передовыми якобинцами, и порой давать собраниям благоразумные советы.

В эти диссидентские сборища вкрался некий политический бродяга, шнырявший по всем партиям, корсиканец Салисетти, бывший военный комиссар итальянской армии, вдвойне и даже втройне шпион, впрочем, привлекательной наружности и с мягкими вкрадчивыми манерами.

Бонапарт велел передать им буквально следующее: “Не бойтесь ничего, будьте спокойны и республика будет спасена.⁶⁴¹ Послезавтра вы будете довольны, – мы пообедаем вместе и объяснимся начистоту”. Цель его была добиться лаской того, чего Сийэс хотел достигнуть силой, помешать якобинским вожакам явиться завтра в Сен-Клу, убедив их, что

⁶⁴¹ Эти типичные слова, действительно, были им сказаны. В этом Бонапарт сам сознавался в беседе с военным комиссаром, Жюльеном, который явился к нему для форменного интервью несколько времени спустя и потом опубликовал свой разговор с Бонапартом в брошюре, озаглавленной: “Entretien politique sur la situation actuelle de la France et sur les plans du nouveau gouvernement”.

лично они рискуют, отправляясь туда, республика же, права народа, священные принципы, наоборот, не подвергаются никакой опасности. Он пошел даже дальше, намекнув им, что Сийэс предлагал против них крайние меры, он же категорически отверг этот способ. Он выставил себя, таким образом, защитником народного представительства, поднимая свой престиж за счет своего союзника.

Эта несколько предательская откровенность отчасти достигла цели. Журдан, Ожеро и ближайшие их друзья сговорились между собой не ездить в Сен-Клу, но с утра сидеть у себя дома, оставаясь “пассивными зрителями событий”, что не мешает им впоследствии неожиданно выступить на сцену, если дела Бонапарта примут дурной оборот, и выудить власть из мутной воды. Гражданские якобинцы, Брио, Тало, Дегстрем, Арена, Гранмэзон, Дельбрель, Бигонне, Диньефф, Блэн, Сулье, наоборот, оставались непреклонными. Они сгорали желанием начать враждебные действия, но на кого опереться, раз народ отсутствует? Было очевидно, что решить участь республики еще раз придется армии, и пылкие трибуны чувствовали необходимость противопоставить Бонапарту другой сильный меч – генерала, который бы также имел влияние и власть над войсками; естественно, они вспомнили о Бернадоте, человеке с выгодной внешностью, звучной речью, голосом “бывшего сержанта-инструктора” – их, прежнем военном министре.

Бернадот в тот день утром завтракал у Жозефа Бонапар-

та, днем показался в Тюльери, потом решил, что не худо будет сойтись с Моро и попытаться эксплуатировать его колебания; вечер он провел в обществе якобинцев и расстался с ними, только назначив у себя на завтра в пять часов утра рандеву вождей. Недовольный и обиженный, он агитировал внизу, кружил около событий, ища лазейки, чтобы самому пролезть вперед и урвать кусок добычи. В революции, которая должны была перевернуть всю Францию, он видел только неудачу для своего честолюбия и личную себе обиду, как же ему было не завидовать Бонапарту, игравшему ту самую роль, которой добивался и не добился он, Бернадот. Эту роль казалось трудным вырвать из рук человека, так властно присвоившего ее себе, но Бернадот не отчаивался войти в долю с этим человеком, навязать себя в товарищи Бонапарту, отказавшись занять второе место после него, и войти в состав его свиты. Он весь сказался в плане, предложенном им якобинцам. Его программа была такова: пятистам, собравшись в Сен-Клу, незачем тратить время на обсуждение законности принятых мер. Лучше всего, если они, с первой же минуты, в параллель с декретом старейшин, особым указом назначат генерала Бернадота помощником Бонапарта в командовании войсками на равных правах, для того, чтобы оба они совместно блюли безопасность французского народа, советов и государства. Бернадот будет держаться наготове. Получив указ, он немедленно облечется в мундир и, сев на коня помчится на зов. По дороге в Сен-Клу он примет на-

чадьство над войсками, разбросанными на пути, и представит перед Бонапартом с такой свитой, что тот принужден будет фактически согласиться на раздел; таким образом, будет создан военный думвират, – рядом с генералом старейшин – генерал пятисот, обеспечивающий передовой партии все желательные ей гарантии. Итак, Бернадот питал необычайную надежду – подняться с помощью парламентского декрета на одну высоту с Бонапартом, устранить его. Если обстоятельства сложатся благоприятно, остаться одному хозяином положения и распоряжаться им согласно своим политическим симпатиям, а главное своему честолюбию.⁶⁴²

Якобинцы выслушали план Бернадота и приняли его к сведению. Не видно, однако, чтобы большинство депутатов усвоило себе его идею, или само ринулось в битву с готовым, выработанным планом. Тем не менее, они решились бороться, а так как они были добрые бойцы, смелые и упорные, весьма способные силой овладеть собранием, полные решимости, не то что жалкие люксембургские узники – представленная им возможность явиться в Сен-Клу создавала крупную опасность, недостаточно принятую в расчет Бонапартом.

В то же время он сделал и другую ошибку. Слишком полагаясь на свое счастье и не допуская мысли, чтобы фортуна

⁶⁴² План Бернадота совершенно тождественно излагает Баррас, IV, 87–88. Touchard-lafosse, 244–248. Sarrazin высказывается в том же смысле, 133–135.

могла изменить ему, он не боялся в беседе с приходившими к нему, но еще не составившими себе окончательного мнения людьми раскрывать свои планы будущего и свой принцип управления. “Довольно факций: я не хочу их и не потерплю ни одной, – властно заявлял он, как будто его устами уже говорила народная воля, нетерпеливо рвавшаяся на свободу, жаждавшая покончить с агитаторами всякого рода, жаждавшая безмолвия, порядка и покоя. Втайне еще щадя факции, он вслух высказывал намерение покончить с ними, слить их с народной массой. Он нашел формулу и повторял ее без конца: “Я не принадлежу ни к какой другой котерии, я принадлежу к великой котерии французского народа”.

Воинственный тон его речей, еще больше подчеркивавший их смысл, произносимые им иногда слова: “Я хочу”, “я приказываю”, резали ухо слушавшим его и заставляли их призадуматься. В этом тощем генерале с огненными глазами, с повадкой императора, казалось им, кипит рвущаяся наружу тирания, а так как они хотели дать защитника республике, не навязывая ей господина, хотели сохранить конституционные гарантии и равновесие властей, так как сами они были по большей части людьми известной партии и секты, некоторые из них с полным доверием примкнувшие к его начинанию, уже готовы были отстать; у них рождались сомнения, походившие на угрызения. Вокруг Бонапарта, у многих старейшин, из которых должна была завтра состоять его гражданская фаланга, в этом недавно сформированном

и еще плохо дисциплинированном войске, замечались колебание и тревожные симптомы.⁶⁴³ Они, казалось, готовы были повернуть назад, в тот самый час, когда вдали раздалась первые раскаты грома оппозиции. Странная непоследовательность – Бонапарт все еще не соглашался на крутые меры и в то же время позволял угадывать свое властолюбие; вместо того, чтобы разом запугать и пригнуть к земле противную партию, он вызывал недоверие у колеблющихся; его темперамент вредил его политике.

Опасность эта не ускользнула от некоторых из главных вожаков, или наиболее посвященных, и смутила их сердца. Вечером, на дому у влиятельных заговорщиков, в министерствах, в администрациях уже проскальзывали сомнения относительно конечного исхода. И если бы заглянуть в эти души, убедился бы, что их преданность уже не так надежна, и измена недалека. Бонапарт, между тем, вернувшись домой, говорил Бурьенну: “Ну, сегодня было не так уж плохо; посмотрим, что будет завтра”. Ложась спать, он положил возле себя заряженные пистолеты. Войска всюду держались настороже. Ланн охранял огромную арену борьбы, Тюльери.⁶⁴⁴ Солдаты, набившись в залу старейшин и другие парламентские помещения, спали вооруженные, не снимая сапог. Па-

⁶⁴³ О старейшинах Корнэ говорит, стр. 12: “В это мгновение три четверти тех, кто помог совершиться утреннему событию, рады были бы отступить”. Fauriel, “Les derniers jours du Consulat” (отметка на полях).

⁶⁴⁴ О занятии Тюльери см. подробности в “Mémoires historiques sur le 18 brumaire”, 21.

риж оставался спокойным. В театрах публика, видимо, все еще находилась под бодрящим впечатлением происшедшего утром. “Во Французском театре, где давно уже перестали слушать песни циничного характера, чрезвычайно много аплодировали прощальной песне”.⁶⁴⁵

Между тем погода испортилась; дождь лил ливня, разгоня народные сборища, пронизывая сыростью Париж, придавая похоронный вид улицам. Этот день, вначале согретый золотыми лучами, полный дивных надежд и увлекательных зрелищ, под конец, казалось, готов был перейти в ноябрьскую ночь, длинную и унылую.⁶⁴⁶

⁶⁴⁵ Полицейские донесения у Aulard, “*Études et leçons sur la Révolution française*”, 2-eme serie, 224.

⁶⁴⁶ Gazette de France от 19-го. В Bien Informé, номер от 2-го фримера, приведены метеорологические наблюдения за время от 18-го брюмера до 1-го фримера.

ГЛАВА IX. БРЮМЕР – ВТОРОЙ ДЕНЬ

*Движение к Сен-Клу. – Камбасерэс и Шазаль; второй *cours d'état*, оставленный про запас. – Бенжамен Констан. – Отъезд Бонапарта. – Дорога. – Набег на Сен-Клу. – Топография местности. – Помещение не умели приспособить вовремя; – последствия. – Оппозиция в совете пятисот; депутаты присягают конституции. – Нетерпение Бонапарта; флегматичность Сийэса. – Сообщения старейшин урывками. – Дело не подвигается. – Бонапарт является в совет старейшин, чтобы дать им толчок; никакого впечатления. – Какие соображения побудили его войти в залу пятисот. – Его появление; взрыв. – Страшная суматоха. – Оскорбление действительным. – Физическая слабость Бонапарта. – Якобинцы требуют объявления его вне закона. – Обструкция. – Бонапарт садится на коня. – Объезд пехоты и кавалерии. – Вид раны. – Беспорядочное и яростное метание во все стороны. – Приближение ночи. – Неизбежность объявления вне закона. – Люсьен изгнан из залы. – Он говорит речь гренадерам. – Давление со стороны других войск. – Рубикон перейден. – Гренадеры в зале. – Слово Мюрата. – Штыки. – Собрание рассеялось в полной мгле и ту-*

мане. – Преклонение старейшин. – Оценка роли Люсьена – Обед у Талейрана. – Сумятица в Париже. – Вербовщики депутатов; попытка создать кое-что из обломков. – Ночные заседания. – Речи Люсьена, Булэ и Кабаниса; гражданские инициаторы переворота отнюдь не поклонники цезаризма. – Национальная республика. – Временное консульство. – Исключение депутатов-якобинцев. – Присяга; контрабандная публика. – Сен-Клу пустует; возвращение в Париж. – Брюмер, республика и революция.

I

К утру 19-го брюмера погода прояснилась, хотя в воздухе было свежо, и земля хранила следы дождя.⁶⁴⁷ По улицам шли войска, направляясь в Сен-Клу, драгуны и стрелки эскадронами, в походной форме, “со скатанными шинелями”, во главе генерал Лефевр со своим штабом. Гренадеры национального представительства также покинули свою казарму на улице Капуцинов. По-видимому, эта часть всегда внушала некоторое недоверие; по рассказу одного депутата, между ними сделан был строгий выбор; малонадежных оставили и заперли в казарме; факт тот, что из целого батальона в тысячу двести с лишком человек взяли пятьсот-шестьсот, не больше. Отель, Пасси, Ле Пуэн-дю-Жур были заняты пехотными отрядами; генерала Серюрье послали вперед принять начальство над войсками в Сен-Клу и подготовить все необходимое; по пути расставлены были запасные отряды и посты для охраны дороги; в помощь Серюрье назначен Леклер.

Весь Париж с любопытством и волнением обращал взоры на Сен-Клу. В утренних газетах искали сведений, подробностей, предсказаний. Газеты вышли все; органы “доброй партии” проповедовали спокойствие, гарантируя личную безопасность. Они изображали движение направленным против

⁶⁴⁷ Судя по вышеупомянутому метеорологическому бюллетеню, 19-го дождя не было.

якобинцев и опасности, грозившей с их стороны; заинтересованных материально успокаивали посулами восстановления прав, отмены жестоких мер и грабительских законов. Якобинский *Journal des hommes* ограничился изложением фактов под рубрикой: Революция. “Друг – законов” (*L’ami des Lois*). Пульсье, недавно подвергнутый цензурной каре по приказу директории и вынужденный переменить свое название, ликовал и ругался больше, чем когда-либо. Он накинулся на Барраса, Гойе и Мулена с потоками яростной грубой брани; это было недостойное битье лежачего – низкое, ибо все казалось возможным, кроме восстановления директории! Сметливый журналист, редактор “*Espiègle*”, чтобы увеличить розничную продажу своего эфемерного листка, дал ему заманчивый подзаголовок: Телеграф Сен-Клу.

Посвященные обнаруживали большое оживление, не чуждое тревоги; они странствовали по городу пешком и в экипажах, навещая друг друга, чтобы сговориться о последних подробностях. Бенжамен Констан не отставал от Сийэса и уже начинал критиковать – ему не нравился тон возвания Бонапарта к войскам. Камбасерэс чуть свет приехал к Шазалю узнать, привело ли к чему-нибудь вечернее совещание в Тюльери, сговорились ли между собой депутаты. Шазаль принужден был сознаться, что совещание не дало результатов – он сам внес выработанный им проект, но не сумел заставить собрание принять его – и не скрыл своих опасений. “Ничего не решено, – говорил он, – уж и не знаю, чем это

кончится”.

Камбасерэс, не ожидая ничего хорошего от так плохо подготовленной битвы, принял свои предосторожности. Самое важное было – ни в каком случае не допустить, чтобы Париж снова достался в руки якобинцам и гнусным их бандам. Не теряя времени, Камбасерэс разыскал двоих из военачальников, оставленных в Париже, и, по соглашению с ними, организовал как бы дополнительный *сoup d'état*, запасной триумvirат, в замену триумvirату Бонапарта, Сийэса и Роже Дюко, на случай, если тот, поставив крупную ставку в Сен-Клу, будет разбит и рассеян бурей. Существование Бонапарта всегда было сплошной борьбой против трагических превратностей войны и политики, и наиболее разумных его сторонников почти не покидала мысль о необходимости иметь в запасе, на случай катастрофы, готовое правительство, которое могло бы неожиданно выступить из-за кулис на авансцену. По временам бывали и попытки осуществить эту мысль. Историки отмечают такую попытку в 1809 г., после кровавой неудачи в испанской войне, и еще раньше в 1800 г., во время сражения при Маренго. По мере того, как освещается изнанка наполеоновской истории, источник этой предусмотрительности отодвигается все дальше и дальше, и мы видим начало ее уже 19-го брюмера.

Фуше оставался в Париже; ему поручено было следить за населением и сдерживать его. Это было ему по вкусу; он занял полезный пост, не слишком себя компрометируя.

Он распорядился круто, с своей стороны, вошел в соглашение с военными властями, концентрировал все имевшиеся в его распоряжении средства, требовал от полиции неусыпного надзора за порядком. “Кто вздумает бунтовать, – говорил он, – того в реку!” Подчинив себе таким образом Париж и распорядясь в нем, как хозяин, он создал себе прочное положение – на всякий случай.

Он не все предвидел. В Сен-Клу, в качестве представителя полиции, был послан его секретарь, генерал Тюро. Журналист по профессии, с бойким пером, и чиновник в промежутках, Тюро был человек неглупый, но интриган. По-видимому, его миссия в Сен-Клу пробудила в нем честолюбие; она открывала ему доступ к высшим должностям в государстве, давала возможность отличиться, лично оказать услугу Бонапарту, выдвинуться за счет своего шефа и министра, оставшегося на заднем плане, и – почему бы и нет? – вытеснить его по возвращении, чтобы самому занять его место. Он тоже замышлял свой маленький *coup d'état* в министерстве полиции. Но это была неудачная мысль. Не такой человек был Фуше, чтобы позволить выставить себя подобным образом. Впоследствии, проведая об интриге, он посчитался с Тюро, и тот дорого поплатился, лишившись места за то, что метил слишком высоко. Это положило начало вражде между ними, долго еще находившей отголосок в печати.

У Бонапарта “армия генералов” была уже на ногах. Он лаконически отдавал приказания, советы, инструкции; корпус-

ным командирам запрещено было без особого приказа покидать отведенные им позиции, – что бы им ни сообщили. Покончив с военными, он обратился к гражданским своим гостям – к Камбасерэсу, приехавшему поделиться с ним своими опасениями, к Ле Кутэ, которому он предложил портфель министра финансов в будущем правительстве. Тщетные дебаты предыдущей ночи, по-видимому, просветили его насчет парламентариев и внушили отвращение к ним. “В этих советах мало людей. Видел я их и слушал вчера целый день, – какое убожество, какие мелкие гаденькие интересы!” Под влиянием полученных накануне уроков в нем, очевидно, уже складывалось намерение как можно скорее изменить окраску дня, пустив в ход вооруженную силу. Но он не признавался в этом. “Неужели и вы думаете, что нам без боя не обойтись?” Однако Ланну, просившему позволения сопровождать его, он ответил. – “Нет, генерал, вы ранены, а нам придется долго не сходить с коня... Нет, мой друг, оставайтесь здесь”.

“Бертье, вы едете со мной; вы тоже, толстый папаша (хлопнув по животу толстого генерала Гарданна). Но что с вами, Бертье? Вы нездоровы?” – Бертье: “У меня гвоздь в сапоге; я наколол себе ногу; пришлось положить припарку”. – Бонапарт: – “Так оставайтесь”. – Бертье: “Ну уж нет! Если бы даже мне пришлось едва тащиться и терпеть адские муки, я вас не покину”.

Перед отъездом “генералу” пришли сказать, что Жозефи-

на желает еще раз видеть его и говорить с ним. Это, по-видимому, было ему приятно. “В добрый час! Я приду, но сегодня бабам нечего путаться – не женское дело”. Когда он вернулся, Ле Кутэ предложил ему ночевать у него в Отейле, поблизости к Сен-Клу; генерал не отклонил приглашения, но сказал: “Только чтобы не было баб; дело слишком серьезное. Едем!”

Он поехал в карете со своими адъютантами, в сопровождении кавалерийского отряда. Парижское население приветствовало его. Проезжая через Отейль, он проехал мимо дома, где бились для него благородные и нежные сердца, где г-жи Гельвециус и Кондорсе, в кругу друзей, просидели безвыходно весь день, в ожидании вестей. Десятилетний мальчик Амбруаз Фирмен Дидо влез на скамью у входа, чтобы лучше рассмотреть его, и впоследствии вспоминал, что ему довелось в этот тревожный день увидеть генерала Бонапарта.

За ним следовал его штаб, гражданский и военный. Адъютант Лавалетт и Бурьенн ехали в экипаже. На площади Согласия, проезжая мимо места казней, Бурьенн сказал своему спутнику: “Мы будем ночевать сегодня в Люксембурге, или сложим головы здесь”. Сийэс не мирился с такой альтернативой и приберег себе третий исход: в Сен-Клу, в укромном месте, у него припасены были лошади и экипаж, на случай бегства; этому экипажу суждено было стать одним из знаменитых аксессуаров драмы. Из наиболее скомпрометированных депутатов некоторые сознательно жертвовали жизнью.

Вильетар взял с собой самое дорогое, что у него было: двоих детей, сына и племянника, вверенного его попечению; он спрятал их в дальнем уголке парка, в кустах, и велел ждать до вечера. “Если не вернусь, бегите, спасайтесь; это будет значить, что меня нет в живых”.

По дороге из Парижа в Сен-Клу, в то время проходившей через Булонский лес, ехало и шло множество всякого люда. Всевозможные экипажи, почтовые рыдваны, огромные неуклюжие ящики на колесах, и более легкие экипажи, с почтальонами и жокеями, собственные и извозчицьи кабриолеты – весь военный и политический мир дефилировал на этой дороге. Мелькали фигуры законодателей и чиновников, офицеров в полной парадной форме; возле них статисты, фигуранты и просто любопытные; все разновидности актеров и зрителей: убежденные, пылкие, робкие, скептики, разочарованные; те, кому предстояло дать сражение, те, кто будет кружить около в надежде что-нибудь заполучить, и те, кто просто хотел посмотреть.

Влиятельные люди везли с собой своих друзей и приверженцев. Сийэс и неразлучный с ним Рожэ Дюко ехали в одном экипаже с Лагардом, секретарем директории. Люсьен вез с собой своего верного Сапэ (Sapéy), Талейран – своего бывшего “викария” Деренода и обоих Редереров, отца и сына. Жозеф Бонапарт счел долгом сопровождать своего брата. Бенжамен Констан и другие политики, оставшиеся в стороне, примкнули к главному ядру партии; поэт Арно фигури-

ровал в качестве волонтера и вольтижера, перебегая от одного к другому, производя разведки, передавая новости или приказы. Были здесь и многие парижане, явившиеся в качестве любителей, завсегда таеv всех интересных зрелищ, привлеченные неожиданностями обещанного на сегодня представления и новизной революции в деревне. Событиям придавала особенный интерес крупная и загадочная фигура Бонапарта: что такое в сущности этот молодой человек с властным взглядом и тоном? Великий честолюбец или патриот высшего разряда? Чего он хочет; узурпировать тиранию, или насаждать свободу? Вот о чем судили и рядили, пререкались, пророчествовали, философствовали, приводя примеры из истории и цитаты из классиков. Шевалье де Сатюр. старый барин и начитанный человек, говорил в это утро: “Сегодня вечером он будет ниже Кромвеля или выше Эпаминонда”. Женское любопытство не отрекалось от своих прав, и г-жа де Сталь, не выходя из дому, устроилась так, чтобы каждый час иметь сведения о перипетиях дня. Организовались новые способы доставки писем, нарочные, гонцы; большая часть газет прислали сотрудников, собиравших или выдумывавших новости, редактировавших парламентские отчеты. Художник Сабле, друг Леклера, ехал наблюдать живописные сцены, чтобы занести их в свой альбом.

В Сен-Клу весь этот люд метался, суетился, копошился; каждый в ожидании открытия занавеса, прежде чем занять свое место на спектакле, спешил подкрепиться, запастись

силами. Повсюду завтракали. Гостиницы, кабачки, которых масса в дачных местах, брались с бою. Для рестораторов среди мертвого сезона наступил неожиданный праздник. В сатирической пьесе, написанной на тему брюмерских событий, “Сен-Клусский флюгер” (La Girouette de Saint-Cloud), выведен главным лицом именно такой трактирщик, меняющий убеждения соответственно тому, откуда подул ветер. Завтракали и в комнате дворцового швейцара.⁶⁴⁸ В деревушке, еще сохранившей свой сельский вид, на поднимавшихся в гору узеньких улицах, среди увядшей зелени, было необычайнолюдно и шумно; распряженные экипажи, говор почтальонов и кучеров, импровизированные трапезы – общая картина колоссального загородного пикника; только войска неподалеку наводили на более серьезные мысли.

Друзья старались держаться вместе, отдельными группами. Колло заблаговременно нанял в Сен-Клу на этот день целый дом, по приказанию Бонапарта. Этим воспользовался Талейран, не игравший в этот день никакой официальной роли; он на целый день водворился в нанятом домике, откуда, устроив себе там обсерваторию, он мог посылать советы и следить за событиями. Вокруг него собралось це-

⁶⁴⁸ Одна газета уверяет, что многие якобинские депутаты, готовясь к битве, подкрепляли себя обильными возлияниями. В особенности налился Дестрем; он вошел в залу очень развязно, в ухарски сдвинутом на бок токе, нахально поглядывая по сторонам и говоря, как Дантон: “Смотрите, у меня еще голова на плечах”. – “Это не лучшее из того, что ты имеешь”,—ответил ему его приятель М. (“Ami des lois”, 27 брюмера).

лое общество: Редерер с сыном, Деренод, Колло, Дюкенуа, адвокат Моро де Сен-Мери и знаменитый Монрон, жантильцом в индустрии и великий делец, признанный любовник странной креолки, г-жи Амелэн (Hamelin), остроумный и забавный рассказчик, поражавший своей развязностью. “Я его люблю, – говорил про него Талейран, – за то, что он не бесконечно щепетилен”. – “А я, возразил Монрон, – люблю Талейрана за то, что в нем совсем нет щепетильности”. Монрон принес с собой большой запас веселья и хорошего настроения. Колло, как человек солидный, на всякий случай положил в карман пятьсот луидоров, которые могли пригодиться. Любопытно было послушать, что говорилось в этой компании. Моро де Сен-Мери “взвешивал события со всей добросовестностью нотариуса из комической оперы”. Деренод афишировал свои принципы и умилялся над судьбой оскорбленной конституции. Вначале над ним подтрунивали; потом его сетования надоели; его заставили замолчать.

Дворец недалеко быстро наполнялся. Революция обобрала его, но не опустошила: позолота, картины остались нетронутыми; там и сям, среди массивных орнаментов, блистало солнце Людовика XIV с своим надменным девизом. Во времена директории в этом дворце давались общественные балы; тогда иллюминировали сады и танцевали в оранжерее. Но тяжелые времена и непостоянство моды все унесли с собою. Теперь в пустой дворец, холодный, как все нежилые помещения, съезжались все государственные власти, чтобы раз-

бить там свой походный лагерь. Депутатов все прибывало, а деваться им было некуда. Масса обойщиков и декораторов работали, не покладая рук, над убранством залы заседаний, инспекторской залы и другой – для генерального штаба. Во дворце на постах были расставлены гренадеры законодательного корпуса; они же несли службу ординарцев, но большинство их были выстроены двумя шпалерами на парадном дворе, а позади их несколько взводов армейских гренадеров. По дворцу сновали офицеры, но среди мундиров виднелись всякого рода костюмы, так как нужно было до конца соблюсти формы и, уважая публичность заседаний, допустить известное количество зрителей. Уверяют, будто вожаки набрали подложных людей из народа, чтобы иметь свою публику; с другой стороны, несомненно, что у якобинцев были среди публики свои люди. Местные обыватели и приезжие из окрестностей и из Парижа толпились у решетки, охраняемой часовыми, в надежде что-нибудь увидеть, создавая вокруг дворца атмосферу напряженного любопытства, говора и шума толпы.

Ниже, на переднем дворе, на идущей в гору подъездной аллее и в окрестностях замка собирались войска всех родов оружия. Там разбивали палатки, составляли козлы из ружей, располагались бивуаком отдыхающие солдаты, не препятствовали разглядывать тебя любопытным и охотно вступали в разговоры с буржуа. Они, по-видимому, были очень вооружены против режима, столько месяцев заставлявшего

их терпеть лишения. Иные, ворча, предъявляли доказательства своей бедности – лопнувшие сапоги, заплаты на мундирах, прибавляя: а вдобавок еще и жалованье задерживают, хлеба мало дают, табаку ни понюшки. Целая рота курила одну и ту же единственную трубку, переходившую из уст в уста; она так и называлась – ротная трубка. Эти обнищавшие солдаты винули во всех своих невзгодах адвокатов и парламентских говорунов, по-военному срывая свой гнев на собраниях: “Пора вышвырнуть за борт (f...dehors) этих ораторов; они себе болтают языком, а мы, по их милости” полгода сидим без жалованья и без сапог; не нужно нам столько правителей”. – “Ах! будь здесь хозяином Бонапарт!”... Эти слова повторялись чаще всего. Зато один гвардейский офицер говорил депутату: “Будьте спокойны и положитесь на нас”.

В общем, войск было не так много: не считай гвардейского батальона, восемь-десять рот пехоты, по большей части 79-го полка; один эскадрон корсиканского полка Себастиани; один эскадрон 8-го драгунского полка; один эскадрон конных стрелков, один-два взвода артиллерии, – словом, как бы образчики всех войск, входящих в состав Парижской дивизии. Позже подъехали человек 80 – 100 конных гренадеров директории, вытянулись в ряд высокие мохнатые шапки. Драгуны, с несколькими ротами пехоты, разместились на переднем дворе, вблизи замка; остальные войска стали эшелонами в направлении моста и реки для охраны апрошей.

Вот за мостом показалась карета, окруженная драгунами

и конными гренадерами; она сворачивает влево, подымается по подъездной аллее, вот въехала во двор, остановилась; из нее выходит несколько офицеров – Бонапарт и его адъютанты: он, живой, ловкий, с несколько лихорадочной быстротой движений; его спутники с наружностью, не внушающей особенного почтения, – толстяк Гарденн, прихрамывающий Бертье. Их встречают криками: “Да здравствует Бонапарт!”, к которым примешиваются крики: “Да здравствует конституция!” Кричат депутаты и кое-кто из публики. На пути Бонапарта все войска салютуют ему; молодые солдаты с любопытством вглядываются в него и в памяти их запечатлеваются некоторые подробности: “Он был в небольшой шляпе и при небольшой шпаге”.

Войдя во дворец, он обходит посты, опрашивает генералов, осведомляется, все ли готово для открытия заседания, назначенного на полдень. Оказывается, ничего не готово; перевозка обстановки парламентской залы, приспособление помещений заняли более времени, чем предполагалось, и это вызывает досадную проволочку.

Чтобы понять, какие приспособления нужно было сделать, чтобы разместить собрание, надо представить себе местность, общий вид и расположение зданий: эспланада, большая в длину, чем в ширину, выходящая из чудного парка, сжатая между надвигающимися одна на другую террасами и крутыми уступами; на этой площадке замок и сад; главный корпус здания и два выдавшиеся вперед флигеля окайм-

ляют собою внутренний парадный двор, переходящий в террасу, откуда открывается вид на леса и Сену, и Париж вдали – огромный безучастный Париж, о котором здесь идет спор; спереди внутреннего двора, немного вправо, другой двор, въездной, с воротами наружу; позади замка сад, закрытый постройками, – сад *à la française*, с глубокими перспективами зелени, окаймленный с одной стороны длинной стеной, с другой – аллеей высоких деревьев, уцелевших и поныне. Замок средних размеров, двор довольно сжатый и сад невелик; на этом-то небольшом пространстве и разыгралась вся битва, стиснутая и как бы сдавленная высокими каменными стенами, высокими деревьями и грабинником.

Лучшая зала во дворце, занимавшая в длину весь первый этаж правого флигеля, была отдана старейшинам; это была галерея Аполлона, вся расписанная и декорированная Миньяром. Ход в нее вел через салон Марса. Этот величественный вестибюль, внушительная перспектива галереи, блеск золота и пышность аллегорий, развертывающихся на стенах, роскошно задрапированные президентская эстрада и трибуна, правильные ряды стульев, наскоро навешанные ковровые портьеры, – все это придавало заседанию парадный, торжественный вид. У главного входа, внутри самой залы, в виде исключительной меры, поставили вооруженных гренадеров.

Для пятисот не нашлось иного помещения, кроме оранжереи, перпендикулярной пристройке к фасаду дворца, выходящей окнами в сад. Невидимый со двора обширный па-

раллелограмм выдвигался из ряда построек, расположенных сзади правого крыла. Таким образом, оранжерея, отведенная для пятисот, являлась как бы продолжением галереи старейшин позади, в глубине; с одной стороны она примыкала к саду и тянулась параллельно высокой аллее, отделенная от нее расширявшимися посередине цветниками; другой стороной выходила на узкую дорогу, уцелевшую и поныне, сжатую между крутыми откосами.

Зала производила непривлекательное впечатление серой наготы, несмотря на правильные ряды колонн, поддерживавших громоздкую декорацию в величавом стиле Людовика XIV. Двенадцать окон, высоких и широких, выходили в сад, открываясь во всю длину, невысоко над землей; центральная дверь, также выходившая в сад, по-видимому была забита. Из дальнего конца залы виден был парк и различные уголья. В ближайшем ко двору конце была пробита дверь, служившая входной. Здание оранжереи и дворец не плотно примыкали друг к другу, но соединялись крытым ходом (*tam bour*), который теперь наскоро задрапировали коврами. Там был поставлен почетный караул. Депутаты, входившие со двора, могли проникнуть в свою залу, не выходя на воздух, в обход через коридоры, гардеробные и лестницы, так как нижний этаж, *rez de chaussée* дворца, вследствие наклона почвы, был ниже сада и оранжереи.

Отступая приблизительно на треть залы от двери, у четвертого окна возвышалась президентская эстрада; справа и

слева два стола пониже, для секретарей; внизу трибуна с двойной лестницей. В остальной части залы тянулись рядами стулья, скамьи, разрозненные стильные кресла, причем ряды сидений были расположены так, чтобы между дверью и трибуной оставался свободный проход. С обоих концов было оставлено по узкому пространству, отгороженному от депутатов балюстрадой, задрапированной материей, где могло поместиться около двухсот человек зрителей. Чтобы немного сгладить леденящее впечатление наготы, там и сям навешивали ковры, драпировки. Все это наскоро, наспех; говор и болтовня рабочих смешивались со стуком молотков.

Бонапарт со своими офицерами прошел по всей зале, самолично осмотрел все работы. В одном углу топились печи; возле них грелось несколько депутатов; один из них, увидя генерала, пробормотал сквозь зубы: “Ах, разбойник! Ах, злодей!”

В аллеях сада, во дворах бродили вперемежку члены обоих советов, не зная, что с собой делать и куда деваться. Порой они соединялись в группы, завязывалась жаркая беседа, и тут-то обнаруживались все неудобства и опасность проволочки. Возмущение, сомнения, тревога – все успело разрастись и созреть. Члены совета пятисот приходили в соприкосновение со старейшинами; кто посмелее, негодуяюще кричал: “А! он хочет быть Цезарем, Кромвелем! Это надо вывести на свежую воду”. Войска, окруженный стражей дворец, обилие мундиров давали превосходные темы для декламации. Иные

старались выпытать у старейшин подлинные мотивы перевода собраний; многие из старейшин, шедшие вслед за другими, не видя цели движения, не знали, что ответить, и с тревогой сами спрашивали себя, куда их ведут. Тех, кого считали осведомленными, засыпали вопросами. Посвященные начинали понемножку, осторожно, раскрывать карты, зондируя почву, но их намеки не вполне достигали желаемой цели. У большинства старейшин как бы пошатнулась решимость; их сочувствие стало каким-то смутным и вялым. Многие, еще накануне встревоженные диктаторскими приемами Бонапарта, уже боялись сами попасть в расставленную ими ловушку, уже хотели бы выпутаться и найти какой-нибудь способ вернуться к конституционному порядку, придать легальный характер предстоящей реформе. Другие, более отважные, присоединялись к оппозиции; простые конституционалисты искали прибежища в якобинцах. В этом конгрессе под открытым небом из депутатов обеих палат местами уже поднимался сердитый ветер оппозиции, крепчал и грозил разрастись в целую бурю.

II

Бьет полдень, половина первого, час; помещение для пятисот, наконец, готово. Холодный сарай поглотил законодателей, облаченных в красные тоги; Люсьен поднимается на президентское место и объявляет заседание открытым.

На трибуне появляется один из надежных депутатов, Эмиль Годен. Он требует назначения особой комиссии для проверки общественной опасности и изыскания мер к ее устранению, с тем, чтобы до представления комиссией отчета вопрос этот не подлежал обсуждению. Это парламентская уловка. На комиссию легче воздействовать, чем на целое собрание, легче склонить ее к назначению консульства; притом же, стушевавшись, пятьсот дадут возможность старейшинам продолжать начатое накануне и руководить событиями дня.

Но якобинцы понимают, куда клонит Годен, и моментально разражается буря. Раздаются яростные крики: “Не надо диктатуры! Долой диктаторов! Мы здесь свободны, нас не пугают штыки!” Оратора прерывают бранью, оскорблениями; голоса его не слышно; он принужден сойти с трибуны. Друзья Сийэса и Бонапарта с первой же минуты парализованы; они умеренные и потому сразу оказываются слабее; масса идет за теми, у кого зычный голос, крепкие легкие, здоровая глотка; якобинский кулак и энергия покоряют нерешительных, и якобинцы становятся хозяевами положения.

Президенту Люсьену шикают, свищут, угрожают; несмотря на его испытанное мужество и редкое присутствие духа, ему трудно бороться с потоком. Депутаты толпой осаждают эстраду с ревом: Конституция или смерть! Те самые якобинцы, которые уже несколько месяцев замышляют пустить в трубу конституцию, заменив ее демагогической диктатурой, теперь цепляются за нее как за ковчег завета. Они и слышать не хотят ни о каких изменениях: не нужно им республики на американский лад, не нужно конституции английского образца. “Не для того потратили все свое достояние, чтобы повиноваться таким правительствам. Десять лет уже льется французская кровь за свободу, но не для того, чтобы иметь конституцию, как в Соединенных Штатах, или правительство вроде английского!” Гражданин Дельбрель требует, чтобы все депутаты еще раз по очереди присягнули конституции; это предложение вызывает гром аплодисментов.

На трибуну всходит другой якобинец, лучший политик, чем его коллеги, признанный тактик партии, Гранмэзон. Он поддерживает предложение, но желал бы еще другого: он хочет, чтобы собрание немедленно послало запрос старейшинам относительно фактов, мотивировавших перемену резиденции; пусть они объяснят свой декрет, представят доказательства существования мнимого анархистского заговора; а так как доказательств они представить не могут, это будет способ разоблачить настоящий заговор, козни старейшин и Бонапарта и уличить зачинщиков; таким манером пятьсот

сразу выступят мстителями за оскорбленные истину и законность. Но собрания времен революции питали пристрастие к эффектным сценам и патетическим позам, а присяга – это такая эффектная вещь. Предложение было пущено на голоса, и совет решил, что присяга должна быть принесена немедленно; при проверке голосов ни один депутат не осмелился встать. Люсьен не возражал; он ничего не имел против того, чтобы пятьсот, вместо попытки разбить контратакой построенную против них махинацию, остались неподвижными, застыв в театральных позах.

Согласно обычаю, депутаты, вызывавшиеся поименно, должны были по очереди всходить на трибуну и трагически, с протянутой рукой, произносить формулу присяги. Эта процедура, вообще медлительная, должна была занять еще больше времени, ввиду возбужденного состояния депутатов. Вся зала была на ногах и в движении; депутаты уходили, возвращались, сбивались в группы; поглощенные бурными спорами, многие не сразу откликались на призыв; приходилось посылать за ними, ждать их; но все же они подходили и, повинаясь данному импульсу, выполняли обряд, – и умеренные, и крайние, и конституционалисты, и антиконституционалисты. Президент первый подал пример. Когда он произнес присягу, кто-то крикнул: “Секретарь, занесите в протокол!” Один только депутат отказался присягнуть и публично сложил с себя свои полномочия; его фамилия была Бергоэн. Депутаты собрались почти в полном составе; не яви-

лись только Журдан и Ожеро со своими сеидами; на трибуне торжественно, без конца, дефилировали члены собрания, не опуская ни единой формальности.

При переключках было принято за правило, чтобы, когда очередь дойдет до Робержо, одного из злополучных рештадтских полномочных министров, президент отвечал замогильным голосом: “Умерщвлен Австрийским домом”. Люсьен не преминул ответить. Было в обычае также, чтобы на места, которые прежде занимали жертвы, клали их тоги, токи и рафы, окутанные крепом; но мы не знаем, был ли этот курьезный церемониал соблюден в Сен-Клу. Публика на трибунах высчитала, что за первые пять минут присягу принесло только трое – значит, за день не кончить. Но или расчет был неверен, или потом дело пошло быстрее, ибо вся процедура окончилась незадолго до четырех часов. Старейшины могли бы успеть за это время учредить консульство, заставить войска признать его, и тогда пятьсот, не успев докончить своего заблаговременного протеста, очутились бы лицом к лицу с совершившимся фактом.

Старейшины вступали в свою залу величаво, с достоинством, с соблюдением обычного церемониала. Впереди шли музыканты, исполнявшие гимн: “Allons, enfants de la patrie!” Едва они уселись по местам, как произошел инцидент. Некоторые из членов, не вызванных на совет накануне, заявили протест. От имени ответственных за это инспекторов. Фарг возразил, что все приглашения были разосланы своевременно-

но, с рассыльными, аккуратность которых выше всяких подозрений. Лживость такого утверждения слишком очевидна, и партия переворота выходит не без урона из этой первой стычки. Большинство, хотя и склонное мирволить этой партии, не смеет остановить пререканий и само напрасно теряет время.

Расхрабрившееся несогласное меньшинство наступает решительнее, храня однако важность и сдержанность, приличествующие дебатам верховного собрания. Савари, Гююмар Коломбель просят инспекторов подробнее изложить причины, побудившие их предложить перевод собраний в Сен-Клу; в чем, собственно, заключается страшная опасность, угрожающая республике и свободе? Вместо фраз желательны были бы факты. Эти факты инспекторам изложить довольно трудно: у них нет в запасе ни одного доказательства, хотя бы для видимости; они дают, уклончивые ответы, стараются отделаться неясными, запутанными фразами.

Чтобы прервать этот опасный спор, дружественный оратор, Корнюде, находит одно только средство; поставить на вид, что прения совета старейшин имеют силу лишь с того момента, когда пятьсот официально известят его, что сами они собрались в Сен-Клу в законном большинстве, и, следовательно, декрет о переводе выполнен в точности. А между тем пятьсот, поглощенные своей присягой, официально еще не подавали признака жизни. Корнюде требует также, чтобы старейшины сами официально заявили о себе пятистам и да-

же директории, этой не существующей более власти; причины такого формализма сейчас выяснятся. Старейшины постановляют послать обоим письменные извещения и в ожидании ответов в четверть четвертого объявляют перерыв заседания.

В половине четвертого президент Лемерсье возобновляет заседание, чтобы прочесть письмо Лагарда, секретаря директории. Лагард отвечает, что извещение не могло быть доставлено по назначению, так как директория более не существует: четверо из ее членов вышли в отставку, а пятый находится под домашним арестом. Число вышедших в отставку преувеличено, так как Гойе и Мулен наотрез отказались это сделать. Это лживое сообщение, вызванное Корнюде, по предварительному уговору с Бонапартом, очевидно, должно было служить стимулом для старейшин; официально удостоверение о смерти директории приглашало создать новое правительство.

Для этого старейшинам надо было открыто поставить себя вне конституции и прибегнуть к явному превышению власти, так как законная роль их ограничивалась обсуждением резолюций другого собрания, которые они могли утверждать или отвергать. Сами по себе они имели право сделать только одно – перевести в другое место законодательный корпус – что и сделали. Это исключительное право инициативы, предоставленное им, было уже исчерпано. Что же дальше? Смело перейти границы своих полномочий? Прежде,

чем сделать этот шаг, они словно захотели дать себе передышку и опять объявили перерыв.

В этом ощущении почвы, в этих переговорах с остановками, передышками и возвращениями к прежней теме легко проследить колебания старейшин и возраставшую их нерешительность. За отсутствием выработанного плана и вожак-ков, за недостатком согласия и предусмотрительности толчок, который должен был послужить импульсом, не почувствовался в самом начале, и масса представителей, сбитая с толку неожиданными инцидентами, охваченная сомнениями, проистекавшими от добросовестности, или страхами, в которых она не смела сознаться, оставалась в нерешимости. Между тем как большинство в совете пятисот, снова получившее якобинскую окраску, ожесточаясь, готовилось к упорной борьбе, большинство в совете старейшин, в принципе хорошо настроенное, начинало колебаться. Между сторонниками и противниками задуманной реформы смутно обрисовывалась третья партия, склонная к промежуточным решениям. В разговорах отдельных лиц и групп делала явные успехи идея легкого ремонта, – составления новой директории из Бонапарта, Сийэса и двух-трех их приверженцев, обновления штата без урона для учреждений; это значило бы остановиться на полпути и оставить Францию в прежнем бедственном положении.

А между тем, эти люди пережили революцию и все ее ужасы; казалось бы, они должны были закалиться на этом ог-

не, большинство их было свидетелями ряда последних насильственных действий и участниками проистекших от них выгод. Они прошли через термидор и фрюктидор, но всегда, и в термидоре, и в вандемьере, и в фрюктидоре находился один или несколько человек – террористских проконсулов или генералов-авантюристов – Талльенов, Рейбеллов, Баррасов, выдвигавших свою личную энергию и жестокость на место коллективного бессилия, и наносивших удар, перед которым тотчас простирались ниц оба собрания. Теперь же, когда принятая программа действий отдала движение в руки чистых парламентариев, они оказались несостоятельными при выполнении.

Да и где среди них был человек, способный вызвать подъем в других, заразить их своей энергией? Кроме Сийэса, который не любил активных ролей, но в крайнем случае умел действовать, Сийэса, не имевшего доступа и голоса в собраниях, кроме Люсьена, роль которого вскоре должна была вырасти и определиться, кроме Булэ и еще двух-трех человек, брюмерские депутаты были прежде всего люди пера и кабинетной работы; представители революции догматической, литературной и философствующей. Они уже несколько месяцев подкапывались под конституцию, поставив себе задачей подготовить для нации лучшее будущее; они комбинировали формулы, громоздили одна на другую абстракции; но теперь, столкнувшись с действительностью, не смели открыто восстать против нее; их пугал скачок в нелегальность. И в

том, и в другом собрании они стушевывались, предоставляя первое место крайним или посредственностям. Теоретики, книжники, мыслители, ученые, Дану, Кабанис, Шенье, Андрие – все были здесь, и все притаились. Институт усерднейшим образом проваливал свой *soup d'état*.

III

Бонапарт, два директора, его сообщники, их агенты, все эти правители, чающие движения воды, расположились в апартаментах первого этажа, недалеко от старейшин. Когда, поднявшись на парадную лестницу, вы сворачивали налево, перед вами открывалась анфилада высоких золоченых салонов, без мебели, совершенно пустых: в двух все время толпился народ, одни уходили, другие входили; третий отведен был для генералов и офицеров генерального штаба; рядом, за дверью, совещались Бонапарт, Сийэс и Дюко в будущем кабинете императора.

К ним поминутно входили депутаты их лагеря с новостями или за инструкциями. В соседней гостиной ждали офицеры, стоя, скученные в тесноте; им было не по себе в этой суетолоке штатских, и они начинали тревожиться. Они думали о том, что, в сущности, день начался неважно и не предвещал ничего хорошего. Дело не двигалось вперед, а в конспирации не идти вперед значит идти назад; душу точила глухая, смутная, но все растущая тревога; каждый чувствовал в глубине души близость крушения. Впечатлениями обменивались, – говорит Тьебо, – но не разговаривали между собой, казалось, не смея задать вопрос и страшась ответить”. Заявившие о своей преданности уже сделали пол-оборота назад, сожалея, что слишком поторопились. Лица, замеченные накануне или

утром, не показывались более.

Время от времени дверь отворялась, и на пороге появлялся Бонапарт; в рамке полураскрытой двери обрисовывался его тонкий и властный силуэт. Видимо нервничая, он говорил отрывисто, резко, обманывал свое нетерпение, отдавая подробнейшие инструкции, входя в каждую мелочь, сердился на подчиненных, налагал кары; один батальонный командир без его позволения перевел пост на другое место: арестовать его. Тьебо был возмущен такой жестокостью или воспользовался этим как предлогом и удалился.

Все остальное время Бонапарт оставался в большом кабинете. В огромной пустой комнате, с двумя креслами вместо всякой мебели, было холодно, как в погребе; вязанка хворосту, горевшая в камине, не могла нагреть ее. У Сийэса зуб на зуб не попадал от холода; сидя у камина, он ворчал на помещение и за отсутствием щипцов, мешал поленом огонь. Бонапарт шагал из угла в угол, “в изрядной ажитации”. Каждые десять минут являлся с докладом адъютант Лавалетт, дежуривший на одной из трибун совета пятисот. Когда он сообщил, что “депутаты присягают конституции, Бонапарт сказал: “Ну, вы видите, что они делают!” – “О, о, – откликнулся Сийэс, – присягнуть некоторым статьям конституции, – куда ни шло; но всей – это уж слишком!”

Ходили и другие тревожные слухи. С трибун Оранжереи якобинцы будто бы послали эmissаров в Париж, организовать движение и взбунтовать предместье. В Сен-Клу начи-

нали появляться подозрительные личности – вязальщицы и завсегдатаи Манежа, пытавшиеся пробраться за ограду; то была армия беспорядка, подоспевшая на помощь.

Факт более важный: прибыли Журдан и Ожеро с приспешниками, о которых думали, что они примирились с своей судьбой и никуда не тронутся из Парижа. Если они теперь явились, несмотря на свое первоначальное решение, значит, им известно, что положение Бонапарта скомпрометировано, и они думают, что шансы на их стороне. Они не шли в Оранжерею, но бродили в окрестностях, приглядываясь к войскам прислушиваясь к разговорам, вынюхивая и выведывая; некоторые уверяли, будто из-под их штатских плащей выглядывало шитье мундиров и выпячивались эполеты, миг – и превращение могло совершиться на глазах; говорили также, что у них заготовлены в Сен-Клу оседланные лошади. Заметили также, что у дверей Оранжереи все время стояли депутаты, выглядывая на улицу, словно кого-то поджидая. Кого ждали они? Бернадота? Но Бернадот сидел дома и “ждал у моря погоды”, вместо того, чтобы пойти за нею сам и вынудить фортуна улыбнуться.

Журдан и Ожеро, с своей стороны, и не помышляли о восстановлении директории и спасении конституции; они случайно надеялись воспользоваться якобинской оппозицией, не давая ей дойти до крайностей, выступить в качестве распорядителей и посредников и самим создать правительство с Бонапартом или без него. Ожеро проник к нему в каби-

нет; тоном сочувствия и дружеского укора, представлявшим резкий контраст с его заискиванием накануне, он советовал Бонапарту сложить с себя внеконституционные полномочия, которыми облекли его старейшины. “Сиди смиренно, – ответил ему Бонапарт, – снявши голову, по волосам не плачут”. И повернувшись к Жозефу, стоявшему рядом, прибавил: “Он пришел пощупать меня”. В действительности, из несогласных вождей каждый стремился не столько избавиться от диктатуры, сколько войти в долю с диктатором, или же выставить его, чтобы самому сесть на его место; осложнением этого дня был именно конфликт задуманных переворотов.

Бонапарт чувствует, что нельзя больше терять ни минуты, что его могут опередить, и что он рискует головой, если не вмешается лично, не сплотит своих друзей в обоих советах, не возьмет в свои руки заторможенного дела. Раз парламентская машина, вместо правильного хода, скрипит и делает не то, что надо, ему необходимо вмешаться. И вот, между половиной четвертого и четырьмя, он собирает своих адъютантов и во главе их, через все гостиные, через салон Марса, направляется прямо в собрание старейшин – главный винт, который он повернет своей рукой, своим властным нажимом, и который увлечет за собой все остальное.

Перерыв заседания еще не кончился, но все старейшины мигом уселись по местам, когда доложили о генерале. Началась как бы официозная конференция; заседания так и не

объявляли открытым, чтобы прикрыть неправильность поведения Бонапарта, так как никому не дозволялось без официального зова входить в помещение законодательного собрания.

Бонапарт хотел занять место в самом центре собрания, против президентской эстрады, но ему пришлось сесть правей, что мешало ему смотреть в лицо президенту, обращаясь к нему, и вообще мешало ему говорить. По обе стороны его сели Бертье и Бурьенн; вместе с ним вошли его адъютанты и несколько верных людей, в том числе Жозеф; но все же нынче уже нет вчерашней блестящей свиты, чтобы ободрить и поддержать его.

Да и задача его не из легких. Это не торжественное обращение к аудитории, подобранной заранее; ему предстоит спорить, приводить доводы, убеждать, дать толчок парламенту, вдохнуть в него энергию, подчинить себе и вести большинство – а эта роль для него, безусловно, нова. В умении улавливать души отдельных людей, всколыхнуть волшебством своих прокламаций толпы солдат и черни ему нет равных; но он не привык говорить в собраниях, не знает слов, которые действуют именно на такую толпу, не изучил искусства управлять и руководить ею; притом же этот человек, в своих писаниях достигавший необычайной увлекательности ораторского стиля и силы слова, был лишен дара говорить публично.

Перед недвижными законодателями, перед этими людьми

в красных тогах, которые смотрят на него, не сводя глаз, и напряженно ждут, что он скажет, его охватывает непобедимая неловкость, страх новичка-актера, чувствующего себя совершенно парализованным физически и морально. Он говорит – и плохо поставленный голос его детонирует; говорит, и слова застревают у него в горле, или вырываются торопливой бессвязной речью. Громкие фразы, не идущие к делу, не производящие эффекта; заученные формулы на фоне отрывистых бессвязных слов – вот и вся его речь. Он хочет быть пылким и увлекательным – он только напыщен и многоречив.

“Вы стоите на вулкане... Позвольте мне говорить с вами с откровенностью солдата... Я спокойно жил в Париже, когда вы вызвали меня, чтобы уведомить меня относительно декрета о переводе и поручить мне его выполнение. Я собираю своих товарищей; мы летим к вам на помощь... Меня уже преследуют клеветами, говорят о Цезаре, Кромвеле, о военной диктатуре... Военная диктатура – да если бы я к этому стремился, разве я поспешил бы на помощь национальному представительству?.. – Время не терпит; вы безотлагательно должны принять меры... Республика не имеет больше правительства... остается только совет старейшин... Пусть же он принимает меры, пусть говорит – я здесь, чтобы выполнить его приказ. Спасем свободу! Спасем равенство!” – А конституция! – прерывает его голос представитель Ленгле.

Бонапарт запнулся, “собираясь с мыслями”, по официаль-

ной версии, затем продолжает: “Конституция – вы сами уничтожили ее; вы нарушили ее 18-го фрюктидора; вы нарушили ее 22-го флореаля, вы нарушили ее 30 прериаля. Все давно утратили к ней уважение. Я все скажу”. Слушатели замерли в напряженном ожидании. Что он скажет! Разоблачит, наконец, пресловутый якобинский комплот,⁶⁴⁹ даст доказательства, ясные и точные указания? Заинтересованное большинство надеется на это, ибо, в сущности, оно только того и просит, чтобы его увлекли, чтобы речь генерала дала ему предлог отрешиться от собственной нерешительности, найти в себе смелость для принятия мер общественной защиты.

Бонапарт обвиняет, но туманно, бездоказательно: “фракции пытались обойти его; они выдали ему свою тайну, эта тайна ужасна. Люди крови и грабежа хотели бы вырвать из советов “всех, кто мыслит либерально”. Сторонники эшафота собирают вокруг себя своих сообщников и готовятся привести в исполнение свои ужасные замыслы. Ничего лучшего он не находит, чтобы точнее формулировать обвинение. И опять повторяется: “Я боялся за республику; я присоединился к моим братьям по оружию. Время не терпит; пусть решает совет старейшин”. И снова оправдывается: “Я не интриган; вы меня знаете. Думаю, что я дал достаточно доказательств моей преданности отечеству. Если я изменник, будьте вы все Брутами... Заявляю вам, что, когда это кончится, я буду в республике не более, как рукой, поддерживающей

установленное вами”...

Тут на выручку ему приходят его друзья в совете, чтобы избавить его от невозможных объяснений. Они поднимаются в знак одобрения, увлекая за собой часть старейшин, и предлагают вынести постановление. Но постановление может быть вынесено лишь после регулярных дебатов; поэтому необходимо возобновить заседание; Бонапарта официально приглашают принять в нем участие.

“Вы слышали его, – восклицает Корнюде, взявший на себя роль помощника, вы сами сейчас его слушали. Тот, перед кем Европа и вселенная склоняются в безмолвном удивлении, здесь перед нами; это он подтверждает вам существование заговора; неужели вы отнесетесь к нему, как к низкому обманщику?” – И Корнюде усиливается вызвать возмущенный порыв, разогреть, всколыхнуть собрание. Если пятьсот медлят предлагать меры, старейшинам надлежит помочь их бездействию, взяв на себя инициативу. Но депутаты противоположного лагеря, или просто нерешительные, перебивают его, возвращаясь к злополучному заговору, требуют фактов, имен; “Назовите нам имена!” Бонапарт называет Барраса и Мулена, поверявших ему свои планы ниспровержения существующего строя. Многие депутаты требуют немедленно назначения общего комитета (*comité général*), иными словами, закрытого заседания, на котором можно было бы все сказать. – “Нет, нет, – возражают другие, – все должно быть сказано перед лицом Франции”. Старейшины кричат, пере-

бывают друг друга; представитель Дюффо напрасно призывает своих коллег к спокойствию; он не узнает серьезного, солидного собрания.

Среди всего этого шума Бонапарт продолжает говорить, но слова его не достигают цели. Он положительно не в своей тарелке и потому утрирует, прибегает к самым неудачным приемам, пытается запугать собрание, мечет громы и молнии. Ему припомнилась фраза, некогда брошенная им Каирскому дивану; он вставляет ее: “Вспомните, что я иду, сопровождаемый богом победы и богом войны”. Эта фраза некогда повергла во прах длиннородых сынов Ислама и мусульманских законников; но на французских законодателей она не действует; слышится ропот неодобрения. Чтобы вооружить старейшин против другого собрания, Бонапарт называет его очагом зажигательных страстей: “Я рассчитывал только на совет старейшин; я не надеялся на совет пятисот, где есть люди, которые желали бы вернуть вам конвент, революционные комитеты и эшафоты, где в настоящую минуту заседают вожди этой партии”. Но напрасно он выставляет эти пугала; между ним и аудиторией не устанавливается ток, нравственное общение. В своем одиночестве, ища опоры и поддержки, он замечает гренадеров на посту у входа и обращается к ним: “А вы, мои товарищи и спутники, вы, храбрые гренадеры, которых я вижу вокруг этой палаты... если какой-либо оратор, подкупленный иноземцем, посмеет произнести по отношению к вашему генералу слова: “вне закона”,

пусть гром войны убьет его тут же на месте”. Это обращение к военной силе, вместо того, чтобы вдохнуть решимость в собрание, раздражает и оскорбляет его.

Президент Лемерсье пытается умерить эту опасную многоречивость; он желал бы вернуться к обсуждению главного вопроса – якобинского заговора; быть может, он надеется, что у Бонапарта есть в запасе хоть какое-нибудь важное разоблачение. Бонапарт не выходит из общих мест: агитация, сеть интриг, конституция, осмеянная, дискредитированная, не представляющая более надежного оплота против фракций, величие роли, выпавшей старейшинам. “Если погибнет свобода, на вас падет ответственность за это перед вселенной, потомством, Францией и вашими семьями”.

В конце концов, чтобы уйти от обсуждения, переходящего в допрос, он удаляется. Он не хочет лично формулировать проект консульства, предоставляя это своей партии, которую он, как ему кажется, успел наэлектризовать. Вся эта сцена длилась лишь несколько минут, но они должны были показаться страшно тяжелы его друзьям. Сумеют ли они все-таки сделать вывод и предложить действительные меры? Толчок был дан неправильно, и движение остается слабым, идет по кривой. Корнюде и Лемерсье нападают на конституцию, не смея прямо нанести удар; они хотят установить различие между основными ее положениями, которые должны остаться неприкосновенными, и некоторыми регламентарными, могущими быть измененными: не касаясь прин-

ципов, разве нельзя реорганизовать власть? Дальфонс защищает конституцию, отстаивает ее целиком, указывая в ней якорь спасения, за который должна держаться республика в годину бурь. Большинство колеблется, не зная, к которому из двух мнений примкнуть. Слова Бонапарта не разогнали сомнений, не вызвали искры, которая, как электрический ток, пронизывает собрания и толкает их к смелым решениям.

IV

По выходе из залы к Бонапарту снова вернулось прежнее спокойствие, неподдельное или напускное. Он поручил Бурьенну отправить нарочного к Жозефине, чтобы сказать ей, что все идет хорошо, и углубился в лабиринт коридоров, разделявший помещения обоих собраний. На одной из внутренних винтовых лестниц его нагнал Арно, посланный Талейраном, который соскучился ждать. “Терпение, отвечал Бонапарт, все устроится”. И он решительно свернул в увешанный коврами коридор, ведущий в Оранжевую, в зал пятисот.

Что ему понадобилось в этом собрании, которое он только что так тяжело оскорблял? Как он сам впоследствии признавался, он хотел привести свою недавнюю беседу с Журданом, говорившим от имени целой партии, показав таким образом, что и наиболее выдающиеся якобинцы сами отрекаются от конституции, как от орудия, негодного более к употреблению. Это был способ поселить раздор между своими противниками, вызвать между ними конфликт, раскол и через брешь открыть доступ усилиям своих друзей. Он несомненно рассчитывал и на другое: привести собрание в бессильную ярость, раззадорить его до бешенства криков и споров, которые дадут право принять против него крутые меры, выкажут его в глазах старейшин элементом обструкции и вопиющего беспорядка, который лучше держать поодаль,

а в случае чего и вовсе устранить. Его появление, конечно, вызовет кризис, взрыв – тем лучше: этот кризис может очистить воздух, облегчить и ускорить развязку.

Он, конечно, ждал борьбы, насилия, возмущений и позаботился взять с собой, кроме своих офицеров, несколько преданных ему гренадеров. Как он рассказывает, двое из солдат предостерегли его: “Вы не знаете их (депутатов): они на все способны”. Но ему ли, не дрожавшему перед лицом грозных вражеских армий, ему ли испугаться горланов-адвокатов? Не раз в течение своей карьеры героя он ставил крупную ставку, не раз он бывал в опасности и всегда редкая находчивость, вовремя импровизированный маневр прорывал ряды противника, или же приводил его в замешательство, пролагая путь победе. Он думал, что и теперь будет то же. – “Ожеро, – сказал он своему товарищу битв, – вспомни Арколу!” Он думал, что наступил момент, как на Аркольском мосту, когда вождь должен броситься вперед и схватить знамя, или, вернее, самому стать знаменем и символом объединения. Повинуясь своему боевому темпераменту, своему инстинкту нападения, он кинулся на препятствие, не столько в надежде сразу сбросить его с дороги, сколько встряхнуть его и расколоть на части.

Он все предвидел, кроме немедленного нападения, изгнания при помощи грубой силы – а между тем, это-то и случилось. Собрание все время пребывало в состоянии крайнего возбуждения; многие депутаты стояли, по временам меняя

места и загораживая проходы. Было прочитано письмо Барраса; речь шла о том, чтобы заменить его немедленно, составить список кандидатов, восстановить директорскую власть, выпустить прокламацию к французам. Бигонне поддерживал предложение Гранмэзона относительно запроса старейшинам; сам Гранмэзон только что снова взошел на трибуну. Люсьен несмотря на все не отчаивался еще погасить этот пыл и привести большинство к какому-нибудь компромиссу. Тем временем по соседству раздался стук оружия; это часовые на посту, отдавали честь Бонапарту и его свите, вступавшим в коридор, который заменял переднюю.

В этом узком коридоре теснота и давка были такие, что генерал и его спутники еле подвигались вперед. Наконец они дошли до двери и вступили в залу. Многие депутаты не сразу заметили Бонапарта, который, оставив у порога свиту, один, без всякого прикрытия, пробирался между группами к трибуне. Внезапно у трибуны поднялся страшный шум, грозные крики: “Долой диктатора! Долой тирана! Вне закона! И чуть не все собрание вскочило на ноги в негодовании на этого человека в высоких сапогах со шпорами и военном мундире, который ворвался в его помещение и в котором оно признало Цезаря”.

У трибуны, как водится, выстроилось несколько дюжин якобинцев, как бы держа ее в блокаде. Это были те самые молодцы, которые в заседании 27 фрюктидора кинулись с кулаками на депутатов противной партии; они тотчас наброси-

лись и на генерала, чтобы вытолкать его вон из зала. Со всех концов уже неслись другие, перепрыгивая через скамьи; Бонапарта окружили, стиснули; несколько человек зараз свирепо трясли его за воротник. Под напором их тел, от прикосновения грубых рук, от близости их уст, извергавших брань и дышавших ему в лицо лихорадочно жарким дыханием, щедушный маленький Цезарь, нервный, впечатлительный, всегда брезгливо чуравшийся непосредственного соприкосновения с толпой, почувствовал приступ физической слабости. У него стеснило дыхание, помутилось в глазах; он видел все, как в тумане. Потом он мог припомнить только, что какой-то высокий депутат страшно напирал на него грудью и всем своим огромным телом. Он заявил, однако, что это был не Арена, официально обвиненный в покушении на убийство Бонапарта.

При виде своего генерала в опасности, солдаты, оставшиеся у дверей, пробились на середину зала, и с ними офицеры, Мюрат, Лефевр, Гарданн, Альбонский кригс-комиссар пустили в ход кулаки. Зрители на трибунах, испуганные, кинулись к выходу; в дверях образовалась давка. Приютившиеся в оконных нишах через окна повыскакивали в сад. Посторонняя публика обоего пола, перелезши через перила своей трибуны, попала в самую давку. Свалка становится общей, шум невообразимый. Толчки, пинки, разорванное платье, нестройные крики. Какая-то женщина взвизгнула: “Да здравствует Бонапарт!” – и крик ее тотчас подхватили народ-

ные группы. Депутаты с солдатами сцепились врукопашную; один депутат запутался ногами в складках ковра и во весь рост свалился на пол: гренадеру Томе сверху донизу разорвали рукав мундира. Бонапарт остается добычей великана депутата Дестрема, который кричит ему в лицо: “Разве для этого ты побеждал?” И рука якобинца тяжело опускается на его плечо, а “шлепок Дестрема стоит удара кулака всякого другого”. То не была трагическая и ужасная сцена, впоследствии изображенная легендой и популяризированная в известной гравюре: победитель Италии и Египта, окруженный убийцами в тогах, занесшими над ним кинжалы; то была схватка врукопашную, сцена низкого и дикого зверства.

Солдаты наконец вырвали Бонапарта из рук озверевших якобинцев и прикрыли его собой, своими телами. Один офицер маневрирует, направляясь к двери. Четверо гренадеров, пятясь задом, прикрывают их отступление, между тем как колосс Дестрем нещадно дубасит их вместо генерала. Наконец, Бонапарта вытащили из зала; он выходит поддерживаемый двумя гренадерами, страшно бледный, с искаженным лицом, с свесившейся на плечо головой, задыхающийся, полумертвый.

Выход плачевный. “Вне закона! вне закона!” – кричат ему вслед несколько сот голосов. Вне закона! убийственный декрет изгнания, некогда ускоривший падение Робеспьера; отголосок времен, когда слова убивали, анафема, еще не вполне утратившая свою силу; брошенная Бонапарту целым со-

бранием, она может создать вокруг отверженного пустоту, отрешенность, ужас, восстановить против него часть войск. Якобинцы, по обыкновению, хотят угрозами добиться такого постановления; не дав опомниться собранию, они уже отхлынули к президентской эстраде, избегают по ступеням и, стуча по бюро, грозя кулаками, наступают на президента Люсьена, требуя, чтобы он поставил предложение на голосование.

Люсьен, не снимая шляпы, с поразительным хладнокровием, с большим достоинством защищается от этого натиска; чудом ему удается сдержать нападающих и даже очистить позицию; шум стих, его готовы слушать.

Он начинает говорить. Его речь сдержанна и ловка. Волнение, только что имевшее место в совете – показатель того, что на душе у каждого, что на душе и у меня. Было, однако, естественно подумать, что поступок генерала не имел иной цели, кроме желанья дать отчет о положении дел или о чем-нибудь, затрагивающем общественные интересы”.– Один из членов: “Сегодня слава Бонапарта потускнела, и по его вине – стыдно!” – Другой: “Бонапарт держал себя, как король!” Снова шум; наперерыв сыплются предложения; обычные корифеи якобинства, Бертран кальвадосский, Брио, Талло, Гранмэзон требуют слова. Собрание готово их выслушать. Люсьен ждет всякого неистовства, но его это не страшит, он человек изворотливый. Он говорил как президент; теперь он имеет право говорить как депутат; уступив свое

кресло бывшему президенту, Шазалю, он спускается с эстрады, чтобы взойти на трибуну. Она уже занята якобинцами, слово принадлежит им по праву первенства, но он, все-таки, завладевает правой стороной трибуны и несмотря на постоянные толчки, с целью выбить его из позиции, не покидает своего места, ждет очереди.

Да и собрание присмирело; уже возобновление чего-то вроде правильных прений есть шаг назад. Дело в том, что как только улегся первый порыв негодования, в глубине души всех этих людей вновь просыпается страх. Они чувствуют, что окружены со всех сторон враждебными войсками, что выход загораживают штыки; и страх вооруженного *coup d'état*, преследующий их уже пять месяцев, сильнее прежнего теснит грудь. Прежде чем нанести удар, они хотели бы сами себя обеспечить, утвердить и упрочить свою законную власть над частью войск, над их гвардией, и бурно пререкаются о подготовительных мерах, хотя это не более, как полумеры.

Диньефф требует, чтобы совет прежде всего занял оборонительную позицию и указывает места, подлежащие его ведению и надзору; слышны дружные крики: “Да, да, поддержать!” Бертран кальвадосский выясняет правовую точку зрения: “Когда совет старейшин велел перенести в эту коммуно законодательный корпус, он имел на то право, предоставленное ему конституцией; но, назначая главнокомандующего, он присвоил себе право, ему не предоставленное. Я тре-

бую, чтобы вы начали с постановления, что генерал Бонапарт не начальник гренадеров, составляющих вашу гвардию”.

– “Поддержать, поддержать!” “Это значит подать сигнал к бою”, – возражает кто-то из робких. Но Тало не допускает сомнений в лояльности какой бы то ни было из воинских частей; в случае надобности он берется урезонить солдат. Он служил в национальной гвардии и потому считает себя старым рубакой и солдатом по ремеслу. Поговорить с товарищами по оружию, тронуть сердца этих храбрецов – это уж предоставьте ему, это его дело. И он произносит речь, обращенную не столько к депутатам, сколько к солдатам на постах у входов.

“Я не боюсь солдат, окружающих нас; они сражались за свободу: это наши родные, наши сыновья, братья, друзья. Мы сами служили в их рядах, и я тоже носил ружье и лядунку.⁶⁵⁰ Я не могу бояться республиканского солдата, родители которого подавали за меня голоса и почтили меня своим выбором в число национальных представителей, но я заявляю, что вчера конституция была жестоко оскорблена... Вы должны вернуться в Париж; ступайте туда в своей парламентской одежде, и вас примут под свое покровительство граждане и солдаты, и по их отношению к вам вы убедитесь, что они защитники отечества. Я требую, чтобы вы немедленно постановили, что войска, находящиеся в данный момент в здешней коммуне, входят в состав вашей гвардии. Я требую, что-

⁶⁵⁰ *ladunek* (польск.) – сумка для патронов у кавалеристов

бы совету старейшин послано было приглашение издать декрет, возвращающий нас в Париж”.

Множество депутатов поддерживают это предложение. Гранмэзон, Дестрем, Блэн (Blin) настаивают. Друзья Бонапарта успели, однако, несколько оправиться. Крошэн возражает, стараясь выиграть время; Люсьен, все еще на трибуне, отстаивает свое право говорить. Но попытка обструкции слишком очевидна; раздаются протестующие голоса: “Нас водят за нос, заставляют попусту тратить время!” С грубой фамильярностью революционеров кричат президенту Шазалу: “Что же ты, президент? Действуй, ставь предложения на голосование!”

Проголосовали, но шум и беспорядок таковы, что трудно разобрать, принято ли предложение. Желание объявить несостоявшимся назначение Бонапарта, показаться войскам, вернуться в Париж владеет всеми умами; но собрание слишком растерялось, чтобы привести его в исполнение. Говорят, что нужно выйти всем сразу, и никто не решается; собрание беснуется и бесполезно топчется на месте.

Бонапарт вернулся в свой кабинет на первом этаже. Его окружили Сийэс, Дюко, генералы, верные люди, союзники. Рассказывают, что вначале речь его была бессвязна, что он едва узнавал окружающих. Сийэсу он будто бы сказал: “Генерал, они хотят объявить меня все закона”. – “Они сами себя поставили вне закона”, – отвечал ему экс-аббат.

Физическая слабость скоро прошла, и Бонапарт снова

вернулся к мысли, которая, по-видимому, и привела его в совет пятисот: надо воспользоваться смятением и шумом, – на которые он, конечно, и рассчитывал, но которые превзошли все его ожидания, – чтобы получить новые полномочия, карательную власть над собранием и тогда изгнать его. Но воля, нервы, после жестокого потрясения, не сразу вернулись к норме; обычный апломб и самообладание изменили ему. Он действовал вначале импульсивно, скачками, то колеблясь, то неистовствуя, то медля, то отдаваясь безрасчетному порыву.

Вокруг него все были за энергические меры. Раз в парламенте не выгорело, значит надо моментально повернуть дело иначе, поднять его шпагой, прибегнуть к силе. Мюрат и Леклерк, будущие зятья, весь этот день неразлучные и действовавшие заодно, главные инициаторы военного вмешательства, просят довериться войскам. Сийэс настойчиво повторяет, что пора перейти к решительным мерам и рубануть сплеча. Бонапарт сгорает желанием стереть с лица земли совет пятисот, но можно ли ударить так сразу, без подготовки, перейти к явной и открытой нелегальности? Можно ли вполне положиться на все войска?

Внизу кричат, волнуются гренадеры. Покушение на главнокомандующего, по-видимому, сильно взволновало их. И все же, принимая в расчет происхождение и смешанный состав этого войска, осмелится ли оно поднять руку на одного из собраний, вверенных его защите? Привычка к дисциплине, привычка повиноваться команде, слава Бонапарта, – до-

статочно ли будет всего этого, чтобы подвинуть их всех на бой с народными представителями, бунтующими, крича: “Да здравствует республика!” Между ними может обнаружиться раскол, колебание, сопротивление. А, если они выкажут нерешительность, придется чего доброго пустить в ход армию, как 18-го фрюктидора, и в крайнем случае перешагнуть через них, рискуя жестоким конфликтом. Но предъявите им указ другого совета, декрет старейшин, воплощающих в себе “национальную мудрость”, пусть этот декрет облечет Бонапарта гражданской властью, полномочиями правителя, и они не станут смотреть, правильно ли составлен этот указ, имеет ли он конституционную силу; они еще раз поддадутся обаянию слов, иллюзии формул и обрушатся на упорствующих. Нужен только обрывок законности, чтобы пристегнуть к нему употребление силы.

Представитель Фарг берется убедить своих товарищей старейшин в необходимости такого постановления, изобразив им в ужасном виде сцену в оранжерее. Бонапарт и другие ждут его возвращения в центральном салоне, выходящем окнами на двор, как раз над главным входом. Вести из совета пятисот кажутся более тревожными, чем они есть в действительности, Дюкенау и Монрон, присланные Талейраном, уверяют, что “Вне закона” уже дело решенное. Бонапарт угрюмо обнажает шпагу, подходит к открытому окну и кричит: “К оружию! к оружию!” – крик несется дальше, во все концы, повторяется всюду. Гренадеры внизу подтяну-

лись, встали в ряды; публика около них мечется в страхе. Но за двором на мостовой, на террасе, выстроились драгуны Себастиани, деташемента армейских полков; стройные ряды их тянутся до самого горизонта; и среди общего смятения, среди немолчного гула и шума, наполняющих замок, эти эскадроны в высоких касках, эти длинные ряды пехотинцев, ровные линии ног в штиблетах, синих мундирах с красными отворотами и алых султанах вносят впечатление порядка и силы.

Бонапарт снова спускается вместе со своим штабом – показаться войскам и поговорить с ними. Его окружают. – “Что прикажете?” – “Моего коня”. Но подведенный ему адмиральский конь артачится; кидается в сторону, подымается на дыбы. На него трудно сесть, трудно удержаться в седле, еще трудней сохранить твердую и внушительную посадку: и этот эффект испорчен, совладав, наконец, с злополучным конем, Бонапарт въезжает в ряды гренадеров – “Солдаты, могу я положиться на вас?” Гренадеры в смущении. Сийэс глядит в окно, и ему кажется, будто ряды их как-то подозрительно всколыхнулись, точно вот-вот окружают Бонапарта и накинутся на него.

Он посылает предостеречь генерала. Тот, не останавливаясь, едет все дальше, вот уже выехал с парадного двора, вот поскакал на террасу, к драгунам и пехоте, к этим душою преданным ему войскам, словно ища у них защиты и силы. Его встречает буря приветственных кликов; он дает знак замол-

чать и, обращаясь к офицерам, к солдатам, раздражается потоком яростных слов.

А так как он действительно раздражен до бешенства, то беспощадно клеветает на совет пятисот и взводит на него небывалые обвинения. Прежде чем двинуть на них войско, он осыпает их оскорблениями и клеветой: это негодяи, изменники, пособники иноземца, они подкуплены Англией. “Я шел научить их, как спасти республику, а они хотели убить меня”. Обвинение ложно, ибо в совете пятисот его только помяли и прижали так, что он едва не задохся. Даже допуская, что некоторые из депутатов имели при себе оружие, очевидно, они не хотели убить его, ибо сделали бы это, если бы хотели: несколько минут он был совершенно в их власти. Не беда! Не худо облагородить случившееся, придав ему трагический оттенок.

Бонапарт, видимо, вне себя. Он носится в галопе перед войсками, то круто поворачивая, то останавливаясь, с трудом справляясь с своей лошадыю, и все кричит, что его хотели убить. Вид его ужасен. От разных болезней, которыми он страдал, лицо у него вообще воспаленное, красное, усеяно прыщами; а тут, в эти только что пережитые им минуты смертельной душевной тревоги, он еще расцарапал его ногтями, так что на коже выступила кровь. Это подтверждает уже выдуманную кем-то басню о кинжалах, и слух, что Бонапарт ранен в лицо, несется во все концы, все дальше, дальше, доходит до Парижа.

Генералы, главный штаб, окружили вождя и повторяли его слова, прибавляя еще от себя. Мюрат не отставал от него ни на шаг, следя за тем, чтобы он не удалялся от главного места действия. Леклерк был вездесущ. Серюрье, командовавший на въездном дворе, повторял пароль: “Старейшины примкнули к Бонапарту, пятьсот хотели убить его”, – и, обходя ряды, рассказывал ужасные вещи. Потом, видя, что солдаты достаточно наэлектризованы и недалеко до взрыва, он, как старый хитрец-начальник, заботливо прибавлял: “Не трогайтесь с места, ждите приказа”, – зная, что иной раз, чтобы подбавить усердия людям, нужно делать вид, будто их сдерживаешь.

– “Солдаты, могу ли я рассчитывать на вас?” – повторял Бонапарт. И крики: “Да! да!” – дружными залпами вырывались из солдатских грудей. Возмущенные солдаты топали ногами от ярости, судорожно сжимали оружие; их обычная ненависть к “адвокатам” еще обострилась; раздавалась неистовая брань, проклятия по адресу депутатов-убийц. “Сейчас мы их образумим, – сказал Бонапарт. Он только вернулся на парадный, внутренний двор и там снова начал говорить. Каждая фраза его, почти каждое слово вызывало крики негодования у офицеров и гренадеров армии. Но гренадеры законодательного корпуса, составлявшие главную силу на этом дворе, все еще колебались, прикованные к месту сомнением и тревогой.

И как же было им не смутиться, когда высшее начальство

обращалось к ним с самыми противоположными требованиями? Но следует представлять себе сцену разделенной надвое – впереди, т. е. у ворот замка, неподвижная гвардия; позади в оранжерее ревущее и беснующееся взаперти собрание. Между оранжереей и двором все же было сообщение, пятьсот делали все, чтобы заявить о себе из залы, где их хотели замуровать, подать голос, войти в соприкосновение со своей гвардией. По выходе генерала, несколько гренадеров осталось в зале. К ним гурьбой кинулись депутаты, уговаривали их, стыдили, силились привлечь на свою сторону. Речь Тало не пропала даром; отголоски ее проникли и за двери; вскоре за тем явился один гвардейский офицер предложить свои услуги совету, полагая, что его часть заодно с ним. Депутаты выходили из залы, пытались проникнуть во двор; другие высовывались из окон, жестикулировали, размахивали руками, силились подстрекнуть к бунту своих приверженцев. В саду, во внутренних коридорах, теперь для всех доступных, во дворе перекрикивались, переругивались, толкали друг друга группы разномыслящих. Гренадеров окружала толпа, в которой были свои приливы и отливы.

В этом беспорядочном метании проходили минуты, четверти часа, получасы. Уже недалеко до пяти; день быстро гаснет. В комнатах совсем стемнело. Над цветником поднимается ноябрьский туман, ползет по стволам обнаженных деревьев, заволакивает дали. Еще несколько минут, и неверный свет догорающего дня сменится тьмою.

Все чувствуют, что дальше тянуть нельзя. Из друзей Бонапарта трусы, колеблющиеся давно сбежали; храбрые, решительные, те, кто чувствует себя бесповоротно скомпрометированными, сомкнулись плотнее вокруг вождя. Лавалетт, стоявший на крыльце среди толпы народа, уверяет, будто узнал в одной из групп Талейрана, покинувшего свою обсерваторию, с его бледным, но мужественным лицом смелого игрока. Сам Лавалетт сознается, что если бы в эту минуту перед гвардией предстал энергичный, отважный вождь-диссидент, невозможно предугадать, какой бы оборот приняло дело. Но Журдан бродил в нерешимости, то входя в залу, то прогуливаясь вдоль решетки, опираясь на руку адъютанта. Ожеро, несмотря на свой задорный вид, не находил в себе обычной дерзости. К крыльцу тем временем подъехал Бонапарт, окруженный офицерами; его искаженное, налитое кровью лицо плохо скрывало бурю, кипевшую в его душе.

Фарг не принес ему декрета старейшин. Фарг нашел своих коллег в полном сборе; они словно приросли к своим стульям, испуганные криками, беготней в нижнем этаже и шумом внизу. Он патетически изобразил им картину покушения и поверг их в ужас своим рассказом, но не вдохнул в них решимости. Наконец, объявив заседание закрытым, они вынесли самое что ни на есть парламентское и практически ничего не стоящее решение: вместо правительства, учредили комиссию. Этой комиссии из пяти человек поручено составить доклад и предложить соответствующие меры. Это было

все равно, что ничего – возобновление бесплодных дебатов, и только. Становится все очевиднее, что старейшины сами по себе ничего не сделают; от них требуют импульса, а они ждут его извне.

В совете пятисот положение опять обострилось. Якобинские вожаки знают, что гвардия под ружьем, но однако не трогается с места, и становятся отважнее в своей ярости. Люсьен, однако, наконец, добился слова. “Я должен заметить, что здесь подозрения возникают с большой быстротой и с малым основанием. Неужели один шаг, хотя бы и неправильный, уже заставил забыть столько услуг, оказанных свободе?” – “Их не забудут”, – отвечают несколько голосов. – Люсьен: “Я требую, чтобы прежде чем предпринять что-нибудь, вы вернули сюда генерала. – Мы не признаем его! – Когда в этой палате восстановится спокойствие и необычайное, неприличное возбуждение, проявившееся здесь, уляжется, вы воздадите должное, кому оно подобает по праву”.—“К делу! к делу!” – режут якобинцы, яростно требуя объявления Бонапарта *вне закона*. Парламентские драчуны вновь принялись за дело. Один из них завел ссору с Булэ у самой трибуны и тычет ему кулаками в лицо. Поминутно прерываемая речь Люсьена теряется среди возрастающего шума.

Потеряв надежду заставить себя слушать, Люсьен прибегает к жестам, к мимике, разыгрывает целую сцену. Он быстро сбрасывает с себя тогу, швыряет ее на пол трибуны, за нею ток и шарф с золотой бахромой, и, придав необычай-

ную звучность своему от природы немного глухому голосу, кричит: “я должен отказаться от надежды быть выслушанным, а так как меня не хотят слушать, я слагаю с себя на трибуну, в знак прискорбия, знаки народной магистратуры”. На минуту собрание ошеломлено этим театральным эффектом. Несколько человек бросаются к Люсьену, уговаривают его снова вернуться на президентское место. Другие, желая во что бы то ни стало предотвратить роковую развязку, наоборот, кричат: “Над свободой учинено насилие; совета не существует более; президент, закрывайте заседание!” Но голоса якобинцев преобладают, дают тон, и нестройные крики и ругань тонут в оглушительном, все разрастающемся: “Вне закона!”

Уже несколько минут Люсьен надеялся только на вмешательство извне. Разглядев в толпе депутатов, топтавшихся около трибуны, человека надежного, инспектора залы, генерала Фрежевилля, он наклонился к нему и прошептал, поручая передать это брату: “Надо прервать заседание; еще десять минут, и я уже ни за что не отвечаю!”

Фрежевилль выскользнул вон из зала и выполнил поручение. Неужели нужен был этот сигнал бедствия, чтобы Бонапарта осенило, наконец, вдохновение, чтобы в мозгу его родилась блестящая мысль? Как бы то ни было, генерал наконец придумал, что нужно сделать. Он понял, какое впечатление он может произвести на гренадеров, если ему удастся вытащить Люсьена из печи огненной, заручившись автори-

тетом президента, законного главы совета пятисот. Надо похитить Люсьена. Задумано, сказано, сделано!

Одни гренадерский капитан получает приказ, взяв с собою десять человек, войти в залу. Он входит с громким криком: “Да здравствует республика!” Крик этот отраден собранию: без сомнения, это армия пришла отдать себя в распоряжение закона; на время страсти улеглись. Капитан без труда доходит до трибуны; за ним вооруженные гренадеры; он одним прыжком очутился на верхней ступеньке, сказал что-то глядящему на него сверху экс-президенту Шазалю, затем повернулся к Люсьену, все еще цепляющемуся за перила, и пригласил его следовать за собою. Люсьен, изнемогающий от усталости, не двигается с места, как будто не понимает, в чем дело; офицер настаивает; Люсьен не противится. Тогда офицер, став сзади него, берет его под руки, насильно поднимает и ставит на землю у подножия трибуны посреди гренадеров. Те тащат президента вон из залы и ведут его через весь замок на двор, к брату.

Собрание смущено, поставлено в тупик этим исчезновением. Вбежавший с улицы депутат твердит о неминуемой опасности; он слышал, как ударили сбор, видел, как засуетились солдаты. Действительно, около Бонапарта энергически стягивают войска; на первом дворе Серюрье с обнаженной шпагой в руке разжигает солдат; драгуны, пехота на террасе двинулись, словно готовые ворваться во двор; на парадном дворе вокруг все уже грозно зашевелилось, как вдруг там по-

казывается Люсьен в центре кучки гренадеров. Его встречают оглушительным криком.

Люсьен рядом с братом; президент и генерал заодно – это верный путь к развязке; это перемещение центра законности в глазах всей гвардии. Если Люсьен обратится к ним за содействием, они подумают, что это совет пятисот говорит с ними в лице своего авторитетного представителя, что это он заклинает их прийти ему на помощь против кучки бунтовщиков, которые притесняют его, тиранят, держат его в страхе своими кинжалами. Охранять свободу и безопасность прений, – это входит в состав их обязанностей; очистить собрание – это дело обычное, согласное со всеми традициями, со всеми прецедентами, дозволенное революционным уставом. Властно прервать заседание и на время очистить залу, чтобы добрые могли отделиться от злых и затем спокойно возобновить обсуждение, – в глазах солдат это будет не столько посягательство на конституцию, сколько парламентско-политическая мера с целью освободить собрание, а никак не распустить его.

Для того чтобы задумать и взвесить все это, понадобилось меньше времени, чем для того, чтобы написать эти строки. На воздухе Люсьен тотчас оправился; для того, чтобы сыграть навязанную ему или им самим на себя взятую роль, он обрел в себе все свои таланты и силы и был в ней поистине необычаен и прекрасен. Он потребовал драгунскую лошадь, вскочил на нее и, вместе с братом подскакав к грена-

дерам, крикнул что есть духу: “Президент совета пятисот заявляет вам, что огромное большинство совета в данный момент держит в страхе несколько представителей, со стилетами осаждающих трибуну, угрожая смертью своим товарищам и добиваясь этим путем ужасающих постановлений. Заявляю вам, что эти дерзкие разбойники, без сомнения, подкупленные Англией, взбунтовались против совета старейшин и осмелились предложить объявить вне закона генерала, которому поручено выполнение их декрета. Заявляю вам, что эта кучка разъяренных безумцев сама себя поставила вне закона своими покушениями на свободу совета... Возлагаю на воинов заботу избавить от них большинство. Генералы и вы, солдаты, и вы все, граждане, вы будете признавать французскими законодателями только тех, кто соберется вокруг меня. Тех же, кто упорно будет сидеть в оранжерее – гоните оттуда силой!.. Эти разбойники уже не представители народа, а представители кинжала”.

Представители кинжала, чудесное заглавие для мелодрамы, способное разжечь самое тусклое воображение! Люсьен указывает на лицо брата, как будто израненное, на запекшуюся на нем кровь. И наконец находит убедительный жест, неотразимую пантомиму. Он велит подать себе обнаженную шпагу, приставляет острие ее к груди Бонапарта и в этой трагической позе, с интонациями а la Тальма, клянется, что своей рукой убьет своего брата, если тот когда-либо посягнет на свободу французов.

Гвардия потрясена, сомнения ее рассеялись. А сзади бешено напирает 77-й полк и драгуны, а рядом трепещут и рвутся в бой армейские гренадеры; движение захватило их, они сами рвутся вперед. Наконец! Бонапарт может отдать приказ; приказ отдан; офицеры заносят сабли, дают знак барабанщикам. Те бьют атаку; с боков, сзади, посыпалась барабанная дробь, скорая, частая, рассыпчатая, зловещий увлекательный ритм, зовущий на приступ. Мюрат построил гренадеров в колонну и велит им идти за собой. В надвигающихся сумерках ряды тронулись, прибавили шагу; толпа в испуге шарахнулась в сторону, но в ней слышны голоса: “Браво! долой якобинцев! долой 93-й! это переход Рубикона!” Ужас, внушаемый политиками-революционерами, желание поскорее покончить с этими позорными тиранами заставляют приветствовать цезаря-избавителя. Предводительствуемые офицерами всех родов оружия гренадеры взбираются на крыльцо, вступают на первый этаж и направляются к входу в оранжерею.

Барабанный бой слышен и там несмотря на толстые стены, и тревога сжимает сердца. Эта “атака” не похоронный ли звон по отошедшем в вечность режиме? не знак ли, что войска идут и участь пятисот решена? Собрание чувствует, что все погибло, и думает только о том, чтобы умереть с честью. Все засуетились, заметались; зрители снова бегут, ополумев, выскакивают в окна; многие депутаты вскакивают на скамейки, крича что есть мочи: “Да здравствует республика!”

Да здравствует конституция III-го года!” Другие бросаются к трибуне. А барабанный бой все приближается по коридорам, по лестницам, раздаётся, угрожающий, уже за стенами залы.

Дверь отворяется, показались штыки. На пороге начальник бригады Дюмулен; за ним барабанщики и гренадеры, делающие ружьями на караул. Мюрат и другие начальники решительно устремляются вперед, к трибуне. Позади них колонна гренадеров вытягивается в ниточку, чтобы пройти в узкую дверь, потом опять разрастается, заполняет часть залы, ближайшую к входу и остается там. Шум не прекращается. Депутаты уже бегут и другим делают знак: “Спасайся, кто может! но в оставшемся свободном пространстве, в глубине галереи упорствующая масса сплотилась, сбилась в клубок, и из того клубка несутся страшные вопли. Депутаты с трибуны кричат солдатам: “Солдаты, вы мараете ваши лавры!” Мюрат и офицеры режут: “Граждане! вы распущены!” Около президентского кресла вырос неведь откуда взявшийся офицер и от имени генерала Бонапарта снова приглашает публику разойтись. Барабанщики все время колотят палочками, меняя руку, барабанная дробь сыплется теперь не смолкая, заглушая крики. Второй эшелон солдат под начальством Леккерка, присоединился к первому. Слышится команда: “Гренадеры, вперед!” Мюрат, повернувшись к своим людям, грубо приказывает: “Вышвырните отсюда всю эту свору!..” (F... moi tous ce moude la dehors) Солдаты, скрестив штыки, идут на депутатов.

Депутаты покоряются силе надвигающихся штыков. Трибуна очищена. По мере того, как отряд подвигается вперед, красная масса тает, исчезая в глубине, чтобы выскользнуть через всевозможные выходы. Под грохот опрокидываемых стульев и скамеек, гренадеры подгоняют выходящих, напираяют на тоги, не доводя до ударов, делают свое дело, как добрые полицейские. В пять минут среди сгущающегося мрака зала опустела, извергла из себя всех депутатов. Лишь несколько упрямцев цепляются за свои стулья; солдаты хватают их как непослушных детей и выставляют за дверь. Таким же способом очищены от депутатов соседние покои и коридоры; все парламентское помещение оккупировано войсками. А барабан все трещит, повелительный, грубый, властный.

Так сбылись, через десять лет после того, как они были сказаны, слова Мирабо; депутаты ушли, выгнанные штыками. Дело в том, что воля народа, обеспечивавшая их неприкосновенность в Версале, уже не поддерживала их в Сен-Клу. Народ отрекся от них, не узнавая своих избранных в этом шумливом сброде, после целого ряда переворотов и тройного нарушения избирательного права. Нравственная сила, та сила, что создается глухим объединением воли отдельных лиц, была теперь на стороне штыков и революции, гибнувшей от своей безудержности и заблуждений, оставалось только искать спасения и прибежища во власти, по существу своему дисциплинирующей и распорядительной.

Большинство депутатов позволили вытолкнуть себя не без достоинства, хотя иные и прыгали в низкие окна или выкачивались кубарем в двери, растерянные и смешные... Но за дверью все они превратились в стадо баранов, которое опрометью мчится в туман, слепу само не зная куда. Наталкиваясь на прибывающие отовсюду войска, на офицеров, гневных или насмешливых, с обнаженными шпагами и в грозных двурогих шляпах, они чувствуют себя смешными в своих римских одеяниях, стесненными в движениях, униженными, осмеянными, погибшими, и, охваченные паникой, кидаются врассыпную. Под градом насмешек злополучные депутаты, путаясь в своих тогах, как в юбках, пробираются между солдат, бегут через сад, через дворы, исчезают в тумане, во мраке. Многие, выскочив за решетку, пустились по подъездной аллее; самые смелые хотели бежать в Париж, где надеялись найти поддержку и утешение; большинство просто искали убежища в Сен-Клу, где бы переждать налетевший шквал. Иные бежали напрямик через лес или по откосу вниз, другие забились в чащу, уже окутанную тьмою. Некоторые в давке растеряли свои тоги, токи, знаки отличия или сами бросили их на бегу. По этим отрепьям тог, валявшимся на земле, в канавах, повисшим на кустах, изорванным и жалким, можно было шаг за шагом проследить великое бегство парламентариев.

V

После удара, нанесенного совету пятисот, старейшины вдруг стали необычайно послушны. Один из выгнанных депутатом, похрабрее других, пошел к ним жаловаться на насилие. Подоспевший Люсьен поспешил перебить его. Он объяснил случившееся, утверждая, что войска “только повиновались его требованию”, вскользь упомянул о военной экзекуции и распространился об ужасных замыслах якобинцев: негодяи, варвары, они хотели принудить его объявить вне закона его брата, родного брата! Какое оскорбление священнейших человеческих чувств, самой правды! Голос его дрожит, в нем слышатся слезы, на устах вся сентиментальная фразеология Руссо; этот человек за один день переиграл двадцать ролей. Старейшины, впрочем, были побеждены заранее и готовы вынести любое постановление. Они прервали тягостную сцену, решив не слушать более никого из членов другого собрания и – принялись за дело.

Только что назначенная комиссия собралась в соседней галерее. Из пяти членов налицо только четверо; ничего! трое согласны между собой – значит, имеется большинство. Наскоро выбран докладчик Корнюде, наскоро составлен доклад. Заговорщики решились наконец предложить определенный план действий: назначение трех временных консулов – Бонапарта, Сийэса, Роже Дюко, роспуск советов до 1

нивова, учреждение переходной законодательной комиссии путем выборов из числа старейшин. Корнюде облек все это в форму постановления, и к семи часам декрет был готов; против него подал голос один только член, Дальфонс. Чтобы прикрыть нелегальность своего образа действий, старейшины притворились убежденными, что другой совет разошелся, рассеялся, исчез с лица земли добровольно. “Ввиду удаления совета пятисот”, инициатива и забота о судьбах республики переходила к совету старейшин. Издав декрет, они, как бы истощенные этим усилием и притом задохнувшиеся в душной атмосфере залы, жаждавшие подкрепиться, дать отдых нервам и – узнать новости, объявили перерыв заседания до девяти часов.

На дворе уже совсем стемнело. Внизу, в садах, еще блуждало несколько печальных теней – депутатов распущенного совета. Реаль, встретив одного такого, с грубым смехом сказал ему: “Фарс разыгран”. У ограды стояли на часах солдаты, отгонявшие всех, кто пытался проникнуть во двор; подходившим они говорили: “Выйти можно, но не войти”.

В плохо освещенных покоях дворца на отбитых позициях расположились лагерьом победители. Люсьена осыпали комплиментами, но не следует думать, что он на самом деле спас своего брата и успехом они были обязаны всецело ему. Предположив, что ему не удалось бы отсрочить объявление “вне закона” и что он не явился бы вовремя перед гвардией, чтобы рассеять ее колебания, по всей вероятности, гвардия, в конце

концов, уступила бы давлению со стороны других войск. И уж во всяком случае эти другие войска, более многочислен- ные, исполненные решимости и чувствовавшие, что за ними Франция, пошли бы сами, сокрушая все на своем пути. Лю- сьен только выяснил способ решения задачи, все сократил и упростил с удивительной ловкостью.

В данный момент, впрочем, настроение его было не из важных, хотя впоследствии он и изображал себя героем дня. Дело в том, что он мечтал быть героем совсем на другой лад. Он думал удержаться на парламентской почве, подчи- нить себе депутатов и устроить сделку между пятьюстами и старейшинами, нечто вроде компромисса, который дал бы ему возможность занять по отношению к своему брату очень сильную позицию. Загнанный на край обрыва, он поневоле должен был искать спасения в вооруженной силе и чудес- но сумел воспользоваться ею. Это не мешало ему понимать, что, прибегая к вмешательству войск, он шел против само- го себя, политика и парламентария, и играл на руку солдату. Остальные заговорщики были несколько смущены, взволно- ваны пережитой передрагой, но все же у них точно камень с души свалился: они чувствовали, что победа за ними, хотя досталась и не без труда.

“Надо идти обедать”,— сказал Талейран. Бонапарт, Лю- сьен, Сийэс, все вожди и генералы закусывали в этот день где попало и чем Бог послал; Талейран приберег для себя уютное и мягкое гнездышко, приятный вечерок в интимном

кругу. У одной из его приятельниц, госпожи Симон, был хорошенький домик в Севере; там его ждал теплый очаг и вкусный ужин. Они взяли с собой нескольких близких друзей; за столом перебирали события дня. Монрон рассказывал, как побледнел Бонапарт, когда ему пригрозили объявлением вне закона, и решил, что у великого человека не хватило выдержки. “Генерал Бонапарт, повторял он, генерал Бонапарт, этак не годится – не по правилу”.

Из Парижа пришли хорошие вести. Предместья не шевелились: нигде никаких сборищ, ни тени попытки сопротивления. Всюду ожидание, любопытство, даже волнение, большой интерес к каждой новости, но никаких беспорядков. Штабы, расположенные в Тюльери, в доме инвалидов, в военной школе, часто получали известия из Сен-Клу и все время были в курсе дела; перед вечером они были сильно встревожились, но теперь успокоились. Фуше вел себя превосходно; он разослал агентов к заставам следить за выходящими и, в случае надобности, отрезать отступление беглецам; если бы Бонапарт потерпел поражение, он запер бы городские ворота для Бонапарта. Тюрго, со своей стороны, послал из Сен-Клу агентов к заставам, в надежде забежать вперед и “подставить ножку патрону”, но агенты Фуше прибыли на место первыми. В городе опасность, которой подвергался Бонапарт, и его мнимая рана вызывали негодующие нарекания и проклятия по адресу факции убийц; что за чудовища эти якобинцы! Тем не менее, в театрах представление началось,

по обыкновению, около пяти часов.

Во время представления конные ординарцы развезли по всем театрам прокламации министра полиции: Фуше удостоверял в ней официальной печатью басню о неудавшемся покушении, но в то же время успокаивал парижан и рекомендовал им всецело верить себя защите и охране непобедимого меча. “Советы собрались в Сен-Клу на совещание о делах, затрагивающих интересы республики и свободы; в это время генерал Бонапарт, войдя в совет пятисот, чтобы изобличить происки контрреволюционеров, едва не пал жертвой убийства. Гений республики спас генерала, и он вернулся со своей свитой. Законодательный корпус принял все меры к обеспечению торжества и славы республики”. Во всех театрах эту прокламацию читали со сцены, и везде она вызывала гром рукоплесканий. Успокоенный Париж уснул, не зная, при каком режиме он проснется завтра.

В Сен-Клу победители не спали всю ночь: им нужно было дополнить и оформить свою победу. Радость их не лишена была горькой примеси. Как отнесется народ к насильственному изгнанию совета пятисот? Это была слишком крутая мера; хорошо бы, если б можно было представить ее в таком свете, как будто это был инцидент, случайность, а не развязка дня. Правда, имелось позднейшее заключение: во-тированный старейшинами декрет об учреждении временного консульства, но создаваемая им обстановка сомнительной легальности была слишком шатка и эфемерна; придать

ей устойчивость могло только хотя бы фиктивное единодушие обоих собраний. В первый же момент у Люсьена явилась мысль до известной степени восстановить совет пятисот. Многие из разогнанных депутатов, разумеется, охотно примирились бы с совершившимся фактом; они, по всей вероятности, были неподалеку; поискав хорошенько, пожалуй, и можно будет набрать их достаточно, чтобы образовалось некоторое подобие собрания, а затем оно провозгласит себя большинством. Тогда старейшины возьмут назад свой декрет, и в будущем, чем меньше о нем говорить, тем лучше; очищенный и укрощенный совет пятисот сам вотирует его, взяв на себя инициативу, а старейшины, вернувшись к своей обычной роли, зарегистрируют его и утвердят. Таким образом, все будет сделано по уставу, и самоубийство совета пятисот произойдет с соблюдением всех установленных форм.

Разосланные Люсьеном пристава и вербовщики разбрелись по Сен-Клу в погоне за депутатами, пригодными для всякого дела (*deputés à tout faire*). Их находили в кабачках, в трактирах, в частных домах и приглашали возвратиться в замок. Осматривали экипажи, ехавшие в Париж, и, если там оказывались депутаты, их просили выйти. Они не слишком противились. Ощупью, среди холода и мрака, увлекаемые своими провожатыми, они вновь поднимались по тем самым дорогам, по которым бежали опроретью несколько часов тому назад к огонькам, мерцавшим вверху, вдали. Тем временем во дворце распорядители дня подготовляли *mise en*

Scène финала, условливались относительно подробностей, распределяли роли. Прибывших депутатов направляли в их залу. Сколько их было? Тридцать, пятьдесят, самое большее сто. Париж коварно прозвал их советом тридцати; конечно, их было больше; консульству пришлось включить в свои собрания 180 человек из совета пятисот; добрая половина их наверное участвовала в этом ночном заседании и здесь дала первое доказательство своей благонадежности.

Странен был вид этого собрания: почти темная, необранная зала; опрокинутые скамьи, всюду следы беспорядка, несколько свечей, поставленных на конторке на трибуне, озаряют тусклым мерцающим светом отяжелевшие тела согнанных сюда депутатов. Измученные усталостью, они намереваются, кажется, не столько заседать, сколько выспаться; некоторые “улеглись на трех скамьях – одна для туловища, другая для ног, третья служит изголовьем”. Там и сям кучками стоят курьеры, *gavions de la salle*, пришедшие погреться. Несколько вожаков взялись сами вести заседание, а от остальных ждут лишь немой покорности. Неутомимый Люсьен усаживается на председательское кресло и с важностью, торжественно произносит исполненную достоинства вступительную речь. Шазал предлагает учредить временное консульство и на шесть недель распустить советы, а вместо одной комиссии предполагается назначить две: представительницы обоих собраний. Надо соблюсти все формы, избегая неприличной торопливости, поэтому проект передается

в комиссию. Пока совещается комиссия, Люсьен, чтобы потешить аудиторию, произносит новую речь, формальный обвинительный акт против якобинцев, прелюдия к исключительным мерам, которые будут предложены на утверждение собрания. Совет пятисот выражает от имени нации благодарность тем, кто его так ловко вышвырнул за борт. В постановлении говорится об офицерах, генералах и частных лицах, о солдатах и в особенности гренадерах, “добросовестно послуживших отечеству”.

В одиннадцать часов Булэ от имени комиссии представил доклад. Затем говорил чистосердечный Кабанис. Речи обоих замечательны тем, что в них, с различными оттенками, ясно выразилась мысль парламентских брюмерцев. Это отнюдь не цезаристы; они вовсе не стремятся поставить над собой господина. Это революционеры, которые прежде всего хотят сохранить и упрочить дело революции; они желают удержать за собою власть, но наученные и исправленные опытом, хотят восстановить эту власть, не впадая в деспотизм, мечтают заменить чудовищнейший произвол более упорядоченным и более либеральным режимом.

Булэ констатирует, что во Франции нет “ни свободы общественной, ни свободы личности”, что, с другой стороны, существует только “призрак правительства”. Он считает необходимым восстановить во Франции идею правительства, включающую понятие об урегулированной силе, постоянном воздействии и устойчивости. Только правительство,

ограниченное в своей деятельности, но достаточно сильное и независимое, чтобы держаться, не прибегая к тираническому насилию, может произвести замирение вне и внутри страны, начать серьезные переговоры с иноземцем, примирить во Франции порядок со свободой, разрешить вечную проблему; только такое правительство может упрочить республику и раздвинуть ее пределы. И Булэ обрушивается на нетерпимость якобинцев, на их пристрастие к исключительности, на их упорство невежественных сектантов. “Мы хотим национализировать республику; для них республика – это их партия”.

Кабанис вложил в свое представление о брюмерском перевороте больше идеала и чувства и вместе с тем оттенок меланхолии. Он всей душой жаждет возвращения к основным принципам и всех призывает к этому. “При данном положении вещей имеет ли французский народ настоящую республику? Каждый из вас спешит предупредить меня; вы в один голос отвечаете: “нет”. Без сомнения, несправедливо было бы винить членов учредительного собрания III-го года за то, что дело их так искажено. Их намерения были чисты; они заложили прекрасный фундамент; но плохое хозяйничанье властей и чрезмерно частая смена их на место устойчивости водворили шаткость и неуверенность в завтрашнем дне. С той поры республика, слишком слабая, могла держаться, только время от времени прибегая к произволу. Чтобы вырвать ее из рук бунтовщиков, мудрые республиканцы, “пат-

риоты-консерваторы” принуждены были принять участие в этом насилии, оплакивая их. Результатом этих потрясений было положение вещей, которое Кабанис считает гибельным для французской жизнеспособности; стоит заметить, в каких выражениях этот честный республиканец резюмирует последствия правления революционеров. “Резюмирую сказанное: конституция III-го года, такая, как она есть, не может не повлечь за собой гибели свободы, и наше настоящее положение – разложение самой французской нации”.

Еще раньше он признал, что, ввиду постоянных злоупотреблений, “идея республики во многих умах нераздельно слилась с идеей разбойничества и притеснения”. Если это прискорбное убеждение укоренится, народ бросится в реакцию или призовет диктатора, что, в глазах Кабаниса, не сулит ничего, кроме бедствий: “он без сомнения скоро погиб бы, тиран, облеченный произвольной властью, но вместе с ним навсегда погибла бы и великая нация”. Чтобы спасти республику, есть одно только средство: преобразовать органические законы, вверив эту заботу временному правительству, которое может при зрелом обсуждении разумно и мудро выработать новые законы; это будет последний опыт и самый важный”.

Люсьен с вдохновенным видом, с экстазом во взоре приветствует зарю новых дней, начинающуюся счастливую эру. Шабо-Латур говорит, что заседание в Сен-Клу “останется таким же памятным для французов, как и заседание в зале

Jeux de Paume⁶⁵¹ в Версале”. Люсьену понравилось это сравнение, и он развивал его. “Свобода, народившаяся в зале Jeux de Paume в Версале, дотащила до вас, служа поочередно добычей безрассудства, слабости, конвульсивных болезней. Сегодня она возмужала”. Под эти метафоры выработан был проект учреждения временного правительства, подкрепленный указом об исключении из состава законодательного корпуса шестидесяти двух депутатов, перечисленных поименно. Большинство были заведомые якобинцы, слывшие крайними; остальные выбраны наудачу из числа побежденных.

Старейшины, со своей стороны, возобновили заседание. В ожидании резолюции пятисот они сочли уместным и весьма почтенным заняться текущими делами, чтобы засвидетельствовать свое душевное спокойствие в эти критические минуты. Первым делом они отвергли проект об отмене делегаций и оставили за поставщиками право взимать в уплату долга часть государственных доходов. Докладчик Лебрэн, вначале сочувствовавший этому проекту, теперь переменил мнение; эта характерная перемена фронта и вынесенная резолюция заставляют подозревать, что между заговорщиками и финансистами состоялось нечто вроде соглашения. Затем старейшины перешли к делам, не имевшим никакого отношения к происходившей революции. Законодатель Кайльи

⁶⁵¹ Клятва в зале Jeux de Paume (игры в мяч). 20 июня 1879 г. К депутаты третьего сословия, заседавшие в этой зале, поклялись, что не разойдутся, пока не дадут Франции конституции. Эта сцена увековечена в знаменитой картине Давида.

восхваляет красоту этой сцены. “Среди величайших опасностей заниматься частными интересами граждан, охранять их права, неприкосновенность их имуществ, – что может быть достойнее законодателей великого народа? Займемся же этими делами в свободные промежутки, остающиеся нам от мер, вызываемых обстоятельствами, и закончим организацию нотариата”.

Всем хотелось, однако, вообще поскорее закончить, и все находили, что пятьсот ужасные формалисты. Когда, наконец, уже после полуночи, принесли резолюцию совета и список исключительных, зарегистрировать оба эти акта было делом одной минуты. Только двое из старейшин нашли, что обвинения против исключенных недостатков определены, и отказались осудить, не выслушав.

Прежде чем разойтись, оба совета вотировали адрес французам, смысл которого и отчасти текст были заимствованы из речи Кабаниса. В нем обращала на себя внимание фраза: “Пора обеспечить свободу граждан, верховное владычество народа и независимость конституционных властей, словом, обеспечить существование республики, именем которой слишком часто освящалось нарушение всех принципов...” То был манифест умудренных опытом революционеров; то была также их исповедь.

Оставалось выполнить еще одну формальность. После каждой перемены, насильственной или проведенной законодательным порядком, революция предписывала присягу

в верности вновь учрежденному или восстановленному порядку; неприлично было бы сегодня отступить от этого освященного временем обычая. А между тем возникло затруднение; консульство было только временное; старая конституция уже не существовала; новая еще не существовала – кому же и чему присягать? Руководители заговора вышли из затруднения, постановив присягнуть республике, единой и неразделенной, и отвлеченным принципам – свободе, равенству, представительному режиму; трое консулов присягнули первыми.

Они отправились прежде всего в совет пятисот. Зала понемногу наполнялась. Из Парижа прибыли друзья новой власти, спеша засвидетельствовать свое усердие. Были и просто любопытные, дежурившие с утра или приехавшие теперь, чтобы не пропустить развязки и последнего действия этого трагиводевиля. Приехала Полетта Леклерк, сестра генерала Бонапарта; были и другие дамы в изящно-неприличных костюмах той эпохи. Без церемонии входили в залу военные, модные франты, прихлебатели, лакеи и даже депутаты. В два часа ночи барабаны забили поход, и в залу вступили консулы. Знаменитый генерал, экс-аббат и бывший мировой судья поместились перед Люсьеном, который сказал им маленькую речь и прочел формулу присяги: все трое сразу, протянув руку, ответили: “Клянусь!” Депутаты обнимались, искренно веря, что в эту ночь положено было основание республике и свободе. Остальные машинально кричали: “Да здравству-

ет республика!” На трех присягавших по временам напирала любопытные; позади их звенели шпоры, шелестели женские платья, шумная и очень разношерстная публика теснилась вперед, чтоб лучше видеть. Таков был контрабандный дебют самого великого правительства, какое только знала Франция.

В совете старейшин повторилась та же сцена, только еще более трогательно обставленная: после присяги трое консулов взошли на эстраду и расцеловались с президентом. Много времени занял подсчет голосов при выборах в законодательные комиссии. Нужно было также условиться относительно напечатания произнесенных речей, воззваний к войскам, отчета о заседаниях. Бонапарт составил прокламацию в высоком стиле, помеченную одиннадцатью часами вечера, где он говорит: “Я не хотел примкнуть ни к одной из партий”. Он подчеркивает значение совершившегося для восстановления порядка в государстве, но, главным образом, выставляет себя поборником умеренности, представителем тех, кто в наши дни зовет себя либеральными консерваторами; даже слова эти имеются в тексте его прокламации: “Консервативные, охранительные, либеральные идеи вновь вступили в свои права”.

Этому предшествовал яркий рассказ о перипетиях дня, где Бонапарт по-своему изложил и осветил факты, опять-таки преобразив в убийц просто расвирепевших людей. — “Я прихожу в совет пятисот, один, безоружный, с непокры-

той головой; точно так же, как и вошел в совет старейшин, где меня встретили аплодисментами... Кинжалы, угрожавшие депутатам, тотчас поднялись на их избавителя. Двадцать убийц бросаются ко мне, чтобы пронзить мою грудь”...

В подтверждение этой окончательно установившейся версии сумели найти и доказательства, вещественные улики. В газетах было напечатано, что гренадеры, очистив залу, подобрали несколько кинжалов, и что кинжалы эти хранятся у генералов Бертье и Лефевра. Да и, наконец, к чему искать улик, когда налицо имеется такая убедительная улика, как мундир гренадера Томе, мундир с разорванным рукавом? Так разорвать его мог только кинжал якобинца; удар предназначался Бонапарту, но Томе самоотверженно бросился вперед я заслонил его собой. Томе был официально признан спасителем Бонапарта, осыпан почестями, награжден пенсией; генерал два дня подряд приглашал его к себе на обед; Жозефина ласкала и целовала его, и сама надела ему на палец драгоценный перстень; о нем кричали газеты, его узнавали в театрах, ему рукоплескала толпа, его изображали на сцене, а он не препятствовал и бойко играл свою роль, про себя дивясь, как это он прослыл героем.

Итак, начало реставрации Франции было положено, пониманию публики достигнуто, теперь можно было и разойтись по домам. Под утро Сен-Клу опустел; дворец снова застыл в ледяном безмолвии, а победители во весь опор мчались в Париж. Бонапарт ехал домой вместе с Бурьенном; всю

дорогу он не говорил ни слова, погруженный в свои мысли. Сийэс и Дюко ночевали в Люксембурге, неподалеку от бедного Гойе, все еще сидевшего взаперти в своих покоях, где на почетном месте – ирония судьбы, красовался бюст Бонапарта. Моро, приставленный сторожем к Люксембургу, весь день не трогался с места; не интересуясь внешними событиями, он весь день упорно курил свою трубку, наконец, лег и уснул в тяжелой атмосфере табачного дыма, отравившего все соседние комнаты. Мулен на другой день нашел способ скрыться; ему дали убежать. Депутаты, попавшие в список исключенных, боялись вернуться домой и прятались по знакомым; побежденные думали только о том, где бы укрыться от преследований.

Тем временем, среди ночного холода и мрака, по дороге из Сен-Клу в Париж тянулись войска – пехота, кавалерия, гвардия советов, гвардия директории. Они возвращались в свои казармы, мерно отбивая шаги, под грубые солдатские песни. Разгоняя дорожную скуку, солдаты перепели все свои излюбленные революционные песни, в том числе и *Ça ira*, этот крик восторженного оптимизма, вырвавшийся у целой Франции в начале великого переворота и вскоре затем уже сопутствовавший ужасным сценам. “Ah! *Ça ira!*” надрывались солдатики, – *ça ira les avistocvats à Lanetevne, ça ira, on les pendva!*” Они возвращались довольные, с легкой душой и чистой совестью, убежденные, что они спасли революцию и республику. В сущности, они ошибались лишь наполовину;

они открыли Бонапарту путь к самодержавной власти диктатора, больше чем короля; но в то же время дали ему возможность и упрочить революционные законы, которых хватило на четырнадцать лет. Когда же и этот строй, в свою очередь, рухнул, подорванный рядом катастроф, Франция осталась преобразованной, переустроенной, богатой огромным наследством славы; они поставили непреодолимую преграду полному возврату прошлого; нанесли смертельный удар республике и спасли революцию.

ГЛАВА X. НА ДРУГОЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ПЕРЕВОРОТА

Бонапарт выходит из дому и через весь Париж едет в Люксембург. – Газеты. – Улица. – Предместья спокойны. – Все вообще довольны, с некоторыми оговорками. – Вечер. – Прокламация нового правительства. – Взрыв энтузиазма. – Долой тиранов! – Мир. – Бонапарта приветствуют, как восстановителя свободы и предтечу мира. – Первые заседания консулов. – Установленная очередь. – Состав министерства. – Безденежье нового правительства. – Скромный дебют. – Первые шаги Бонапарта; такт и простота. – День консула; разговоры. – Вечера в Люксембурге. – Военная Семья. – Первые размолвки с Сийэсом; Талейран в роли соединительного звена. – Отмена закона о заложниках и прогрессивного налога. – Воззвание к финансовому миру; ограниченная помощь. – Народный энтузиазм не остывает. – Письмо Лефевра. – Якобинцы, изгнанные pro forma. – Первые вести из департаментов. – Оппозиция нескольких чиновников. – Ослабление якобинского влияния. – Восстание контрреволюционеров. – Беспорядки в некоторых городах. – Политика Бонапарта. – Национальное примирение. – Реакции не будет. – Парижские театры. – Фуше и администраторы

Oréga Comique. – Реакция на сцене, в песне и карикатуре. – Якобинцы и униженные парламентарии. – Репрессалии с целью подавить реакцию. – Министерские циркуляры. – Отправка в департаменты двадцати четырех консульских делегатов; на них возложена задача быть проповедниками примирения. – Беспорядки среди сельского населения. – Крестьяне воображают, что падение революционной тирании должно повлечь за собой упразднение всяких общественных налогов.

I

19-е брюмера приходилось на десятый день декады, т. е. в республиканское воскресенье (décadi). В десять часов утра Бонапарт выехал из дому в карете в штатском платье в сопровождении всего шести драгун в Люксембург; нужно было поставить на ноги новое правительство. После вчерашних зловещих слухов о грозившей ему опасности, его рады были видеть живым и бодрым, “с удовольствием смотрели, как он ехал в карете по городу”,⁶⁵² но оваций никаких ему не устраивали. По прибытии в малый Люксембургский дворец, он прежде всего направился к Сийэсу и заперся с ним в его кабинете; около полудня все три консула дворами прошли в здание большого дворца и устроили заседание в той самой зале, где заседала директория. Гвардия салютовала им оружием, барабанщики били поход; любопытные, собравшиеся на дворах и вокруг дворца, завидя новых правителей – консулов, встретили их приветственными криками.⁶⁵³

В утренних газетах подробно излагались события предшествовавшего дня. Дружественные органы печати курили фимиам победителям; якобинская печать воздерживалась от комментариев; одна только якобинская газета имела мужество сказать, что мнимая рана Бонапарта была изобретена

⁶⁵² *Publiciste*, 21 брюмера.

⁶⁵³ *Gazette de France u Propagateur*, 22 брюмера.

в интересах дела.⁶⁵⁴ Кроме запрещения рассылать по почте некоторые газеты, полиция не принимала никаких мер против печати, избегая бесполезных придирок, чтобы не нарушать привычек обывателей и обычного течения жизни. Работы были прерваны, и лавки закрыты на законном основании по случаю праздничного дня; на улицах было большое движение, но все спокойно. День выпал теплый и дождливый. Народ толпился перед наклеенными на стенах белыми афишами с официальными или неофициальными речами в защиту переворота; прокламация Бонапарта подтверждала басню об убийцах-депутатах и легенду о кинжалах; двойная прокламация Фуше призывала к единению, к доверию: «Добрые могут успокоиться; они заодно с «сильными»». ⁶⁵⁵ Стратегические пункты по-прежнему были заняты войсками: всюду чувствовалось присутствие вооруженной силы. Носился слух, что якобинцы не отказались от борьбы и готовят восстание в предместьях. Эти опасения скоро рассеялись; рабочая масса выказывала сочувствие Бонапарту, не становясь активно ни на чью сторону. Восемь месяцев спустя предместья активно высказались в пользу первого консула – мы увидим, при каких обстоятельствах, – но сейчас они оставались инертными: не помогали и не мешали.

В городе почти у всех были довольные лица. У каждого отлегло от сердца. Эти якобинцы, пять месяцев обманывавшие

⁶⁵⁴ *Journal des républicains*, бывший *Journal des hommes libres*, 21-го.

⁶⁵⁵ *Moniteur*, 19 брюмера.

и угнетавшие правительство, поборники анархии и покушений, не внушали симпатии; народ радовался, что их круто прижали к стене, оттеснили, загнали в их берлогу. О директории никто не жалел; о конституции немногие. Здравомыслящие друзья революции, благоразумные патриоты охотно верили, что республика, под руководством Сийэса и под эгидой Бонапарта, найдет спасение в лучшей организации; но они не без оговорок примкнули к победителям. Инцидент в Сен-Клу, вмешательство штыков, изгнание депутатов оскорбляли их чувства; многие вполне сочувствовали первому дню переворота и меньше – второму. По словам их, они опасались, как бы реакция не истолковала по-своему происшедшего и не увидела в бегстве депутатов крушения всей революции.

Финансовые, деловые, коммерческие круги также вздохнули свободнее. Тем не менее за десять лет Париж видел слишком много насильственных переворотов, слишком много правительств, с треском взлетающих на высоту и затем через голову валившихся одно на другое; он был слишком разбит губительными потрясениями и обманутыми надеждами, чтобы новый насильственный переворот, хотя бы и учиненный Бонапартом, был сразу принят им за окончательный исход. На этот раз талант Сийэса и гений Бонапарта, казалось, представляли более серьезные гарантии; люди рассудительные и умеренного образа мыслей старались убедить себя и убеждали, что можно надеяться, но надежда не переходила

в полное и безусловное доверие. Этим объясняются следующие строки в первом донесении полицейского бюро: “Настроение умов вполне удовлетворительно; самое отрадное в нем то, что к общему удовольствию по поводу революции 18-го брюмера не примешивается ни экзальтации, ни энтузиазма, которые рождаются и умирают почти одновременно. Довольство таится в глубине сердец и всего свободнее проявляется в семейном кругу”.⁶⁵⁶ Наблюдательница, стоящая очень близко к событиям, констатирует общую радость, однако, с оговоркою: “Можно подумать, что мы вернулись к первым дням свободы; но опыт последних десяти лет все же дает о себе знать, и к удовольствию примешивается недоверие”.⁶⁵⁷

Не следует, однако, думать, чтобы день прошел совсем без всяких манифестаций. Париж не мог не проявить внешним образом своих господствующих Настроений; он проявил их, и весьма красноречиво, вечером, как только представился случай, и как только он убедился, что якобинцы не поднимут головы. В театрах, всегда открытых, всегда полных, сцена была одним из мест, где общественное мнение высказывалось всего ярче; партии и там вели борьбу между собой – намеками, 22-го брюмера, по-видимому, все сердца вибрировали в унисон. В пьесах, дававшихся в тот день на сцене, все места, где можно было усмотреть намек на события

⁶⁵⁶ Aulard, “Etudes et leçons sur la Révolution”, 2 série; “Le Lendenmain du 18 brumaire” 223–225.

⁶⁵⁷ “Lettres de madame Reinhard”, 99.

дня, на торжество Бонапарта, публика жадно подхватывала и покрывала аплодисментами. В Опере, тогда именовавшейся театром Республики и Искусств, давали Караван. Там говорится о герое-избавителе, который

*... par son courage,
De la, mort, du pillage,
Nous a presersves tous.*

*(...своим мужеством
Избавил нас всех
От смерти и грабежа).*

Кто это, Сен-Фар, герой пьесы? Нет, это Бонапарт, победитель ненавистной факции, и вся зала рукоплещет, кричит bis, требует повторения куплета.

В других театрах уже сложили песенки про депутатов, которые полетели кувыркком, как каскады в Сен-Клу. В театре Фавар восхваляли в стихотворном экспромте, как реванш свободы, то, что позднее называли эрой деспотизма:

*Plus de tyrans et plus d'esclaves!
... Trop longtemps ma noble patrie
Ploya sous un joug detesté,
Et le courage et le génie
Ont reconguis la liberté.*

*(Нет больше ни тиранов, ни рабов!
... Слишком долго мое благородное отечество*

Гнулость под ненавистным ярмом;

*Мужество и гений вернули ему свободу).*⁶⁵⁸

Общественные здания были освещены и многие частные дома также, но общей иллюминации не было. По улицам расхаживали с факелами представители муниципалитета, оставливаясь на площадях, на перекрестках, перед памятниками; затем один из чиновников возвещал слушателям окончательный результат переворота, читал указы и прокламации нового правительства. “Нет более директории”; вместо директории учреждены исполнительная консультация, комиссия “из бывших директоров: Сийэса, Роже Дюко и генерала Бонапарта”. Вместо советов две комиссии избранных из числа членов прежних советов с правом издавать законы; вместо семисот пятидесяти депутатов пятьдесят. Шестидесят один человек (следует поименное перечисление) исключены из состава советов. Эти сообщения вызывали взрывы народной радости и шумного восторга: кортежи встречали и провожали криками: “Долой якобинцев! Да здравствует Бонапарт!”.⁶⁵⁹ В одной из газет, крайне враждебной директории, появилось письмо где говорится: “на площадях обнимались в избытке радости, граничившей с исступлением”,⁶⁶⁰ и все рукоплескали избавителю”. “Народ весел, замечает другой, более беспристрастный свидетель, и думает, что ему

⁶⁵⁸ *Le Deplomale*, 21 и 22 брюмера.

⁶⁵⁹ *Bulletin royaliste*, 13 ноября 1799. Архив в Шантильи.

⁶⁶⁰ *Ami des lois*, 23-го.

возвращена свобода”.⁶⁶¹

У нас имеется под рукой протокол одного из таких муниципальных обходов в пятом округе, центральной части города, приюте торговли и маленьких людей. В девять часов перед ярко освещенным зданием муниципалитета выстроилась колонна в следующем порядке между кавалерийским и гренадерским отрядами с одной стороны и несколькими взводами национальной гвардии с другой, члены благотворительного комитета, полицейские комиссары, мировые судьи и их помощники (*assesseurs*), комиссар округа верхом и вокруг его помощники, также верхом; впереди и сзади факельщики в большом количестве. Под звуки труб и барабанов кортеж двинулся и углубился в лабиринт грязных улиц; по пятам за ним шла толпа обывателей.

Маршрут был таков: “Улица Лаврентия, предместье Дени, улицы Нев-Эгалитэ, Пти-Карро, Монторгейль, Гранд Трюандери, Дени, Бонди, Ланкри, Мартина и предместье Мартина”. Донесение комиссара гласит: “Среди общего ликования, среди тысячу раз повторявшихся криков: “Да здравствует республика! Бонапарт! Мир!” Комиссар исполнительной власти огласил закон 19-го брюмера на различных местах и перекрестках. Повсюду, и вокруг кортежа, и у окон домов, собиралась толпа, жадно прислушивавшаяся к словам публикации, как бы черпая в них надежду на восстановление порядка и благоденствия, надежду на счастье. В особенно-

⁶⁶¹ *Letteres de madame Reinhard*, 98.

сти сильно и ярко проявлялся народный энтузиазм при сообщении о намерениях возрожденного правительства относительно мира (в тексте прокламации была вставлена с этой целью соответствующая фраза). Не раз комиссар, речь которого прерывали рукоплескания и крики: “Да здравствует республика!” был вынужден повторить это благодетельное распоряжение”.⁶⁶²

Долой якобинцев, долой тиранов, дайте нам мир! Вот почти единодушный крик, приветствующий брюмер. Мир при посредстве Бонапарта – такая ассоциация идей повергает нас в изумление, но тогда она была у всех на уме, как вполне отвечающая чертам избавителя, каким его рисовало себе народное воображение. Простодушные массы видели в нем прежде всего воина, генерала, “героя”, способного на сверхчеловеческие подвиги; они представляли его себе защитником республики от врагов внешних и внутренних; они никогда не представляли его себе главой действительного государства. Когда он вошел в состав правительства, они рукоплескали, потому что он шел в блеске счастья и славы, потому что он избавил их от якобинцев; но главная надежда их все-таки на то, что он, прежде всего, займется внешними делами, что ему достаточно взмахнуть мечом, чтобы обезоружить коалицию. Это настолько верно, что из всего написанного в защиту и в честь переворота, прокламаций, манифестов, афиш, адресов, газетных статей, брошюр, куплетов,

⁶⁶² **Протокол этот взят из драгоценного архива Гюстава Бор (Bord).**

водевилей, нет ни одного, который бы не подлаживался под общие стремления; везде в перспективе рисуется мир. Бонапарта провожали при его восхождении по лестнице власти тем же криком, каким в 1814 году встретили возвратившихся Бурбонов: “Мира! Мира!”

II

В зале Люксембургского Дворца, на насиженных, еще не остывших местах директоров, теперь заседали три консула. Роже Дюко, пять месяцев бывший тенью Сийэса, теперь перешел на сторону Бонапарта. “К чему голосовать президентство? – говорил он ему, – оно принадлежит вам по праву”. Сийэс при этих словах сделал гримасу. Бонапарт это заметил и, быстрый, как молния, моментально принял решение, которое, подтверждая его первенствующую роль, в то же время не было обидным для самолюбия его коллеги. Он занял президентское место, но лишь затем, чтоб предложить не выбирать постоянного президента, а председательствовать всем по очереди и в алфавитном порядке. Ежедневно дежурный консул будет руководить прениями, первый подписывать постановления и в течение двадцати четырех часов не покидать Люксембурга, чтобы совещаться с другими властями и, в случае надобности, принимать неотложные меры. Бонапарт первый принял на себя эту функцию; затем установилась очередь.⁶⁶³

Ночной закон 19-го брюмера, учредивший консульство,

⁶⁶³ Cambaceres, “Eclaircissements inédits”. Таким образом, может быть, согласована первоначальная версия, подтверждаемая Наполеоном (“Commentaire, IV, 45) и версия Aulard'a, составленная по официальным источникам: *Registre des délibérations du Consulat provisoire*, p. 5.

отноудь не предоставлял ему диктаторской власти. Трое консулов просто-напросто унаследовали исполнительные полномочия директории, получив, кроме того, права инициативы в области законодательства. Все акты, носящие законодательный характер, по предложению их, поступали на голосование в комиссию совета пятисот, затем шли на утверждение в комиссию старейшин. Обе эти комиссии, по отношению к исполнительному комитету с концентрированной теперь и сразу выросшей властью, представляли собой парламент в миниатюре. Комиссии заседали ежедневно в бывших парламентских помещениях, дворце Бурбонов и в Тюльери; заседания их не были открыты для публики, но отчеты о них печатались в газетах, Консулы входили к ним с “отношениями”.

Первым делом нужно было найти министров. Этому консулы посвятили первое же заседание, учинив не столько перемену, сколько перетасовку в старом министерстве. Трое министров остались, или, вернее, были назначены вновь: Камбасерэс, оказавший важные услуги новому правительству, сохранил за собой портфель министра юстиции; морским министерством и министерством иностранных дел временно остались заведовать Бурдон и Рейнар. Министры военный, финансовый и внутренних дел, Дюбуа Крансэ, Роберт Линде и Кинетт были очень учтиво выставлены, с благодарностью и лестными письмами.⁶⁶⁴

⁶⁶⁴ “Протоколы совещаний временного консульства”, изданные

В военное министерство Бонапарт посадил своего человека, Бертье, незаменимого как передаточная инстанция и прирожденного начальника главного штаба. Бонапарт говорил о нем: “Вверенные ему на хранение бумаги и в голове у него разложены в том же порядке, как в его шкафу в папках”.⁶⁶⁵

Что касается министерства финансов, Сийэс объявил, что за этим далеко ходить не надо: у него под рукою подходящий человек, Годен, человек опытный и знаток своего дела, в настоящее время комиссар при администрации почт. Пять месяцев тому назад Сийэс уже предлагал ему министерский портфель, но Годэн отказался, приберегая себя для того времени, когда существование более прочного правительства, чем шаткая директория, даст возможность хорошо поставить и финансовое дело. Это время настало. Чуть свет вызванный в Люксембург Сийэсом, Годэн был уже здесь и ходил в соседнем кабинете, смежном с залой заседаний; Сийэс дошел за ним и привел его. Годэн, не знавший Бонапарта, увидел перед собою небольшого человека, очень худощавого, очень подвижного, с желтым лицом, с необычайно острым, пронзительным взглядом; тот спросил у него: “Вы давно работаете по финансовой части?” – “Двадцать лет, генерал”, “Нам очень нужна ваша помощь, и я рассчитываю на нее. Ну присягайте скорее, нам некогда”. И дал ему два ча-

Aulard'om (Registre des deliberations du consulat provisoire p. 5–6).

⁶⁶⁵ Cambaceres.

са сроку, чтобы принять дела от своего предшественника и взяться за работу.⁶⁶⁶

Для министерства внутренних дел нужно было более крупное имя. Так как департамент этот ведал и народное просвещение, и все, что касается умственной жизни страны, консулы решили испробовать, может ли первоклассный ученый быть хорошим министром, и назначили Лапласа с тем, чтобы у кормила власти он был представителем науки и философии, славного сословия ученых, среди которых реформа нашла и принципиальное сочувствие, и высокоценную поддержку. Назначение Лапласа было долей барышей, предоставленной Институту.

Министерство общей полиции было первым из всех по значению после военного, так как на нем лежала забота о поддержании порядка внутри страны и надзор за общественными течениями во всех частях республики и, в частности, в столице. Полицией правил Фуше, – был ли он так уже незаменим? Сийэс, быть может, зная, что до 18-го Фуше старался подставить ему ножку в угоду Баррасу, весьма не доверял ему и не прочь был бы от него отделаться; но Бонапарт оставил его; находя, что не в интересах Фуше изменять им: его собственная выгода будет порукой его верности. А его прошлое, его связи и знакомства отнюдь не повредят – напротив, могут пригодиться. “Я знаю, он не порвал со своими друзьями-террористами; он видится с ними; в этом от-

⁶⁶⁶ *Mémoires de Gaudin, duc de Gaète, 1, 45.*

ношении он нам будет полезен”. Этот якобинский элемент, введенный в правительственную среду, послужит презервативом против других якобинцев, оставшихся за бортом; то было применение к политике системы инокуляции.

Было особенно необходимо иметь в Париже полицию, на которую можно было бы вполне положиться. Центральное бюро, высшая полицейская инстанция, было обновлено в своем составе, и все должности замещены надежными людьми. Произвели чистку нескольких парижских окружных муниципалитетов. В других ведомствах и в администрациях департаментов консулы пока никого не смещали, полагая, что чиновники, хотя бы и самой якобинской окраски, преклонятся перед совершившимся фактом, если от них потребуют поступиться только их взглядами, не жертвуя местом. С первого взгляда на всей французской территории только один пункт внушал опасения: Верхняя Гаронна. Говорили, что якобинские депутаты условились собраться в Тулузе и там сформироваться в корпус под покровительством властей, выказавших себя в период последнего роялистского восстания воинствующими республиканцами. Неужели Тулуза пойдет против Парижа? Генералу Ланну предложено было немедленно же отправиться на почтовых в Тулузу и принять начальство над войсками: на него возлагалась ответственность за сохранение порядка.

Консулы выбрали себе в секретари Марэ и дали ему в помощники экс-секретаря директории, Лагарда, которого на-

до же было вознаградить за то, что он повернулся спиной к своим прежним патронам. В заключение, прежде чем объявить заседание закрытым, консулы сочинили прокламацию к французам, довольно тусклую и никого не задевающую. Они не столько хвастались, сколько извинялись в том, что упразднили конституцию: она была дискредитирована, искажена; она предавала Францию в жертву “ненавистническим и алчным факциям”; вот почему все искренние патриоты объединились с целью устроить перемену. В заключение консулы сулили обновленной и упроченной республике лучшее будущее.⁶⁶⁷ Это скромное извещение, не выдвигавшее никаких нерешенных и подлежащих разрешению проблем, не имело ничего общего с трескучим дебютом.

⁶⁶⁷ “Correspondance de Napoléon”, IV, 4391.

III

Сообщения были в то время так медленны и затруднительны, что узнать, как отнеслись к совершившемуся факту департаменты, не образовался ли где-нибудь центр протестов и сопротивления, примкнул ли к победителям войска, можно было лишь через несколько дней. А пока надо было править Парижем и укрепиться на месте.

Временное консульство, скромный росток, из которого суждено было развиться и консульскому принципату, и грозной империи, народилось среди полного оскудения; его окружали только развалины, разложение, разврат и нищета. Первые доклады министров разрывали сердца. Как ни старался Годэн, как ни шарил в кассах министерства финансов, он не мог наскрести ничего, кроме остатков аванса, внесенного накануне переворота.⁶⁶⁸ Рассчитывали на несколько поступлений в течение декады, но как редки были эти поступления и с каким трудом приходилось их собирать! Канцелярии представляли собой “неописуемый муравейник плутов и бездельников”.⁶⁶⁹ Во всех ведомствах чиновники уж десять месяцев не получали жалованья. Через несколько дней министр внутренних дел пришел сообщить, что в его ведомстве

⁶⁶⁸ “*Mémoires du duc de Gaète*”, VI, 4391.

⁶⁶⁹ “*Lettres de Tomas Lindet*”; Moutier, “*Robert Lindet*”, 367.

все дела “вот-вот встанут за отсутствием фондов”.⁶⁷⁰

Хуже всего было в военном министерстве; там царил хаос, в котором невозможно было разобраться, и полное безденежье. По словам Бонапарта, вызван был прежний министр, чтоб добиться от него хоть каких-нибудь сведений. “Вы платите жалованье армии. Можете же вы по крайней мере сообщить нам, сколько недоплачено. – Мы не платим жалованья. – Вы кормите армию; дайте нам ведомости продовольственного бюро. – Мы не кормим ее. – Вы одеваете армию; дайте нам ведомости экипировочного бюро. – Мы не одеваем ее”.⁶⁷¹ Этот рассказ подтверждается докладом нового министра Бертье о том, в каком состоянии он нашел свой департамент, докладом, внесенным в протокол заседания. “Во всех отделениях полнейшая дезорганизация. Поставка фуража, провианта, этапы, госпитали, транспорты, ночлеги, расквартирование войск по казармам, караульная служба, все в полном расстройстве; беспорядок повсюду”.⁶⁷² Правда, Дюбуа-Крансе выработал план общего преобразования военного ведомства, но непосредственный результат его добрых намерений был неутешительный: все, что пытался сделать его предшественник, пошло насмарку, и машина совсем встала.⁶⁷³ И в пределах, и за пределами Франции войска жили на

⁶⁷⁰ Запись совещаний временного консульства, Aulard, 56.

⁶⁷¹ “Commentaires”, IV, 42.

⁶⁷² Запись совещ. вр. консульства, 25 брюмера, – Aulard, 18.

⁶⁷³ Архив Шантильи, бюллетень от 20 ноября.

счет данной местности, реквизициями и грабежом касс. Министерство не имело никакой возможности контролировать военную администрацию и не могло прибрать ее к рукам, да и не знало, как отнесутся армии к перевороту. Правительство могло рассчитывать только на поддержку стоящих в Париже войск – трех полубригад, драгунов, стрелков, гренадеров, советов и директории, собранных теперь в Люксембурге под именем консульской гвардии; всего восемьсот – девятьсот человек против населения в восемьсот тысяч душ.

При таких условиях консульство не могло быть правительством кулака; чтобы существовать, оно должно было иметь поддержку в общественном мнении. Эта огромная сила была за него, но ее нужно было беречь и осторожно утилизировать, по возможности объединять интересы, не задевая убеждений.

Консульству приходилось считаться со всеми различными элементами, способствовавшими его возвышению: парламентским, вошедшим в состав законодательных комиссий; интеллектуальным и ученым, сосредоточенным вокруг Института; капиталистическим, от которого оно ждало поддержки; необходимо было упрочить за собою и преданность войск, но так, чтоб это отнюдь не имело вида правления при помощи меча и военной диктатуры. К концу второго дня в Париже все уже было спокойно; войска разсланы по казармам и даже с правом выхода; город принял обычный вид. Бонапарт с Жозефиной переехали в Люксембург, в прежние

апартаменты директоров Гойе и Мулена. Бонапарт показывался теперь только в штатском платье, зеленоватом рединготе, висевшем, как на вешалке, на его тощем теле, и круглой шляпе; в этом костюме его увидели впервые по возвращении из Египта; кстати сказать, он не умел его носить.

За ним следили с несказанным любопытством, следили за каждым его шагом, жестом, за каждым движением. Он мало выходил, ограничиваясь несколькими визитами скорее частного, чем официального характера, отмеченными печатью редкого такта и скромности. 21-го, отбив первое свое двадцатичетырехчасовое дежурство в Люксембурге, он вышел только затем, чтобы пробыть в Институте на закрытом заседании, и оставался там три четверти часа, ровно столько времени, сколько нужно было для того, чтобы прочесть доклад, заранее включенный в программу. От него и узнал Лаплас о своем назначении.

В следующие дни, предоставляя генералам Бертье и Лефевру собрать войска и привести их к присяге, он посвятил себя старым изувеченным солдатам, устроил смотр инвалидов на дворе отведенного им отеля и лично расспрашивал каждого о его нуждах. Знали также, что он навестил престарелого больного Добантона,⁶⁷⁴ угасавшего в Музеуме.⁶⁷⁵

⁶⁷⁴ Daubenton, знаменитый французский натуралист, род. в Монбаре, сотрудник Бюффона (1716–1799).

⁶⁷⁵ Естественноисторический Музей – это название дано было в 1794 г. парижскому Ботаническому саду.

Знаменитый натуралист уже “начинал заговариваться”,⁶⁷⁶ но внимание, оказанное умирающему, всеми было принято как дань уважения официальной науке, отданная консулом в весьма деликатной форме. И все это он делал просто, легко, с достоинством, без тени тщеславия, как истый представитель республиканской власти. Его не встречали в общественных местах в нарядных гостиных; он сторонился от оваций, прятался от толпы, как будто прежде чем войти в непосредственное соприкосновение с парижанами, он хотел дать им возможность судить его по его делам. Газеты сообщили, что Опера готовит в честь его большой праздник “с соответствующими балетами”; праздник не состоялся.⁶⁷⁷

Каждое его слово было всегда уместно, и, кстати, рассчитано на то, чтоб идти прямо к сердцу того, к кому оно было обращено, и достигало цели. Несостоятельным он оказывался лишь в тех случаях, когда к нему являлись *in cogroge* представители той или другой конституционной власти, когда ему приходилось принимать депутацию, отвечать на адрес, импровизировать нечто вроде речи; тут он начинал говорить бессвязно, бормотать, запинаться; его друзьям больно выло его слушать.

Зато в интимной беседе он был обаятелен. Частным образом у него бывало много народу. Он принимал по утрам и всегда оставлял завтракать нескольких человек; после докла-

⁶⁷⁶ Письмо Неккера от 1 января 1800 г. Архив Коппэ.

⁶⁷⁷ Парижские газеты с 21-го по 30-е брюмера.

дов министров, после консульского заседания, между послеобеденной и ночной работой, в Люксембурге каждый вечер бывали приемы, весьма многолюдные, хотя и не пышные. На этих вечерних сборищах в пестрой толпе революционеров уже начинали показываться пережитки старого режима, Жозефина привела за собой свой кружок, и Жокуры, Тулонжоны, Крильоны, Сегюры сами себе дивились, переступая республиканский порог.⁶⁷⁸ С водворением Жозефины унылые покои вечно печального Мулена скоро преобразились; она сумела внести туда частицу самой себя, красоту, роскошь, что-то теплое, интимное, согревавшее холодные официальные салоны. Под пальчиками феи все преобразилось приняло изящный, утонченный вид. Женщины восторгались “великолепным чайным столом”,⁶⁷⁹ за которым могло поместиться до двадцати человек, золоченой деревянной колонной на мраморном пьедестале, увенчанной редкими цветами. Перешептывались между собой насчет Жозефины и считая пятна на ее репутации, они, однако, прибавляли: “А все-таки эстетика несомненно выиграла от 18-го брюмера”.⁶⁸⁰ Бонапарт завладевал мужчинами, и все испытывали на себе обаяние этого своеобразного, ни на кого не похожего существа.

Его физическая хрупкость вызывала удивление; его

⁶⁷⁸ Архив Шант依ль, “Bulletin des agents de conde” от 20 ноября.

⁶⁷⁹ “Lettres de madame Reinhard.

⁶⁸⁰ Ibid.

взгляд покорял. “Впалые щеки, бледность лица, суровое чело”, казалось, обличали “созерцательный и пылкий гений, грозный для врагов его страны”;⁶⁸¹ но, наряду с этим, в нем была болтливость, ласковая фамильярность, сразу ободрявшая собеседника, дерзость и запальчивость маленького корсиканца, оставшегося еще очень близким к природе. Его прямая, всегда своеобразная речь резко выделялась на фоне вялой фразеологии той эпохи. Любознательный, засыпающий вопросами, удивительно умеющий будить чужую мысль, присваивать себе идеи и воспроизводить их, отметив их своей печатью, он без устали учился, производя впечатление человека, знающего все. Если порой в нем проявлялась неопытность, неловкость, грубая резкость, он скоро заставлял забыть об этом метким и глубоким словом. Беседа с ним была необычайно увлекательна; после нее каждый чувствовал себя захваченным, освеженным, словно оживленным; избыток жизни кипевший в нем, передавался другим. Напрасно за спиной его злоязычные друзья давали понять, что ему не следует слишком доверять, что он “нескромнен, самонадеян, лжив, запальчив, деспот и пр.);⁶⁸² обаяние перевешивало. В его обращении, в его речах было что-то неотразимо увлекательное и вместе с тем очень простое, гордое и непринужденное, чуткое и молодое; он сам говорил:

⁶⁸¹ Брошюра, выпущенная младшим интендантом Жюльеном после разговора с Бонапартом.

⁶⁸² *Mémoires d'Hyde de Neuxille*. 1. 272.

“Идите ко мне; мое правление будет правлением молодости и ума”.⁶⁸³

У него бывали также приливы искренности, полной тонкого расчета и признания, обезоруживающие критику, он первый соглашался, что в Сен-Клу было сделано много промахов, первый признавал, что он плохо говорил в совете старейшин, декламировал некстати и фальшиво и закончил скверной фразой; фортуна и бог победы со мной... Французы обладают большим чувством меры, и едва я произнес эти слова, как ропот неодобрения дал мне почувствовать, что я пересолил. Но что поделаешь? Меня так баловали всю дорогу! От Марсея (!) до Парижа мне так часто повторяли эти слова, что они засели у меня в голове”.⁶⁸⁴

Эта и другие фразы ходили по городу и имели большой успех. Иногда он одним метким словом, сравнением, образом выражал целую программу умеренного правительства, приверженца золотой середины, или ставил крест над нелепыми преувеличениями, смешными и глупыми слухами. Так, например, Париж очень интересовался тем, какой костюм будут носить новые главы государства, и по этому поводу высказывались самые нелепые предложения... Некоторые предлагали одеть их в белый бархатный камзол при шпаге и в башмаки красного сафьяна, но прибавить к этому революционную прическу и фригийский колпак, словом, на-

⁶⁸³ **Publiciste, 23 брюмера.**

⁶⁸⁴ **Publiciste, 23 брюмера.**

ложить на них красную печать. Бонапарт будто бы ответил на это: “Ни красного колпака, ни красных каблуков”.⁶⁸⁵

У этого будущего раздавателя корон всей своей родне тогда еще не наблюдалось никакого nepoтизма. Он не хотел, чтобы 18-е брюмера имело вид семейного *сoup d'état*, возвышения целого клана; притом же ему желательно было присвоить себе всю честь двухдневной битвы. Роль Люсьена была по возможности затушевана; об участии Леклерка умалчивали; о Жозефе совсем не упоминали, даже имя его не было названо. Один Мюрат, еще не принадлежавший к семье, простой претендент на руку Каролины, был награжден, его утвердили в звании дивизионного генерала и назначили начальником консульской гвардии. Наоборот, военная семья, генералы и офицеры – участники переворота были предметом постоянных забот Бонапарта, старавшегося теснее сблизиться со всеми крупными вождями. В газетах уже поговаривали о браке между одной из его родственниц и Моро. Нарочитый эмиссар, брат Роже Дюко, был послан в Швейцарию, к Массене, разъяснить ему события и убедить его присоединиться к правящей группе. Очень ухаживали за Брюном, вернувшимся после недолгой батавской кампании. Бонапарт понемножку, осторожно прибирал к рукам все военные силы, обеспечивая за собой высшее начальство над ними, но еще продолжая делить гражданскую власть со своими

⁶⁸⁵ *Publiciste*, 6 фримера; *Ami des lois*, 6-го фримера.

двумя товарищами.⁶⁸⁶

Он сразу принялся за государственные дела и работал страшно много. В каждое дело он входил и основательно изучал его, но решения принимались лишь после обсуждения данного вопроса на общем совете и исходили от консульского триумvirата, сведенного ничтожностью Дюко к дуумvirату.

Был ли прочен союз Сийэса и Бонапарта? Мог ли он пережить испытание власти, разделенной между двумя и почти совместной жизни? В политике они приблизительно сходились в общих чертах, но в выборе людей Сийэс оставался по-прежнему очень строгим, Бонапарт же, наоборот, обнаруживал большую широту взглядов;⁶⁸⁷ кроме того, столкновения здесь должны были явиться результатом самой противоположности характеров. Сийэс, целиком ушедший в свои идеи, прочитанный философской надменностью чудак, постоянно воображавший, что им манкируют, что с ним недостаточно почтительны, все время держался настороже, и порывистый, властный Бонапарт раздражался, не зная, как подступиться к этой упорной замкнутой натуре. Уже 25-го брюмера между ними вышла стычка из-за редакции одной дипломатической депеши, получившая в обществе нежелательную огласку.⁶⁸⁸

⁶⁸⁶ Notes manuscrites crourrlle.

⁶⁸⁷ Архив Шантильи, бюллетень от 20 ноября.

⁶⁸⁸ Lettres de madame Reinhard, 109, – Архив Шантильи, донесения роялистов от 16-го и 20-го ноября.

Тем не менее оба, и Сийэс, и Бонапарт, твердо решили держаться друг друга, ибо каждый из них чувствовал, что не может обойтись без другого. Если Бонапарт имел влияние на массу, вся политика которой состояла в том, чтобы “видеть и призывать только его, возлагать свои надежды на него”,⁶⁸⁹ то Сийэс продолжал пользоваться доверием политических, парламентских, ученых кругов, без которых нельзя было ничего сделать, и оставался нравственным авторитетом для партии брюмерцев, которую было бы в высшей степени неправильно назвать бонапартистской.

Решив по возможности лучше уживаться между собою и опасаясь каждый своей прирожденной шероховатости, оба консула чувствовали потребность поставить между собой кого-нибудь в качестве буфера. Талейран казался обоим самым подходящим для этого человеком; чтобы иметь его всегда возле себя, они снова включили его в состав правительства.⁶⁹⁰ Еще, до конца брюмера ему был вручен портфель министра иностранных дел, отобранный у Рейнара, в виде вознаграждения за постоянное маклерство. Талейран, прозревая будущее, служил, главным образом, Бонапарту, не показывая этого, и склонял Сийэса к покорности, уверяя его в то же время, что он делает это из дружбы. Потихоньку, понемножку Бонапарт перетягивал на свою сторону власть, но пользовался ею умно, не колот другим глаз своим первен-

⁶⁸⁹ **Ibid.**

⁶⁹⁰ **Lettres de madame Reinhard, 108–111.**

ством, щадил самолюбие своих коллег, советовался с ними, порою нащупывал почву, выпытывая мнения и заручаясь сотрудничеством; он очень осторожно приступал к своей великой, задаче государственного переустройства.

Первые меры, принятые новым правительством, были не реакцией против прошлого, но исправлением его ошибок. Гнусный закон о заложниках привел в Париж множество несчастных, арестованных на месте жительства и оторванных от своих очагов. В последние времена существования директории поумневшие советы склонялись в пользу отмены этих чересчур строгих мер; об этом говорили, не приходя к определенному решению. Консульство без разговоров приступило к делу, выказав себя властью, которая умеет хотеть и делать то, чего хочет, не откладывая в долгий ящик исполнения. В один день, 22 брюмера, предложение об отмене закона о заложниках было передано консулами в обе комиссии, принято ими, облечено в форму закона и издано. Бонапарт сам отправился в Темпл, государственную тюрьму при директории, ибо революция, даже конституционная, только перенесла Бастилию в другое место. По его приказу и в его присутствии заложники были выпущены на свободу. “Несправедливый закон, – сказал он им, – лишил вас свободы; мой первый долг возратить вам ее”.⁶⁹¹ Затем он посетил другие тюрьмы, юдоль страдания и ужаса, где еще уцелели узоры на стенах, нарисованные сентябристами кровью

⁶⁹¹ См. газеты за 26 брюмера.

жертв. Он потребовал список заключенных, расспрашивал их и обещал им правый суд; всюду, где он проходил, становилось светлее, всходила заря надежды.

Все это привлекало симпатии, но не доставляло денег. Во Франции деньги теперь водились только у одного сорта людей – парижских финансистов, банкиров и поставщиков, честных и сомнительно честных дельцов. По отношению к этим капиталистам, из которых многие содействовали перевороту, давая деньги на расходы, и все горячо ему сочувствовали, существовало обязательство, по крайней мере нравственное, покончить с хищническим обложением, отменить прогрессивный налог, который, будучи направлен, главным образом, против капиталистов, владельцев движимого имущества, ложился отраженным тяжким гнетом, на все классы населения. Только на этом условии дельцы согласны были выдавать авансы, облегчать операции государственного казначейства, поддерживать правительство, доведенное до того, что ему приходилось существовать частной подпиской.

Тотчас же принялись за изыскание средств заменить прогрессивный налог менее утеснительным и с более обеспеченными поступлениями. Министр финансов Годэн взялся за работу и не отходил от своего письменного стола пока не сочинил проекта замены принудительного займа налогом в двадцать пять сантимов, добавочным к сумме обложения за VII год земельной собственности, движимых имуществ и предметов роскоши. Проект этот обсуждался 25-го брюмера

в комиссии пятисот; Кабанис поддерживал его своим высоким авторитетом и произнес по этому поводу весьма любопытную речь. Этот убежденный республиканец, этот великий идеалист откровенно, хотя и не без грусти, признавался, что правительство не может обойтись без парижских капиталистов, будь то хорошие или дурные люди, и буквально зависит от них в средствах к жизни.

Осудив в немногих словах прогрессивный налог во имя экономической науки и здравых доктрин, он попросил позволения выдвинуть на первый план чисто практическое соображение. “Вследствие войны и разных народных невзгод уцелевшее в стране остатки наличных денег и деловых оборотов сосредоточились в Париже вокруг правительства, в немногих руках, к которым вообще не следует присматриваться слишком близко. Из этого следует, что во всяких финансовых мерах надо прежде всего выяснить себе, как отразятся они на настроении лиц, имеющих деньги, товары или кредит в Париже. Можно смело утверждать, что при теперешнем положении республики налог, наносящий серьезный ущерб земледелию и торговле, для парижских капиталистов имел бы менее губительные последствия, чем такой, который, не представляя подобных невыгод, шел бы вразрез с желаниями этих капиталистов, так как правительству чуть не каждый день приходится обращаться к ним за поддержкой... Без сомнения, крайне прискорбно очутиться в руках людей, чьи интересы не совпадают, или, как им может ка-

заться, не всегда совпадают с общественными интересами, но это обуславливается фактами, которых сразу не изменить. Мудрость законодателя, равно как и талант администратора, в том и состоит, чтобы извлекать наибольшую выгоду из людей, вещей и обстоятельств, беря их такими, каковы они есть” ...⁶⁹²

На основании этого чисто оппортунистического заключения прогрессивный налог 28-го брюмера был отменен законодательным порядком. Консульство, не теряя ни минуты, поспешило извлечь из этого осязаемую выгоду. 3-го фримера именитые представители финансового мира были созваны к консулу Бонапарту. Здесь собрались все крупные банкиры – Перрего, Давилье, Жермэн, Севэн, Фюльширон и др. Бонапарт обещал им правительство общественной защиты, друга порядка, уважающее собственность во всех ее видах, миролюбивое в своих внешних сношениях. Когда он кончил свою речь и удалился, Годэн сделал вывод из нее, предложив банкирам выдать правительству аванс в 12 миллионов.⁶⁹³ Банкиры подписались на требуемую сумму, но их доверие к правительству еще не успело пустить корни, и они не спешили развязывать свои кошельки. На деле аванс сводился к трем миллионам наличными; на остальную сумму пришлось устроить лотерею, которую синдикат банкиров согласился принять под свое покровительство и организовать;

⁶⁹² *Moniteur*, 28-го брюмера.

⁶⁹³ См. протокол собрания, приведенный выше, стр. 216.

по-видимому, лотерея доставила требуемую сумму.⁶⁹⁴ Благодаря этому и нескольким добавочным авансам частного характера, можно было пережить первые дни. В Париже отмена прогрессивного налога произвела отличное впечатление. Состоятельные люди не так уж скрывали внешние признаки своего богатства. Вечером у подъездов театров появились собственные экипажи; теперь снова можно было ездить в Оперу в своей карете.⁶⁹⁵

Париж все еще жил в атмосфере энтузиазма. Торжественное оглашение указов, заглаживающих прошлые несправедливости, смотры и ученья, дефилирование полков и национальной гвардии, идущих приносить присягу, каждый день давали повод к народным овациям. Войска были на высоте положения. Драгуны 8-го полка прислали Бонапарту пылкий адрес, поздравляя себя с тем, что 19-го они фигурировали в первых рядах. Эти ревностные воины, враги тиранов, все еще воображали, что переворот пошел на пользу республики. Офицеры главного штаба разделяли этот пыл, республиканский и вместе бонапартистский, и говорили о перевороте веселым, игривым тоном, очень характерным для духа военной революции той эпохи.

“Ну-с, милейший генерал, – писал Леферт Мортье, получившему назначение в провинцию, – что вы скажете о 18-м и 19-м брюмера? Конечно, рукоплещете вместе со всеми

⁶⁹⁴ **Stourm “les Finances du Consulat”, 58–61.**

⁶⁹⁵ **Publiciste, 30 брюмера.**

французами, потому что я не могу назвать этим именем кучу бунтарей, которые сами домогаются шишек и ран и толкуют о принципах, попирая даже те, кои были чтимы веками”.

“Эта удивительная и благотворная революция прошла без всяких потрясений; в ней чувствовалась настоящая потребность. Бессильное правительство, презираемый всеми законодательный корпус, всем ненавистные законы, на протяжении шестидесяти лье царства шуанов, ни копейки денег, ни капли доверия, страх возвращения террора, – все предвещало гибель Франции, крушение республики. Эта неутешительная картина сменилась очень отрадной. Теперь ликование общее. Всюду на улицах, в общественных местах, в особенности в театрах раздаются крики: “Да здравствует республика, да здравствует Бонапарт!”.

Общественное мнение на стороне свободы; повторяются лучшие дни французской революции; но что в особенности утешительно – это возврат доверия, повышение государственных фондов; и меры, уже принятые правительством, могут только усилить это доверие”.

“Мы должны бесконечно много выиграть от этой перемены. Солдат не будет больше игрушкой в руках кучки мятежников, воров, потешавшихся над его лишениями и его законными требованиями. Я произвел сегодня смотр национальной гвардии, гарнизону этого огромного города, и привел его к присяге. Наверное, никогда еще войска не присягали так радостью, с такою готовностью, не вкладывали столько энер-

гии в слова; мне казалось, что я снова переживаю 1789 год, первые дни революции. На этот раз, ça iга, я вам за это ручаюсь”.⁶⁹⁶

Все будто ожили, помолодели, подбодрились. Среди всеобщего ликования, длившегося несколько дней, изгнанные из советов якобинцы, “братья и друзья”, профессиональные агитаторы не показывались. По традиции революционеров, по старой привычке обращаться с побежденными, как с виноватыми, полиция охотилась за ними. 20-го отдан был приказ об аресте шестидесяти человек,⁶⁹⁷ газеты называли “Лебуа, автора Отца Дюшена, Клемансо, Жеффона с женой, врача Лемери, Туссена Вигуре и жену его”.⁶⁹⁸ Не разыскав Арена, считавшегося главным виновником покушения на жизнь Бонапарта, арестовали его брата. Арестованных отвезли в Темпл, но через несколько дней большинство из них выпустили: новое правительство стремилось не столько наполнить тюрьмы, сколько опустошать их; что же касается Фуше, он всегда щадил террористов как отдельных личностей даже в то время, когда поражал их как партию. Тем не менее казалось неизбежным принять общие меры против якобинцев, больше для острастки, чем грозящие им серьезной опасностью.

История этого псевдогонения довольно курьезная. Сийэс

⁶⁹⁶ Письмо от 24 брюмера. Тревизский архив.

⁶⁹⁷ Национальный архив, F. 7, 6267.

⁶⁹⁸ Publiciste от 26 брюмера.

очень опасался, как бы якобинцы опять не перешли в наступление, не выходил из Люксембурга и ночью боялся нападения. Он говорил о необходимости крутых мер и полагал, что всякий хорошо задуманный и удавшийся день обязательно должен был завершиться проскрипцией, массовой высылкой вредных элементов. Фуше, чтобы рассеять недоверие к нему Сийэса и снискать его благоволение, тотчас ухватился за эту мысль, сделав вид, что она пришлась ему очень по вкусу; Сийэс был ему за это признателен; Бонапарт не препятствовал.

Немедля был составлен список лиц, подлежащих ссылке. С непоследовательностью, по всей вероятности, умышленной, Фуше перемешал в нем самые гнусные и самые славные имена: ужасный Момэн (Momin), хваставший, что он убил принцессу де Ламбалл и вырвал у нее сердце из груди, и победитель при Флерюсе (Fleurus), Журдан, чьи заблуждения не могли изгладить его заслуг; многие депутаты, особенно неистовствовавшие в Сен-Клу, и такие, которых даже не было на заседании. Консулы утвердили список целиком и подписали постановление, обрекавшее на ссылку в Гвиану тридцать семь из обозначенных в списке лиц, а двадцать два остальных на ссылку на Ре или Олерон, острова, приписанные к департаменту нижней Шаранты. Так как большинство осужденных не были арестованы, постановление обязывало их явиться и отдать себя в руки властей, причем до прибытия их на место, где они должны быть посажены на суда, они

лишались всяких прав собственности; иными словами, имущество их подлежало секвестру, а их семьи обрекались на нищету. Эта гнусность была повторением худших приемов революционного судопроизводства.

26-го брюмера постановление с приложением наскоро составленного списка осужденных, без всякой проверки, было передано в газеты и напечатано. Впоследствии *Moniteur*, в то время еще только официоз и притом главный орган Сийэса, объявил, что постановление попало в печать преждевременно и по ошибке. Быть может, хитрый Фуше, напустивший на себя свирепость, но на деле жалевший своих прежних друзей, сам намеренно позволил себе такую нескромность, с тайным умыслом вызвать в обществе ропот неодобрения, что сделало бы задуманную меру неосуществимой.⁶⁹⁹

Неодобрение не заставило себя ждать, особенно среди людей умеренных взглядов. Проскрипции⁷⁰⁰ и насилия были таким обычным явлением, они так утомили всех, так всем наскучили, опротивели до тошноты, что, при всем отвращении

⁶⁹⁹ Это тем более правдоподобно, что в 1815 г. Фуше – министр Людовика XVIII, прибегнул точно к тому же приему, чтоб умерить жестокость роялистской реакции. Когда ему поручили составить список лиц, обреченных на изгнание, выбрав их из числа скомпрометированных в течение ста дней и своих ближайших друзей, он довел его до такого непозволительного объема, что все возмутились, до министров включительно. “Я склонен думать, говорит Паскье, что доведя до последней крайности эту меру, он хотел сделать ее напрасной, даже смешной”. *Mémoires du chancelier Her Pasquier*, III. 369.

⁷⁰⁰ проскрипция – список лиц, объявленных вне закона

к якобинцам, общество не допускало, чтоб их били их же оружием. За исключением роялистских листков, все газеты протестовали.

Даже в правительственном кругу лучшие были возмущены. Камбасерэс, министр юстиции, прежде чем ввели в силу новый указ, включив его в Бюллетень законов, представил Бонапарту свои возражения. Тот сейчас же свалил всю ответственность на своих коллег, говоря, что он уступил лишь в угоду им. Они условились с Камбасерэсом обойтись без официального опубликования, что делало указ незаконченным и допускало возможность отмены. Таким образом, согласие на крутые меры явилось первой скромной попыткой наметить свою собственную политику, примирительную, готовую считаться с обращениями и раскаянием, старающуюся вызывать то и другое. Орудие репрессии он превратил в способ сближения.⁷⁰¹

Отдельные лица покорились своей участи. Журдан в письме к Фуше изъявил готовность поступить в Ла Рошель, в то же время не без достоинства напоминая о своих заслугах. На другой день утром министр вызвал его к себе; он явился в сопровождении Бернадота. Фуше сказал ему: “Как только я получил ваше письмо, я отнес его Бонапарту; тот прочел его и сказал следующее: “Это постановление издано по настоянию аббата Сийэса; список составляли он и его привержен-

⁷⁰¹ Cambaceres, “Eclaircissements inédits” – Fauriel, “Les derniers jours du Consulat”, p. 6.

цы. Я этой мере не сочувствую. Если б я послушал этих трусов, пролилась бы кровь. Скажите Журдану, что он может ехать, куда хочет, и будет по-прежнему получать свой генеральский оклад до тех пор, пока обстоятельства не позволят мне дать ему занятие”.⁷⁰² Журдан был вычеркнут из списка, и 1-го фримера это было опубликовано в *Moniteur*. Бонапарт написал ему чувствительное письмо, выражая желание всегда видеть победителя при Флерюсе на пути, который ведет к организации, истинной свободе и счастью”.⁷⁰³

Было вычеркнуто из списка и много других, вследствие личных и коллективных прошений. Каждый день газеты сообщали о присоединении кого-либо из ярых республиканцев, из исключенных депутатов; большинством руководил интерес или страх; иными искреннее желание, хотя и с примесью усталости и скептицизма, еще раз попытать счастья с новой республикой. Некий Дюбрейль один осмелился выразить протест в брошюре, предвещавшей эру деспотизма. “Дай Бог, чтобы ты был последним кумиром французов!” – восклицает он, обращаясь к Бонапарту. Но этот одинокий голос не нашел отклика. Ввиду такого ослабления оппозиции крайней левой, консулы не давали ходу обещанным ка-

⁷⁰² “Notice” de Jourdan от 18 брюмера.

⁷⁰³ Corr. IV, 4397 – Имени– Журдана нет в списке, приложенном к протоколу первого консульского заседания, но весьма возможно, что этот протокол, притом же не подписанный консулами, был исправлен впоследствии, и в него включены измененные или позже принятые решения.

рательным мерам, хотя и не отменяли их. Они заботились не столько о преследовании, сколько о возвращении на путь истинный заблудших республиканцев, так как теперь опасность грозила консульству с другой стороны, справа; опасностью грозило не столько оппозиционное движение, сколько компрометирующий энтузиазм.

IV

Стали, наконец, приходиться вести и из департаментов, что дальше, то больше; они были недурны, хотя и не вполне удовлетворительны. Говоря об отношении к *сoup d'état* в провинции, надо различать, так сказать, официальную провинцию, т. е. местных властей, выборных или по назначению; местные советы, судей, чиновников, по большей части ярко выраженных революционеров с якобинской окраской – и настоящую, т. е. само население, администрацию и управляемых.

Среди властей полного единодушия не было. Если огромное большинство их и приняло готовую революцию, присланную из Парижа, все же раздавались, хотя и отдельные, протестующее голоса. Председатель Йоннского суда, гражданин Барнабе, отказавшийся зарегистрировать брюмерский закон, был не единственным. В Па-де-Калэ комиссар центральной власти Робер Краше пытался воспрепятствовать обнародованию закона; один из администраторов этого департамента подал в отставку. В Руане муниципальный агент отказался содействовать обнародованию закона.⁷⁰⁴ В Юре департаментские власти открыто выражали свое негодование; поговаривали даже о том, чтобы вооружить рать и двинуть

⁷⁰⁴ Запись совещаний временных консулов, 27 брюмера в 4 фримера. Aulard, стр. 21 и 41.

Юру на Париж. Некоторые департаменты приняли весть о перемене с энтузиазмом или раболепной угодливостью; другие с оговорками, угрюмо и мрачно. Были и такие, где власти совсем не откликнулись на извещение. Но эти слабые попытки оппозиции тотчас же заглохли перед явным сочувствием или инертностью масс. Если в первый момент весть о новой революции – как раз теперь, когда после ряда внешних побед наступило нечто вроде затишья – несколько удивила и взволновала народ, то одобрение не заставило себя ждать. Ни в одном документе не отмечено, ни в одном городе, округе, местечке, ни в одном уголке Франции – мы, конечно, не говорим о западе, где гражданская война была в полном разгаре – нигде не замечалось и попытки сопротивления со стороны настоящего народа, поселян или буржуазии, движения в защиту униженных учреждений и против восходящей звезды Бонапарта.

Правда, кое-где зашевелились было клубы, но эти особняком стоявшие группы, ненавистные населению, скоро почувствовали свое бессилие. К тому же, военные, власти и войска горячо встали на защиту переворота; они хотели республики, но только республики Бонапарта, и это импонировало прочим. Так было в Тулузе, многолюдном городе, внушавшем серьезные опасения. При первых же слухах о перевороте клуб, с которым часть городских властей находила необходимым считаться, объявил непрерывное заседание и поднял крик: К оружию! Но тут заговорили войска, с комендан-

том во главе, и очень энергично; власти, вынужденные покориться, обнародовали закон, хотя и неохотно и без всякой помпы.⁷⁰⁵ Тем временем прибыл из Парижа Ланн, принял начальство над войсками, объехал весь район, рассеял сомнения честных республиканцев, и спокойствие водворилось снова. Приблизительно так же обошлось дело в других городах и местностях, где преобладала красные комитеты. В общем, на всей французской территории сопротивление якобинцев свелось почти на нет. Члены клуба, на словах уже четыре месяца готовые к бою, прикусили языки перед первым же энергичным шагом противника.

Зато среди городского населения страшно волновались и очень агрессивно выражали свою радость совсем иного рода группы, тоже бурливые и шумливые, – воинствующие реакционеры, союзы молодежи, банды мюскаденов и контрреволюционеров, которые с дубинкой в руках боролись против последовательных попыток воскрешения якобинства. Большинство из них были, в сущности, роялистами, хотя они выставляли себя просто-напросто антиякобинцами и боролись против революции во имя ее же принципов. События в Сен-Клу, на первый взгляд, направленные против революции, опьянили их надеждой. Они думали, что час их настал, и во многих городах, в свою очередь, начали разыгрывать роль господствующей факции.

⁷⁰⁵ Morere, “Учреждение консульства в Тулузе” в “*Revolution française*”, т. XXXIII, стр. 16 и след.

Бордо был весь охвачен реакцией. Вести из Парижа пришли 24 брюмера. Первый день был весь отдан радости; чтение бюллетеней в общественных местах и театрах вызывало взрывы рукоплесканий вперемешку с шиканьем и свистками по адресу изгнанных депутатов. На другой день в театрах публика потребовала злободневных куплетов; полицейский комиссар воспротивился; поднялись крики, шум; зрители взбунтовались; в интересах восстановления порядка генерал, командующий местными войсками, принужден был сдаться на просьбы публики и отменить запрещение. Тем не менее город был наэлектризован и, по-видимому, не намерен больше терпеть установленной власти.⁷⁰⁶ Клермон-Ферран наблюдал сцены в том же роде; публика в театре не хотела слушать марсельезы и требовала бонапартки.⁷⁰⁷ В Нанси толпа граждан своею властью заперла якобинский клуб и прибила саван к дверям. В Верхней Савоне правительствен-

⁷⁰⁶ Донесение помощника комиссара исполнительной власти при центральной администрации Жиронды, от 27 брюмера, министру внутренних дел: – “Я не вправе скрывать от вас, гражданин министр, что ни одна из установленных властей г. Бордо не пользуется доверием общества, что делает необходимой почти полную реформу. Общества требуют, чтобы ожидаемые перемены осуществлялись как можно скорее, иначе власть перестанут признавать, и все ее указы потеряют силу; тогда спокойствие по необходимости будет нарушено...” – Национальный Архив, T.S.G., III, 8.

⁷⁰⁷ *Le Propagateur*, 5 фримера. См. постановление администрации департамента от 27 о том, чтобы музыка играла поочередно. *Hymne des Marseillais, Le chant du départ, Ça ira, Veillons au salut de L'Empire u la Bonaparte* – Bonnefoy, II, 319.

ный комиссар пишет: “Уж не думают ли якобинцы присвоить себе плоды 18-го и 19-го? Они угрожают республиканцам, повергают в трепет покупателей национальных имуществ, говорят о короле и о старом режиме.”⁷⁰⁸ В Канне произошла как бы перетасовка партий, вследствие которой реакционеры всплыли наверх. Во множестве округов и местечек происходили шумные манифестации, нападений на чиновников, и поведение Парижа, который за последние дни тоже начал подавать голос, поощряло это движение.

Почти повсеместно народная масса была на стороне своих вождей; из страха и отвращения к игу революционеров народ, казалось, готов был идти на буксире за роялистами. Когда пало правительство гонений, все французы, чьей безопасности оно угрожало или нарушило ее, все разоренные им, преследуемые, униженные, обращенные в илотов⁷⁰⁹ – таких были сотни тысяч – испытывали радость освободившихся узников. Они рукоплескали тем, кто яростно восставал против продажных душ и угнетателей-чиновников, против явных и тайных властей, против клубов и комитетов, против суровости республиканского законодательства и его раздражающих мелочных придинок, против всех форм революционной тирании, теперь шаткой и сбитой с позиции. В 1789 г. мы видели самопроизвольное нарождение анархии; теперь также самопроизвольно нарождалась реакция, грозя переи-

⁷⁰⁸ Schmidt, “Tableaux de la revolution”, 467.

⁷⁰⁹ покоренные

ти в другой вид анархии – в бред возмездия.

Бонапарт тотчас почуял опасность, ибо он прежде всего не хотел, чтобы имя его стало синонимом реакции. Задуманный им план будущего был великий, спасительный план, – тот же, что у королей и политиков некогда создававших и пересоздававших Францию. Освободившись от партий, он пойдет прямо к народу, к массе, к миллионам французов, у которых нужд больше, чем мнений, которые просто мечтают о внутреннем и внешнем мире, и о мире религиозном. Он завоюет их преданность обеспечив им эти блага. В основу своего правления он положит народное довольство и будет строить на этом фундаменте. В покоренной и объединившейся массе потонут и расплывутся те сотни и тысячи, которые кинулись в гражданские распри под влиянием скорби и гнева, больше под влиянием минутной экзальтации, чем из принципа и по твердому убеждению, составленному заранее; таким образом, он лишит партии самой их сущности, их настоящей силы, и тогда ему придется иметь дело только с вождями без войск, или с отдельными смутьянами. И этих он будет бить, бить беспощадно. Выбрав из всех партий людей, могущих быть полезными государству, он объявит забвение, признает прошлое несуществующим, велит французам прощать друг другу и отучить их ненавидеть; широким размахом губки сразу сотрет десять лет преступлений и ужасов, десять лет взаимных обид. На модном тогда мифологическом языке это называлось: дать Франции напиться воды из Леты! Призвав

к себе представителей самых противоположных взглядов, он поставит объединяющим центром сильное и справедливое правительство, достаточно “искреннее, достаточно, славное для того, чтобы при нем могли примириться между собою все благонамеренные французы, чтоб им жилось привольно при этом величавом и щедром режиме.

Он писал депутату Бейтсу, одному из протестовавших в Сен-Клу: “Ни один здравомыслящий человек не может думать, что мир, которого все еще требует Европа, может быть результатом деятельности фракций и ее неизбежного последствия – дезорганизации. Примкните к массе народа. Простое звание французского гражданина уж, конечно, стоит титула роялиста, якобинца, фельянтинца и тысячи других имен, порожденных духом факций, уж десять лет толкающих нацию в пропасть, откуда пора, наконец, извлечь ее раз навсегда. К этой-то цели и будут направлены все мои усилия. Ей и только ей принадлежит отныне уважение мыслящих людей, уважение народа и слава.”⁷¹⁰

Эту спасительную программу Бонапарт в то время уже мог начертать, но тогда он еще не имел власти осуществить ее. Он может рекомендовать примирение, но заставить примириться у него нет средств; для этого он недостаточно уверен в массе нации, которую он решил сделать своей точкой опоры и великим центром поглощения; он еще не чувствует, чтоб Франция всецело была в его руках. Он хочет, по край-

⁷¹⁰ Переписка Наполеона”, т. VI.

ней мере, не дать этой массе, в общем расположенной к нему, но непостоянной и изменчивой, пойти иным путем, чем тот, какой он ей предназначил, и вернуться к чистой реакции. Активных роялистов меньшинство, но это меньшинство воплощает в себе партийную ненависть, и при столкновении с ним, его экзальтация и фанатизм могут передаваться населению. Тогда Франция попадет из одной крайности в другую: вместо того, чтоб укрепляться и насаждать порядок, она только переменит источник зол. Повторится натиск реакции, которая перед фрюктидором едва не отодвинула Францию далеко назад. Может снова повториться насилие, залившие кровью торжество термидорцев, лионские жестокости, сентябрьские зверства Прованса, ибо у белого Юга, как и у красного Парижа, были свои сентябристы. Порожденные революцией интересы уже затронуты; может произойти общее смятение. Все, у кого с революцией связано их будущее, дела, карьера, страсти или слава – покупщики национальных имуществ, политики, философы, военные – отпадут от перебежчика Бонапарта и пойдут искать спасения в другом месте. Если он отпустит от себя этих людей, из которых лучшие помогали его возвышению, если он оторвется от этой базы, настроение масс еще недостаточно прочно для того, чтобы поддержать его и нести его дальше, и он вынужден будет отдаться в руки партии, которая видит в нем лишь временное орудие – стать пленником реакции.

Без сомнения, он и сам чувствует необходимость вызвать

реакцию там, где она законна и неизбежна, но эта реакция должна быть направлена в его пользу; он вызовет ее, когда сам найдет нужным и своевременным, и с тем, чтобы в его власти всегда было остановить ее, удержать в известных границах. Если предоставить ее собственной участи и самому отдаться течению, она потом опрокинет его, умчит и бросит разбитым к ногам претендента. Итак, он останется на стороне революции, но при этом усиливаясь внести в нее примирение и великодушие. В его правительство будет открыт доступ и справа, и слева, но главным образом слева. Прежде, чем добиться слияния всех французов, он объединит реакционеров на почве республики, исполненной приветливости и сердечности. Умеряя их страсти, сдерживая их эксклюзивизм, он долго еще будет льстить их предрассудкам, их маниям, их поклонению кумирам, а главное – объявит неприкосновенными их интересы и их имущества. Отныне лозунгом временного консульства, всюду известным и везде повторяемым, как в Париже, так и в провинции, будет: “Не надо реакции”.

В Париже реакция проявлялась по-парижски, т. е. в водевилях и песнях. Все политические кризисы в то время находили отклик на театре, в пьесах на случай, сшитых на живую нитку, скоро приедавшихся, эфемерных, интересных лишь тем, что они были написаны на злобу дня. Брюмерские события вызвали к жизни целую такую литературу. Уже 21-го в скромном театре Молодых Артистов дан был сигнал пред-

ставлением маленькой пьески “bluette”, озаглавленной “Первый луч солнца”. А 22-го в комической опере, или в итальянском театре, весьма усердно посещаемом, поставили Les Mariniers de Saint Cloud, шутливый апофеоз “дня избавления”.⁷¹¹ Пьеса имела необычайный успех; в ней трвилась и лесть, в изобилии расточаемая Бонапарту, и меткие словечки по адресу изгнанных депутатов, “шарлатанов, интриганов, разбойников; тиранов”, против их секты и клики.⁷¹² Шумное одобрение публики разрослось в целую контрреволюционную манифестацию. Толчок был дан, все театры стали готовить к постановке антиякобинские, антипарламентские пьесы.

Консульское правительство не замедлило обратить на это внимание и вмешаться, так как народные страсти следовало обуздывать. Фуше начал с очень легких мер. Так как было установлено, что новое правительство, прежде всего, будет терпеливым и либеральным. Вместо того, чтобы запретить пьесу, он сделал попытку убедить администрацию Комической Оперы добровольно снять ее с репертуара, принеся в жертву крупный барыш на алтарь согласия. Он написал директорам письмо, где высказывает очень возвышенные и справедливые мысли по поводу одного экспромта: “Когда

⁷¹¹ *Moniteur*, 3 февраля.

⁷¹² “Napoléon et les théâtres populaires”, Maurice Albert; *Revue des Deux Mondes*, 15-го июня 1902 г. – Henry Lecomte “Napoléon et l’empire, racontés par le théâtre”, 48–53.

все страсти должны смолкнуть перед законом, когда мы готовы принести в жертву желанию внутреннего мира всю нашу жажду мести за обиды, когда и народ, и его правители энергично выражают свою волю в этом направлении и сами подают трогательный пример незлопамятности, никому не дозволено идти наперекор этому желанию. Вы покоритесь ему, граждане. Я достаточно высокого мнения о вашем патриотизме, и убежден, что вы, не дожидаясь моего приказа, пожертвуете вашей пьесой в интересах общественного спокойствия”.

В то же время центральному⁷¹³ бюро полиции поручено было следить за театрами, заблаговременно знакомиться с содержанием пьес, “не допускать на сцене ничего, что может совращать умы, питать ненависть, длить тягостные воспоминания.”⁷¹⁴

Администраторы Комической Оперы не вняли увещаниям министра. Вместо того, чтобы снять пьесу с репертуара, они только прислали ее в главное бюро с предложением сделать в ней несколько купюр. Полиция пошла на этот компромисс и создала себе массу работы, так как теперь на одобрение ее стало поступать множество рукописей, водевилей, комедий, сатир, большая часть этих пьес очень резко и ярко отражала настроение умов; в одной, *Le Représentant postiche*, был выведен на сцене депутат “совершеннейшим

⁷¹³ Газеты за 24-е.

⁷¹⁴ Национальный архив А. Р., IV, 1329.

болваном”; в других выведены бывшие советы и директория под видом комических, или гнусных персонажей; якобинцы выводились под очень прозрачными омонимами: разбойника, стилета, сокрушителя и пр.⁷¹⁵ Центральное бюро сокращало, вымарывало, вычеркивало, но все же пропустило достаточное количество пьес для того, чтобы программа театральных представлений на 28-брюмера могла быть составлена следующим образом; у Итальянцев Унтера в Сен-Клу; в театре Трубадуров; Ловля якобинцев, или день в Сен-Клу; в Водевиле: Флюгер Сен-Клу; в театре Национальных Побед: Деятнадцатое брюмера, или день в Сен-Клу; в театре Мольера: День в Сен-Клу, или не сбывшиеся ожидания. В урезанных цензурою пьесах публика все-таки искала намеков и находила их, и тогда поднималась буря аплодисментов и криков и мстительных свистков; публика рада была отвести душу, осыпав оскорблениями побежденных, этих смешных и гнусных тиранов, вышедших из подонков общества и заставивших Францию столько страдать; а якобинцы получая удары, в свою очередь, ревели и неистовствовали, как могли.

Из театров и запертых помещений реакция перешла на улицу, проявляясь в тысяче форм. В витринах эстампных магазинов появился целый цветник карикатур, раскрашенных картинок, на которых депутаты фигурировали в самом плачевном виде; на одной народ был изображен в виде бедняка-носильщика, который вздохнул свободно, сбросив с

⁷¹⁵ Aulard, “Le Lendemain du 18 Brumaire”, 226–227.

плеч своих к ногам тяжелую ношу: груди красных лохмотьев, связку парламентских тог; внизу подпись: “Семьсот пятьдесят это слишком”.⁷¹⁶ А что это за афиша на стенах? Прощание Отца Дюшена с французами, предлагаемое завещание разбитого и обращенного в бегство якобинства. На перекрестках бродячие певцы во все горло распевали якобинскую песенку “Фанфары Сен-Клу”, другие расхаживали по улицам, распевая куплеты в том же духе, или жалобу бедного депутата, выброшенного в окно.

Мелкая печать также пестрит издевательствами по адресу законников и плачевного бегства их через лес; на них сыплются и шуточки, и грубые обиды; одна газетка уверяет, будто один из депутатов на бегу выронил из кармана бумагу, кем-то подобранную и заключающую в себе целую программу народного образования, где детям рекомендовалось внушать следующие добродетели: “невежество, воровство, бесчестье, неуклонное соблюдение закона о праве сильного”.⁷¹⁷ Насмешки сыплются со всех сторон, беглецов хлещут язвительными словами, провожают их галопу адским шиканьем и свистом.

Явные роялисты не скрывали больше своих замыслов и надежд, превознося Бонапарта; в то же время они упорно смотрели на него, как на переходную ступень к более проч-

⁷¹⁶ Коллекция Фредерика Масона.

⁷¹⁷ L'Aristargue, 3 фримера. – Отчет о деятельности центрального бюро за фример. Национальный архив, AF, IV, 1329.

ному и окончательному строю, называли его “Королевским мостом” (Pont Royal).⁷¹⁸ Их газеты, весьма многочисленные, пользовались “давнишней усталостью народа и накопившейся в нем ненавистью к людям, предписывающим законы”,⁷¹⁹ чтобы дискредитировать самую идею народного представительства: лучше уж одна концентрированная власть, иными словами, король. Парижские католики требовали возвращения еще церкви, кроме тех, которыми скупо наделил их умирающий конвент. В Notre-Dame конституционный епископ Ройе с кафедры назвал 18-е брюмера началом религиозной реставрации. Торговцы опять стали открывать лавки в десятый день и закрывать их по воскресеньям, на свой лад протестуя против нетерпимости наизнанку, переменившей день обязательного отдыха. В городе циркулировали брошюры и слухи о скором возвращении к старым порядкам, об отмене новой системы мер и весов, республиканского календаря, республиканских празднеств и декад, народ тешил себя надеждой, что вместе с тем будет отменен и сугубо ненавистный налог на съестные припасы. Случалось, народ силою препятствовал исполнению закона. Бывали и уличные беспорядки: перед монастырем св. Бенедикта взбунтовавшаяся толпа вырвала из рук стражи эмигранта, контрабандой вернувшегося в столицу; при этом чуть не убили полицейского офицера и порядком помяли нескольких нижних чи-

⁷¹⁸ Архив Шантильи. Переписка агентов Конде, 2 января 1800 г.

⁷¹⁹ *Moniteur*, 3 фримера.

Напрасно твердили официозные газеты, что реакции не будет; она казалась неизбежной многим, вначале примкнувшим к консульским начинаниям, и тем, кто был другим еще накануне, и тем, кто смирился на другой день после переворота. Дело в том, что за парижскими манифестантами и театральными буянами им виделись более опасные враги: возвратившиеся на родину эмигранты, готовые выйти из своих потайных убежищ, священники, занимавшиеся политической пропагандой, и, еще дальше, неугасавший мятеж на западе, союзы Жиронды и Шаранты, провансальские банды, вооруженная и свирепая контрреволюция, которая никогда не отказывалась от борьбы и теперь легко могла поднять голову. 27-го брюмера главный якобинский орган, бывшая Газета свободных людей, возвысила голос, чтобы отличить “элементы смертоносной реакции”, приводя целый ряд действительных или выдуманных актов насилия, совершенных в провинции над республиканцами, и много дней подряд наполняла свои столбцы ужасающей хроникой происшествий. Даже очень враждебные якобинству газеты высказывали опасение, как бы опять не набрали силу “якобинцы реакции”.⁷²¹

К этим тревогам печати присоединились и тревоги в парламенте, т. е. комиссиях, составлявших продолжение сове-

⁷²⁰ *Ami des Lois*, 29 брюмера.

⁷²¹ *Ami des Lois*, 26 брюмера.

тов. Отчет о заседании комиссии пятисот 26-го брюмера гласит: “Многие члены комиссии выражают неудовольствие по поводу сатир и язвительных острот, содержащихся в театральных пьесах, написанных на злобу дня. 18-е брюмера. Постановлено: двум членам инспекции отправиться к министру полиции с предложением запретить представление пьес, нарушающих предписываемое законом уважение к народному представительству.”⁷²²

Не дождавшись этого запроса, консулы сами высказались, и очень ясно, устами авторитетного уполномоченного. Еще накануне, в комиссии, Кабанис, любивший выступать в качестве оратора и брать под свою защиту правительство, торжественно отрекся, от имени консулов и их друзей, от всякой идеи о реакции. Он напомнил, что *coup d'etat* 18-го брюмера был делом рук умеренных. Сам, будучи одним из ее корифеев, с несколько наивным самодовольством поздравляет эту партию с тем, что на этот один-единственный раз она сумела проявить инициативу и энергию, словно забыв, что барабаны и штыки, что решительность Мюрата и Леклерка очень кстати поддержали ослабевающую отвагу умеренности. “Вы доказали им, – т. е. факциям и фанатикам всех лагерей, – что умеренные умеют дерзать, когда это нужно; теперь вы покажете им, какова должна быть энергия умеренности после победы”.⁷²³

⁷²² *Moniteur*, 28 брюмера.

⁷²³ *Moniteur*, 28 брюмера.

Правительство не ограничилось этим манифестом, оно присоединило к слову дело. Относительно театров были, наконец, приняты радикальные меры: запрещение всех пьес, “заглавием своим сколько-нибудь напоминающих о брюмерских событиях”, и приказ представить на рассмотрение администрации все пьесы, “имеющие отношение к революции, в какое бы время они ни были поставлены”.⁷²⁴ Полиция заставила убрать из витрин карикатуры на депутатов; в донесении центрального бюро о его деятельности говорится даже: “Воспрещено певцам петь и продавать на улицах и в общественных местах песни, имеющие отношение к брюмерским событиям и оскорбительные для народного представительства”.⁷²⁵ Предписано было молчать о “переезде на другую квартиру (*déménagement*) пятисот” и сценах в оранжерее.⁷²⁶ Казалось, консульство хотело во что бы то ни стало омыть себя от первородного греха и заставить республиканцев, дорожащих формами, забыть, что оно возвысилось при помощи насилия; впервые правительство на глазах у всех отрекалось от своего происхождения и запрещало говорить о нем.

Против реакционных сборищ генерал Лефевр выпустил дорогую прокламацию, предписывая войскам разгонять такие сборища силой, предварительно предложив разойтись

⁷²⁴ Национальный архив. AF. IV, 1329.

⁷²⁵ Ibid.

⁷²⁶ По выражению газеты *Aristarque*, 3 фримера.

честным гражданам и любопытным. Слишком рьяным проповедникам⁷²⁷ были сделаны выговоры; епископ Ройе призван к умеренности. Расклеенные по городу афиши доводили до сведения жителей, что все республиканские законы по-прежнему остаются в силе, и распространители противоположных слухов будут преследуемы судом. Наконец, чтобы доказать, что правительство продолжает держаться левой и не ищет виновных среди республиканцев, консулы отменили свой приговор пятидесяти девяти якобинцам, заменив ссылку простым арестом. Поводом к отмене послужил рапорт Камбасерэса, составленный по приказанию Бонапарта и убеждавший предать забвению мимолетные заблуждения. “Дело суда, – сказал консул, – поправлять глупости, которые творит полиция”.⁷²⁸ Тем не менее, оказывалось, что Фуше ловко вел свою игру: он разогнал опасения Сийэса, составив список подлежащих ссылке, и в то же время, преувеличив принятые меры, дал повод Бонапарту отменить их и провести политику республиканского согласия.

Все указы, направленные к тому, чтобы затормозить реакционное движение, были обнародованы почти одновременно, между 30 брюмера и 6 фримера; это было сделано с целью сильнее подействовать на парижан. В то же время раздалось и правительственное слово, обращенное ко всей стране; министры внутренних дел и полиция разослали каждый

⁷²⁷ *Moniteur*, 3 фримера.

⁷²⁸ *Cambacères*, “*Eclaircissements inédits*”.

своим подчиненным и обнародовали циркуляр, гарантирующий от возвращения эмигрантов и преобладания какого бы то ни было культа.

В официальном языке двух министров однако чувствует-ся разница. Лаплас стоит на почве философской непреклонности; он ополчается против религий: “Не упускайте ни одного случая доказать вашим согражданам, что суеверие не больше роялизма выиграет от перемен, происшедших 18-го брюмера”. Фуше, более гибкий, лучший политик, вкладывает в свою официальную прозу смесь твердости и умили-тельного благодушия; он объявляет эмигрантам, что Фран-ция навсегда отторгла их от своего лона, но при этом желает им найти “если они могут, покой и мир вдали от роди-ны, которую они хотели поработить и погубить”. Он говорит также: “Да будет ведомо тем, кто еще верит в химеру восста-новления королевской власти во Франции, что республика ныне упрочена. Пусть фанатики оставят надежду добиться господства не знающего терпимости культа; правительство равно покровительствует всем исповеданиям, не поощряя ни одного из них в особенности”. Эти слова, сулящие жесто-ко гонимому католицизму мир и, наравне со всеми, защиту закона, были произнесены известным осквернителем церк-вей, страшным иконоборцем 1793 года. Но Фуше умел все-гда быть на высоте положения; он, со своим тонким чутьем, первый проникся новыми веяниями, исходившим от прави-тельства духом умеренности.

Уже 29 брюмера консулы решили войти в непосредственные сношения с департаментами. Закон 19-го брюмера предоставлял им право посылать делегатов в провинцию; они назначили двадцать четыре таких уполномоченных, по одному на каждую военную дивизию. Эти *missi dominici* получили инструкцию в форме постановления консулов, с приложением объяснительной заметки.⁷²⁹ Они посылались для того, чтобы представить брюмерские события в истинном свете, истолковав их в смысле торжества умеренности. Они могли в случае надобности увольнять очень уж гнусных чиновников и закрывать клубы, но этой властью им рекомендовалось пользоваться весьма осмотрительно, преимущественно же исследовать и изучать настроение общества, настроение администрации. В особенности же им предписывалось убеждать всех выкинуть из памяти названия и оскорбительные прозвища партий, лично подавая пример сдержанностью и кротостью в речах, гасить ненависть, трудиться на пользу упрочения республики, путем примирения, избегать всякого столкновения с военными властями и по возможности действовать заодно с ними, “не ездить в департаменты, где все спокойно и гладко идет”.

Избранные делегаты были старые конвенционалисты и депутаты, примкнувшие к брюмерцам, хотя довольно различ-

⁷²⁹ Это постановление имеется в “Переписке Наполеона”, т. VI; объяснительная заметка приведена Aulard'ом в “Le Lendemain du 18 Brumaire”, 240–241.

ных тенденций; в списке фигурируют Маллармэ, Фабр де л'Од, Барре, Шоссе, Лекуант-Пюираво, Крошон, Жар-Панвилье. Сийэс брал только людей с настоящим революционным прошлым. В “Бюллетене роялиста” от 20 ноября было опубликовано, что Шазал предложил клишинца,⁷³⁰ творившего на своем веку всевозможные гнусности, он был принят, но затем позорно вычеркнут из списка, по настоянию Сийэса. Всем предписывалось держать себя скромно, действовать без шума, без помпы, чтобы ничем не напоминать оставивших по себе такую страшную память делегатов Конвента. Да и недостаток в деньгах вынуждал стоять за простоту. На путевые расходы делегатов было выдано всего сто тысяч франков на всех. Некоторые, взяли почтовых лошадей; другие храбро отправились: на перекладных, в дилижансе⁷³¹ – скромность, приличествовавшая представителям власти, которая выставляла себя не столько укротительницей партий, сколько общей миротворицей трудолюбивого, практического правительства, казалось, желавшего занять положение мирового судьи для всех французов.

В некоторых местностях консульским легатам предстояла довольно трудная задача, ибо брожение, обнаружившееся в городах, теперь перешло в деревни в виде агитации почти

⁷³⁰ Clichien – роялистская партия, образовавшаяся во Франции после 9-го термидора и разбитая 18 фрюктидора, получила свое название от сада Клиши, где в первое время собирались ее члены.

⁷³¹ Le Publiciste, 6-го фримера.

антиобщественной. Повсюду разнесся зажигательный слух, что ни одна из общественных повинностей не переживет нападения директории. Раз Бонапарт, этот маг и чародей, прогнал директоров, все напасти должны прекратиться: не будет больше ни налогов, ни обложения в пользу: армии, ни реквизиций, ни конскрипций; и народ волновался, когда представители власти напоминали ему, что законы еще существуют и что нужно их исполнять. В самых различных пунктах, в Луарэ, Уазе, Франш-Конте, в северном районе, обнаруживались симптомы анархии среди крестьянского населения, и власти объясняли это происками реакционеров.⁷³² Из Бельгии крестьяне департамента Двух Нэт отпирали церкви, отказывались платить заставные пошлины и нападали на сборщиков. В Брюгге “пришлось дважды официально опровергать слух о прекращении уплаты податей”.⁷³³ Даже у ворот Парижа (были округа, отказавшиеся платить налоги; в Пьерфитте все дела пришли в расстройство. “Народ, уверенный злонамеренными людьми, будто Бонапарт отменил все налоги, отказывается платить положенную дань...”.⁷³⁴ В других местах крестьяне ополчились против сбора на содержание в исправности дорог и поколотили сборщиков.⁷³⁵ Крестьянам

⁷³² Военный архив, общая переписка; донесения из Орлеана и Амьена от 23 и 24 брюмера. – Roederer, VI, 394.

⁷³³ “Louzac de laborie” la Domination française en Belgique”, I, 307.

⁷³⁴ Schmidt, “Tableaux de la Révolution”, III, 474.

⁷³⁵ Moniteur, 3 фримера.

трудно было поверить, чтобы гибель правительства насилия и гнета не была равносильна упразднению вообще всякого правительства. В торжестве Бонапарта они видели не столько наступление эры преобразований, сколько падение тирании, и праздновали это радостное событие грубыми возлияниями, забавами спущенных с цепи рабов. Факт странный, а между тем неоспоримый: появление великого водворителя порядка, которого считают, прежде всего, освободителем французов, пребывавших в рабстве у революционной факции, вызвало прежде всего усиленные беспорядки.

ГЛАВА XI. ФРАНЦИЯ ПРИ ВРЕМЕННОМ КОНСУЛЬСТВЕ

ПАРИЖ

Реакционное брожение стихает. – Осторожность Бонапарта. – Париж таков, каким его сделала революция. – Контрасты. – Общая запущенность. – Памятники и учреждения. – Улицы. – Паразитные отрасли промышленности. – День парижан. – Бомонд. – Безумная жажда наслаждений. – Влияние Бонапарта на моды. – Спокойные обеды. – Салоны. – Театр. – Улицы небезопасны. – Проституция. – Опасные элементы. – Армия контрабандистов. – Грабеж в Пале-Рояле. – Разговор Бонапарта Редерера и Вольнэ за завтраком. – Либерализм и лояльность полиции. – Газеты. – Воскресение Газеты Свободных Людей. – Политика Фуше; революционная защита. – Неуверенность и колебания в настроении парижского общества. – Как Бонапарт завоевал Париж.

I

В общем, консульство лучше принимали, чем слушали,

охотнее рукоплескали, чем повиновались ему. Однако в Париже буйства реакционеров прекратились довольно скоро, так как население оставалось неспособным к сильному длительному подъему. Спокойствие, по крайней мере внешнее, было восстановлено; что же теперь предпримет Бонапарт? Примется, ли он муштровывать Париж, начнет ли преобразование Франции с придания приличного и благоустроенного вида ее столице? В этом отношении работы предстояла масса, так как даже наиболее враждебные революции классы населения, сталкиваясь с ней, заимствовали от нее привычки разнузданности; наряду с анархистами по убеждению, сколько же сделались “анархистами по привычке”.⁷³⁶ В результате получилось общее расслабление, небрежность, распущенность. Этот хаос оскорблял Бонапарта, претил его инстинкту порядка, его прирожденной страсти к систематичности. Но он понимал, что если он поспешит, круто обойдется с парижанами, слишком рано начнет муштровывать их, они могут и заупрямиться. Нет, он лишь постепенно, очень постепенно даст им почувствовать свою власть. Не злоупотребляя, даже не пользуясь правами и полномочиями, унаследованными им от прежних правительств, он дает Парижу иллюзию свободы и едва решается чуть-чуть подтянуть вожжи.

Странный какой то, нескладный этот Париж первых недель консульства, Париж переходной эпохи, где старое об-

⁷³⁶ Mallet du Pan “la Révolution française vue de l'étranger”, p. 538.

щество робко-робко пытается поднять голову, а рядом кипит и бурлит другое, только что народившееся общество, живущее чисто внешней жизнью. Внешний вид города – какой-то сумбур, причудливая амальгама безобразия и красоты, молодые побеги, пробивающиеся сквозь развалины. Прибывающий в Париж иностранец, осмелившийся вернуться изгнанник, которому с чужих слов мерещатся все ужасы террора, ожидает найти Париж в крови и развалинах, увидеть страшную печать террора, “кровь, отрубленные головы”; но если он заговорит об этом, ему отвечают: “О, это уже старо!”⁷³⁷

Если он приехал с запада, он, прежде всего, видит Елисейские Поля, более прежнего оживленные, хотя еще сохранившие вид дубравы. Вообще, с западной стороны столица удивительно красива. Директории угодно было обратить площадь Согласия, кровавую площадь революции, ныне окруженную вновь отстроенными зданиями и зеленеющими садами, в величественное преддверие столицы. “Мост, Тюльери, Елисейские Поля, набережные, дворец Бурбонов, – все это вместе составляет замечательный ансамбль”.⁷³⁸ Влево от Елисейских Полей, за предместьями Оноре и Рул, вырастет новый город, светлый, роскошный: кварталы Анжу, Шоссе-д'Антэн, Роше, кварталы, поднимающиеся в гору к Поршеронам и Монмартру; город разбогатевших людей, постав-

⁷³⁷ Архив Шантильи, письмо от 1-го дополнительного дня VIII года.

⁷³⁸ “Lettres de Charles de constant”, стр. 26.

щиков, генералов, набивших карманы в Италии, артистов и комедианток. Там любят селиться все те, кого выдвинула революция, кого она вывела в люди; в своих красивых отелях с греческим фронтоном и колоннадами, в обстановке, которая уже начинает приближаться к строгому античному стилю, среди красного дерева, золота, фресок, коринфской резьбы и гармонии полосатых тканей с нежными тонами фона, они довольно неуклюже учатся быть изящными.

За бульваром тянется опять старый город, но весь взбудораженный, перевернутый вверх дном. И королевский Париж, раскинувшийся по обоим берегам реки, был полон контрастов роскоши и нищеты; теперь контрасты еще сильнее бьют в глаза, так как революция только переместила роскошь и усилила нищету. Отдельные места стали красивее. Чище прежнего “содержится Тюльери с его мраморными амфитеатрами, квадратами зелени и целым войском статуй. Противоположный саду фасад дворца, выходящий на Карусель, ободраный пулями 10-го августа, таким и остался; нижняя часть его исчезает под густой растительностью – республика стыдливо прикрывает зеленью жилище королей. Хорош Ботанический сад на другом конце города, обогатившийся новыми растениями и музеем, созданный похвальным усилием революции, с целью организовать науку. Но от Люксембурга, его цветников, его тенистых кущ остались одни руины; эспланада Инвалидов вся в ямах и рытвинах; сад Пале-Рояля до такой степени опустошен, что его при-

шлось закрыть на несколько месяцев для того, чтобы привести в порядок. Памятники, даже и те, что присвоила себе революция, ограблены, расшатаны и ежеминутно грозят рухнуть. Ограблены, осквернены бесчисленные церкви и монастырские аббатства, хранилища богатств и сокровищ искусства, их шпицы сломаны, статуи вывезены, гробницы опустошены. Часть церквей, именуемых храмами, служат в известные часы для отправления культа декады; а остальное время здесь уживаются, хотя и не мирно, другие культы – католический, конституционный, теофилантропический, соперничающие и взаимно ненавистные друг другу.

Даже и эти церкви ограблены, лишены своих сокровищ, и Музей французских памятников на набережной Августинцев мог только подобрать обломки колоссального крушения. Зато Лувр наполняется сокровищами, награбленными в Италии; оттуда то и дело прибывают чудеса, шедевры – Аполлон Бельведерский, Венера Капитолийская, Лаокоон, еще не совсем раскупоренные, едва выглядывающие из залитых гипсом ящиков, куда их уложили на дорогу. Бронзовая квадрига,⁷³⁹ приписываемая резцу Фидия и похищенная из Венеции, пока стоит в саду Инфанты; ее хотят перевезти на площадь Побед и впрячь четверку в триумфальную колесницу.

На площадях стоят осиротевшие пьедесталы без статуй; аллегии из дерева и гипса, обломки революционных апо-

⁷³⁹ Двухколесная греческая колесница, запряженная четверкой лошадей.

феозов, осыпающихся под дождем. На площади Побед, на Вандомской, на Королевской площадях и в прилегающих к ним кварталах фасады старинных, величественных зданий обезображены кричащими вывесками, нарушающими гармонию линий и симметрию. Жилища знати, аристократические отели Сен-Жерменского предместья, отели богачей в Марэ, за исключением тех, которые спасли капиталисты, забрав их себе, превращены в увеселительные заведения, в аукционные залы, в агентства, попали в руки парижских спекулянтов, шарлатанов, сводней. Все не на месте; биржа – в церкви Батюшек (Petitspères), общественный зал – зал Зефи́ров – на кладбище близ церкви Св. Сюльпиция. Попадают курьезнейшие учреждения, невозможное сочетание имен. На улице Антуана открыли приют для жертв государственных банкротств, убежище для рантье.

Госпитали, отданные под покровительство мирских добродетелей, сидят без денег, и однако дивный институт Валентина Гаюи⁷⁴⁰ существует; детище аббата Сикара⁷⁴¹ пережило изгнание своего автора; в Божоне иностранец дивится успехам благотворительности, умело пользующейся всеми ресурсами, предоставляемыми ей наукой, – благотворительности, созданной порывом гуманности и тем толчком к великодуш-

⁷⁴⁰ **Valentin Haüy**, брат знаменитого минералога, создателя кристаллографии – основатель приюта для слепых детей; ему первому пришла идея выпуклой азбуки для слепых (1745–1822).

⁷⁴¹ **Sicard** (аббат) – знаменитый наставник глухонемых (1742–1822).

ной помощи ближнему, который революция в первое время давала умам.⁷⁴²

Но кварталы, где обитали духовное сословие и церковная благотворительность, линия монастырей, примыкавшая к террасе Фельянтинцев, город духовенства, ютившийся под сенью собора Парижской Богоматери, Сорбонна и ее коллегии, очаги церковной учености и обширные монастырские обширные земли за уцелевшими кварталами левого берега, – все это отдано в жертву спекуляции, ломке, военным поставкам, скороспелой и нечистой наживе или же просто пошло под клоаки и свалки мусора; целые кварталы преобразились в сплошные магазины торговцев старым тряпьем и всевозможными отбросами.

Останемся в центре. Под осенним небом, черным, как сажа, скверно вымощенные улицы, лишённые тротуаров, изборожденные посередине зловонными ручьями, извиваются между домов с грязно-желтыми фасадами, с неровными крышами, причудливой архитектуры. На обезображенных площадях еще виднеются на облезших древках красные фригийские колпаки, деревья свободы, увешанные трехцветными лохмотьями; на каждом углу переправленные или сокращенные надписи с урезанными именами святых; нижние этажи домов все сплошь заклеены афишами, так как каждому предоставляется право расклеивать что ему только угодно; граждане-соседи вывешивают на стенах плакаты,

⁷⁴² Charles de Constant, 67.

наполненные грубой руганью; афиши позорят памятники и пачкают фонтаны. На шоссе вы теперь мало увидите красивых и опрятных экипажей и совсем не видно карет с гербами, зато имеются 1162 извозчичьих фиакра, с нередко представленными мелом номерами и женщинами на козлах; на улицах Майль и Дени по целым дням стоят ломовые телеги, загромождавая проезд; 2 690 кабриолетов во весь опор мчатся по городу, давя, пугая; опрокидывая в своей безумной скачке прохожих; в газетах стон стоит от жалоб на эти “смертоносные орудия”.⁷⁴³ По тротуарам торопливо шагают с озабоченным видом деловые люди, мелкими шажками бегут парижанки – но сколько среди них жалких и темных личностей, рантье без ренты, рабочих без работы, чиновников без жалованья, подозрительных субъектов, вечно боящихся, что за ними следят, и пугливо оглядывающихся назад. А рядом, наоборот, бесстыдство в осанке и манерах: хорошо одетая женщина, подобравшая платье до колен, “молодая женщина в мужском костюме”;⁷⁴⁴ покойник в гробу, которого тащат, словно какой-нибудь тюк, без всякой помпы и даже благопристойности. Старые моды сталкиваются с новыми; одни ходят в напудренных волосах с косичкой и надвинутой на глаза треуголке, другие стриженными, прикрывая свою прическу а ла Кориолан широкополой фетровой шляпой. Рядом с господами в длинных сюртуках с пелериной, в блан-

⁷⁴³ **Ami des Lois, 13 фримера.**

⁷⁴⁴ **Charles de Constant, стр. 32.**

жевых камзолах, или в голубых с белыми пуговицами, видишь людей в карманьоле. Военные, защитники отечества бегут за жалованьем, что не мешает им высоко нести свой общипанный плюмаж. Многие молодые люди вернулись с войны изувеченными: у того рука на перевязи, этот ходит на костылях. В этом необычайном смешении титулов и костюмов попадают и воспоминания о колоссальном греко-римском карнавале, восемь лет странствовавшем по Парижу: на Королевском мосту в ужаснейшую погоду встречаешь “учеников художника Давида, одетых совершенно, как ученики Апеллеса, с обнаженной головой, с голыми ногами в котурнах, без всякой одежды, кроме двойной туники, падающей волнистыми складками”;⁷⁴⁵ прохожие любезно и насмешливо предлагают им зонтики.

На мостах, на площадях, на улицах – всюду передвижные выставки товаров, торговля под открытым небом, игры и лото, лотки и балаганы, загромождающие улицы, мешающие движению. Это изобилие паразитных видов промышленности, этот захват улицы – одна из характерных черт тогдашнего Парижа; она придает всему городу ярмарочный вид.

На Новом Мосту, на Гревской площади, на Луврской набережной, на бульваре Темпля – непрерывное представление фокусников, фигляров, шутов, акробатов, демонстраторов редкостей и странствующих певцов. Сколько здесь мелких ремесел, странных и безымянных товаров, какая выстав-

⁷⁴⁵ Memorial de Norvins, II, 250.

ка всевозможного лома, brit-a-brac'a, старого железа, старых книг и эстампов! Продавцы под полой плаща торгуют гравюрами с изображением бывшей королевской семьи, запрещенными уборами и эмблемами. Полиция гонит их, поощряет других. Вскоре прохожие толпятся перед картинкой, изображающей “первого консула Бонапарта повреди сектантов различных культов, призывающих их всех к взаимной терпимости”.⁷⁴⁶

Праздношатающиеся, гуляки, всякого рода, те, кто остался не у дел и кто выбит из колеи, собираются в известные часы дня там, где можно поесть. Революция, выбросившая на мостовую десятки тысяч людей, вырванных с корнями из родной почвы, была благодатью для содержателей ресторанов. Не говоря уже о королях вкусного стола, Мео, Бери, Роберте, Сэвре, Розе и их талантливых учениках, число трактирщиков, кабатчиков, торговцев лимонадом, винами и ликерами страшно возросло. Всюду видишь объявление: “Холодные завтраки”. В рестораны забираются с утра, так как жизнь начинается рано. Да многие парижане и весь день проводят в кафе, в нескончаемой болтовне; у каждой партии, у каждого кружка свое излюбленное кафе, из которого она делает нечто вроде клуба и читает там свои излюбленные газеты, хоть и не верит тому, что в них написано.

Даже и “свет”, бомонд, живет, в общем больше на улице, чем дома. Что представляет собою этот “свет”? Маркизов,

⁷⁴⁶ Publiciste, 30 вантоза.

пажей, мушкетеров и пр. заменила иного рода молодежь: поставщики, ажиотеры, прокурорские клерки.⁷⁴⁷ Они катаются верхом или в фаэтонах, которыми сами правят, выставляют напоказ своих любовниц. Парк Монсо служит, главным образом, для утренних прогулок. Днем ездят в Булонский лес укреплять мышцы играми или гимнастикой на античный лад, ибо грекоманы вводят в моду атлетизм, как впоследствии его вводили в моду англomаны. Люди более возвышенных вкусов предпочитают зевать на конференциях, организованных Лицеумом искусств, Республиканским Портиком, или же мечтают об открытии вновь концертов Общества Любителей на улице Клеры. Под вечер наполняются все тридцать пять банков с разрешенными общественными играми и бесчисленные игорные притоны, где часы бегут незаметно среди лихорадочного возбуждения. На тусклом фоне приниженной буржуазии и честных людей, смутно мечтающих о более упорядоченном существовании, волнуется, блистает веселится, острит, изрекает приговоры и судит вкривь и вкось о чем угодно другое общество – выскочек и выброшенных за борт своим кругом; здесь ни признака мысли, ни тени заботы о будущем, о том, чтобы построить что-нибудь прочное. Дни, когда вся Франция спекулировала и безумно увлеклась биржевой игрой на ассигнации, миновали, но сколько еще людей проводят весь день на бирже или за игрою в кости, в погоне за скорой наживой, за минутным удовольстви-

⁷⁴⁷ Charles de Constant, "Lettres", 63.

ем, за удачей в деньгах или в любви.

На людных и торговых улицах с утра появляются женщины, пришедшие за покупками, с легоньким сетчатым мешочком, *réticule*, у пояса. Магазины прихорашиваются на перебой, соблазняют заманчивыми витринами с роскошной резьбой. Процвetaют те лавки, где продаются модные безделки, перья, ленты, кружева и всякие балаболки. Женщины ищут здесь, чем расцветить, изукрасить свой туалет, не заботясь о главном, ибо они продолжают носить под своими мехами вместо платья “лишь краткое извлечение, и то насколько возможно прозрачное”,⁷⁴⁸ и рядятся в заморские ткани, в английские газы и кисеи. Старая французская промышленность, снабжавшая былую аристократию иного рода роскошными тканями, томится и чахнет без дела.

Однако вот уже несколько дней творится что-то странное. В улицах Бурбоннэ и Бутэ, где некогда процветала торговля, где прозябают некогда знаменитые фирмы, в давно заброшенных магазинах шелковых тканей появились покупательницы, да еще в таком множестве, что хвост стоит у дверей. И все это сделал анекдот с Бонапартом, которого мода еще раньше политики признала диктатором. Рассказывают, будто он однажды вечером в Люксембурге, находясь в обществе Жозефины и других дам, блиставших слишком уж афинским изяществом, заставлял лакея усиленно топить камин, набивать его углем, подкладывать еще и еще; ему за-

⁷⁴⁸ Архив Шантильи, письмо от 1-го дополнительного дня VIII года.

метили, что так можно наделать пожару, но он продолжал свое и, обернувшись, говорил: “Разве вы не видите, что эти дамы голые?”. Слух, что Бонапарт призывает моду к приличию, с задней мыслью оживить национальную промышленность, проник и в газеты; некоторые опровергают его, другие подтверждают; “и тотчас же наши дамы-патриотки ну заказывать платье, юбки, спенсеры, шали, душегреи на зиму, и все шелковое”.⁷⁴⁹

Весь этот люд обедает между четырьмя и пятью. Из богачей со сравнительно устойчивыми средствами только банкиры и негоцианты, да и то частью иностранцы, “чьи космополитические гостиные пользуются большим влиянием”,⁷⁵⁰ пытаются вернуться к традициям гостеприимства и пышных приемов, что, однако, не вполне им удается. “Не знаю, подлинно ли красиво обставленная комната, тонкий обед, изысканные туалеты, реверансы и каламбуры составляют хорошее общество”. Мужчины любят обедать в ресторанах; брюмерцы, депутаты и чиновники, участвовавшие в перевороте, чтобы не потерять связи между собой, сходятся всегда у ресторана Роза; там они в мечтах строят здание будущего правительства, раздают милости, привлекают, сплывают сочувствующих, достигают общего замирения. До брюмера разница взглядов в обществе была так велика, что невозможно было усадить несколько человек за один и тот же стол,

⁷⁴⁹ **Journal des hommes Libres 13** фримера.

⁷⁵⁰ **Charles de Constant, “Lettres”, 19.**

без того, чтобы, не зашла речь о политике, и беседа не перешла в “бестолковый и шумный спор”.⁷⁵¹ Мерсье жалуется на это в своей “Новой Картине Парижа”. А теперь начинают отвыкать от споров “из-за мнений, и крик услышишь только в кабаках”.⁷⁵²

Газеты отмечают мирный тон обедов, как одно из последствий лозунга, данного консульством.

Открылось несколько официальных салонов, где принимали в определенные дни. Особенно усердствовала в них г-жа де Сталь; “она вертелась, как волчок, вокруг выдающихся людей”.⁷⁵³ Стремясь упрочить свое влияние, доставив видные места своим друзьям, она немало хлопотала и о несчастных, об эмигрантах, стараясь облегчить их участь, добиться освобождения, исключения из списка, и не давала покоя судьям. Открыла она и собственный салон, где составляли списки новых законодателей и проводили своих кандидатов.

Из представителей прежнего общества иные уже пытаются пробить себе дорогу в этом новом свете; другие держатся поодаль, довольные тем, что их не трогают. На улице Онорэ, в домике скромной наружности доживает жизнь нераскаянная вольтерьянка, принцесса де Бово. Она ни на один день не прекращала своих приемов. Живет она в небольшой квартирке, “меблированной остатками прежнего изя-

⁷⁵¹ **Gazette de France, 19 вантаза.**

⁷⁵² **Ibid.**

⁷⁵³ **Lettres de madame Reinhard, 99.**

щества”. “Покинув грязную лестницу, общую для всех жильцов, вы сразу чувствовали себя перенесенным в особый мир: все в этих маленьких комнатках носило отпечаток изысканности и благородства. Немногие слуги, которых вы видели там, были уже стары и немощны; но вы все время чувствовали, что и их мнение чего-нибудь да стоит: очень уж хорошее общество они видели на своем веку”.⁷⁵⁴ В этот укромный уголок заглядывали и политики, и философы, мнившие, что, бывая здесь, они “становятся похожими на людей старого режима”.⁷⁵⁵

В пять часов открываются театры. Полиция не может добиться, чтоб они закрывались в установленный час – бульварные в девять, городские в половине десятого. Театр для всех сборный пункт, место встреч, манифестаций и беспутных наслаждений. В самый, разгар революции в prospectus'е одного театра было объявлено, ради привлечения публики, что все ложи будут снабжены кроватями. Актеры разыгрывают из себя важных особ, занимают весь Париж своими претензиями и ссорами, приняты во всех кругах общества. После 18-го брюмера артисты комической оперы сочли долгом послать Бонапарту поздравительный адрес. В больших театрах сценическая постановка очень тщательная, балеты и декорации великолепны, артисты выше тех произведений, ко-

⁷⁵⁴ **Vicomtesse de Noailles, “Vie de la princesse de Poix, née Beauvau”.** (в продаже нет).

⁷⁵⁵ **Ibid.**

которые им приходится воплощать на сцене. В области драматической литературы производство обильное, но весьма посредственного достоинства: холодные трагедии, плоские водевили или мрачные драмы. Публика продолжает держать реакцию тенденций. Великие слова, которыми некогда упивалась Франция и которые в устах революционеров производили главным образом ораторский эффект – свобода, отечество, добродетель – теперь не трогают сердец.

В некоторых театрах ложи являются выставками ослепительных туалетов не столько женских нарядов, сколько костюмов – Геб, Флор, гречанок, одалисок; однажды вечером г-жа Талльен явилась в оперу в costume Дианы-охотницы с колчаном за спиной, с тигровой шкурой через плечо, с бриллиантовым полумесяцем в волосах, одетая, главным образом, в драгоценности, блеснуть в последний раз своей торжествующей наготой.⁷⁵⁶ Жозефина тоже не прочь блеснуть, но роскошью лучшего тона: “19-го фримера: вчера Бонапарт был в опере вместе с супругой, последняя была в белом атласном платье, а не в батистовом, без бриллиантов, но с большим количеством античных камней в кольцах и браслетах. Их ложа была полна очаровательных и нарядных женщин”.⁷⁵⁷ В других театрах публика в общем очень мало заботится о costume. Лишь по прошествии двух месяцев полицейский надзор отмечает улучшение в этом смысле; в нивозе

⁷⁵⁶ Norvins, II, 250–251.

⁷⁵⁷ Le Diplomate, 19 фримера.

читаем полицейскую заметку в обычном претенциозном стиле: “замечено, что с некоторого времени наряды стали среди зрителей более обычным явлением. Масса, видимо, возвращается к навыкам и формам, составившим французам в Европе репутацию самого учтивого и любезнейшего из народов”.⁷⁵⁸

После восьми часов вечера ходить пешком рискованно. Зажженных фонарей тысячи, но очень многие скоро начинают мигать и гаснут; какие-то подозрительные фигуры крадутся во мраке, собираются на подозрительные сходки. Несчетное количество воров оперируют в одиночку или шайками, нападают на прохожих, проникают в дома, которые имели неосторожность оставить открытыми.

Теперь зима, и мы уже не увидим ночных сборищ в увеселительных местах под открытым небом; сады, приюты танцев и любви, погасили свои огни. Наслаждение запирается в теплой комнате, тщательно законопачивая все щели, но зато напоминает о себе огненными сигналами. Наружный фасад оперы освещен “столь же новым, как и блестящим способом”.⁷⁵⁹ Из театров идут к Гарши, в улицу Ришелье, где и светло, и шумно; нарядные дамы заходят туда есть мороженое. В шесть часов начинает играть музыка на платных балах. Никто теперь не устраивает танцевальных вечеров у себя; предпочитают чай, сборища не столь парадные, хотя вся-

⁷⁵⁸ Schmidt, “Tableaux de la Révolution française”, III, 486.

⁷⁵⁹ Ami des Lois, 3 фримера.

кой еды потребляется на них в изрядном количестве, зато целыми кружками ходят танцевать на “абонементные балы”. Лучшие из них даются антрепризой, снявшей бывший отель Юзес, на улице Монмартр, и в салонах Аполлона близ обители капуцинов; танцуют в двухстах, трехстах местах, кружась в томной или бешеной пляске. Но и помимо того, на многих улицах, глухих переулках и тупиках сон мирных граждан тревожат сильные голоса, циничные призывы; обыватели жалуются, что уличные девки все скандалят и своими драками не дают покоя по ночам.

Проституция – одна из зияющих язв столицы. Она наводнила весь город, бьет через край. В Пале-Рояле целая армия “девок”, проституция в белокуром парике и фалбалах торгует собой в фойе театра Монтансье, которого Бонапарт не смеет закрыть из страха восстановить против себя “всех старых холостяков в Париже”; галереи даже днем недоступны для честных женщин, так как “девки”, проживающие на антресолях дворца, высовываются в окна и “зазывают прохожих”. На Итальянском бульваре опять “девки”; под сводами Комической оперы бродячие нимфы в невозможном декольте, несмотря на холод; на бульваре Темпля девочки от восьми до шестнадцати лет, предлагающие себя любителям; на площади Карусели, в скученных, подслеповатых домах, лезущих на середину площади, почти все квартиры заняты продажными женщинами; в Тюльери, в Люксембурге, на всяких зрелищах в первых рядах – девки. По вечерам на Большом Ав-

густинском рынке и на соседней набережной женщины за-
влекают прохожих и удовлетворяют их “тут же, на чистом
воздухе, между лавок торговцев живностью”. Есть и такие,
что торгуют собой в монастырях старинного Аббатства.⁷⁶⁰

И сколько еще других, нечистых, темных и опасных эле-
ментов кишмя кишат в Париже: итальянские беглецы, рево-
люционеры из-за гор, выгнанные из дому победами Суворо-
ва и падением цизальпинских республик, ищущие в Пари-
же убежища и хлеба, всегда готовые пустить в ход ножи и
оказать помощь смутьянам; колония опасных иностранцев,
один из элементов беспорядка, наиболее тревожащих кон-
сулов – выходцы из Ирландии, вандейцы, покинувшие свою
опустошенную родину; разбойники с большой дороги, юж-
ные поджариватели (chauffeurs), оставившие свое ремесло
ради огромного города, где все теряется и тонет в общей мас-
се: целое войско ослушников, дезертиров, порой, где-нибудь
под лестницей поднимается люк и показывается суровая фи-
гура шуана, который выходит из своего тайника, словно в
родной Бретани, чтобы выслушать лозунг или отыскать се-
бе другое убежище. На окраинах бульваров, в предместьях,
шатаются толпами рабочие без работы. Промышленность в
таком застое, что в нивозе полиция отмечает как утешитель-
ный факт возвращение рабочих на одну из мануфактур.

Предместья теперь уже не бунтуют из-за куска хлеба, не

⁷⁶⁰ Полицейское донесение от 28 брюмера. Национальный архив АФ.
IV, 1329.

выходят с криком и шумом на улицу, но зато многие берутся за постыдные ремесла или же примыкают к шайкам контрабандистов. Контрабанда ведется в широких размерах; это одно из главных занятий парижского населения; у контрабандистов своя организация, свое войско и вожди; они совершенствуют свои приемы, ведут подступы и подготовительные работы. По подземным ходам, по таинственным коридорам, прорытым под наружными городскими стенами и ведущим в дома соучастников, несут из-за заставы бочонки с винами и спиртными напитками. Почтенные на вид буржуа поощряют эту отрасль промышленности и поддерживают ее деньгами. Контрабандисты не останавливаются и перед вооруженными нападениями, грабежами со взломом, ночными набегами; у застав происходят настоящие битвы между стражей и контрабандистами, причем победа нередко остается за последними.

В течение нескольких месяцев эти беспорядки все растут и растут. Полки контрабандистов на день расходятся по пригородным селениям, по пустырям, готовят нападения, грозят смертью обывателям, которые осмелились бы донести на них или помешать их ночным похождениям. А ночью принимаются за работу. С восточной стороны Париж буквально осаждают эти орды варваров и кочевников. “Контрабандистов насчитывают больше десяти тысяч, все народ храбрый, мужественный, отлично вооруженный; ими предводительствуют смелые предприимчивые вожди: говорят, они за-

клятые враги правительства. Между портом Ла-Рапэ и Ла-Вильетт живет около 2500 контрабандистов; жилища их расположены за стенами, но невдалеке от них; при домах довольно обширные склады товаров. Многие из главарей хвастают тем, что, если бы началось движение, они могли бы направить по желанию всех своих подчиненных...⁷⁶¹ Настоятельно необходимо принять меры против них, иначе ввозные пошлины скоро сведутся на нет; да и контрабандистов развелось такое множество, что они могут вызвать большие волнения, помогая факциям".⁷⁶² Это разбойничье войско, в случае надобности, легко могло преобразоваться в армию бунтовщиков.

II

С какого конца взяться за эту грудку нечистот, чтобы спустить ее в сток или растворить и очистить Париж? Консульская полиция медлила что-либо предпринять, да у нее и не было на то средств. Армия выказала себя мало пригодной к внутреннему надзору и чистке; в национальной гвардии из пяти человек, по крайней мере, двое ставили вместо себя на службу нанятых ими за деньги и малонадежных людей; несколько жандармских бригад, размещенных в казар-

⁷⁶¹ Донесение полиции от 15 термидора, VIII. Национальный Архив, АФ., 1329.

⁷⁶² Донесение от 13-го термидора.

мах в Темпле, представляли собой силу слишком недостаточную. Все жаловались, зачем правительство не сформирует чисто полицейского войска, городской стражи, которая бы бдительно следила за Парижем и шарила по всем его приотонам и закоулкам. “Нам нужны, говорила одна газета, люди, которые бы знали Париж до мельчайших и постыднейших подробностей.”⁷⁶³ Ввиду уже одного только обуздания контрабандистов, власти признают “необходимым содержать все время в действующем составе вооруженную силу, учрежденную единственно с этой целью”.⁷⁶⁴ Но где взять денег на организацию этой силы, когда полиции и без того нечем платить своим надзирателям, комиссарам, околоточным и сыщикам? Еще и по прошествии девяти месяцев правления консульства весь служебный персонал полиции чуть не ежедневно докучает своими жалобами, требуя жалованья за полгода, а в государственной кассе нет ни гроша на уплату этого не выданного в срок жалованья. При таких условиях трудно было действовать методически и настойчиво.

Фуше вначале ограничился тем, что объявил войну публичным женщинам. 12-го фримера несколько отрядов пехоты и кавалерии окружили Пале-Рояль, загородили все выходы, захватили несколько сотен несчастных. Затем обшарили соседние кварталы, что вызвало немало стычек между сол-

⁷⁶³ *Ami des Lois*, 20 фримера.

⁷⁶⁴ Донесение полиции от 15 термидора VII года. Национальный Архив, А.Ф., IV, 1329.

датами и рыночными силачами.

Что сделают со всеми этими пленницами?⁷⁶⁵ Закон позволяет преследовать их судебным порядком лишь в том случае, если они будут уличены в открытом нарушении нравственности. Публика, строя предположения, додумалась до высылки в места отдаленные. Известно было, что Бонапарт очень интересовался египетской армией, своими верными друзьями и товарищами, брошенными в трудную минуту; словно для того, чтобы заслужить их прощение, он в ожидании, пока явится возможность послать им сильную подмогу, старался доставлять им разные удовольствия и развлечения. Серьезного и важного Лапласа он просил набрать труппу актеров для Египта, добавив: “Не худо бы прихватить парочку-другую танцовщиц”.⁷⁶⁶ И вот публика вообразила, будто правительство, исходя из той же точки зрения, произвело в Пале-Рояле облаву на девок с целью отправить их в Египет для употребления войск; и что всех этих Манон повезут за море. Это показалось слишком уж бесцеремонным, чрезмерным произволом, посягательством на свободу личности, отдававшим деспотизмом.

Бонапарт решил сразу прекратить эти слухи и объяснить по поводу их в интимном разговоре, но с таким расчетом, чтобы слова его получили широкую огласку. Действие происходит в Люксембурге, утром, за завтраком; посторонних

⁷⁶⁵ *Ami des Lois*, 13 и 20 фримера.

⁷⁶⁶ *Переписка Наполеона*, т. VI.

никого, кроме Редерера и Вольнэя.

Бонапарт – Что за черт! Кто это выдумал, будто я хочу отправить арестованных в Пале-Рояле девиц в Египет?

Г-жа Бонапарт – Министр полиции мне сам сказал на днях, что их отправят в Египет.

Бонапарт – Это ужас что такое! Черт возьми! Так не ссылают.

Редерер – Вчера и мне говорил Беньо, что у министра полиции это уже решенный вопрос.

Бонапарт – С чего он это взял? Гражданин Редерер, прошу вас написать хорошую статью, чтобы рассеять эти слухи, не каких-нибудь две-три строчки, а целую статью, чтоб она обратила на себя внимание. Можно желать обуздать распущенность Пале-Рояля, но так не ссылают людей.

Вольнэй отпускает циничную шутку.

Бонапарт (смеясь) – Ого, гражданин Вольнэй, это немножко чересчур! Вы шутите, как старый холостяк. Нашим войскам в Египте не нужны парижские девицы; у них есть там свои, да еще какие красавицы! У них там есть черкешенки. (Мамелюк, стоящий за спиной г-жи Бонапарт, улыбается).

Бонапарт (глядя на него) – Ага! Вот он меня понимает, – не правда ли, ты понимаешь меня? (Смеясь). У нас в Египте женщин достаточно? (Оборачивается к своему мамелюку, который прислуживает ему). Не правда ли, Рустан, в Египте есть красавицы султанши? (Встает из-за стола, повторяет

свой вопрос Рустану и прибавляет) – Ты ведь теперь уж научился понимать по-французски, а? (Берет его за голову обеими руками и два-три раза раскачивает ее справа налево).

Переходят в гостиную. Генерал шагает из угла в угол и вдруг, круто повернувшись к Вольнэю и Редереру, спрашивает:

– А что, была когда-нибудь факция Орлеанского?⁷⁶⁷

И дальше разговор идет уж на другую тему. А вечером Редерер пишет статью и помещает ее в *Journal de Paris*. Таким образом, стало известно, что Бонапарт не находит возможным сослать без суда даже и самых презренных тварей. Фуше принял это к сведению и удовольствовался тем, что некоторое время продержал в надежном месте арестованных девиц, прозванных в насмешку женщинами света, изъяв их из обращения. Дерзость разврата была до известной степени обуздана. В благородном порыве добродетели Фуше объявил даже, что он порвет с традицией своих предшественников и не станет больше пользоваться публичными женщинами как тайными агентами полиции для собирания справок, предпочитая отказаться от этого способа осведомления. Но он все еще не принимал никаких мер против уличной грязи, вони, против беспорядочной езды, против загромождения улиц ломовыми телегами и всевозможными выставками, грязнившими тротуары и собиравшими толпы зевак, против темных профессий, которыми кормилось столько на-

⁷⁶⁷ *Oeuvres de Roederer*, III, 304–305.

роду; полиция как будто даже отказалась от придирчивого и слишком любознательного надзора за мнениями.⁷⁶⁸ Консулы продолжали щадить Париж и в то же время усиленно заботиться о нем, следя за правильной доставкой провианта и снабжением города съестными припасами,⁷⁶⁹ но избегая всякой излишней регламентации. Газеты потешались насчет центрального бюро, которое, имея перед собой такую кучу злоупотреблений, ограничивается правкой орфографических ошибок на лавочных вывесках и с педантической придирчивостью ополчается на барбаризмы.

Не трогал Фуше и прессы, и ежедневных газет выходило множество, около восьмидесяти различных названий. Прекратились напрасные и грубые аресты с наложением печатей, принуждавшие только во времена директории арестованную газету менять имя и адрес редакции, но не препятствовавшие прессе вести яростную борьбу против правительства, донимавшего своими преследованиями и вместе с тем слабого. После брюмера почти все цензурные строгости прекратились. За полтора месяца существования временного консульства только однажды было возбуждено преследование против одной газеты, *Aristarque*, с ярко-роялистской

⁷⁶⁸ Прусский посланник писал: “Не чувствуется никакого надзора и никакого инквизиторского сыска. “*Preussen und Frankreich*”, II, 347. Бюллетени агентов Кондэ устанавливают, что полиция, “которую можно было бы назвать политической, в данный момент почти не существует”, 4-го нивоа. Архив Шантильи.

⁷⁶⁹ См. Aulard, “*Registre de leurs deliberations*”, заседание 4 фримера.

окраской. Были даже арестованы редактор и типографщик, но центральное бюро, получив отмену приказания свыше, скоро их выпустило и ограничилось выговором.⁷⁷⁰

Тем не менее, в этой области Фуше учинил мастерскую штуку. Орган крайних якобинцев, бывшая Газета свободных людей (*Journal des hommes libres*), в последнее время переменявшая несколько названий, вынужденная последовательно именовать себя то “Врагом угнетателей всех времен”, то “Газетой людей”, то “Газетой республиканцев”, продолжала влачить шаткое существование, однако ж пользуясь при этом симпатиями передовых групп. Вместо того, чтобы бороться против этой силы, Фуше утилизировал ее. Купив газету на полицейские деньги, он посадил в нее главным редактором одного из самых двусмысленных памфлетистов якобинской печати Мегэ де ла Туша, человека, за деньги готового на все; ему дан был приказ хвалить Бонапарта и в особенности его министра в тоне Отца Дюшена. 10 фримера газета вновь вышла под прежним своим названием – свободных людей, и это возрождение имени само по себе казалось ярим демократам порукой за будущее. Газета вновь с пеной у рта громила реакцию и ее сподвижников, но в то же время с тайным цинизмом намечала другой курс, ворчливо похваливая Бонапарта.

Фуше вернул, таким образом, право голоса якобинцам, если не якобинской оппозиции, но лишь с тем, чтобы они поддерживали его собственную политику. Фуше полагал,

⁷⁷⁰ Отчет за фример. Национальный Архив, AF, IV, 1329.

что, раз он министр, революция выполнила свое назначение и пора ей остановиться; теперь он хотел бы видеть ее стоящей на твердой почве, стойко оберегающей свое достояние, но умудренной опытом и миролюбивой; он не отступал и перед известным риском, в смысле либерализма и прощения, но под условием, чтобы места и власть оставались исключительным уделом революционеров, включая сюда и жестоко скомпрометированных, чья карьера была тождественна с его собственной. А между тем, он чувствовал, что брожение умов, хотя и подавленное в первых своих вспышках, продолжает забираться вправо. Около Бонапарта формировалась целая партия правой из Редерера, Талейрана и других, гнувшая в сторону принципата с монархическими формами и учреждениями; и Фуше опасался, что реакция, если ей дать волю, не остановится на вещах и обратится против личностей. И перед лицом усиливающихся элементов и влияний правой он смело объявил себя министром революционной защиты. Одним из средств, которыми он пользовался, было воскрешение резко высказывавшейся “Газеты свободных людей”. Этот якобинский дог, которого Фуше держит на привязи, но не слишком короткой, будет отличным сторожем революционных форм и учреждений. Своим ворчанием, а в случае чего и зубами, он будет защищать Бонапарта от компрометирующих его друзей; в то же время его грубоватый лай будет внушать доверие крайним республиканцам. Эти последние, слыша каждый день quasi-официальные нападки на ре-

лигию и священников, на набожных буржуа, дворян, франтиков и все разновидности реакционеров, будут уверены, что республика, в которой они живут, именно такова, какой они хотели ее видеть.

Несмотря на все эти предосторожности, принимаемые с целью руководить и направлять в определенное русло различные течения общественной мысли, Париж в общем уже успел несколько поостыть.⁷⁷¹ Не то, чтобы Бонапарт утратил для него прежнее обаяние, — нет, но он спрашивал себя, куда Бонапарт ведет Францию, и не умел разобраться в будущем.

Впрочем, Париж и не способен был в то время оказать какому бы то ни было правительству устойчивую и серьезную поддержку. По всем другим вопросам, кроме мира и войны, в массе еще не сложилось никаких определенных мнений. Небрежность и любопытство больше чем доверие, мимолетные надежды, тотчас сменявшиеся разочарованиями; в блестящих, легкомысленных кругах общества повиновение, смешанное с фрондерством, насмешливый скептицизм, жажда наслаждений, толкавшая жить без оглядки настоящим днем, не задумываясь о будущем; в других классах какая-то болезненная спячка, ропот без возмущения, унылая зыбь жалоб и желаний, что-то бессвязное и вялое, не столько противящееся захвату, сколько ускользающее из рук власти: вот что представлял собою Париж перед брюмером, вот чем он снова стал очень скоро после переворо-

⁷⁷¹ *Lettres de madame Reinhard*, 27 брюмера, 99.

та, ибо никому не дано было власти сразу устранить причины, поддерживавшие такое состояние умов, т. е. память прошлых ошибок, обманутых надежд, жестоких разочарований и тяжкое бремя невзгод настоящего. Только в качестве первого консула, с присвоенной ему более широкой личной властью, Бонапарт, мог совершить это чудо – вызвать, в особенности в народе, вместо непрочного энтузиазма первых часов, вместо “апатичного спокойствия”⁷⁷² последующих дней активное содействие, постепенно возрастающее сочувствие, постоянную трепетную отзывчивость, страстную готовность повиноваться. Он делал это дело медленно, осторожно, с необычайным искусством, чередуя осторожность со смелостью, пока оглушительный гром победы, возвестившей мир, не увенчал собой его успеха и не довершил завоевания Парижа.

⁷⁷² Донесение полиции от 12 плювиоза VIII года, Национальный Архив, AF. IV, 1329.

ДЕПАРТАМЕНТЫ

Меры, принятые повсеместно во Франции. – Революционные законы остаются в силе, но несколько смягчены в применении. – Меры, примененные к некоторым категориям священников, – Дороги. – Недостаток в деньгах. – Ухищрения капиталистов. – Прямые налоги. – Административное междуцарствие. – Дела по-прежнему в расстройстве. – Юг и Юго-Запад, – Итальянская армия. – Военные бунты. – Другие армии. – Какое впечатление произвели брюмерские события на французов за пределами Франции. – Эмигранты и ссыльные. – Неожиданное возвращение Лафайета. – Огромное большинство республиканцев присоединяется к временному правительству. – Якобинцы. – Роялисты ошиблись в расчете. – Умеренные левой и умеренные правой; последние держатся в стороне; характерное письмо. – Надежды возлагаемые на Бонапарта. – Успех роялистов на Западе. – Сюрпризы в Мансе и Нанте. – Вандея и Нормандия. – Генерал Эдувилл и г-жа Тюрпэн де Криссе. – Действие 18-е брюмера и последующих указов на западе. – Перемирие. – Бонапарт не окончательно разочаровывает роялистов. – Желание Бонапарта имобилизовать и усыпить все партии.

I

В провинции правительственная и административная деятельность временных консулов также свелась к весьма немногому. Читая протоколы их совещаний и постановлений, находим одни только индивидуальные или подготовительные меры. Самое большее, если они решаются уводить нескольких чиновников, не скрывавших своего враждебного отношения к перевороту или слишком уж восстановивших против себя общественное мнение. Неоднократно встречаются такие мотивировки увольнения: “пользуется дурной славой, враг всякого общественного порядка”, – “сторонник анархии”, – “привлечен к ответственности за подкуп и вымогательство”, – “судился за подлог”, – или “за недобросовестное выполнение обязанностей службы”.⁷⁷³

Уволить таких людей значило убрать нескольких местных тиранов, что, конечно, способствовало оздоровлению страны. Но ни один из ненавистнических законов фрюктидора не был открыто отменен: ограничивались тем, что смягчали их немного в практическом применении. Дух терпимости консулов сообщился военным властям. Военные суды чаще оправдывали эмигрантов. Одно из консульских постановлений освобождало от ссылки священников трех категорий: 1)

⁷⁷³ Aulard “*Registre des deliberations du Consulat provisoire*”, 22–25, 54, 61, 74.

принесших все присяги, каких последовательно требовала революция; 2) женатых; 3) тех, которые никогда не отправляли церковных треб или перестали их отправлять и потому не подлежали присяге. Эта мера была выгодна для конституционалистов; из католиков же она была применима лишь к тем, кто отрекся от обязанностей своего сана. Это вовсе не значило эмансипировать культ, ввести в нормальное русло религиозную жизнь, удовлетворить крупным нравственным запросам, которые по-прежнему оставались в загоне.

В материальном отношении Франция пришла в полный упадок. Главным препятствием к возрождению экономической жизни, движению, обращению денег и товаров являлось убийственное состояние дорог. Уже недалеко была пора, когда в ненастный сезон в некоторых местностях всякое сообщение должно будет прекращаться, когда отдельные коммуны окажутся отрезанными и от своих соседей, и от остального мира. Министру внутренних дел особым законом открыт был кредит в четыре миллиона на улучшение дорог. Госпитали, приюты, убежища, все благотворительные учреждения горько плакались на безденежье: правительство попыталось удовлетворить самые насущные их потребности.

На то, чтобы сделать больше и лучше, недоставало денег. Добавочные сантимы к контрибуциям VII года, заменившие собою прогрессивный налог, прибывали лишь очень медленно и постепенно. Текущий год не дал еще ни одного су, так как местные администрации не успели составить

списков плательщиков. Недоимка за прошлые годы собиралась с большим трудом, да и львиную долю ее перехватывали по пути жалованные особыми на то делегациями поставщики. Чтобы обеспечить на будущее время более справедливое распределение и правильное поступление налога, брюмерское правительство придумало чудеснейшую меру: учреждение администрации непосредственных сборов, т. е. особого штата агентов, назначенных государством и от него только зависящих, которые будут действовать с большим беспристрастием и методичностью, чем анархические муниципалитеты. Но и этот институт, с тех пор сохранившийся в полной неприкосновенности, не сразу мог снабдить деньгами государственное казначейство; выплат приходилось ждать довольно долго. То же было и с другими финансовыми мерами, принятыми временным консульством – обязательством для податных сборщиков представить в известный срок известное количество облигаций авансом в счет поступления налога, с залогами, вносимыми теми же податными сборщиками в кассу обеспечения и погашения.

А пока Бонапарту приходилось выжимать деньги буквально изо всего. Генерал Мармон рассказывает в своих мемуарах, что его послали в Голландию устраивать заем, разрешив предлагать в обеспечение и даже закладывать (Regent) векселя на лесные порубки; и все-таки заем не удался.⁷⁷⁴ Бонапарт выхлопотал себе право продавать доходные дома

⁷⁷⁴ “Mémoires du duc de Raguse” II, 107–180. Stourm, 53 – 105.

и земли в Париже, принадлежащие государству; он подумывал даже о новом выпуске бумажных денег, гарантированных национальными имуществами; это значило бы повторить злосчастный опыт с ассигнациями. Комиссия старейшин весьма благоразумно остановила на полпути этот неудачный проект. Меры, направленные к ускорению взноса сумм, еще не оплаченных за национальные имущества, к покрытию огромных дебетов, отнесенных на счет бухгалтеров, к сожалению, немного увеличили тощие ресурсы, на которые приходилось жить временному консульству.

Не меньше, чем в деньгах, чувствовался недостаток в людях, в служебном персонале, преданном делу, бдительном и честном. Консулам почти всюду приходилось довольствоваться еще директорами поставленной администрации, а эта последняя изнемогала под бременем общественного осуждения. Притом же, менее, чем когда-либо уверенная в завтрашнем дне, она и сама теперь не хотела браться ни за какое дело. Департаментские и окружные власти, правительственные комиссары не знали, какая участь ждет их, оставят их или уволят, и удастся ли им найти себе другое место при новом режиме, который складывается вдали от них. Перейдя на положение “временно исполняющих”, сбитые с толку, недоумевающие, они переставали интересоваться делом и сидели сложа руки.⁷⁷⁵ Пружины государственного механизма вместо того, чтоб натянуться и выпрямиться, окон-

⁷⁷⁵ Lanzas de Labori, “La Domination française en Belgique”, 1, 1.

чательно ослабли.

Правда, что эта слабость местной власти давала иногда и благотворные результаты. Если агенты республики не делали ничего хорошего и полезного, зато они не делали и зла. Они не управляли, зато меньше прежнего тиранили. Целые области, в особенности в Бельгии, вздохнули свободнее, и население, почти предоставленное самому себе, начинало успокаиваться. “Администрация почти ни во что не входит, – пишет вскоре после того агент министерства внутренних дел, но я принужден сказать, что от этого живется только спокойнее”.⁷⁷⁶ Зато, благодаря этому, своего рода административному междуцарствию, во всех общественных делах царили хаос и анархия.

Двадцать четыре консульских легата не без труда добрались до мест своего назначения, стоянок военных дивизий. Можно ли было рассчитывать, что они исправят машину, заставят ее функционировать в духе порядка и мирного развития? Каждый из них, по прибытии на место, начал с объезда своего района, с целью осмотреться. Но ни один из них, насколько можно судить по немногим документам, свидетельствующим об их деятельности, не сумел внести в нее единства и метода. Объезжая департаменты и обходя города, они попадали в самую гущу местных страстей и не умели разобраться в них; осаждаемые жалобами и противоречивыми требованиями, они не знали, кого слушать, что предпринять.

⁷⁷⁶ Ibid.

Многие из них прислушивались к голосу обывателей, возмущавшихся, что ими правят люди с позорным прошлым, и пользовались предоставленной им властью увольнять и смещать, результатом чего были гекатомбы. Местные “братья и друзья” писали жалобы на них в Париж, уверяя, что республика гибнет, так как удаляют ее лучших друзей.⁷⁷⁷ В Бордо делегат произвел генеральную чистку, все чиновники были заменены новыми; в Еврэ делегат, как уверяли, поддался влиянию контрреволюционеров и забрал слишком вправо; по этому поводу в газетах даже было напечатано опровержение. Но помимо того, делегаты ни во что не вмешивались, они только выпускали прокламации, собирали граждан и толковали консульские речи, говоря золотые слова о внутреннем и внешнем мире. Они добросовестно служили делу национального примирения, но не производили впечатления власти.

В смысле имущественной и личной безопасности не замечалось никакого прогресса. В большей части департаментов, оставляя запад в стороне, картина была одна и та же: в городах сравнительно спокойно; в деревнях местные волнения, вспышки мести, убийства, возмущения крестьян против сборщиков податей и вербовщиков; дезертирство, от которого тают вспомогательные батальоны; по лесам и вокруг жилья бродят мошенники и случайные грабители, опустошая страну. На больших проезжих дорогах, этих жизненных

⁷⁷⁷ См. донесения, хранящиеся в Национальной Библиотеке.

артериях страны, все та же язва – разбойники, поминутно прерывающие или, по крайней мере, нарушающие правильное сообщение. В конце брюмера и в фримере были один за другим ограблены дилижансы, ходившие между Клермоном и Парижем, Бордо, Орлеаном и Парижем, Лионом и Безансоном.

Особенно беспокойны были в этом отношении юго-западная и южная часть Ронской области. В Лионе отставили от командования войсками генерала Доверня, державшего в страхе население и благодаря этому поддерживавшего хоть внешний порядок. Теперь здесь оставался организованным один только разбой вне и внутри городов. Участились кражи. “Воры делятся на три шайки; одна останавливает на больших дорогах курьеров и дилижансы; вторая снимает сундуки и чемоданы, привязываемые сзади к каретам на дороге и даже на постоянных дворах; третья грабит магазины, лавки и частные квартиры при помощи взлома и подобранных ключей.⁷⁷⁸ Четвертой разновидностью бандитов являлись местные власти. Так как во главе департамента оставлены были люди, присутствие которых казалось вызовом, брошенным общественной нравственностью, буржуазное население уклонялось от всякого содействия властям и не доверяло им.⁷⁷⁹ По соглашению с местной администрацией, консульский де-

⁷⁷⁸ Донесение полиции от 24 плювиоза, – Нац. Архив А.Ф.

⁷⁷⁹ См. донесение нового командующего войсками Монсея в книге герцога Конельяно. – Duc de Conegliano “Le Maréchal Moncey”, 102, 109.

легат Везэн хотел занять у местных коммерсантов триста тысяч рублей на общественные нужды; он не получил этих денег.⁷⁸⁰ Пониже Лиона и по обоим склонам цепи Севеннов язвой страны остается разбойничество более или менее политического характера; теперь банды заглядывают и в департамент Пюи-де-Дом, который они до сих пор щадили.⁷⁸¹ Виварэ весь целиком сплошной разбойнический притон.

В департаменте Устьев-Роны и соседних с ним власти в своих донесениях еще в начале брюмера указывают на повсеместность разбоя. Этих чудовищ (разбойников) такое множество, что они везде появляются в одно и то же время. Они грабят и республиканцев, и роялистов, но убивают только первых. У них имеются свои списки обреченных, с которыми они, обобрав путника, справляются, и, если он фигурирует в списке, его закалывают или расстреливают. Облава на разбойников не дала никаких результатов, так как последние были за два дня предупреждены “Друзьями короля”.⁷⁸² В то же время правительственный комиссар не смеет двинуться из Э (Aix), тогда главного города департамента, боясь по дороге попасться в руки разбойников. И два месяца спустя, в конце фримера, ничто не указывает на то, чтобы положение улучшилось, несмотря на присутствие делегата, Фабра

⁷⁸⁰ **Ibid., 109.**

⁷⁸¹ **Bonnefoy. “Histoire de l'administration civile dans Le département du Puyde-Dome”, II.**

⁷⁸² **Архив департамента Устьев-Роны, серия L, запись 558.**

де л'Об. Комиссар, пишет, что “спокойствие воцарилось бы в стране, если б мы только могли избавиться от королевских бригад, что ни день творящих все новые и новые ужасы... 22 брюмера семнадцать разбойников, очень прилично одетых, в масках, остановили в Женестском проходе человек сорок путешественников”.⁷⁸³ Марсель был обложен, словно вражеской ратью, довольно хорошо организованными бандами, которые грабили по четыре дилижанса в день, прерывали сообщение, терроризировали деревни, а порой заглядывали и в город.

На Юге существовала еще особая причина беспорядка – близость итальянской армии, постоянно выбрасывавшей в этот край тучи дезертиров, готовых присоединиться к любой шайке мятежников или грабителей. Эта злополучная армия, разбитая, оттесненная, стоявшая под Шампионнэ, наполовину в Апеннинах, наполовину на восточной окраине французских Альп, обязанная прикрывать собою Геную с Лигурией, Ниццу, Варье и департамент Морских Альп, положительно распадалась. Материальное положение войск было ужасно: стоянки в опустошенных местностях и разоренных городах; впереди австрийцы, постоянно тревожившие наши аванпосты; позади, вокруг, повсюду засады партизан, холод, снег и ни крошки хлеба, чтобы подкрепить силы; в довершение напастей на побережье свирепствовала болезнь, напоминавшая чуму. В этой армии, считавшей себя покинутой, избо-

⁷⁸³ **Ibid.**

левшейся душой и телом, вовсе не было единодушия по отношению к перевороту; она едва мирилась с ним, не проявляя никакого энтузиазма.

Некоторые части войск одобряли переворот, ибо всякая перемена несла с собой надежду на лучшее, но они предпочли бы, чтобы Бонапарт вместо новых потрясений государственных основ, приехал к ним и воскресил свою старую итальянскую армию. Сомнение, сожаление, даже что-то вроде обиды проглядывают в следующем письме дивизионного командира Ватроэна: “2 фримера. Вчера до нас дошла весть о парижских событиях; солдаты обрадовались ей; они надеялись, что Бонапарт улучшит их положение. Я слышал от них суждения, поражавшие своей глубиной. Без сомнения, те, кто устроили эту перемену, считали ее необходимой. Без сомнения также, они видели в ней лекарство от всех зол отечества. Если так, я восхищаюсь самоотвержением, с которым они осуществили свой замысел и взяли на себя обузу правления, – но Бонапарт был бы так полезен армии!”⁷⁸⁴

Другие части почти открыто возмущались. Настроение 3-й полубригады, стоявшей близ Генуи, было таково, что полковник Мутон, несмотря на формальный приказ Шампионнэ, не решился потребовать от нее присяги, как того требовали консулы. “Все командиры убеждены, что солдаты отказались бы присягнуть”.⁷⁸⁵ Три полубригады Генуэзского гарни-

⁷⁸⁴ Архив принца Эселинга, письмо от 2 фримера, VII, 1.

⁷⁸⁵ Bourgoing, “Historique de 3-e régiment d’infanterie”, 222.

зона, 3-я, 17-я и 55-я, громогласно заявляли о своем намерении вернуться во Францию, захватив с собою знамена; когда же офицеры напоминали им об их славном прошлом и о том, какие обязательства оно на них налагает, солдаты возражали: “Тогда мы были патриотами; теперь мы французские солдаты и не желаем ни ходить без платья и обуви, ни умирать вдали от отечества”. – “Хорошо, – сказал им тогда генерал Сен-Сир, – уходите и уносите знамена; я и ваши офицеры, мы остаемся”.⁷⁸⁶ Этот спокойный голос прозвучал, как голос чести; нет такого французского солдата, который мог бы устоять против него, и три полубригады мало-помалу при- смирели. Но дивизии Виктора и Лемуана дезертировали в полном составе и хлынули бурным потоком к границе, поощряемые злой волей вождей, отсутствием дисциплины и враждебностью их отзывов о новом правительстве.

Несколько позже, Массена, приняв начальство над войсками, писал Бонапарту из Ниццы; “Армия вовсе не сочувствует перевороту 18-го и 19-го брюмера. Дивизии Виктора и Лемуана энергически высказываются против него и во всеуслышание ведут оскорбительные для правительства речи, оба начальника публично подают тому пример. Например, они заявляют, что солдаты вправе покинуть свой пост, раз им не выдают хлеба. Отныне я ввел строгий надзор и буду сажать под арест смутьянов. Сказанное мною находится в довольно близкой связи с недавними возмущениями в ар-

⁷⁸⁶ Ibid.

И сочувствие других армий не было вполне обеспечено. Победоносная швейцарская (гельветическая) армия уже не представляла собой отдельной единичной силы, главные элементы ее слились с остатками наших армий, дунайской и рейнской. Теперь от Констанца до Страсбурга, ввиду австрийцев, занявших Баварию и Швабию, наши войска тянулись вдоль Рейна непрерывной цепью, которая должна была двинуться по мановению одной руки, и этот важный пост, столь соблазнительный для французского офицера, был вверен Моро; 25 фримера он получил предписание принять начальство над рейнскими войсками. Эта новая великая рейнская армия, по существу состоявшая из тех же элементов, как и старая, насчитывала в своих рядах благороднейшие силы Франции; она была проникнута энергическим революционным духом и гораздо меньше предана Бонапарту, чем свободе. Многие офицеры и солдаты в ней не отделяли воинского долга от долга гражданина.

Именно в силу своих добродетелей и страстей эта армия была не слишком податлива; притом же и она натерпелась столько нужд и лишений, что громко жаловалась, несмотря на свой стоицизм. Сам Моро, недовольный подчиненной и почти унижительной ролью, которую он позволил навязать себе в брюмере, обнаруживал некоторое высокомерие и неохотно шел на любезности Бонапарта.

Батавская армия, расквартированная на союзной территории, не так бедствовавшая, как другие, и гордая своими успехами, выказывала недоверие. Офицеры и солдаты допускали, что Бонапарт конституционным порядком облечен исполнительной властью, но им было вовсе не желательно, чтобы Франция и армия имели господина. У них было одно и ярко выраженное желание: не нужно диктатуры; они пугались самого слова, не отдавая себе хорошенько отчета в его значении. Генерал Мармон, находившийся в Голландии в момент учреждения новой конституции, подметил характерную черту. Старый дивизионный генерал Макор, командовавший артиллерией, не без опаски беседовал с ним “о происшедших переменах и революции 18-го брюмера” и в заключение сказал: “Представьте себе, генерал, кто-то пустил слух, будто генерал Бонапарт назначен диктатором. Все пришли в отчаяние от этой вести; еще немного, и вспыхнули бы бунт. Но, наконец, на помощь нам пришел телеграф; он известил нас, что генерал Бонапарт сделан первым консулом, и мы вздохнули свободнее”.⁷⁸⁸

Независимо от наших армий и помимо их, целая половина Франции оставалась вне Франции. Прежде всего, эмигранты, целый народ дворян, то отдалявшихся от родины, то приближавшихся к ней, по мере того, как наступали или отступали наши армии, – народ, рассеянный по Германии, Италии, Австрии, России и Англии, гонимый дыханием бури то

⁷⁸⁸ *Mémoires du due de Raquse*”, II, 108.

в одну, то в другую сторону. Тысячи эмигрантов, чья жизнь, полная интриг или изыскания средств к существованию, разбрелись, куда глаза глядят, влача по свету свое легкомыслие и свою бесполезную храбрость. Они отрекались от Франции и все же обожали ее, и в сущности эти легкомысленные люди были истыми французами. Каждый из этих несчастных в душе томился своим изгнанием; каждому до тошноты противело ради куска хлеба побираться на чужбине. Приотворите им только дверь, и они ринутся в нее, давя друг друга; они немногого просят – только клочок французской земли, чтобы припасть к нему усталой головой, дать отдых членам, изболевшимся в долгом пути. А пока они жили предположениями и догадками, не зная, чему верить, на что надеяться; по поводу брюмерских событий ходили самые противоречивые, самые нелепые предсказания.

Многие эмигранты видели в новом перевороте лишь одну из случайностей революции, которая рядом толчков приближается к финальной катастрофе; для этих Бонапарт все еще оставался героем вандемьера, террористом поинтеллигентнее других, который тем не менее пойдет по стопам своих предшественников и сложит кости в общей могиле, где покоятся останки прежних революционных правительств. Другие воображали, что Бонапарт, чувствуя невозможность удержаться собственными силами, начнет искать, какому бы королю преподнести Францию; они боялись только, как бы его выбор не обошел законной ветви. Сен-Присту было досто-

верно известно, как он уверял, что корону намерены предложить испанскому инфанту и это об этом очень старается берлинский двор.⁷⁸⁹ Но огромное большинство верных, одолеваемое страстью к историческому сближению, не колеблясь, утверждало, что в Бонапарте воскреснет Монк,⁷⁹⁰ и каждый день на утро ждали реставрации. В маленьком городке Шенгау, в Баварии, куда отхлынула армия Кондэ после своих швейцарских поражений, офицеры и солдаты славали песни про бегущих депутатов. Там, в одном из кочевых салонов, которые создавала вокруг себя эмиграция, когда все поздравляли себя с таким счастливым предзнаменованием, одна умная женщина справедливо заметила: “Быть может, это и счастье для Франции, но не для нас. Отныне Франция не будет нуждаться в короле – Бонапарт вернет ей покой”.⁷⁹¹ Больной Малле дю Пан, отрешившийся от своих знаменитых, заблуждений насчет Бонапарта, взором умирающего прозревал будущее и видел место для Цезаря между дошедшей до последней крайности революцией и бессильной контрреволюцией”.⁷⁹²

Не якшаяся с эмигрантами, за границей скитались и дру-

⁷⁸⁹ Архив министерства иностр. дел, письма Saint-Priest от 13-го и 15-го декабря 1799 г.

⁷⁹⁰ Монк, сподвижник Кромвеля, разбивший роялистов и посадивший Карла II на трон отцов.

⁷⁹¹ Маркиз Costa de Beauregard, “Souvenirs tires du comte A. de La Ferronhays”, 97.

⁷⁹² “La Révolution vue de J'etranger”, 552–553.

того рода изгнанники – люди, добросовестно двигавшие вперед революцию и выброшенные ею за борт; те, кого она переросла, растоптала, сурово отвергла: бывшие члены учредительного собрания в жанре Малуэ и его школы, никогда не заходившие дальше королевства на английский манер и системы двух палат; Лафайет, Ламеты и друзья их, изгнанники 10-го августа, воображившие, что конституция 1791 года будет венцом революции и торжеством свободы; наконец, пострадавшие в фрюкtidоре, в 1797 г. за то, что они хотели обуздать республику и сделать ее только переходным режимом. Большая часть этих групп в недалеком будущем должна была примкнуть к консульскому правительству; пока они еще расходились с ним во мнениях и тенденциях, фрюкtidорцы ждали призыва и находили, что с восстановлением справедливости слишком медлят. Лафайет и подобные ему, разделяя иллюзии г-жи де Сталь, были в восторге: они воображали, что Бонапарт побеждал для них, что штыки вновь проложили дорогу принципам и что вечером 19-го брюмера в Сен-Клу изгнанная свобода вернулась на свое место, выломав двери, чтобы войти. Александр де Ламет писал из Гамбурга г-же де-Сталь: “Я не писал вам, дожидаясь, пока вы вернетесь в Париж, но из газет мы узнали, что вы прибыли туда в день торжества Бонапарта, которое мы считаем и торжеством свободы. Если восстановление законного правительства дело его рук, он еще больше Фабия достоин того, чтобы на памятнике ему красовалась надпись

Tu maximus ille es.

Unus qui nobis... restituis rem.

...Мы живем здесь в ожидании великих перемен, которые должны произойти во Франции, не сомневаясь, что республика теперь вернется к принципам умеренности и справедливости, и не теряем надежды вскоре увидеть, как осуществится ваше пожелание, и добрые будут отделены от злых. Бонапарт слишком велик для того, чтоб он хотел и мог держаться не на почве справедливости; недаром он говорил, что пришло время, когда лучших друзей республики уже не будут смешивать с врагами. Пусть же засияет, наконец, этот счастливый день! Мое сердце льстит себя надеждой, что вы найдете его именно таким и приблизите его, если только это в вашей власти. Восемь лет тюрьмы или изгнания – страшный пробел в жизни или, вернее, очень продолжительная пытка; но если нам доведется увидеть наше отечество, друзей, семью, след несчастья скоро изгладится”. Мы уже видели, что Лафайет жаждал вернуться во Францию. При первой же вести о происшедшем он не выдержал, перебрался через границу и поскакал прямо в Париж. Он не ждал такого приема: его встретили недоверчиво, почти сурово и посоветовали, как можно меньше показываться людям. Уж не боялся ли Бонапарт, как бы эта старая популярность не повредила его юной славе? Скорее надо думать, что консул, желая вернуть изгнанников, вовсе не имел в виду, чтоб они возвращались сами, нарушая запрет; эти неуместные выходки меша-

ли его политике выжидания в угоду изгонявшим и заставляли его, как он сам выражался, “держать круче по ветру”. В глазах неподдельных революционеров, по-прежнему составлявших свиту консульства, Лафайет был и слишком либерален, и недостаточно республиканец.

Присмотревшись ближе к настроению партий, придется констатировать, что временное консульство, благодаря принятой им предосторожности держаться левой, успело привлечь к себе огромное большинство республиканцев. Партийные мудрецы и умудренные опытом республиканцы, оставшиеся или вновь сделавшиеся приверженцами порядка, одним словом, умеренные левой, имели полное основание радоваться. Бонапарт действовал от их имени, все время соблюдая их интересы. По правде говоря, в этой категории республиканцев, как в Париже, так и в провинции, не все стремились единственно к тому, чтобы сохранить за собой приобретенное положение и имущество. Среди них были бескорыстные и искренние люди, которые рады были бы душой примирить с порядком свободу, представленный режим и прогресс философских наук. Они давно отвернулись от покрывшей себя стыдом директории и призывали реформы. Реформаторские приемы Бонапарта вначале оттолкнули их; они нашли, что в Сен-Клу сабля играла слишком видную роль. Однако депутаты и партии, их естественные представители, если и не все были участниками переворота, то все потом примкнули к его руководителям и теперь некото-

рые из этих депутатов считали долгом представить объяснения своим доверителям; они рассылали в департаменты открытые письма и манифесты, где превозносили переворот и оправдывали свое в нем участие.

Положение до переворота, говорили они, было невозможное; все равно не было ни конституции, ни свободы, республика умирала от гангрены. Примкнуть к совершившемуся было единственным шансом спасти республику и направить ее на лучший путь. Что же до окончательного результата, надо было надеяться, что принципы будут соблюдены, что будущее конституции даст все гарантии в этом смысле и что во Франции будет, наконец, настоящая республика.

Относительно этих последствий депутаты и общественные деятели, отдающие себя на суд своих сограждан, высказывались, однако, менее уверенно. Они ручались, только за собственные добрые намерения и, по-видимому, были готовы восхвалять себя или каяться, бив себя в грудь, смотря по тому, оправдает ли будущее их предсказания. Ле-Кутэ-де-Кантеле, президент парижской администрации, первый заявил публично после пышных панегириков Бонапарту и благоприятных предсказаний относительно будущего: “если события не оправдывают моих намерений и усилий, я заранее отдаю в ваши руки, сограждане, мой обвинительный акт и приговор моего позора и смерти”. Лосса (из нижних Пиренеев), Лапотэр (из Морбигана), Арман (из Мезы) высказывались с такими же оговорками, но тут же спешили опроверг-

нуть их. – Нет, Бонапарт не будет тираном; за него ручается его прошлое, его незапятнанная слава, его блестящий антураж; он отрешился от псевдолегальных форм – лишь для того, чтобы создать настоящую, окончательную законность вместо учреждений, которые распались сами собой. В этот период общей усталости люди не были особенно требовательны по части гарантий. И, так как после брюмера правительство все время, и на словах, и на практике доказывало свой либерализм, так как в общем это “на другой день после переворота” ничем не напоминало грубого и яркого торжества принципа власти, этого оказалось вполне достаточным, чтобы успокоить в провинции умеренных республиканцев и буржуа-рационалистов.

Удар был направлен против другой половины республиканской партии, против якобинцев и демагогов, но Бонапарт, одержав победу, на другой же день заявил, что побежденных не было, что он не желает их знать. “Исключительных депутатов, якобинцев, проявлявших хоть малейшее раскаяние”,⁷⁹³ он очень охотно вознаградил невидными, но тепленькими местечками, впуская назад, через парадную тех, кого он выбросил в окно. Этот способ амнистии был весьма пригоден к тому, чтоб успокоить раздражение, пролить бальзам на вчерашнюю рану; шпага Бонапарта начинала походиться на копье Ахилла, одаренное волшебной силой исцелять нанесенные им раны.

⁷⁹³ Бюллетень агентов Кондэ, 20 ноября. Архив Шантильи.

Якобинцы, как партия, прекрасно понимали, что их царству пришел конец, но, видя, что консульство преследует их даже меньше, чем подчас, бывало, директория, они надеялись, что, вылетев кубарем из Сен-Клу, каждый из них в отдельности все-таки встанет на ноги. Чувствуя, что их сдерживают и в то же время щадят, видя перед собой человека, который по-военному оборвет всякую попытку сопротивления, но в то же время никого не лишает возможности пробить себе дорогу, они не были на него в претензии. Само собой, уволенные чиновники, некоторые провинциальные клубы, члены бабувистских сообществ ругали его исподтишка. Некоторые более выдающиеся демократы, убежденные и провинциальные, жалели о судьбе республики, попавшей в руки честолюбца, но они горевали про себя; со стороны казалось только, что они охладели вдруг к общественному делу и мечтают о своем шатре;⁷⁹⁴ другие ограничивались тем, что выражали сомнения и уповали на “справедливое возмездие, всегда постигающее честолюбцев и предателей”.⁷⁹⁵ Алчная же масса с радостью сама лезла под ярмо, лишь бы только его не делали сразу слишком явным и тяжелым. Таким образом, вокруг народившегося консульства сплотились республиканцы самых различных оттенков, примиренные с совершившимся фактом в его непосредственных результатах.

⁷⁹⁴ См. письмо Роберта Линде от 3 нивоза, *Amand Montier*, 383.

⁷⁹⁵ См. письмо бывшего члена Конвента, Гильемарде, посланника при испанском дворе; *La revolution française*, номер от 14 июня 1802 г.

Напротив, роялисты чувствовали себя обманутыми в своем нетерпеливом ожидании реакции. Строгие меры, принимаемые против них, главным образом, на словах, забота консулов о сохранении в принципе революционных законов и заявления их о неприкосновенности этой глыбы сглаживали для них впечатление очень резкой перемены. Они печально, говорили: “Это все та же республика, созданная революцией, а не национальная республика”.⁷⁹⁶ Большинство, однако, не переставало надеяться, полагая, что новая власть, порожденная антиякобинским движением, рано или поздно поддастся внушениям своего первоисточника, и что, несмотря на все, реакция приближается. А пока они изучали Бонапарта, эту великую загадку: что им надлежало думать об этом необычайном и сложном существе. Один из корреспондентов Кондэ следующим образом разлагал его на составные элементы: “В нем треть философа, треть якобинца и треть аристократа”⁷⁹⁷ и прибавлял: “Ни одного атома роялиста”, думая, однако, про себя, что узурпатор подготовит возвращение законного государя, снова приучив французов повиноваться господину. Иные воображали, что Бонапарт скрывает свою игру, идет к реставрации кривыми и окольными путями. Каждый сочинял о нем свой собственный роман. Эта общая неуверенность относительно его намерений шла ему на пользу, позволяя возлагать на него самые противополо-

⁷⁹⁶ Бюллетени агентов Кондэ, от 20 ноября. Арх. Шантильи.

⁷⁹⁷ *Ibid*, 16 ноября.

ложные надежды.

Помимо откровенных роялистов, были еще так называемые теперь простые консерваторы, умеренные правой, связанные с прошлым своим происхождением и правами, но не отвергающие целиком дела революции, довольно либеральные, но слабые республиканцы, склонные, однако ж, довольствоваться всяким правительством, только бы оно сумело утвердить общество на истинных его основаниях. Эти последние вначале расцвели и перевели дух, но теперь медлили окончательным суждением и препирались между собою, высчитывая шансы будущего. К ним давно, уже относились, как к побежденным и подозрительным людям, но, и отстраненные от дел, они никак не могли заставить себя не интересоваться ими, не говорить о политике. В данный момент в провинциальных кружках, в салонах маленьких городков, в деревенских усадьбах, где эти полуроялисты влачили свое убогое и шаткое существование, только и было речи, что о Бонапарте; он властвовал над воображением, но еще не повелевал умами.

Оптимисты утверждали, что ему от природы дана способность все исцелять, что это уже один из атрибутов гения; другие, наоборот, отказывались признать в нем человека, который найдет выход и разрешение всех вопросов. Едва достигнув власти, он уже спешил собрать вокруг себя республиканцев и взял курс влево, – не значило ли это, что он в один прекрасный день примирится с крайними якобинцами и вернет-

ся на торную дорожку? Ему, бесспорно, дан в удел военный гений и дар одерживать победы, но ведь при этом не обязательно обладать великим государственным умом. Разобраться в страшном наследстве революции, ликвидировать его – не шутка, кто знает, не падет ли Бонапарт под тяжестью такой задачи. Вот о чем спрашивали себя умные и доблестные люди, впоследствии вошедшие в состав консульского правительства лучшими его элементами. Соглашение с этой важнейшей частью консервативных сил еще далеко не было достигнуто. Де Брант, будущий префект первого консула, писал из Оверни своему сыну, ученику Политехнической Школы, следующее письмо, полное возражений и оговорок:

“...Не велико геройство заставить скакать в окна стадо представителей и штыками вырвать власть у людей, совершенно лишенных военной силы и не стоящих под защитой общественного мнения... Тот, кто, как Кромвель, изгнал ораторов и демагогов, должен уметь царствовать, как он. Кромвель брал в руки бразды правления в государстве, которое никто не тревожил и не мог тревожить извне. Там не было даже и зародыша возможности войны с иноземцами. А внутренние факции он хорошо изучил и привык иметь с ними дело. Армия вся была за него, притом армия, уже четыре года игравшая самую видную роль в революции. Здесь ни одно условие не совпадает, и если через месяц не будет заключен мир... никакие заискиванья не помогут, и героя засмеют или застыдят.

“За обманутые надежды мстят ненавистью, презрением, унижением. Это идет непрерывно вот уж шесть лет. Всем деятелям революций курили фимиам, пока думали, что учиненная ими перемена всем пойдет на пользу. Сколько похвал расточали этому гнусному Талльену, обрызганному кровью сентябрьских убийств, пока верили, что его 9-е термидора принесет с собой порядок, мир, справедливость, – и как потом все это выместили на нем!.. Даже у Мерлэна, после 18-го фрюктидора, разве не было приверженцев, и очень искренних? В нашей революции всегда достаточно было прогнать кого-нибудь и сесть на его место, чтобы завоевать общее расположение, по крайней мере, на две недели. Главное не в этом, а в том, чтоб удержаться, довести драму до развязки с честью и пользой для себя и к выгоде других. Эта задача еще не решена, и я желал бы, чтобы Б..., окруженный метафизиками в политике и учеными светилами Института, дал нам эту столь желанную, столь долгожданную развязку. Но я не надеюсь на это в такой мере, как другие известные мне лица, – и потому, что я измерил трудности, и потому, что я не ставлю человека так уж высоко, как его восторженные поклонники...”⁷⁹⁸

Правда, под конец этой “яростной тирады” – его собственное выражение, – де Брант как будто сам себя немножко винит в пессимизме; он признает, что герои дня выше сво-

⁷⁹⁸ Архив семейства де Брант. Мы обязаны сообщением этого письма любезности барона де Брант.

их предшественников, что, по крайней мере, “ядовитые гады устранены, а славные воины, воцарившиеся на место их, принадлежат к лучшей и более благородной породе. Это, во всяком случае, выигрыш”. Но до того он писал: “К несчастью, во всем, что происходит, я вижу только смену актеров, а не развитие действия”.

Волна сочувствия поднималась, главным образом, снизу, из глубоких слоев населения, и шла лично к Бонапарту, не заботясь о его товарищах и окружающих. Его собственной партией, еще только формирующейся, была вся Франция, пресытившаяся политикой и мечтавшая навсегда развязаться с ней, Францией простых и работающих людей, несчетная масса мелких собственников, полубуржуазия, промышленность, земледелие, настоящий народ, который не надо смешивать ни с якобинской кликой, ни с демагогами правой. В том и сила Бонапарта, что он сумел вложить свои собственные взгляды в умы тех, кто их никогда не имел или утратил. Эти мирные труженики еще не получили от него никакого положительного удовлетворения; тем не менее они любят его, ибо любят в нем свою надежду; они заранее благодарны ему за то, чего ждут от него; за отсутствием реальной возможности действовать, его спасает колоссальная репутация, внушая некоторое доверие в его будущей созидательной работе.

Доверие еще хрупкое, опасливое, ибо народ слишком часто обманывали, суля ему спасение, для того, чтоб он не

страшился новых неудач. Потому мы и не видим широко-го разлива энтузиазма, обыкновенно сопутствующего осуществлению великих упований, не слышим бреда надежды, приветствовавшего начало революции и первые ее шаги. Народ однако, чувствует, что среди всеобщего разложения, путаницы идей и распада теорий, теперь хоть есть возможность уцепиться за что-нибудь конкретное и сильное. Резо-неры, политики, чиновники, литераторы охотно представля-ют себе, что глава правительства Сийэс, что он думает за всех, мудро устраивая будущее; некоторые провинциальные власти в официальных бумагах ставят имя Сийэса впереди имени Бонапарта.⁷⁹⁹ Народное чутье не ошибается; оно пред-чувствует и угадывает истинного вождя, того, кто сумеет по-велевать. Генерал Ланн, покончив свой объезд на юго-западе и опросив все классы населения, пишет Бонапарту: “Каковы бы ни были заслуги тех, кто делил с вами опасности и славу, во всех странах, объеханных мною, не кричат ни “Да здрав-ствует Сийэс!” ни “Да здравствует Моро!”, но “Да здравству-ет Бонапарт!”. Вас любят сердечно и будут боготворить вас, если вы дадите им мир, все собственники, мирные тружени-ки, народная масса, все жертвы политических движений, вы-зываемых честолюбцами”. На юге, севере, востоке, в глухо волнующихся селениях, в огромной массе городов, еще пло-хо защищенных от насилия якобинцев и угроз контрреволю-ционеров, является, однако же, чувство успокоения, ибо в

⁷⁹⁹ Lanzaс de Laborie, “La Domination française en Belgique” I. 306.

стороне Парижа блестит светлая точка, видимая отовсюду; из мрака бедствий, в который все еще погружена Франция, миллионы взоров обращаются к маяку надежды, загоревшемуся в центре.

II

На западе горизонт прояснялся. Бунт роялистов разыгрался как раз накануне брюмера. Необходимо вернуться к этому кризису, чтобы выяснить, в каком положении застали консулы страну, какую роль сыграли они сами в деле замирения и какую долю следует отвести их предшественникам.

Когда вспыхнул организованный бунт, республиканцы извели на западе такие неудачи, каких они не испытывали и в великую вандейскую войну. Вместо простых банд в большом количестве и составе, хозяйничающих в деревнях, мятежники огромными массами вторгались в города не столько для того, чтобы утвердиться там, сколько для того, чтобы запастись оружием и продовольствием, нагнать страху на население и все привести в расстройство. В центре Мэна первым восстал Бурмон со своими людьми. В ночь с 22-го на 23-е вандемьера на улицах Монса раздалась ружейная пальба; три колонны шуанов выломали городские ворота и наводнили весь город; они захватили ратушу, казармы, арсенал, пушки, уносили или разбивали ружья, перемешали все бумаги, освободили заключенных. Захваченный врасплох гар-

низон стрелял наудачу, не попадая в цель; под ружейным огнем с улицы и из окон солдаты могли сделать только одно: пробиться к заставе, спасти знамя и выйти из города, оставив за собой раненого насмерть генерала Симона. Три дня город оставался всецело во власти Бурмона, который там же произвел и смотр своим войскам.

Район нижней Луары был наводнен отрядами Шатильона. 27-го вандемьера, в безлунную ночь, под прикрытием густого тумана, они вторглись в Нант, направляясь к центральным площадям, увлекая друг друга, крича: “Да здравствует король! Сдавайтесь! Сдавайтесь! Вперед, ребята! Вперед!.. Республиканские солдаты, чиновники, разбуженные шумом буржуа, полоумные от страха, высыпали на улицу, и все смешалось при блеске выстрелов. Еще до свету шуаны ушли из города, ничего не добившись, они только разорили несколько домов и освободили нескольких заключенных. Но слух об этом дерзком нападении разнесся далеко; вся местность между нижней Луарой и Виленой отныне была в их власти. Выше по Вилене, вокруг Фужера, Ла-Превалэ поддерживал большой очаг мятежа, но ему не удавалось подкрепить движение на Монс и Нант атакой на Рейн.

В Морбигане оперировали Кадудаль и его давно подготовленная к бою дивизия. Новая тактика этих шуанов была та же, что и в других местах: стремительное массовое нападение. Они попробовали атаковать Ванн и промахнулись. С тысячью человек кинулись на Сен Бриек и владычествовали

там целую ночь. Дальше Динан, Сен-Серван, Сен-Мало дрожали от страха, запираясь в своих стенах. Редон сдался отряду шуанов, Ла-Рош-Совер, Нозо, Бэн Локминэ были взяты силой и временно заняты ими; республиканские посты и квартиры потонули в потоке инсургентов.

По обеим окраинам этой линии неприязненных действий, в Вандее и Нормандии положение республиканцев было несколько менее плачевно. В Вандее Антишан собрал под свое знамя во имя короля от шести до восьми тысяч человек; заметив, что в этих округах движение чисто поверхностное, и не находя былого энтузиазма, он бился, главным образом, из повиновения своему государю, 11-го брюмера большой отряд инсургентов был обращен в бегство Траво после битвы при Сент-Обэндю-Кормье. Однако, нижний Пуату все же кишел бандами, поддерживавшими сношения с корпусами мэнским, анжуйским и бретонским. В Нормандии Фроттэ, высадившийся близ Байе, объявил всеобщий призыв и учинил смотр всем способным немедленно же взяться за оружие, но он пока пускал в бой лишь отдельные небольшие отряды. Одна из таких групп обложила Вир, другие угрожали Мортэну, Вильдьё, Авранту, Фалэзу. Алансон и департамент Орны оставались без всякого прикрытия; Ламанш был уже отчасти захвачен врагом; в Кальвадосе шла глубокая подпольная агитация.

Это обширное восстание носило особый характер; оно отличалось от прежних стараниями вождей организовать свои

войска, вести правильную войну. Шуанство теперь уж не то, что во времена конвента и Гоша вместо скопищ вооруженных крестьян, руководимых безвестными вождями, грубыми и невежественными, как они сами, теперь мы видим войну дворян, возвратившихся эмигрантов, ведущих в бой сформированные ими отряды; в таком виде оно производит более внушительное впечатление и представляет собою меньше серьезной опасности. Почти на всем протяжении зоны мятежа мы видим правильные наборы и реквизиции, несколько попыток помешать слишком уж гнусному насилию, сохранение мест за деревенскими властями под условием слепого повиновения, сбор королевской подати и десятины, огромную сеть шпионства, охватывающую всю страну; там и сям генеральные штабы с белыми султанами и крестом Св. Людовика, войска, развертывающиеся в линию, в мундирах, с флейтами и барабанами, даже небольшие кавалерийские отряды.

Это не значит, что армии католиков роялистов постоянно находятся в сборе и начеку; если и есть в них постоянные отряды, большая часть их формируется и распадается, смотря по обстоятельствам и по приказу начальства. При помощи системы моментальных мобилизаций, каждый из главных вождей может располагать в любой момент целой армией, собранной для специальной операции; вот почему они имеют возможность нападать на города и наносить серьезные удары противнику.

Несмотря на обнаруженную ими энергию и силу порыва, вожди мятежников чувствовали, что момент выбран неудачно; дела республики поправились; с внешней стороны они обстояли блестяще, и восстание, имевшее целью помощь коалиции, оставалось рискованным и не достигающим цели. После Цюриха и Бергена, когда в парижских политических сферах повеяло умеренностью и миролюбием, директория назначила нового командующего войсками на западе, которому Сийэс полунамеком дал разрешение вступать в переговоры; это был генерал Эдувилл, офицер старой армии, весьма миролюбивый, даже слишком миролюбивый, в глубине души симпатизировавший восставшим дворянам, как человек их круга.⁸⁰⁰ Ему даны были строгие официальные инструкции и в то же время очень широкие полномочия. Как только он устроился в Анжере, куда перенес и главную квартиру, он стал искать посредников для переговоров с Шатильоном, воевавшим на низовьях Луары. В прежних замирениях играла довольно видную роль некая госпожа Тюрпен де Криссе. Спасаясь от закона о заложниках, она незадолго перед тем покинула Анжер и скрывалась в одном замке, в глуши лесов, Эдувилл разыскал ее; между этой остывшей роялисткой и чуть тепленьким республиканцем легко установилось взаимное понимание. Г-жа Тюрпен де Криссе объявила, что нынешнее восстание вызвано, главным образом, ненавистью к закону о заложниках и религиозными преследованиями

⁸⁰⁰ См. очерк Poul Robiquet, появившийся в Revue.

ями, и обещала приложить старания.

Тем временем пришла весть о брюмерских событиях. В городах, в местечках, еще занятых республиканцами, власти поспешили дать ей самую широкую огласку. Действие получилось двойное. Республиканская армия под бременем лишений совершенно упала духом; солдаты массами дезертировали, переходили на сторону шуанов; многим офицерам опротивело служить распадающейся власти, и они с полуслова вступали в соглашение с мятежниками или же сражались очень вяло. Когда они узнали, что публика ожила от притока новых сил, молодой, чистой крови, когда они узнали, что Бонапарт сделался консулом, а Бертье – министром, в них отчасти воскрес прежний пыл,⁸⁰¹ переход власти в руки Бонапарта снова пробудил в них преданность республике, остановил поток дезертирства и компромиссов. На восставших роялистов поселян имя Бонапарта также произвело должное впечатление; это был противник, король голубых, но все же знаменитый полководец, такой вождь, под начальством которого каждый с радостью пошел бы сражаться за правое дело: “репутация генерала Бонапарта удивительно прочно установилась в этой местности. Один вандейский крестьянин говорил вчера на рынке в Нанте двум гражданам: “Будь у нас такой Бонапарт, мы одержали бы верх”.”⁸⁰²

Вскоре распространившаяся весть об отмене закона о за-

⁸⁰¹ См. восторженное письмо генерала Гриньи, у Chassin III, 441.

⁸⁰² Ibid.

ложниках многих настроила миролюбиво; раз новое правительство с самого начала вступило на путь терпимости и справедливости, следует оказать ему некоторое доверие и подождать судить его, пока оно не проявит себя на деле. Некоторые из вождей руководствовались более глубокими соображениями. Разделяя весьма распространенное в их партии заблуждение, они были недалеко от мысли, что Бонапарт работает в интересах короля. Они находили, что надо, по крайней мере, дать себе время проникнуть в его намерения, и первый консул, проявивший себя ярким республиканцем в Париже, по-видимому, остерегался разрушать на Западе иллюзии, которые были ему очень и очень на руку. Другие, менее доверчивые, соглашались только на отсрочку. Если при них останутся их войска и оружие и все средства борьбы, они не прочь были прекратить кровопролитие и приостановить войну, начинавшую внушать ужас столь многим.

В Анжере шли переговоры между Эдувиллем и Шатильоном, при посредстве г-жи Тюрпен де Криссе. Эдувилль позволял себе при этом весьма рискованные вещи, вплоть до свиданий непосредственно с вождем мятежников; в тайну этих встреч проникли другие (республиканские офицеры и подняли крик об измене.⁸⁰³ Тем не менее условия мира были поставлены не из легких: свобода вероисповеданий, освобождение от налогов, гарантия безопасности эмигрантов и

⁸⁰³ Robiquet, 15–16.

священников, присоединившихся к бандам, – вот чего требовал Шатильон; только на таких основаниях он готов был пойти на перемирие. Временное консульство, в ответ на эти требования, выказывало гордость только на словах: в своих инструкциях Эдувиллю оно заявило, что ему весьма и весьма нежелательно было бы вступать в переговоры с мятежниками, но оно не видит причины, почему бы не сделать им кое-каких уступок по собственной инициативе, “добровольно и доброхотно”.⁸⁰⁴ А для того надо было выяснить в тонкости, к чему сводятся их требования – следовательно, принимать эмиссаров и беседовать с ними; словом, приходилось относиться к инсургентам,⁸⁰⁵ как к равным, признать их воюющей стороной.

Прежде, чем сговариваться насчет условий мира, Шатильон, к которому присоединились также Антишан и Бурмон, считал необходимым спросить согласия других начальников, устроить совет вождей; для этого все вожди из Вандеи, Нормандии и Бретани должны были съехаться сюда, в область Нижней Луары, главный центр враждебных действий и переговоров. Республиканские власти нашли это вполне естественным и не противились. А пока Эдувилль с Шатильоном 2 фримера 23 ноября заключили перемирие; между 11-м и 19-м это перемирие было последовательно распространено на все мятежные районы, от департамента Двух-

⁸⁰⁴ Инструкция от 29 брюмера, – Военный архив английской армии.

⁸⁰⁵ участникам восстания

Сэвр до владений Фроттэ. Обе партии до того смешались и перепутались между собой, что установить демаркационную линию, отвести каждой свои пределы было положительно невозможно. Порешили только взаимно воздерживаться от всяких неприязненных действий. Старались также обеспечить свободное сообщение, безопасность дорог. Вопрос о том, предоставить ли шуанам полную свободу собирать реквизиции деньгами и натурою, не был затронут. Перемирие плохо соблюдалось; его часто нарушали и нападения, и грабежи; тем не менее оно было выгодно для обеих сторон. Бонапарт выигрывал время, возможность стянуть больше войск на западе и усилить средства к подавлению мятежа; зато мятежникам была облегчена доставка морем субсидий и оружия: теперь они могли без помехи совершенствовать свою организацию, набирать новых ратников, укреплять свои позиции в захваченных деревнях. Но Бонапарт, дорожа нравственным воздействием, которое должно было произвести на всю Францию это начало, или, по крайней мере, кажущееся начало замирения, не препятствовал Эдувиллю. Он только предупреждал его, чтобы тот не давал “водить себя за нос”¹, но или заключил бы мир, или возобновил войну с новой энергией, постаравшись проникнуть в замыслы мятежников; он не допускал и мысли о проволочке – все должно было кончиться так или иначе еще до исхода зимы.

Прекращение военных действий могло Произвести в Париже только благоприятное впечатление, заставив на время

забыть о грандиозном пожаре, снова разыгравшемся на западе. Этой отрадной вести было, однако ж, недостаточно, чтобы разогнать колебания, и ввести в определенные границы шаткое общественное мнение. Париж тревожила теперь другая забота. Правительство посулило в ближайшем будущем конституцию, которая определит судьбы республики: зачем же оно медлит? Беззаботность, нетерпеливость – вот два противоречивых термина, которыми может быть охарактеризован темперамент парижан; их мало интересовало, какова будет эта конституция, только бы она была дана. Газеты отметили нарожение новой фракции нетерпеливых. Деловые круги, уже готовые примкнуть к правительству, остановились на полдороги, как и повышение государственных фондов, вначале очень быстрое. Консолидированная треть, после брюмера поднявшаяся до двадцати франков, колебалась около этой цифры и не шла дальше. Бонапарт видел эти симптомы, подметил общую усталость от переходного состояния и хотел как можно скорее произвести впечатление окончательно установившегося строя; это была одна из причин, побудивших его поторопиться с конституцией-

ГЛАВА XII.

КОНСТИТУЦИЯ VIII ГОДА

Законодательные комиссии. – Отделы (sections), выработывавшие конституцию. – Обращение к Сийэсу. – Идеи Сийэса. – Изменение его первого проекта. – Принципы и интересы. – Сийэс предлагает упразднить избирательную систему и хочет упрочить навсегда господство революционеров. Сенат – источник всякой власти. – Две пирамиды. – Великий избиратель. – Серьезное разногласие в мнениях с Бонапартом. – Предложение пойти на сделку. – Колючий спор. – Разрыв кажется неизбежным. – Париж во время кризиса. – Бульварный инцидент. – Испанская карета. – Охлаждение между Бонапартом и Сийэсом. – В спор втягивают комиссии. – Сийэс обманут. – Бонапарт заманивает к себе обе секции. – Ночные собрания, расширение собраний, заседания в полном составе. – Проект Дону. – Бонапарт разбивает оба проекта, один посредством другого. – Листки Дону; Recto и Verso. – Восемь решительных слов. – Единодушие исполнительного комитета. – Бонапарт продолжает переговоры с Сийэсом; соглашение относительно личностей. – Удовлетворение, данное революционной олигархии. – Камбасерэс и Лебрэн. – Спор о гарантиях. –

Комиссии, наконец, разделились. – Как Бонапарт заставил их вотировать конституцию. – Сцены при закрытых дверях. – Сийэс – великий избиратель. – Немедленное оглашение. – Слово женщины из народа. – Исследование конституции; ее пробелы и неясности. – Консулы. – Сенат. – Трибунат. – Законодательный корпус. – Каким образом конституция VIII года, плод компромисса между Бонапартом и революционной олигархией, носит в себе зародыш будущих переворотов и должна привести к демократическому деспотизму. – Конституция, отданная на суд граждан; открытие записей. – Бонапарт угадывает результат плебисцита и убеждает ввести в силу конституцию. – Последние труды комиссии. – Закон о пострадавших в фрюктидоре. – Закон о национальных празднествах. – Доля Сийэса. Бонапарт вступает в обязанности первого консула.

I

По временным законам, установленным в брюмере, конституцию должны были выработать две законодательных комиссии – комиссия пятисот и комиссия старейшин. Каждая из них выделила из себя секцию для подготовительных работ: секция пятисот состояла из Буле-де-ля Мерта, Люсьена Бонапарта, Шазалья, Дону, Мари-Жозефа Шенье, Кабаниса и Шабо Латура, секция старейшин из: Гара Лосса, Лемерсье, Ленуар Ла-роша и Ренье. Никто из них не хотел браться за дело, не посоветовавшись с оракулом, не спросив Сийэса. За десять лет законодательные собрания трижды безуспешно пытались разрешить проблему конституции, а тут под рукою был человек, о котором говорили, что это решение у него давно готово в силу таинственной, особой интуиции; его приговора ждали так почтительно, как будто сами отказывались от способности судить; ловили каждое слово, слетавшее с его уст, – вот-вот, наконец, она станет ведома всем, эта тайна общего благоденствия, которую Сийэс так бесстрастно хранил для себя. В конце брюмера к нему стали приходиться Булэ де-ля-Мерт и другие, убеждая его нарушить молчание, и подолгу беседовали с ним.

У Сийэса сложилось известное количество идей, плод долгих, одиноких размышлений. Он всю жизнь преклонялся перед этими идеями, любовался ими, находя в них свое

собственное отражение, но перейти от мечтаний к кабинетной работе было для него страшным, почти непреодолимым трудом; он до сих пор еще не решился изложить на бумаге свои идеи. Когда его попросили представить свой план конституции, этот человек, одержимый манией сочинять конституции, казалось, был захвачен врасплох.

Он начал, однако же, излагать принципы, формируя их как догматы. “Доверие должно идти снизу, власть должна исходить свыше”. Народ есть основа здания, но он должен служить только для того, чтобы поддерживать и упрочивать собою вершины; нет режима более ненавистного, чем господство демократии “в сыром виде”, властвующего над государством большинства. Есть только один способ правления, применимый к многочисленным и просвещенным обществам, рационально организованным: это система представительства, правления по доверенности, и искусство совершенного законодателя состоит в том, чтобы выделить часть нации, обладающую необходимыми качествами, для того, чтобы быть представительницей всех других, “цвет представительства”. Что касается способов осуществить этот план, Сийэс говорил, что и они имеются в его распоряжении, но сообщал их не сразу, а понемногу, с оговорками, изменениями и поправками. Понадобилось около двенадцати дней для того, чтобы извлечь из него полностью его идеи.

Ему удалось, однако же, или другим удалось составить за него план. Булэ, в присутствии которого Сийэс думал вслух,

делал заметки, набрасывал на бумаге этот план в общих чертах. В него были посвящены и другие друзья; они не молчали, и вскоре тайна Сийэса сделалась общеизвестной, причем, как водится, в передаче она была несколько искажена. Десятого фримера Moniteur, отношение которого к Сийэсу ни для кого не было тайной, напечатал статью, очевидно, продиктованную ему или инспирированную, с целью опровергнуть ложные толкования, ориентировать общественное мнение, установить подлинный текст. “Из всех версий вот, по видимому, наиболее достоверная, если не считать нескольких изменений и пропусков”. Эта статья очень ценна. Она – единственно дошедший до нас документ, тогда же и написанный, и притом близко стоящим к делу человеком; сопоставив ее с позднейшими признаниями Булэ де-ля-Мерт, мы понемногу выясняем себе план в целом, угадываем и мысль Сийэса, и то, чего он не договаривал. Его проект был надежнейшим оружием, какое только можно было выдумать в интересах самозащиты и самосохранения известной партии. Уже пять лет партия бывших членов конвента и их приверженцев владела Францией, удерживая власть путем периодических узурпаций народного господства. В III году эти господа устроили подлог на выборах, произвольно навязав гражданам две трети конвента; в фрюктидоре V года они сломали эти выборы саблей Ожеро; в флореале VI года объявили их недействительными, ввиду того, что кандидаты их не получили большинства. Сийэс шел в этой прогрессии еще даль-

ше, шел до конца. Он совершенно упразднил выборы.

В начале революции никто больше его не трудился над тем, чтобы противопоставить национальное право монархическому, установить принцип верховного владычества народа. Теперь он уже не хотел, чтобы нация фактически вручала власть своим избранникам. Избирательные невзгоды, пережитые его партией, да и более возвышенные соображения – опытом выработанное отвращение к демагогии, зрелище выборов, всегда извращенных духом насилия и партийности, отсутствие во Франции всякого политического воспитания, несоответствие между людьми и законами – вот, что заставило его отречься от прежних убеждений. Теперь он полагал, что народ должен лишь косвенно участвовать в выборе своих представителей – не избирать сам, а лишь указывать на тех, кто, по его мнению, достоин быть избранным – не назначать депутатов, а составлять списки кандидатов; да и то это право будет предоставлено такому ничтожному количеству лиц, что на практике обратится в иллюзию.

Это была знаменитая система списков нотаблей.⁸⁰⁶ В каждом общинном округе (*arrondissement communal*) – новое разделение страны, также придуманное Сийесом, – активные граждане, т. е. французские подданные, платящие подать, равную стоимости трех рабочих дней, выбирают из своей среды сотню общинных нотаблей, наиболее уважаемых,

⁸⁰⁶ **Нотабль** – представитель высшего духовенства, придворного дворянства или городских верхов – член созывавшегося королем собрания.

именитых граждан. Эти нотабли первого разряда, в свою очередь, выбирают из своей среды десять нотаблей второго разряда, департаментских нотаблей, а те уже таким же манером составляют национальный список в пять тысяч граждан. По этому списку, являющемуся результатом трехстепенных выборов, дважды прошедших сквозь пресс, будут уже избираться в члены законодательного и исполнительного комитета. Кто же будет избирать их? Здесь-то и обнаруживается главный винт машины, маховое колесо, настоящий узурпаторский орган: корпус, пользующийся верховной властью, составленный вначале из инициаторов переворота, т. е. из термидорцев и фрюктидорцев, ставших партией брюмера, и затем пополняющийся своими средствами. Власть постоянная, несменяемая, могущественная, с огромными денежными средствами – конституционное жюри (*juryconstitutionnaire*), в окончательной редакции переходящее в консервативный сенат (*Sénat conservateur*).

“Будет учреждено конституционное жюри, – пишет *Moniteur*, – состоящее из восьмидесяти членов”, – большой совет революционеров-учредителей. Этот сенат или жюри, по мысли Сийэса, должен быть прежде всего истолкователем и хранителем верховного закона; Сийэс предоставляет ему право отменять все указы, противные конституции, будь то законы или правительственные постановления. Идея была бы превосходна, если бы она этим и ограничилась. Нет истинной республиканской конституции там, где не существу-

ет высшей судебной, инстанции, хранительницы основных законов, обязанной сдерживать узурпаторские поползновения исполнительной власти и в то же время обуздывать собрание, так как законодательная тирания не менее опасна, чем другая. Но Сийэс не ограничивал роли сената этими регулирующими функциями. Он делал его фактическим родоначальником, источником власти, превращал его в избирательный корпус. Не издавая законов и не управляя, сенат будет создавать законодателей и правителей путем окончательного исключения и тончайшего подбора.

По национальному списку сенат будет выбирать членов собрания. Палат будет две: трибунат – палата законодательной инициативы, вырабатывающая законы и обсуждающая их, и законодательный корпус, который их вотирует или отвергает без обсуждения. Сийэс надеялся таким путем устранить или, по крайней мере, локализовать злоупотребление трибуной, тем более, что трибунат и законодательный корпус – оба будут детищами величавого сената. И наконец, главою и венцом всего административного здания будет единый судья, избираемый сенатом из числа своих членов и получающий титул Великого Избирателя. Этот высший чин в государстве будет назначать настоящих правителей: членов исполнительного комитета и двух консулов; один из консулов будет ведать внешними делами: военными, морскими и дипломатическими, другому будут подчинены все отрасли внутренней администрации. Таким образом, оба консу-

ла окажутся запертыми каждый в кругу известных функций, недоступном для другого, хотя внешние и внутренние государственные дела и тесно связаны между собой. Каждый консул будет стоять во главе служебной иерархии. У него будут свои министры, свои советники, своя судебная административная палата. Главных своих агентов он будет выбирать из национального списка кандидатов, местных агентов – из списков низшего разряда. Обе иерархии будут изображать собою нечто вроде двух рядом поставленных конусов с широким основанием, утончающихся к вершине; а над двумя вершинами, т. е. над обоими консулами, пребывает в равновесии Великий Изобретатель. Назначив консулов, он будет проводить дни свои на покое, в позолоченной праздности; отныне роль его становится, главным образом, почетной и декоративной. На содержание его двора государство отпускает шесть миллионов; жить он будет в Версале, окруженный многочисленной стражей и почти королевской пышностью.

За ним останется, однако, право общего надзора и увольнения консулов; но и сам он, назначаемый бессменно на всю жизнь или на очень долгий срок, будет все же зависеть от сената. Здесь выступал наружу очень искусный, очень тонкий механизм, приспособленный к тому, чтобы действовать без толчков и сотрясений: право поглощения (*droit d'absorption*). – Если Великий Избиратель, один из консулов или кто-нибудь из высших сановников навлекает на себя подозрение в честолюбивых замыслах или выделяется слиш-

ком яркими заслугами, сенат может поглотить его, т. е. вернуть в свое лоно и там оставить, признав его неспособным к активному распорядительству – иными словами, без шума уволить.

Не было ли подвоха в такой организации остракизма? В 1799 г. Сийэс приводил весьма веские доводы, заставлявшие его предпочитать республике строго ограниченную монархию. Притом, по его словам, разница между двумя режимами чувствовалась только на вершине здания. “Кто любит облекать в конкретные образы отвлеченные понятия, тот может представлять себе монархический образ правления заканчивающимся шпилем, а республиканский – плоской крышей”.⁸⁰⁷ Теперь он сам хотел перестроить государственное здание, превратив его в пирамиду с остроконечной вершиной, т. е. придав ей, по его собственному определению, монархическое завершение. Что такое представлял собой Великий Избиратель? Заменял ли он государя, или же только подготавливал место для настоящего короля, которого нужно еще найти? Не исчезнет ли он неожиданно, в данный момент, поглощенный сенатом, очистив место королю, которого приведет Сийэс при помощи своей конституции с предохранительным клапаном? Как бы ни было, сенат всегда мог легальным порядком распустить и реформировать исполнительный корпус, точно так, как он имел право каждые два года обновлять на одну треть состав сената и законодатель-

⁸⁰⁷ Alberis Néton, “Sieyès”, 155.

ного корпуса. Эти чрезмерно широкие полномочия, казалось, умерялись налагаемым на сенат обязательством выбирать своих избранников по национальному списку. Но на деле эта последняя гарантия сводилась на нет дополнительными постановлениями. Прежде всего, сенату предоставлялось право чистки национального списка с исключением из него до одной сотой имен. Кроме того, наряду с внесенными в списки по выборам, были вписанные по праву. Тех, кто занимал в последние годы Государственные Должности, без избрания, вносили в списки, так что революционное правительство всегда могло найти там и отобрать своих. Наконец, списки предполагалось составить лишь в X году и пользоваться ими только для частичных обновлений состава. При первоначальном же основном формировании кадров творцы конституции будут назначать по своему выбору всех законодателей, замещать все высшие административные и судебные посты; и когда эти ими сформированные кадры ими же будут и заполнены, названные имена войдут в органический акт, станут неотъемлемой составною частью конституции. “Конституция, – говорилось в *Moniteur'e*, – выйдет вполне организованной и с именами всех государственных чиновников, которых она зачислит на действительную службу”. Само собой, новый статус, вместе с именами привилегированных, должен был еще пройти через плебисцит. Но Сийэс и друзья его знали, чего стоит эта ратификация *post factum*. За шесть лет массе граждан пришлось дважды высказаться по

поводу двух конституций, весьма различных между собою, и она одинаково одобрила обе: свою независимость относительно правительства она проявляла только на выборах. По всей вероятности, большинство кандидатов, оптом преподаваемых народу, не были бы избраны, но из-за них он не отвергнет конституции, так как, несмотря на все, будет видеть в ней прибежище, гарантию устойчивости и покоя, да и великое имя Бонапарта проведет за собою все другие. Таким путем можно будет заставить народ утвердить целый штат служащих – тот самый, который в течение четырех лет постоянно противопоставлял революционное право праву национальному. В итоге система Сийэса легализировала, освящала, упрочивала навеки царство революционной олигархии.⁸⁰⁸

Рассматривая этот план с других точек зрения, надо ли

⁸⁰⁸ Минье в своей “Истории французской революции”, II, весьма подробно анализирует план, довольно отличный от этого проекта, на основании признаний Сийэса одному конвенционалисту (см. *La Fayette V, 158*). Этот план предполагал трибунал в составе ста первых кандидатов национального списка, выборный законодательный корпус, конституционное жюри, государственный совет министров, учреждающий правительство, и над всеми этими винтами и колесами великий прокламатор избиратель, выбирающий из списков нотаблей всех агентов исполнительной власти. Нам кажется очевидным, что этот проект, о котором нигде больше не упоминается в документах VIII года, был выдуман Сийэсом в III году, но только он не осмелился представить его целиком конвенту. С тех пор его идеи подверглись эволюции; теперь он уже не хотел ни одного выборного корпуса и, с другой стороны, придумал систему двух консулов, чтобы дать место Бонапарту. Сийэс надеялся, что он удовлетворится половиной исполнительной власти.

указывать на его утопические и химерические стороны, столь часто подчеркиваемые? Мысль Сийэса, всегда остроумная, порой глубокая, питалась сама собой, жила в абсолюте, пренебрегая истиной и сложностью вещей. Он превосходно умел возводить в принципы свои интересы и страсти, у него были и принципы, не зависимые от всяких личных точек зрения. Однажды сформулировав эти принципы с присущей ему точностью выражения, он прилепился к ним с полной убежденностью, но ему было неизвестно, искусство проводить их на практике.

Ныне, отстраняя народ от всякого непосредственного участия в делах, отдавая государство в руки правящего класса, он не организовал этого класса, этой касты, в сплоченное правительство. Он разделил его на абсолютные политические единицы, предназначенные удерживать друг друга в равновесии. Постоянно противопоставляясь и уравниваясь, эти части, в конце концов, уничтожили бы одна другую и результат получился бы чисто отрицательный, если только при первом же столкновении сама машина не распалась бы, не развалилась бы в куски. Где же в этом организме жизнь, действие, двигательная сила? За вычетом гарантии, предоставленной революционерам, ничего положительного и конкретного; тени, всюду только тени; трибунат и законодательный корпус – тени народного представительства; великий избиратель – тень верховной власти; консулы – две тени правителей, скованные друг к другу соперники. Даже сенат,

утвержденный на более прочном основании, царствовал, не управляя, но, хотя он и создавал все власти и мог одним жестом снова обратить их в ничто, он не имел силы оживить свое создание, вдохнуть в него дыхание жизни. Весь аппарат был способен функционировать лишь в области идеала и теории. Сийэсу нравилось наделять особые отделения своей машины разными способностями души: трибунату – воображение, инициатива; законодательному корпусу – решимость; консулату – переход к делу; сенату – рассудок, поддерживающий равновесие частей, и инстинкт сохранения. Но этот философский анализ, в применении к проблеме правительства, давал лишь чисто головную и бесполезную концепцию. Чтобы создать правительство, т. е. живое, деятельное существо, одаренное всеми человеческими свойствами, недостаточно было нагромождать одна на другую абстракции. И какой же момент был выбран для того, чтобы преподнести Франции эту сверхчеловеческую систему?

Момент, когда Франция, жаждущая чего-нибудь положительного, призывала к власти единство, силу, простоту и когда Бонапарт блистал в ее глазах всеми этими реальными качествами. Нация заранее отрекалась от своих прав в пользу этого человека; она не отрекалась бы от них ради метафизических сущностей.

II

Мало-помалу и Бонапарт ознакомился с идеями Сийэса. Обычные посредники – Талейран, Булэ, Рердерер теперь почти не выходили из малого Люксембургского дворца, их то и дело видели во дворце переходящими из одного павильона в другой, из квартиры одного консула в квартиру другого, передавая возражения, вопросы и ответы. Бонапарт не возражал против системы постепенного подбора нотаблей и выборных прав, предоставленных сенату, но и обманывался относительно значения этих новшеств: “народ будет лишен всякого непосредственного влияния на назначение законодателей; его участие в этом будет весьма призрачное и чисто отвлеченное”. В этом отношении пристрастие Сийэса к отвлеченности не было ему неприятно. Он чувствовал себя избранником народа, возлагавшего на него свои надежды и доверие, единственным избранником, и не хотел иметь соперников. Раздор начался по другому поводу: из-за Великого Избирателя и предоставленных ему преимуществ.

Нельзя сказать с уверенностью, что Сийэс с самого начала приберегал для Бонапарта эту пассивную верховную власть; пост консула по внешним делам, генералиссимуса, великого адмирала и хозяина в дипломатических сношениях, этот пост, казалось, был создан для него; но Бонапарт решительно заявил: “Мне кажется, что теперь, когда Сийэс, Роже Дю-

ко и я пользуемся исполнительной властью, другая власть правительству не нужна. Сийэс не настаивал, попытался соблазнить его приманкой высшего чина и поручил Редереру предложить ему место Великого Избирателя. Бонапарт внимательно выслушал посланного. “Так ли я вас понял? – сказал он наконец, – мне предлагают место, где я буду назначать всех, кому надо что-нибудь делать, с тем, чтобы я сам ни во что не вмешивался?...”.⁸⁰⁹ И он решительно восстал против этого плана. С беспощадной логикой он разобрал детали предлагаемой ему функции и показал, что в основе она представляет собой или ложь, или ничто. Он ставил дилемму и допускал только две гипотезы. В первом случае Великий Избиратель назначает консулами лиц, преданных ему, и инспирирует каждый их шаг, все время держа их под угрозой увольнения. Таким образом, он фактически правит страной, но глухо, с помощью обмана, тогда почему не предоставить ему открыто власть, которую он всегда может взять хитростью, окольным путем? Во втором случае Великий Избиратель относится совершенно серьезно к своей роли ничего не делающего монарха; он ничего не предпринимает, не трогается с места, воздерживается даже от желаний и совершенно отстраняется от общественных дел, довольствуясь своим высоким саном, возникает ли смута в государстве, переходит ли враг наши границы, он продолжает сидеть, сложа руки. Он получает шесть миллионов за то, что ничего не делает.

⁸⁰⁹ Roederer, III, 303.

Но какой же человек с душой, сколько-нибудь уважающий себя, согласится взять на себя столь постыдную роль и примирится с этим положением “откармливаемой свиньи”?⁸¹⁰ Это ему, Бонапарту, предлагают таким недостойным образом изменить доверию народа! “Это невозможно; пусть конституция сто раз предписывает это, народ этого не потерпит; я не стану играть такой смешной роли. Лучше ничего, чем быть смешным”.⁸¹¹

На деле он хотел быть всем и, прежде всего, в области исполнительной власти; он хотел управлять, направлять, руководить, утолить свою жажду владычества, дать свободу развиваться своему таланту повелевать людьми. Сильная исполнительная власть, сосредоточенная в его руках, с обеспеченным будущим, вышедшая из-под ферулы⁸¹² собраний, на сколько возможно освобожденная от их контроля – ничего другого он не допускал: высшую функцию он принял бы только под условием принять все связанные с нею обязанности и все ее прерогативы. Его блестящая диалектика казалась тем убедительнее, что была направлена против пустой, лживой, неосновательной концепции, он мог призвать здравый смысл на помощь своей алчности.

Сийэс хмурился и упорно цеплялся за свои идеи. Он видел рождение единой власти и обличал опасность, грозив-

⁸¹⁰ **Mémoires de Fouche, I, 162.**

⁸¹¹ **Roederer, III, 304.**

⁸¹² **бдительный надзор**

шую свободе. Притом же ему казалось, что в этом механизме, им выдуманном и выделанном, все части так тесно были связаны одна с другой, что отнять что-нибудь или прибавить – значило, нарушить гармонию и повредить ход всей машины.

Бонапарт и Сийэс виделись только на консульских заседаниях. Их друзья вообразили, что они лучше поймут друг друга, если увидятся и потолкуют частным образом, на свободе. Талейран, так ловко сумевший привести их к соглашению накануне брюмера, не отчаивался сблизить их и теперь. В конце первой декады брюмера он устроил между ними частное свидание и сам при нем присутствовал, но это свидание чуть было совсем не испортило дела: На убедительные возражения Бонапарта Сийэс отвечал ядовитыми, презрительными афоризмами, подсказанными ему невозмутимой самоуверенностью, замыкаясь в своей гордости, как в непреступной твердыне. Этот способ уклоняться от обсуждения путем утверждения приводил в негодование Бонапарта. “Сийэс, – говорил он на другой день, – думает, что он один знает истину; когда ему начинают возражать, он отвечает, будто по наитию свыше, и делу конец”.⁸¹³ Сам он был запальчив, несдержан, резок. Сийэс, наконец, грубо спросил его: “Так вы что же, хотите стать королем?”.⁸¹⁴ При этом слове, сохранившем в себе что-то отталкивающее, Бонапарт

⁸¹³ Boulay “Théorie constitutionnelle de Siéyes”.

⁸¹⁴ Notes manuscrites de Grouvelle.

стал горько жаловаться, что его неверно понимают и дурно судят о нем, он возмущался как могли заподозрить искренность его республиканских убеждений. Спор настолько обострился, закончился такой тяжелой сценой, что даже Талейран, несмотря на свое обычное бесстрашие, был очень огорчен.⁸¹⁵

Родерер и Булэ ломали себе голову, не находя средства помирить их. На другой день оба явились в Люксембург, каждый с готовой мировой на следующих условиях: Редерер предлагал Великого Избирателя, которому был бы предоставлен в некоторых случаях решающий голос. Булэ предлагал первого консула, который бы всегда присутствовал при совещаниях двух других и мог бы своим голосом дать одному из них перевес. Бонапарт обсуждал оба проекта, не скрывая, однако, что “ни тот, ни другой ему не по душе”.⁸¹⁶ Сийэс сухо заметил Редереру, что его проект лишен всякого здравого смысла, а проект Булэ, по его словам, отдавал королевской властью,⁸¹⁷ – его излюбленное страшное слово. В довершение затруднения в дело впутался Люсьен, который всем мешал, суетился, волновался, высказывал идеи, уже вышедшие из моды, разглагольствовал и говорил некстати. С назойливостью *enfant terrible* он обличал главный недостаток системы Сийэса, заявляя, что в результате она навяжет на-

⁸¹⁵ **Boulay, 47.**

⁸¹⁶ **Ibid, 49.**

⁸¹⁷ **Ibid.**

ции нежелательных ей людей. “Вы хотите учредить пожизненные должности, – кого же вы посадите на эти места? Теперешних членов национальных собраний? Но все эти господа неуютны народу. Скажут, что вы хотите воскресить герцогов и пэров и что лучше уж было оставить прежних”.⁸¹⁸ Люсьен разыгрывал демократа, требовал республики на американский образец, республики, действительно основанной на представительстве, где он надеялся отвоевать себе видное место. Булэ, Редерер, Сийэс и даже Бонапарт возмущались и негодовали на эту помеху. Однако и Бонапарт уже начал критиковать в делом систему Сийэса “как аристократическую, покушающуюся на свободу и верховную власть народа”.⁸¹⁹

Под вечер дурное настроение Сийэса страшно усилилось. Он уже поговаривал о том, чтобы все бросить и уехать в деревню, а, если надо, то и за границу. Бонапарт соображал, как воспользоваться такого рода случайностью и тоном человека, который твердо решил, говорил Редереру: “Если Сийэс уедет в деревню, составьте мне наскоро план конституции; я созову через неделю первичные собрания и заставлю их одобрить его, предварительно распустив комиссии”.⁸²⁰ Люди, насквозь пропитанные чистейшим брюмерским духом, желающие и правительства, и свободы, теперь уже не

⁸¹⁸ **Ibid, 52.**

⁸¹⁹ **Boulay, 49.**

⁸²⁰ **Boulay de la Meurthe, 50.**

знали, на чью сторону им перейти; казалось, делу брюмера, созданию двух дней суждено было погибнуть среди трудностей третьего.

III

До слуха парижан долетали лишь слабые отзвуки этой распри. Газеты печатали проект конституции отрывками, клочками, и эта нескромность возбуждала больше любопытства, чем интереса. Когда заговорил *Moniteur*, официозные публицисты, Редерер и другие, стали оправдывать основную часть этой системы – упразднение избирательного права. В этих оправданиях ярко сказалась буржуазность этих людей, их темперамент, по существу, антидемократический. Из оппозиции якобинской системе, непосредственному самоуправлению народа, или, вернее, правлению черни, Редерер восхвалял превосходство представительного режима, но в то же время утверждал, что кандидаты департаментов, избираемые отдельными фракциями французской единицы, не могут быть истинными представителями всей нации; логически это привело бы только к знаменитой системе коллегиальной единицы. А вне такого недопустимого приема, где же, спрашивает Редерер, искать настоящих представителей нации? В группе, существовавшей до областных выборов и стоящей выше их, но функционирующей “с согласия народа”,⁸²¹ иначе говоря, в освященной плебисцитом олигархии, среди цвета теперешних властителей, пожизненной аристократии, заменившей прежнее дворянство; вот какова могла бы быть ос-

⁸²¹ *Journal de Paris*, 17 брюмера.

нова режима, “чуждого и ужасам демагогии, и притеснениям аристократии, словом, отвечающего интересам великой нации, которая состоит не из одних только грубых и невежественных пролетариев, равно как и не из одних только унаследовавших привилегии”.⁸²²

Всего удивительнее, что эти софизмы не встретили возражений. Ни в печати, ни в обществе не возникало серьезных пререканий по этому поводу. Миновали времена страстных споров о форме, в какую облечь народные полномочия, о том, как народу пользоваться своей верховной властью; измученная нация думала не столько о своих правах, сколько о своих нуждах; ей администрация была еще нужнее конституции, хорошее правительство нужней законов; и сколько французов, наскучив правами, пользование которыми привело только к жестким распрям, в сущности, сочли бы себя счастливыми, если бы их освободили от их доли верховной власти!

Правда, в других отношениях планы Сийэса пришлись не по вкусу большинству. Их нашли сложными и непрактичными; слово поглощение,⁸²³ новое в нашем политическом лексиконе и заключающее в себе слишком мудреную идею для того, чтобы ее легко было усвоить, вызывало шуточки без конца, ибо парижанин любит смеяться над тем, чего не по-

⁸²² **Ibid.**

⁸²³ **absorption**

нимает.⁸²⁴ И что это за Великий Избиратель, венчающий собой вершину пирамиды в священной неподвижности в ореоле пышности и великолепия? Нечто вроде конституционного государя, предтечи королевской власти, призванного воскресить для нас обстановку и приемы монархизма. Ярые республиканцы, особенно дорожащие формой, находили это подозрительным.

Их опасения еще возросли после одного уличного или, вернее, бульварного инцидента. Однажды утром вблизи бульвара толпа зевак собралась у бывшего отеля Монморанси, теперь занятого каретником, привлеченная необычным и великолепным зрелищем – роскошной королевской каретой сплошь из стекол и позолоты. Это мог быть только экипаж, заказанный для Великого Избирателя, которого Сий-эс предлагал с помпой водворить в Версале – королевский экипаж. Все головы принялись за работу. Через несколько дней парижане поняли свою ошибку: карета была заказана для испанской королевы; ее отправили за Пиренеи.⁸²⁵ Тем не менее, некоторые газеты уверяли, что Сий-эс хотел наде-

⁸²⁴ “В ресторанах теперь спрашивают абсорбированную, т. е. хорошо прожаренную яичницу, абсорбированный суп и другие блюда. Шутники, угрожая приятелю, говорят: Если ты станешь рассуждать, я тебя абсорбирую”. *Journal des hommes Libres*, 22 фримера. – Absorber – поглощать, всасывать, втягивать внутрь.

⁸²⁵ Газеты за 10–16 фримера – *Taillandier, Documents historiques sur Daupou*, 172. – По этому поводу написан был водевиль: “Испанская Карета”.

лить своего Великого Избирателя пожизненной властью, а Бонапарт отверг это новшество, противное всем принципам демократического государства. Чтобы не обострять раздора между двумя властелинами, Редерер, в своей газете напечатал опровержение, но кое-что осталось, и Бонапарт прослыл истым республиканцем.

Кризис в Люксембурге к вечеру 10-го фримера все еще не вышел из острого состояния, но Булэ, Редерер, и Талейран не отчаивались уладить его и угодить Бонапарту, не слишком оскорбив Сийэса. В конце концов, они придумали вмешать в дело комиссии и как бы отдаться им на суд. Булэ пользовался большим влиянием среди своих коллег и брался подготовить большинство так, чтоб оно высказалось за основные положения Бонапарта. От Сийэса, разумеется, утаили эту подготовительную работу, убедив его, что Булэ и другие все время заботятся о том, чтобы шансы обоих были равны. Сийэс рассчитывал, что комиссии будут за него, и рассчитывал напрасно; ему предстояло очутиться лицом к лицу с чем-то вроде парламентского постановления, которого он не предвидел и перед которым ему было бы очень трудно не склониться.

Друзья все время хлопотали около обоих консулов, стараясь смягчить их натянутые отношения. Это сделалось само собой. Ночь раздумья ослабила и яростное нетерпение Бонапарта, и бледный гнев Сийэса. Хоть Бонапарт и напускал на себя надменную беспечность, разрыв с Сийэсом по-

ставил бы его в очень затруднительное положение. Он, по всей вероятности, был вынужден порвать и со многими другими; а тогда пришлось бы совершенно отрешиться от легальных форм и поднести конституцию французам на острие меча, что еще претило ему, так как его честолюбивые мечты умерялись благоразумием. Этот разрыв вызвал бы раскол в брюмерской партии, с которой он сначала конспирировал, затем управлял, внес бы расстройство в его центральный батальон. С другой стороны, Сийэс уже не мог не заметить, что стечение обстоятельств и настроение умов все сильнее и сильнее влекут Францию к Бонапарту, и этот поток сломает, опрокинет всякого, кто вздумает преградить ему дорогу. Около него не было недостатка в так называемых друзьях, вроде Фуше, чтобы напомнить ему, что генерал располагает военной силой и, следовательно, неопровержимыми доводами, чтобы внушить ему страх к “мужу брани”:⁸²⁶ Сийэс был “не вполне недоступен подобным впечатлениям”.⁸²⁷

В общем, сопротивление его ослабевало; он не отрекался от своих идей, не жертвовал ими, но и не противопоставлял более идеям Бонапарта несокрушимой преграды – нежелания выслушать и вникнуть. Они снова встретились в присутствии Талейрана, Булэ и Редерера; на этот раз беседа шла учтиво, спокойно, словно академическая конференция на тему возвышенных и туманных общих мест. Сийэс

⁸²⁶ Boulay de la Meurthe, 59.

⁸²⁷ Cambacérés, “Eclaircissements inédits”.

и Талейран блеснули каждый в своем роде, Бонапарт доказал свое превосходство во всех смыслах, и Булэ много лет спустя еще помнил, какое впечатление оставил в нем этот турнир умов, столь же различных между собой, как и незаурядных.⁸²⁸ Были затронуты самые трудные проблемы политической науки, но не касались жгучих практических вопросов, которые отныне решено было рассматривать лишь при участии обеих комиссий. Сийэс, наполовину обманутый, наполовину покорившийся, соглашался на этот способ покончить спор⁸²⁹ – задумав собрать у себя членов комиссий и заручиться их содействием. Но Бонапарт предупредил его; он не терял ни минуты.

11-го же вечером он собрал у себя в гостиной членов обеих секций, пригласив также Сийэса и Дюко.⁸³⁰ Начатый разговор скоро перешел в конференцию и затянулся далеко за полночь. В следующие вечера было то же. Через несколько дней Бонапарт пригласил к себе всех пятьдесят членов обеих комиссий и устроил заседание в полном составе. Днем оба небольших собрания продолжали свои обычные заседания во дворце Бурбонов и в Тюльери с соблюдением всех принятых форм, с печатавшимися в газетах отчетами, обсуждали дела, вотировали законы. А вечером рассматривалось

⁸²⁸ **Boulay, de la Meurthe, “Théorie constitutionnelle de Sieyes, 57”.**

⁸²⁹ **Grouvelle в своих записках прямо говорит: “обхаживают комиссии, обманывают Сийэса”.**

⁸³⁰ **Le Publiciste, 12 фримера.**

все касающееся конституции и обсуждалось сообща, но в закрытом, частном заседании, под наблюдением консулов, для того, чтобы комиссии, когда им придется утверждать новый общественный договор, лишь запротоколировали то, о чем они во всех подробностях сговорились заранее.

Бонапарт торопил, подгонял, и в десять-двенадцать заседаний, в десять-двенадцать вечеров все было кончено. Его игра состояла в том, что он пользовался Сийэсом против комиссий и комиссиями против Сийэса. Он по секрету говорил коллеге: “Эти люди слишком низки и для вас, и для меня”,⁸³¹ чтобы внушить ему отвращение к этим остаткам парламента. По его настоянию, решено было выслушать сперва Сийэса и просить его полностью развить свою идею. Сийэс изложил ее весьма подробно, все на словах. Слушатели, по видимому, одобрили и восхищались, с одной лишь оговоркой: все это очень хорошо, но не заменяет писаного проекта, не дает положительный базы для прений. Нужен редактор, умелое перо, кто-нибудь, кто бы взялся построить план на бумаге. Эта задача возложена была на Дону, весьма опытного по этой части; Бонапарт рекомендовал ему поторопиться.

На другой день Дону принес проект, плод напряженного, упорного труда и его собственных давнишних размышлений, существенно отличавшийся от концепции Сийэса. Проект этот грешил и сложностью, и чрезмерным избытком статей, но он был полон искренности и либерализма.

⁸³¹ Grouvelle, “Notes manuscripts”.

Дону, главный автор конституции III-го года, питал к ней родительскую слабость. Вместо того, чтоб уничтожить ее и заменить другой, он решил только пересмотреть ее, приспособив ее к требованиям данного момента и общему настроению умов, исправить недостатки, заполнить пробелы на основании приобретенного опыта.

Он оставлял народу право выбирать своих представителей, под условием выбирать их из числа людей, уже доказавших на деле свою способность выполнять политические функции, департаментские или муниципальные; он оставлял и два собрания: пятисот и двухсот, нечто вроде верхней палаты. Предоставление законодательной инициативы исключительно парламенту, как это было до сих пор, давало место массе злоупотреблений; Дону разделил эту инициативу между правительством и одною из палат – собранием пятисот. Там он сосредоточил ее в тесном кругу постоянной комиссии инициативы, в коллегии трибунов: десять трибунов, избираемых своими товарищами из совета пятисот, должны выслушивать желания народа и формулировать их в виде проектов, которые затем будут обсуждать и вотировать оба собрания. У Сийэса Дону заимствовал институт высшего жюри с правом отменять указы, не согласные с конституцией. Вместо того, чтоб разделить исполнительную власть между пятью директорами, он делил ее между тремя консулами, но допускал между ними первоприсутствующего, чтобы выдвинуть Бонапарта. Рядом особых постановлений гаранти-

ровались народные вольности, хотя и ограниченные довольно строгой регламентацией.⁸³²

Все свои мысли Дону записал на отдельных летучих листках, на маленьких четвертушках бумаги и захватил с собой целую папку их, отправляясь на конференцию в надежде, что его план будет принят. Но перед властной волей, мало-помалу все покорявшей и перевешивавшей, что могли значить эти легкие листки? Наличие двух проектов, Сийэса и Дону, позволяла Бонапарту противопоставить их один другому, взять из каждого то, что отвечало его честолюбию, и бросить остальное. Он сказал Дону: “Гражданин Дону, берите перо и садитесь вот здесь!”⁸³³ Дону, с пером в руке, начал читать свои заметки. Бонапарт каждый пункт подвергал обсуждению прежде чем пустить его на голоса. Его друзья и приспешники, Булэ и другие, предлагали значительные поправки, вдохновляясь то идеями Сийэса, то совершенно противоположными идеями. Большинство членов комиссий соглашались на поправки. Бонапарт держал их в руках надеждой на места, приманкой бессменного сенаторства или воскрешенного титула государственного советника; он эксплуатировал все виды алчности, кишашей вокруг успеха.

Каждую поправку, принятую большинством голосов, Дону волей-неволей приходилось записывать, так как он при-

⁸³² Taillandier, “Notice sur Daunou”, 174–188. Из неизданных документов Дону, сообщенных нам благодаря любезности г. Жильбера Буше.

⁸³³ Taillandier, 171.

нял на себя роль редактора. Он меланхолически переворачивал листок и на обратной стороне записывал принятое постановление, против которого нередко сам восставал.⁸³⁴ Эти листки сохранились и представляют собою курьезный документ. Нередко написанное на одной стороне идет вразрез с тем, что написано с другой, recto⁸³⁵ мы видим собственную мысль Дону, verso⁸³⁶ – формулированную им по желанию собрания. Что касается Сийэса, то если он кой в чем и выиграл, все же в самом существенном его работа пропала даром: все было искажено, он не узнавал своей идеи.

Система списков нотаблей, передача избирательного права народом сенату прошли вопреки желанию Дону. Сговорились также относительно учреждения трибуната и законодательного корпуса. Булэ восстал против права поглощения и убедил отменить его, несмотря на протесты Сийэса. Самую главную трудность, казалось, представляла собой организация исполнительной власти. Но власть сама неудержимой силою вещей благодаря ослаблению воли противников шла в руки Бонапарта. Она переходила к нему понемногу, по частям, рядом последовательных отречений.

По первоначальной концепции Бонапарт, Великий Избиратель, парил над правительством, не участвуя в его трудах, парил в бездействии над обоими консулами. Булэ в своем

⁸³⁴ **Taillandier, “Je Consulat et J'Empire”, I, 103.**

⁸³⁵ **лицевая сторона**

⁸³⁶ **обратная сторона**

проекте заставил его сойти с облаков; он делал его самого консулом и даже первым консулом; сажал его между двух коллег с тем, чтобы он обсуждал с ними выбор чиновников и все административные и правительственные меры, чтобы голос его обеспечивал коллективные постановления и создавал большинство. Дону шел дальше: одним из своих параграфов он предоставлял первому консулу право назначать единолично своею властью всех агентов, назначение которых зависело от исполнительного комитета. Но в статье имелась и оговорка; она заканчивалась так: “Во всех других актах исполнительной власти второй и третий консулы имеют решающий голос, как и первый”. Таким образом, первый консул все мог сделать по соглашению с тем или другим из своих коллег и ничего, если бы оба они оказались противоположного мнения. Этого Бонапарт никоим образом не мог допустить, ему нужно было, чтобы мнения навязанных ему советников никогда и ни к чему его не обязывали. И этот последний шаг был сделан: предложенная поправка принята, и Дону вместо своего собственного текста, написал на обороте листа следующие решающие строки: “В других правительственных актах второй и третий консулы имеют совещательный голос. Они подписывают протоколы заседаний, констатируя свое присутствие и, если хотят, могут тут же изложить свое мнение; после чего достаточно решения первого консула”.⁸³⁷

⁸³⁷ Листок с обоими текстами сохранился в бумагах Дону.

Этими восемью словами решалась судьба Франции, правительство снова обретало единство воли, в течение десяти лет отсутствовавшее. При этом, однако же, старались соблюсти приличие, маскировали действительность, для виду жертвовали правдой, одной из ложных идей, на которых держалась революция, – будто республика заключается в множественности глав государства. Правительственные постановления, принятые на заседании консулов и скрепленные тремя подписями, должны были казаться исходящими от коллективного правительства, тогда как на самом деле они исходили от одного человека.

Сийэс не заблуждался на этот счет; он чувствовал себя слишком жестоко проведенным и обманутым. Он не восставал, но, казалось, теперь утратил интерес ко всему. Бонапарт частным образом спросил его, какое вознаграждение он желал бы получить. В первый момент он ответил: “Никакого; я прошу только отставки”. Но весьма важно было, чтобы Сийэс не дулся, и главное, чтобы незаметно было, что он дуется. В глазах класса влиятельнейших революционеров и философов Бонапарт был бы настоящим главой, представителем, хранителем (*dépositaire*) революции лишь до тех пор, пока люди, подобные Сийэсу, оставались бы подле него, окружая и покрывая его своим престижем. Поэтому он продолжал частным образом видеться с теоретиком и вести с ним переговоры, как равный с равным. Сийэс был не такой человек, чтобы долго сердиться наперекор своим выгодам и

удобствам, чтобы бороться за невозможное. Теперь он с каким-то фатализмом давал дорогу неизбежному в надежде, что оно только временное и пройдет, а будущее выдвинет другие комбинации. Вера его в непогрешимость его концепций не пошатнулась ни на йоту, но он считал, что Франция в данный момент еще не в состоянии оценить всю их утонченную красоту, и ему доставляло какое-то горькое удовлетворение чувствовать себя непонятым; его гордость тешило это одиночество мысли. Тем не менее он хотел спасти если уж не принципы, то хоть материальное положение своей партии и свое собственное. С его стороны не было полной капитуляции перед Бонапартом; он только пошел на сделку.

И вот на каких условиях. Вместо того чтобы остаться возле Бонапарта в положении, поневоле низшем, он станет наряду с ним во главе законодательной власти. Он будет председательствовать в Сенате, а главное, ему будет предоставлена полная возможность влиять на выбор первых консерваторов при назначении членов трибуната и законодательного корпуса; на деле выбор членов обеих палат будет предоставлен ему. Путем странного перемещения Великий Избиратель, вначале – глава исполнительной власти, становится во главе власти законодательной, и этим Великим Избирателем будет Сийэс. Роль отца и создателя собраний была ему по душе, так как она позволяла ему после творения и отдыха в созерцательном и весьма доходном бездействии, оставаться в то же время невидимой душой созданных им тел. Он

мог по желанию пересадить в Сенат всех членов бывшего совета старейшин, присоединенных из совета пятисот, – всех, кто более или менее олицетворял пережитки конвенционной буржуазии и философской школы и представлял собою революционные традиции, интересы, дух и исключительность революции.

С помощью этой, хотя и сильно поубавившейся партии, Сийэс все еще надеялся сдержать и ограничить Бонапарта. Со своей стороны, Бонапарт ничего не имел против того, чтобы позволить дискредитированной олигархии разместиться ввиду его законодательных позиций, сделать себе из них убежище и пристанище. К тому же, он не был недоволен тем, что собрания, с которыми ему придется считаться, будут составлены из людей ненавистных нации и уже родятся непопулярными. Если они вздумают ставить препоны его политике, общественное мнение, голос народа всегда будут на его стороне. В предстоящих столкновениях с его вчерашними союзниками и завтрашними противниками у него сбудет крупный ресурс – возможность апеллировать к народу, ссылаясь на них.

IV

От разговоров о положении Сийэса Бонапарт переходил к вечерним работам, к совещательным прениям о конституции, и все больше торопил их. Форма верховной власти в государстве была выяснена; теперь занялись остальным. Во главе государства поставлен великий консул; какими же учреждениями окружить эту столь высоко вознесенную власть? Будут ли то либеральные учреждения? Найдет ли она свое ограничение в организации прав личности и коллективных прав? Несколько членов комиссий, в том числе Дону и Шенье, с мужеством, достойным всякого уважения, пытались воздвигать преграды и требовали гарантий. Бонапарт рассердился за это на Дону и Шенье и в наказание исключил их из состава будущего сената: по его предложению, было постановлено, что членами сената могут быть только граждане не моложе сорока лет: ни Дону, ни Шенье не достигли этого возраста.

Вообще Бонапарт старался по возможности устранить и сокращать принципиальные споры. В тех вопросах, где он считал себя особенно компетентным, он порой сам предлагал редакцию постановления, краткую, властную, со звучащей в ней воинственной ноткой. Однажды вечером он взял перо и нацарапал следующие две строчки, которые должны были служить текстом одной из статей: “Если департамент

открыто взбунтуется, он будет объявлен на военном положении, и с этого момента в нем допускается одна лишь военная власть. Формуле недоставало точности, и слов “военная власть” лучше было не произносить. Лебрэн предложил сказать то же, но иначе, предвидя все случаи возмущения. В конце концов была принята следующая редакция, почти такая же, как у Дону: “В случае вооруженного мятежа или беспорядков, угрожающих безопасности государства, закон может приостановить для данной местности и на определенный им срок действие конституции. (Дону предлагал сказать: некоторых специально обозначенных конституционных постановлений). Подобная приостановка может быть произведена в тех же случаях и правительственным указом, когда законодательный корпус распущен под условием, чтобы этот корпус был созван в кратчайший срок на основании одной из статей того же указа.”⁸³⁸

Как видите, Бонапарту не во всем удавалось диктовать законы. Когда возникало препятствие, он порой бесился, топал ногами, грыз ногти,⁸³⁹ но почти тотчас же усилием воли овладевал собой, обуздывал себя, прятал когти и становился снова миролюбивым и спокойным. Необузданность характера сдержанная страсть прорывались в нем лишь вспышками. Однажды вечером, когда представитель Матье позволил себе

⁸³⁸ Все три рукописные редакции имеются в бумагах Дону; снятое с них факсимиле приведено у Taillandier.

⁸³⁹ Foùché, “Motoires”, I, 165.

резкость выражений, слишком напоминавшую другие времена, Бонапарт бросил ему язвительное слово: “Вы говорите точно в клубе”.⁸⁴⁰ Это замечание нагнало холода на всех присутствующих. Но минуту спустя Бонапарт нашел случай подойти к Матье и извинился за свою резкость.⁸⁴¹ Эта борьба с людьми, которые говорили лучше его и которых ему не всегда удавалось покорить своей железной воле, раздражала его и нервировала. И все же в споре он учился, изучал и судил своих противников, восхищался их ораторским талантом, проникаясь в то же время глубоким презрением к их идеям. На острове Св. Елены он следующим образом формулировал свои наблюдения за фример VIII года: “он заметил, что люди хорошо пишущие и одаренные красноречием были в то же время лишены всякой основательности в суждениях, лишены логики и очень жалки в споре. Дело в том, что есть люди, от природы одаренные способностью писать и хорошо излагать свои мысли, как другие бывают одарены талантом к музыке, живописи, скульптуре и пр. Для государственных дел, административных и военных нужны сила мысли, глубокий анализ и способность в течение долгого времени сосредоточиться на известном предмете, не утомляясь”.⁸⁴²

По прошествии нескольких ночей комиссары падали от усталости; его усталость точно не коснулась; он сохранил

⁸⁴⁰ **Thibaudeau, le Consulat et l'Empire.**

⁸⁴¹ **“Commentaires” I, IV, 73.**

⁸⁴² **Publiciste, 29 фримера.**

всю гибкость мысли в тщедушном, порою лихорадящем теле. Уже после того, как вотирована была конституция, он разрешил себе заболеть на два дня.⁸⁴³ В промежуток совещаний его занимала теперь другая мысль: он думал о ней день и ночь. Все охотно предоставляли ему выбор второго и третьего консулов – но кого же возьмет он в товарищи? Слишком крупный для того, чтобы возвеличить себя, окружая себя ничтожествами, он хотел иметь настоящих помощников, деятельных сотрудников, которые бы во многих вещах помогали его неопытности; он выбрал способных и достойных.

Камбасерэс показался ему самым подходящим человеком для поста второго консула. Это был один из первых персонажей республики. Он был вовсе не поклонник либеральных учреждений. В нем прежде всего оказывался правительственный член конвента правящей группы, один из тех, кто всегда умел среди худших волнений сохранить или вновь обрести понятие о государстве, блюсти традицию королевского государства, приспособляя его на революционный лад. Теперь он всей душою призывал настоящее правительство, великое правительство и желал только, чтобы эта сильная власть проявлялась с умеренностью. Природное благоразумие заставляло его порицать, или, по крайней мере, оплакивать всякого рода крайности; когда он чувствовал себя бес-

⁸⁴³ “Бонапарт слегка прихворнул на этих днях. Два вечера подряд дверь его дома закрывалась ранее обыкновенного” – См. “*Commentaires de Napoléon I, IV, 72–73*”. Его нездоровье приписали злоупотреблению кофе.

сильным помешать злу, он тушевался и давал ему дорогу, потом возвращался, чтобы предупредить последствия и поправить нанесенный вред; это был герой вторых дней кризиса. Он любил удобства, умел ценить и наслаждаться материальными выгодами власти, был очень чувствителен к почестям, чтит церемониал и, конечно, не мог прослыть типом республиканской суровости; но он прибавил бы блеску консульству, так как в его вкусах, даже в его слабостях и наслаждениях, было что-то импонирующее. “Его никогда не покидает торжественное спокойствие”, — говорит о нем одна тонкая наблюдательница, прибавляя следующие пророческие строки: “Я уверена, что Камбасерэс мог бы целый век прожить бок о бок с Бонапартом, не сказав ему ни одного резкого или не особенно вежливого слова”.⁸⁴⁴ Во всяком случае солидность его знаний, его меткие суждения, кроткая величавость его речи делали из него советника всегда полезного и никогда не бывающего нескромным.

Выбрать третьего консула было не так легко. Бонапарт долго колебался между Ле-Кутэ, Крете и Лебреном, пока, наконец, не остановился на Лебрене. Это был человек уже в летах, до революции известный как писатель, потом он заседал в учредительном собрании и в совете старейшин; его положение в политическом мире было второстепенное, но почетное и прочное.

Бонапарту казалось, что Камбасерэс и Лебрен, именно в

⁸⁴⁴ *Lettres de madame Reinhard*, 113.

силу контраста своего прошлого и своих тенденций, должны дополнять друг друга. Камбасерэс выдвинулся в самый разгар революции и достаточно зарекомендовал себя; Лебрен, по слухам, симпатизировал роялистам и, главное, сохранил связи с ними. В консульском правительстве не худо было поставить рядом с бывшим членом конвента и бывшего члена учредительного собрания, рядом с умудренным опытом республиканцем – присоединенного роялиста. Лебрен будет его правым крылом, Камбасерэс левым, и через посредство их обоих он, Бонапарт, будет иметь возможность влиять на оба лагеря общественного мнения; таким образом; ему легче будет привлечь их к себе и абсорбировать в одном общем движении. Кроме того, Камбасерэс был очень знающим юристом, а Лебрен много занимался финансовыми вопросами; у каждого была своя сфера компетентности и своя специальность. Бонапарт, с большим тактом, окончательно остановил свой выбор на Лебрене лишь после того, как получил на то как бы согласие Камбасерэса. “Давайте сговоримся, – сказал он ему, – относительно третьего консула. Нам нужен человек, который, не будучи совершенно чуждым революции, поддерживал бы сношения с остатками прежнего общества и мог бы успокоить их насчет будущего”.⁸⁴⁵ Предварительно он навел подробные справки у Редерера, хорошо знавшего всех политических деятелей, и учинил ему настоящий экзамен относительно Лебрена.

⁸⁴⁵ Cambacérés, “Eclaircissements inédits”

Бонапарт – Чем был Лебрэн?

Редерер – Сперва секретарем канцлера Мону, затем выдающимся литератором, членом учредительного собрания, президентом версальской администрации и законодателем.

Бонапарт – Что он сделал в литературе?

Редерер – Перевел Гомера и Тасса.

Бонапарт – Какая у него репутация?

Редерер – Он слывет роялистом, но всегда пользовался доверием патриотов и всегда оправдывал его. Раз он уже примкнул к какой-нибудь партии, он остается ей верным; надежней его нет человека.

Бонапарт – Он не орлеанист?

Редерер – Ничуть не бывало.

Бонапарт – Лафайеттист?

Редерер – Еще того меньше.

Бонапарт – Характер у него уживчивый?

Редерер – Превосходный. Это милейший человек, тихий, скромный, от природы миролюбивый.

Бонапарт – Он не пользуется репутацией патриота?

Редерер – Вы слишком щепетильны: я бы на вашем месте плюнул на все эти репутации.

Бонапарт – Мне нужно только, чтобы человек был умен; об остальном я уже сам позабочусь... Лебрэн женат?

Редерер – Не знаю, но думаю, что женат.

Бонапарт —...Пришлите мне его сочинения; я хочу (ознакомиться с его стилем.

Редерер – То есть что именно? Его речи в законодательном и учредительном собрании?

Бонапарт – Нет, его литературные произведения.

Редерер – Чем же они могут помочь вам решить, способен ли он быть консулом?

Бонапарт – Я посмотрю его посвящения.

Редерер – На этот раз вы меня удивили; такого любопытства я не ждал. Я часто сравнивал ваши расспросы о людях и вещах с исследованием пригоршни песку, которую вы рассматриваете в лупу, песчинку за песчинкой; посвящения Лебрена – это последнее зернышко песку в горсти.

Бонапарт (смеясь) – Уже два часа; мне пора в консульство. Приходите ко мне обедать”.⁸⁴⁶

Этот разговор происходил 19-го фримера; вечером в тот же день, когда учредительный комитет собрался для работы, оказалось, что Дону уже переписал набело многие из принятых статей. Но все же конституция была еще далеко не закончена; в таком виде ее нельзя было читать на официальном заседании. Многие вопросы были еще не решены, и какие вопросы! Делать ли декларацию прав, согласно прецедентам 1793, 1798 и III года? Включить ли в конституцию статьи о преобразовании администрации, департаментов судебных учреждений, о свободе печати? Все это были спорные вопросы, но Бонапарт так спешил покончить с конституцией, точно обозначив в ней как можно меньше пунктов, что

⁸⁴⁶ Roederer, III, 305–306.

уже 21-го, в обыкновенном дневном заседании комиссии пятисот Булэ начал читать изложение мотивировки еще не выработанного окончательно основного закона. Прочитав начало, он остановился, отложив продолжение до завтра; чтение мотивировки должно было предшествовать чтению самых статей.⁸⁴⁷

Этому продолжению не суждено было увидеть свет. Вечером у Бонапарта снова собралась конференция для обработки еще не затронутых пунктов. По вопросам об окончательной организации власти и о судебных учреждениях комиссии сильно разошлись между собою; в некоторых пунктах им прямо невозможно было сговориться, установить редакцию статей; началась неурядица.⁸⁴⁸ Возникло опасение, что если завтра один из спорных пунктов будет прочитан на открытом заседании, он может вызвать возражения, оппозицию; чего доброго, придется все начинать сначала. Ввиду гласности заседаний, распря из газетных отчетов станет известной публике – все это Бонапарт счел необходимым пресечь в самом начале, приняв решительные меры.

На другой день заседания обеих комиссий начались в обычный час, но ни во Дворце Бурбонов, ни в Тюльери, не было сказано больше ни слова о конституции; Булэ остерегался продолжать чтение мотивировки, чтобы не вызвать прений. Поздно вечером члены комиссий в последний раз

⁸⁴⁷ *Moniteur*, отчет о заседании 21 фримера.

⁸⁴⁸ *Cambacérés*, “*Eclaircissements inédits*”.

собрались запросто в Люксембурге в салоне Бонапарта, где находились также Сийэс и Дюко. Здесь им прочитали конституцию, обрывавшуюся на том самом месте, с которого она не могла сойти накануне, и предложили одобрить ее так, как она есть, без дальнейших церемоний, поставив каждый свою подпись внизу. Запертые в одной комнате, попавшие в ловушку, измученные долгими бдениями и бессонными ночами, они не посмели возмутиться против деспотической наглости такого приема. Притом же, здесь был Бонапарт, с его повелительным тоном и взглядом – как противиться этому ужасному человеку! Пятьдесят парламентариев покорились, и урезанная конституция, результат торопливых импровизаций, была принята поневоле, не подвергшись ни формальному обсуждению, ни правильному голосованию.

Это было нечто вроде комнатного *сoup d'etat*, завершившегося характерным эпилогом. Чтоб оказать, хотя по виду, уважение комиссиям, решено было, что они для проформы выберут трех консулов, намеченных заранее. Баллотировали тут же, не сходя с места, у Бонапарта. Указная мерка, вместимостью в литр или декалитр, служила избирательной урной. Пока отбирали бюллетени, Бонапарт стоял, прислонившись спиной к камину, и грелся у огня. Хотели приступить к чтению, как вдруг он подошел к столу, сгреб в кучу все билетки и не дал их разворачивать. Затем, повернувшись к Сийэсу, любезно молвил: “Вместо того, чтобы читать эти

бюллетени, дадим новое доказательство нашей признательности гражданину Сийэсу, предоставив ему право назначить трех первых чинов республики, и будем считать, что назначенные им лица будут те же самые, кого мы только что избрали”.⁸⁴⁹

К чему эта новая неправильность? Или Бонапарт боялся неожиданностей закрытой баллотировки? Комиссии, несомненно, не решились бы обманом отказать ему в выборе удобных ему лиц, но, по-видимому, некоторые члены, в виде косвенного протеста, намеревались подать голоса за Дону, выбирая его третьим консулом, а Бонапарт хотел чтобы его коллегии, как и сам он, были избраны единогласно. Кроме того, его властный поступок был как бы утверждением вновь заключенного с Сийэсом договора, способом признания за ним прав верховного избирателя: теперь он фиктивно назначит консулов, потом будет в действительности назначать депутатов и трибунов. Сийэс вначале отнекивался, затем назвал имена Бонапарта, Камбасерэса и Лебрена. Раздались аплодисменты, и в газетах было напечатано, что избрание состоялось “par acclamation, без баллотировки и единогласно”.⁸⁵⁰ Было одиннадцать часов вечера, неразвернутые бюллетени догорали в камине.

⁸⁴⁹ Cambacérés, “Eclaircissements inédits”, подтверждающие в этом отношении слова Дону, приводимые Taillandier, 191–192 и Larevelliere Lepeaux, “Mémoires”, II, 420–426.

⁸⁵⁰ Publiciste, 23 февраля.

В присутствии членов обеих комиссий, все еще толпившихся в тесной гостиной, имена консулов были вписаны в конституцию и сюда же внесены имена сначала Сийэса, затем Дюко, как первоприсутствующих сенаторов. Было упомянуто и о том, что Сийэсу, которому для формы даны были в помощники Дюко, Камбасерэс и Лебрэн, предоставляется выбрать двадцать девять сенаторов, а они, под его руководством, в свою очередь, выберут двадцать девять других, и составленный таким образом сенат будет выбирать депутатов и трибунов. От немедленного назначения и включения в конституцию списков с именами избранных решили отказаться. Кандидатов было несравненно больше, чем мест; полагали, что не следует никого обескураживать и что во время плебисцита больше стоящих людей будет поддерживать конституцию, если у них сохранится надежда при помощи ее получить свою долю.⁸⁵¹ Сговорившись относительно этих подробностей и окончательно распределив права и сферы ведения между Бонапартом и Сийэсом, пятьдесят комиссаров, вслед за тремя временными консулами, подписали конституцию.

Текст ее, помеченный 22-м фримера, был в ту же ночь сдан в типографию. Бонапарт, скорый во всем, хотел, чтобы она на другой же день к вечеру была обнародована в Париже, чтобы муниципалитеты, построенные колоннами, по военному прошли по городу, с барабанщиками впереди,

⁸⁵¹ **Lettres de madame Reinhard, 103.**

оповещающая о ней. Утром 23-го были командированы и войска для их сопровождения. Реаль, правительственный комиссар при администрации Сены, циркулярно предложил муниципалитетам своего округа, не медля ни минуты, принять все зависящие меры к напечатанию указа как только он выйдет из-под станка: “Через несколько минут вы получите корректурные оттиски законов, которые вы должны будете обнародовать. Ставлю вам на вид, что это обнародование должно состояться не позже сегодняшнего вечера.⁸⁵² Но наскоро составленный текст был так бессвязен, что пришлось просить Дону выправить его корректуру, расположив в бóльшем порядке статьи.

⁸⁵³ Это вызвало задержку; пришлось отложить церемонию обнародования до одиннадцати часов утра следующего дня; 25-го конституция была напечатана в газетах.

Кабанис в комиссии пятисот сказал похвальное слово ей от имени философов и института. Метафизики, видя, что

⁸⁵² Парижская городская библиотека, отдел 21, рукописи.

⁸⁵³ Париж, 23 фримера VIII лета французской Республики, единой и нераздельной. Главный Секретарь Консулов гражданину Дону, народному представителю. “Честь имею послать вам, гражданин, неисправленную корректуру конституции. Присоединяю несколько замечаний относительно распределения различных статей, вошедших в Состав VII отдела: Общие распоряжения. Прошу вас как можно скорее вернуть мне корректурные листы с поправками, которые вы признаете необходимым сделать, для того, чтобы я мог, согласно желанию консулов, ускорить печатание. Примите уверение в глубоком уважении”. *Гюг-Б. Марэ* “Посланный будет ждать корректуру” (*Из бумаг Дону*).

для них обеспечено место в сенате, законодательном корпусе и трибунате, что отныне им уже не угрожают опасностью капризы народных выборов и народной немилости, нашли что, в конце концов, конституция освящает неприкосновенность их привилегий. Почему бы Бонапарту, воину-философу, гордящемуся своей принадлежностью к институту, и не позволить им облекать свои учения в форму законов, без помехи со стороны грубой толпы и демократов, которые своим шумом и беспорядочностью нарушали бы чинность их совещаний? Кабанис говорил: “Невежественный класс не будет отныне оказывать влияния ни на законодательство, ни на правительство; все делается для народа и во имя народа. Ничто не делается его собственными руками и под его неразумную диктовку”.⁸⁵⁴ Иные еще не отрешились от мысли, что созданное брюмером правительство будет цветом интеллигенции, умственной аристократией, правящей в интересах революционного дела и революционного идеала.

Парижский народ видел яснее; для него правительство — это был Бонапарт. Что ему трибуны, депутаты, сенаторы, вся эта иерархия, в которой он ничего не смыслил, эти разнообразные полномочия, к перечислению которых он оставался глубоко равнодушен?⁸⁵⁵ Один человек, казалось ему, взял на

⁸⁵⁴ *Ami des Lois*, 4 нивоа.

⁸⁵⁵ “В общем, народ Парижа выслушал эту конституцию и отнесся к ней скорее равнодушно, чем с интересом. Народу все наскучило, кроме мира”. *Bailleu*, II, 356.

себя задачу исцелить Францию – пусть покажет себя; его будут судить по делам, он один и ответит за успех и неудачу. Когда конституцию провозглашали на улицах под звуки труб и грохот барабанов, ее читал один из чинов муниципалитета, и все так толкались, чтобы лучше слышать, что никому не удавалось поймать двух фраз подряд. Одна женщина сказала своей соседке: “Я ничего не расслышала. – А я так не пропустила ни одного слова. – Ну, что ж там такое, в этой конституции? – Там Буонапарте”.⁸⁵⁶

⁸⁵⁶ *Gazette de France*, 26 фримера.

V

Впоследствии Бонапарт говорил Редереру: “Конституция должна быть краткой и... – ясной, – хотел закончить Редерер. – Да, продолжал Бонапарт, не дав ему сказать слова, – краткой и неясной”.⁸⁵⁷ С этой точки зрения, конституция VIII года должна была ему нравиться; во многих своих частях она была образцом двусмысленности. За исключением вершины и некоторых резко выделенных линий, все в этом здании государственного благоустройства было окутано тенью, было смутно, неясно, бесформенно.

Первая глава предоставляла звание гражданина каждому совершеннолетнему французу, внесшему свое имя в списки граждан. Каждый гражданин мог пользоваться своими политическими правами в той же коммуне, где он имел постоянное местожительство в течение года. Это было почти восстановление всеобщей подачи голосов, фигурировавшей только в не применявшейся на практике конституции 1793 года. И в то же время это была лишь платоническая честь, ибо доля регулярного вмешательства гражданина во внутренние политические дела страны ограничивалась участием в составлении списков общинных нотаблей, которые предполагалось впервые составить в IX году, покрыв их затем департаментскими и национальным списками. По ст. 14-й гражд-

⁸⁵⁷ Roederer, III, 428.

дане, назначенные для первого формирования штатов властей (к этому формированию предполагалось приступить немедленно), обязательно должны быть внесены и в первые списки. Но каким же образом, путем какой баллотировки будут избираемы другие нотабли для будущих списков? И что требуется для того, чтобы попасть в списки – ценз, или только правоспособность? Об этом конституция умалчивала. Она ограничивалась тем, что давала чертеж механизма; чтобы обеспечить его функционирование, нужно было еще дополнить ее рядом органических постановлений, собранных в одно стройное целое.

По составлению списков звание нотабля первого или второго разряда давало право занимать местные должности. Высшие чины государства выбирались сенатом по национальному списку. Сенату конституция создавала весьма привилегированное положение. “Охранительный сенат (*Le Sénat conservateur*) состоит из восьмидесяти членов, несменяемых и пожизненных... Расходы сената покрываются доходами со специально отведенных для этого национальных имуществ. Из этих доходов выплачиваются годовые оклады жалованья его членам, равные каждый двадцатой части суммы, ассигнуемой на содержание консульства (т. е. 25 000 фр., так как консулы втроем получали 500 000 фр. ежегодно)”. Сенат, первоначально состоящий из шестидесяти членов, в течение десяти лет постепенно и самостоятельно пополняя свой состав, должен дойти до намеченной цифры в восемьдесят;

также самостоятельно замещает он могущие в нем открыться вакансии. Он же выберет консулов, по истечении полномочий Бонапарта, Камбасерэса и Лебрена, уже облеченных властью; консулы всегда могут быть избраны снова, но не сказано, в какой форме должно происходить это избрание, или переизбрание. Начиная с IX года, сенат приступает к частичным обновлениям состава трибуната и законодательного корпуса; но не сказано, будут ли выбывающие члены удалены по жребию или по указанию сенаторов.

Среди всех этих недомолвок и двусмысленностей резко выделяется глава IV: О Правительстве. За исключением нескольких пунктов, умышленно невыясненных, все там определено и ясно; эта часть конституции рельефно выдается вперед и доминирует над целым. А целое обусловливается всеми чувствуемой, назревшей потребностью возвратить государству голову и удовлетворить требованиям Бонапарта. Центральная власть, лишенная в 1791 г. самых существенных своих атрибутов, ставшая тенью самой себя и мишенью для общих нападков, власть, возрожденная конвентом в виде чудовищной автократии и принявшая при директории форму беспорядочной тирании, появляется снова, снабженная здоровыми и правильно функционирующими органами; это возрождение авторитета.

Бонапарт назначен первым консулом на десять лет. Он издает законы, назначает и увольняет государственных советников, министров, послов и других иностранных агентов,

офицеров сухопутных армий и флота. Его власть над чинами судебного ведомства ограничена правом несменяемости. Он назначает, но не увольняет всех судей по уголовным и гражданским делам, за исключением членов кассационного суда, назначаемых сенатом, и мировых судей. В 1791 г., в первом порыве революционных страстей и революционной искренности избирательное начало – повсюду; тогда хотели, чтобы народ избирал и законодателей, и администраторов, вводили местные советы всех разрядов, судей всех категорий, офицеров национальной гвардии, даже епископов и священников, – в VIII за ним оставили лишь право выбирать мировых судей.

Во всех других правительственных действиях, кроме назначения чиновников, офицеров и судей, первый консул прежде чем решить, советуется со своими двумя коллегами. Правительство, т. е. Бонапарт, печется о внутренней и внешней безопасности государства. Он руководит дипломатией, ведет переговоры, подписывает договоры с тем ограничением, что объявления войны, мирные, союзные и торговые договоры, должны быть предлагаемы, обсуждаемы и принимаемы в форме законов. “Он распределяет силы морские и сухопутные и регулирует их употребление”.

Конституция, таким образом, делала Бонапарта очень сильным, очень могущественным, гораздо более могущественным, чем английский король, более могущественным, чем президент Соединенных Штатов; и все же большой

ошибкой было бы сказать, что она создавала диктатуру. Диктатор соединяет в себе все виды власти; он издает законы, он же и исполняет; он сам – живой и действующий закон. Бонапарт принял на себя все функции исполнительной власти, он также предлагал закон, но не издавал его, ибо предложенный закон надлежало еще обсудить трибунату и законодательному корпусу, по сохранившемуся старинному выражению, декретировать его.

Законодательный механизм в принципе функционирует следующим образом – детали должны быть выяснены последующими законами. По инициативе консулов, государственный совет, техническая комиссия, вырабатывают законопроекты; трибуна́т обсуждает их и высказывается в пользу принятия или отклонения их; после чего трое трибунов совместно с делегатами от государственного совета обсуждают законопроект с трибуны в законодательном корпусе; этот последний, выслушав все речи pro и contra, приступает без совещания к закрытой баллотировке, как безмолвный и беспристрастный судья. Под влиянием сильной антипарламентской реакции, охватившей в то время Францию, казалось необходимым разбить законодательную функцию надвое, отделить обсуждение от голосования и предоставить слово лишь одному собранию из двух. Не рисковали ли при этой странной концепции достигнуть как раз обратного тому, чем задавались? Предоставляя одному лишь трибунату право обсуждения, создавая исключительно ораторское сословие, сосло-

вие адвокатов, тем самым его побуждали утрировать свою функцию, во всем искать спорных пунктов и возражений, прививали ему дух придиричivosti и сутяжничества, дух оппозиции, дух постоянного противоречия. С другой стороны, роль законодательного корпуса, лишенного права ближе ознакомиться с вопросами путем совещания в своей среде, не сводилась ли к постоянной угодливости или немой обструкции, тем более, что ему предстояло вотировать или отвергать каждый закон en bloc – трибунам не дозволялось предлагать ему поправки.

На обязанности Государственного Совета лежало составить правила исполнения закона, но конституция не разграничивала областей законодательства и регламентации. В ней было отмечено, однако, что распределение государственных доходов и расходов будет устанавливаться ежегодно особым законом. Сессия законодательного корпуса длится не более четырех месяцев; правительство всегда может созвать его на чрезвычайную сессию. Трибунату предоставляется право заседать круглый год, но вместе с тем и право делать перерывы, заменяя себя комиссией из десяти – пятнадцати членов. Правительство не располагало никакими легальными способами оказывать давление на решения обеих палат, и независимость их, в пределах их полномочий, была довольно хорошо обозначена. Это настолько верно, что собрания, менее безгласные, чем это думают, не раз конституционным порядком становились в оппозицию проектам, наиболее затраги-

вающим будущее нации, и оказывали весьма серьезное противодействие консульской воле.

Трибунату предоставлялось даже некоторое общее право контроля. Ему надлежало передавать в сенат как законодательные декреты, так и правительственные указы, признанные им несогласными с конституцией. Сюда же должны были направлять граждане свои петиции. Трибунат, по собственной инициативе, может “высказывать свое мнение о законах, уже составленных или имеющих быть составленными, о злоупотреблениях, которые надлежит устранить, об улучшениях, которые предполагается ввести во всех отраслях общественной администрации, но отнюдь не о гражданских и уголовных делах, представленных для разбирательства в суды”. Правда, с этим правом критики и увещания не связывалось никакой положительной санкции, как это ясно было сказано и в конституции, но санкция могла найтись в ответственности министров. Факт, достойный внимания: конституция VIII года, вот уже сто лет принимаемая за образец, является единственной из наших слишком многочисленных органических хартий, практически определившей и регламентировавшей ответственность министров.

Относительно этого необходимо оговориться. Дело шло вовсе не об организации министерского правления, системы парламентских кабинетов, вышедших из палат и управляющих согласно их желаниям и взглядам, живущих их доверием и не переживающих неодобрительной резолюции, – об

этом не могло быть и речи, — но об ответственности министров перед палатами, ответственности круговой и главным образом, нравственной. Этого рода ответственность является прежде всего коррективом монархической наследственности и вовсе не обязательна в республиканском режиме, даже и наиболее свободном. Это особый прием, изобретенный англичанами с их либерализмом и в то же время верностью традициям, с целью примирить self-government, самоуправление страной при посредстве ее делегатов, с сохранением благодетельной королевской власти; король все время остается, не вмешиваясь непосредственно в ведение дел; министры правят и сменяются. Пересаженный из своей родной почвы в другую, прием этот вызывал у всех народов, не сумевших организовать в партии с резко выраженной иерархией, постоянную шаткость и неустойчивость власти; он ставит перед министерством альтернативу: или пасть при первом же капризе большинства, или же руководить его решениями, подделываясь к его страстям. Законодателям революции никогда не приходило в голову ввести у нас этот прием. И тем не менее, конституция VIII года точно определяла в известных, заранее предвиденных случаях, личную и уголовную ответственность министров. Консулы были не ответственны, но всякий их указ должен был быть скреплен подписью одного из министров, а по ст. 70 “министры ответственны 1) за всякий правительственный указ, подписанный ими и признанный сенатом противным конституции; 2)

за неисполнение законов и постановлений (règlements) общей администрации; 3) за отданные ими частные распоряжения, если эти распоряжения противны конституции, законам и уставам (règlements)”. В случаях, предвиденных этой статьей, трибунат представляет обличительный доклад о деятельности этого министра в законодательный корпус, который может предать министра верховному суду, в составе судей, назначаемых кассационным судом, и присяжных, выбираемых по национальному списку.

Эти постановления были предложены и формулированы Дону, с целью устранить опытом выясненное неудобство. При режиме III года отсутствие министров с точно установленной ответственностью, которые могли бы ослабить столкновения между консулами и директорией, способствовало умножению того, что мы называем теперь правительственными кризисами, в противоположность кризисам министерским. Дону ухитрился заполнить этот пробел. Тем не менее была какая-то странная аномалия в этом возложении ответственности на лишенных инициативы министров, простых агентов консульской воли, и в признании неотвеченным главы государства, облеченного в то же время активной властью. И все же вышеуказанные распоряжения, если бы они только применялись, давали бы возможность собраниям оказывать реальное воздействие на исполнительную власть. Но дело в том, что в случаях простого разногласия между консульством и палатами, конституция не устанавли-

вала никакого способа легального разрешения конфликта. Она не давала права роспуска палат, этого предохранительного клапана свободных правительств. Да и как было распускать собрания с тем, чтобы они могли предстать перед своими естественными судьями, когда они получили свои полномочия не от этих избирателей? Здесь обнаруживался основной недостаток этого законодательства, подрывающий все здание.

Невоенные главари и приверженцы последнего переворота не стремились пройти вторично через народное голосование; они предпочитали помимо этого сделаться сенаторами, законодателями и трибунами; этой повторной узурпацией они слишком облегчали задачу того, кто вздумал бы принять против них чрезвычайные экстралегальные меры при соучастии нации. Для консула было, конечно, очень выгодно, что ему противопоставляли вместо настоящего представительства четырехсот законодателей и трибунов, получивших свои полномочия от сенаторов, числом тридцать один, в свою очередь, назначенных Сийэсом, Роже, Дюко, Камбасерэсом и Лебреном. Но так как этих собраний нельзя было и усмирить законным путем, если они проявили бы враждебное настроение, то Бонапарт очень скоро поддался искушению действовать экстраконституционными мерами; в конце концов он произвел не меньше *coups d'Etat*, чем директория, но эти перевороты под сурдинку прошли почти незамеченными современниками и потомством, ослепленными

великими благодеяниями его правления, к тому же эти перевороты не насильствовали общественного мнения, а шли ему навстречу. Бонапарт, несомненно, призванный к власти волей народа, чутьем угадывавший его инстинктивные стремления, правивший согласно желаниям огромного большинства французов, один представлял собою в смешанном режиме VIII года демократический принцип. При помощи своих плебисцитарных *coups d'Etat* он снова дал возможность демократии войти в состав правительства, но ввел ее туда дисциплинированной, подавленной его обаянию, покоренной; вот почему фримерская конституция, действовавшая путем сочетания олигархии с широкой личной властью, привела к чистейшему демократическому деспотизму, т. е. к деспотизму принятому, поддерживаемому, вознесенному и одобренному народной массой.

Помимо прерогатив, предоставленных сенаторам, трибунам и законодателям, конституция не ставила никаких преград хотя бы чрезмерной предприимчивости власти; гарантирована была, казалось, только личная свобода; жилище французского гражданина было объявлено неприкосновенным убежищем; всякий арест, вне случаев, предусмотренных законом, составлял преступление, именовавшееся произвольным задержанием; но в то же время ст. 75 запрещала гражданам подавать в суд на чиновника без разрешения начальства того ведомства, в котором он служил. Это постановление, остававшееся в нашем законодательстве до 1870

года и пережившее шесть революций, узаконивало отказ в правосудии. Точно так же от исполнительной или законодательной власти зависело проявлять ли либерализм или прибегать к ограничительным мерам в других отношениях. Свобода вероисповеданий, свобода печати, свобода сходов и союзов – все эти пункты не были затронуты конституцией. Однако часть гарантий, провозглашенных революцией и делающих ей большую честь, были сохранены, как, например, институт присяжных.

Сохранилось даже одно из учреждений эпохи конвента и директории, увековеченное в ст. 38: “Учреждается национальный институт для хранения открытий, для усовершенствования наук и искусств”. Те, кто получили материальные выгоды от революции, вздохнули с облегчением, прочитав следующие строки, почти дословно списанные с конституции III года: “Французская нация объявляет, что она ни в каком случае не потерпит возвращения французов, которые, покинув свое отечество после 14 июля 1789 года, не вошли в списки лиц, изъятых из-под власти закона, изданного против эмигрантов; она воспрещает всякие дальнейшие изъятия в этом смысле”. Таким образом, по отношению к эмигрантам статус VIII года оставался боевым законом; не делая разницы между выселившимися добровольно и бежавшими от гнуснейших притеснений, закон этот постановлял, что за пределами нашей страны всегда должна существовать другая Франция, отвергнутая и проклятая. Для того, чтобы довер-

шить сближение этих двух Франций, Бонапарт должен был нарушить конституцию и вернуть эмигрантов.

Внутренняя организация страны была намечена лишь в общих чертах. Конституция создавала, ступенью ниже департамента, новое подразделение, общинный, или коммунальный округ (*arrondissement communal*), состоящий из нескольких коммун и, по-видимому, призванный заступить место прежнего округа, кантона, автономное управление которого было характерной чертой предшествовавшего режима. В конституции не говорилось, будет ли вновь призвана к жизни коммуна, задавленная в III году кантоном, не указывалось, какие власти будут управлять департаментом, округом и коммуной, но возвращенное исполнительному комитету право назначать их подготовляло централизацию власти. Не было установлено также число судов, их компетенция, подсудность и судебная иерархия. Конституция ограничивалась выделением в принципе спорных дел из числа чисто судебных, обязывая государственный совет “разрешать возникающие затруднения административным порядком. Это был тот фундамент, на котором Бонапарт уже намеревался строить сам.

В общем, конституция отнюдь не была политическим и административным кодексом, но лишь органическим уставом для первых властей.⁸⁵⁸ В ней были превосходные места,

⁸⁵⁸ Совершенно то же можно сказать и о конституции, которая правит нами теперь.

и во многих своих частях она вполне отвечала потребностям и темпераменту Франции, но она не давала гражданам никаких гарантий и сама по себе вовсе не обеспечивала будущего. Взаимодействие органов власти, которых она оделила неравной силой и в то же время противопоставила одни другим, по всей вероятности, привело бы к новым конфликтам и потрясениям, если бы главою государства был не Бонапарт, а кто-либо другой, если бы зерно деспотизма, вложенное им в конституцию, не разрослось в огромное дерево и не заглушило всего остального. Конституция могла существовать лишь при условии развиваться и в то же время искажаться, какое было ей дано с самого начала. Сама по себе это была выжидательная конституция, – еще одна временная мера, прибавленная к стольким другим. Но и в таком виде, своими сильно и удачно задуманными частями, со своей бессвязностью, неясностями, огромными проблемами и опасностями, со своими заимствованиями у старого французского режима и наших различных попыток создать республику, со своей античной декорацией, она была достойна фигурировать рядом со всеми мертворожденными конституциями, вышедшими из революций, и не портила этой коллекции монстров.

VI

Конституция должна была еще пойти на утверждение граждан, получить санкцию плебисцита.⁸⁵⁹ А так как конституция назначала Бонапарта первым консулом, вторым и третьим Камбасерэса и Лебрена, а Сийэса и Дюко первоприсутствующими сенаторами, оказывалось, что плебисцит будет распространен не только на учреждения, но и на личности, чего никогда еще не бывало. Перед подавляющей известностью Бонапарта меркли и стушевывались все другие, так что подавать голос, в сущности, приходилось за него или против него. Сийэс и другие теоретики, в своем неизлечимом недоверии к народу, хотели изъять из области ведения его уполномоченных назначение первых чинов государства, преподнеся ему уже готовый выбор. Вписывая имя Бонапарта в статью конституции, вводя в наши политические нравы утверждение плебисцитом известного имени, они сами не понимали всего значения этого новшества, которое должно было оказать такое огромное влияние на будущее.

Что конституция будет принята, это не подлежало сомне-

⁸⁵⁹ Никаким постановлением не определялось, будет ли достигнут плебисцит путем всеобщей подачи голосов, какую вводила новая конституция, или же ограниченной, согласно конституции III года. В принципе, по-видимому, все могли быть допущены к голосованию, хотя нельзя сказать, везде ли соблюдались одинаковые правила См. доклад Редерера о результатах плебисцита. *Oeuvres*, IV, 402.

нию, но друзья Бонапарта несколько боялись оцепенения и инертности масс. При прежних плебисцитах народ никогда не отвечал на поставленный ему вопрос отрицательно, но воздерживавшихся от подачи голоса всегда было несравненно больше, чем голосовавших. Редерер в официальной статье считал необходимым подготовить умы к возможности такого полууспеха.⁸⁶⁰ События должны были опровергать эти робкие догадки, и действительность превзошла всякие надежды, но проволоочки, обуславливаемые дальностью расстояний, плохими путями сообщения, суровостью времени года, наконец, беспорядками, еще не прекратившимися в некоторых районах, не позволяли в короткий срок собрать и произвести подсчет голосам. Не все французы голосовали одновременно, в один день; пришлось два месяца ждать результатов этого затяжного плебисцита.

В Париже голосование началось тотчас же и протекало в полном спокойствии. Не было ни подготовительных собраний, ни шумных съездов; в определенных местах скрыты были двойные списки, куда граждане могли вносить свое одобрение или отказ. Многие из них не решались приходить и записываться, из опасения, как бы в случае нового переворота этот список имен не обратился в список лиц, подлежащих изгнанию; эти страхи не свидетельствовали о твердой вере в стойкость и беспристрастность правительства. Чтобы успокоить граждан и привлечь их к голосованию, пришлось обе-

⁸⁶⁰ **Ibid.**

щать им, что записи будут потом сожжены. Войска подавали голоса отдельно. Генерал Лефевр собрал их на Марсовом поле и повел дело быстро, по-военному. Солдатам прочитали указ для того, чтобы каждый мог свободно высказаться о нем; затем, как рассказывают газеты, brave генерал произнес пылкую речь и в порыве красноречия, чересчур уж наивного, воскликнул: “Мы переживаем вновь золотые дни революции... утверждение конституции положит конец нашим распрям. Только бунтовщики способны отвергнуть ее. Клянемся нашими штыками истребить их!”. И солдаты голосовали так, как им было приказано.⁸⁶¹ В официальной печати речь Лефевра появилась в исправленном виде.

Что касается гражданского населения, очень скоро выяснилось, что, помимо нескольких, обративших на себя внимание случаев оппозиции, нескольких отказов принять участие в голосовании, резко мотивированных и подчас оскорбительных, население почти единодушно проголосовало за конституцию. Бонапарт, которому хотелось во что бы то ни стало поскорее выйти из переходного состояния, решил на основании согласия Парижа, что и вся Франция будет за него. 2 нивоза – 23 декабря, по его настоянию, законодательными комиссиями издан был декрет, объявлявший, что с 4 числа конституция вступает в силу, и новые правители—в исполнение своих обязанностей – словом, что временное положение уступает место окончательному. Бонапарт сам сде-

⁸⁶¹ См. *Diplomate*, 27 фримера.

лал себя первым консулом, заранее уверенный в согласии нации.

Комиссиям, составлявшим часть временного режима, оставалось жить всего несколько часов; до последнего момента Бонапарт заставлял их работать. Он готовил французам ряд сюрпризов к завтрашнему дню, знаменательному дню, когда власть должна была перейти в его руки. Он хотел, чтобы все великие, плодотворные освободительные идеи, почерпнувшие в нем силу, сразу распустились пышным цветом правительственных указов; чтоб это был как бы внезапно хлынувший поток, “взрыв справедливости и милосердия”. Существующие законы, исключительные и строгие, в некоторых отношениях стесняли его. А так как он не мог отменить их своею волей, необходимо было, чтобы комиссии, унаследовавшие законодательную власть, позволили ему правительственным указом предписать примирение.

Каждая фаза, каждый кризис революции, в конце концов, умножали число изгнанников. В ссылку, в изгнание отправляли сторонников и правой, и левой. Бонапарт имел твердое намерение возвращать их постепенно, проявляя и здесь смесь смелости и осторожности, отличавшую все его действия. Общественное мнение требовало возвращения прежде всего пострадавших в фрюктидоре, недавних и славных жертв, чьи имена и несчастья были еще свежи в памяти у всех. Этих бедняков осудили на ссылку без суда, но на основании закона, и только закон мог разрешить им вернуть-

ся. Но брюмерские комиссии состояли почти исключительно из фрюктидорцев, из тех, кто отправил их в ссылку, и эти гонители, конечно, не согласились бы открыто признать неправым свой приговор; да и можно ли было вновь открыть доступ во Францию всем изгнанникам фрюктидора? – Ведь некоторые из них заведомо вошли в соглашение с иноземцами! Прибавим, что Бонапарт хотел, по возможности, присвоить себе все выгоды милосердия и желал только одного: чтобы законодательные комиссии развязали ему руки.

Фушэ предложил и заставил принять следующую редакцию закона, чудеснейший образец лицемерия: “всякое лицо, осужденное на ссылку, с обозначением имени, без предварительного суда, постановлением законодательного корпуса не может вернуться на территорию республики под страхом быть рассматриваемым, как эмигрант, если только оно не получит на то от правительства особого разрешения”... Вся благодетельность закона в этом вводном предложении, вставленном в конце фразы, на первый взгляд, как бы подтверждает его текст и возобновляет проскрипцию, но эта закорючка дает возможность исполнительной власти вернуть каждого в отдельности из пострадавших в фрюктидоре, или же произвести между ними выбор. В обеих комиссиях не раздалось ни одного голоса в пользу расширения и обобщения этого робкого милосердия, этой произвольной справедливости; они оказали слишком большую услугу Бонапарту, признав за ним одним право быть справедливым.

Движимый тем же стремлением к миру и согласию, он особым указом отменил празднества в память кровавых дней, казалось, имевшие целью освятить и увековечить ненависть, постоянно освежая страшные воспоминания. Ужасный праздник 21 января был ненавистен огромному большинству французов; это был праздник эшафота. 18 фрюктидора праздновали память ссылки; оба эти праздника были вычеркнуты из республиканского календаря, точно так же, как и 10 августа, но те, кто свято хранил культ Робеспьера, не имели причины жаловаться, так как одновременно с этим переставали праздновать и память 9 термидора. Ведь все они – умеренные термидорцы, фрюктидорцы, якобинцы и роялисты – были дети одного и того же отечества – отечества, которое предстояло пересоздать. Им пора было забыть свои заблуждения и свои горести, отвернуться от прошлого и смотреть только вперед; это прошлое Бонапарт хотел бы вырвать из истории – к чему же постоянно напоминать о нем? По инициативе правительства комиссии вотировали закон, сводящий к двум число национальных праздников: отныне будут праздновать только 14 июля, память взятия Бастилии, преображенного легендой, и великого братского порыва федерации, и 22 вандемьера – годовщину Республики,

К этим мерам общего характера присоединена была иного рода мера – закон, изданный в интересах одного человека. Бонапарт, за подписью своей и Дюко, внес в обе комиссии предложение “пожаловать гражданину Сийесу, в виде

награды за услуги, оказанные нации, в собственность и владение одно из поместий, находящихся в распоряжении государства. Обе комиссии вотировали этот дар; Сийэс имел слабость принять его и сделался владельцем поместья Крон, оцененного в 480.000 франков.⁸⁶² Сийэс был честный человек; он не искал наслаждения в безумной роскоши, но любил землю и деньги; из пристроившихся революционеров он был награжден щедрее всех – первым местом в сенате, затем поместьем и, не успев осуществить свой политический идеал, отыгрался на более осязательных благах. Это значило сыграть в руку тем, кто обвинял его в торговле убеждениями, Бонапарт нашел средство скомпрометировать его еще больше при новом режиме и подорвать его репутацию. Обогатив Сийэса, он сделал, его менее могущественным, заплатив ему за услуги, унижил его.

Прежде чем разойтись, комиссии занялись выработкой распоряжений имевших целью регулировать передачу полномочий и дел новым конституционным властям. 3 нивоза – 24 декабря 1799 года, состоялось последнее заседание временного консульства. В 8 часов вечера Бонапарт, собрав у себя в Люксембурге своих двух новых коллег, министров и государственных советников, заставил признать себя первым

⁸⁶² *Sieyès á Bonaparte a fait présent du trone, sous un pompeux debris croyant l'ensevelir: Bonaparte á Sieyesafait présent de Grosne pour Le payer et l'avilir.* (Сийэс подарил Бонапарту трон, думая похоронить его под пышными развалинами; Бонапарт подарил Сийэсу Крон, чтобы расплатиться с ним и унижить его).

консулом и принял власть. Выслужившийся офицер, баловень счастья, поднявшийся так высоко, оглянулся ли он в эту минуту на пройденный путь, на головокружительные этапы, в какие-нибудь 7 лет вознесшие его на вершину, где он стал равным королям? Когда дежурный офицер явился к нему за приказанием, первый лозунг, данный им в качестве главы государства, был: Фридрих II и Дюгоммье. Фридрих – победоносный философ, подчинивший своему обаянию весь XVIII век; Дюгоммье – бывший начальник майора артиллерии Буонапарте при осаде Тулона.

ГЛАВА XIII. ПЕРВЫЙ КОНСУЛ

Прокламация к французам. – Высокие слова. – Умеренность – основа всякого истинно-национального правительствa. – Министерство Бонапарта. – Талейран. – Фушэ. – Люсьен. – Правая и левая в консульстве. – Водворение государственного совета. – Обращение ко всем партиям и учет дарований авансом. – Состав сената. – Предоставление Сийэсу преобладающего влияния на выборе законодателей и трибунов; Бонапарт воздерживается от вмешательства. – Честолюбие и низость. – Состав трибуната и законодательного корпуса. – Остатки конвента. – В консульские собрания вошли многие члены советов директории. – Почему общественное мнение будет поддерживать первого консула в ущерб собраниям. – Холодный прием, оказанный конституции. – Расцвет консульской политики. – Moniteur 7 нивоза. – Прокламация к западным департаментам. – Первая мера, клонящаяся к введению религиозной свободы. – Отмена исключительных законов против бывших дворян и родственников эмигрантов. – Храм Марса. – Возвращение большинства пострадавших в фрюктидоре. – Последовательные меры. – Глубокое впечатление. – Царство справедливости. – Реставрация здравого смысла. – Открытие церквей; расцвет католицизма. – В администра-

тивной области продолжается междуцарствие; настоятельная потребность в органических законах. – Массы продолжают тяготеть к Бонапарту. – Якобинская оппозиция. – Опасность справа. – Сила влияния роялистов; отколовшиеся провинции. – Запад все еще не складывает оружия; конспирация на юге. – Внешние войны не прекращаются; перспектива новой кампании. – Тесная связь между внутренними делами и внешними. – Только победа, носящая в себе зародыш мира, может обеспечить существование консульства и достижение Бонапартом полного могущества.

I

Бонапарт призвал Редерера и продиктовал ему черновик прокламации, в которой консулы объявляли себя главами республики. Прокламация написана отрывочно, не отделанными фразами, нередко заканчивающимися *etc*, и, тем не менее, она поражает своей точностью и простотой. В заголовке своего правления Бонапарт ставит слова: порядок, правосудие, устойчивость сила и, прежде всего, умеренность.

“Принимая место первого чина республики, я чувствовал, какие обязательства я принимаю на себя *etc*”.

“Вот какой цели я должен достигнуть во время моего правления *etc*”.

“1) Упрочить республику *etc*”.

“2) Сделать ее страшной для ее врагов”.

“Чтобы упрочить республику, нужно, чтобы законы были основаны на умеренности, порядке и справедливости”.

“Умеренность есть основа морали и первая добродетель человека; без нее человек не что иное, как лютый зверь. Без нее может существовать факция, но отнюдь не национальное правительство”.

“Порядок в доходах и расходах; последняя, (*sic*) может иметь место лишь при устойчивости организации административной, судебной и военной”.

...“Отсутствие порядка в финансах погубило монархию, подвергло опасности свободу, в течение 10 лет поглощало миллионы”.

“Правосудие есть истинное благодеяние равенства, как гражданская свобода – благодеяние, обусловливаемое политической свободой. Без него нет начала, регулирующего отношения между собой граждан; при отсутствии его образуются фракции”.

“Устойчивость, сила правительства одни могут гарантировать беспристрастность правосудия”.

“Республика может быть страшна своим врагам лишь в том случае, если она будет вносить мудрость и добросовестность в свои внешние отношения и будет обладать на суше и на море многочисленными, хорошо вооруженными армиями”...

“Для того, чтобы армии были грозными для врагов, охранительницами народной независимости, ими должны командовать способные офицеры. Только это может быть результатом устойчивости и порядка в управлении страной. Если каждую войну старые кадры заменят новыми, в них не может сохраниться прежний дух чести. Это будет уже скопище людей, а не армия”.

“Военная наука и искусство состоят из всех наук и всех искусств. Хорошие офицеры опять-таки являются одним из результатов политического равенства, при котором для повышения требуются по закону известные знания и дарова-

ния...”

“Во все века люди судили о счастье и благоденствии наций на основании их торговли и земледелия. Ни то, ни другое не могут развиваться среди политических волнений и без сильного правительства”.⁸⁶³

Редерер закончил фразы, облагородил стиль, подбавил красок, словом, улучшил форму, довольно щепетильно оберегая мысль, но, тем не менее, прибавил кое-что свое о будущих благодеяниях. Бонапарт, просмотрев редакцию, нашел, что его заставляют обещать слишком много: “У вас тут выходит, что я обещаю в ближайшем будущем сделать и то и другое, а между тем, здесь много такого, чего не сделаешь, пожалуй, и в 10 лет. Надо просто говорить: я должен сделать то-то, мой долг сделать и т. д. А в заключение сказать, что право каждого француза следить, буду ли я в течение 10 лет посвящать все усилия выполнению моих обязанностей”.⁸⁶⁴ В конце концов заключение было сформулировано так: “Французы, мы сказали вам, в чем заключаются наши обязанности. Ваше дело сказать нам, сумели ли мы их выполнить”.⁸⁶⁵

Бонапарт тотчас же составил свое собственное министерство, соединив в нем и уже испытанные, и новые элементы. В министерстве иностранных дел он не задумался оставить Талейрана, о котором в присутствии Камбасерэса отозвал-

⁸⁶³ Roederer, III, 328.

⁸⁶⁴ Ibid., III, 327.

⁸⁶⁵ Ibid, III, 329.

ся так: “В нем много того, что нужно для переговоров: светскость, знание европейских дворов, лукавство – чтоб не сказать более, невозмутимое спокойствие в чертах лица, наконец, крупное имя... Я знаю, что в революции он проявил себя только с другой стороны; якобинец и дезертир в учредительном собрании, он будет крепко держаться нас; в том нам порука его личный интерес”.⁸⁶⁶ В морском министерстве оставили Форфэ, весьма известного исследователя моря, много писавшего о нас; он уже с конца брюмера занимал в министерстве временного консульства место Бурдона; это был человек с крупной репутацией, но не обнаруживший особых талантов. Бертье, конечно, сохранил за собою портфель военного министра, а Фуше остался министром полиции. В министерстве юстиции пришлось заменить другим Камбасерэса, назначенного вторым консулом; выбор пал на работающего и умеренного члена конвента – гражданина Абриала.

В министерстве внутренних дел знаменитый Лаплас повел себя так, что оставить его оказалось невозможным. С первых же дней временные консулы убедились, что он слишком большой математик для того, чтобы правильно судить о политических делах. Лаплас ни одного вопроса не рассматривал под существующим углом зрения; он всюду искал хитроумных комбинаций, высказывал лишь проблематические

⁸⁶⁶ Cambaceres, Eclaircissements.

идеи.⁸⁶⁷ Бонапарт пересадил его в сенат, приложив все старания, чтобы не задеть его самолюбия, как о том свидетельствует следующее письмо:

“Бонапарт, консул республики, гражданину Лапласу, члену охранительного сената.

Услуги, которые вы призваны оказать Республике, гражданин, выполнением возлагаемых на вас высокой важности функций, уменьшают мое сожаление об уходе вашем из министерства, где вы своею деятельностью завоевали общие симпатии. Честь имею предупредить вас, что вашим преемником я назначил гражданина Люсьена Бонапарта. Предлагаю вам безотлагательно передать ему портфель”.⁸⁶⁸ Бонапарт решил наградить Люсьена. Этот беспокойный и пылкий юноша мог сделаться опасным, лучшим способом удержать его при себе было дать ему место. К тому же, Бонапарт ценил в нем ум и решимость, проявлявшиеся блестящими вспышками, не закрывая глаз на его огромные недостатки – недисциплинированность, неспособность к усидчивому труду, привычку к рассеянной жизни, пристрастие к дельцам и денежным аферам. Если уж дать ему министерство, то, пожалуй, всего лучше министерство внутренних дел, так как здесь видное место занимали почетные обязанности: ему придется поддерживать сношения с артистами, литераторами, учеными, придется много говорить, предсе-

⁸⁶⁷ “Commentaires”, IV, 47.

⁸⁶⁸ 3 нивоза. Документ, врученный нам маркизом Кольбер.

дательствовать, открывать общества, выставки, заседания – все это Люсьен умел делать блистательно. Что же касается активной работы, к тому же весьма уменьшившейся с образованием министерства полиции, Люсьену можно дать искусных сотрудников, которые, в случае надобности, могут и заменить его.

Люсьен с самого брюмера искал себе дороги и, как только перед ним открылся путь, устремился по нему. Если бы его посадили в трибунал, он, по всей вероятности, выдвинулся бы в качестве вождя либеральной парламентской оппозиции. Но он попал в исполнительный корпус и хочет сделать его как можно более сильным, чтобы возвеличить самого себя, расширить свою собственную роль и свое будущее. Сделать Бонапарта более, чем главой республиканского государства, чем-то вроде пожизненного властелина, принцем, и затем доверить его власть назначением ему заранее намеченного преемника, которым может быть, конечно, только наиболее стоящий на виду член его семьи, – вот какие мысли очень скоро зародились в уме Люсьена, толкая его все вперед и вперед. Впрочем, его взгляды менялись, по-видимому, одновременно с тем, как перемещались цели его честолюбия. Со свойственной ему гибкостью ума и быстротой соображения, он уже говорил себе, что в старом режиме было много такого, что следует сохранить, и что желать все перестроить по отвлеченному типу было бы чистейшей химерой и безумием. Эта истина тем более соблазняла его, что

она казалась ему новой, и он каждый день мнил о себе, что открыл здравый смысл. Поэтому он более, “чем кто бы то ни было, проникся идеей консульства, великодушной идеей исправить и загладить ошибки прошлого; он пошел даже дальше и вскоре начал оказывать заметное предпочтение людям и вещам, носившим отпечаток былого. Этот самый Люсьен, который впоследствии, после ссоры с Наполеоном, называл себя единственным республиканцем в семье и которому потомство поверило на слово, вначале был реакционнейшим из министров Бонапарта. В кабинете министров он был правой, а Фушэ – левой. Состав кабинета был пополнен еще назначением Марэ статс-секретарем при консулах, без звания министра. Одновременно с этим Бонапарт формирова-вал свой государственный совет.

Из всех политических деятелей страны он выбрал тех, в ком видел и созидательный инстинкт, и понимание того, как нужно строить на развалинах любовь к полезной, прикладной, практической работе, предпочтительно перед трескучими спорами. Он привлекал их, обещая им почет взамен упорного труда, прочное положение, почести, возможности приносить действительную пользу, давая им понять, что отныне государственный совет станет центром всех дел и через него пройдет ось правления. Булэ, Редерер, Ренье, Кре-те пожелали войти сюда, вместо того, чтобы стать сенаторами или трибунами; а с ними и Брюн, Реньо, Дежон; Лакюэ, Мармон, Петизэ, Гантом, Шампаньи, Дюфальга, Флеризэ, Лес-

калье, Редон, Дефермон, Дюшатель, Девэн, Дюфрэн, Дюбуа (из Вогезов), Жолльэ, Берлье, Моро се-Мери, Эммери, Реаль, Бенезек, Шаптал, Фуркруа; все это были государственные советники первой формации и в то же время собственный штат Бонапарта, в противоположность приверженцам Сийэса. С этими людьми он намеревался приступить к делу государственного переустройства; он хотел также, чтобы Совет был его лабораторией и опытным полем; там, окруженный компетентными людьми и специалистами, допуская и вызывая споры, требуя возражений, он будет изучать, исследовать, глубже проникать во все области государственной жизни, испробует на опыте свои идеи.

При выборе государственных советников он не обращал внимания на их происхождение и прошлое. Я беру, говорил он, всех, у кого есть способности и охота идти со мной. Вот почему я составил свой государственный совет из тех, кого в учредительном собрании звали умеренными или фельянтинцами – как Дефермон, Редерер, Реньо; из роялистов, как Девэн и Дюррэн; и наконец, из якобинцев, как Брюн, Реаль и Берлье. Я люблю честных людей всех оттенков”.⁸⁶⁹ В испорченной атмосфере прежних собраний эти люди не могли применить с пользой своих способностей; поддаваясь влиянию чужих страстей и внешних бурь, они принимали участие

⁸⁶⁹ Thibaudeau, I, 115. “Бонапарту приписывают новое и, в годину революции, смелое слово: “Доступ к государственным должностям будет открыт для французов всех мнений, лишь бы они обладали знаниями, способностями и добродетелями”. Газета *Le Diplamate*, 23 фримера.

в насилии и компромиссах. Перенесенные в другую среду, в более здоровую атмосферу, подчиненные известному уставу и при другом методе занятий, они стали превосходнейшими государственными работниками. Талант Бонапарта в том и проявился, что он, переменяв систему, сохранил людей; со старым штатом служащих он создал новое правительство.

Вечером 1-го нивоза он уже собрал членов, государственного совета в Люксембурге, в своей собственной квартире и под своим председательством. Очень просто, без всякой помпы он открыл первое заседание и дал толчок работе; так народилось великое учреждение, которому суждено было пережить своего автора, долгое время, однако, сохраняя на себе его печать. Советники выработали себе устав, разбились на секции: гражданского и уголовного законодательства; финансовую, внутренних дел, военную, морскую, – и тотчас же ушли в работу, разбираясь в хаосе революционных законов и старых регламентов, изучая тексты, справляясь с прецедентами, редактируя “мнения”, классифицируя проекты, словом, созидавая новое здание благоденствия нации.

В соседней комнате Сийэс с помощью Роже Дюко, Камбасерэса и Лебрена выбирал двадцать девять первых сенаторов, сенаторов-основателей, сенаторов-избирателей, которым предстояло, в свою очередь, немедленно же выбрать себе в помощь еще двадцать девять. Эта двойная операция заняла два дня. Сийэс произвел свой выбор в первую же ночь и продиктовал все имена, чтобы поставить Бонапарта лицом к

лицу с свершившимся фактом.⁸⁷⁰ По-видимому, первый консул мог оказать влияние лишь на последующие выборы.

Наиболее выдающиеся члены законодательных комиссий, по крайней мере, достигшие установленного возраста, были оделены первыми; этот концентрированный экстракт старых собраний послужил основой сенату. Так были назначены Корне, Фарг, Бююи, Лемерсье Ленуар-Ларош, Крезе-Латуш, Корнюде, Фрежвиль, Жакмино; к ним были присоединены Кузен, из совета старейшин; Дюбуа-Дюбэ, Гарро-Гулон. Сэр и ДIZE, бывшие члены конвента; пять бывших членов учредительного собрания, Дайльи, Дестю де Траси, Ле Кутэ де Кантеле, Шуазель-Прален, Лавилль-Леру; экс-директор и министр внутренних дел Франсуа де Нефшато; много бывших министров и чиновников, в том числе Клеман де Рис, личный друг Сийэса; несколько крупных представителей официальной науки, Лаплас, Монж, Бертолле, Вольней, Добантон; представителями искусства и литературы должны были быть поэт Дюси и живописец Вьен (Vien). Но Дюси не принял предложенного ему места сенатора: вся его жизнь была примером благородной независимости, потому-то его современники и считали его чудачком. Бонапарт хотел, чтоб армия и флот также имели своих делегатов в числе революционных патрициев; по его желанию сенаторами были назначены Келлерман и Сррюрье, генералы Казабьянка, Гатри, Лепинасс, адмирал Бугэнвилль, Превилль-Лепелей и

⁸⁷⁰ Grouvelle, "Notes manuscripts".

Морар. Таким образом, сенат в огромном большинстве состоял из лиц, весьма заинтересованных в упрочении результатов революции; тем не менее, он был проникнут довольно свободным духом и заключал в себе немало блестящих и славных имен, служивших ему украшением.

Президентом был избран Сийэс; под его руководством сенаторы в течение сорока восьми часов выбирали трибунов и депутатов. Их засыпали просьбами и ходатайствами; кандидатов в одном Париже явилось видимо-невидимо. Они осаждали Люксембург, наводняли приемные, заблаговременно представляя рекомендации и поручительства. В ход были пущены все пружины, не обошлось и без вмешательства женщин; г-жа де Сталь жила в постоянном беспокойстве, тревожившем ее отца, жившего на покое в Коппе. “По твоему письму от 10 фримера, дорогая моя Минеточка, я угадываю, что ты нервничаешь... Мне отрадno видеть, что многие спешат записаться в ряды новой милиции; у каждого свой вкус”.⁸⁷¹ Серьезный *Moniteur* подшучивал над этим усердием: “С тех пор, как конституция создала множество мест с хорошими окладами, сколько народу заволновалось! Как много почти незнакомых лиц стараются намозолить вам глаза! Сколько гордых республиканцев VII года унижаются ради того, чтобы добраться до влиятельного человека, который может пристроить их!”.⁸⁷²

⁸⁷¹ Письмо Неккера от 19 фримера. Архив города Коппе.

⁸⁷² *Thiers, I, 114–115.*

Они действительно очень унижались, усердно гнули спину, конечно, с тем, чтобы несколько вознаградить себя за это, когда места будут уже за ними. Но хотя теперь они рассыпались в изъявлениях сочувствия, обещали преданность, способную выдержать всякое испытание, они видоизменяли свои обязательства, смотря по тому, обращались ли они к Сийэсу или к Бонапарту, и с каждым из этих двух владык говорили тем языком, какой, по их мнению, должен был ему больше нравиться. Характерно поведение Бенжамена Констана. Последний просил Шабо-Латура представить его Бонапарту, с которым он раньше не был знаком лично, и выразил желание быть назначенным трибуном, свидетельствуя свою безграничную преданность великому вождю. “Вы сами чувствуете, что я ваш. Я не из тех идеологов, которые умеют только думать и воображают, что этого достаточно. Мне нужно что-нибудь положительное. Если вы меня назначите, вы можете рассчитывать на меня”. Чтобы попасть от Бонапарта к Сийэсу, нужно было только перейти через двор. У Сийэса сразу перемена декораций, совсем иная речь. Сийэсу Бенжамен заявляет: “Вы знаете, как я ненавижу силу; я не могу быть другом сабли. Мне нужны принципы, мысли, справедливость. И потому, если вы подадите за меня голос, вы можете рассчитывать на меня, так как я жестокий враг Бонапарта.”⁸⁷³ Честный Шабо-Латур не мог прийти в себя от

⁸⁷³ “Souvenirs d’Aimé Martin”, напечатанные в “Intermédiaire des chercheurs et des curieux”, t. XXIX.

изумления. На деле, Бенжамен бесстыдно солгал Бонапарту и сказал правду Сийэсу.

Бонапарт умышленно держался в стороне, не оказывая почти никакого влияния на выборы.⁸⁷⁴ Изготовленные Сийэсом и его друзьями списки кандидатов были утверждены сенаторами простым поднятием руки, почти без обсуждения. В результате произошло перемещение: чуть не весь контингент прежнего парламента попал в члены новых собраний.

Из ста трибунов шестьдесят пять были членами советов пятисот и старейшин; из трехсот членов законодательного корпуса двести тридцать вышли оттуда же. Кандидаты были распределены между двумя учреждениями соответственно характерам и способностям: в трибунал посадили ораторов и риториков, воинствующих философов, литераторов, окончившихся в политику, и политиков, занимавшихся литературой, людей острого и яркого ума; в законодательный корпус – остальных. Трибунал надо было сделать живым и деятельным учреждением, способным к оппозиции; поэтому в нем сосредоточили людей с талантами, с большой репутацией, с честолюбием и даже убежденных: Дону, философ Ларомигьер, Бенжамэн Констан, экономист Ж. Б. Сэй, Ма-

⁸⁷⁴ Относительно этого все свидетельства сходятся. См. Roederer III. 339. Stanislav de Girardin, "Journal et souvenirs", I, 187–188; Barante, I, 74. La Gazette de France, нивоз VIII года. С другой стороны, в донесении полиции Конде читаем: "Все выбраны Сийэсом. В списке, представленном генералом, из двадцати кандидатов прошли только два, и то с большим трудом". 2 января 1800 г. Архивы Шантильи.

ри-Жозеф Шенье, остроумный поэт Андрие, педант Генгенэ, который при директории добился дипломатического поста только для того, чтобы людей насмешить, Фабр де л'Од, Шовелен, маркиз либерал, Шазаль, Байел, Деменье, Жан Дебри, Шассирон, Гупил-Префелю, Жар-Панвилье, Лалуа, Пеньер, – все люди, уже известные своими успехами на трибуне, все испытанные революционеры, противники христианства и ненавистники попов. В виде исключения было дано место Станиславу де Жирардену, который в фрюктидоре благородно стал на сторону угнетенных. Законодательный корпус был заполнен бывшими старейшинами и бывшими членами совета пятисот, заседавшими и подававшими голоса в полной безвестности. К этим вчерашним депутатам прибавили несколько третьегодичных, выброшенных за борт на последних выборах. Впрочем, и здесь выделилось несколько известных имен, как, например, Грегуара, епископа-конституционалиста и храброго и прославленного Латур д'Оверня, “гренадерского капитана”. Лишние места были предоставлены нескольким именитым дельцам: крупным коммерсантам, парижским и провинциальным банкирам; но этот элемент, представлявший собою экономические интересы, как бы терялся в массе политических деятелей.

Бывших членов конвента всюду было много. Они, занимали второе место в консульстве, захватили в свои руки министерства полиции и юстиции, председательствование в сенате; первый президент трибуната, Дону, также был из их лаге-

ря. Наряду с этими остатками конвента главный контингент новых собраний составляла сравнительно умеренная партия прежних советов, партия Сийэса, та самая, которая в VII году резко разошлась с якобинцами, но вначале поддерживала тиранию директории, т. е. ту же якобинскую тиранию, пониженную на одну ступень. Как в III году две трети конвента произвольно вошли в состав совета, так и теперь приблизительно половина состава совета заседала в консульских собраниях, по милости Сийэса и с согласия Бонапарта. Общество отметило эту необычайную жизнеспособность сначала с удивлением, потом с негодованием. Люди из общества Сийэса, искренно хотели попытать счастья с легальной республикой, но они воплощали в себе упорство и непопулярность своей партии. Достоинство Бонапарта перед ними заключалась именно в том, что он стоял выше партий и правил не в угоду им, а в интересах Франции. Он говорил Тибодо: “Управлять при помощи какой-нибудь партии – это значит рано или поздно стать в зависимость от нее: на этом меня не поймают: я национален.”⁸⁷⁵

⁸⁷⁵ Thibaudeau, I, 115.

II

Парижане продолжали подавать голоса за конституцию, проявляя больше покорности, чем энтузиазма. Один шутник переложил ее текст стихами, посвященными г-же Бонапарт. Иные утром расписывались в сочувствии, а вечером в салонах, собраниях, в кругу друзей и знакомых отзывались весьма бесцеремонно об этом лицемерном указе. Убежденные республиканцы видели в нем деспотизм; роялисты находили его слишком революционным. Некоторые либеральные консерваторы отнеслись к новой конституции очень скептически и даже негодовали: ведь она освещала и увековечивала существование класса прожорливых политиков. “Держу какое угодно пари, – писал Барант, – что все консерваторы, сенаторы, законодатели, трибуны и пр. находят новую конституцию превосходной; а нам, бедным, тем, кто их кормит и платит им жалованье за то, чтобы всю жизнь подчиняться им – нам дозволено в виде вознаграждения сердиться, порицать то, что уже сделано и что еще собираются сделать, и смеяться над всеми пристроившимися и чающими пристроиться.”⁸⁷⁶

Зато понравились и пленили их указы, изданные Бонапартом тотчас вслед за конституцией, указы, которые были, так

⁸⁷⁶ Письмо это написано бароном де-Барант; в нем говорится о том, как неодобрительно отнеслась к конституции различные круги парижского общества.

сказать, оболочкой пилюли, преподнесенной французам. Великодушные указы, заглаживали прежние обиды, примиряли, разбивая, в то же время скрижали проскрипции.⁸⁷⁷ Почувствовав себя более сильным, более свободным, более господином своих решений, Бонапарт, первый консул, смело открывает эру национального блеска и примирения.

Представьте себе впечатления парижского буржуа, 7-го нивоza просматривающего *Moniteur*, со вчерашнего дня ставший официальным органом, перейдя от Сийэса к Бонапарту. В газете большого формата, на четырех страницах в 3 столбца каждая, еле уместились все консульские прокламации, предписания, постановления, и каждое слово в этих постановлениях облегчает чью-нибудь тяготу или возвеличивает принцип, утешает огорченных, осушает слезы или радует сердца, оставшиеся верными культу патриотической республики. На первой странице прокламация консулов, обращенная номинально к западным департаментам и на самом деле ко всей Франции. Это призыв к миру. За ним следуют постановления, обещающие полную амнистию инсургентам под условием, чтоб они немедленно разоружились и распустили свои полки. В ней есть суровые слова по адресу государей; революция же выставлена в ней достаточно высокой для того, чтобы сознаться в своих ошибках, достаточно справедливой для того, чтобы исправить их; а главное, сулящей

⁸⁷⁷ **Проскрипция** – (в древнем Риме) список лиц, объявленных вне закона

в перспективе капитальное благодеяние, великий источник утешения и радости – религиозную свободу.

“Несправедливые законы издавались и исполнялись во Франции; акты произвола нарушали безопасность граждан и свободу совести; всюду неосмотрительное внесение в списки эмигрантов поражало граждан, ни когда не покидавших своего отечества, ни даже своего семейного очага; словом, были попораны великие основы общественного строя”.

“Именно для того, чтобы исправить эти ошибки и загладить несправедливости, было провозглашено и признано нацией правительство, опирающееся на священные устои – свободу, равенство, представительную систему. Постоянным желанием, а равно интересом и славой первых чинов государства будет залечить все раны Франции, порукой в том все уже принятые ими меры”.

“Так, прискорбный закон о принудительном займе и еще более пагубный закон о заложниках уже отменены; лица, отправленные в ссылку без суда, возвращены родине и своим семьям. Каждый день правления консулов знаменуется актами правосудия; так будет и впредь. Государственный совет трудится, не покладая рук, вырабатывая реформы плохих законов и более удачную комбинацию распределения государственных налогов”.

“Консулы заявляют также, что свобода вероисповеданий гарантирована конституцией,⁸⁷⁸ что никакой государствен-

⁸⁷⁸ Случайная или умышленная ошибка, так как в конституции совсем

ный чиновник не имеет права посягать на нее: ни один человек не смеет сказать другому человеку: ты должен исповедовать такую-то религию, ты можешь совершать свое богослужение только в такой-то день...” Закон 11-го прериала III-го года, предоставляющий в пользование граждан Здания, посвященные религиозному культу, будет исполняться”.

“...Если бы, несмотря на все принятые правительством меры, еще нашлись бы люди, которые осмелились бы вызвать вновь гражданскую войну, первым властям Государства оставалось бы только выполнить прискорбный, но необходимый долг – силой заставить их покориться. Но нет, отныне все будут одушевлены одним только чувством – любовью к отечеству. Служители Бога мира будут первыми радетелями о примирении и согласии; пусть они идут в храмы, ныне снова открывшиеся для них, и вместе со своими согражданами принесут искупительную жертву за преступления гражданской войны и за пролитую в ней кровь”.

Эти открывающиеся храмы, эти слова: “ни один человек не может сказать другому, ты должен исповедовать такую-то веру, ты можешь молиться только в такой день”, – это уже религиозная свобода, по крайней мере, начало ее.

Чтобы прочувствовать все значение этих слов, достаточно вспомнить, каково было положение католицизма под гнетом директории и фрюктидорского режима: огромное большинство церквей не было возвращено католикам, несмотря на

закон, изданный конвентом 11 прериаля III года; во многих коммунах церкви отпирали только в десятый день декады. Все священники обязаны были приносить вновь установленную присягу и наравне с прочими подлежали административной ссылке; в то же время, по милости варварского законодательства, большинство священников терпели гонения и преследования за непринесение прежней присяги.

И вот консулы объявляют, что закон о возвращении церкви будет исполнен. Больше того, заявляя, что никто не смеет воспретить гражданину совершать обряды своей религии в какой ему угодно день, они разрешают воскресное богослужение и обуздывают гонителей, требовавших неуклонного соблюдения декады.⁸⁷⁹ Принципы, положенные ими в основу своей прокламации, санкционируются двумя постановлениями, напечатанными тут же, в конце, и в повелительной форме. Первое предоставляет гражданам свободу распоряжаться общественными зданиями, отведенными под храмы до 22 сентября 1793 г., т. е. до великого гонения, и после того не отчужденными. Второе гласит: “Консулы Республики, узнав, что некоторые администрации, искажая смысл зако-

⁸⁷⁹ Законы об упразднении других церковных обрядов и строгом соблюдении десятого дня еще не были отменены, но на практике допускались поблажки. Так, в Руане судили судом исправительной полиции торговцев, закрывших свои лавки на первый день Рождества. Один из них, вместо защиты, привел слова Бонапарта: “Ни один человек не смеет сказать другому человеку: “Ты должен исповедовать такую-то религию и т. д.”. – Его оправдали.

нов о республиканском календаре, издали особые постановления, не позволяющие открывать здания, отведенные для богослужения, иначе, как в десятый день декады, постановили принимать подобные меры: 1. – Сказанные постановления отменить и уничтожить. 2. – Законы касательно свободы вероисповеданий исполнять неуклонно по духу и форме”.

Эти два постановления дополнялись третьим, не менее важным, отменявшим политическую присягу для священников. “Все государственные чиновники, священники, наставники и прочие лица законами, изданными до конституции, обязанные к принесению присяги, или иного рода декларации, отныне довольствуются следующим заявлением: Обещаю хранить верность конституции”. После освобождения религии была облегчена участь священников.

Вот первое, что дал Бонапарт народу, нетерпеливо требовавшему свободы алтарей. Разумеется, это еще не полная свобода, с гласным призывом к молитве, с внешними манифестациями. Это только свобода молиться внутри храмов, добросовестное применение режима, установленного термидорским конвентом. Священники освобождены только наполовину; они еще связаны обязательством, которое может оказаться тягостным, и относительно их Бонапарт не отказывается от жестоких полномочий, присвоенных директории. Тем не менее, правоверные католики отныне могут, заручившись консульским словом, заставить везде открыть себе церкви, собираться в них, молиться Богу, как им угодно и в

какие им желательно дни, под руководством священников, переставших быть предметом систематических гонений. В этот день, 9-го нивоза VIII года, Бонапарт положил начало режиму терпимости, благодаря которому, за два года, почти всюду воздвигались снова национальные католические алтари, без ниспровержения других.

Но будем продолжать чтение *Moniteur'a*. На первой странице, внизу, в третьем столбце – мнение (*avis*) государственного совета, одобренное консулами и вошедшее в силу обязательного распоряжения. Это крупная мера, в смысле исправления прошлых ошибок. Законы 3 брюмера III года, 19 фрюктидора V года и 9 фримера VI года лишили пользования правами гражданства всех родственников эмигрантов и бывших дворян: они не могли ни принимать участия в выборах, ни быть избранными на какую бы то ни было должность, ни занимать ее по назначению; таким образом, чуть не половина нации была лишена гражданских прав; во Франции была создана каста партий, несчетное множество эмигрантов в пределах страны. Целый ряд законов, в итоге восстанавливавших сословные различия и освящавших привилегии различия, вычеркнут Бонапартом одним мнением, истолковывавшим смысл конституции. Государственный Совет признает, что конституция, не ставя никаких ограничений пользованию гражданскими правами, тем самым упразднила все распоряжения противоположного свойства. “Притом же сказанные законы были лишь случайными, обусловленными об-

стоятельствами, бедственными временами и слабостью тогдашнего правительства. Теперь подобные причины уже не могут быть признаны уважительными. Правительство, созданное конституцией VIII года, достаточно сильно для того, чтобы быть справедливым и держаться во всей их чистоте принципов равенства и свободы. Единственное различие, которым оно может руководствоваться при выборе людей, это различие в степени честности, даровитости и патриотизма”. Эти последние слова были взяты из Декларации Прав, таким образом, первое же проявление общественной деятельности государственного совета было практической данью верности одному из основных принципов 1789 года – принципу равенства всех перед законом.

На второй странице *Moniteur*'а читаем доклад, подписанный министром внутренних дел Люсьеном Бонапартом, и вслед за ним одобрительное постановление консулов. Речь идет о том, чтобы увековечить военную славу Франции, примирив прошлое с настоящим, слив их воедино в одном общем памятнике – Отеле Инвалидов, превращенном в Храм Марса. И в самой концепции, и в способе изложения много напыщенности, эмоциональной выразительности, олимпийской надменности, но эта напыщенность меньше шокирует, если принять в расчет, что величие воинских подвигов той эпохи было достойно стиля прославления их.

“...Обширная эспланада, расстилающаяся между зданием и Сенной, будет усажена разного рода деревьями. Они укроют

в своей тени могилы воинов, павших с оружием в руках”.

“Посредине этого Элизиума забудет фонтан из большой античной порфировой чаши; этот первый памятник украсят аллегорические атрибуты и бронзовый лев, привезенный из Венеции”.

“У входа в первый двор будут убраны трофеи дурного вкуса, венчающие два старинных пьедестала, и заменены величественными группами”.

“Коринфские кони, добытые в Венеции, будут поставлены в большом внутреннем дворе, впряжены в колесницу Победы и подняты на пьедестал, украшенный трофеями современного оружия”,

“...Церковь будет превращена в военную галерею. На стенах будут начертаны даты и краткая история главных побед французов в войне за свободу. Это будет военный календарь; над входом будет красоваться надпись: “Победа”. Между арками будут поставлены пьедесталы для статуй храбрых, прославленных и защищавших отечество во все времена. Там, подле статуй Тюренна и победителя при Нордлингене и Рокруа (в то время еще не считали возможным обойтись без перифразы, говоря о великом Кондэ), будут воздвигнуты статуи Гошу, Жуберу, Дюгомме, Марсо и Дампьеру”. “В этом храме всегда будет совершаться торжественный прием отнятых у неприятеля знамен; этими знаменами и будет украшен свод. Художникам будет предложено расписать фресками на военные сюжеты часть стены, ныне закрытую органом; таким

образом, будет сделана попытка натурализовать во Франции этот род живописи, которому отдавали предпочтение знаменитейшие мастера итальянской школы”.

“На возвышении, где помещался алтарь, поставлена будет статуя Марса, а перед статуей трибуна, с которой будут произносить надгробные речи и воинственные воззвания”.

“...Элизиум воинов будет школой побед”. Вслед за этим высокопарным докладом идет рубрика: Министерство общей полиции. Фуше вносит гуманитарную ноту, в нескольких строках поздравляя центральное бюро с введением в тюрьмах более мягкого режима. Фуше объявляет, что он приказал представить себе подробный и точный список заключенных, в видах освобождения произвольно арестованных и скорейшего восстановления справедливости.

Этим сообщением Фуше заканчивается ряд официальных приказов. Ниже, под рубрикой “Париж”, ряд кратких сообщений, начинающихся каждое с красной строки – все новости дня. Одна из них имеет крупное общественное значение. Не прошло и сорока восьми часов с водворения консулов, как они уже разрешили вернуться тридцати восьми сосланным в фрюкtidоре депутатам, с отдачей их под надзор. Они возвращены отечеству и семье, эти люди, “из которых все почти могут быть причислены к гражданам, наиболее выдающимся своей образованностью и нравственностью:⁸⁸⁰ Карно,

⁸⁸⁰ Письмо г-жи Делессер от 9 января 1800 г., сообщено Жоржем Бертэном.

организатор победы, Бартеlemi, Барбэ-Марбуа, Лафон-Ладеба, Пасторе, Катрмер де Кэнси и другие. Надо, впрочем, отметить, что Бонапарт, чтобы доказать свое беспристрастие, этим же самым постановлением вернул, с отдачей под надзор полиции, двух депутатов крайней левой, гнусных террористов Барера и Вадье.

А вот и слова ободрения для наших армий, которые страждут, ожидая от правительства облегчения. “Уже приняты самые энергичные меры к улучшению их бедственного положения и каждый день принимаются новые. Независимо от уже высланных крупных сумм и тех, которые будут выданы армиям департаментами, на этот предмет ассигнован и на днях отправлен из Парижа еще миллион”. Наконец, в рубрике: Разные разности, перед статейкой “О женщинах, их нравственных качествах и положении их у различных народов и при различных формах правления”, перед перечнем новых книг, курсом биржевых ценностей и программой зрелищ, находим еще коротенькую заметку, очевидно, продиктованную Бонапартом; это категорическое опровержение сообщения другой газеты, Друга законов (*L'Ami des lois* № 1585), о том, будто бы первый консул Бонапарт приказал устроить праздник, который обойдется в двести тысяч франков. – Это неправда. Первый консул Бонапарт знает, что двести тысяч франков составляют шестимесячное жалованье полубригады.

И до того, и в последующие дни, мы видим лишь ме-

ры справедливости, направленные к славе Франции, бодрящие, отрадные меры: учреждение почетного оружия для награждения офицеров, отличившихся на службе республике, – прокламация первого консула к французским солдатам: “Солдаты! когда настанет время, я буду посреди вас, и Европа вспомнит, что вы из породы храбрых”; – прокламация к итальянской армии: “Первые добродетели солдата – стойкость и дисциплина, мужество идет уже после них. Солдаты! несколько отдельных частей оставили свои позиции, не вняв голосу своих офицеров. 17-я легкая бригада из их числа. Неужели же они все умерли, храбрецы, бывшие при Кастильоне, при Риволи, при Неймаркте! Они сами предпочли бы погибнуть, чем бросить свои знамена, и сумели бы вернуть на путь чести и долга своих более юных товарищей. Отныне мне будут ежедневно представлять отчет о поведении всех войсковых частей вообще и, в частности, 17-й легкой бригады и 63-й линейной. Они вспомнят, какое доверие я питал к ним”. На другой день отдается приказ об изыскании средств закончить список эмигрантов, прекратить эту запись изгнанников, всегда открытую для произвола. Оказано правосудие первой группе эмигрантов, этим несчастным, которые, потерпев крушение в Калэ, были вновь выброшены бурей на наши берега, и которых прежние правительства таскали из тюрьмы в тюрьму, презирая элементарнейшие принципы справедливости; возвращены писатели, сосланные во Фрюктидоре, в том числе Лагарп, Фонтан, Фьевэ, Сикар, бла-

годетель слепых; освобождены священники, содержащиеся в заключении на океанических островах: обнародован закон, не позволяющий через несколько дней праздновать 21-е января, и, в виде противовеса этому, освобождены из-под надзора якобинцы, осужденные на изгнание после брюмера и затем помилованные. Все эти меры как бы подтверждают на деле последние слова временных консулов: “Граждане, революция остановилась на принципах, во имя которых она была начата; она закончена”.⁸⁸¹

Революция, сдержавшая свои обещания, завершающаяся в мире, под властью консулов, – возможно ли такое чудо! Это казалось слишком хорошим для того, чтобы оно могло длиться. Но – конец, или только временное затишье – это было восхитительно, и все наслаждались моментом. Правительство, которое не изгоняет более во имя свободы, но возвращает изгнанников, – чудо чудное, диво дивное! Как ни жаждал народ покоя и порядка во что бы то ни стало, старый идеал свободы и справедливости, идеал 1789 года, еще не совсем изгладился из памяти души у парижской буржуазии, представительницы общественного мнения среднего сословия, по существу, умеренного в своих взглядах. Осуществления этого идеала французская буржуазия ждала последовательно от возрожденной королевской власти, от собраний, от народа, собиравшегося на съезды (*comices*), от прогресса просвещения и народного сознания; после ужасов террори-

⁸⁸¹ **Napoléon. Correspondance, VI, 4422.**

стического режима она рассчитывала на либеральную республику или восстановление ограниченной монархической власти, и каждый раз воскресшие надежды разбивались, падая с высоты. Неужели же, наконец, осуществится, по воле одного человека, этот неуловимый идеал, до сих пор являвшийся только в мечтах? Правда, этой терпимости, гуманности, правосудию нет гарантии в законах; они исходят от Бонапарта по его доброй воле, как правительственная мера, в силу его консульской прерогативы, потому что они отвечают его инстинктивному стремлению к политике широких горизонтов, потому что они кажутся ему наиболее пригодными к объединению этой Франции, которую он задумал пересоздать по-своему и сделать шедевром; и все же ему благодарны за эти меры; ему прощают узурпацию власти за то употребление, какое он делает из нее. Конституций видели слишком много, для того, чтобы полагаться на подобные гарантии; предпочитают положиться на одного гениального человека, уверовав в его умеренность.

Правление Бонапарта вначале – это идеальный произвол; после законодательной тирании, после припадочного правления факций он является сущим благодеянием. Положим, некоторые акты, если приглядеться к ним ближе, оказываются испорченными ограничениями и расчетами чисто личного характера, но все же они представляются великодушными, мужественными и глубоко разумными. Консулу признательны за то, что он снова выдвинул на почетное место ис-

тинные принципы власти, за то, что он вернул Францию к действительности, победив химеру. В нем, каким он проявляет себя, приветствуют, главным образом, победу здравого смысла. И, по мере того, как эта лучезарная заря все выше и выше разливается по горизонту, в ней видят обет грядущих мирных дней: г-жа Делессер пишет из Парижа за границу об утешительном будущем и прибавляет: “Вы понимаете, с каким облегчением вздохнули друзья этой страны, ибо они надеются, что результатом этого царства справедливости и администрации, столь же твердой, как и упорядоченной, будет мир”.⁸⁸²

Из всех принятых мер ни одна не произвела такого впечатления во всех стране, как прекращение религиозных гонений и открытие церквей. В Париже с тех пор, как фрюк-тидор лишил католиков часовен и домовых церквей, устроенных ими в каждом квартале, в их распоряжении осталось всего восемь старых приходских церквей, и то они не пользовались ими безраздельно. А тут моментально было уважено их прошение об открытии церквей, принадлежащих частным лицам,⁸⁸³ и признаны их права. Это возвращение культа произвольно закрытых храмов было настоящим праздни-

⁸⁸² **Lettre de m-me Delessert, 9 janvier, 1800.**

⁸⁸³ **Роялистская запись 14 нивоа – 4 января: “Во всех кварталах Парижа открываются католические храмы. Муниципалитеты немало тормозят дело, ставя затруднения лицам, предлагающим отвести несколько зданий под церкви, но центральное бюро устраняет затруднения, приказывая исполнять закон”. Архив, г. Шантильи.**

ком. Чтобы убедиться в этом, стоит только прочитать донесение центрального бюро. Не забывайте, что это донесение писано чиновниками весьма республиканского образа мыслей, старающимися выказать себя людьми без предрассудков, философами, изрекающими поучения, хотя и не стоящими уже за преследования. “Постановление первого консула относительно свободы вероисповеданий произвело в Париже настоящую сенсацию. Все эти дни замечалось значительное стечение народа у ворот храмов. Много закрытых церквей теперь были открыты вновь к большому удовольствию толпы людей, очень шумно и ярко проявлявших свою радость. Многие обнимались и обменивались рукопожатиями. Все доказывали справедливость наблюдения, выносимого из истории всех времен и всех народов: преследование ведет только к тому, что воззрения гонимого обостряются до настоящего фанатизма.”⁸⁸⁴

В провинции, в особенности в деревнях, движение приняло иной характер: беспорядков и мятежей. Сельское население не понимает юридических тонкостей, не понимает, как это можно позволить молиться в храме и не дозволять благовестить к молитве. Для него свобода вероисповедания значит право исповедовать свою веру, как прежде. Двери храма открыты настежь для верных, Господь – хозяин у себя дома, не допускающий никакого раздела. Долой обряды десятого

⁸⁸⁴ Донесение центрального бюро 13 нивоза. Национальный архив, АФ, IV, 1692.

дня, долой языческие эмблемы; нужно хором петь воскресную обедню, звонить, трезвонить во все колокола; воскресенье целиком должно быть праздником, днем молитвы и отдыха, днем соборищ, забав, танцев, веселья, – вот чего, шума и волнуясь, требует народ. Ему нужно, чтобы священник имел право в одежде, присвоенной его сану, идти за гробом верующего и благословить его могилу; ему нужны в известные дни пышные церемонии, ослеплявшие его своим блеском, когда он был еще ребенком, процессии, крестные ходы с хоругвями и знаменами, реющими над толпой, религиозные зрелища – символические торжества, поклонение легендарным святым – вся эта роскошь деревни, эта поэзия смиренных, золотящая небесным лучом их убогую жизнь, влачащуюся по земле.

Наконец, ему нужен добрый батюшка, священник, не присягавший, не имеющий ничего общего с нечестивым режимом, священник, молитва и благословение которого были бы угодны господу. Но где они, такие священники? Когда кончился террор, их вдруг появилось множество; они показывались в народе, совершали требы, с наступлением второго фрюктидорского террора они снова куда-то исчезли. Все знают, однако же, что большинство из них не покидали родины, что они тут, недалеко, прячутся в домах благочестивых католиков, живут милостью добрых душ, которые пекутся об их нуждах. Нередко скитаются, каждую ночь меняя кров и пристанище, укрываясь в чаще леса, в пещерах, и все-таки

не хотят эмигрировать. Теперь, когда свыше прозвучал глагол освобождения, доверие к этому слову, пламенное желание снова послужить вере и долгу влечет их выйти из своих убежищ, а между тем требования закона ими не соблюдены. От них требуют обещания верности конституции; они видят в этом повторение ненавистных присяг и не хотят его подписывать; но в то же время им говорят о новых веяниях, о великодушии и терпимости нового правительства, и они, набравшись храбрости, покидают свои убежища, тайники, погреба, подвалы. Внезапно целые полчища священников выходят из-под земли. Ряс не видно; они одеты, как все, как крестьяне; церковь слилась с народом, почерпнув в этом источнике новые силы. Народ, торжествующий, тащит их в храмы, без церемоний, тяжелой мужицкой рукой расчищает им дорогу, освобождает святилище, заставляет власти убрать принадлежности обрядов десятого дня, перенести в другое место свое мирское служение. Алтарь отечества разрушен, как будто этим святотатством надеются изгладить следы великого осквернения святыни. Колокола уже не молчат; их торжественный и чистый голос разносится в безмолвии селений, напоминая Богу о человеке, который гнет спину над бороздой, и скрашивая его труд.

Колокол нужен селянину еще и затем, чтобы знать время. Бывало, он по колоколу распределял свою жизнь; у бедняка-пахаря не водится часов; колокол будил его утром на работу, говорил в полдень, что пора отдохнуть, потом опять

звал на работу и вечером, усталого, посылал на покой; без колокола он не знает, как быть, и путает время. Колокольный вопрос существует во Франции уже несколько лет; родился он в годину полузамирения III года; фрюктидорские притеснения не могли окончательно задуть его. Теперь он снова воскрес и понемногу развязались медные языки. Прислушайтесь! Вначале только в отдельных местах слышен робкий боязливый звон, но понемногу он крепчает; колокола расхрабрились; они, непокорные, звонят во весь голос, перекликаются из деревни в деревню; радостный звон оглашает простор полей. Вслушайтесь! Это пробуждение, воскресенье, бунт колоколов.

В Париже бесчисленные стрельчатые башни пока безмолвствуют; голос их еще не покрывает городского шума. Но лишь только вы миновали заставу, навстречу вам из ближайших и дальних селений несется колокольный звон; звонят у ворот Сен-Дени, в Пьерфитте и в других кантонах Сены и Уазы; звонят к северу от Парижа, звонят к югу. В Этампе низвергнут алтарь декады, и версальские власти боятся, как бы виновные избегли кары: “Чего доброго, их оправдают, как оправдали недавно субъектов, выставивших, вопреки закону 7-го вандемьера, у дверей своего дома покойника, а возле него распятие, освященную воду и зажженную восковую свечу, – тоже нарушение закона, по-видимому, разрешаемое этампской полицией”.⁸⁸⁵ В Луарэ, в Куртенэ также не при-

⁸⁸⁵ Эта и следующие выдержки взяты из донесений гражданской и су-

знают больше декады. В Уазе, принимая в расчет интересы населения, которое не в состоянии больше обходиться без колоколов, местные власти пошли на компромисс – ввели с 18-го брюмера, так сказать, светский звон: “Колокола звонят, но не призывая к богослужению; они зовут к труду, напоминают о дневной работе, и звонят они по-другому, не так, как бывало звонили к *Angélus*, а в десятый день молчат, потому что это день не рабочий”. В департаменте Нижней Сены, в Гурнэйском округе власти просят разрешения сделать то же, замечая, что “во всех соседних кантонах звонят. Их округ единственный, где соблюдают закон, и это вызывает нарекания жителей”.

Двинемся ли мы дальше на запад в область великих волнений, сейчас успокоенную перемирием. Там уже настоящий расцвет католицизма. Во всей нижней Нормандии воскресная служба в церкви идет под звон колоколов. В Бретани и соседних с ней местностях священники отказываются присягать и все-таки правят обедню и церковные требы. У дороги опять появились деревянные кресты и священные изображения в нишах на перекрестках; “воскресенье убивает десятый день”; на колокольне крест и петух заменили фригийский колпак; из-под обламывающейся по кускам революционной штукатурки выступает неизгладимая печать католицизма. В городах Анжу и Мэне, в окрестных селениях като-

дебной власти и жандармерии, хранящихся в Национальной Библиотеке, французский отдел, 11361, нивоз-вантоз VIII года.

лицизм вернул себе все права: вместе с тем прогрессирует и замирение страны. Из Мэны и Луары доносят: “Католические священники вернулись к выполнению своих функций, народ толпой валит за ними, с удовольствием присутствует при их церемониях. Правда, десятые дни соблюдают теперь только в Сомюре и Анжере, да и то с большими поблажками, но священники в общем проповедают мир и покорность, хотя и подписавших заявление пока мало”. Другое донесение: “В глазах народа всего важнее возвращение священников; этой победе он больше всего радуется”. В департаменте обеих Севр центральный комиссар предлагает, в видах успокоения страны, “расширить пределы религиозной терпимости, отменив постановление, требующее декларации от священников, или же смотреть сквозь пальцы на его исполнение”.

В других местах власти, не столь умудренные опытом, менее покладисты. Некоторые упорствуют в борьбе против здравого смысла, держась нелепых и гнетущих постановлений и запрещая всякие внешние проявления религиозности; иные признают себя побежденными, сопротивляются вяло и понемногу сдаются, отводя душу в слезливых и жалобных донесениях. По всей Франции, от края до края, распространилось это движение; интенсивность его в различных местностях различна, повсюду полусвобода, дарованная Бонапартом, толкуется как полная свобода.

В пиренейских долинах целое нашествие священников,

до сих пор укрывавшихся в Испании или в горах; Арьежские власти жалуются, что “непокорные священники повсюду совершают богослужение под звон колоколов и без всякой предварительной декларации”. Некий администратор утверждает, что “опаснейший источник агитации, это возвращающиеся отовсюду и в большом количестве ослушники, нарушающие все законы о надзоре за вероисповеданиями и сеющие раздор среди граждан”. В Верхней Гарроне, в коммуне Портэ, в тулузском земледельческом округе, “на месте дерева свободы, срубленного и брошенного в реку, 6-го утром нашли красивое распятие с надписью: Кто его ломает, того Бог покарает (Qui L'ôtera, Dieu le punira)”. В Эро (Hérault) “фанатики кантона Мартэн де-Лондр, подобно многим другим, истолковали в свою пользу постановление 7-го нивоза: звонят в колокола, пооткрывали церкви, восстановили все внешние проявления культа; говорят даже, будто священники правят все службы без предварительной декларации”. Из Нима власти пишут: “Фанатики, введенные в заблуждение ложным толкованием постановления о свободе вероисповеданий, опрокинули, изломали, сожгли все республиканское убранство храма декады”. В Устьях Роны после брюмера в большей части коммун “республиканскими учреждениями небрегут, десятых дней не соблюдают, зато праздники и бывшие воскресенья празднуют с помпой и проводят их в ничегонеделании”.⁸⁸⁶ В Марсели католикам возвращены две ста-

⁸⁸⁶ Saint Yves et Fournier “le Departament des Bouches du Rhône” de 1800

ринные церкви; в Э (Aix) – четыре.⁸⁸⁷ В Вале еще повинуются закону и соблюдают ограничения.

Центр весь охвачен религиозной реакцией. В Лозере “возвратившиеся священники смело показываются всюду, без всяких деклараций завладевают церквями, натравляют народ на тех, кто повинуется закону; об этом единодушно доносят все комиссары кантона, прибавляя, что они истощили все способы убеждения и не видят средства помешать нарушению закона; влияние священников на народ так велико, что если бы захотел установить судебным порядком всем известные бесчинства, не нашлось бы ни одного свидетеля”. В другом донесении говорится: “Факты, имевшие место в Канурге 16-го и 20-го нивоза, противные закону о вероисповеданиях, вновь повторились в Марвежолле 20-го текущего месяца. Народ толпой устремился к кюре, викарию и другим послушным священникам и поволок их в церковь для совершения католических обрядов. Но хотя с виду эти священники и действовали по принуждению, надо полагать, что они сами были зачинщиками движения”. В Кантале насчитывают пятьсот послушных священников, триста из них под надзором полиции, остальные скрываются; они “без всякой предварительной декларации звонят в колокола, отпирают церкви и правят церковные службы или же совершают свои обряды в

â 1810, – 316–317, 313–319.

⁸⁸⁷ Донесение комиссара центральной администрации Устьев Роны, Э, 11 фримера. Архив Устьев Роны, запись 558.

лесах и уединенных пещерах; вот как они отплачивают правительству за его милосердие”.

В департаменте Роны, в местечке Тизи собралось на церковную службу две тысячи человек. Комиссар Сены и Лурары пишет: “В Семюре 30-го нивоза общественное спокойствие было нарушено, многолюдным сборищем при колокольном звоне, после чего в церкви была отслужена обедня священниками, отнюдь не выполнившими предписываемых законом формальностей. 11 плювиоза подобное же сборище в Шаньи учинило величайшие бесчинства, изломало алтарь отечества и республиканские эмблемы”. В Дубсе имели место факты в том же роде. В Верхней Сене морейские власти жалуются, что “фанатики не могут успокоиться, пока колокольным звоном не возвестят о том, что они зовут своим торжеством. Каждый день приходится звать жандармов, чтобы прекратить эти бесчинства и добиться исполнения закона”. В Йонне по деревням ходит петиция, требующая полной религиозной свободы, и роялисты пытаются обратить ее в орудие пропаганды. В Шалоне-на-Марне разыгрывается чрезвычайно характерная сцена: “16-го, в час дня; триста человек проникли в колокольню бывшего собора и принялись трезвонить в единственный уцелевший колокол и в тот, что на часовой башне. Вскоре откликнулись другие городские колокола, а там по очереди все колокола соседних деревень. Мы не сомневаемся, что это мятежное движение разольется по всему департаменту”.

В Эне, Краонне и соседних округах, со времени постановления 7-го нивоза, церкви открыты, десятые дни не соблюдаются, и администрация напрасно тратит время на жалобы и доносы. В Арденнах властями издано постановление против “злоупотребления колокольным звоном во всех коммунах”. В департаменте Страшной Горы (Mont Terrible) в Вартштэдте сжигают алтарь отечества. Набожная Бельгия вся молится в открытых церквях; из Анвера доносят: “Открытие нескольких храмов вследствие консульского постановления от 7-го нивоза, по-видимому, принесло большую пользу и вызвало общее удовлетворение, но служители католической религии не дают никаких о себе заявлений. . . Открытие церквей в Габроэке сопровождалось беспорядками, собраниями женщин и детей, оскорбивших слугу конституции”. Со всех концов старой и вновь приобретенной территории, день за днем приходят донесения, свидетельствующие о религиозном рвении французского народа, обостренном гонениями, об агрессивном характере этого рвения, о твердом желании Франции снова стать христианской.

Сила, стремительность, искренность этого движения не могли не поразить глубокого, наблюдательного ума Бонапарта. Не он создал это движение; не он своею властью воздвиг алтари и повелел верить в Бога; он только отменил некоторые слишком уж ненавистные запреты, только бросил на ветер слово “свобода”, – и всюду сами собой воздвиглись алтари, словно чудом вырастая из-под земли. Католическое дви-

жение существовало до Бонапарта, но в скрытом состоянии, просачивающемся тонкой струйкой из под гнета преследований и карательных мер. Достаточно было нанести один удар, чтобы плененный источник вырвался на свободу, брызнул и разлился широкой волной. Бонапарт не чувствует в себе ни желаний, ни власти подавлять эту силу; напротив, ему мало-помалу приходит мысль использовать ее как фактор – сперва замирения, затем господства. Это одна из главных причин, побудивших его впоследствии официально восстановить католицизм; но тогда он еще не мог регулировать, дисциплинировать и подчинить себе все жизненные силы нации; для этого время еще не пришло.

Так же и с конституцией; она сделала его почти господином правительства, но она еще не делала правительства господином Франции. Отныне у государства есть голова, мозг, с редкой мощью мысли и волевых импульсов, но нет членов, или же члены эти слабы и вялы. У Бонапарта свои министры, свои государственные советники, но у него еще нет своих префектов, своих супрефектов, мэров, судей, жандармерии, полиции, всех этих винтов и колес, которыми он сначала захватит Францию, чтоб выпрямить ее, потом сожмет так, что ей трудно станет дышать. Пока он не добился от трибуната и законодательного корпуса основных законов, позволяющих ему пересоздать заново административный механизм и персонал, он держит в своей власти страну исключительно силой общественного мнения и своего личного обаяния.

Административное междуцарствие затянулось. Почти везде замечается скорее тенденция к либеральной анархии, чем восстановление авторитета власти. Представители местной администрации, отныне убежденные в том, что они скоро будут заменены другими, или же самое учреждение преобразовано, совершенно отложили попечение о делах. Мы уже видели, какая неурядица царила в администрации в области применения на практике расширенной религиозной свободы; то же, или приблизительно то же, было и во всем. Многие чиновники совершенно не понимали консульской политики, или же в глубине души не одобряли ее. Иные оставались верными крайним партиям. Все стояли за конституцию, но иные только на словах, с оговорками про себя, порой весьма определенного свойства. Ультрареволюционная партия, имобилизованная и наполовину присоединенная после брюмера, а теперь уже недовольная конституцией, сохранила за собой часть своих позиций. В провинции по-прежнему существовали клубы и были среди них такие, которым не сиделось смирно. Их слабость заключалась в их непопулярности, в отвращении, внушаемом ими народу; но все же, если бы они осмелились восстать открыто, то у них еще нашлась бы в административном кругу негласная поддержка.

Тем не менее, главная опасность грозила Бонапарту справа.

Бонапарт хотел организовать и подчинить себе революцию; он и не думал отречься от нее. Он хочет успокоения, а

не реакции. Но в этой широкой терпимости, которую он в интересах успокоения проявляет по отношению к религиозным и политическим взглядам, к народным обычаям, привычкам, традиционным верованиям, и сила его, и грозящая ему опасность. При помощи ее он привлекает на сторону нового строя миллионы французов, доказывая им, что свобода совести и личная безопасность могут совмещаться с республикой, как он ее понимает, но с другой стороны, смягчение революционных законов поощряет явных реакционеров – поборников старого режима – а таких осталось еще немало. Роялистское движение, обнаружившееся в последние времена директории, не остановилось сразу; возвышение Бонапарта замедлило его, толкнуло его на другой путь, но не поставило ему непреодолимой преграды. Положительно можно утверждать, что весьма значительная часть французов пока видела в Бонапарте только последнюю ступень к восстановлению королевской власти, только временного, хотя и поразительно даровитого правителя. Мирные роялисты, лишь теоретически отдавшие предпочтение королевской власти, теперь уже склонялись в пользу примирения, готовы были удовольствоваться той безопасностью, которую давало им консульство; роялисты боевого типа, люди пламенной веры и дела, отныне не собирались сложить оружия, хотя и готовы были пойти на перемирие. Они порешили, в случае, если консул в ближайшем будущем не исполнит их требований, пустить в ход против него все те средства, при помощи которых они ве-

ли борьбу с его предшественниками, объявить ему войну не на жизнь а на смерть, – и эти враги были бы действительно опасны, ибо они одни способны были стойко держаться против Бонапарта. Общественное мнение относилось к ним до известной степени сочувственно, видя в них открытых противников якобинства.

Сам консул заметил это и говорил Редереру: “Вы уверены, что в общественном мнении не может произойти поворота в пользу королевской власти?”⁸⁸⁸ Редерер успокаивал его, говоря, что народу нужно сильное правительство, какое и будет ему дано, и что он примет его как эквивалент королевской власти, под республиканским этикетом, еще милых сердцу многих французов. Относительно народных масс Редерер был прав. Масса, желавшая только одного – чтобы ее не слишком угнетали и разумно правили ею, продолжала идти навстречу Бонапарту, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее, пока из глубины не хлынул огромный вал, все увлекший за собой. Но в то время еще ясно не обозначились противоположные течения, кипевшие и боровшиеся на поверхности. При таком сильном тяготении народа к Бонапарту роялистам труднее, чем когда-либо, завоевать Францию; но они еще могут волновать ее, затягивать старые беспорядки и вызывать новые.

На всем протяжении французской территории нет такого центра, имеющего большое значение, или хотя бы самое ни-

⁸⁸⁸ *Oeuvres de Roederer*, III, 305.

чтожное, где бы не нашлось меньшинства, готового поддержать всякое явное контрреволюционное движение; кроме того, весьма обширные районы остаются как бы обособленными, оторванными от государственной общности; другие держатся, кажется, только на волоске, который вот-вот оборвется под напором элементов давно укоренившегося беспорядка, дающего преобладание факции правой. В то самое время, как Бонапарт сделал себя первым консулом, против него зрел обширный заговор, к которому мы еще возвратимся с целью отвлечь от него юг, сделав его опорой и резиденцией монархии, которую желательно было восстановить.⁸⁸⁹ В центре и на юго-западе пытались слиться воедино обломки старых мятежей. На западе, хотя религиозное замирение подорвало популярность восстания и как бы подрезало его у корня, армия шуанов оставалась под ружьем и перемирие не вполне прекратило ее деятельность. Вожди продолжали вести переговоры, но наиболее влиятельные из них допускали только вооруженный мир, т. е. то же перемирие, только лучше соблюдаемое, – мир, который давал бы им возможность в любой момент снова начать войну. Они требовали ни более ни менее, как особого режима для своего края, чего-то вроде автономии запада, сохранения белой Франции среди Франции трехцветной.

Опасность, грозившая со стороны роялистов, была страшна тем, что она была тесно связана с внешней опасностью.

⁸⁸⁹ См. Lebon, “l’Arsletérré et l’émigration française”, 278–282.

Все заговоры опирались на границу и оттуда черпали свои ресурсы; единственным их реальным шансом на успех была затяжная внешняя война. Победы при Цюрихе и Бергене отодвинули вражеское кольцо, теснившее наши границы, но не разорвали его. Правда, Павел I, из антипатии к своим союзникам и по внезапному капризу, отозвал свои войска. Бонапарт написал ему и английскому королю гордые и умно составленные открытые письма, где он приглашал их положить конец кровопролитию и начать переговоры о мире. Эти письма были обращены не столько к повелителям враждебных стран, сколько к французам, жаждавшим мира. Они должны были убедить их, что правительство только поневоле, по принуждению возобновит враждебные действия, в случае отказа неприятеля или унижительных для Франции требований с его стороны.

На деле мир в данный момент был по-прежнему невозможен. Наследник революционной традиции, Бонапарт хотел обеспечить за Францией линию Рейна, разрешить все еще открытый крупный вопрос о естественных границах, прибавив к ним все новейшие французские завоевания; кроме того, он рассчитывал вновь завоевать Италию, первую арену своей военной славы, без которой от его первых подвигов останется только тень – и воспоминание, которое скоро изгладится. С своей стороны, Австрия, дошедшая до Вара, уже коснувшаяся республиканской территории, конечно, не согласилась бы без боя отступить в глубь Италии, назад

к Кампо-Формиа. Лондонский, кабинет допускал мир лишь с Францией, вернувшейся к прежним границам, и то лишь при обязательном; условии восстановления там королевской власти.

Значит, нужны еще битвы, и коалиция, зная, как истощена Франция, но не оценивая по достоинству непобедимой силы наших армий, считает возможным одержать верх даже и над Бонапартом.⁸⁹⁰ Она тем более верит в успех, что чувствует себя в силах завладеть Провансом, что имеет точку опоры в самой Франции, благодаря волнениям и проискам внутренних врагов, благодаря роялистскому агентству в Париже, содержащемуся на английские деньги, благодаря шуанам на юге, в Лангедоке, на Западе. Коалиция надеется окружить консула кольцом мятежей, взбунтовать против него провинции и натравить одну половину Франции на другую. Будущей весной, если война в Альпах и на Рейне останется в прежнем неопределенном положении, если Бонапарту не удастся сразу решительной победой очистить от врагов наши границы, на него с помощью иноземцев может восстать контрреволюция и напасть на него с тыла.

Какого бы успеха он ни достиг вначале, внутренний порядок, замирение мятежных и полумятежных провинций, включение их в состав единого национального целого останется непрочным, пока коалиции не будет нанесен прямой удар, который заставит роялистов отложить свои надежды на

⁸⁹⁰ Lebon, 276–277. Daudet, “Les émigrés et la seconde coalition”, XIV–XVIII.

неопределенное время.

Да и вообще, дать устойчивость общественному мнению и упрочить положение правительства может только мир, или, по крайней мере, победа, сулящая мир в ближайшем будущем. Пока нация лишена этого блага, как бы символизирующего и освящающего собой все другие, ничего прочного, в сущности, не достигнуто. Франция уже не цепляется больше за республиканские учреждения, не дорожит ни духом их, ни даже формой, хотя и старается сохранить их по имени; конституцию будут судить по ее результатам, “если она дает нам мир, ее найдут превосходной”⁸⁹¹. Таким образом, внешний вопрос продолжает подчинять себе внутренний; окончательное право управлять французами Бонапарту предстояло завоевать через несколько месяцев, на поле битвы.

А пока он продолжал свое разумное и великое дело, в которое вкладывал всего себя: пересоздавал все области управления, усмирял факции, укрощал злобу и ненависть, с высоты власти внушал умеренность, из всех партий выбирал и выдвигал способных людей, становился вождем и центром объединения нации, сближал под своею властью две враждующие половины французского народа, кладя конец великому расколу во Франции. В его способе борьбы с препятствиями была необычайная смесь силы и ловкости, но ни одно из них ни разу не заставило его свернуть с начертанного им себе прямолинейного пути. Он идет к цели доблестно и

⁸⁹¹ Письмо Ле Коза Roussel, 328.

осторожно, рассчитывая каждый шаг. Веря в удачу, в свою счастливую звезду, он один только не обманывается насчет огромных трудностей своей задачи. Он еще не знает, в какой форме ему позволено будет окончательно слить свою судьбу с судьбами Франции, которую он хочет сначала успокоить и переустроить. Кого сделают из него обстоятельства? Будет ли он Вашингтоном? Он позволяет об этом думать другим, быть может, сам думает так же. Любители исторических аналогий продолжают твердить: Кромвель. Вокруг него слышится порою шепот: Монк; его инстинкт отвечает: Цезарь. Подниматься выше, выше – таков закон и роковое свойство его природы. Но для того, чтобы дойти до вершины, где его честолюбие станет вполне сознательным и откуда ему откроются безграничные горизонты, ему понадобилось шесть месяцев; он лишь постепенно достиг полной власти, основанной на полном подчинении себе общественного мнения; понадобилось Маренго, чтобы довершить дело Брюмера.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТЬ I. ДОКУМЕНТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ОТСТАВКИ БЕРНАДОТА

ПРОТОКОЛЫ ДИРЕКТОРИИ.

ЗАСЕДАНИЕ 28 ФРЮКТИДОРА VII г.

Заседание началось чтением корреспонденции.

Директория совещается об увольнении гражданина Бернадота, военного министра, который неоднократно подавал в отставку. Она принимает его предложение и на место гражданина Бернадота назначает гражданина Дюбуа-Крансэ, дивизионного генерала. Новому министру посылается телеграмма с извещением о его назначении и предложением немедленно занять свой пост. Постановлено, что временно министерством будет заведовать бывший министр, гражданин Миле-Мюро. Постановления Директории сообщены гражданам Бернадоту и Миле-Мюро; последнему приказано немедленно принять дела...⁸⁹² Протокол подписан пятью директорами, вопреки утверждению, будто это решение было

⁸⁹² Национальный Архив, АФ, III, 16

принято без ведома, и без всякого участия Гойе. Mémoires de Gohier I, 138–139, 142–144).

ПИСЬМО КБЕРНАДОТУ ОТ 28 ФРЮКТИДОРА.

Исполнительная Директория,⁸⁹³ согласно неоднократно выраженному Вами желанию вернуться в действующую армию, назначила Вам заместителя в военном министерстве. Она уполномочивает генерала (написано рукой Сийэса: “министра” и зачеркнуто – по всей вероятности, министра юстиции Камбасерэса) начальника дивизии Миле-Мюро временно принять портфель военного министра. Будьте столь любезны сдать ему дела. Директория рада будет видеть Вас во время Вашего пребывания в Париже для беседы обо всем, касающемся нового назначения, которое она Вам готовит.

(Подписи пяти директоров).

ПИСЬМО К ДЮБУА-КРАСНЭ, 28 ФРЮКТИДОРА

(Послано по телеграфу).

Исполнительная Директория назначила Вас, гражданин генерал, военным министром. Выезжайте немедленно и уведомьте о Вашем выезде телеграммой.

(За подписью четырех директоров; подписи Сийэса)

⁸⁹³ Черновик, писанный рукой Сийэса, изобилует поправками в помарками; видно, что редактировать это щекотливое письмо было не так легко.

нет).

ПИСЬМО К МИЛЕ-МЮРО от 28 ФРЮКТИДОРА

Исполнительная Директория, уступая неоднократно выраженному генералом Бернадотом желанию оставить военное министерство и снова принять командование одной из войсковых частей, назначила нового министра. В то же время Директория избрала Вас для временного заведования военным министерством. Ввиду этого, благоволите явиться немедленно. Гражданин Бернадот предупрежден..⁸⁹⁴

(Подписано пятью директорами).

ЧАСТЬ II. ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ЖЮБЕ,

**КОМАНДОВАВШЕГО 18 БРЮМЕРА ГВАРДИЕЙ
ДИРЕКТОРИИ, И БЛАНШАРА, КОМАНДОВАВШЕ-
ГО ГВАРДИЕЙ СОВЕТОВ**

АРХИВ ВОЕННОГО МИНИСТРА

Жюбе (Августин), родился в Вальпти (деп. Сены и Уазы) 12 мая 1765 г. До Революции служил в канцелярии морского управления Шербургского порта. В 1793 г. сделался начальником легиона шербургской национальной гвардии; как таковому, ему вверен надзор за охраной портов и батарей берегов Ламанша. 31 августа 1796 г. назначен начальником штаба 3-й армейской суб-дивизии Океанийских берегов; 12 октября произведен в генерал-адъютанты и назначен помощником начальника гвардии Директории, а затем исполняет обязанности начальника. После 18 брюмера назначен на короткий срок начальником штаба гвардии консулов, но на этом и останавливается его псевдovoенная карьера. Его последовательно делают трибуном, префектом, генерал-инспектором государственного коннозаводства, историографом общевоенного архива (dépôt). До 18 брюмера ему сильно протезирует Баррас, при Реставрации не менее протезирует герцог Беррийский, произведший его в генерал-майоры. В это время он уже именуется бароном де-ла-

Перелль. Он умер в 1824 г. Брат его был женат на сестре Лассепэда.

Бланшар (Антуан-Жозеф) родился в Сент-Обэне (север) 3 февраля 1751 г., начал службу гвардейцем в роте Коннетабля. Во время Революции, в чине пехотного капитана, он проделал всю кампанию до 1795 г. в рейнской армии, а 27 фрюктидора III года перевелся в гренадеры национального представительства; к 18 фрюктидора он уже командовал батальоном и был помощником начальника grenадеров. После этого тревожного дня, когда он сильно способствовал измене гвардии, он был назначен начальником гвардии советов, на место Рамеля, арестованного и сосланного. После 18 брюмера он был назначен помощником начальника консульской гвардии, потом жандармским полковником и в качестве такового попал на замечание “за упорное протезирование офицеров, против которых имелись серьезные обвинения в правонарушениях при рекрутском наборе”. Уволенный от должности 21 февраля 1814 г., он просил, чтобы его уволили в отставку с чином бригадного генерала на основании “своих прежних заслуг, старшинства в чине полковника и своей преданности особе Его Величества, доказанной им 18 брюмера, когда он командовал гренадерами, прикомандированными для охраны национальных представителей”. Просьба его была уважена, ввиду тяготевших над ним обвинений. Он умер в 1824 г.

Понсар, командовавший 18 и 19 брюмера батальоном гренадеров совета пятисот, ранее был капралом французской

гвардии и фурьером в управлении профоса городской думы (a la Prévôté de l'Hôtel). Из кампаний он участвовал только в западной, играл деятельную роль в перевороте, был назначен бригадным командиром, затем командиром 1-го жандармского легиона, пожалован титулом барона и в 1813 году вышел в отставку бригадным генералом.

ЧАСТЬ III. БРЮМЕР. ССЫЛКИ И КРИТИКА ИСТОЧНИКОВ

О Брюмерских днях существует несчетное множество рассказов, включенных в Мемуары различных лиц или же вышедших в свет отдельным изданием. Приводим ниже, с указанием строк и страниц по нашей номенклатуре, указания текстов, которые мы комбинировали и сравнивали, чтобы восстановить ход событий.

Из сочинений, могущих бросить свет на факты, оставшиеся темными или сомнительными, мы пользовались главным образом:

1) Неизданными “Разъяснениями” Камбасерэса (Eclaircissements inédits de Cambacerés) – холодный, спокойный и серьезный рассказ о событиях.

2) “Записками” Грувелля (Notes manuscrites de Grouvelle). Эти краткие, часто совсем не отделанные по форме заметки, по-видимому, написанные со слов Сийэса под свежим впечатлением переживаемых событий, во многом исправляют и дополняют установленную версию.

3) “Запиской” Журдана от 18 брюмера (Jourdan, “Notice sur le 18 Brumaire”), тем более ценной, что в ней есть характерные признания.

4) Подслушанными разговорами, записанными Ле Кутэ де Кантеле и включенными в отрывок из его Мемуаров, поме-

ценный Lescure'ом в “Journées révolutionnaires” II, 205–229.

5) “Письмами” г-жи Ренар, “Lettres de M-me Reinhard” (письма за брюмер, фример и нивоз VIII года), вышедшими в свет уже после того, как наш рассказ появился почти целиком в *Revue des Deux Mondes* (апрель – май 1900 г., 15 марта 1901 г.) и в *Correspondant* (10 и 25 ноября – 10 декабря 1900 г.). Эти письма, как мы с удовольствием убедились, подтверждают нашу оценку событий.

С другой стороны, веским свидетельством остается двойной рассказ Редерера (*Journal de Paris* 19 брюмера), приведенный и в полном собрании сочинений, *Oeuvres*, III, прим. стр. 296–301, и в “Записке о моей жизни для моих детей” (“*Notice de ma vie pour mes enfants*”, *Oeuvres*, III, 296–302). Малоизвестный рассказ Себастиани у *Vatont*, 234–242 дает ясное представление о первых движениях войск. “Воспоминания шестидесятилетнего старика Арно (*Arnault* “*Souvenirs d'un sexagénaire*”), впоследствии постоянного секретаря французской Академии, более литературного, чем исторического характера, ценны только некоторыми живописными черточками и подробностями общественной жизни. К тогдашним газетам, хотя и очень интересным, следует, однако, относиться с осторожностью: зато они чудесно рисуют физиономию тогдашнего Парижа и состояние умов. Полноте внешней картины много способствуют подробности, приводимые в “Исторических Мемуарах от 18 брюмера”, вышедших в свет несколько недель спустя после собы-

тия, и писанных со слов очевидцев.

Наоборот, фактический материал в рассказах главных участников событий, т. е. Бонапарта, Барраса, Гойе и др., остается под сомнением; их писания, естественно, носят характер апологии, или самозащиты задним числом. К ним также надо относиться с осторожностью и, если возможно, читать между строк, в особенности, записки Люсьена, которому слишком много верили на слово. Люсьен написал свою “Брюмерскую Революцию” (“*Révolution de Brumaire*”) прежде всего, чтоб возвеличить собственную роль в прошлом, а затем, в защиту политической тезы, которую он проводил в начале июльской монархии.

Реляции второстепенных участников или свидетелей событий также составлялись много времени спустя; они изобилуют сомнительными, нередко противоречивыми подробностями, и носят отпечаток страстей той эпохи, когда они были написаны, по крайней мере настолько же, насколько эпохи, о которой в них идет речь. Вообще мы приняли за правило считать доказанными лишь факты, установленные многими совпадающими свидетельствами, составленными независимо одни от других. Свидетельства современников, печатные или неизданные статьи, брошюры, частные письма, полицейские отчеты, заслуживающие более веры, но и их мы принуждены подвергать такой же проверке.